Эм. Казакевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 1

# Казакевич

ЗВЕЗДА
ДВОЕ
В СТЕПИ
СЕРДЦЕ
ДРУГА
ВЕСНА НА
ОДЕРЕ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1963

*Оформление художника*
Г. ДМИТРИЕВА



# ЗВЕЗДА

*Повесть*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неуверенней, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад.

Противник исчез.

Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют: они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души.

Одну такую группу догнал на своем «виллисе» командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из ма-

шины и остановился посреди грязной, разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь.

Разведчики, увидев комдива, остановились.

— Ну что,— спросил он,— потеряли противника, орлы? Где противник, что он делает?

Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо всех своих офицеров) и укоризненно замотал головой:

— И ты, Травкин? — И едко продолжал:— Веселая война, нечего сказать,— по деревням молоко пить да по бабам шататься... Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? — спросил он неожиданно весело.

Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом.

Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или — как это говорится на торжественном языке воинских уставов — дать ему *оторваться,*— это для разведчиков крупная неприятность, почти позор.

В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и кроме того, просто пора было остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла.

А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий.

— Вот они, твои глаза и уши,— пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину. «Виллис» тронулся.

Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним двинулись и остальные.

По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе.

Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. Желал потому, что так ему повелевал долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего двенадцать. Правда, среди них — известный всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики — Бражников и Быков. Однако остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления. Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле — неизвестно.

Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, старого».

Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустынны, и только лай собак по дворам и едва приметное движение домотканых холщовых занавесок на окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам.

Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала большого пса и не-

торопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей.

— Здравствуйте,— сказал Травкин,— мы к вам отдохнуть на часок.

Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России,— без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщовых юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз.

Однако, несмотря на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого как сливки, соленых огурцов и полный чугун картошки. Но все это — с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло.

— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареного свиного сала и квасу в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты.

Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей:

— Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-нибудь.

Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал:

— Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!..

Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дому и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода двух враждующих армий.

— Задумался наш лейтенант,— заговорил Аниканов, когда Травкин вышел.— Как сказывал комдив? Веселая война? Молоко пить да по бабам шататься...

Мамочкин вскипел:

— Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего лезешь? Не хочешь молока — не пей, вон вода в кадке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте. А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал.

Аниканов беззлобно рассмеялся:

— Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну и насчет обедов ты мастер. Про это и говорил комдив.

— Ну и что? — наскакивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова.— И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?

Розовощекий, с льняными волосами Бражников, круглолицый, веснушчатый Быков, семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, которого все звали «Голубь», высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко — широкоплечий, белозубый, смуглый — все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки:

— Это же целая фабрика!

В спорах Мамочкина с Аникановым — то веселых, то яростных спорах по любому поводу: о преимуществах керченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия второго фронта — Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием.

Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и неврастеника, раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти. У Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир относился почти как к равному, а к нему

почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов — партиец и поэтому, дескать, пользуется особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть отбавляй, за ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участвовал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов.

Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицему и простоватому Аниканову!

Происхождение и довоенное бытие каждого из них — колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина — все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже казалось чрезвычайно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом и этот взвод — единственной семьей.

Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью. Одни отправлялись в госпиталь, другие — еще дальше, туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из «поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. Долгое время он не участвовал в деле — никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством,— он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня. Напрасно он упрашивал и клялся, что, если его ранят, он сам доползет, а убьют: «Черт с вами, бросайте меня, что мне немец, мертвому-то, сделает!» И только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось.

Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб здоровенного немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык»,— мечта дивизии на протяжении целого месяца.

В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при этом Марченко был ранен в ногу, и Аниканову пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь повредить обоих в равной степени.

Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от противника, люди пообленились.

Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь и раздобыть самогону. Марченко неопределенно сказал:

— Да, спешить тут нечего... Все равно не догоним. Здорово утекает немец.

В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стреноженных лошадей, спросил хозяйку:

— Бабушка, чьи это кони?

Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные — соседям. Минут через двадцать эти соседи были созваны в старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал:

— Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят, он приведет лошадей обратно.

Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаска, который должен был отправиться с отрядом. Шестнадцатилетний паренек в овчинном тулупчике был и горд и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться.

Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом паренька, тихо спросил:

— А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?

— Да,— ответил Травкин, подумав,— может и нагореть. А немца мы все-таки догоним.

Они понимающе улыбнулись друг другу.

Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Штаб дивизии расположился на ночлег в обширном лесу, в центре забывшихся неспокойным сном полков. Костры не зажигались: над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных «потешных» городков построено было за годы войны саперами дивизии!

Командир саперной роты лейтенант Бугорков дожидался приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленые пространства ее с нанесенным на них положением частей дивизии выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы находились черт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в нескончаемой зелени лесов.

Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма: «Ну как? Это вам не Северо-Западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и немецкая артиллерия стреляла по часам! Маневренная война-с!»

Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв наконец глаза от карты, он заметил Бугоркова.

— Тебе чего?

Лейтенант Бугорков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш.

— Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник,— ответил он.— На рассвете я вышлю туда взвод.

Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был бы хоть немного обжит и хоть кто-нибудь да похвалил бы Бугоркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как новенькие шалаши будут покинуты и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугорков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков, неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем.

Подполковник кратко сказал:

— Дай свою карту.

И начертил на карте Бугоркова флажок — на опушке какого-то другого леса, километрах в сорока от нынешней стоянки. Бугорков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень неприветливо:

— Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид! Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?

Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом:

— И будьте любезны, капитан, скажите мне наконец, где противник?

Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно пострижет и побреет разведчиков,— благожелательно думал Бугорков,— не то ему будет здоровая нахлобучка».

Бугорков любил Травкина, своего земляка-волжанина. Прославленный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда, довольно редко — у каждого хватало собственных служебных забот,— но приятно было иногда вспом-

нить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин — скромный, серьезный, верный человек. Ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней...

Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил градом ругательств:

— Черт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания...

Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он ехал в штабном грузовике и «крутил роман» с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами.

Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллейкам, он думал о том, что хорошо бы покончить наконец с этой войной, поехать в свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганых досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородатыми мастеровыми замысловатые чертежи на помятой синьке.

С рассветом Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов.

Болтовня первых птиц разносилась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутых поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, и в них дежурили у своих пулеметов сонные пулеметчики. Солдаты спали на земле на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров.

«Вот она, война,— думал Бугорков, поеживаясь,— великая бездомность сотен и тысяч людей».

Пройдя километров десять, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трех всадников. Бугорков встревожился: он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина.

Не сходя с лошади, Травкин сказал:

— Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками.

Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок.

— А два немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное, в засаде...— Напоследок Травкин сказал: — Вот видишь... Аниканов... ранен в стычке с немцами.

Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность.

Бугорков спросил растерянно:

— А мне что делать?

Условились, что саперы подождут здесь, Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь.

Посреди шалашного городка, возле своего «виллиса», стоял полковник Сербиченко, вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль — адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил:

— Товарищ комдив, немцы недалеко.

Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближней речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и шесть самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. Километрах в двадцати отсюда два броневика и самоходка стоят в засаде.

Комдив отметил на карте данные Травкина; началась легкая суматоха; командиры полков и штабные тоже вынули карты, подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников.

— Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил наконец комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту «виллиса».

— Так точно.

— И самоходки ты сам видел?

— Так точно.

— А ты не сочиняешь трошки? — неожиданно заключил

свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза.

— Нет, не сочиняю,— ответил Травкин.

— Ты не обижайся,— примирительным тоном сказал комдив,— это я для верности спрашиваю, ибо знаю, козаче, что разведчики приврать любят.

— Я не вру,— повторил Травкин.

Где-то уже давали команду «в ружье», лес глухо зашумел. Это подымались подразделения.

Комдив, глядя на карту, приказывал:

— Полки идут походным порядком, как раньше. Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108,1, передовой полк развертывается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108,1. Я — на западной опушке этого леса, возле дома лесника. Галиев, готовь боевое распоряжение. Доложи в корпус.— И вдруг сказал негромко: — Смотрите, товарищи начальники! Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг.

Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин. Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес:

— Добрый козак.

— У меня Аниканов ранен,— смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин.

Комдив ничего не ответил, отдал последние распоряжения Галиеву и уехал к полкам.

Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем. Повеселевший, шумливый, он вдруг стал похож на проказливого бакинского мальчишку, каким был лет тридцать назад. «Галиев немца чует»,— говорили про него в такие минуты.

— Поезжай к своим людям! Следи за немцем и присылай нарочных! — крикнул он Травкину.

— Есть! — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь.

Сопровождавший его разведчик между тем сдал Аниканова санинструктору и, ведя в поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту.

Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Он спешился, рассеянно выпил предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте месторасположение штаба дивизии.

— Значит, снова война начинается,— сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина.

Разведчики пришпорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному.

А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям. Бугорков сказал:

— Ну, ребята, теперь вместо шалашстроя будет нам блиндажстрой.

Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме, неподалеку от безымянной речки, за которой окопались немцы.

Марченко, наблюдавший немцев с верхушки дерева, слез и доложил лейтенанту:

— Эти немцы в броневиках и самоходка покрутились здесь полчаса, потом повернули и переехали речку,— к своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневикам до середины.

Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой.

— Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьмешь не всех, две останутся у меня еще на день, пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать.

Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи — проволочное заграждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль.

— Сейчас отправлю его к гитлеровой маме,— шепнул Мамочкин.

— Не дури,— сказал Травкин.

Он смотрел на немецкую оборону, оценивая ее. Да, вот та неявственно различимая серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошее — западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота

возле разбросанных домиков хутора — командная, на карте она обозначена цифрой 161,3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка.

Травкин вдруг вспомнил об Аниканове, но вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгинувшего неизвестно куда.

Мамочкин прошептал:

— Глядите, товарищ лейтенант. Фрицы выходят на экскурсию.

Человек тридцать немцев вышли из леса и двинулись к реке. Здесь они рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположный берег, вошли в мутную воду.

Травкин сказал лучшему стрелку взвода — Марченко:

— Пугни-ка их.

Последовала длинная очередь из автомата, фонтанчики подскакивали от пулевых ударов. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гогоча, как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная команда, засвистели пули. Самоходная пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, заверещала и выпустила один за другим три снаряда. Через секунду ударили немецкие орудия. Их было не меньше десятка, и они в течение трех-четырех минут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая странным воплем молчаливые леса.

Гул артиллерийского налета услышал передовой отряд дивизии — усиленный батальон. Люди остановились. Командир батальона капитан Муштаков и командир батареи капитан Гуревич замерли на своих лошадях. Муштаков сказал:

— Вот что значит отвык... Больше месяца не слышал этой музыки.

Взрывы следовали равномерно, один за другим.

Постояв с минуту, усиленный батальон двинулся дальше. На повороте солдаты увидели паренька в овчинном тулупчике, с лошадьми. Он сидел, сгорбившись, верхом на лошади и, вытянув шею, прислушивался к мощному гулу орудий.

Командир батальона, поравнявшись с ним, спросил:

— Ты что тут делаешь?

— Поспишайте,— испуганным шепотом сказал паренек.— Там на ричци немцив багато-багато, а разведчикив двенадцать чоловик...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

То, что на военном языке называется *переходом к обороне,* происходит так.

Части развертываются и пытаются с ходу прорвать фронт противника. Но люди измотаны непрерывным наступлением, артиллерии и боеприпасов мало. Попытка атаковать не имеет успеха. Пехота остается лежать на мокрой земле под неприятельским огнем и весенним дождем вперемежку со снегом. Телефонисты слушают яростные приказания и ругань старших командиров: «Прорвать! Поднять пехоту и опрокинуть фрицев!» После второй неудачной атаки поступает приказ: «Окопаться».

Война превращается в огромную землеройку. Земляные работы ведутся по ночам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и пожаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень. В земле растет запутанный лабиринт звериных нор и норок. Вскоре вся местность преображается. Это уже не лесистый берег небольшой реки, заросшей камышом и водорослями, а изъязвленный осколками и разрывами «передний край», разделенный на пояса, как Дантов ад, лысый, перекопанный, обезличенный и обвеваемый нездешним ветром.

Разведчики, сидя по ночам на бывшем берегу реки (теперь это зовется нейтральной полосой), слушают стук немецких топоров и голоса немецких саперов, тоже укрепляющих свой передний край.

Между тем нет худа без добра. Понемногу подтягиваются тылы, на скрипучих повозках подвозятся снаряды, патроны, хлеб, сено, консервы. Подъехали наконец и остановились где-то поблизости, маскируясь в ближних лесах, медсанбат, полевая почта, обменный пункт, ветеринарный лазарет.

Прибывает и артполк, встречаемый всеми с великой радостью. Орудия вкапываются в землю и ведут правильную пристрелку по целям, производя, к полному удовольствию наших солдат, буйные налеты на немецкие траншеи и блиндажи.

Начинается сравнительно тихая жизнь, мокрая жизнь, жизнь липкая, дрянная, земляная, но все-таки жизнь. А когда подходит ближе полевая почта и накопившиеся за месяц наступления письма целыми пачками доходят до продрогших солдатских рук,— это уже почти счастливая жизнь.

Сидя в окопчике на самом берегу реки, среди камыша и гниловатых водорослей, прочитал свои письма и Травкин. Писала мать, учительница из небольшого волжского городка, и сестра из Москвы. Все письма матери, в сущности, были невысказанной горячей и жалкой просьбой: не погибнуть.

Сестра Лена, студентка Московской консерватории по классу скрипки, писала о своих успехах. Она писала о Бахе и Чайковском с юношеской фамильярностью: дескать, старик Чайковский оказался не так уж труден, как я думала раньше... этот старый немец Бах... и так дальше. Лепет юности, ровный свет электрических плафонов, тусклый блеск скрипок — как все было далеко! Травкин даже, по правде сказать, обиделся, что люди ходят в театр, слушают музыку, влюбляются, учатся, в то время как он, Травкин, и другие сидят здесь под страхом смерти и — что еще хуже — под проливным дождем.

— Что вам пишут, товарищ лейтенант? — спросил сидящий рядом с биноклем в руках Марченко.

Травкин ответил:

— Живут помаленьку и на нас посматривают — скоро ли мы кончим.

Марченко, улыбнувшись, кивнул головой; при этом он, не отрываясь, глядел в бинокль на вражеские позиции и заметил:

— Немцы что-то шевелятся.

Травкин взял бинокль. Немцы выкатывали из лесу орудие. И он засмеялся, вспомнив слова сестры, которые звучали так: этот старый немец Б-бах! Ба-бах!

Травкин сообщил по телефону Гуревичу:

— Смотрите, Гуревич, они орудие выкатили на прямую наводку — два пальца правей разрушенного дома. Видите?

— Спасибо, Травкин,— глухо прозвучал в телефонную трубку голос вечно бодрствующего артиллериста,— сейчас накрою.

Просунув голову сквозь влажный камыш, появился Мамочкин.

— Кушать будете, товарищ лейтенант?

Он принес Травкину полгуся на завернутой в газету фарфоровой тарелке.

Травкин, поделив гуся с Марченко, вдруг подумал о том, что Мамочкин последнее время частенько приносит различные лакомства «невоенного образца», вроде яиц, гусей, кур и сметаны. Он хотел спросить Мамочкина, откуда вся эта снедь, но

тут же забыл, отвлеченный новым замечанием Марченко насчет поведения немцев.

Мамочкин действительно разбогател. Никто не знал, откуда он добывает всю эту пропасть яиц, масла, птицы, соленых огурцов и квашеной капусты. На вопросы разведчиков Мамочкин, ухмыляясь, отвечал:

— Что ж, сумей.

А дело было простое и очень даже некрасивое. Получив приказание Травкина отвести оставшихся двух лошадей в деревню, Мамочкин не доставил их по назначению, а отдал «на время» старику вдовцу в ближайший хутор, не взяв платы, но выговорив право получать у старика различные продукты. Время было горячее, надо пахать и сеять, и старик не скупился.

Молодые разведчики смотрели на Мамочкина с восторгом, удивляясь его хитроумию и удачливости. В лице красавца Феоктистова он имел верного адъютанта, старавшегося походить на Мамочкина во всем и даже отпустившего усики по примеру своего кумира. По вечерам Мамочкин рассказывал новичкам устную летопись взвода, особо выделяя, конечно, свои собственные заслуги. Правда, и Аниканова он снисходительно похваливал: Аниканов уже стал историей и не мог повредить славе Мамочкина.

Разведчики, слушая Мамочкина, часто ловили его на несуразностях и противоречиях. Он мало смущался этим. Только в присутствии Травкина красноречие Мамочкина сразу же тускнело: Травкин ненавидел неправду. Иногда в свободные вечера он сам начинал рассказывать эпизоды боевой жизни, и такие вечера были для новичков настоящим праздником.

При этом их поражала его скромность. Он рассказывал об Аниканове, о погибшем старшине Белове, о Марченко и о Мамочкине, а себя как-то обходил, выставляя неким очевидцем.

— Надо учиться действовать так, как Аниканов,— нередко заканчивал он свой рассказ, и Мамочкин ревниво ерзал в своем углу.

Молоденький Юра Голубь в эти вечера усаживался у ног лейтенанта и глядел на него влюбленными глазами. Он мог сколько угодно восторгаться преувеличенной лихостью Мамочкина, но образцом для него был только этот замкнутый, юный и немножко непонятный лейтенант.

Впрочем, Мамочкин тоже любил эти вечера. Лейтенант,

обычно молчаливый, в эти редкие минуты как-то раскрывался, он знал много разных историй и иногда рассказывал о жизни ученых и полководцев, а Мамочкин был любознателен.

Травкину он носил яства из своего никому не ведомого источника не потому, что хотел задобрить командира. Разбираясь в людях, Мамочкин понимал, что добиться таким путем от лейтенанта каких-то там льгот или поблажек невозможно: Травкин ел гусей, даже не замечая толком, что он ест. Мамочкин «покровительствовал» Травкину потому, что любил его. Любил именно за те качества, каких не хватало ему самому: за самозабвенное отношение к делу и за абсолютное бескорыстие. Он с удивлением наблюдал, с какой точностью Травкин делит получаемую водку, себе наливая меньше, чем всем остальным. Отдыхал он тоже меньше всех. Мамочкин не мог этого понять. Он чувствовал, что лейтенант правильно и хорошо поступает, но прекрасно знал, что на месте командира действовал бы далеко не так.

Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», как он про себя называл гусей, кур и прочую снедь, получаемую за «прокат» коней, Мамочкин отправился к овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии, полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек: комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды.

Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь.

Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. В глубине души он считал, что женщинам не место на войне, но он не испытывал к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны.

— Ну как? Нравится тебе у нас? — спрашивал полковник.

Девушка застенчиво отвечала:

— Ничего... как всюду.

— Разве как всюду? У меня не так, как всюду. У меня, милая моя, дивизия прославленная, краснознаменная! Никто тебя не обижает?

— Нет, товарищ полковник.

— Гляди. Будут обижать, приставать — приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями?

— Зачем они мне? — засмеялась девушка.

— Эге, не обманывай... все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри, держись хорошо,— сказал он вдруг серьезно,— мужчины — народ хитрый и не говорят того, что думают.

Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом.

Тут перед ней и предстал Мамочкин:

— Мое почтение, барышня!

Она удивленно оглядела его с ног до головы.

— Разведчик сержант Мамочкин! — лихо пристукнул он каблуками.

Девушка улыбнулась.

— Я вас раньше, так сказать, не встречал,— увязался он за ней.— Вы из другой части или с неба упали?

Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии.

— А с разведкой вы там дружили?

— Я в штабе тыла работала.

Они шли рядом. Она беззаботно похохатывала, а он, блистая портовым остроумием, прикидывал, куда бы ее повести.

— Советую вам, Катюша,— он уже узнал ее имя,— в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы? Обратно у разведчика. Кто самый самостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик! Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете? — продолжал он, игриво ухмыляясь.— А небезызвестный нам капитан Барашкин как? А?

— Вы откуда знаете? — удивилась она.

— Разведчики все знают!

Идти гулять с ним в лес она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались друзьями.

Придя в овин, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в четыре человека.

Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу, у старой ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маскхалаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно взглядывали на Марченко: не пора ли идти?

Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров, что напрасно жена заподозрила его в том, что у него тут «завелась краля», ничего подобного, он писал часто, но почта отстала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал он на этот раз по-особому, за каждой строкой подразумевая другую, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал дневальному, а сам негромко сказал:

— Ну, ребята, пошли, значит. Все готово?

Он выстроил свою четверку, испытующе осмотрел ее, затем спросил:

— А саперов-то нет?

Из дальнего угла, из глубин наваленной соломы, послышался спокойный, веселый голос:

— Как так нет? Саперы на месте.

Облепленные соломинками, поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко.

— Я старший,— произнес ранее говоривший голос, принадлежавший невысокому, коренастому солдату лет двадцати.

— Тебя как звать? — осведомился Марченко, одобрительно оглядев сапера.

— Максименком звать, земляк твий,— ответствовал «старший» под общий смех.

— Откуда? — засмеялся, блеснув жемчужными зубами, Марченко.

— З Кременчуга.

— Да, почти земляк... Задачу свою знаешь?

— Знаю,— так же бойко отвечал Максименко,— розминирувать нимецьки мины, розризать нимецьку проволоку, пропустыть вас у цей розриз и идты до дому на комсомольске собрание, бо у нас завтра вранку собрание, а я комсорг. Такая наша задача.

— Молодец, хлопец,— еще раз засмеялся Марченко.— Мы, значит, дважды земляки, я тоже у нас тут комсоргом. Пошли.

И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На пятый день после ухода Марченко Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам в овин. Там у него была припрятана бутыль самогону.

Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску и, пригласив Феоктистова и еще нескольких друзей, уселся рядом с Катей на солому.

В разгар пира в овин зашел Травкин, которого никто не ждал.

Приход лейтенанта вызвал некоторое замешательство, во время которого Мамочкину удалось спрятать бутыль и кружку. По правде сказать, Мамочкину не очень-то приятно было обнаруживать при девушке свою робость перед командиром, но было еще менее приятно получить от лейтенанта суровое замечание.

Травкин покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку. Разведчики встали, но он тихо сказал «вольно» и лег на свою постель, в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь.

Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном.

Притихшие разведчики снова выпили по чарке, а Катя негромко спросила:

— Это ваш командир? Тихий такой и молодой.

Травкин метался во сне и вдруг заговорил:

— Ты чего не приходил так долго? Странный ты человек. И саперы не приходили. А мы Чайковского слушали. Чудак. А ты все не приходил. Ч-чудак.

Речь его не была похожа на речь говорящего во сне. Он произносил слова обыденным, нормальным голосом бодрствующего человека. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по овину, оставив Мамочкина одного перед белой скатертью.

Катя неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гимнастерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой обиды. Она тихо сказала:

— Какой он у вас хорошенький.

— Не буди его! — грубо отозвался Мамочкин, но она не обиделась, почуяв в его словах такую же нежность к спящему, какая охватила и ее.— Беспокоится наш лейтенант,— пояснил Мамочкин угрюмо.

Да, вечеринка была вконец испорчена,— это почувствовали все.

И только Катя вышла из овина в каком-то приподнятом, печально-торжественном настроении. Идя по зеленеющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое настроение. Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить такой радостной грустью? Перед глазами ее стояло почти детское лицо лейтенанта. Может быть, она увидела в нем свое собственное отражение, что-то похожее на боль, глубоко затаившуюся в ее душе, еще не утихшую боль девушки из маленького города, встретившейся на войне с тяжестью жизни в самом ее жестоком проявлении.

Катя все чаще и чаще стала забегать в овин разведчиков. Мамочкин, да и все остальные прекрасно разобрались в душевном состоянии девушки. Мамочкин даже обрадовался. Считая себя покровителем лейтенанта в житейских делах, он решил, что небольшой роман с Катей отвлечет лейтенанта от тяжких дум. А Травкин заметно затосковал после очевидной гибели Марченко и его группы.

Разведчики наперебой приглашали Катю в гости, рассказывали ей все новости о лейтенанте, бегали в роту связи сообщить: «*Наш-то с передовой пришел*»,— одним словом, всячески старались сблизить Катю с Травкиным. Единственный, кто не замечал всей этой кутерьмы, был сам Травкин.

Однажды он, придя в овин, увидел, что угол его отгорожен плащ-палатками и вместо одеяла, разостланного на сене, там стоит настоящая кровать и столик, а на столике — вазочка со свежими подснежниками. Он спросил:

— Это что такое?

— А что? — с невинным видом ответил Бражников.— Это Катя, связистка, для вас старается, товарищ лейтенант.

Травкин густо покраснел и спросил:

— Почему вы впускаете в расположение взвода посторонних людей?

Бражников виновато промолчал, а Мамочкин, узнав об этом разговоре, развел руками.

— Что за человек! Все о немцах думает — и больше ни о чем! Всё схемы немецкой обороны рисует, над картой сидит и по переднему краю целыми днями рыщет...

Что касается Кати, то она вначале была обескуражена замкнутостью и юношеской застенчивостью Травкина. Нет, к такому отношению к себе она не привыкла. Она привыкла быть всегда желанной, хотя и знала, что причиной этого легкого успеха были вовсе не ее достоинства, а скорее то, что мужчин здесь много, а женщины считанные.

Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: ее любимый был не обычный человек, нет, он суровый, гордый и чистый. Таким он и должен быть. Она непривычно робела в его присутствии, сама удивляясь своей робости. Она ли это, считавшая себя опытной маленькой грешницей? Поцелуй и объятие, полученные и возвращенные вскользь, в суматохе походного быта, из-за мимолетной симпатии или просто от скуки — и это она называла жизнью!

Она вспоминала об этом как о чем-то некрасивом, но уже давно прошедшем.

Каждый день приходила она в овин с цветами и веточками пушистой вербы. Но не в цветах было дело: она приносила с собой благоухание милой женственности, по которой тосковали одинокие сердца бойцов. Разведчики даже порицали своего командира за равнодушие к девушке, хотя одновременно и гордились его неприступностью.

Приехавший в дивизию начальник разведотдела армии полковник Семеркин застал Катю в момент, когда она ставила свежие цветы в синюю вазочку. Полковник зашел в овин посмотреть, как живут разведчики, но там никого не оказалось, кроме повара, дневального и этой девушки.

— Вы кто такая? — спросил полковник.

— Радист младший сержант Симакова,— отрапортовала она.

— А я думал, что вы тут цветами торгуете,— пробормотал желчный полковник и вышел.

Затем он долго беседовал с командиром дивизии. Они вежливо, но основательно поспорили.

— Вы ничего не знаете о противостоящем противнике,— упрекал командира дивизии полковник Семеркин.— Разве у вас есть ясное представление о его группировке и замыслах?

Полковник Сербиченко, стараясь сдерживать себя, отшучивался:

—А откуда я могу знать? Командир дивизии иногда не знает, что у него самого в войсках творится. Откуда же ему знать, что делает противник? Вот послал я разведчиков в поиск, а они не вернулись. Для вас семь человек — это так, мелочь. Вы — армия. А я человек маленький, для меня гибель семи — большая, очень большая потеря. Разведчиков у меня повыбило в боях.

— Это верно,— возражал полковник Семеркип.— А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним в овин — никого нет. Дневальный и не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причина плохой работы разведки.

Полковник Сербиченко велел вызвать следователя.

Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин.

Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недальнего села на то, что разведчики забрали у них — самовольно! — тринадцать лошадей, из которых вернули только одиннадцать. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью.

— А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?

Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил:

— Это еще точно не установлено.

— Так установите точно, потом доложите. Можете идти.

Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину:

— Что ж, группу в тыл мы пошлем. А вы постарайтесь пополнить нас разведчиками.

Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу:

— Скоро приду.

Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь овинов, спросил у дневального возле входа:

— Разведчики?

— Так точно, товарищ полковник,— ответил дневальный и громко крикнул в полутемный овин: — Встать! Смирно!

Овин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках овина стояло человек восемь разведчиков руки по швам. Один из углов был отгорожен плащ-палатками. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащ-палатку и увидел там Катю, тоже стоявшую «смирно». На столике лежали книжки и тетрадки, в синей вазочке стояли цветы.

Сердитый взгляд комдива чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил:

— Ты что тут делаешь? — Затем, обращаясь к подбежавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился: — Где ваш командир?

— Лейтенант на передовой.

— Когда придет, пришли его ко мне.

Он направился к выходу, потом оглянулся:

— Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?

— Я пойду,— сказала Катя.

Они вышли вдвоем.

— Ты чего застеснялась? — спросил комдив.— Ничего плохого тут нет. Травкин — парень хороший, разведчик смелый.

Она промолчала.

— Что? Влюбилась? Хорошо! А капитан Барашкин как? В отставку?

— То — ничего,— сказала она,— то было просто так, глупость...

Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы девушки, вдруг спросил:

— А он, Травкин, что? Рад? Девка хоть куда, да еще цветы приносит!

Она ничего не ответила, и он понял.

— Что? Не любит?

Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой пичужки с погонами младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодильей пастью. Полковник усмехнулся.

Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай.

Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать при помощи ординарца — вскипятили самовар и сели за стол, весело болтая о всякой всячине.

Через некоторое время пришел Травкин.

— Садись,— сказал комдив.

Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину, но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько.

«Ну какая я ему пара? — думала она.— Он такой умный, серьезный, сестра у него скрипачка, и сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других».

Травкин ни в малейшей степени не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданные появления в овине, непрошеные заботы о его удобствах — все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при ее появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине.

Теперь он крайне удивился, увидя ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкин сначала подумал, что это Катя, узнав о лошадях из разговоров разведчиков, насплетничала комдиву.

Он вкратце объяснил полковнику, как было дело, и перед комдивом вдруг воскресли дни наступления, беспрестанные марши, короткие схватки и тот мартовский полдень, когда он, полковник, стоя посреди разбитой дороги, так насмешливо упрекал разведчиков. Из зеленовато-серых глаз комдива на Травкина глянул одобряющий прищуренный взгляд разведчика прошлой войны унтер-офицера Сербиченко.

— Молодец, Травкин.

Полковник спросил:

— А точно ты вернул всех лошадей крестьянам?

Травкин утвердительно ответил:

— Точно.

В дверь постучали, и на пороге показался капитан Барашкин.

— Тебе чего? — недовольно спросил Сербиченко.

— Вы меня не вызывали, товарищ полковник?

— Вызывал часа три назад. Говорил с тобой Семеркин?

— Говорил, товарищ полковник.

— Ну и что?

— Пошлем группу в тыл противника.

— Кто пойдет старшим?

— Да вот он, Травкин, — со скрытым злорадством ответил Барашкин.

Но он ошибся в расчете. Травкин и глазом не моргнул, Улыбышева спокойно разливала чай, не зная, в чем дело, а Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви.

Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно трудной операцией был Травкин.

— Хорошо, — сказал комдив и отпустил Барашкина.

Поднялся вскоре и Травкин.

— Ну что ж, иди, — напутствовал его полковник. — Готовься смотри, дело серьезное.

— Есть, — сказал Травкин и вышел из избы.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковник невесело сказал:

— Хорош парень.

После ухода Травкина Кате не сиделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная ночь, и тишина, глубокая, полная, лесная, лишь изредка прерывалась дальними разрывами или тарахтаньем одинокого грузовика.

Она была счастлива. Ей казалось, что Травкин смотрел на нее сегодня ласковей, чем всегда. И ей думалось, что всесильный командир дивизии, который относится к ней так доброжелательно, конечно, сможет убедить Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка и что у нее есть достоинства, которые можно ценить. И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в Песни Песней, хотя она никогда не читала и не слышала их.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

«Здравствуйте, товарищ лейтенант, пишу вам я, Иван Васильевич Аниканов, ваш разведчик, сержант и командир первого отделения. Могу вам сообщить, что живу хорошо, чего и вам желаю от всей души. В госпитале мне вырезали пулю, каковая находилась в мягких тканях ноги. И из госпиталя попал я в запасный полк. Тут сперва плоховато было, потому что кормят похуже, чем на фронте, а я покушать люблю и к фронтовому пайку слишком привык. И приходилось целый день изучать военное дело и устав, все сначала, а также бегать, кричать «ура», немцев же, конечно, нет, а стрелять — патронов не дают. И вот еще беда. Отобрали у меня мой пистолет «вальтер», что я отобрал, если помните, у того немецкого капитана с черной повязкой на глазу. Ходил я жаловаться к здешнему комбату, но тот сказал, что сержанту пистолет не положен. А что я не просто сержант, а разведчик, и таких пистолетов у меня перебывало, может, две сотни,— он об этом и знать не хочет. Потом перевели меня в подсобное хозяйство, и вот тут мне живется, как зажиточному колхознику. У меня все есть — и сметана, и масло, и овощи всякие. Тем более я тут заместо главного, как бывший председатель колхоза. Значит, мы все пашем и сеем. И по вечерам, покушав и запивши молочком, лежу я на перине, а хозяйкин муж, между прочим, пропал еще по первому году, она так и ходит вокруг. И думаю я про вас, товарищ лейтенант Травкин, и про товарищей моих в моем взводе, вспоминаю наши боевые дела, а главное — мучения ваши и как вы бьетесь за нашу великую родину, и сердце обливается кровью. И прошу вас, товарищ лейтенант, поговорить с тов. Сербиченко, может, он пошлет на меня требование, чтоб отпустили меня к вам. Не могу я здесь без вас, потому, товарищ Травкин, совестно, что не довел до конца эту войну вместе с вами, а живу, как зажиточный колхозник, и вроде вы меня защищаете от немца. С приветом к вам и ко всему нашему славному взводу.

*Иван Васильевич Аниканов».*

В который раз перечитав это письмо, Травкин растроганно улыбнулся и снова вспомнил, каков был Аниканов и как хорошо было бы иметь его сейчас здесь, у себя. Чуть ли не с

пренебрежением всматривался он в лица спящих разведчиков, сравнивая их с отсутствующим Аникановым.

«Нет,— думал Травкин,— эти все не такие, как он. Нет в них той спокойной отваги, неторопливости и ясного ума. В Аниканове я был всегда уверен. Он не знал, что такое паника. Мамочкин смел, но безрассуден и корыстен. Быков рассудителен, но слишком. Бывают острые моменты, когда рассудительность не лучше трусости. Бражников недостаточно самостоятелен, хотя есть в нем и хорошие задатки. Голубь, Семенов и другие — еще не разведчики пока. Марченко — тот был человек, золотой человек, но он, очевидно, погиб и не вернется больше».

Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навеянными взволновавшим его письмом Аниканова, Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Он побрел к тому яру, который был им облюбован для тактических занятий с разведчиками.

Это место довольно точно воспроизводило подлинный передний край. Яр пересекался широким ручьем, над которым свесились уже зеленевшие плакучие ивы. Неглубокая траншея, вырытая разведчиками специально для занятий, и два ряда колючей проволоки обозначали передний край «противника».

На этом «театре» Травкин теперь еженощно проводил занятия. Со свойственным ему упорством он гонял разведчиков через студеный ручей вброд, заставлял их резать проволоку, щупать длинными саперными щупами невсамделишные минные поля и прыгать через траншею. Вчера он придумал новую игру. Посадив нескольких разведчиков в траншею, он заставлял остальных подползать к ним как можно тише, чтобы приучить людей к бесшумному движению. Сам он тоже сел в траншею и прислушивался к ночным звукам, но мысли его были не здесь, а на подлинном переднем крае, где немцы успели возвести мощную систему инженерных заграждений, которые ему придется вскоре преодолевать.

К тому же взвод получил пополнение — десять новых разведчиков,— так что Травкину приходилось, кроме специальных занятий с отобранными им для операции людьми, заниматься и с остальными, да еще ежедневно наблюдать за противником на переднем крае, изучая его режим и поведение.

В результате этого беспрерывного тяжелого труда он стал

очень раздражителен. Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он теперь наказывал их за малейшую провинность. В первую голову досталось Мамочкину. Травкин строго спросил его, где он добывает всякую снедь. Мамочкин что-то пробормотал про добровольные даяния крестьян, и Травкин посадил его под арест на трое суток, сказав:

— Пусть местное крестьянство отдохнет от тебя хоть три дня.

Катю он вежливо, но твердо попросил пока,— он так и сказал: пока,— посещения овина прекратить. Правда, он испытал некоторую неловкость, когда встретил ее испуганный взгляд, хотел было вернуть ее, но сдержался.

Но больней всего другого его уязвил небывалый случай с новичком Феоктистовым, высоким красивым парнем откуда-то из-под Казани.

В то утро шел дождь, и Травкин решил дать отдых разведчикам. Он вышел из овина и направился к блиндажу Барашкина, где переводчик Левин давал ему уроки немецкого языка. В кустарнике возле мельницы он увидел Феоктистова. Высокий, ладно скроенный Феоктистов лежал на траве, голый по пояс, под проливным дождем. Травкин удивленно спросил, что это значит. Феоктистов, вскочив, смущенно ответил:

— Принимаю, товарищ лейтенант, холодные ванны... Так я и дома делал.

Но этой же ночью, во время занятий по бесшумному ползанью, Феоктистов сильно закашлялся. Сначала Травкин не обратил внимания на это, но затем, когда Феоктистов раскашлялся снова, лейтенант все понял. Феоктистов нарочно старался простудиться. Из рассказов старых разведчиков он, конечно, знал, что человека, страдающего кашлем, на задание не возьмут, так как кашель может выдать всю группу немцам.

Травкин никогда в своей короткой жизни не испытывал такого страшного приступа ярости. Ему стоило большого усилия воли не пристрелить этого высокого, красивого, испуганного мерзавца тут же при лунном свете, на глазах у недоумевающих разведчиков.

— Так вот что за холодные ванны, подлый трус!

На следующий день Феоктистова отчислили.

Вспомнив этот случай, Травкин и теперь не мог избавиться от чувства гадливости.

Всходило солнце, и надо было идти на передний край. Взяв двух разведчиков, он отправился в обычный путь, к реке.

Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленнее воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты. Мощные всплески пулеметного огня, оглушительное кряхтенье минометных разрывов, а затем недобрая тишина, чреватая новыми возможностями внезапной смерти. Гуськом, в зеленых халатах, мимо разбитых снарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войне.

В траншеях второго батальона Травкина встретил Мамочкин. После гауптвахты Травкин прислал его сюда для постоянного пребывания старшим на наблюдательном пункте — «поближе к немцам, подальше от кур». Лихо пристукнув каблуками, Мамочкин передал ему схему наблюдения и записи о поведении противника за прошедшие сутки.

Из пулеметного дзота Травкин наблюдал в стереотрубу немецкий передний край. В его дзот обычно заходили командир батальона капитан Муштаков и артиллерист капитан Гуревич. Они знали о предстоящей задаче Травкина, и он не без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение: тебе, мол, идти *туда*, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатами блиндажах.

Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертный приговор ему. Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу».

Не то чтобы он желал им зла, наоборот, оба они были ему глубоко симпатичны. Муштаков был лучшим комбатом в дивизии — молодой, красивый. Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти, наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле,— так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга «земляками», ибо

они были из одной страны,— страны верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь.

Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения.

С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне! Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и, если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обличьем.

Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова.

Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в кирзовые сапоги с широченными голенищами.

Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них.

Жизненная задача этих молодых людей часто оказывается необычайно краткой. Они растут, учатся, надеются, испытывают обычные горести и радости, порой для того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть на влажную землю и не встать более. Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым словом: знакомство было слишком кратковременным и черты характера остались неизвестными. Какое под этой гимнастеркой билось сердце? Что творилось за этим юным лбом?

Травкин, будучи примерно одних лет с ними, чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка,— подумал он вдруг,— эта Катя».

Так он,— сам, быть может, накануне собственной гибели,— с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами.

Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал:

— Возьмите меня с собой. Я с удовольствием пойду в разведку.

Так он и сказал: «с удовольствием». Травкин улыбнулся.

— Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато.

Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк.

Так в овине поселился младший лейтенант Мещерский — стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского.

Когда не было Травкина, в овин приходила Катя. Мещерский встречал ее приветливо, здороваясь за руку и вежливо приглашая садиться. Это нравилось разведчикам и немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения.

Как-то раз Мещерский сказал Травкину:

— Замечательная девушка эта связистка.

— Какая?

— Катя Симакова. Она часто приходит сюда.

Травкин промолчал.

— Вы разве не знаете ее? — спросил Мещерский.

— Знаю. А чем она замечательна, по-вашему?

— Добрая она. Разведчикам стирает, они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво.

В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал:

— Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно... Как это хорошо! Я очень рад за вас.

Травкин натянуто улыбнулся.

— Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?

— Нет, зачем... Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю.

— Да она любого полюбит,— сказал Травкин грубо.

Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал:

— Что вы, что вы... Как вы можете так думать? Неправда.

— Пора на ночные занятия,— прервал Травкин этот разговор.

Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеный ручей и целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода.

Мещерский все больше нравился Травкину, и он, одобрительно глядя на голубоглазого юношу, думал:

«Это будет орел...»

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Значит, завтра ночью выступаем. Дай бог, чтобы ночь была темная,— это для разведчиков главней всего,— разглагольствовал Мамочкин, рисуясь перед молодыми разведчиками.

Он порядочно выпил. Ввиду предстоящей операции он был отпущен Травкиным с переднего края отдыхать и сразу пошел к «своему» старику вдовцу. Он принес в овин крынку с медом, бутыль самогона, консервную банку с маслом, яйца и килограмма три вареной свиной колбасы. На робкие возражения старика по поводу размеров требуемой дани Мамочкин с некоторой грустью отвечал:

— Ничего, старик. Не исключена возможность, что я никогда больше не приду к тебе. Попаду же я, конечно, в рай. А там твою бабку встречу, расскажу, какой ты добрый человек. Ты лучше не спорь, я с тебя, может, последний взнос получаю...

В связи с особыми обстоятельствами Мамочкин решился даже рассекретить свою «базу». Он взял с собою Быкова и Семенова и, нагрузив их продуктами, самодовольно улыбался, ежеминутно спрашивая:

— Ну, как?

Семенов восхищался непостижимой, почти колдовской удачливостью Мамочкина:

— Вот здорово! Как ты это так?..

Быков же, догадываясь о том, что тут дело нечисто, говорил:

— Гляди, Мамочкин, лейтенант узнает.

Проходя мимо стариковa поля, Мамочкин покосился на «своих» лошадей, запряженных в плуг и борону. За лошадьми шли сын старика, сутулый молчаливый идиот, и сноха, красивая высокая баба.

Мамочкин обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Он вспомнил, что эта лошадь принадлежала той странной старухе, у которой взвод останавливался на отдых.

«Ну и ругается та божья старушка!» — промелькнуло в голове у Мамочкина, и он испытал даже нечто похожее на угрызения совести. Но теперь все это было уже не важно. Впереди — задание, и кто его знает, чем оно кончится.

Придя в овин, Мамочкин увидел Травкина, который сидел у старой молотилки с карандашом в руке, собираясь писать письма матери и сестре. Мамочкин вдруг побледнел и тихо подошел к лейтенанту. В глазах Мамочкина появилась необычная робость. Травкин с удивлением посмотрел на него.

— Товарищ лейтенант,— сказал Мамочкин,— а как рация? Будет с нами рация?

— Будет. Бражников пошел за ней.

— А радист?

— Я сам буду передавать радиограммы. Радиста брать не стоит. Еще трус попадется или вообще неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю немного.

— Ага...

Мамочкину явно не о чем было больше говорить, но он не уходил.

— Товарищ лейтенант,— промямлил он,— хотите свиной колбаски?

Он рассчитывал, что Травкин накинется на него: снова, мол, крестьян грабишь... Но Травкин коротко поблагодарил, отказался и снова принялся за письмо. Тогда Мамочкин решился. Внезапно дрогнувшим голосом он сказал:

— Товарищ лейтенант, не пишите письмо.

Травкин удивленно спросил:

— Что с тобой?

Мамочкин ответил скороговоркой:

— Вот так же, на молотилке, писал Марченко перед уходом. Это плохая примета. У нас на море рыбаки приметам верят... и, честное слово, правильно делают.

Травкин насмешливо, но мягко сказал:

— Брось, Мамочкин, эти бабьи сказки.

Когда Мамочкин отошел, Травкин снова взялся за карандаш, но тут его взгляд вдруг упал на темную кучу соломы неподалеку от выхода. У изголовья этой военной постели лежал небольшой, потемневший от времени, пота и непогоды вещевой мешок. То была постель Марченко.

Травкин так и не дописал письмо. Пришел Бражников, неся маленькую рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор Лихачев, Катя и два других радиста. Лихачев еще раз объяснил Травкину правила пользования кодированной картой и таблицей:

— Гляди, Травкин. Танки противника обозначаются цифрой 49, пехота — цифрой 21, а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: 49 квадрат Бык четыре. Если пехота, значит: 21 Бык четыре и так далее.

Они устроили последнее тренировочное занятие. Позывная разведгруппы была окончательно установлена: «Звезда»; позывная дивизии — «Земля».

В тишине овина раздались странные слова, полные таинственного значения. Разведчики, стоявшие молча вокруг Лихачева и Травкина, с невольным трепетом прислушивались к этому разговору.

— Земля, Земля. Слушай Звезду. Говорит Звезда. 21 Буйвол три. 21 Буйвол три. Прием.

И Лихачев, тоже взволнованный, замогильным голосом отвечал:

— Звезда, Звезда. Земля у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: 21 Буйвол три. Прием.

— Земля, у аппарата Звезда. Понял правильно. Дальше. 49 Тигр два.

Под темными сводами овина раздавался таинственный межпланетный разговор, и люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве. А ласточки, вьющие гнезда под крышей овина, весело шелестели крыльями, ведя свой семейный беззаботный разговор.

Напоследок Лихачев крепко пожал руку Травкина и спросил:

— Может, возьмешь все-таки с собой радиста? Ребята у меня хорошие и просятся в разведку. Сегодня я даже полу-

чил, — он улыбнулся немного сконфуженно, — докладную от младшего сержанта Симаковой, — она с тобой хочет идти.

Травкин нахмурился и сказал:

— Да что вы, товарищ майор, не нужно мне радиста. Не на прогулку идем.

Катя, услышав такой оскорбительный отказ в ответ на свою горячую просьбу, выбежала из овина. Она была глубоко уязвлена презрительными словами Травкина.

«Какой грубый, нехороший человек! — думала она о Травкине, и раздражение накипало в ней. — Только дура может полюбить такого...»

Проходя мимо блиндажа капитана Барашкина, она замедлила шаги. «Вот возьму назло и зайду». Она с внезапной приязнью вспомнила неотступные слащавые ухаживания Барашкина, его предупредительность, дрожащий тенорок и страшно обычные, но всегда приятные для одинокого сердца любовные объяснения. Даже его толстую тетрадь с выписанными в ней стишками и песнями она вспомнила теперь с теплым чувством. В Барашкине все было обычно, просто и ясно, и это казалось ей теперь именно тем самым, что нужно человеку для счастья.

Она зашла. Барашкин встретил ее немного удивленной, но довольной улыбкой. Он смутно подумал о том, что вот Травкин уходит и она, хитрая бабенка, решила пока хоть его, Барашкина, не упустить. Появилась и барашкинская заветная тетрадка — тут были и песенки из кинофильмов, и разные чувствительные романсы. Впрочем, Кате не пелось сегодня.

Барашкин всячески старался выжить из блиндажа переводчика Левина. Но когда Левин ушел и Барашкин, сладко улыбаясь, дрожащими руками обнял Катю, ей вдруг стало невыносимо противно, и, оттолкнув его, она выбежала из блиндажа в шумящий лес. Нет, это «обычное» уже было ей чуждо и отвратительно. Глаза ее были полны слез.

Травкин между тем имел весьма неприятный разговор.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, зашел в овин следователь прокуратуры капитан Еськин. Это уже был не межпланетный разговор. Следователь уселся с Травкиным за плащпалатками и стал подробно расспрашивать его: как и когда лошади были взяты, на каком основании взяты, когда и при каких обстоятельствах отосланы обратно и почему не получена назад расписка...

Травкин угрюмо, но обстоятельно рассказал, как было дело.

Когда речь зашла о расписке, он на минуту задумался, вспоминая. Ах да, двух лошадей, задержанных еще на сутки, отводил Мамочкин!

Он вызвал Мамочкина, но того в овине не оказалось. Следователь сказал, что придет позднее. Перед уходом он как бы невзначай оглядел овин, увидел белую скатерть, покрывающую постель Мамочкина в отличие от других постелей, покрытых плащ-палатками, ничего не сказал, ушел.

Когда Мамочкин появился в овине, Травкин вызвал его к себе, но в последний момент, пораздумав, ничего не спросил о лошадях: ведь Мамочкин должен был идти с ним выполнять задачу. Лейтенант спросил только, где пропадал Мамочкин последние два часа. Тот ответил, что у саперов. На этом разговор кончился.

Травкин вместе с Мещерским пошел в гости к Бугоркову. По дороге Мещерский, чем-то обеспокоенный, вдруг сказал:

— Травкин, как хотите, я пойду позову Катю. Вы не видели, а я видел. Мне очень ее жалко. Она ушла в ужасном состоянии. Ах, Травкин, вы напрасно обидели ее!

Он пришел в блиндаж к Бугоркову, ведя за руку совсем оробевшую Катю.

Она заметила виноватый взгляд Травкина, и это переполнило ее самыми радужными надеждами. Для Травкина вечер окончился неожиданным счастливым событием.

Оживленную беседу прервал запыхавшийся Бражников, вбежавший в блиндаж. Его глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные волосы падали ему на лоб.

— Товарищ лейтенант, вас зовут! Идемте скорее, там увидите.

Возле овина была радостная суета. Разведчики бросились к Травкину, крича:

— Смотрите, кто приехал!

Травкин остановился. Широко улыбаясь, поблескивая мудрыми глазками, к нему шел Аниканов. Не решаясь обнять лейтенанта, он затоптался на месте:

— Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал.

Ошеломленный, смотрел Травкин на Аниканова. Сказать он ничего не мог. Он вдруг ощутил огромное чувство облегчения. И в это мгновение он по-настоящему понял, в какой бездне сомнений и неуверенности находился последние недели.

— Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? — спросил он, когда они наконец уселись за столик.

Аниканов ответил:

— Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему.— Он помолчал, потом закончил, улыбнувшись: — А там видно будет.

Аниканову поднесли водки и закусить. Травкин с наслаждением смотрел, как он медленно ест — с чувством, но без жадности, с милой сердцу деревенской учтивостью. Так же медленно рассказал он, как, закончив посевную в подсобном хозяйстве запасного полка, попросился на фронт, и вот его и послали с маршевой ротой.

— Значит, идете к немцу в тыл? — переспросил он лейтенанта.— А кто с вами?

— Вот младший лейтенант Мещерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и Голубь.

— А Марченко, Марченко-то где?

Он осекся, увидя потемневшие лица окружающих. Узнав, в чем дело, он осторожно отодвинул тарелку, закрутил цигарку и сказал:

— Что ж... вечная ему память.

Замолчали. И тогда Травкин, исподлобья оглядев Аниканова, спросил:

— А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть?

Аниканов ответил не сразу. Ни на кого не глядя, но чувствуя, что окружающие его люди с напряжением ожидают ответа, он сказал:

— Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть написать, что не дезертир, дескать, сержант Аниканов. В общем, написать все, что нужно.

Мамочкин, стоя в дверях овина, слушал разговор со смешанным чувством восхищения и зависти. Так мог только Аниканов, это было ясно. Стоило отдать жизнь за то, чтобы оказаться в этот момент Аникановым.

Аниканов огляделся, увидел плащ-палатки на соломе, зеленые маскхалаты, кучу гранат в углу, висящие на гвоздях автоматы, ножи на поясах бойцов и подумал со вздохом философа и жизнезнавца: вот мы и дома.

Травкин, успокоенный и подобревший, развернул карту, чтобы объяснить Аниканову суть их задачи и план действий,

но посыльный из штаба, внезапно появившись в дверях овина, передал ему приказание идти к командиру дивизии. Поручив Мещерскому ввести Аниканова в курс дела, Травкин пошел к полковнику.

В избе комдива было темновато. Полковник Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад начальника штаба.

— Да ты в лаптях! — обратил он прежде всего внимание на необычную обувь Травкина.

— Привыкаю, товарищ полковник. У меня Семенов, рязанец, сплел лапти для моей группы. Бесшумно ходишь, и ногам легко.

Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмотрел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные ребята эти разведчики!

Полковник Сербиченко уже много раз отправлял людей на рискованные дела, но сегодня ему стало почти жалко этого Травкина. Он подумал о том, что вот полковник Семеркин был прав, но для армейских разведка — просто вид штабной службы со сводками, донесениями, картами обстановки и решением задач крупного масштаба. Для него же кое-что значил и этот человек в лаптях, в зеленом маскхалате, молодой, небритый, похожий на красавца лешего.

Его так и подмывало сказать Травкину то, что обычно говорят отец или мать, отправляя сына на опасное дело.

«Берегите себя,— сказал бы он Травкину,— дело делом, а не при на рожон. Будь осторожен, скоро войне конец».

Но он сам был когда-то разведчиком и прекрасно знал, что такого рода напутствия к добру не приводят,— они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей. При выполнении задачи люди многое могут забыть, но этих слов: «береги себя», сказанных старшим начальником, человек никогда не забудет,— а это почти наверняка провал всего дела. И полковник, пожав руку Травкину, сказал только:

— Смотри...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим началь-

никам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою *задачу*.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.

Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю. Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Аниканова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь — заместителем Травкина.

— Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются,— сказал он комдиву, и тот согласился с ним.

Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков, опечаленный Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом.

— Скорее бы войне конец,— ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина.

Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Отдаваясь судьбе, он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет.

На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка. Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали:

— Опять на работу?

— Опять,— скупо ответил Травкин.

В траншее его уже ожидали. Там были капитан Муштаков, капитан Гуревич и командиры двух минометных рот. Аниканов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали.

Капитан Гуревич уточнил взаимодействие:

— Значит, я делаю артналет по цели номер шесть для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер четыре. В случае вашей красной ракеты бью по целям два, три, четыре, пять, семь и прикрываю ваш отход.

— Минометчики пристрелялись? — спросил Травкин.

— Да, все готово,— заверили минометчики.

— Готовы и мои пулеметы на всякий случай,— сказал Муштаков.

Все были заметно взволнованы.

Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты.

Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал:

— Слушайте боевой приказ.

Разведчики медленно встали.

— Противник обороняет этот участок силами Сто тридцать первой пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные командованию по радио.

Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аниканова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов.

Оставшиеся в траншее постояли несколько минут неподвижно. Затем Гуревич, вдруг длинно и замысловато выругавшись, попросил Муштакова дать ему водки и действительно вы-

пил, гадливо морщась, полный стакан. Гуревич никогда не ругался и никогда не пил водки. Муштаков удивился, но промолчал.

А Травкин между тем остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, с шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла так же внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки. Следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и переждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом.

Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблюдении, саперы остановились. Тут начинались минные поля.

Щупая землю длинными шестами и прислушиваясь к миноискателю, висевшему на груди у одного из них, саперы медленно пошли вперед.

Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, и им казалось, что их видит весь мир в этом страшном безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина.

Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная очередь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел «максимка», и пули его, последний привет от своих, прошелестели где-то справа.

Передний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним.

— Давай,— шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами, и тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль.

В свете ракеты Травкин разглядел немецкий бруствер, какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных снарядами дерева: его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо.

Компас в наступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут.

Вокруг стояла ночная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана. Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти «домой».

Один из них на прощание крепко пожал руку Травкина. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные добрые впадины глаз. «Меджидов,— узнал его Травкин,— лучший сапер дивизии. Бугорков не поскупился».

Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли: слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа.

«Гуревич дает»,— подумал Травкин.

Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин затаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел. Слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз.

Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее.

Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувствовал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес.

Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находился немецкий пулеметный дзот. Оттуда доносятся голоса о чем-то горячо спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги — бугор с двумя соснами, а слева от бугра — болотистая низина. По этой низине и нужно пройти.

Через час разведчики углубились в лес.

Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в тьму. То и дело к ним подходили Муштаков или Гуревич, негромко спрашивая:

— Ну, как?

Нет, красная ракета — сигнал «обнаружены, отходим» — не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, по-видимому, обычная стрельба «на бога». Мещерский, Бугорков, оба капитана и дежурящие в траншее молчаливые солдаты пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего.

— Черт возьми! — восхищенно сказал Муштаков. — Как лешие.

— Прошли, кажется,— облегченно вздохнул Мещерский и вдруг почувствовал, что он весь в поту.

Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб полка. Телефонист не без волнения сказал:

— С вами будет говорить шестьсот.

Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глубокий голос полковника Сербиченко:

— Ну, как Травкин?

— Кажется, все в порядке, товарищ шестьсот.

— Значит, у тебя тихо?

— Тихо, товарищ шестьсот.

— Люди Бугоркова еще не вернулись?

— Нет еще, товарищ шестьсот.

Комдив секунду помедлил, потом сказал:

— Что ж, хорошо. Иди спать, Муштаков.

— Есть идти спать.

Потом снова, после некоторого молчания:

— Значит, немец спокоен?

— Тишина.

— Ракеты?

— Да, но не очень часто.

— Постреливает?

— Временами.

— Но не так, чтобы?..

— Нет, нет, товарищ шестьсот. Нормально, как всегда.

Положив трубку, Муштаков сказал:

— Тревожится старик.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетанья.

Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами: куда ни глянь — огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые пароконные повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев, в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая.

Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку.

Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше.

Нужно поскорей выбраться из этого леса.

Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали, как Травкин и предполагал, за своих. Так они, ползая, притворяясь спящими немцами и снова ползая, выбрались из леса, и на опушке их застал этот туманный рассвет.

Тут случилось нечто страшное. Они буквально напоролись на трех немцев, на трех неспавших немцев. Эти трое полулежали на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяла, разговаривали между собой. Один из них, случайно бросив взгляд на ближнюю опушку, остолбенел. По тропе, совершенно бесшумно и не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шли семь необычно одетых людей,— не людей, а семь теней в

зеленых балахонах, со смертельно серьезными, до жути бледными, почти зелеными лицами.

Нездешний вид этих зеленых теней, а может быть, неясные очертания их фигур в утреннем тумане произвели на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Он сразу даже не подумал о русских, не связал это видение с мыслью о противнике.

— Grüne Gespenster,— испуганно пробормотал он,— зеленые призраки...

Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделали хоть малейшее движение удивления или испуга, хоть малейшую попытку к нападению или защите, немцы, вероятно, подняли бы тревогу, и эта туманная лесная опушка превратилась бы в арену короткой и кровавой схватки, где все преимущества были на стороне многочисленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что, пока его видят только три немца, ему нет никакого расчета первому лезть в драку, а достигнув ближайшей рощи, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастись даже в том случае, если эти трое поднимут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстинктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки: она сразу поймет твой страх и подымет оглушительный лай.

Разведчики прошли ровным, неспешным шагом мимо оторопевших немцев. Скрывшись в роще, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рощу, очутились на лугу и, вспугнув болотных птиц, углубились в следующую рощу. Здесь они отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные, они уселись на траву, закурили, и Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот:

— Чуть не попались.

И улыбнулся. Ему трудно было говорить, язык не поворачивался,— так отвык он разговаривать за эту ночь.

Они имели удовольствие видеть, как человек десять немцев цепочкой осторожно прочесали оставленную разведчиками рощу и, вышедши на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись,— очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки,— покурили и ушли.

Новички — Семенов и Голубь — смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за новичками. Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел два ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга.

Мамочкин не мог не оценить железной выдержки Травкина и вдруг впервые за последние дни преисполнился уверенности в успехе опасного предприятия. Он вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она просила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыбаясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил:

— Не сомневайся, Катюша. С Мамочкиным твой лейтенант — как в Государственном банке.

«Пожалуй, наоборот, с этим лейтенантом Мамочкину не пропасть»,— сознался теперь перед своей совестью Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, снова слегка нахальными глазами. Он роздал всем по куску колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и налил ему из фляги целую кружку самогону.

Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и передал первую радиограмму.

Он долго не мог добиться ответа, в эфире раздавался треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и музыки, а по соседству со своей волной он уловил твердую и властную немецкую речь. Услышав ее, Травкин невольно вздрогнул — такое близкое соседство волн, казалось, может открыть немцу тайну Звезды.

Наконец он услышал неявственный отклик, голос, твердивший одно и то же слово:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

И Травкин и далекий радист Земли — оба радостно вскрикнули.

— Передаю,— сказал Травкин.— 21 Филин два. 21 Филин два.

Далекая Земля, помолчав, сообщила, что она поняла. Хорошо поняла.

— Много, очень много двадцать один,— твердил Травкин,— только что прибывшая двадцать один.

Земля и это поняла и повторила, как эхо:

— Много, очень много двадцать один.

Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах,— нет, так стоит жить!

Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи, от каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на Земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой Звезде, они и он составляли одно целое.

Травкин был доволен собой,— собой, увеличенным в семь раз.

Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железная и шоссейная дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают.

Однако, очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темно-зеленые, а черные мундиры, грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.

За эсэсовским отрядом проследовал обоз из двадцати огромных повозок, доверху нагруженных кладью.

Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой, замаскированные, стояли гусеничные бронетранспортеры, двенадцать штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки — одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте.

Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрели на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами.

В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки — следы чужой, ненавистной жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра 5 и буква W. Повсюду был запах немца, фрица, ганса, германца, фашиста,— запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты, днем двигаться было невозможно: кругом полно немцев, горланящих, спящих, идущих и едущих, полно *сосредоточивающихся немецких войск.*

Травкин, да и все разведчики понимали, что противник что-то готовит, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Они, может быть впервые, поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности. Передремав в небольшом яру остаток дня, разведчики к ночи двинулись дальше.

Вскоре они вышли в красивую озерную местность. Здесь простирались озера, большие и маленькие, прохладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые кваканьем лягушек.

В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом. Из дома доносилась немецкая речь. Правее проходил неширокий проселок, а на горизонте, между телеграфных столбов,— шлях.

Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком. Стоило понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться с прежней интенсивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия, общей численностью двадцать четыре ствола.

Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком, остальные разведчики дежурили по очереди: одни спали, другие вместе с Травкиным вели счет проходящей мимо немецкой силе.

— Товарищ лейтенант,— вдруг вынырнул из мрака Мамочкин,— там на проселке немецкая подвода и всего два немца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без выстрела кончим.

Травкин осторожно пошел за ним и действительно увидел на проселочной дороге медленно двигавшуюся повозку. Два немца курили и лениво переговаривались. В подводе похрюки-

вала свинья. Да, заманчиво было уложить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без сожаления махнул Травкин рукой:

— Пускай едут.

Мамочкин даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств он был настроен очень воинственно и хотел показать разведчикам, а особенно Аниканову, свою прыть.

«И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шныряют «языки»!»

Медленно наступал рассвет, и движение по шляху прекратилось.

— Движутся только ночью,— заметил Аниканов,— хоронятся от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи.

Травкин снова повел своих людей в густой орешник, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороны дома на озере раздался протяжный не то стон, не то крик.

Сам не зная почему, Травкин вдруг вспомнил о Марченко. Крик раздался снова, потом все утихло.

— Пойду посмотрю, что там такое,— предложил Бражников.

— Не надо,— сказал Травкин,— светает.

Действительно, уже светало. По озеру пошли красноватые блики. Пожевав сухари с колбасой, которую Мамочкин извлек из своих бездонных карманов, разведчики снова впали в дремоту.

Травкину не спалось. Он пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти на самом берегу. Дом на озере просыпался. По двору сновали люди.

Вскоре из ворот вышли трое. Один из них, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медленно удаляться от дома. Поднявшись на пригорок, он повернулся к оставшимся у калитки, махнул им рукой и быстро пошел по проселочной дороге. В этот момент Травкин заметил ранец на спине немца и белую повязку на его левой руке.

Мысль о том, что этого немца следует захватить, пришла Травкину сразу. Эта была даже не мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одном лишь взгляде на всякого немца. А затем Травкин неожиданно понял, какая связь между забинтованной рукой этого немца и ночными воплями, испугавшими разведчиков. Дом на озере служил госпиталем. Длинный немец, шагающий по проселку, выписан из

госпиталя и направляется в свою часть. *Этого немца искать никто не будет.*

Аниканов и Мамочкин не спали. Подойдя к ним и указывая рукой на мелькнувшую среди редких деревьев долговязую фигуру, Травкин сказал:

— Этого фрица нужно взять.

Оба были удивлены. Лейтенант, обычно такой осторожный, приказывает взять немца среди бела дня. Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил:

— Там госпиталь.

Они заметили мелькнувшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда поняли.

Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес наперерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку и, видимо, наслаждаясь весенним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький Голубь, берущий «языка» впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрица. Того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный Голубь успел опомниться.

В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку из его рта. Немец застонал. Травкин спросил, твердо, по-русски выговаривая слова:

— Zu welchem Truppenteil gehören Sie? [1]

— 131 Infanterie-Division, Pionier-Companie [2],— ответил немец.

Это была известная разведчикам пехотная дивизия, стоящая на переднем крае.

Травкин присмотрелся к пленнику. То был молодой человек лет двадцати пяти, белесый, с водянистыми голубоватыми глазами, типичными для немецких лиц.

Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос:

— Haben Sie hier SS-Leute gesehen? [3]

— O, ja,— ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских.— Eine ganze Menge, überall [4].

[1] Ваша воинская часть? *(Перевод иностранного текста и примечания принадлежат автору.)*

[2] 131-я пехотная дивизия, саперная рота.

[3] Эсэсовцев вы тут видели?

[4] О да, их здесь очень много, везде.

— Was sind das für Truppenteile? [1] — спросил Травкин.

— Die Panzerdivision «Wiking». Eine sehr berühmte, starke Division Himmlers Elite [2].

— А...— произнес Травкин.

Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского, с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду: неужели этот славный юноша прикажет его убить?

Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо кончать. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу:

— Herr Kommunist, Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir, ich schwöre bin kein Nazi. Bin selbst Arbeiter und Arbeitersohn [3].

Аниканов примерно понял сказанное немцем. Он знал слово «арбайтер».

— Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий,— задумчиво сказал Аниканов.— Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки...

Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям, но этого наборщика из Лейпцига надо было убить.

Немец почувствовал и эту жалость и эту непреклонность в глазах Травкина. То был неглупый немец: будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего, с большими жалостливыми и непреклонными глазами.

---

[1] А что это за части?

[2] Эсэсовская танковая дивизия «Викинг». Знаменитая, сильная дивизия. Отборные части Гиммлера.

[3] Господин коммунист, товарищ, я рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не национал-социалист. Я рабочий и сын рабочего.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней временами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили *задачей* и думали только о ней.

Впереди двигались Аниканов с Голубем, метрах в сорока позади — Травкин и Семенов с радиостанцией, слева, почти по обочине проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги,— Мамочкин и Быков, а справа, охраняя группу со стороны леса,— Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин являлся центром основания, а Аниканов — вершиной. Иногда, почуяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней, люди останавливались и прислушивались к ночным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали.

По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось — стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты.

Травкин твердо решил больше «языков» не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полузадушенный вскрик — и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредоточивается танковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и ее намерений. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии, но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции.

Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум, затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил:

— Тут немец один лежит возле дороги. Пьяный как сапожник...

При одном взгляде на «пьяного» немца Травкин понял, в чем дело. Немец неосторожно углубился в чащу, был оглушен, сбит с ног и обезоружен Мамочкиным.

Мамочкин сконфуженно оправдывался:

— Он так и пер на меня. Что мне было делать?

Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного на руки и нырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища:

— У-ух!.. У-ху!..

— Виллибальд! Виллибальд!

— Герр Беннеке!..

Пленного уложили на траву возле озерца, Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг «своего» немца, расхваливая его на все лады:

— Ну, это настоящий эсэсовец, этот все знает... Глядите, товарищ лейтенант,— офицер, ей-богу, офицер!

Юра Голубь с любопытством оглядывал немца, досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал:

— Все берут «языка», а мне все не попадается.

— Ничего, Голубок,— тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорил Аниканов.— Этого добра здесь много. Успеешь.

На Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера[1]. Дрожа и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в девятом мотополку «Вестланд» пятой танковой дивизии СС «Викинг»,— то есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из трех батальонов, по четыре роты в каждом, в «ротах тяжелого оружия» имеются шести- и десятиствольные минометы. Танков в полку нет, а есть ли в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, но названия деревни он не помнит, потому что не в состоянии запоминать русские и польские названия. Он помнит только «Москау» и «Варшау»,— заявил он со странным вызовом.

Получив удар по лицу от своего «покровителя» Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти: как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина.

Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался

[1] Обер-фельдфебель войск СС.

с Землей. Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им.

По голосам с Земли Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.

— Мы горячо обнимаем вас,— закончила она дрожащим от волнения и гордости за его успех голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?

— Я понял вас,— ответил он.

К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в семи километрах от нужной им станции. Полустанок этот — одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет,— был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик невдалеке от полустанка. Это немцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан.

На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигая леса, из которого в этот ранний час выползли разведчики. В глубокой тишине слышались звонки телефонного аппарата в помещении станции и грубый немецкий голос.

Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки.

Аниканов, остановив разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки.

Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину.

— Грузиться пришли,— сказал Аниканов,— ждут поезда.

Решил дождаться поезда и Травкин, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станционной будки высыпали заспанные шоферы и стали расходиться по машинам, лениво галдя.

Из обрывков разговоров, хорошо слышных в тишине утра, Травкин уловил, что машины будут грузиться не здесь, а на станции, и сейчас тронутся в путь. Подумав мгновение, он решил послать на станцию только двух разведчиков, остальные

же будут дожидаться здесь. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми людьми.

Он выделил для этой цели Аниканова и Быкова, а после многократных просьб Юры Голубя назначил его третьим.

— На попутных поедем, что ли? — спросил Аниканов деловито.

Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат на изготовку.

Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел.

Колонна двигалась по лесной дороге. Машины подскакивали на выбоинах. Так они ехали минут пятнадцать. Вдруг шофер затормозил.

Аниканов услышал немецкий говор и увидел фигуры двух уцепившихся за борт, а затем прыгнувших в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, видимо, были не склонны пачкать черные эсэсовские мундиры в мучной пыли и так и остались сидеть на заднем борту, держась подальше от мешков. Все же это было неприятное соседство. Машину подкидывало, и под мешками то и дело обозначались очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспокоиться. Непрошеные попутчики, возможно, собрались ехать до самой станции, а это грозило серьезными осложнениями.

Но вот раздался страшный шум, грузовик остановился, вокруг него поднялась суета, и немцы, сидевшие на борту, быстро спрыгнули на землю.

Тотчас же Аниканов услышал ровное гудение моторов. Он тоже инстинктивно пригнул голову, но вдруг, улыбнувшись, понял: это же наши!

И он весело, как будто советская бомба не в силах причинить вред своим, сказал выглянувшим из-под мешков товарищам:

— Ребята, наши летят.

Самолетов было шесть, они делали низкие круги над лесом, угрожающе рокоча.

Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаще. Явственно доносились тревожные гудки паровозов. Станция была близко.

— За мной! — скомандовал Аникапов, и они спрыгнули.

Юркнув между машинами, разведчики очутились в кювете и, вынырнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежащий там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал:

— Fallschirmjäger! [1]

Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики ответили несколькими автоматными очередями.

Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо Голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос.

— Того немца можно было схватить...— сказал он, лежа на широкой спине Аниканова.

Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь, ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еще раз, увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились, не переставая, слезы.

В лесу начиналась гроза. Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобно стайкам мышей.

Неподвижно сидя перед умирающим Голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего — на этот раз с Мамочкиным — к станции. Нет, Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но Голубя, еще живого, нельзя было здесь оставить одного, а дело надо делать.

Он попытался связаться с Землей, но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды. Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивая.

Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяжелые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте.

Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к станционным постройкам. При свете часто вспыхивающих молний они увидели два груженых состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков.

[1] Парашютисты!

Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группу крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок:

— Ось, бисови души, никуды не пускають...

Аниканов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, Голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?..

Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление. А где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии.

«Ну вот они, немцы, ходят,— думал Аниканов.— А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какого-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком».

Внимание Аниканова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности,— они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легковой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза. Ежась под потоками дождя, Аниканов подумал про Голубя: жив ли он еще? Лежит, бедняга, под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах.

— Возьмем офицера? — спросил Аниканов Мамочкина.

Тот сказал:

— А лейтенант? Он не говорил, чтобы «языка» брать.

Аниканов внимательно поглядел в лицо товарища.

— Мы это мигом обтяпаем,— ласково сказал он,— а потом домой сразу.

Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев. И среди этих сотен захватить — вдвоем — офицера?.. Его затрясло. А Аниканов все так же внимательно смотрел на него, повторяя:

— Да мы это мигом...

Мамочкин отчаянно махнул рукой и вдруг, набрав в легкие воздуха, приподнялся. В восторге от себя самого, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке:

—Давай, Ваня... Давай! Ладно, Ваня. Сделаем. Неужели не сделаем?

Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил, стекая по полированному кузову машины.

— Один из этих фрицев — генерал, по-моему,— взвинчивая себя, шептал Мамочкин.

— Ясно, генерал,— успокаивающе бормотал Аниканов. Прошло не меньше часа, прежде чем послышались шаги и один из офицеров сказал:

— Wir fahren sofort [1].

Он упал, получив от Аниканова удар ножом в грудь. А второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно вздымающейся груди Мамочкина, потерял сознание.

Немцы вокруг все так же сновали от пакгаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пятая танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска.

Под командованием группенфюрера (генерал-лейтенанта войск СС) Герберта Гилле дивизия в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка, во всем блеске своей первокласснейшей техники, тайно сосредоточилась в этих огромных лесах, с тем чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленить русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стырь.

Последнее время дивизия с обычной своей свирепостью усмиряла непокорную Югославию.

Получив сильное пополнение в людях и шестьдесят танков нового типа «тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался как о «короле танков», дивизия насчитывала пятнадцать тысяч человек. Полками командовали неоднократно отмеченный фюрером штандартенфюрер Мюлленкамп, бывший личный адъютант Гитлера штандартенфюрер Гаргайс и другие

[1] Едем сейчас же.

гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистской и военной иерархии, удачливые и безжалостные интриганы.

Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев.

Вся эта операция проводилась в глубокой тайне.

— Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству,— сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон дем Бах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауен-инзель близ Берлина.— Последствия, партайгеноссе Гилле, вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев... Фюрер придает вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западнее города Ковель, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полный уверенности в успехе порученной ему операции. Конечно, он знал, что его дивизия — совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году. Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи. Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины Черного корпуса, были уже не те чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно.

Группенфюрер с ужасом заметил во время смотра мотополка «Германия» несколько одноглазых, хромых и даже одного горбуна, а маленьких, щуплых солдат — больше половины полка. Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские ландскнехты, которые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и дорвались до Кавказского хребта.

Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена, кажущиеся теперь уже такими далекими. Больше всего понра-

вился ему Кавказ — эта прекрасная южная местность была красивее и величественнее Швейцарии. Господин группенфюрер одно время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных горных областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств, мечты эти пришлось вскоре оставить.

Странно, но беспокойство завладело им в этот весенний день с самого утра. Прежде всего появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса, много раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась над главной станцией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усиленной разведки русскими этих мест.

Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищен с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и один из храбрейших воинов мотополка «Вестланд». После долгих поисков труп его обнаружили в маленьком озере, в восьми километрах от местопребывания штаба дивизии. Господин гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждена тяжелым предметом.

Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой налет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлен группенфюрером в связь с убийством Беннеке. Он срочно перевел свой штаб в лес и велел окружить его тремя рядами колючей проволоки.

К вечеру, в то время когда штабс-арцт Линдеманн докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка «Вестланд» доложили, что недалеко от имевшего место прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом-Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике, под кучей веток, тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотной дивизии Карла Гилле (однофамильца командира дивизии «Викинг», что неприятно поразило господина группенфюрера).

Несколько позднее позвонил по телефону командир мотополка «Германия» штандартенфюрер Мюлленкамп, доложивший, что в имевшей место перестрелке его солдат с неизвестными, таинственными, одетыми в зеленое людьми ранены двое рядовых — Гесснер и Мейсснер, причем первый, видимо, смер-

тельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны... снегом.

Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона — роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии.

Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (grüne Gespenster) или «зеленых дьяволах» (grüne Teufel), появившихся в здешних местах.

Группенфюрер Гилле не верил в трансцендентальность этих призраков. Он втолковал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке «призраков».

Ночью на самой станции, где сгружался в то время танковый полк, часа через два после посещения станции самим группенфюрером, был убит штурмбаннфюрер[1] Дилле (эта созвучность с его собственной фамилией снова покоробила господина Гилле) и похищен оберштурмфюрер[2] Артур Вендель, один из руководителей квартирмейстерского отдела дивизии. Бедный господин Дилле убит ударом ножа, причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело штурмбаннфюрера насквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат.

Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на пятнадцать суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников.

Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее скорее всего из-за ветхости железнодорожного полотна, отравление трех солдат полка «Германия» недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии,— все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку от реальных фактов.

Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер

---

[1] Майор войск СС.
[2] Обер-лейтенант войск СС.

приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армии генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение («Einheit») разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизией удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг» и, что вполне вероятно, выведать кое-что о целях и задачах перегруппировки.

Подумав, господин группенфюрер написал также частное письмо обергруппенфюреру фон дем Баху в Берлин, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле.

В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок.

Капитан Вернер сообщал о только что разыгравшемся бое взвода солдат с «зелеными призраками». Взвод этот под командой унтерштурмфюрера[1] Альтенберга, прочесывая согласно приказу командира дивизии окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера «зеленые призраки» были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат, убежать. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге и началась настоящая травля «зеленых призраков», которая, надо надеяться, окончится их поимкой или уничтожением; во-вторых, один из этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению.

Гилле, подумав, приказал подать машину и в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия.

На опушке леса, возле догорающего сарая, группенфюрера встретили капитан Вернер и эсэсовцы из разведывательного отряда.

Не ответив на приветствия, Гилле молча подошел к убитому врагу. Это был молодой русский, не старше двадцати трех лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми

[1] Лейтенант войск СС.

мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой («боевая летняя форма советских разведчиков»,— определил группенфюрер) была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонами советского младшего сержанта.

Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали восемь эсэсовцев. Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что пятеро из этих восьми — низкорослые, щуплые... И это солдаты Черного корпуса — СС!..

Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их перекличку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими учениями.

К вечеру четвертого дня пребывания в немецком тылу разведчики набрели на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а кстати связаться по радио с Землей. Из-за предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забрались по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая.

Приладив рацию и даже успев обменяться с Землей позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек двадцать эсэсовских солдат.

Травкин разбудил только что заснувших тяжелым сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй, было уже слишком поздно. Эсэсовцы приближались. Четверо вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, и один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь.

Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде. Они были страшны. Обросшие, худые, с ввалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала, немец тихо ругался.

Раздался страшный грохот. Это Аникапов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоящих кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскроив автоматом показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень.

С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном, с точки зрения разведчика, замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоящих снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко,— напуганные взрывом, они вообще в темноте не разобрали, в чем дело.

Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. О Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая.

Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему лесу. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненный в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее.

Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы наконец сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени.

Шум погони приутих, раненым наскоро сделали перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ею во все стороны. Самогону оставалось самая малость. Он отдал флягу Аниканову.

Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам.

Они медленно шли, шатаясь, как пьяные.

Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал:

— Прошу у вас прощения, товарищ лейтенант.

Покаянно бия себя в грудь, а может быть, и плача — в темноте не разобрать,— он хрипло, вполголоса заговорил:

— Из-за меня, все из-за меня. Недаром рыбаки у нас приметам верят. Почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревню, а внаем сдал, за продукты...

Травкин молчал.

— Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым...

— Придешь здоровым — пойдешь в штрафную роту,— сказал Травкин.

— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что все равно вы так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви.

Звуки погони раздались совсем рядом. Разведчики притаились. С грохотом пронеслись мимо два броневика. Потом стало тихо, и люди пошли дальше. Впереди темнела массивная фигура Аникапова. Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, он медленно шел вперед, огромным усилием воли отгоняя от себя туман полузабытья, одолевавший его.

И может быть, только он, во всеоружии своего жизненного опыта, догадывался, что наступившая тишина обманчива. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской дивизии «Викинг», передовые роты подходящей ускоренным маршем 342-й гренадерской дивизии и тыловые части 131-й пехотной дивизии подняты на ноги в погоне за ними; он не знал, что телефоны неустанно звонят, что рации непрерывно разговаривают жестким шифрованным языком, но он чувствовал, что вокруг них все уже и уже стягивается петля огромной облавы.

Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. И машины, и танки, и бронетранспортеры, и тот эсэсовец с грозно поблескивающим пенсне, и те немцы в подводе с живой свиньей, и все эти немцы вообще — жрущие, горланящие, загадившие окружающие леса, все эти Гилле, Мюлленкампы, Гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы — идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рация, работающая со Звездой, стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжкой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошалело спрашивал дежурного радиста:

— Говорит, кажется?

Радистов работало трое. Но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну Звезды, выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

По соседству с волной Звезды кто-то без умолку бубнил по-немецки, а чуть подальше говорила, пела и играла на скрипке Москва — вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая.

По нескольку раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От овина к блиндажу и обратно сновали разведчики. Ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил.

Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут забегал и капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштаков и Гуревич.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами, в блиндаж вошел следователь прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского:

— Вы командир разведчиков?

— Временно замещаю его.

Следователь сказал, что он должен допросить несколько лиц по делу о незаконно взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения.

— Так вот,— продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского,— мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина.

— Их сейчас здесь нет,— уже нетерпеливо возразил Мещерский.

— Никого из них?

— Никого.

Следователь с минуту подумал.

— А я должен с ними поговорить,— сказал он.— Скоро ли они вернутся?

— Не знаю,— ответил Мещерский медленно.

Катя, внезапно встав с места, сказала:

— А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их.

— А где они находятся? — спросил следователь.

— В тылу у немцев.

Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами.

Она со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд.

Мещерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство идти к немцам в тыл для допроса — и он пойдет.

На третьи сутки Звезда заговорила,— вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял:

— Здесь сосредоточивается пятая танковая дивизия СС «Викинг». Пленный девятого мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредоточивается пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Затем он сообщил состав полка «Вестланд», местопребывание штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз:

— Здесь сосредоточивается, тайно сосредоточивается пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Сообщение Травкина наделало шума в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии.

Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он

сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца»,— говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на опасный участок.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку, как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал энской армии несколько танковых и артиллерийских частей.

Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия «Викинг», и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу. И было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько артдивизий РГК[1].

Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле: до самого Берлина и до самой Москвы.

Ближайшим следствием этих событий для дивизии было: прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики.

Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугорков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровел, как всегда перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он

[1] Резерв Главного Командования.

только что прибывшие новые карты, обнимающие почти всю Польшу, вплоть до Вислы. В этих далеких краях он побывал однажды в 1920 году в составе Первой конной армии Буденного.

В уединенном блиндаже оставалась только Катя.

Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он «я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступней простым, человеческим чувствам, что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает — это слово она даже произносила вслух — невесте героя.

А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно, весело и печально, смотря по настроению:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

Через два дня после того разговора Звезда вдруг снова отозвалась:

— Земля. Земля. Я Звезда. Слышишь ли ты меня? Я Звезда.

— Звезда, Звезда! — громко закричала Катя.— Я Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя.

Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и приготовилась записывать. Однако Звезда на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но Звезда молчала.

Молчала Звезда и на следующий день и позднее. Изредка в блиндаж заходили то Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич — новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но Звезда молчала.

Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку рации. Ей мерещились какие-то странные сны, видения, Травкин с очень бледным лицом в зеленом маскхалате, Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице, ее брат Леня — тоже почему-то в зеленом маскхалате. Она опоминалась, дрожа от

ужаса, что могла пропустить мимо ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:

— Звезда. Звезда. Звезда.

До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения.

В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у рации не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.

Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, только что полученное с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник,— с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал двенадцатилетним мальчиком? Она нашла эти чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними.

Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:

— Скорей бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать.

И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у аппарата, и ее бесконечные вызовы Звезды. Звезда закатилась и погасла. Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов?

И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле.

Генерал-майор Сербиченко догнал на своем «виллисе» группу разведчиков. В зеленых маскхалатах, друг за дружкой, шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые

в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей и лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

В идущем впереди разведчике генерал узнал лейтенанта Мещерского. Остановив машину и просветлев, как всегда при виде разведчиков, генерал спросил:

— Ну что, орлы? Варшава на горизонте. А видали, до Берлина пятьсот километров осталось! Чепуха. Скоро там будем.

Он внимательно разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой:

— Ну, счастливо, разведчики!

Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь.

*1946*

# ДВОЕ В СТЕПИ

*Повесть*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Армия отступала по необозримым степям, и вчерашние крестьяне равнодушно топтали спелую пшеницу, которая валялась повсюду запыленная, избитая, изломанная.

Странную картину являл наблюдателю вид отступающих армий. Люди уходили с мрачными лицами, но как-то по-хозяйски медленно. В их глазах была тоска, но она не проявляла себя ни в горестных возгласах, ни в возбужденных жестах. Попросту говоря, знали, что придется возвращаться, а чем дальше уходишь на восток, тем длиннее будет путь обратно.

Если бы какой-нибудь прозорливый немецкий разведчик мог наблюдать происходящее и разобраться в природе этой угрюмой и упрямой уверенности, его затрясло бы от страха.

Лишь машины, отставшие от своих частей, да беженцы с детьми, подгоняющие хворостинами коров, придавали тяжеловесному ходу отступления черты сумятицы и растерянности. В станицах у плетней стояли бабы и старики. Некоторые из них плакали и бросали солдатам слова горькой укоризны. Солдаты же в ответ только отводили глаза, тая про себя думы о будущем и добела накаляясь той молчаливой яростью, которая сильнее самых сильных слов.

Лейтенант Огарков, верхом на белом коне, обогнал идущих по дороге солдат и вскоре миновал небольшую возвышенность, на склоне которой полуголые люди, обливаясь потом, рыли новый оборонительный рубеж.

Лейтенант был горд собой и своим белым конем. Несмотря на все, что творилось вокруг, и на гнетущую тревогу, витающую над степью, он не мог, по молодости лет, не любоваться тем, что именно он, Огарков, а не кто-нибудь другой, мчится

по степи на белом коне, оставляя за собой струйку серой пыли. Лейтенант старался придать своему румяному безусому лицу важный и серьезный вид, чтобы люди, идущие по дороге, не считали его испуганным и жалким беглецом, стремящимся оказаться подальше от немца, а понимали, что он едет с важным и ответственным поручением.

К вечеру он достиг своей цели — деревни, где расположился штаб армии. Ему указали избу оперативного отдела, и он, спешившись, вошел в темные сени, ощупью нашел щеколду, открыл дверь и очутился перед двумя майорами, из которых один говорил с кем-то по радио, а другой, с красной нарукавной повязкой, кричал в телефонную трубку.

Лейтенант доложил о своем приезде.

Майор с нарукавной повязкой, положив трубку, просмотрел документы Огаркова и сказал:

— Офицеры связи помещаются в соседней избе. Можете там отдыхать, но будьте наготове.

Огарков отправился в соседнюю избу. Она была битком набита офицерами связи и ординарцами. Все они сидели вокруг стола и ели кашу из пшенного концентрата, запивая молоком. Нового товарища офицеры встретили радушно, объяснили, куда утром сдать продаттестат, и пригласили ужинать. Один из офицеров, высокий тонколицый лейтенант с усиками, рассказывал об уничтожении группы немецких мотоциклистов, прорвавшихся было к самому штабу дивизии.

— Если на них поднажать,— с жаром говорил он,— они так бегут, что одно удовольствие.

— Танков у них много,— сказал кто-то из полутьмы.

— Только этим и берут,— отозвался еще кто-то.

Огарков, молодой и робкий, не участвовал в разговоре. Он посидел на лавке, пересчитал офицеров и ординарцев и пришел к горестному выводу, что только он один приехал без ординарца. Вспомнив о своем коне, привязанном к тыну возле избы, он тихонько встал, подошел к печи, у которой возилась старуха хозяйка, и спросил, есть ли у нее стойло, куда лошадь поставить. Старуха вытерла маленькие темные руки о передник и вышла с Огарковым во двор. Спускались сумерки, двор был полон запахов прелого сена и навоза. В темной конюшне позвякивали уздечками кони. Привязав там своего белого, Огарков подумал, что следует его напоить, и сказал об этом старухе. Та сочувственно спросила:

— Городской?

— Да,— ответил Огарков, недоумевая, почему хозяйка сразу поняла это. Он, наоборот, думал, что выглядит как заправский казак.

Она пошла в избу и вскоре вернулась с ведром. Пока он раскручивал ворот, опуская ведро в глубь пахнущего сыростью колодца, старуха тихо говорила:

— Неужто и сюда он дойдет? Господи, что же это такое? Неужто он такой сильный, что даже русские не в силах с ним сладить?

— Почему не в силах? — сказал Огарков.— Мы сладим.

Ответ его, видимо, не показался ей слишком убедительным, и она повторила, обращаясь не к нему, а к бескрайней степи с тем же трудным вопросом:

— Неужто дойдет?..

— Сам я недавно из военного училища, всего месяц,— сказал он, словно желая этим фактом объяснить причины отступления, и, помолчав, добавил: — Все равно им конец, при всех обстоятельствах. Даже если они пустят отравляющие вещества, газы...

— А зачем ему газы? — тоскливо сказала старуха, сжав на груди руки и глядя вдаль на зажигающиеся в небе звезды.— Ему газы ни к чему, раз он вас и так гонит...

Ведро, расплескивая воду, медленно подымалось наверх.

Разговор со старухой угнетающе подействовал на лейтенанта, однако он скоро о нем забыл. В избе офицеры связи все еще толковали о немцах, честили их по-всякому и предсказывали им решительное поражение на Дону. Наиболее оптимистически был настроен тот лейтенант с усиками, которого звали Синяевым.

— Они скоро выдохнутся,— говорил он убежденно,— силенок не хватит... Зарвались слишком.

Огарков лег на койку.

— Вы разуйтесь, лейтенант,— сказал ему Синяев.— Так разве отдохнешь?

— Дежурный майор приказал быть наготове,— смущенно ответил Огарков.

Офицеры сдержанно рассмеялись — наивность новичка позабавила их.

— Ничего,— дружески произнес кто-то,— если слушать дежурных майоров, всю войну в сапогах проспишь.

Огарков послушно разулся и погрузился в свои мысли.

Приезд в штаб армии являлся для него крупным жизненным переворотом. Еще вчера вечером он числился начхимом полка и не подозревал, что его ожидает такая резкая перемена. Переменой этой он был доволен. Химическая служба больше не удовлетворяла его, хотя еще месяц назад он ехал из училища, непоколебимо уверенный в том, что химия едва ли не важнейшее дело в армии.

Он тогда был твердо убежден, что немцы в ближайшее время начнут химическую войну, и жаждал противопоставить им бдительную и умелую оборону. Он бредил противогазами, противоипритными костюмами, накидками, дегазацией оружия. Каждое отравляющее вещество он знал назубок — по запаху, внешнему виду и свойствам, каждый предмет табельного имущества казался ему дорогим и полным глубокого и неповторимого смысла. Он был полон решимости передать свои знания всем солдатам без исключения и немедленно.

Однако, прибыв в часть, стоявшую тогда в обороне, он столкнулся, к своему удивлению, с довольно равнодушным отношением людей к противохимической защите. Ему поручали разные задания: он проверял бдительность в траншеях переднего края, состояние стрелкового оружия, боевую подготовку рот второго эшелона. Своим делом он, в сущности, занимался мимоходом.

Полное понимание он встретил, пожалуй, только в маленькой химинструкторше Вале, своей помощнице. Эта рыженькая веснушчатая девушка в больших сапогах одна только и поддерживала его высокое мнение о своей миссии. Целые дни ходила она по батальонам и ротам, проверяя химическое имущество, тихо и беззлобно упрекая командиров в нерадении к противогазам и противоипритным пакетам и настойчиво выбрасывая из противогазных сумок бойцов краюхи хлеба.

Ходила она как будто неторопливо, потихоньку, но за день успевала обойти всех и вся, заглядывала во все блиндажи и щели, бочком пробиралась среди лошадей и походных кухонь, а к вечеру обязательно появлялась в штабной землянке и исправно докладывала Огаркову о замеченных ею непорядках.

— Не дай бог, конечно,— говорила она,— но хоть разик нужно было бы Гитлеру газы пустить, тогда бы наши поняли, что такое химия...

Однако Гитлер к газовой войне не прибегал, и Огарков чувствовал себя лишним в полку.

В штабной землянке вместе с лейтенантом жили помощник начальника штаба по разведке старший лейтенант Кузин и начальник артиллерии капитан Дубовой. Кузин частенько посмеивался над Огарковым и каждый раз встречал его неизменными словами:

— Привет лейтенанту Ломоносову — Лавуазье!

Огарков иногда обижался, но чаще всего прощал Кузину его насмешки: Кузин целые дни пропадал на переднем крае, раза два лазил за «языком». В насмешках Кузина и сквозило чувство превосходства человека, делающего живое, опасное дело, над человеком, которого держат, так сказать, про запас. Он сразу забывал об Огаркове и тут же начинал оживленно рассказывать капитану Дубовому о том, что̀ за день было замечено на немецком переднем крае. Он тыкал пальцем в различные точки на карте, говоря:

— Это у них НП, честное слово! Это обязательно накрой!

Или:

— Пойми, тут по меньшей мере два миномета у него. Дай им перцу, обязательно!

Молчаливый Дубовой наносил эти сведения на схему и уходил к своим пушкам.

Огаркова обижало, что его товарищи обращают на него так мало внимания. Ему хотелось доказать им, что и он не лыком шит и способен на настоящие дела.

Потом началось отступление.

Немцы нанесли удар не на участке полка, а где-то гораздо левее, и полку приказано было отойти, чтобы избежать окружения. Поэтому он снялся в полном порядке среди ночи и только через сутки начал отбивать атаки немецких подвижных частей. Основные силы немцев двигались далеко на юге, пробиваясь клином на восток и отмечая свое движение заревом пожаров. Иногда немецкий клин оказывался восточнее отходящих советских частей, и создавалась та неразбериха, тот так называемый «слоеный пирог», который в первый год войны сбивал с толку еще не искушенных штабных офицеров.

Военные действия полка и всей дивизии ограничивались арьергардными схватками с не очень сильно напиравшим противником. Наконец остановились на восточном берегу небольшой речки. К этому времени подоспели три «катюши», кото-

рые накрыли наступавших немцев, ошеломили их и снова ушли. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, дивизия сумела окопаться, приняла бой, отразила несколько атак и закрепилась.

Вечером Огаркова вызвали в штаб полка.

Командир полка майор Габидуллин, ширококостый и немного брюзглый татарин с узкими, раскосыми и беспощадными глазами, сказал, словно извиняясь:

— Ты, Огарков, уедешь ненадолго. Не то чтобы ты был нам не нужен. Но некого послать, а приказано выслать человека. Кого же пошлешь, а? — Огарков молчал, и майор, не дождавшись от него ответа, продолжал: — Передай пока дела Вале, она девушка хорошая, заменит тебя недели на две. А потом ты вернешься. А?

Огарков не понимал, что означает это странное вопросительное «а» командира полка и нужно ли отвечать на него. Значило же оно то, что Габидуллин сомневался в правильности своего решения. Собственно, он не имел права отсылать начхима. Есть ли химическая война или нет ее, но начхим есть и, следовательно, должен быть. Однако некого было послать. При этих обстоятельствах данный выход из положения казался наилучшим.

Приказание комдива гласило: «Выслать командира и бойца на двух верховых лошадях в распоряжение штаба дивизии». Габидуллин выполнил только половину приказания. Он не мог послать двух человек и пару лошадей: ему было *жалко*. Он всегда был крайне скуп на людей и лошадей и всячески старался обходить такого рода приказания. В представлении Габидуллина все вышестоящие начальники только и делали, что зарились на людей и лошадей из его полка.

Коня он дал Огаркову хотя и рослого, белого, как сметана, но недавно раненного в бедро и поэтому припадающего на левую заднюю ногу. Огаркову, однако, он показался чудесным, необыкновенным, сказочным.

Наскоро попрощавшись с сослуживцами и пожав руку опечаленной Вале, Огарков вскочил на коня и вдруг почувствовал небывалое доселе блаженство. Он впервые ощутил себя по-настоящему военным, командиром, словно поднялся не просто на спину коня, а на полтора метра выше трезвой окопной жизни.

В штабе дивизии его принял в своем лиственном шалаше сам начальник штаба подполковник Сомов. Подполковник огля-

дел высокого стройного лейтенанта и одобрительно прищурился — лейтенант был опрятен, гладко выбрит и внушал доверие своим открытым и красивым лицом.

— Недавно из училища? — спросил подполковник.

— Один месяц, товарищ подполковник.

— Поедешь офицером связи от дивизии в штаб армии. Тебе ясны твои обязанности? Вот они: быть в курсе всех военных событий, держаться при оперативном отделе штаба армии, всегда знать, где и в каком положении дивизия, и привозить нам распоряжения и приказы.— Переходя на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность новых обязанностей лейтенанта, подполковник Сомов закончил, вставая: — Вам поручается весьма важное дело. Можете следовать.

Лежа на лавке в избе офицеров связи, лейтенант Огарков засыпал с довольной улыбкой на губах. Мир казался ему приветливым и правильным, несмотря на то, что тихий голос старухи хозяйки все еще звенел в ушах, как упрек:

— Неужто и сюда он дойдет?..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

— Подъем! — услышал Огарков спросонья громкий повелительный окрик.

Он вскочил. В полутьме избы суетились люди, вскакивая с лавок, натягивая сапоги и надевая ремни. Дверь была открыта настежь. Резкий ветер выдул из углов и простенков домовитый запах и накопленное тепло. В избе стало холодно и неуютно. Старуха хозяйка, сидя на печке, безмолвно глядела вниз на возбужденных, куда-то спешащих людей.

Огарков обулся, надел шинель и вместе со всеми остальными вышел во двор. Ординарцы пошли в конюшню седлать лошадей, и Огарков с минуту стоял в нерешительности, не зная, куда раньше пойти: за офицерами или за ординарцами — седлать свою лошадь. Он пошел за офицерами.

Они гурьбой ввалились в избу оперативного отдела. У одного из столов, ярко освещенного большой лампой, над картой склонилось несколько человек, среди которых Огарков не без трепета увидел генерала. Генерал что-то вполголоса говорил. Огарков не слышал его слов. Наконец генерал поднялся со стула, осмотрел стоящих «смирно» офицеров связи и прошел

мимо них в дверь, беглым и рассеянным движением приложив руку к козырьку фуражки. Лейтенант в шинели, сидевший за другим столом, поднялся одновременно с генералом и вышел вслед за ним.

Люди отошли от карты, и у стола остался только седой полковник в пенсне. В комнате с минуту длилась тишина. Потом полковник, сняв пенсне и глядя поверх людей большими близорукими глазами, заговорил:

— Товарищи офицеры связи, вы немедленно выедете в свои дивизии и развезете боевой приказ. Положение весьма серьезно, как вы сами, вероятно, знаете. Мы снова вынуждены отходить, да-с...— Последние слова он произнес глухо и скороговоркой, затем продолжал по-прежнему: — С некоторыми из дивизий потеряна связь... Дивизионные рации работают не все, неизвестно почему. Тем более важным является поручение, возлагаемое на вас.

Он стал выкликать офицеров связи по очереди и вручал каждому из них пакет, запечатанный сургучом. При этом он снова надел пенсне, и глаза его сразу оживились, приобрели остроту и проницательность.

— Передайте, чтобы они все время были на приеме. Рации должны работать непрерывно.

Эту фразу он произносил в качестве напутствия каждому офицеру в отдельности. С каждым таким напутствием он становился все злее, потому что отсутствие радиосвязи с некоторыми дивизиями бесило и мучило его, и последнему офицеру — то был Огарков — почти выкрикнул в лицо:

— Рация чтобы работала, черт их возьми! Воюют, как в турецкую войну!

— Есть,— пробормотал Огарков.

Он вышел из избы и направился к соседнему двору. Здесь уже стояли наготове кони, позвякивая уздечками и дожевывая выхваченный из кормушки последний клок сена.

Офицеры закуривали, вскакивали в седла. Огарков направился в конюшню и попытался здесь как можно быстрее заседлать своего коня, но в темноте и с непривычки у него ничего не получилось. По правде сказать, он волновался: ему хотелось выехать вместе с остальными, хоть на дорогу выехать вместе со всеми.

Во тьме показалось белое пятно и послышался голос старухи хозяйки:

— Не управишься, сынок? Да ты выведи конька во двор, там посветлее будет...

Огарков с признательностью сказал:

— Спасибо.

Он вывел коня. Еще не все офицеры уехали. Четыре лошади стояли у тына, низко наклонив головы друг к другу, словно тоже о чем-то советуясь, как начальники над картой.

Заседлав лошадь, Огарков вошел в избу. Здесь сидели двое из офицеров, изучая карту. Огарков вынул из полевой сумки свою, обрадовавшись дельному примеру: поистине невредно было по карте изучить путь следования.

Лейтенант Синяев поднял глаза на Огаркова и сказал:

— Наши дивизии по соседству. До хутора Павловского мы едем, значит, вместе.

Огарков еле скрыл свою радость. Слова Синяева и та ухватка, с которой лейтенант с усиками поглядывал то на карту, то на свой компас, преисполнили сердце Огаркова уверенностью.

Они вышли из избы, сели на лошадей и поехали по деревенской улице.

— Почему вы без ординарца? — спросил Синяев

— Не знаю, не дали,— ответил Огарков.

— Глупо,— сказал Синяев.— Разве офицеру связи можно без ординарца? Стрясется с ним что-нибудь такое — некому даже помочь или по начальству сообщить.

Огарков виновато промолчал.

Выехав в поле, они пустили лошадей рысью. Минут пятнадцать ехали в молчании, потом Синяев придержал коня и сказал:

— Вы обязательно потребуйте себе ординарца.

— Да, я скажу.

На юге и западе небо алело дальними пожарами.

— Обстановочка...— сказал Синяев и свистнул.

Второй, до сих пор молчавший, офицер сплюнул и злобно сказал:

— Когда уж мы им дадим по шее?

— Это Москва знает,— сказал Синяев.

Огарков спросил, кто этот генерал, которого он видел в оперативном отделе.

— Начальник штаба армии,— ответил Синяев,— генерал-майор Москалев. Дельный мужчина.

«Мужчина?» — подумал Огарков, удивляясь развязности синяевского тона и в то же время восхищаясь такой свободой.

— И полковник Воскресенский человечек не плохой,— продолжал Синяев,— только поговорить любит. Если напустится на кого, так точно играет пьесу, Шекспира какого-нибудь. Когда немцы прорвали оборону, он, говорят, плакал. Старик, конечно, ему уже лет сорок с гаком. А в общем, парень он хороший. У нас все тут хорошие люди, гонять понапрасну не любят, всегда выручат. Командарм — тот строгий, на днях был ранен в руку, так и ходит с завязанной рукой. Ему хуже, чем нам всем,— он за всех отвечает. С ним жена, тоже боевая женщина, она следователем работает, в армейской прокуратуре.

Болтовня Синяева, несложные армейские сплетни отвлекли Огаркова от тревожных мыслей. Он слушал эти истории, как любопытный провинциал — столичные новости.

Но лошади снова перешли на рысь. Синяев и другой офицер все время обгоняли Огаркова, и он скакал рядом с ординарцами. Вскоре пошел дождь, ветер бил по лицу дождевыми струями. Один из ординарцев сказал:

— Это ладно, что дождь. Кабы и днем был дождь! Хоть «юнкерсы» утихомирятся.

Но дождь скоро прошел, и на небе снова замерцали звезды,— звезды без конца и края.

На перекрестке отстал и исчез во мгле офицер с ординарцем. И Огарков вспомнил, что вскоре он и с Синяевым расстанется. Хорошо бы поехать с Синяевым в его дивизию, чтобы потом с Синяевым же заехать в свою. Так он всегда делывал в детстве с братом Борисом, когда их посылали по двум разным поручениям.

Зарева пожаров заметно приблизились. По дороге брели подводы, шли машины с погашенными фарами. У обочин, а иногда и на самой дороге зияли воронки. На душе становилось все тревожней. Где-то правее, не очень далеко, гремели выстрелы орудий.

Хутор Павловский лежал в буераке, у извилистой речушки, вьющейся среди кустарника и камыша. Здесь Синяев придержал коня, сказал: «Ну, всего»,— и ускакал налево. Огаркову стало обидно, что Синяев так кратко с ним простился. Цокот копыт синяевской лошади вскоре потерялся вдали, и точно не в силах терпеть такую полную тишину, где-то уж совсем близ-

ко послышались раскатистые взрывы и вслед за ними треск пулеметов.

Постояв с минуту, Огарков тронул повод и двинулся вниз, к мосткам через речушку. Кругом лежали убитые лошади. На западном берегу сидели раненые солдаты, видимо присевшие отдохнуть. Огарков спросил, не из его ли они дивизии, но они оказались совсем из другой — и даже не дивизии, а бригады.

Огарков поехал дальше, всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из его дивизии, и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, но конь, видимо, устал и упорно двигался шагом, заметно припадая на левую заднюю ногу.

Дорога вскоре потерялась в пшенице, затем повернула резко направо. Она завела Огаркова в лесок и тут внезапно оборвалась.

Он слез с коня, повел его на поводу, а сам побрел, низко пригибаясь к земле в поисках дороги. Потом понял, что не туда повернул, и пустился обратно, но лесок неожиданно оказался довольно обширным. Огарков шел, натыкаясь на пни, и наконец вышел к каким-то стогам, которые стояли, загадочные и темные, бесконечными прямыми рядами, теряющимися в ночи.

Он долго блуждал среди этих стогов и, уже потеряв всякую надежду выбраться куда-нибудь, услышал шум автомашин. Он вскочил на коня и через несколько минут очутился на шоссе.

Восемь машин промчались мимо, не удостаивая ответом его окрик. Тогда он двинулся на запад, потом дорога повернула на юг. Он знал, что на юг ему не надо. Но дорога шла именно на юг, к северу же тянулись необозримые поля пшеницы. Он некоторое время двигался по дороге, потом повернул обратно. Выстрелов уже не было слышно, только раздавался тяжелый и равномерный гуд.

Огарков решил ехать на север во что бы то ни стало, хотя бы напрямик. Конь заметно ослабел и повесил голову. Раздвигая грудью колосья, он медленно плелся по бескрайним полям. А колосья не редели,— наоборот, они становились все гуще и гуще. Конь еле двигался среди этой темной массы хлеба, время от времени срывая мягкими губами спелый колос.

Огаркову казалось, что это никогда не кончится. Привставши в стременах, он видел вокруг те же необозримые поля. Прошло немало времени, прежде чем он услышал человеческие голоса. Шагах в тридцати правее оказалась дорога, а возле

нее располагались огневые позиции артиллерийской батареи. Люди цепляли пушки к машинам и перекликались негромко, но возбужденно.

И артиллеристы понятия не имели о местонахождении дивизии. Они только что получили приказ сниматься и отходить на новый рубеж.

Лейтенант-артиллерист показал Огаркову на карте район немецкого прорыва. Это вполне могло быть на участке дивизии. Обескураженный долгими блужданиями по степи, Огарков совсем пал духом. Он поехал по дороге в северо-западном направлении и вскоре встретил целую кучу подвод.

— Какая дивизия! — крикнул в ответ на вопрос лейтенанта кто-то из темноты.— Нет уже там никакой дивизии! Все подались к Дону.

— Не знаем мы, где твоя дивизия,— сказал кто-то другой.

Подводы проехали, и Огарков застыл на месте совершенно разбитый. Окружающий мир стал представляться ему все более страшным. Дивизия, раньше казавшаяся огромным и сложным организмом, теперь песчинкой затерялась среди бесконечных нив и безымянных высоток.

Однако он продолжал упорно двигаться по дороге. Вскоре стрельба артиллерии и пулеметов разразилась с новой силой. Горели какие-то амбары. Послышался омерзительный свист, и одинокая мина взорвалась совсем близко. Тут же в ответ, захлебываясь, застрочили пулеметы, и трассирующие пули полетели по всем направлениям. И снова послышался прерывистый гуд. «Танки!» — подумал Огарков.

Поблизости упала вторая мина. Лейтенанта больно ударил по лицу твердый комок земли. И внезапно раздался спокойный и даже насмешливый голос недалеко от Огаркова.

— Ты чего стоишь, как памятник? Не видишь разве — сюда стреляют.

В окопах возле дороги сидели люди. Огарков подъехал к ним и дрожащим голосом спросил про свою дивизию.

Ему ответили:

— Там где-то... А точно где — кто знает. Такая там каша... Напирает немец.

Сплошной свист. Люди исчезли в окопах. Конь Огаркова подскочил и пустился галопом, забывши про усталость. Огарков еле удержался в седле. Мины рвались вокруг. Спрыгнув с коня, Огарков лег плашмя на землю. Он даже не заметил, как

конь вырвался и умчался. Лейтенант остался один. Там, где, по всей видимости, находилась его дивизия, все гремело, пылало, тонуло в дыму. Огарков медленно пошел на выстрелы и вдруг услышал — уже позади себя — тот же равномерный и прерывистый гуд.

«Немцы прорвались»,— подумал Огарков и нащупал на груди пакет.

Панический ужас объял Огаркова. Он побежал на восток, спотыкаясь, путаясь в траве, перелезая через канавы и траншеи, пока, обессиленный, не остался лежать в густом и горьком бурьяне. Небо по краям горело заревом. Красное зарево алело и на востоке, и Огарков решил, что и там немцы. А это занимался рассвет.

Вдруг Огарков услышал в темноте какие-то совсем уже непонятные звуки, которые заставили его задрожать. Что-то странное творилось совсем близко. Уловить природу этих звуков было невозможно. Треск, лепетание, звон, человеческий шепот, сопение, тяжелые шаги — Огарков чуть с ума не сошел от ужаса. Когда развиднелось, он увидел силуэт лошади, жующей траву. Она была оседлана и взнуздана. Повод тащился за ней по росистой траве.

— Трус проклятый! — сказал себе Огарков.

Он поднял голову и огляделся, но ничего не было видно: по степи стлался седой туман.

Лошадь ходила возле Огаркова, равнодушно жуя и прядая ушами. Время от времени она поглядывала на лейтенанта умными и ласковыми глазами. То была крупная лошадь гнедой масти с золотистым отливом. Оставшись без хозяина, она, может быть, обрадовалась человеку и ходила вокруг него, мирно поедая траву. Но когда Огарков подошел к ней, она отошла на несколько шагов, продолжая есть и только косясь на него умным глазом. Он снова пошел к ней, и снова она, уклоняясь, отошла на несколько шагов. Во всей ее повадке и в ласковом лукавстве большого глаза было что-то женское, гибкое, уклончивое. Ее вполне устраивало человеческое общество, но, по-видимому, нисколько не прельщала перспектива потерять свободу.

Все-таки Огаркову удалось ухватить ее за повод и вскочить в седло. Тут он заметил, что туман испарился, и, удивленный, увидел знакомую лощину, и речку, и домики на склоне лощины. Это был хутор Павловский, разоренный, покинутый.

Огарков стегнул лошадь, и она понеслась на восток, к штабу армии. Огарков тревожно озирался по сторонам, боясь неожиданно столкнуться с немцами, но тревога его оказалась напрасной; вскоре он догнал отходящие части, вереницу людей, угрюмо и молчаливо идущих на восток.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Штаб армии еще на рассвете ушел дальше на восток, и Огарков разыскал его только на следующий день в большой станице. Усталый и голодный, лейтенант расспросил, где находится изба оперативного отдела, и поплелся туда.

Офицеры из оперативного отдела буквально накинулись на него. Почему так долго не приезжал? Где находится дивизия? Что с ней? Почему ее рация упорно молчит? Какие там потери?

Огарков, растерянно мигая, ответил:

— Я не смог туда пробиться. Там немцы прорвались, и я чуть к ним не попал. А дивизия, наверно, отошла. Я к ней не мог пробиться.

Штабные ошеломленно молчали, потом куда-то побежали докладывать, а Огарков стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

Вскоре пришел полковник Воскресенский, начальник оперативного отдела. Он вначале напустился на Огаркова, потом, надев на нос пенсне и заметив растерянный вид лейтенанта, замолчал, сел на стул и начал его допрашивать со спокойствием вконец замученного человека.

Огарков, хлопая ресницами и чуть не плача, рассказал, как было дело. Конечно, картина, нарисованная им, была весьма далека от истины, но не потому, что он хотел утаить истину, а потому, что не знал ее. Например, он не знал, что слышанный им ночью гул был гулом нашей отходящей на восток танковой части, а не танков противника; что слова, брошенные обозниками насчет того, что все ушли на Дон, были словами до смерти напуганных людей, не знающих обстановки; что немцы действительно прорвались, но значительно севернее дивизии.

Полковник сидел как оглушенный. Весь ужас положения заключался в том, что несколько часов назад ему доложили о гибели майора, посланного в ту же дивизию с тем же поручением.

Теперь, когда оказалось, что и офицер связи вернулся ни с чем, с потрясающей ясностью, повергшей в трепет Воскресенского и всех штабных, выявился тот факт, что приказ об отходе на новый рубеж не был вручен дивизии и дивизия дерется с превосходящими силами немцев на прежнем рубеже. За последние сутки немцы прорвались еще в двух направлениях, видимо обтекая сражающуюся дивизию, и, может быть, уже окружили ее.

В свете этих страшных предположений какое значение имела судьба какого-то струсившего лейтенанта? О нем попросту забыли, и только часа через четыре начальник штаба армии отдал приказ об отдаче под суд Военного Трибунала Огаркова, офицера связи от уже, может быть, не существующей дивизии.

Неожиданным защитником Огаркова оказался не кто иной, как полковник Воскресенский. Зная, однако, что генерал терпеть не может «слюней», он защищал лейтенанта несколько своеобразно, одновременно осыпая его проклятиями и презрительными эпитетами:

— Да он птенец, молокосос проклятый... Заблудился, болван... Безмозглая шляпа он, а не лейтенант... Послать его, дурачка, на передовую!

Перед глазами полковника стояло молодое растерянное лицо лейтенанта с хлопающими ресницами.

Может быть, генерал послушался бы своего заместителя, но тут в избу ввалился летчик Дорохов, только что прилетевший на своем У-2 с разведки: его посылали разыскать ту самую дивизию. Летчик был окровавлен и бледен. Судя по всему, дивизия сражалась на прежнем рубеже. По-видимому, немцы окружили ее. Сесть в расположении дивизии Дорохову не удалось: когда он начал снижаться, немцы стали его бешено обстреливать из пулеметов, пробили машину в семнадцати местах и ранили Дорохова в руку. Он еле долетел обратно.

— Под суд трибунала,— прохрипел генерал, подымаясь с места и ломая свои большие жесткие пальцы.

Только что заснувшего Огаркова разбудили, посадили в машину и повезли в соседнюю станицу, где располагались трибунал и прокуратура армии. Здесь у него отобрали пистолет и ввели в избу, где у маленького дощатого крестьянского стола сидела полная суровая женщина в гимнастерке с двумя «шпалами».

Это и была жена командующего армией, о которой Огаркову поведал Синяев. В ее глазах Огарков прочел нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его.

Варвара Петровна, жена командующего, потеряла единственного сына полгода назад под Москвой. Сын ее тоже был лейтенантом, тоже светлым блондином. Он командовал десантным отрядом. Высадившись в тылу у немцев во время нашего зимнего наступления, этот отряд носился на лыжах по немецким тылам, рвал вражеские коммуникации в Подмосковье, истреблял небольшие группы немцев и дождался-таки подхода наших войск. Однако Сережа был к тому времени смертельно ранен и умер среди своих, что было бы утешением для него самого, если бы он очнулся от беспамятства, но не могло служить утешением для матери. А он так и не очнулся.

Глядя на высокого белокурого молодого лейтенанта, Варвара Петровна на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила. Она стала задавать обычные вопросы, стараясь игнорировать юношеское обаяние лейтенанта и принимать во внимание только факты. Факты же были недвусмысленны: лейтенант не выполнил боевого приказа. Теперь следовало выяснить: по трусости или по неумению? Можно было склониться ко второму. Но факты были таковы: Сергей (его тоже звали Сергеем) Леонидович Огарков окончил училище,— правда, специальное, да и краткосрочное, но там изучали и топографию, и тактику, и политграмоту. У него недоставало опыта? Да. Но опыта не было и у... и у других молодых лейтенантов, образцово выполнявших любые задания.

Тут Варвара Петровна поймала себя на том, что она все время думает о своем сыне и сравнивает с ним этого Огаркова. «Так нельзя,— строго одернула она себя.— Другие лейтенанты тут ни при чем».

И она стала спрашивать с самого начала, вдумчиво прислушиваясь к ответам, пристально приглядываясь к малейшим изменениям в выражении лица лейтенанта.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным, он ответил, что признает, и, не читая, подписал все, что требовалось.

Огаркова отвели в землянку на окраину станицы, а Варвара Петровна приступила к допросу свидетелей. Их было только двое: лейтенант Синяев и майор из оперативного отдела. Но где-то бился с врагом третий свидетель — дивизия, и этот свидетель незримо присутствовал в деревенской избе.

После того как свидетели ушли, Варвара Петровна долго сидела в одиночестве над протоколами. Да, лейтенант Огарков был виновен. Виновен, *независимо* от других лейтенантов.

На следующий день утром дело поступило в трибунал.

Представ перед трибуналом, Огарков сразу как-то успокоился. Здесь была тихая и будничная обстановка. Члены трибунала сидели на потемневших от времени табуретках за таким же темным дощатым столом, под фотографиями усачей-солдат времен первой мировой войны. Из открытого окна доносился плач детей и голос хозяйки, то и дело повторявшей:

— А вот я вас ремнем!..

Огарков посмотрел на лица членов трибунала. То были спокойные, словно издавна знакомые русские лица с добрыми глазами. И ему показалось, что эти люди тоже сейчас скажут: «А вот мы тебя ремнем...»

— Фамилия? — спросил председатель.

— Огарков.

— Имя и отчество?

— Сергей Леонидович.

— Возраст?

— Двадцать лет.

— Звание?

— Лейтенант.

— Должность?

— Офицер связи при штабе армии.

— Образование?

— Десятилетка и военно-химическое училище.

Отвечая на эти вопросы и зная, что ответы на них заранее хорошо известны председателю, Огарков даже чуть-чуть повеселел.

— Вы знали, какой приказ вы везете в свою дивизию? — нетерпеливо вмешался один из членов трибунала.

— Да.

— Я спрашиваю о содержании приказа. Знали вы его содержание?

Огарков, помолчав, ответил:

— Да, знал.

Председатель спросил неожиданно мягко и совсем по-граждански:

— А кто был ваш отец, Огарков?

Слово «был» вырвалось непроизвольно и заключало в себе

нечто необычайно грозное для Огаркова. Огарков этого не уловил, однако, и сказал:

— Он инженер на заводе в Горьком.

Вскоре были вызваны свидетели. Лейтенант Синяев, не пообычному хмурый и сдержанный, избегая глядеть на Огаркова, рассказал о том, как они ехали и где расстались. На вопрос о поведении Огаркова в пути следования он ответил:

— Дрейфил. Только я думал, что это от неопытности, молод еще...

— А вам-то сколько лет? — не удержался от вопроса председатель.

— Двадцать два года,— хмуро ответил Синяев, глядя в окно, и внезапно сказал: — И еще ординарца ему не дали.— Но, подумав мгновение, он жестко добавил: — Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был, у хутора Павловского...

Майор из оперативного отдела кратко изложил обстановку, сложившуюся вчера на фронте, в связи с этим оттенил значение проступка, совершенного обвиняемым, и закончил словами:

— Мы потеряли эту дивизию.

После допроса свидетелей заседание было прервано. Обвиняемого отвели в землянку. Трибуналу принесли обед. Принесли обед и Огаркову, но есть ему не хотелось. Он сидел и думал о словах Синяева и майора из оперативного отдела, и эти слова странно смешивались у него в голове: мы потеряли эту дивизию, а ему ординарца не дали. И почему ему не дали ординарца, раз дивизия все равно потеряна?

Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.

Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.

Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.

То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:

— А мне какое дело?..
— Почему вы так? — спросил Огарков.
— Не хочу воевать,— ответил приговоренный.— Я баптист, понимаешь? — И добавил: — Пусть немец приходит. Все одно.
— Как же так «все одно»? — ужаснулся Огарков.— Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек...
— А мне какое дело?..— сказал приговоренный.
«Сумасшедший он, что ли?» — подумал Огарков.
Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылущилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:
— А ты-то, советскай, за что сюды попал?
Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.
Приговоренный, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:
— Всех нас перебьют,— коли не немцы, то энти...
Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:
«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания — расстрелу».
Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики — знаки лейтенантского звания — и закинул их далеко в картофельные кусты.
Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою шинель, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли.
Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем — все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ста-

вится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?

Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне,— не о том, что он погиб, а о том, *как* он погиб,— вот что было важнее всего.

Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.

— Пустите меня! — крикнул Огарков вне себя.— Я должен им все сказать!

Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он потребует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.

Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслушанным.

Лицо Огаркова просветлело.

Пусть они наконец запросят его полк.

В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.

Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».

Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» — шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет,— должно произойти, потому что это справедливо.

Солдат Джурабаев — тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики,— стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.

Он прислушался к «объекту» — там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.

Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его,— поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.

Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в древней цивилизации Китая.

Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги — все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадется старая газета — так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.

Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:

— Кто идет?

То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что она там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.

— Товарищ часовой,— сказала она,— мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.

— Разводящий,— сказал Джурабаев.

— Да,— возразила секретарша,— но разводящий ведь при штабе в соседней станице...

— Разводящий,— повторил Джурабаев.

Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.

— Разве вы меня не знаете? — спросила она.

— Без разводящий нэльзя,— сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.

Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловещий гул моторов. «Воздух!» — послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.

Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:

— Стой!

Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.

Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодующе посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:

— Этот у нас такой... Родную мать не пустит.

Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее —

повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.

Джурабаев сидел на корточках и ел кашу. Разводящий курил, виновато вздыхал — он не привез смены: двое заболели, двое уехали за продуктами. Джурабаеву предстояло отбывать службу часового еще полтора-два часа, пока вернутся люди, посланные за продуктами. Еду для осужденного разводящий также не привез: он думал, по его словам, что того «вот-вот кокнут».

— Когда его? Скоро? — спросил он.

— Еще не утвердил Военный совет. Без утверждения нельзя.

— И чего это с таким возятся! — сказал разводящий и посмотрел на Джурабаева.

Джурабаев разделил кашу на две части, отломил от своей «пайки» ломоть хлеба и, положив то и другое в крышку котелка, снес вниз, осужденному. Вернувшись, он быстро доел свой заметно уменьшившийся ужин и снова приступил к исполнению обязанностей часового. Разводящий же и секретарша уехали.

Через некоторое время снова появились над станицей немецкие самолеты и, сбросив несколько бомб, улетели. Воцарилась тишина.

Джурабаев чутко прислушивался к окружающему и вскоре уловил дальние выстрелы или, может быть, разрывы, хотя это было больше похоже на выстрелы. Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох — там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых. Лунный серп выглянул из-за тополя и, с минуту помедлив, лениво пустился бежать мимо облаков, оставаясь на месте. Поскрипывали новые сапоги Джурабаева, на днях только полученные,— предмет его гордости и особых забот.

В деревне послышались встревоженные человеческие голоса, гудение автомашин, конское ржание, потом все умолкло окончательно, даже ветер затих.

Джурабаев вдруг испытал неизвестно чем вызванное чувство одиночества и полной покинутости. То было вначале инстинктивное чувство, которое он, однако, безуспешно старался подавить в себе. Причину этого он понял несколько позднее:

сколько ни приходилось ему стоять ночью часовым, ни разу вокруг не царила такая необычайная, полная тишина; всегда были слышны голоса, ржание лошадей, то тут, то там из открытой на секунду двери в ночь вырывался кусочек света; теперь же все словно вымерло.

Тревога Джурабаева усилилась еще и оттого, что прошло часа два, а смена все не появлялась. Джурабаев не принадлежал к разряду тех людей, для которых минута кажется часом. Раз он уже определил, что прошло два часа, значит, прошло наверняка не меньше двух с половиной. А разводящий был человек точный и приехал бы в любом случае, хотя бы для того, чтобы сообщить: люди не вернулись, надо стоять еще час или два или до рассвета.

Не допуская мысли о халатности разводящего, Джурабаев постарался успокоиться на том, что он ошибся, прошло не два часа, а час, и некоторым усилием воли заставил себя вернуться к обычным мыслям о службе, то есть о том, что он охраняет важного преступника, приговоренного к расстрелу, и ему поэтому надлежит быть начеку. Мысли посторонние — вроде мыслей о жене, детях, родных местах — он старался держать от себя на приличном расстоянии. Когда же он ловил себя на том, что думает именно об этих посторонних вещах, он сердито отряхивался и начинал еще внимательнее прислушиваться к ночным шорохам и дыханию осужденного в землянке.

Последний, условно второй, час Джурабаев старался растянуть как можно больше и таким образом простоял еще два часа. За это время случилось одно только происшествие: неподалеку, где-то за соседней деревней, где размещался штаб армии, послышалась ружейная и пулеметная стрельба и разрывы, частые и не очень громкие. Все это продолжалось минут десять с перерывами. Потом стало тихо.

Только тогда, когда над степью забрезжило утро, Джурабаев окончательно понял, что произошло нечто необычное. Солнце, вначале ярко-красное, постепенно стало раскаляться, белеть, и уже пригревало, когда Джурабаев услышал близкие человеческие голоса. Он встрепенулся и крикнул:

— Стой! Кто идет?

Из пшеницы вышла группа красноармейцев, среди которых были и раненые. Остановившись при внезапном окрике и разглядев Джурабаева, шедший впереди боец сказал:

— Чего кричишь! Не видишь разве, кто идет?

— Стой! — повторил Джурабаев.

Солдаты переглянулись и пожали плечами. Хотя их было много, а Джурабаев стоял один, он являлся часовым, то есть лицом неприкосновенным, человеком почти не от мира сего. Каждый из них тоже не раз бывал часовым и изведал чувство отрешенности и силы, даваемое часовому уставом. Поэтому они — правда, не без ворчания — послушно пошли вдоль полосы, обходя Джурабаева. Вскоре они исчезли.

Через некоторое время появилась еще одна группа, гораздо более многочисленная. Эта шла организованно, на повозках за ней следовали минометы, и шествие замыкала кухня. Впереди колонны шел ширококостый, немного брюзглый майор с узкими раскосыми глазами, а за ним несли знамя, укутанное в серый чехол.

Остановленный окриком Джурабаева, майор пристально посмотрел на него и спросил:

— А что, тут в деревне часть какая стоит?

Джурабаев ничего не ответил, ибо знал устав.

— Что ты, глухой, что ли?

Джурабаев сказал:

— Проходи́.

— Ты что здесь охраняешь? — не унимался майор.

Джурабаев угрожающе сжал шейку приклада.

Колонна прошла.

Тревога сдавила сердце Джурабаева. Он то отходил от землянки на несколько шагов ближе к станице, то снова подходил вплотную к черному отверстию землянки; он подымался на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-нибудь за картофельным полем, за бахчой, полной арбузов и тыкв, за тополями, на которых уже снова орали вороны.

Потом, отчаявшись что-нибудь узнать и кого-нибудь дождаться, он замер, неподвижный и суровый, как изваяние, готовый ко всему и уже будто безразличный ко всему.

Он видел, как в станицу въехали пушки и тут же покинули ее, как поток людей уходил на восток, не задерживаясь. Проехали машины с ранеными. Пылили обозы. Люди то и дело показывались из пшеницы, брели по картофельным полям и пропадали из виду.

С запада, следом за уходящими войсками, медленно шло зарево: зажженные поля пшеницы и овса дымом и пламенем уходили к востоку, вослед пахарям и сеятелям своим. Тонкие

дымки струились меж колосьев, обволакивали васильки, кружились вокруг подорожника и высоких стеблей бурьяна, а за дымками с негромким треском, похожим на треск лопающихся арбузов, шло пламя.

Джурабаев стоял, ожидая разводящего, который погиб уже несколько часов назад, отражая вместе со своими товарищами и штабными офицерами нападение прорвавшихся немецких танков. Танки эти дымились в семи километрах за станицей, но Джурабаев не мог их видеть. А штаб армии и все его отделы и управления были уже далеко и организовывали оборону на новом рубеже.

В полдень послышались короткие автоматные очереди, и Джурабаев увидел среди домов станицы перебегающих бойцов. Они бежали, падали, стреляли, вновь бежали и наконец исчезли.

Джурабаев спустился в землянку, поднял с полу крышку котелка, на которой лежала нетронутая каша и ломоть хлеба, положил все это в котелок, плотно закрыл его крышкой и сказал:

— Пошли.

Огарков медленно поднялся с земли и пошел к выходу.

— Шинель,— сказал Джурабаев.

Огарков послушно взял шинель, вышел из землянки и оглянулся на Джурабаева. Лицо солдата было сурово. Огарков вздрогнул, но взял себя в руки. Они вскоре очутились в небольшом яру. Здесь Огарков замедлил шаги, остановился и оглянулся.

— Иди,— сказал Джурабаев.

Огарков пошел дальше. Сначала он ни о чем не думал. Может быть, только удивлялся, почему его ведут так далеко. Потом он впервые обратил внимание на мир вокруг себя. Мир был прекрасен. Ветер шелестел в траве, над землей низко летали большие мохнатые бабочки. Вдали лаяла собака и пел петух. Вероятно, то был большой белый или черный, а может, и янтарного цвета петух с красным гребешком. Огарков вспомнил, что на свете есть петухи, собаки и бабочки.

— Иди,— сказал Джурабаев, заметив, что осужденный снова замешкался.

Солнце стояло посреди неба, и Огаркову, окоченевшему в сырой землянке, стало совсем тепло. Щебетали птицы.

Огарков вдруг подумал, что человек, идущий за ним, может

выстрелить в любую минуту,— ведь не обязательно сначала остановиться, приготовиться, а потом уже кончать. Не смея оглянуться, Огарков все шел и шел, чуя холодок в затылке, словно под уже наведенным автоматом.

Но человек, шедший сзади, не стрелял. Они шли и молчали. Огарков шел все быстрее, с ужасом ожидая смертельного толчка. Наконец он услышал голос человека, шедшего сзади. Тот сказал:

— Стой.

«Конец», — не подумал, а почувствовал Огарков и остановился.

Минута прошла в тягостном молчании.

— Стреляйте же! — крикнул вдруг Огарков, не владея больше собой, и обернулся к своему спутнику.

Но Джурабаев не обратил внимания на этот возглас. Он прислушивался к чему-то, потом быстро сказал:

— Налево марш!

Огарков остался на месте. Он решил, что никуда дальше не пойдет. Пусть кончают здесь.

— Немцы,— сказал Джурабаев.

Огарков одно мгновение стоял в глубокой растерянности, потом огляделся, посмотрел на Джурабаева и свернул с дороги в высокую пшеницу. Они долго шли, пригибаясь, по полю и выбрались наконец на заросшую кустарником возвышенность. Здесь они остановились. Джурабаев снова прислушался, свирепо посмотрел на Огаркова, вздохнул и сказал:

— Иди.

И они пошли.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Беспредельная степь не имела зримых границ, а только звуковые — она была словно окаймлена пулеметной дробью.

Пшеница и ковыль, типчак и подсолнечник, картофельные и свекловичные поля, обширные бахчи, заваленные арбузами и дынями, опустевшие совхозные поселки и одинокие громады сахарных заводов — все это дремало под жарким солнцем, дичало от безлюдья и тревожно прислушивалось к пулеметной дроби, доносящейся со всех сторон. .

Двое шли по степи, отбрасывая на пшеницу уродливые волнистые тени — одну длинную, другую короткую. Над ними про-

летали стаи взволнованно орущих птиц, гонимых войной на восток.

Джурабаев иногда останавливался, застывал на месте, весь превращаясь в слух, потом опять пускался в путь, строго на северо-восток. Он не нуждался в компасе — степь была его родной стихией. В степи его деды пасли стада баранов с незапамятных времен. С самого раннего детства он уже бродил с отцом по пастбищам «киргиз-кайсацкой орды», среди белой полыни и зарослей тамариска.

Огарков вскоре страшно устал — не так от ходьбы, как от мыслей о своей вине и близкой смерти, верней — от подсознательной, но беспрерывной напряженности и скованности духа. Однако ему казалось нелепым просить об отдыхе, когда его вот-вот ожидал неминуемый отдых на веки вечные. И он шел, прихрамывая, впереди Джурабаева.

Так они шли, почти не останавливаясь, двое суток.

К вечеру, когда солнце оказывалось сзади, Огарков видел возле себя тень Джурабаева. К этой тени Огарков вскоре почувствовал глубокую антипатию, почти ненависть. Не к Джурабаеву, а именно к его тени. К самому Джурабаеву Огарков не питал неприязни — конвоир делал свое дело. Но тень его, широкая, коротенькая, не отстающая ни на шаг, словно накрепко привязанная, приводила Огаркова в состояние бессильного раздражения, и он старался не смотреть на нее вовсе.

Во время кратких привалов Огарков спал, а Джурабаев сидел напротив него, положив автомат к себе на колени. Вначале это вызывало в Огаркове чувство досадливого презрения: солдат думает, что Огарков способен сбежать! Потом презрение сменилось удивлением. Солдат не спал. Его глаза — однажды Огарков осмелился посмотреть на Джурабаева в упор — покраснели и сделались еще у́же.

«Он ведь может меня расстрелять,— подумал Огарков.— Почему он этого не делает?»

«Потому, что считает себя не вправе»,— ответил сам себе Огарков и, почувствовав невольное уважение к своему конвоиру, сказал:

— Вы бы поспали, я не убегу... Обещаю вам.

Но Джурабаев продолжал сидеть неподвижно, словно не слышал сказанного.

К исходу вторых суток они начали обгонять мелкие группы отступающей пехоты и пристроились к хвосту одной из этих

групп. Она приглянулась Джурабаеву потому, что шедший впереди лейтенант в немецкой плащ-накидке имел карту и вел себя спокойно и деловито.

Группа понемногу росла за счет присоединяющихся к ней одиночек и пар, и Джурабаев с Огарковым потерялись среди множества, не обращая на себя ничьего внимания. Они шли, не разлучаясь ни на минуту, рядом дремали на привалах, ели из одного котелка перепадавшую им пищу и молчали, не отличаясь этим, впрочем, от всех остальных.

Впереди группы уверенной походкой, чуть вразвалку, шел лейтенант в немецкой плащ-накидке. Несмотря на жару, он не расставался с этой накидкой. Видимо, он придавал ей какое-то особое значение — она была снята с убитого немца и символизировала смертность и обреченность всех врагов вообще, несмотря на их нынешний успех. И лягушечьего цвета плащ-накидка развевалась впереди как флаг, как знамя будущей расплаты.

Шли проселочными и полевыми дорогами, избегая большаков, потому что немцы наступали где-то совсем рядом: был слышен гул их танков и хрипение автомашин.

Лейтенант разбил людей на отделения, выслал дозоры вперед и на фланги. Парные дозоры шли по бокам колонны, на отдалении в двести — триста метров, то мелькая в пшенице и высокой траве, то исчезая за пригорками.

Однажды в парный дозор был выделен Огарков. Джурабаев не счел нужным давать многословные объяснения, а просто пошел вслед, и дозор двигался втроем, пока его не сменили. Люди привыкли видеть Джурабаева с Огарковым всегда рядом и иногда пошучивали по поводу такой нежной дружбы, что вызывало краску стыда на розовом лице Огаркова.

Джурабаев не спал. Он только дремал, очень чутко, ежеминутно приоткрывая узкие щелки глаз. Но это не могло продолжаться вечно. Однажды ночью он, забывшись, уснул. Огаркова разбудил его мощный храп. Стояла лунная ночь. В глубокой, поросшей орешником балке все спали, укрывшись шинелями. Только тихие голоса часовых раздавались неподалеку.

Огарков приподнялся, встал и посмотрел на освещенное луной лицо Джурабаева.

Нет, Огарков не испытывал неприязни к Джурабаеву. Он даже был благодарен часовому за то, что тот не выдавал его тайну, не позорил его перед людьми. Но в этот момент, глядя

на неподвижное лицо спящего, Огарков ощутил страстное желание избавиться от вечного соглядатая, не видеть его больше.

Невдалеке раздались человеческие шаги, послышался тихий разговор. То подошла еще одна группа отступающих бойцов во главе с очень взволнованным и сильно охрипшим капитаном. Капитан поговорил с лейтенантом в немецкой плащ-накидке об общей обстановке. Огарков слышал их голоса. Капитан рассказал, что немецкая танковая колонна стоит поблизости, в двенадцати километрах, ожидая горючего.

— Разгромить ее, что ли? — спросил лейтенант, желая, кроме всего прочего, похвастаться перед капитаном боеспособностью своей группы и собственной решительностью.

Капитан не советовал. Танков было тринадцать штук, и при них человек сорок пехоты. Надо пробиваться к своим, не ввязываясь, по возможности, в бои.

Капитан и его люди пошли дальше. Вскоре послышался поблизости шелест раздвигаемых веток орешника, и возле Огаркова остановился лейтенант в немецкой накидке.

— Пойдешь в разведку? — спросил он Огаркова.

— Пойду,— сказал Огарков, прислушиваясь к ровному дыханию Джурабаева.

Лейтенант вынул из планшета карту и объяснил Огаркову задачу. Надо идти в ближайшую станицу за два километра, выяснить там обстановку, а главное — узнать, заняли ли уже немцы две крупные станицы по пути предполагаемого следования группы. А если заняли, то сколько их там, немцев.

— Почему без оружия? — вдруг спросил лейтенант.

Огарков пробормотал что-то, косясь на спящего. Ему очень хотелось, чтобы Джурабаев не проснулся и чтобы этот спокойный и храбрый лейтенант ничего не узнал. Лейтенант протянул Огаркову свой автомат и, уже уходя, неожиданно осведомился:

— Ты не лейтенант ли часом?

— Нет,— сдавленным голосом ответил Огарков.— Почему вы думаете?

Лейтенант усмехнулся:

— Следы от кубарей на петлицах... Да и выправка такая.

— Нет,— повторил Огарков.— Я не лейтенант. Гимнастерка только... лейтенантская...

— Ладно. Пошли.

Огарков пошел за ним, ступая тихо и осторожно и то и дело

оглядываясь на Джурабаева. Треск каждого сучка болезненно отзывался в его душе.

Когда он очутился вне поля зрения Джурабаева и вместе с другим выделенным в разведку бойцом шагал по шляху к деревне, он испытал состояние, близкое к блаженству. Луна заливала степь ровным светом. Тень идущего сзади молодого солдата была совсем не похожа на тень Джурабаева. Да и сам этот солдатик — белесый, немного озадаченный возложенным на него ответственным делом и робко жмущийся к Огаркову, назначенному старшим,— как он был не похож на угрюмого и молчаливого Джурабаева!

— Как ваша фамилия?

— Тюлькин,— ответил солдатик.

— А меня зовут Огарков.

Они пошли рядом.

— Вы много раз ходили в разведку? — спросил Тюлькин.

— Бывало,— неопределенно сказал Огарков, который в качестве старшего счел необходимым играть роль многоопытного солдата.

Помолчав, Тюлькин спросил:

— Плохо нам, а?

— Почему плохо? — успокоил его Огарков и дословно повторил слышанные недавно слова Синяева: — Они скоро выдохнутся... Силенок не хватит... Зарвались слишком.

— А скоро мы их?..— продолжал спрашивать Тюлькин.

— Это Москва знает,— ответил Огарков.

Они приближались к деревне. Заливисто лаяли собаки, раздавалось хлопанье дверей.

— Немцы в деревне,— прошептал Тюлькин.

Огарков угрюмо возразил:

— Не спешите делать выводы, пока не узнаете точно.

Они поползли задами к деревенским домам, обжигаясь крапивой и цепляясь за стебли огородных растений. Чем ближе подползали они, тем ясней становилось, что в деревне действительно есть чужие. Но Огарков упорно двигался вперед, пока они не ткнулись в плетень. Здесь они притаились и прислушались. Ржали кони, и раздавались мужские голоса.

— Немцы! — с отчаянием прошептал Тюлькин.

— Проверить надо,— сухо ответил Огарков.

Вдруг послышался девичий смех и потом громкий женский возглас:

— Вася, а Вася! Воды принеси!

Не похоже было, чтобы в деревне стояли немцы. Обрадованный Тюлькин хотел выскочить за плетень, но Огарков и тут повторил вполголоса:

— Проверить надо.

Они поползли вдоль плетня и очутились у сарайчика. Невдалеке белела мазанка. Огарков сказал:

— Ждите меня.

Он пополз к избе, держась в тени росших здесь кустов смородины. Притаился под одним из маленьких окон. Прислушался. Разговаривали по-русски.

— Лейтенант приказал строиться,— произнес мужской голос.

— Значит, пошли,— сказал другой.

— Дай вам бог дойти счастливо и возвернуться поскорее,— отозвался женский голос.

— Авось и возвернемся, мамаша,— сказал кто-то из мужчин.

«Свои»,— понял Огарков. Очевидно, это была такая же группа красноармейцев, как и та, которой командовал выславший Огаркова лейтенант. Огарков смутно пожалел о том, что это не немцы. Окажись в деревне немцы, он вступил бы в неравный бой и был бы убит вражеской пулей. «Какое это счастье,— подумал он,— быть убитому не своей, а вражеской пулей».

Но ведь можно было просто уйти с этой группой. Раз Джурабаев все равно ему не верит, стережет его, как замышляющего побег преступника,— почему же ему действительно не уйти?

«Наверное, он уже проснулся,— подумал Огарков с ненавистью,— и бежит сюда по следам, как сторожевой пес...»

«Где он меня будет искать? — подумал Огарков минутой позже.— Уйти, растаять в степи, потеряться в ней, как пылинка... А Тюлькин? Что Тюлькин! Подождет и пойдет обратно».

Но при воспоминании о молоденьком солдате, который так верил в его непогрешимость и военный опыт, Огарков отказался от мысли об уходе. Нет, он не мог, не в силах был обмануть доверие Тюлькина и заслужить презрение лейтенанта в немецкой плащ-накидке.

Шаги солдат пропали в отдалении, а Огарков все еще лежал

на траве возле окошка и не трогался с места. Снова вспомнив об ожидающей его участи и ощутив при этом страшный холодок в затылке, он опять начал колебаться. Какое ему дело, думал он, до Тюлькина и того лейтенанта, до их уважения и презрения? Кто они? Случайные люди, встреченные на этом мучительном пути и готовые снова кануть в неизвестность. И, однако, именно доверие к нему этих случайных людей в гораздо большей степени, нежели страх перед степным чутьем и упорством Джурабаева, заставило Огаркова встать и вернуться к Тюлькину, который страшно обрадовался возвращению товарища.

Они снова двинулись задами параллельно деревенской улице, иногда перелезая через плетни и увязая сапогами в жирной земле огородов. У самой крайней избы, стоявшей немного на отлете,— позади нее выстроились низкие ульи,— Огарков остановился и сказал:

— Зайдем сюда.

Он постучал в окно и в ответ услышал стариковский сиплый голос:

— Кто стучит?

— Свои,— сказал Огарков.— Откройте, пожалуйста.

Вежливое обращение и робкий голос, видимо, успокоили хозяина. Заскрипела щеколда, и на пороге появился маленький, босоногий, сухой старичок, похожий, как показалось Огаркову, на Льва Толстого.

Нет, немцев в деревне не было. «Еще не было»,— сказал старик, подчеркнув слово «еще» не без желания уколоть отступающих солдат. Со слов односельчан и пришлых людей он сообщил о том, что немцы находятся в станице за девять километров.

Что касается тех двух станиц, которые особенно интересовали лейтенанта в немецкой накидке, то и там уже стояли немцы, вернее, не немцы, а итальянцы, «итальяшки,— как их назвал старик,— черненькие такие, глазастенькие, и откуда они только взялись, и зачем только сюда приперлись...»

— Вроде военное счастье на немца перешло, а? — спрашивал старик тревожно, однако ж выражаясь с витиеватостью, выдававшей в нем старого солдата или даже, может быть, унтер-офицера.— Имеет преимущества немец-то, а? — Заметив сумрачный вид молодых солдат и то ли пожалев их, то ли считая своим долгом более бывалого человека успокоить молодежь,

он после краткого раздумья сказал поучающе: — Однако как муравью колоду не уволочи́, так и немцу России не завоевать.

Он угостил их молоком и медом и, уловив глубокое уныние в глазах Огаркова, сказал, обращаясь к нему:

— Не горюй, парень. Ты еще так немцев будешь бить, мое почтение. Все твое еще впереди.

Мед показался горьким Огвркову. Он стремительно встал со стула и сразу же попрощался с бойким стариком. За ним поднялся и Тюлькин. Старик проводил их до крыльца, продолжая оживленный разговор.

Только тогда, когда молодые солдаты скрылись из виду, старик потерял свою живость и долго еще стоял на крыльце, маленький и печальный, горестно вздыхая и тревожно прислушиваясь. Ибо так или иначе, а немцы были близко.

Молодые солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке.

Уже у самой балки Огарков встретил Джурабаева. Тот медленно шел ему навстречу, настороженный и взволнованный. Увидев Огаркова, он замер на месте, а встретившись с ним взглядом, опустил глаза. Он ничего не сказал. Его лицо, обычно суровое и спокойное, на мгновение приобрело наивное выражение удивления и признательности.

Доложив лейтенанту добытые им сведения и вернув ему автомат, Огарков с тяжелым сердцем возвратился к ожидавшему его Джурабаеву — снова под надзор. Но уже не тот был надзор и не тот Джурабаев. Теперь они шли рядом, и так же рядом шли их тени. Часто к ним присоединялся Тюлькин, сильно привязавшийся к Огаркову. Молодой солдат не уставал превозносить решительность и воинское умение Огаркова, не обращая внимания на то, с каким странным выражением лица, недоуменным и тревожным, слушает его молчаливый казах.

Лейтенант решил создать отделение разведчиков и командовать им назначил Огаркова.

— У меня командного опыта нет,— пробормотал Огарков.— Я химик.

— Ничего,— возразил лейтенант.— Научишься. На, возьми.— Он сунул Огаркову в руки немецкий автомат.

Огарков вопросительно посмотрел на Джурабаева. Тот молчал, потупившись.

Лейтенант отошел, и, когда его зеленый плащ уже мелькал вдали, Огарков громко и жалобно крикнул:

— Я не могу командовать отделением!

Но лейтенант не слышал или не подал виду, что слышит.

Огарков молча пошел с Джурабаевым, неся автомат в руках впереди себя, как чужую хрупкую вещь. Вскоре руки устали, и он, покосившись на Джурабаева, надел автомат на ремень.

Джурабаев вдруг спросил:

— Комсомолец был?

Огарков ответил:

— Да.

— Ай-ай-ай!..— сокрушенно закачал головой Джурабаев, выражая этими звуками и порицание, и удивление, и жалость.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Командовать отделением Огаркову не пришлось. Группа выбралась из немецкого кольца и вскоре пришла в большую станицу, где находилось множество советских частей.

Во дворе МТС, среди наполовину разобранных тракторов и грузовых машин, обосновался формировочный пункт. Седой батальонный комиссар с квадратным лицом принимал прибывающие группы отходящей пехоты и наскоро сколачивал роты и батальоны. Он сидел у маленького столика посреди двора, что-то записывал в полевую книжку и распоряжался громким и строгим голосом.

Неподалеку на грузовике стояли два лейтенанта. Они раздавали солдатам сформированных рот патроны, гранаты, сухари и консервы.

Огаркову очень хотелось попасть под начало лейтенанта в немецкой плащ-накидке, но тот куда-то исчез, и глаза Огаркова напрасно шарили по огромному двору, переполненному людьми.

Джурабаев переживал душевную борьбу. Он считал своим первейшим долгом доставить осужденного в штаб армии. С другой стороны, нельзя было так просто уйти с этого двора, где сколачивались ударные роты для особого задания. Пока он раздумывал, его с Огарковым назначили в одну из рот, они двинулись вслед за остальными к грузовику, получили патроны и гранаты и вышли за ограду, где их ожидала целая шеренга грузовиков.

Вскоре к ним вышел седой батальонный комиссар с квадратным лицом. Он постоял минуту молча, потом хмуро сказал:

— Почему вы такие хмурые? Веселее надо! Кто вы — солдаты или кто вы такие? Нечего хмуриться, вот что!

Батальонный комиссар явно не отличался красноречием, но солдаты почувствовали за его словами еще многое другое и заулыбались со смущением, свойственным взрослым людям, когда их жалеют.

Колонна грузовиков покатилась по черной степной дороге на юго-запад. Ехали часа три, затем остановились возле какой-то деревеньки, лежавшей в овраге с пологими, сплошь под огородом, скатами. Здесь грузовики повернули назад, а люди двинулись дальше пешком и вскоре очутились на возвышенности, где среди колосьев пшеницы чернела свежевырытая траншея.

Получив приказ углубить мелкую траншею до полного профиля, солдаты стали рыть землю — кто большими, кто малыми саперными лопатами. Дно траншеи стелили для маскировки колосьями, колосьями же покрывали черные земляные брустверы. Работали почти молча, лишь время от времени перекидываясь ничего не значащими словами насчет жары и хорошего, но бесполезного теперь урожая.

Курносый лейтенант, оказавшийся командиром роты, вылез на бруствер и озабоченно оглянулся. Вздернутый нос и рыжий вихор придавали ему мальчишеский, несерьезный вид. Стоя с биноклем среди высоких колосьев, он выглядел как мальчик, играющий в войну. Он повернулся к солдатам, сидящим в траншее, и спросил:

— Кто умеет косить?

Косарей нашлось много. Махнув рукой в сторону дремучей пшеницы, лейтенант сказал:

— Все это скосить надо. Из-за нее ничего не видать. Сходишь в деревню за косами,— приказал он старшине.

Старшина взял с собой двух солдат, пошел напрямик через поля вниз, в овраг, и вскоре вернулся с косами. Косари сняли и сложили в кучу гимнастерки.

— Начинай,— скомандовал лейтенант.

Дюжина кос одновременно сверкнула в лучах солнца. Руки косарей плавно вздымались и опускались, подчиняясь бессознательному древнему ритму труда. Лица косарей были сосредоточенны и строги. Солдаты глядели из траншеи на падающие

пласты колосьев с глубоким интересом. Все вдруг забыли про войну и про то, что колосья эти будут растоптаны и сгниют под осенними дождями. Косари шли полосой свободно и важно,— может быть, им казалось, что сзади идут бабы со свяслами.

Они уходили все дальше, оставляя за собой ровные ряды скошенного хлеба.

— Товарищ лейтенант,— взмолился кто-то из траншеи,— так они все скосят, нам ничего не оставят. Дозвольте сменить...

Глаза сменщиков, уже снявших гимнастерки, блестели.

— Ой, хлеба́! Ой, хлеба́! — восхищенно крикнул кто-то из них, потирая руки.

Они пустились бегом к косарям, почти насильно отобрали у них косы и пошли косить дальше. А первые косари, полуголые, потные, улыбающиеся, медленно двинулись назад, к траншее.

Чем ближе подходили они, тем явственнее сползала с их лиц улыбка, словно пропадало какое-то очарование: то испарялось светлое воспоминание о мирных днях и вступала в свои права война, ощеренная пулеметными и ружейными стволами на черном бруствере. Они шли по обреченному хлебу, остановились возле траншеи, молча надели гимнастерки и спрыгнули вниз, превратившись снова из землепашцев в солдат.

Но так или иначе, а впереди расстилалась открытая, хорошо простреливаемая местность.

Немцы подошли на рассвете. Крича: «Рус, сдавайсь!» — они пошли вперед, но сразу же залегли под градом пуль. Лежа, один из них снова крикнул пронзительным голосом:

— Рус, сдавайсь!..

— А хрена не хошь? — зычно осведомился у немца чей-то озорной голос.

В траншее раздался негромкий и не очень веселый смех, заглушенный выстрелами.

Немцы отползли в пшеницу и стали там окапываться, не прекращая стрельбы из винтовок и подоспевших вскоре минометов. Появилась через некоторое время и вражеская авиация, по преимуществу разведчики, которые снижались над советскими позициями и осыпали траншеи пулеметными очередями.

Потом появились бомбардировщики. Когда раздалось гудение их, в траншее стало очень тихо. Опасливо поглядывая

вверх, люди устраивались поудобнее, стараясь занимать как можно меньше места. Земля загудела и запрыгала. Послышались стоны раненых, змеиный шип осколков. Снова и снова самолеты заходили на цель, а когда они улетели, минометный и ружейный обстрел показался детским лепетом и почти полным покоем.

После бомбежки немцы вновь полезли вперед, и вновь их остановила своим огнем ожившая траншея. Тогда опять появились бомбардировщики и одновременно с ними заработала немецкая артиллерия — сначала одна пушка, потом штук пять. По мере подхода орудий плотность артиллерийского огня становилась все выше. Обозленные непредвиденным сопротивлением на безымянной высотке, немцы, казалось, решили начисто смести с лица земли не только узкую траншею с людьми, но и вообще все поля, луга и деревни этого края.

Джурабаев заменил у «максима» убитого пулеметчика, который лежал тут же рядом, под плащ-палаткой. Огарков стоял возле него с автоматом, и ему в этой жаре и трупном запахе казалось, что он — совсем не он. И мучается он здесь вместе со всеми потому, что некий офицер связи Огарков, посланный передать им приказ об отходе, струсил, и они тут все погибнут из-за него. И он с тоской и ненавистью думал об этом офицере,— об Огаркове,— о себе самом.

В третий раз немцы пошли в атаку, и в третий раз заработали оглушенные, но все еще живые русские огневые точки. Цепкие большие руки Джурабаева мелко дрожали на ручках пулемета, и лента мелькала, жадно поедаемая приемником. И снова немцы попятились и исчезли в пшенице, оставив на скошенном поле своих убитых.

Связь была порвана снарядами и бомбами так основательно, что восстановить ее можно было только ночью, когда прекратится прицельный огонь немцев. Курносый лейтенант после тщетных попыток связаться по телефону со штабом батальона решил послать в деревню посыльного. Он остановил свой выбор на Огаркове, потому что молодой солдат все выполнял точно и быстро и показался ему толковым и славным парнем. Он приказал Огаркову ползти в деревню, передать сведения о потерях, просьбу о пополнении и об эвакуации раненых.

Огарков вылез из траншеи и пополз. Немцы били из минометов по полям, простирающимся между позициями и деревней. Поля были изрыты воронками.

Деревня горела в нескольких местах и была почти вся разрушена.

В штабе батальона на стене висели ходики. К удивлению Огаркова, они показывали всего одиннадцать часов утра,— значит, бой длился часа четыре, не больше, а казалось, что он длится век.

— Передай, чтоб держался,— сказал комбат.— До вечера чтоб держался. А вечером пришлем еще людей и восстановим связь.

Огарков переждал очередной налет бомбардировщиков и медленно двинулся назад, к полю боя. Издали все представлялось еще страшнее, чем на месте. Казалось, поле встало дыбом, и трудно было поверить, что кто-нибудь там еще жив.

Огарков остановился на бахче, разбил и съел один арбуз, а два других взял с собой — люди в траншее страдали от жажды, особенно мучились жаждой раненые.

Возле траншеи его догнал комиссар батальона со связным.

— Ты чего арбузы тащишь? Тоже нашел время! — злобно сказал комиссар Огаркову.

— Для раненых,— объяснил Огарков.

— Это правильно,— сказал комиссар и пошел дальше.

Спустившись в траншею, Огарков сунул Джурабаеву в руку кусок арбуза, а остальное роздал раненым. Потом он пошел докладывать курносому лейтенанту о распоряжениях комбата и снова вернулся к Джурабаеву. Стало тише. Пули над головой посвистывали реже. Курносый лейтенант неторопливо прошелся по траншее. Он остановился возле Огаркова и сказал:

— За образцовое выполнение боевой задачи объявляю вам благодарность. Как твоя фамилия?

Огарков смешался, губы его внезапно задрожали, и он не мог вымолвить ни слова.

— Огарков,— услышал он возле себя голос Джурабаева.

Командир роты сказал:

— И насчет арбузов ты хорошо придумал, Огарков. Как стемнеет, пошлем людей за арбузами. Покажешь им место.

Лейтенант ушел, а Огарков вдруг оживился, стал очень разговорчив и даже весел, начал расспрашивать солдат о семьях, детях, матерях. Рассказал он и о своих родных, проживающих в городе Горьком.

— Отец у меня инженер,— сказал он,— и к тому же еще рыболов-любитель. Каждое воскресенье мы выезжали на лодке

рыбу ловить. Обычно мы ловили удочками, но случалось и бреднем ловить. Бреднем все-таки не так интересно...

— Почему не интересно? — спросил пожилой солдат.— Только бреднем и ловить... Потому бреднем много наловишь, а удочкой что?.. Морока одна...

— Не говорите,— возразил Огарков.— Бреднем — это ловля наверняка, почти убийство, а удочка — спорт.— Помолчав, он добавил: — Иногда и мать ходила с нами удить.

Вскоре немцам под прикрытием орудий и минометов удалось приблизиться метров на двести к траншее и окопаться на скошенном поле. Курносый лейтенант, очень обеспокоенный этим, решил контратаковать и выбить немцев из новых позиций.

С трудом отрывая тела от спасительной прохлады окопа, люди полезли на бруствер. Раздался громкий крик «ура». Огарков тоже кричал без умолку «ура», сам не замечая того. Зычный и озорной голос, неизвестно кому принадлежавший, с бесконечным восторгом повторял:

— Фриц, сдавайсь!

Немцы побежали на старые позиции в пшеницу. В свежеотрытых окопах валялись гранаты с деревянными ручками, ломти белого хлеба, оранжевые коробки с маслом и фляжки с дешевым, но крепким ромом. Захватили и оставленный немцами ручной пулемет и, торжествуя, вернулись в свою траншею — узкое, длинное логово, показавшееся теперь обжитым и дорогим, как родной дом.

Во время контратаки был ранен в обе ноги курносый лейтенант. Он потерял пилотку и лежал теперь в траншее с обнаженной рыжей вихрастой головой и сморщенным от боли лицом, еще больше похожий на мальчишку.

Немцы уже не пытались наступать. Их авиация тоже не показывалась, только одиночные разведчики иногда гудели в голубой вышине, поблескивая на солнце металлическими плоскостями.

Вечером прибыл приказ отходить.

Когда стемнело, люди тихо оставили траншею, миновали разрушенную и со всех сторон горевшую деревню и пошли на восток.

Старшина роты, замыкавший шествие, сложил у крайней избы дюжину взятых взаймы кос. Курносый лейтенант ехал впереди роты на повозке, распоряжаясь и давая многословные

инструкции другому лейтенанту, который должен был заменить его.

Лишь здесь, на дороге, стало заметно, как сильно поредела рота. Однако Огарков все еще находился в радостном и возбужденном настроении.

— А все же мы их здорово били,— говорил он.— Крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди,— верно ведь?

Солдаты, смертельно усталые и дремлющие на ходу, беззлобно отмахивались от него:

— Да ладно, будет тебе...

В полночь Джурабаев, несколько приотстав вместе с Огарковым от остальных, сказал:

— Штаб армия нада.

Огарков остановился как вкопанный, потом опустил голову и пошел дальше сразу отяжелевшим шагом. Они еще некоторое время шли за ротой, прошли мимо каких-то частей, занимавших оборону вдоль дороги, затем свернули на полевую тропинку и остались одни.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Что заставило Джурабаева решиться на этот шаг? Страх перед собственной жалостью. Его служба и долг — и это он знал твердо — заключались в том, чтобы привести осужденного туда, куда нужно, и передать его в распоряжение Военного Трибунала. После боя он стал колебаться в своем решении, сомневаться в своем долге. Он полюбил Огаркова. И, почувствовав это, решил принять меры немедленные и жестокие.

Рослого белокурого юношу и коренастого узкоглазого солдата видели в степи многие. Их видели сидящими у дороги, поедающими арбузы и помидоры, спящими рядом на одной шинели под каким-нибудь одиноким деревом или среди колосьев и васильков в открытом поле. В огромном потоке отходящих частей они продолжали свой особый путь на восток, расспрашивая связистов и регулировщиков о местонахождении энской армии.

Их задержали в небольшом степном городе О., на железной дороге между Тацинской и Сталинградом.

Огарков, очутившись в городе после многодневных скитаний по степи, почувствовал себя почти счастливым. Он сам не по-

дозревал раньше, что означает для него город. Растроганно улыбаясь, смотрел он на тротуары, на газетные киоски, на каменные дома и вывески. Станционный колокол, черные формы железнодорожных служащих, женщины в городских платьях, некоторые даже с зонтиками,— все это вдруг вернуло его в милый мир привычных представлений о жизни.

Не хотелось уходить из города, но Джурабаев торопился и сурово торопил товарища, умиленно глазевшего на вывески и витрины магазинов.

На окраине их задержал патруль. Напрасно Джурабаев пытался объяснить патрульному сержанту, что они направляются в свою часть. Их повели в комендатуру и назначили в саперный батальон, который направлялся на юго-западную окраину города для рытья окопов и минирования дорог.

Тогда Джурабаев решил покончить с этим делом раз и навсегда и сдать Огаркова коменданту. Взволнованный до глубины души, он стал медленно подбирать слова для объяснения дела, но комендант был грозен, нетерпелив, окружен целой толпой кричавших людей и не обратил внимания на робкие попытки узкоглазого солдата дать какие-то никому не нужные объяснения.

Их повели в батальон.

Со смешанным чувством досады и глубоко спрятанного удовлетворения воспринял эту новую перемену Джурабаев.

Он напал на след: некий капитан сказал им, что штаб энской армии находится довольно близко, километрах в тридцати к северо-востоку. Казалось, странствиям наступает конец. И вдруг — этот саперный батальон.

Однако рядом с Джурабаевым бодро шагал Огарков, несомненно обрадованный отсрочкой своей участи. И Джурабаев втайне радовался вместе с ним, хотя и упрекал себя за это.

Батальон вышел к месту работы, и Огарков оживленно расспрашивал бывалых саперов о технике их профессии, интересовался названиями и свойствами разных мин нажимного и натяжного действия, любовался изящно упакованными пачками смертоносного тола и невинными на вид мощными взрывателями. Казалось, он всю жизнь только и мечтал о том, чтобы стать сапером.

Очутившись на окраине города, минеры стали закладывать противотанковые и противопехотные мины, укреплять надолбы, рыть контрэскарпы и ловушки для танков.

Пожилой, давно не бритый комбат, сам, сидя на корточках, пыхтел над минами, ласково беседуя с ними, как с живыми существами:

— Вот так ты и лежи, голубка... Тут тебе и место, радость моя... Теперь мы тебя засыплем песочком и заровняем, заровняем... Чтоб никому невдомек. А потом — бух!..

Он подымался, окидывал своих саперов вдруг погрустневшим взглядом и говорил ожесточенно:

— Ну, что у вас там еще за гостинцы?! Ну, вынимайте, давайте...

Огарков старался выполнять все приказания быстро и точно, и саперы — в том числе и сам комбат,— польщенные вниманием и старательностью своего ученика, относились к нему с дружественной, чуть снисходительной симпатией, как к новообращенному из химической в саперную веру.

Среди саперов оказался один земляк Джурабаева, казах. Он подсел во время перерыва к Джурабаеву, и они долго говорили по-казахски. Огарков удивился даже — он никогда не подозревал, что его спутник может быть таким разговорчивым. Ни слова не поняв, Огарков уловил, однако, что говорили они и о нем.

Действительно, сапер-казах сказал казаху-стрелку, что этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой. На это казах-стрелок ответил после непродолжительного молчания, что саперы нисколько не ошиблись и что молодой человек — хороший человек и его, Джурабаева, друг; а пробираются они вдвоем к месту своей службы, в штаб армии, куда им необходимо прибыть как можно скорее. Потом оба казаха поговорили о своей родине, Казахстане, и их замкнутые лица просветлели.

Огарков сказал Джурабаеву:

— Хорошие ребята минеры, правда? Здесь бы и остаться с ними.— И, умоляюще посмотрев на своего товарища, быстро заговорил: — Останемся с ними, а? Мы ведь большую пользу принесем! Это же такое важное дело — подрывать вражеские танки,— как вы думаете? И комбат тут такой душевный человек...

Джурабаев ничего не ответил, только покачал головой.

После окончания работ саперов отвели в станицу за восемь километров, в резерв. Там их разместили по избам и разрешили отдыхать. Огарков сразу же уснул, но Джурабаев не мог за-

снуть. Он глядел на спящего, шевеля губами. Потом он тихонько вышел из избы и направился в соседнюю избу, где разместился штаб батальона. Минут пять стоял он у крыльца, не решаясь войти. Затем все-таки вошел.

Никто не слышал, о чем Джурабаев говорил с комбатом, дежурный сапер уловил только заключительные слова комбата, произнесенные задумчивым и невеселым голосом:

— Ну что ж, голубчик, поделаешь... Идите, раз такое дело...

Вернувшись к Огаркову, Джурабаев разбудил его, и они вдвоем покинули деревню.

Огарков шел молчаливый и угрюмый. Молчалив и грустен был и Джурабаев. Может быть, надо было остаться у саперов? Неплохо было бы и остаться. Там и земляк, с которым можно поговорить...

Следующей ночью они увидели перед собой Дон. Он блестел при свете луны, струясь среди обрывистых берегов. Над рекой царил неумолчный шум. По переправе беспрерывной лентой шли к востоку машины, пушки и люди. Берег ощерился дулами зенитных орудий.

В траве, в пшенице, в овсе, возле мельниц и вокруг мощных элеваторных башен, всюду, куда доставал глаз, лежали люди, паслись кони, стояли машины и повозки. Все ждали своей очереди, с беспокойством глядя в ночное небо. Недалеко в поле догорал недавно сбитый немецкий самолет.

Джурабаев решил переночевать в ближней станице, ниже по течению. Белые хаты станицы были отчетливо видны в лунном свете.

Пошли туда. Все дома и дворы были полны солдат, спавших где попало. Наконец их пустили в один дом. Здесь было светло от щедро горевшей под потолком лампы-«молнии». На полу и на лавках спали солдаты, однако еще оставалось место и для двух новых пришельцев.

Хозяйка, молодая женщина, закутанная в большой черный платок, так что только глаза поблескивали, угостила вновь прибывших молоком и присела на лавку. Джурабаев сразу уснул, Огарков же остался сидеть, бездумно глядя на маленькие загорелые ножки хозяйки — она была босиком.

Ей, видимо, хотелось поговорить, но она не решалась.

Из соседней комнаты, откуда-то сверху, послышался слабый старушечий голос:

— Мария!

Женщина вышла, вскоре вернулась и снова села на лавку, сказав:

— Вы, наверное, спать хотите?

— Нет,— ответил Огарков,— я спать не хочу.

— И долго еще так будет? — без предисловия начала она, словно ее прорвало.— Страшно мне. Одна я с мамой, а она у меня парализованная. Третий год на печке лежит. У нас все почти ушли за Дон, скотину угнали, а я куда денусь?.. Я бы ушла, а с мамой как? Она не хочет уходить. Говорит, чтоб сама я ушла, а она останется. А как я уйду? — Помолчав, она спросила: — Вы, может, спать ляжете?

— Нет, спасибо,— сказал он.— Я спать не хочу.

Избу оглашал тихий храп.

— Муж у меня убит еще в прошлом году, при самом начале,— продолжала женщина.— Он на границе служил, в Бессарабии. Тоже был такой, как вы, светлый, городской тоже, из Майкопа. Мы жили в совхозе... Страшно мне,— неожиданно закончила она, и он посмотрел на нее.

Платок ее упал на плечи, и он увидел круглое, молодое, красивое лицо, две черные толстые косы и строгий прямой пробор посредине головы. Черные глаза под тонкими бровями глядели на Огаркова, не видя его, с выражением недоумения и страха. Руки ее беспомощно лежали на лавке ладонями кверху.

Ее глаза потускнели, и она спросила в третий раз:

— Спать будете?

— Нет,— ответил Огарков.— Я не буду спать.

Тогда она взглянула на него очень внимательно и почувствовала, что у гостя на душе тоже тяжело. Он стал ее утешать, но смысл его слов странно не вязался с тоскливым выражением глаз.

— Это ненадолго,— сказал он.— Скоро мы...— Он хотел сказать: «Скоро мы вернемся», но поправился: — Скоро наша армия вернется.

— Мария,— позвал старушечий голос из соседней комнаты.

Мария вышла, и ее легкие шаги послышались где-то в сенях, потом хлопнула дверь раз и другой, и женщина вновь вернулась к Огаркову.

— На западе все горит,— сказала она.

Кто-то тревожно забарабанил в дверь, и солдат с винтовкой и вещмешком, войдя, торопливо растолкал спящих:

— Кто из второй роты — выходи!

Солдаты вскакивали, заправлялись и уходили. Проснулся и Джурабаев.

— Пойдем? — спросил он.

Огарков покорно поднялся. Поднялась со своего места и женщина. Джурабаев вышел на улицу. Огарков протянул женщине руку. Она сказала:

— Вернетесь когда — заходите в наши края, коли вспомните.

— Хорошо,— ответил он.— Если вернусь.

— Вернетесь,— сказала она убежденно.

Он вышел. Луна скрылась, было совсем темно. Женщина, появившись в дверях, сунула Огаркову в руку ситцевый мешочек.

— Не надо,— сказал он смущенно.

Они постояли рядом, внезапно почувствовав боль при мысли о скором конце их случайного знакомства.

Он пошел вслед за Джурабаевым, который ждал его у дороги.

Когда они прошли уже половину пути к переправе, в небе раздался гул. Заговорили зенитные орудия на берегу и одна батарея, стоявшая в овраге неподалеку. Над рекой повисли большие ослепительные фонари, и вокруг стало совсем светло. У переправы начали рваться бомбы.

Огарков с Джурабаевым прижались к земле. По соседству разорвалась бомба, и над головой жутко пронесся самолет, крестя дорогу пулями.

Огарков лежал, уткнувшись лицом в мягкую и горькую траву. Когда стало тихо, он приподнялся. Небесные фонари медленно угасали. Возле переправы слышны были крики и стоны. Взбесившаяся лошадь промчалась мимо.

Вскоре Огарков заметил, что Джурабаев лежит неестественно тихо и неподвижно. Огарков подождал минуту, потом наклонился к своему спутнику и заглянул ему в глаза. Глаза Джурабаева смотрели на Огаркова с немым вопросом. Огарков медленно встал, снова нагнулся и снова встретил вопрошающий взгляд Джурабаева.

— Держитесь за меня,— сказал Огарков.

Только теперь Джурабаев застонал. Его гимнастерка была вся в крови.

Огарков потащил раненого назад, к станице. Когда они доползли до околицы, на переправу опять налетели немецкие

самолеты, захватив краем и северную оконечность станицы. Что-то загорелось там, самолеты ушли, Огарков снова поволок Джурабаева и наконец постучался в дверь к Марии.

Мария открыла и, не задавая никаких вопросов, помогла Огаркову втащить и уложить Джурабаева на лавку. Она маленькими шершавыми ручками быстро сняла с Джурабаева гимнастерку и нижнюю рубаху. Джурабаев был ранен в спину, пуля прошла навылет в грудь.

Приложив к ранам Джурабаева мокрое полотенце, Мария сказала:

— Доктора нету, он эвакуировался с колхозом.

Огарков вышел из избы и побежал к оврагу, где заметил раньше зенитчиков. Путаясь в росшей по склону оврага высокой траве, он пробрался наконец к артиллеристам.

— У вас врача нет? — громко спросил он.

Зенитчики были очень заняты — в воздухе опять зажглись зловещие фонари и послышался гул самолетов. Однако капитан-артиллерист, выслушав Огаркова, отпустил с ним девушку-фельдшера с санитарной сумкой.

— Только не задерживайте ее, лейтенант,— сказал он Огаркову, почему-то в темноте приняв его за лейтенанта.

Началась бомбежка. Огарков, держа девушку за руку, бежал обратно в деревню.

— Ну и бешеный же вы! — жаловалась девушка, еле поспевая за Огарковым.— Разве можно бежать под бомбежкой? Отпустите же меня, у меня рука заболела.

Наконец они, запыхавшись, вбежали в избу.

Джурабаев громко стонал.

Девушка-фельдшер осмотрела его, засыпала раны белым порошком и щедро забинтовала их, хотя и ворчала при этом:

— У меня бинтов мало...

Потом она вышла в сопровождении Огаркова на улицу и сказала уныло:

— И часу не проживет... Провожать меня не надо. Уже светло, сама дойду.

Да, уже было светло. Огарков вошел обратно в избу. Мария погасила лампу и открывала ставни. Подойдя к Джурабаеву, Огарков встретил взгляд солдата — уже не вопросительный, а спокойный и очень усталый.

Джурабаев то и дело терял сознание и дышал все труднее.

За несколько минут до смерти он вдруг приподнял руку, показал Огаркову куда-то вниз, на свои ноги, и сказал:

— Нэмэц не оставим.

Он приказывал снять с себя сапоги, не оставлять их немцам. Огарков машинально посмотрел на эти сапоги — то была почти новая кожаная армейская обувь с подкованными каблуками.

С трудом оторвал он взгляд от этих сапог, а когда снова посмотрел в глаза Джурабаеву, тот был уже мертв. Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мария принялась убирать мертвого. Она делала это тихо, бесшумно, без суеты, не стыдясь наготы мертвого тела. По-крестьянски основательно обмыла она его, сложила ему руки крест-накрест и даже нашла свечу, но потом решила, что христианский обряд тут неуместен, поскольку покойник — нерусский человек.

О гробе нечего было и думать, и она просто обернула тело в простыню.

Они похоронили Джурабаева в углу большого двора, среди кустов малины. Потом Мария ушла в дом, а Огарков остался сидеть во дворе.

Он вдруг почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели. Ему казалось, что только что оборвалась последняя связь его с окружающим миром и весь мир отодвинулся в туманную глубину, оставив его, Огаркова, в полном одиночестве среди малинника и больших одуванчиков.

Но нет, он был не один. В соседнем дворе раздавался непонятный шум, звенела посуда, и мужской голос пел:

Начинаются дни золотые
Воровской непробудной любви.
Эх вы, кони мои вороные,
Черны вороны — кони мои!

Вначале Огарков не обращал внимания на пьяное пение, прерываемое возгласами деланного веселья, но оно все назойливее лезло в уши. Голос пел навзрыд:

Мы уйдем от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать...

Странно было в это утро в пустынной, почти покинутой станице слышать пение.

На пороге избы появилась Мария. Она минуту постояла, издали глядя на Огаркова, потом пошла к нему, быстро и дробно шагая по траве гибкими босыми ногами. Остановившись возле Огаркова, она прислушалась к пению и сказала:

— Это сосед наш вернулся. Отвоевался, говорит. Не пойдет за Дон.— Она протянула Огаркову белую вышитую рубашку: — Переоденьтесь. А я вашу гимнастерку постираю, она вся в крови.

Он начал переодеваться, сам не зная зачем,— вероятно, по усвоенной за последнее время привычке кому-нибудь подчиняться. При этом его рука нащупала в кармане гимнастерки бумажку. Он быстрым движением переложил ее в брючный карман.

Пение в соседнем дворе оборвалось, и тот же голос громко позвал:

— Соседка! Прошу ко мне, погуляешь с нами! И гостя своего зови. Угощу!.. Гулять так гулять...

Мария нахмурилась, ничего не ответила и ушла, унеся с собой гимнастерку Огаркова. Когда она исчезла в дверях своей избы, Огарков бережно вынул из кармана ту самую бумажку.

Он держал в руках единственный документ, удостоверяющий или, вернее, отрицающий прошлую жизнь Огаркова — приговор Военного Трибунала. Он прочитал его внимательно и подробно, почти по складам, с чувством жгучего любопытства, как совсем посторонний человек. Потом его затуманившийся взгляд скользнул по свежему холмику, и он вспомнил, что вот здесь лежит не кто иной, как Джурабаев, лежит и никогда больше не встанет. И, значит, он, Огарков, свободен.

Горькая, но буйная радость охватила Огаркова. Он скомкал клочок бумаги и отшвырнул его от себя. Слабый ветер нехотя подхватил бумажку, неторопливо протащил ее по земле, чуть приподнял на воздух и равнодушно оставил валяться среди одуванчиков.

И тут над самым ухом Огаркова внезапно раздался хриплый голос:

— Мое почтение новому соседу! Давай знакомиться.

Огарков быстро оглянулся. На него сквозь плетень смотрел с настороженной ухмылкой большой краснолицый человек. Он простирал через прорехи в плетне большие руки к Огаркову,

словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе. И на нем была надета точно такая же вышитая рубашка, какая была теперь на Огаркове.

Огарков с минуту внимательно смотрел в глаза тому человеку, а тот человек тоже смотрел и молчал. Потом Огарков поднялся, медленно подобрал с травы смятую бумажку и, не оглядываясь, пошел в избу.

В избе было прохладно и тихо. Тикали ходики. За окном на веревке сушилась уже выстиранная гимнастерка. В соседней комнате слышались негромкие голоса женщин.

В углу стояло большое зеркало, и Огарков подошел к нему.

Перед ним оказался высокий статный человек в белой вышитой рубашке и, как ни странно, с короткой, но густой белокурой бородой.

Огарков с бородой? Нет, это не мог быть Огарков. Да и лицо — загорелое, обветренное, шоколадного цвета — почти не похоже было на огарковское лицо.

Он отвернулся от зеркала, чтобы не видеть своего нового обличья.

Мария внесла кипящий самовар и накрыла на стол. Они стояли несколько мгновений почти вплотную друг к другу, потом она, слегка покраснев, отпрянула и сказала:

— Кушайте.

Но Огарков не садился. Где-то далеко грянул одинокий пушечный выстрел. Огарков посмотрел на Марию и встретился с ее взглядом, напряженным и ожидающим. Он сказал:

— Мне надо идти.

— Вам гимнастерку дать? — покорно спросила она.

— Да.

— Вас в части ждут?

— Да.

Они впервые посмотрели прямо в глаза друг другу, и она вздохнула с каким-то непонятным облегчением. Да, она хотела, чтобы он остался, но не так остался, как тот, распевавший песни в соседнем дворе.

Она принесла еще влажную гимнастерку и утюг, полный мерцающих угольков. Она выгладила гимнастерку и пришила оторвавшуюся на шинели пуговицу. Он любовался ее быстрыми и гибкими движениями, полный благодарности за то, что она так заботливо собирает его в дорогу, «в дальнюю, дальнюю дорогу»,— думал он устало и почти совсем уже без горечи.

Он переоделся, взял оба автомата — джурабаевский и свой, трофейный, и положил в карман красноармейскую книжку и партийный билет Джурабаева, лежавшие на подоконнике.

Выйдя из станицы и поднявшись на гребень, они увидели Дон. В овраге зенитной батареи уже не было, среди зеленой травы чернели окопы, в которых раньше стояли пушки.

Внезапно раздался оглушительный взрыв. Огарков с Марией переглянулись.

— Переправу взорвали,— сказала она.

Он растерянно остановился. Она с напряжением ждала, что он скажет. Обломки моста с шумом падали в воду.

«Опоздал»,— подумал он, глядя на реку ничего не видящими глазами.

— Я вплавь доберусь,— пробормотал он.

Она сказала:

— У меня здесь лодка спрятанная.

Они пошли вдоль реки обратно к станице. Спустившись по крутому берегу, Мария исчезла среди густых зарослей у самой воды. Вскоре она позвала его. Он спустился к ней и увидел в камыше маленькую душегубку с одним коротким веслом.

— Вот,— сказала Мария.

— А как с лодкой быть? — спросил он.

Она, глядя вдаль, махнула рукой.

— Пусть там остается.

В голубом высоком небе прогудел немецкий разведчик. Мария припала к плечу Огаркова и зашептала:

— Когда вернетесь, заходите к нам, если не забудете про меня.

— Не забуду,— сказал он дрогнувшим голосом.

— Управитесь один? — спросила она минуту погодя.

— Я на Волге вырос,— ответил Огарков и переступил борт душегубки.

Мария быстро и еле сдерживая слезы оттолкнула лодку от берега и сказала:

— Вот мы под немцем остаемся. Возвращайтесь поскорее.

Он машинально ответил:

— Хорошо, вернемся.

Лодка понеслась вперед, и вскоре Огарков очутился на середине реки. Одинокая фигура женщины на берегу исчезла из виду.

Оглядевшись кругом, Огарков ощутил в душе чувство необычайной свободы и даже счастья. Он сидел на корме и подгонял лодку сильными ударами весла то вправо, то влево. Нос лодки приподнялся, и поверх носа виднелся крутой склон восточного берега, крылья ветряка и труба сахарного завода, а над всем — небо с белыми облаками.

Все это было видано и перевидано много раз с детства, но никогда не было при этом того безграничного чувства свободы, которое он испытывал теперь.

И ему захотелось, чтобы его хоть на одно мгновение увидали мама и Джурабаев. И если жива маленькая химинструкторша Валя, так чтобы и она увидела его. И командир саперного батальона, и курносый лейтенант, и лейтенант в немецкой плащ-накидке, и батальонный комиссар с квадратным лицом, и старик, похожий на Льва Толстого, и Синяев, и жена командующего. Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ.

Лучше всего было бы, если бы пуля с самолета — вражеская пуля! — попала не в Джурабаева, а в него. Он лежал бы под холмиком во дворе у Марии, прислушиваясь к шелесту листьев и трав и сам превращаясь в травы и листья и в красные ягоды малины. И он бы вскоре дождался знакомого топота солдатских ног, услышал бы голоса своих товарищей, с боями и песнями идущих обратно на запад. А в этой лодочке плыл бы теперь человек, достойнее его,— Джурабаев.

Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу и выбор — он поступит, как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею.

Лодка ударилась о берег. Огарков высадился, вытащил лодку и пошел.

Он прошел мимо саперов, роющих окопы, мимо пехотинцев, спавших на солнцепеке, мимо полевых кухонь, мимо артиллерийских батарей. Он прошел станицу и другую, здороваясь с солдатами и офицерами, он пил воду из колодцев и ел помидоры с бахчей. Его лицо было приветливо и печально, и люди, чувствуя в нем что-то значительное, сердечно встречали его.

Ему хотелось поскорее умереть, чтобы не сожалеть о жизни, суровой, но прекрасной.

На большой дороге, по которой не прекращалось движение

частей и обозов, он увидел двух верховых и в едущем впереди узнал лейтенанта Синяева. Тогда он в последний раз пережил минутную слабость,— почти панический страх. Он вздрогнул, остановился и сделал движение назад, в придорожные кусты. Потом опомнился, подошел к Синяеву, ехавшему шагом, притронулся к седлу и сказал:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Синяев не узнал Огаркова и коротко осведомился:

— Чего?

— Вы меня не узнаете? — спросил Огарков.

Синяев посмотрел на Огаркова и сказал:

— Вы обознались.

Огарков снял руку с седла, некоторое время шел молча рядом с лошадью, потом назвал себя:

— Я — Огарков.

Синяев изменился в лице.

— Как? — спросил он, ошеломленный.

Огарков кратко рассказал, каким образом он очутился здесь, и сдавленным голосом спросил Синяева:

— Вы не в штаб армии едете?

— Туда,— ответил Синяев.

Он соскочил с коня и пошел рядом с Огарковым. Так шли они молча всю дорогу до той обсаженной тополями станицы, где разместился штаб.

Не будет преувеличением сказать, что в последующие дни все полевое управление армии, от солдат-посыльных до генералов, было озабочено и захвачено судьбой Огаркова. Его возвращение, по сути дела вполне добровольное, в распоряжение трибунала, приговорившего его к расстрелу, поразило и растрогало людей, хотя и ожесточенных отступлением, тяжелыми лишениями и смертью друзей.

Все ждали результатов доследования и окончательного решения с нетерпением и не без опасений, так как прекрасно знали, что трибунал, как учреждение, может и не принять во внимание возвращение Огаркова: формально поступок этот мог считаться вполне естественным и само собой разумеющимся. И некоторые офицеры из самых молодых (в первую очередь, разумеется, Синяев) уже заранее обвиняли трибунал в черствости и формализме.

Наконец стало известно, что дело поступило на рассмотрение Военного совета, благо приговор ранее не был утвержден. Какими рекомендациями сопроводил трибунал дело в нынешней его фазе, было покрыто тайной.

Всю ночь перед решением лейтенант Синяев не спал. Он прогуливался неподалеку от лужайки, где размещались блиндажи армейского командования. Оттуда доносились негромкие разговоры. Аппараты Бодо и Морзе выстукивали под землей слова донесений и приказов. Синяев все ходил взад и вперед и ждал. Его приятель, адъютант члена Военного совета, обещал ему, как только он что-нибудь узнает, выскочить на улицу. Но адъютант все не появлялся.

Между тем наступил рассвет, запели птицы и забегали посыльные.

На востоке, там, где была Волга, встали огромные вертикальные красные полосы, похожие очертаниями на гигантских алых солдат, медленно идущих вдоль горизонта.

День вступал в свои права. Синяева вызвали и послали в дивизию с поручением, там его ранило в бедро, и только на следующий день, в госпитале, он с чувством облегчения узнал, что Огарков помилован и послан командовать взводом на передовую.

Конечно, на членов трибунала и Военного совета, как и на всех других людей, произвело впечатление возвращение Огаркова; к тому же перед этим выяснилось еще одно важное обстоятельство. Дивизия, в которой служил Огарков, не была разгромлена, как это считалось раньше. Потеряв связь с армией и обнаружив, что у него открыты фланги, командир дивизии, естественно, должен был принять и действительно принял самостоятельное решение. Дивизии удалось с боями вырваться из немецкого полукольца, она отошла, вскоре сообщила о себе и позднее была отведена за Волгу. В качестве удивительной драматической подробности передавали, что части дивизии при отступлении прошли через станицу, где днем раньше слушалось дело Огаркова, и, более того, они якобы проследовали буквально мимо той самой землянки, в которой находился приговоренный к смерти Огарков. Как бы там ни было, при пересмотре дела третий, самый грозный свидетель — дивизия — не выступил на суде.

Три года спустя, уже в Германии, Синяев напал на след Огаркова.

Синяев, к тому времени майор, приехал по служебным делам в город Бранденбург и там познакомился с неким майором Кузиным, начальником разведки одной из наших дивизий. Оказалось, что Кузин знает Огаркова, они служили в одном полку в то злополучное лето.

И вот этот самый Кузин встретил Огаркова на днях здесь неподалеку, в небольшом немецком городишке. Огарков уже был капитаном и командовал саперной ротой. Люди, воевавшие вместе с ним, рассказывали о нем как о храбром человеке и отличном товарище. Правда, за ним замечали одну особенность: он иногда задумывался, становился рассеянным до странности. Однако людям, знавшим его историю, это не казалось удивительным.

Может быть, в эти минуты он вспоминал придонские места и перед его глазами вставало туманное видение: по необъятной степи бредут два человека, отбрасывая на высокую пшеницу волнистые тени — длинную и короткую.

*1948*

# СЕРДЦЕ ДРУГА

*Повесть*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### *Моряк в пехоте*

I

В самый разгар военных действий, когда полк, обескровленный в наступательных боях, все еще пытался прорвать немецкую оборону на подступах к Орше, поступил приказ о смене. Этот приказ означал, что люди, окопавшиеся в глинистой хляби огромных, тянувшихся на десятки километров оврагов, простуженные, охрипшие, покрытые фурункулами, нажитыми этой осенью, покинут свои позиции и отправятся отдыхать в спокойные сухие места, а здесь их заменят солдаты других, свежих частей.

Командир полка майор Головин собрал у себя узкое совещание в составе своих заместителей, начальника штаба и командиров трех батальонов и, еле сдерживая блаженную улыбку облегчения, сообщил им о приказе.

Во время совещания приехали два представителя той дивизии, которая сменяла полк,— старик полковник и молодой майор. Они вошли в сырой блиндаж, освещенный самодельной лампой, и, предъявив документы, уселись на деревянный топчан возле железной печурки, чтобы согреться и обсохнуть.

В наступившей на минуту тишине, нарушаемой только однообразными и свирепыми взвизгиваниями ветра за подрагивающей дверью блиндажа, все внимательно оглядели друг друга.

Вид приезжих составлял разительный контраст с видом собравшихся на совещание полковых офицеров. Приезжие были чисто выбриты, от них даже пахло одеколоном. Лица их, розовые и гладкие, свидетельствовали о сытой и спокойной жизни в течение длительного времени. Сапоги, хотя уже слегка забрызганные грязью и глиной, сохраняли свой светлый и жирный блеск, живо напоминающий об армейском порядке и благополучии.

Головину стало не по себе от собственного растерзанного вида и от неподобающей внешности подчиненных. «Да, мы немножко того... поопустились,— думал он, глядя исподлобья на своих обросших бородами комбатов,— робинзоны, черт возьми нас совсем!» Комбаты, в отличие от него, нимало не совестились, напротив — они глядели на приезжих даже с некоторым вызовом: и мы, дескать, такими были; посмотрим, что будет с вами здесь через недельку-другую.

Эта мысль, вероятно, промелькнула и в голове приезжего молодого майора. Он смотрел на местных офицеров с сочувствием и не без опасения за будущее своей части на этом трудном участке фронта. Зато седой полковник — как видно, старый служака,— сурово оглядев присутствующих, проворчал:

— Бриться надо. У вас совсем партизанский вид.

Командир полка развел руками.

— Правильно, товарищ полковник. Но, откровенно скажу,— условия невозможные. Кругом — пустыня. Противник все пожег при отступлении. Леса нет, дров нет, топить бани нечем. Дождь хлещет месяц подряд. Блиндажи обваливаются, а обшивать их нечем. Кругом — глина, вода. Оружие и то чистить негде. Бывало, пулеметы отказывали... Да, было. Всякое было.— Он с наслаждением повторял это слово «было», означающее, что все беды кончились и теперь предстоит нечто совсем другое, несравненно лучшее.

Полковник недовольно поморщился и коротко сказал:

— Приступим.

Его ознакомили с положением дел, вручили оперативную и разведывательную карты и предъявили заранее заготовленный акт о сдаче и приемке участка. Но полковник, к некоторой досаде Головина, оказался человеком дотошным и, видимо, не принадлежал к породе канцеляристов.

— Я лично осмотрю передний край и уточню положение на месте,— сказал он и, с минуту помедлив, продолжал: —

А пока должен вам сказать, что ваши данные о противнике, о его огневых средствах, системе обороны и боевом и численном составе его частей нас никак не устраивают. Командование согласилось с тем, что вы должны перед сдачей участка провести разведку боем. Приказ об этом вы получите в ближайшие часы.

— Разведку боем? — повторил Головин, и его лицо на мгновенпе перекосилось, как от боли.

Разведка боем означала, что полк, и так понесший большие потери, понесет еще новые, тем паче что противник укрепился на выгодной позиции и вся лишенная леса равнина на нашей стороне, кроме этих залитых водой, но спасительных оврагов, просматривалась им на десятки километров. И хотя полковник из другой дивизии имел все основания и непререкаемое право требовать разведки боем перед сменой, Головину казалось, что старик — просто нехороший, сухой и злой человек, который лишь в отместку за то, что ему попался такой трудный участок, и из зависти к уходящей на отдых части решил потребовать разведки боем.

Головин сухо сказал:

— Есть. Будет сделано.

Он оглядел своих людей. Ему нужно было решить, кому из комбатов доверить непомерно тяжелую задачу. Конечно, можно было поручить это дело командиру второго батальона, капитану Лабзину, человеку, которого Головин недолюбливал за чрезмерную, почти трусливую осторожность — его Головину не так было жалко, как остальных двух. Но эта мысль только на самую долю мгновения пронеслась в голове командира полка, и он тут же отбросил ее прочь не без негодования на самого себя. Ибо что бы там ни думал этот сухарь-полковник, какими бы мотивами ни руководствовался, но дело есть дело: та часть, которая сдает участок, обязана провести разведку боем перед сменой, если противник недостаточно разведан,— таков воинский закон. И эту задачу следовало поручить самому решительному — и самому любимому — из комбатов, командиру первого батальона. Уныло взглянув на него, Головин сказал:

— Товарищ Акимов, готовься.

— Есть готовиться,— ответил Акимов, подымаясь во весь свой большой рост и усмехаясь в молодую, блестящую, кудрявую черную бороду, выросшую за месяц здешней жизни. Его голос, низкий и с каким-то веселым раскатцем, оторвал полковника от карт и боевых документов. Полковник взглянул на

него и увидел мощную голову на большом теле, которое и под уродливой ватной телогрейкой представлялось полным сдержанной силы. В Акимове именно чувствовалось изобилие силы, и, если бы он держался подтянуто, напряженно, это казалось бы уже нескромным, почти демонстративным. Может быть, поэтому он чуть сутулился, двигался по-медвежьи мешковато, с этакой нарочитой ленцой, и единственная неприкрытая часть его тела — шея, хотя и немалого обхвата, была очень белой и нежной, как бы не желая свидетельствовать о мышцах богатыря, скрывавшихся под одеждой.

Лицо Акимова было все, за исключением высокого и чистого лба, в мелких рябинах, а глаза — узкие, серо-зеленые — глядели спокойно и независимо.

Вид комбата произвел на полковника впечатление, но, верный своей привычке судить о людях по их делам или, может быть, не желая подпасть под властное обаяние молодого человека, он опять углубился в свои бумаги, мимолетно решив: «Посмотрим, каков он в бою».

Головин между тем говорил Акимову:

— Тебя поддержит вся полковая артиллерия и дивизион артполка. Попрошу у комдива, чтобы он добавил еще артиллерии. Все тебе дам. Саперную роту пришлю в твое распоряжение.— Поколебавшись с минуту, Головин, чтобы окончательно подсластить пилюлю, добавил: — И взвод разведки тоже.

Акимов ответил:

— Ладно, есть.

Легкая улыбка все еще блуждала по его лицу.

«И чего он улыбается?» — раздраженно подумал старик полковник, взглянув на комбата еще раз.

Акимов улыбался потому, что, как только услышал о разведке боем, так сразу и решил, что Головин поручит задачу именно ему, Акимову. И когда так и вышло, лицо Акимова осветилось этой странной улыбкой, в которой было и удовлетворенное самолюбие, и горечь тревожных предчувствий, и насмешка над собственной догадливостью.

Акимов взял со стены свой автомат и спросил у полковника как у старшего по званию:

— Разрешите идти?

Полковник кивнул головой, сказав:

— Скоро буду у вас.

— Милости просим,— ответил Акимов.— У меня приблудный баран жарится. Приходите, угощу. Только попрошу вас — не говорите моим офицерам, что вы нас завтра сменяете.

— Это почему же? — холодно спросил полковник.

Акимов помедлил с ответом, потом напрямик сказал:

— Чтобы людям было легче умирать.— Он подождал, не возразят ли ему, и, так как все молчали, закончил, ни к кому не обращаясь: — Я и сам был бы рад забыть про эту смену. Да уж тут ничего не поделаешь.

Акимов легко вскинул автомат на плечо и вышел.

Уже совсем стемнело, несмотря на сравнительно ранний час.

От блиндажа командира полка, вырытого, подобно пещере, в западном склоне оврага, вел узкий лаз в самый овраг. Оскользаясь в глинистом месиве и держась рукой за мокрую стенку лаза, Акимов медленно шел вперед, привыкая к темноте. Наконец лаз кончился. Овраг лежал черный и бесконечный. Кругом было тихо, и только ветер неистовствовал по-прежнему, с разудалым свистом скользя по лужам и время от времени донося откуда-то приглушенные солдатские голоса.

— Товарищ капитан? — окликнул Акимова голос его ординарца, сержанта Майбороды.

— Я,— ответил Акимов.— Пошли.

Привыкнув к темноте, Акимов зашагал быстрее. Теперь он уже различал еле уловимую черту, отделяющую черную землю от черного неба, и угадывал где-то близко над головой кромку оврага.

— Замерз? — осведомился он у шагающего сзади ординарца.

— Так себе,— отвечал Майборода.

Помолчали, потом Майборода снова окликнул Акимова:

— Товарищ капитан...

— Чего? — отозвался Акимов.

Майборода осторожно спросил:

— Командир полка взбучку давал?

— А что? — усмехнулся Акимов.— Заметно в темноте?

Майборода тихо рассмеялся, но, не удовлетворенный уклончивым ответом, снова спросил:

— Важные новости, товарищ капитан? Или так просто?

Акимов сказал:

— Тут где-то тропинка наверх, как бы не пропустить. Вот

она. Осторожно, Майборода. Держись носом за землю. Смотри автомат не урони в грязь. Вот. Хорошо. Вылезли.

Оказавшись на гребне, они сразу же увидели медленный и неяркий взлет немецкой ракеты. Они миновали место, где темной громадой стоял подбитый танк, и зашагали дальше по равнине.

— Воевать будем,— заговорил Акимов после долгого молчания.— Возьмем Оршу, пойдем на Варшаву. А потом — так и быть, разглашу военную тайну — пойдем на Берлин. Вот какие новости, товарищ сержант. А других новостей нет и быть не может.

Это «разъяснение» заставило Майбороду прикусить язык. В молчании дошли они до «своего», батальонного, оврага. Овраг этот проходил по окраине деревни, имевшей на карте название. Но от деревни остались только трубы печей, и то наполовину проваленные. Эти темные дымоходы дотла сожженных домов стояли рядами, как капища древних богов, и пахли тем сладковатым и горьким запахом пожара и разрушения, который нельзя никогда забыть.

Спустившись в овраг, Акимов и его ординарец зашагали быстрей: тут им была знакома каждая пядь земли. К тому же дождь становился все сильнее. Они миновали позиции батальонных минометов. Вдали замелькали тусклые полоски света из неплотно прикрытых землянок. Потянуло дымком от расположенной неподалеку батальонной кухни.

Очутившись у порога своей землянки, Акимов сказал:

— Ступай зови сюда всех офицеров.

## 2

Акимов называл свою землянку «кубриком» — одним из тех морских словечек, которые моряки любят употреблять всюду, куда бы их ни занесла военная или иная судьба. В пехоте Акимов оказался случайно, после ранения под Новороссийском, где дрался на суше в составе роты моряков. Пехотная жизнь ему, в общем, нравилась, тем более что Берлин — как он говорил иногда для самоуспокоения — город сухопутный, на корабле туда не попадешь. Однако, надо признаться, его самолюбие страдало от того, что многочисленные рапорты командованию о переводе во флот пока что не имели послед-

ствий: то ли они застревали в канцеляриях, то ли не нуждался флот в офицерах.

Акимов плавал на Черном море лейтенантом, командиром морского охотника — корабля четвертого ранга. Этот маленький кораблик затонул при выполнении боевого задания.

Точно неизвестно, что именно придает морякам обаяние в народе: то ли опасная и романтическая профессия, соленый ветер морей, потрясший воображение сухопутного человечества со времен Гомеровой Одиссеи; то ли образ жизни, приучающий их к спаянности и бесстрашию перед лицом самой неверной из стихий; то ли, наконец, их малочисленность на бескрайних сухопутных пространствах России,— как бы то ни было, но здесь, в пехоте, бывший моряк пользовался беззаветной любовью своих солдат в немалой степени из-за своей принадлежности к морю. Солдаты первого батальона нередко выхвалялись перед своими товарищами из других подразделений: «У нас комбат — морячок! Вот это парень! С ним не пропадешь!»

В короткий срок Акимов вырос в звании до капитана и был назначен сначала командиром роты, потом — батальона. В связи с этим он даже начал немного побаиваться обратного перевода во флот. Дело в том, что там он был лейтенантом и его знания и опыт не позволили бы ему занять на корабле пост, соответствующий званию капитан-лейтенанта. Флот — дело, связанное с разнообразной, сложной и непрерывно усложняющейся техникой, там одной храбростью и организаторскими способностями не обойдешься.

И все-таки Акимов часто тосковал о море, в частности — о Черном море с его пестрыми, людными, говорливыми портами, с его ярко-синим небом и ярко-зелеными берегами. Он тосковал о корабле — этом чудесно слаженном организме, маленьком мудром мирке, в котором нет ничего лишнего, ничего неразумного и население которого, спаянное общей жизнью и смертью, составляет как бы одно целое на плавно покачивающемся под ногами крохотном кусочке Советской родины.

В Акимове все было от моряка — даже глаза: зеленоватые, цвета моря. А рябинки по всему лицу тоже, казалось, не от оспы появились у него, а от едкости соленой морской волны.

На самом же деле Павел Акимов был родом из города Коврова, от которого до моря не всякая птица долетит. Во флот он попал благодаря своему большому росту — 190 сантимет-

ров — и физической силе, да потому еще, что комсомол, шефствовавший над флотом, старался посылать туда лучших ребят. Акимов, работавший токарем-инструментальщиком, слывший деятельным общественником, и был тем идеальным комсомольцем для флота, о котором мечтают райкомы и горкомы комсомола на всем протяжении нашего обширнейшего из государств. Кончив всего только семилетку и поступив на завод учеником токаря, он вскоре, в силу своих выдающихся способностей и природного упорства, стал лучшим специалистом по части самых тонких токарных работ, которые всегда выставлялись на выставках, приуроченных к городским и областным комсомольским конференциям. Это не мешало ему, в отличие от многих его сверстников, точно и в срок выполнять довольно многочисленные комсомольские поручения разного рода. Вместе с тем он учился заочно и сумел, несмотря на все свои производственные и общественные обязанности, стать так называемым отличником учебы, то есть человеком, получающим пятерки по всем предметам. Это было тем более трудно, что учиться заочно — дело, в первую очередь, личной силы воли. Тебя фактически никто не подстегивает, кроме твоей собственной совести. Учиться без палки, хотя бы самой нежной, — трудное дело. Притом стоит отметить, что Акимов зарабатывал больше, чем любой инженер на его заводе, и, таким образом, учился он не ради увеличения своих заработков, а ради желания много знать и приносить людям бо́льшую пользу. Добавим, что он был самым внимательным из сыновей в многочисленной семье старого ткача. Понятно, что его любили в городе, где он родился и вырос.

Город Ковров расположен на высоком берегу реки Клязьмы и основан в XII веке звероловом Епифаном — так по крайней мере гласит предание. Четыре века спустя им владела отрасль князей Стародубских — князья Ковровы, или Ковры, как о том сообщает продолжение Несторовой летописи. Город этот, как две капли воды похожий на многие другие уездные города Центральной России — с церквами, каменными красными рядами, тихими прямыми улицами, обставленными двухэтажными домиками с кирпичным первым и деревянным вторым этажом, — незадолго до революции имел тридцать три питейных заведения, одну гимназию, одно городское училище и одну больницу, несколько бумагопрядильных фабрик, салотопенный и мукомольный заводы, а также мастерские Московско-Ниже-

городской железной дороги. Этот городок за советские годы разросся, стал большим и шумным, полным рослой и любознательной молодежи, в крови и облике которой жили поколения звероловов и землепашцев, возделавших эти места.

Из города ткачей и прядильщиц он превратился в город металлистов, и железнодорожные мастерские стали крупным заводом, вырабатывающим мощные экскаваторы, которые можно видеть на всех больших и малых строительствах от Комсомольска до Москвы. На этом заводе как раз и работал Акимов.

Семья Акимовых жила в маленьком домике Заречной Слободки, которая сообщалась с городом старым паромом. Мост через Клязьму был тут построен позднее. Река Клязьма с ее притоками Уводью и Нерехтой — небольшими студеными речками, полными омутов и осоки,— эта река с притоками и была тем тренировочным полем, где Акимов, сам того не зная, готовился к морской службе. Здесь он с детства выучился плавать и нырять, здесь он зимой на блесну ловил окуней, а летом на подпуска и в самодельные крылены — лещей, судаков, щук, а иногда и стерлядей. Здесь он без памяти полюбил жизнь на воде. Здесь, в прелестной, пересеченной живописными оврагами местности, среди зарослей мяты, среди густого орешника, ржаных полей, березовых рощ и редкого сосняка, среди луговин и полян, полных иван-да-марьи, желтых лютиков и медуницы, он приучился к тесному общению с природой, к пониманию ее, что составляет одну из драгоценнейших черт русского человека.

Акимов был, таким образом, происхождения «резко континентального», как он сам выражался, а зеленоватые глаза — если правда, что глаза могут перенимать окружающие краски,— приобрели, по-видимому, свой цвет от родных бледно-зеленых холмов и извилистых речек бывшей Владимирской губернии.

Всю свою силу, упорство и мастерство Акимов вложил бы в создание осязаемых человеческих благ — экскаваторов, железнодорожных вагонов, холодильников или автомобилей; он закончил бы институт, остался бы в Коврове или уехал бы в другое место,— например, в один из сибирских новых городов; можно не сомневаться и в том, что при его характере и образе мыслей он делал бы свое дело с размахом и сметкой, свойственной ему, и от этого проистекло бы много полезного для нашего

народа. Но всего этого не произошло по той причине, что нужны были люди в армии и флоте. Его взяли в военный флот при ворошиловском наборе в 1936 году. Тут он служил матросом, потом старшиной, а позже кончил военно-морское училище и стал командовать кораблем четвертого ранга, не принося никому видимой пользы. И лишь когда война началась, его опыт и умение оказались нужными людям, как воздух, которым мы дышим, и как кровь, которая питает наше сердце.

Даже сержант Майборода — ординарец, или, как он сам себя называл теперь по-морскому, «вестовой», капитана Акимова, человек сугубо практичный и прижимистый, до войны — заведующий буфетом, да еще на железной дороге, да еще в Конотопе, то есть человек прозаический до мозга костей,— даже и он относился к своему командиру, бывшему моряку, по-особому.

Вообще Майборода считал, что людей без недостатков не бывает, и склонен был серьезно преувеличивать эти недостатки. Если же такие люди существуют, думал он, то это только значит, что они умеют искусно скрывать свои дурные стороны, и сто́ит с ними пожить подольше, чтобы обнаружить плохое в них.

Однако в Акимове он не находил недостатков, хотя был его ординарцем уже три месяца — срок на войне немалый. То есть не то чтобы не находил. Недостатки были, но Майборода считал их до неправдоподобия незначительными. Акимов был вспыльчив. «Попробуй не вспыли, когда кругом такая беда»,— рассуждал Майборода. Акимов был иногда несправедливо резок со своими подчиненными. По этому поводу Майборода говорил другим солдатам: «С нашим братом будешь мягкий, он на голову сядет».

Большая голова Майбороды с кривым носом и заплывшими глазками была между тем полна тяжелых мыслей, потому что семья его находилась под немцем, в Конотопе. Свою хлопотливую службу он нес образцово, но выглядел при этом очень унылым, очень скучным и чем-то недовольным. Он любил побрюзжать, собеседников прерывал издевательским и приводящим многих в ярость вопросом: «Ну и что?» — и вообще был в общежитии мало приятным человеком.

Только в присутствии Акимова, как в присутствии любимой девушки, он преображался. Все в Акимове — простоватый вид,

под которым, как хорошо знал Майборода, крылись большой ум и недюжинное знание жизни, меткие слова, задумчивая усмешка и оглушительный хохот,— все это действовало на ординарца, как шпоры на добрую лошадь, все это вырывало его из плена тяжелых мыслей о себе, своих детях, своей жене, своем положении, своем будущем — всех тех мыслей, с которыми он прожил жизнь.

Он больше всего любил минуты, когда во время затишья на фронте Акимов, обычно лежа, рассказывал разные истории о боевых действиях моряков и вообще о флоте. Он часто расспрашивал Акимова о флотской службе и о море, которого сам никогда не видел.

— Объяснить это трудно,— отвечал Акимов, улыбаясь той задумчивой усмешкой, которая обычно тут же, как в зеркале, хотя и чуть кривом, отражалась на лице Майбороды.— В общем, это просто много воды, но это не похоже на воду в понимании такой полевой мыши, как ты. Это целый мир. Как нельзя, собрав много червей, сделать змею, так нельзя, собрав вместе сто рек, устроить море. Море — это дело особое. У него свой запах, свое небо, свой свет и своя тьма. Поверхность его меняется в цвете. С суши оно кажется темным и чем ближе к горизонту тем темнее. А по этой темной массе, наподобие барашков в стаде, двигаются белые пятна. А если глядеть на море с корабля далеко от берега, то оно кажется синим...— Досадуя на то, что, несмотря на обилие слов, он все-таки не может толком объяснить, в чем дело, Акимов неизменно заканчивал так: — Надо на это самому посмотреть. Коли живы останемся — поедешь со мной в Севастополь или Одессу.

### 3

Землянка комбата Акимова славилась во всех здешних оврагах — батальонных и ротных — своими удобствами. Об удобствах заботился Майборода, и все офицеры сильно завидовали Акимову, имевшему такого ординарца.

Пол здесь был выложен целехонькими, хотя и почерневшими от пожара кирпичами, поверх которых была настлана солома. Железная печурка накалялась тут докрасна; возле нее всегда сушилась целая гора дров. Правда, это были не настоящие дрова — березовые или сосновые, по которым тоско-

вала душа Майбороды,— а всего лишь тонкие ивовые прутья. Но в других землянках зачастую и таких не было. Прутья эти Майборода под пулями немцев рубил на берегу ручья, извивающегося вдоль переднего края, и тащил их оттуда вязанками, иногда ползая по-пластунски. Такими же прутьями были густо оплетены сырые стены.

Здесь стояли стол и две скамейки, на гвозде висел темно-синий снаружи и ослепительно белый внутри, мирный, как голубь, эмалированный таз, бог весть где приобретенный. Нары здесь были не земляные, а настоящие, дощатые.

В землянке был даже патефон. Правда, иголок не имелось вовсе, но Майборода приспособил швейную иголку, которая, право же, ничем не уступала настоящим. Пластинок было всего четыре, и те — не песни, а инструментальная музыка, что вначале всем очень не понравилось, показалось скучным и никчемным. Но потом к этим песням без слов привыкли, уловили их сильную и тонкую мелодию. Они проникали в сердца медленно, но настойчиво. В спокойные часы солдаты даже напевали, лежа в мокрой траншее, вперемежку с родными песнями «классику», что особенно радовало душу бывшего учителя истории, а ныне замполита, капитана Ремизова.

Землянка вскоре заполнилась. Пришли адъютант батальона лейтенант Орешкин, командиры стрелковых рот Погосян и Бельский, лейтенант-минометчик и лейтенант командир взвода — все оставшиеся в строю офицеры батальона. В углу у телефона дремал дежурный солдат-связист.

Пока Акимов медленно снимал с себя телогрейку, пришел и его заместитель по политической части, капитан Ремизов. Скинув замызганную плащ-накидку и протерев залепленные грязью очки, он спросил:

— Какие новости?

— Садитесь, товарищи,— сказал Акимов и развернул на столе карту. Не поднимая глаз, он добавил просто: — Воевать будем.

Он почувствовал — не увидел, как насторожились офицеры, и вслед за тем услышал бесконечно долгое шуршание медленно вынимаемых из планшетов карт.

В этот момент вернулся Майборода. Он бесшумно прошел вдоль стены к своему месту у печки. Пока Акимов излагал предварительный план боя, Майборода, чутко прислушиваясь к его словам и время от времени сокрушенно вздыхая, жарил

баранину. По землянке все больше распространялся приятный, почти пьянящий запах жареного мяса. Майборода мысленно подсчитывал число возможных едоков, чтобы никого не обделить и в то же время не перебарщивать, дабы что-нибудь осталось и на завтра. «А завтра,— думал он, покачивая головой,— едоков будет поменьше...»

Бой был назначен на восемь часов утра — время, когда немецкие солдаты завтракали и у них в траншеях оставалось меньше народу. Артподготовке отводилось двадцать минут. Задача — захватить первую немецкую траншею и закрепиться в ней. Полковые саперы идут в боевых порядках батальона. Остальные детали будут уточнены после получения полкового приказа.

— Вопросы есть? — спросил Акимов, помолчав.

Никто не ответил.

— Задача ясна? — нахмурившись, опять спросил Акимов.

— Ясна,— негромко произнес один из офицеров.

— Огневая поддержка будет серьезная,— сказал Акимов.— Вся полковая и дивизионная артиллерия будет работать на нас.— Он опять помолчал, потом вдруг вспыхнул, покраснел и произнес громко и раздраженно: — Это большая честь для нашего батальона, и нечего сидеть как сычи. Солдат мало? Устали? Знаю. И комдив это знает. Может быть, Верховный Главнокомандующий и тот это знает. Понятно?

Он впервые поднял на них глаза. Нет, они, разумеется, не поняли последнего намека. И Акимов все больше сердился, его лицо приобрело злое, жестокое выражение.

— Стыдно смотреть на таких офицеров! — вскипел он окончательно.— Попоны хотя бы сняли! — Он не знал, на чем выместить свой гнев и свою жалость к измученным товарищам, которых он обязан мучить еще больше, чтобы заставить их подтянуться и приободриться перед предстоящим боем. И оттого, что этот бой был последним здесь, в эту ужасную осень, и они не знали этого, а он считал себя не вправе им сказать, он еще больше раздражался и терзался. Когда же они в ответ на его несправедливые и обидные выкрики молча и покорно сняли плащ-накидки, он сразу присмирел и чуть не сказал им всей правды, так ему стало их жалко. Но он только махнул рукой, произнес в отчаянии: «Эх!» — и крикнул Майбороде:

— Вестовой! Баранины и водки!

4

Отказался ужинать один только Ремизов, который водки не пил, а ел очень мало — он свой обычный паек и тот наполовину отдавал самому прожорливому из офицеров, худому как щепка, но вечно голодному Погосяну. Даже война не могла приучить Ремизова к водке, хотя она же обнаружила в нем много новых для него черт, приводивших порой его самого в изумление,— например, физическую выносливость и неутомимость, о которой он, болезненный и вечно хворавший человек, даже не подозревал раньше.

Акимов искренне удивлялся этой неутомимости Ремизова и иногда с грустью думал про себя, что Ремизов будет держаться до конца войны, а в день и час, когда война кончится, он упадет — сразу, как сноп, так же глядя в небо своими большими, глубоко запавшими близорукими глазами, как он глядит сейчас куда-то в пространство, не то думая о чем-то, не то просто отдыхая.

Но вот Ремизов встал и сказал своим негромким голосом:

— Ну, ребята, ешьте, а я пойду. Надо созвать ротные партсобрания и подготовить людей к бою. Завтра двадцать четвертое сентября — в этот день ровно сто пятьдесят четыре года назад произошло сражение при Рымнике, в котором Александр Васильевич Суворов разгромил турецкие войска. Попробуем и мы проделать в этот день то же самое с немецкими войсками хотя бы на четверть. Надеюсь, ты, Павел Гордеевич, не обиделся на меня, что по военному таланту я считаю тебя в четыре раза слабее генералиссимуса Суворова?

Акимов угрюмо отшутился:

— Этого даже многовато, но учтем, что он не имел заместителя по политчасти, а я имею.

— Прекрасно, друзья мои,— сказал учитель Ремизов, и всем сразу вспомнилась школа.

Акимов крикнул вслед уходящему Ремизову:

— Проследи там, чтобы люди вовремя поужинали и пораньше легли сегодня спать.

Не успели доесть баранину, как из штаба полка прибыл офицер с письменным и подробным приказом на разведку боем, а следом за ним появились полковой инженер Фирсов, начальник артиллерии Гусаров и офицер разведки капитан Дрозд. Немного позднее пожаловал старик полковник из сменяющей дивизии.

Никто, кроме Акимова, не знал, кто такой этот полковник, и все восприняли его приход по-будничному, решив, что это какой-нибудь новый начальник из штаба дивизии или корпуса. Акимов же встрепенулся, в упор посмотрел полковнику в глаза, как бы проверяя, помнит ли тот их уговор. Полковник кивнул головой. Тогда Акимов, не желая показать ему свое раздражение и тревогу, заставил себя улыбнуться и спросил:

— Ну, как вам нравится наш кубрик, товарищ полковник?

— Вы спрашиваете о батальонном КП? — с непроницаемым видом осведомился полковник.

— Так точно.

— Ничего.

— Это все мой ординарец,— сказал Акимов, словно не заметив крывшегося в словах полковника упрека по поводу неуставного выражения.— Великий мастер по части благоустройства.

Разведчик, капитан Дрозд, сообщил:

— Сейчас придут разведчики с переводчицей. Командир полка приказал, чтобы она была здесь у вас, Акимов. На случай, если притащим пленных,— она сразу их допросит.

Акимов недовольно поморщился — ему вовсе не улыбалось присутствие девушки в землянке, он слишком хорошо знал за собой серьезную слабость: привычку к употреблению крепких слов во время боя.

Дрозд продолжал:

— И вот еще что, командир полка велел — не пускайте ее отсюда. А то она любит лезть вперед, вместе с разведчиками.

— Ну и пусть лезет, если любит,— грубовато ответил Акимов.— Только и дела мне, что нянчиться с ней.

О новой переводчице Акимов уже много слышал. За десяток дней пребывания в полку она стала в своем роде знаменитой: о ее храбрости говорили даже старые разведчики, которых этим не удивишь. В частности, на днях рассказывали о том, как она три ночи подряд на участке второго батальона выползала на нейтральную полосу, в камыш, и вела разведку подслушиванием. Таким образом ей из разговоров немецких солдат и разных звуков на их передовой якобы удалось установить подход свежего немецкого батальона и занятие им обороны на левом фланге полка.

Откровенно говоря, Акимов сразу же, заочно, невзлюбил ее. Сам человек необычайно храбрый и большой выдумщик по

части подстраивания противнику разных каверз, он ревниво слушал рассказы о чьей-либо храбрости. Таковы тайные и жгучие язвы самолюбия, что рассказы эти воспринимались им всегда как упрек лично ему, Акимову: а ты этого не сумел! Тем более тут шла речь о девушке, что было и вовсе неприятно.

Впрочем, сейчас Акимову было не до нее. С каждой минутой темп жизни нарастал все больше. Дверь землянки уже почти не закрывалась, а плащ-палатка, занавешивающая дверь, дергалась и хлопала беспрестанно: это появлялись и исчезали все новые действующие лица той драмы, которая должна была разыграться завтра.

Акимов, отдавая бесчисленные распоряжения, уточняя с артиллеристами цели, с саперами — районы наших и вражеских минных полей и линий колючей проволоки, со своими офицерами — план действий на все могущие быть предсказанными случаи жизни, иногда забывал о событии, которое должно было произойти после боя,— об уходе в тыл. Вспомнив же об этом, он на мгновение замолкал, кровь горячо подступала к сердцу, и он косился на полковника с каким-то почти суеверным чувством: а сидит ли действительно там, в углу, этот полковник? Можно было чувствовать к нему какую угодно антипатию, но его присутствие здесь означало непреложный факт — завтрашний уход в тыл. А вдруг оглянешься — и никакого полковника здесь нет? Просто это был плод воображения, лихорадочного сна!

Но полковник сидел на месте, и это был, несомненно, реальный полковник, притом — полный желчи ревнитель уставов.

Посреди гула негромких разговоров, сухого треска открываемой и закрываемой двери и свиста ветра, то усиливающегося, то слабеющего, в землянке вдруг раздался звук, похожий на шипение закипающего молока, потом послышалась громкая и приятная мелодия: Майборода завел патефон.

— Это зачем же?— встрепенулся полковник.— Прекратите. Нашли время!

Акимов, дававший артиллерийским офицерам цели на поражение, остановил карандаш, которым метил что-то на карте, и, взглянув на полковника в упор, спокойно возразил:

— Это я распорядился. Пусть играет. Немцы к этому привыкли. Если не поиграть вечером, они еще, чего доброго, заподозрят неладное. Военная необходимость, товарищ полковник.

«Попробуй придерись к этому черту»,— подумал полковник, с уважением глядя на склоненную над столиком упрямую голову Акимова. Наблюдая за подготовкой боя, полковник не мог не отметить внешнего спокойствия и непринужденности молодого комбата, управлявшего людьми с уверенностью, которая дается привычкой командовать и личным бесстрашием.

— Минометная батарея немцев стоит вот здесь,— продолжал Акимов, энергично ткнув карандашом в какую-то точку на карте.— Накройте мне эту батарею, и я — царь.

Телефон заверещал, связист взял трубку и тут же передал ее Акимову, сказав:

— Вас командир полка просит.

Акимов поговорил с Головиным, вернее, молча слушал, что говорит ему командир полка, время от времени коротко вставляя: «понятно», «есть», «слушаюсь», «будет сделано». Только в конце разговора он вдруг покраснел и воскликнул:

— Что за наказание, товарищ майор! Опять про эту переводчицу! Да избавьте меня, бога ради, от такой обязанности — оберегать девицу... Есть. Хорошо. Ладно.

Он положил трубку, чертыхнулся и, разведя руками, сказал капитану Дрозду:

— Всё о вашей переводчице пекутся.— Он задумался, ехидно усмехнулся и добавил: — Наверно, у нее высокий покровитель какой-нибудь есть. Держал бы ее при себе.

Дрозд ответил сдержанно:

— Уж не знаю, есть или нет. Не мое дело.

Вошел низенький квадратный старшина, доложивший, что прибыли боеприпасы. С его шинели ручьями сбегала вода. И еще приходили люди с донесениями и просьбами разного рода.

«Все идет нормально»,— думал полковник. Он поднялся с места и сказал:

— Пора. Я пойду погляжу ваш передний край.

— Прикажете сопровождать вас? — спросил Акимов, тоже вставая.

— Занимайтесь своим делом, а со мной пошлите когонибудь.

Адъютант батальона, лейтенант Орешкин, румяный, стройный, как тростинка, и красивый, как куколка, поняв кивок Акимова, взял автомат и пошел вслед за полковником.

В овраге их сразу, словно обрадовавшись новым жертвам,

подхватил сильный ветер, больно хлеща по лицу холодными дождевыми каплями.

— Начнем справа,— сказал полковник.

Они пошли по оврагу. Здесь, несмотря на непроглядную темень, уже ощущалось непрерывное движение. Темные тени двигались во всех направлениях. Переваливаясь по щербатым ямам, поскрипывали повозки. Целые созвездия папиросных огоньков светились тут и там. Овраг вился то влево, то вправо, и ветер соответственно поворотам то утихал, то налетал с удвоенной силой.

Выбравшись из оврага, полковник с лейтенантом пошли по довольно мелкому ходу сообщения. Немецкие ракеты медленно и плавно подымались и опускались, бледным зеленоватым светом на мгновение освещая лабиринт залитых водой темных лазов, ходов и окопов, перерезáвших землю вкривь и вкось, и стальную ленту ручья с дрожащими от холода зарослями осоки. Из землянки комбата все еще слышалась печальная музыка какого-то классического концерта.

— Давно с Акимовым работаете? — спросил полковник.

— Полгода,— охотно ответил шедший впереди молоденький лейтенант.— Я командовал взводом, потом Акимов взял меня к себе.

— Хороший командир?

— Очень! — Ответ прозвучал почти восторженно.— Лучший в дивизии. Между прочим, он моряк.

Трассирующие пули пронеслись над головой.

— Здесь опасное место,— сказал лейтенант.— Траншея не закончена. Метров пятьдесят придется пройти по поверхности земли.

— А в акте указана сплошная траншея,— проворчал полковник.

Они почти на четвереньках переползли опасное место и опять спрыгнули в траншею, подняв целый фонтан воды. Здесь их окликнули. У прикрытого чем-то пулемета стояли два пулеметчика, а немного подальше — большая группа солдат. Оттуда раздавался негромкий, ласковый голос, говоривший:

— Итак, друзья мои, вот что известно нам из истории о справедливых и несправедливых войнах. Вот как наша партия относится к войне вообще и к нынешней Великой Отечественной войне — в частности. Да, нам трудно. Да, мы оставили дома свои семьи и свое дело, которому посвятили жизнь. Да,

мы, мирные люди, воюем беспощадно и деремся отчаянно. Потому что дело идет о свободе и независимости нашей родины и в конечном счете — о будущем всего человечества, о счастье порабощенных народов Польши и Чехословакии, Франции и Бельгии, Дании и Норвегии.

Эти слова, произносимые в темноте ненастной ночи, были довольно обыкновенными словами, употреблявшимися многими военными политработниками, но тон, каким они произносились, и тихая ясность, которую излучал этот негромкий голос, по-особенному волновали душу.

Голос понемногу пропал в отдалении.

— Это кто? — спросил полковник.

— Наш замполит, капитан Ремизов,— ответил лейтенант.— Он у нас лучший политработник в полку. Между прочим, учитель.

— У вас одни только лучшие,— усмехнулся в темноте полковник.

И ему захотелось чем-то обрадовать молоденького лейтенанта и рассказать ему о том, что завтра его батальон вместе с другими отправится куда-то далеко от этого мокрого и трудного житья. Но он вспомнил обещание, данное Акимову, и промолчал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### *Аничка Белозерова*

#### 1

После ухода полковника Акимов переговорил со связистами. Он предложил им с утра развернуть рацию на случай, если противник на время выведет из строя проводную связь. Потом явились артиллеристы-наблюдатели, которых он разослал в роты, с тем чтобы они с самого переднего края могли корректировать огонь своих батарей.

На печурке закипал чай. Кое-кто из офицеров задремал, усевшись на солому. Майборода поставил новую пластинку. То и дело звонил телефон. Акимов принялся с полковым инженером окончательно решать вопрос о местах, где будут сделаны проходы в минных полях.

И вдруг за дверью землянки, совсем близко, раздался громкий, серебристый женский смех. Все подняли головы. Смех раздался снова, уже рядом с дверью, дверь отворилась, плащ-палатка приподнялась, и на пороге появилась девушка. Она смеялась.

— Ох, умора! — произнесла она наконец, вытирая рукавом шинели мокрое смеющееся лицо. С минуту она постояла, довольно бесцеремонно оглядывая собравшихся в землянке людей, потом сказала: — Никак не ожидала услышать тут такую музыку! — Она подошла к патефону, сделалась вдруг серьезной и задумчивой, а когда пластинка пришла к концу, промолвила: — «Танец Анитры» Грига. Тут, я вижу, живут любители классической музыки.

Только после этого она поздоровалась:

— Здравствуйте. Кто здесь командир батальона?

— Я,— ответил Акимов, подчеркнуто лениво повернув к ней большую тяжелую голову.

Девушка, видимо почуяв что-то недружелюбное в этом ответе, сверкнула глазами, но представилась как положено:

— Военный переводчик лейтенант Белоэерова.

Акимов ничего на это не сказал и снова отвернулся к инженеру. Она же подошла к Дрозду и, сказав: «Разведчики пришли»,— села на корточки к огню.

Легкое замешательство, наступившее с ее приходом, рассеялось. Акимов продолжал — правда, громче, чем прежде,— уточнять с инженером участки разминирования. Офицеры, раньше дремавшие на соломе, остались в тех же позах, но сон с них как рукой сняло. Девушка, согрев руки, приблизила свое лицо к уху Майбороды и негромко спросила:

— Голубчик, нельзя ли еще раз поставить эту пластинку?

Майборода благосклонно кивнул, снова завел свой музыкальный ящик, и оттуда опять полилась причудливая и изящная мелодия знаменитого норвежца.

Хотя все как будто были заняты своим делом, но все тем не менее следили за девушкой. Тонкий овал ее юного лица, большие карие глаза, затененные ресницами редкостной длины,— без ресниц они казались бы нескромными, до того сияли они безмерной молодостью и жаждой жизни,— выдающийся вперед и придающий лицу выражение отваги подбородок гордячки, крохотные — по крайней мере в сравнении с остальными здесь в землянке — сапожки, выше которых чуть

виднелись, но с несомненностью угадывались стройные и крепкие ноги,— все это вместе не могло не поразить сидящих здесь людей хотя бы по одному тому, что они давно не видели женщин.

Что касается капитана Акимова, то его равнодушие было насквозь притворным. На самом деле он сразу забыл, что только за несколько минут жаловался на то, что он от всех слышит «переводчица да переводчица». Более того, он искренне удивился тому, что ему так *мало* говорили о ней. Что-то оборвалось в нем при виде девушки. Ему показалось, что он сразу понял, что именно эта девушка — кем бы она ни была и как бы ее ни звали,— эта девушка, со смехом вынырнувшая из осеннего, темного, безбрежного мира, и есть та самая, о которой он думал в течение прошлой жизни. Весь мир, включая эту землянку, бесконечные овраги, разбитые деревни и изрытые саперными лопатами мокрые равнины в этот момент показались ему новыми, небывалыми, окрашенными в другой цвет и находящимися как бы в другом измерении. Или, может быть, он сам перешел сразу из одного состояния — прежнего, привычного состояния души и даже прежнего физического состояния — в другое, необычное, более светлое, как перешел бы альпинист, поднятый на высокую горную вершину, в другую, высокогорную атмосферу, где дышать и легче и труднее.

Этот переворот, совершившийся в одну минуту, и не с восемнадцатилетним юношей, а с почти тридцатилетним человеком, уже видавшим жизнь и знавшим женщин, показался ему самому не только глупым и ненужным, но и смертельно опасным. Он привык управлять самим собой, выражением своего лица и сердечными своими движениями. И в этот миг, почуяв, что где-то он может оказаться во власти чужой, непонятной силы, с которой ему не справиться, он решил дать ей беспощадный отпор. И прежде всего он решил ожесточиться, во что бы то ни стало ожесточиться.

С этой целью он стал думать о том, что, очевидно, как он и предполагал раньше, у девушки есть «высокий покровитель», проще сказать — любовник в большом звании, который настолько влиятелен, что заставляет даже командира полка заботиться о ее безопасности. «Кто бы это мог быть?» — с потугами на презрение начал думать Акимов, хотя сознавал, что никакого презрения не испытывает и вовсе не интересуется узнать имя того человека.

Далее, он решил, что она показалась ему привлекательной и чудесной только и исключительно потому, что она — одна женщина среди многих мужчин, и тяга к ней — не более чем тяга к женщине вообще, самая низменная, физическая тоска по женскому телу. В связи с этим он мысленно утверждал, что, увидев ее на улице в Одессе или Севастополе, он, вероятно, и не оглянулся бы на нее, потому что там она была бы одна из многих и не лучше других, а, может быть, хуже.

Далее, она о чем-то шепчется с Майбородой, пригибаясь к его уху, из чего следует, по всей вероятности, что она привыкла к мужскому обществу и готова любезничать со всяким.

Далее. Войдя, она сказала: «Ох, умора»,— что не является доказательством ее культурности, а скорее напоминает уровень некоторых портовых красоток. Это обстоятельство, как ни странно, особенно задело — или, наоборот, устраивало — Акимова, потому что он, вышедший сам из глубин народа, сумел прочитать уйму книг, много работал и учился, и культурная отсталость молодого человека при Советской власти, так широко поощряющей учение, справедливо казалась ему признаком расхлябанности, лени и никчемности величайшей.

Далее, она, по всей вероятности, не умна. Почему она смеялась? Почему музыка должна вызвать у девушки такой странный и пошлый рефлекс?

Вот эти и другие защитные линии воздвигал Акимов вокруг своего сердца.

При всем том прежняя напряженная и сложная жизнь продолжалась. Время начала боя неотвратимо приближалось. Возникали все новые вопросы, и Акимов как бы со стороны наблюдал за собой и слышал, как чужой, свой собственный голос, так же спокойно, как всегда, отдающий приказания и спрашивающий советов; видел себя задумавшимся на мгновение по поводу какого-нибудь серьезного дела и потом так же ясно принимавшим решение, о котором тут же — и совершенно спокойно — сообщал остальным; он видел себя поднимающимся с места, идущим к телефону и говорящим с командиром полка, с его заместителем по тылу, с командующим артиллерией дивизии по поводу бесчисленного множества разных деталей, имеющих жизненно важное значение для успеха боя.

Все делая как обычно, Акимов особенно остро замечал то, что творилось около девушки. Он обратил внимание на то, что артиллеристы, с которыми обо всем было договорено, не ушли, а подсели к ней и разговаривают с тем неестественным выражением лиц, какое бывает у мужчин в присутствии красивой женщины; что капитан Дрозд, всегда шумливый и развязный, теперь, возле переводчицы, очень робок; что даже пожилой инженер Фирсов и тот говорит ей что-то приятное; что Майборода, этот известный жмот, угощает переводчицу бараниной.

Больше всего Акимова задело поведение пришедшего из рот капитана Ремизова. Кто-кто, а Ремизов, носивший фотографию своей жены, Марии Алексеевны, в левом кармане вместе с партбилетом, известный среди офицеров под прозвищем «монах»,— этот должен был бы вести себя сдержаннее. Но и он был очарован новой переводчицей и не пытался это скрыть. Краешком глаза Акимов наблюдал, как Ремизов, глупо (как теперь казалось Акимову) улыбаясь, показывает девушке фотографию своей жены, потом дает ей три куска сахару, и она глотает, смеясь, кипяток с сахаром Ремизова, который, таким образом, остался вовсе без сахара, что почему-то особенно разозлило Акимова.

«Хотя бы приличия ради отказалась»,— думал он и свирепо поглядывал на Ремизова. Все это лебезение перед «девицей» наконец осточертело Акимову, и он, вставая, громко сказал:

— Хватит. Все по местам.

Артиллеристы нехотя поднялись и нехотя ушли. Связисты, помявшись и еще несколько минут потолковав с Акимовым насчет связи, ушли тоже.

— Устраивайтесь, кто где хочет,— бросил Акимов оставшимся, а сам начал надевать телогрейку.— Я пойду в роты,— сказал он Майбороде.

В этот момент начался очередной немецкий артобстрел. Он продолжался недолго и закончился так же внезапно, как и начался. То был самый обыкновенный артиллерийский налет, но Акимов поймал себя на том, что он боится попадания снаряда в землянку.

Сразу же после артналета дверь распахнулась, и вошли — вернее, ввалились — полковник с Орешкиным.

— Чуть под мину не угодили,— сказал полковник, возбужденный и помолодевший. От его лоска ничего не осталось, он был весь в грязи и глине.

Подняв глаза, он увидел девушку и вдруг, пораженный, воскликнул:

— Аничка! Как ты сюда попала?

Девушка присмотрелась к нему, вся просияла, обхватила его шею и закричала:

— Семен Фомич, дружище! Вы-то что тут делаете?

— Потом объясню, потом,— покосившись на присутствующих и густо покраснев, забормотал полковник.— Ты на фронте? Здесь? А где папа?

Слово «папа», произнесенное в этой землянке перед боем и устами угрюмого и строгого полковника, прозвучало до невероятности странно и нежно. Оно вдруг заставило людей, связанных только службой и общим делом, посмотреть друг на друга по-новому — как на людей, имеющих папу, маму, бабушку и прочее такое, далекое, как облака.

Акимов, уходя, впервые посмотрел на полковника с некоторой симпатией и подумал даже, что он ошибся в этом старике и что на самом деле это, вероятно, хороший и душевный старик. И то, что у девушки есть папа — обстоятельство как будто более чем естественное — и что этот полковник знаком с ним, тоже показалось Акимову, неизвестно по какой причине, очень приятным и даже важным, словно оно, это обстоятельство, снимало с девушки что-то нехорошее из того, о чем Акимов думал раньше. И вместо того чтобы досадовать по этому поводу, Акимов против своей воли радовался.

## 2

Аничка Белозерова смеялась, входя в блиндаж, вот почему. Когда она, очутившись вместе с разведчиками в овраге, услышала музыку — сначала издали, потом все ближе,— мелодия показалась ей знакомой и напомнила довоенное прошлое, Москву, уроки музыки и все остальное, связанное с мирным временем. Чем ближе она подходила, тем светлее становилось у нее на душе. Приостановившись и прислушиваясь, она непроизвольно спросила у самой себя вслух:

— Что это играют?

И тут неожиданно из кромешной темноты раздался спокойный и веский голос какого-то солдата:

— Танец Анюты играют. Это у нашего комбата в блиндаже.

Тут Аничка в самом деле узнала «Танец Анитры» Грига и от души рассмеялась новому, сильно обрусевшему солдатскому названию этого танца. Весь остаток пути до землянки захлебывалась она счастливым смехом, который так странно прозвучал среди окружающего сурового пейзажа войны и напряженного безмолвия перед боем.

Встреча же с полковником Верстовским, старым знакомым ее отца, женатым на их дальней родственнице, и вовсе растрогала ее. Вместе с музыкой Грига она живо напомнила Аничке тот прошлый мир, который еще недавно казался ей узким, ограниченным и даже немного мещанским, а теперь, на фронте, представился не таким уж плохим.

Короткий рассказ Анички о событиях последнего времени и особенно о ссоре ее с отцом вызвал суровые упреки и тяжкие вздохи Семена Фомича.

Отец Анички, генерал-лейтенант медицинской службы Александр Модестович Белозеров, был знаменитым военным врачом. С августа 1941 года он работал в качестве главного хирурга одной из южных армий. Аничка осталась в Москве одна. Матери у нее не было — она умерла уже давно.

Аничка училась на втором курсе института иностранных языков, на немецком отделении. Институт в полном составе — вместе с преподавателями, знатоками немецкой литературы,— копал траншеи и противотанковые рвы вокруг Москвы, а в октябре его эвакуировали на восток, и Аничка отправилась в большой приволжский город. Здесь Аничка затосковала. Ей показалось стыдным и ненужным пребывание в институте. Она и так знала немецкий язык лучше всех на курсе: ее мать, окончившая в свое время в Швейцарии, в Цюрихе, медицинский факультет тамошнего университета, сама занималась с ней в детстве немецким языком, и занималась настойчиво, с беспощадностью хорошей матери. Таким образом, Аничка свободно говорила по-немецки, и знатоки удивлялись чистоте ее произношения.

Институт стал попросту ненавистен Аничке. Она теперь отдавала себе ясный отчет в том, что поступила сюда только

потому, что и ранее знала немецкий язык, а учиться по-настоящему не хотела из-за постыдной лени и расхлябанности. Она признавала теперь правоту своего отца, который не желал отдавать ее в этот институт, презрительно именуя его «убежищем для ищущих мужа перезрелых барышень». Он хотел видеть свою единственную дочь врачом. Однако она сумела поставить на своем и вот теперь истерзала себя упреками. С началом войны она яростно возненавидела язык, на котором говорили захватчики. В огромной беде, обрушившейся на миллионы людей, Аничка впервые с полной ясностью подумала о своем долге и решила, что должна быть там, где труднее всего. В свете этих мыслей ей показались ничтожными повседневные интересы, которыми жили студенты, и ненавистными те из ее соучениц, которые все еще, хотя и меньше чем раньше, думали о нарядах и молодых людях. Разумеется, в своих страстных порывах к борьбе за общее дело Аничка преувеличивала собственные и чужие недостатки, но это преувеличение было естественным и плодотворным.

Содрогаясь от жалости, наблюдала она за толпами эвакуированных людей, согнанных немцами со своих мест и полных еще не улегшегося смятения. Санитарные поезда привозили в тихий город раненых солдат, и Аничка страдала при виде их страданий и от бессилия помочь им.

И вот она пошла к директору института и попросила дать ей годичный отпуск. Она не скрыла от него, что намерена вернуться в Москву и оттуда поехать на фронт. А именно, она хотела, подобно девушкам, о которых иногда писали газеты, пробраться в немецкий тыл, вредить немцам и передавать по радио или каким-нибудь другим полагающимся в таких случаях путем сведения о противнике.

Директор — может быть, по формальным соображениям, а скорее всего для того, чтобы не пускать на войну молодую и неопытную девушку, да еще дочь известного хирурга — наотрез отказал ей. Она тут же решила, что он изверг и дурак, и стала собираться в путь без разрешения.

О своем замысле она рассказала только одной подруге, Тане Новиковой. Таня очень разволновалась и согласилась ехать вместе с ней. Они целый день бродили по городу, долго стояли на набережной зимней, скованной льдами Волги, говорили разные красивые, но искренние слова и торжественно

поклялись друг другу в том, что всегда будут стараться поступать честно и справедливо.

Но вернуться в Москву без разрешения оказалось не простым делом. Москва все еще была прифронтовым городом, и проезд туда был связан с большими хлопотами, с обязательным вызовом какого-нибудь учреждения и другими трудностями. Таня испугалась, как бы ее, словно преступницу, не ссадили с поезда и не отправили с позором обратно в институт. Тогда Аничка решила отправиться одна.

Она села в поезд без билета, так как для получения его нужен был пропуск в Москву. Устроившись на уголке какого-то сундучка в загроможденном людьми и вещами вагоне, она вначале очень волновалась. Окружающие люди показались ей крикливыми и злыми. Каждый старался занять место получше, и это обстоятельство как-то очень обижало Аничку. Но потом, когда поезд тронулся, выяснилось, что в вагоне сидят хорошие люди. Приглядевшись друг к другу и перезнакомившись, они стали дружелюбными и добрыми. Шум и споры улеглись, все довольно сносно разместились и зажили общей товарищеской жизнью.

Сперва Аничка опасалась проверки документов, но успокаивала себя тем, что ее отец — генерал: справку об этом она имела. Еще больше успокаивала ее мысль, что, как только она объяснит, зачем едет, ее беспрепятственно пустят в Москву. Убедив себя в этом, она ехала уже совершенно спокойно, разглядывая людей своими большими глазами и вызывая в окружающих чувство симпатии и радости, о чем она, по молодости лет, только еще начинала подозревать.

Так, в сознании — еще неясном, но могучем — своего обаяния и своей правоты, догадываясь, что нет большей силы, чем внутренняя убежденность, она проделала первые сутки пути.

Но вот случилось то, что должно было раньше или позже случиться. Дверь в вагон отворилась, и проводница провозгласила: «Проверка документов!»

Аничка встретила военных, проверявших документы, спокойным и открытым взглядом, и те, как ни странно, спросили документы у всех, кроме Анички. Не то чтобы они ее не заметили. Нет, они ее заметили очень хорошо, но, пожалуй, подумали, что не может такая девушка ехать одна, без папы или мамы. Один из них даже улыбнулся ей, и его угрюмое кирпичное лицо покрылось при этом грубыми, но добрыми

складками. Она тоже улыбнулась ему, но потом рассердилась на себя за это, потому что в своем нынешнем состоянии напряженного самоконтроля поняла, что улыбнулась только для того, чтобы его задобрить и этим предупредить могущий сорваться с его губ вопрос о документах.

Поняв это и решив, что поступила нехорошо, она догнала проверявших уже на площадке вагона и сказала им, что пропуска в Москву у нее нет, но попасть туда ей необходимо. Так как колеса стучали очень громко, они не расслышали, и она повторила свои слова. Тот, с кирпичным лицом, взглянул на нее удивленно. И, увидав девушку в красной вязаной шапочке и таком же шарфе, видимо, припомнил ее. «Мы же у вас уже проверяли»,— проговорил он, недоумевая и как будто даже с досадой. После чего они скрылись в тамбуре соседнего вагона, а она вернулась к себе, сконфуженная, но радостная, так и не поняв, что случилось. Аничка — не без оснований — решила, что своим видом просто вызывает у всех чувство доверия, и это наполнило ее благодарностью к людям. А она, по своей наивности, боялась, как бы ее без документов не приняли за шпионку. Она сама смеялась бы над своими страхами, если бы могла посмотреть на себя чужими глазами.

Занятая собственными мыслями и замкнутая, как вообще все люди, решившиеся на что-то серьезное, Аничка смотрела на окружающее отчужденно. Все, что она видела как бы издалека, тем не менее приводило ее в умиление: грубые звуки однорядной гармошки, крепкий запах махорки и даже самые незначительные слова, высказанные сидящими здесь простыми людьми,— все это казалось Аничке полным глубокого смысла. Может быть, почувствовав в ней жжение внутреннего огня, все в вагоне относились к Аничке очень хорошо, беседовали с ней очень охотно, рассказывали ей о своей жизни, работе и о великих потерях, причиненных каждому из них — прямо или косвенно — войной.

Но внимательнее всех был к ней длинноногий лейтенант, которого все в вагоне звали Витей. Он уже успел побывать на фронте, был там ранен и теперь возвращался из госпиталя обратно на фронт. На его груди висела медаль «За отвагу», и, так как в то время награжденных было еще мало — война только начиналась,— Аничка преисполнилась глубоким уважением к этому молодому человеку, шумному и всегда веселому. Он не мог не заметить ее пристальных взглядов и, при-

писав их совсем другим причинам, стал за ней ухаживать, делился с ней едой, приносил кипяток и вообще был крайне предупредителен.

Он устроил ее рядом с собой на верхнюю полку, где было теплее и спокойнее. Когда стемнело, она почувствовала, что лейтенант стал к ней прижиматься, затем обнял ее и начал трогать руками. Она замерла. Тогда руки лейтенанта стали еще более развязными. А она удивлялась и никак не могла понять, как может он так вести себя, когда кругом война и всюду столько горя и надо бы думать совсем о другом. Она спустилась вниз и уселась на старое место — на чей-то сундучок, стоявший в проходе. А лейтенант обиделся на нее и долго сидел там наверху молча, но потом не выдержал и слез. Примостившись возле нее, он стал вполголоса сердито спрашивать, зачем она слезла, и начал что-то говорить о том, что теперь война, всюду столько горя, может быть, его через несколько дней убьют, неужели же она такая злая. Она ничего не отвечала, думая совсем о другом, и ей казалось, что она не в поезде, а где-то в пустынном месте и никого вокруг нет. А в небо подымаются сизые, клубящиеся и чуть красноватые дымы. И эти дымы почему-то казались ей похожими на туманные жалобы, которыми старался ее смягчить лейтенант.

А он все говорил свое, и тогда она сказала, что не любит его. Ей самой было смешно, что она ему это говорит, как будто он сам этого не знает.

Все-таки он отстал и полез наверх к себе. Она же осталась сидеть на своем месте в проходе. Тут сразу несколько голосов из темноты пригласили ее занять место получше, и кто-то хотел даже уступить ей лежачее место на второй полке. Но она отказалась от этих одолжений. Потом лейтенант опять спрыгнул и попросил ее сесть на прежнее место, так как там теплее и удобнее. Когда она отказалась, он сказал, что сам останется внизу и пусть она не беспокоится. Голос его звучал искренне. Не было сомнений в том, что на этот раз он действительно хочет сделать ей лучше. Она полезла наверх, а он постоял внизу, потом вышел погулять на какую-то станцию, вернувшись же, поднялся к ней и спросил, разрешает ли она ему сесть рядом. «Садитесь»,— сказала она, тронутая его смирением. Он действительно был совершенно искренен и очень жалел о своем глупом поведении с ней. Но, усевшись рядом, он не смог совладать с собой и снова, хотя на этот раз

гораздо осторожнее и словно невзначай, начал обнимать ее. Она сказала ему, морщась: «Какой вы слабый человек»,— и эти слова, по сути дела не очень обидные, но сказанные с суровой прямотой из самой глубины сердца, возымели свое действие и отрезвили лейтенанта лучше всяких нравоучений или скандалов. Он, смешно надувшись, больше не трогал ее. От полноты души и в знак благодарности за это она погладила его по плечу. Но опять получилось так, что он принял это движение за поощрение, и тогда она окончательно сошла вниз и уже наотрез отказалась сидеть с ним рядом.

Она встала у окна и начала глядеть в ночную морозную муть. Там, за окном, было очень холодно. В вагоне плакал ребенок. И Аничке вдруг пришло в голову, что жизнь ее будет трудна и что вообще жизнь трудна. И что мужчинам жить гораздо легче, поэтому в старых пьесах и романах так часты переодевания девушек в мужскую одежду. Несмотря на незначительность происшедшего только что маленького дорожного приключения, Аничка ужаснулась от предчувствия, что ей придется переживать нечто подобное не раз.

Она с нетерпением ждала, чтобы скорее настал день. Наконец солнце взошло. Снежные просторы покрылись нежными розоватыми отсветами. И в ранних солнечных лучах заиндевелые деревья и белые снега засверкали и заискрились так, что вскоре глазам стало больно смотреть. В этом очень юном свете дня одинокие домики путейцев казались сказочными избушками и всякая малость — полосатый шлагбаум, лающая на поезд черная собачонка, машущая ручками детвора, лошадь, тянущая розвальни по мягкой желтоватой дороге,— все выглядело праздничным и прекрасным. Любуясь этой красотой, Аничка успокоилась и повеселела. И с новой, еще большей силой почувствовала, что позади нее, в вагоне, сидят люди, оторванные от своих семей, озабоченные и, при всех своих слабостях, очень хорошие: это была война, в которой тысячи разных судеб причудливо перепутались между собой, переплелись в один огромный клубок, и вот она, Аничка, тоже уже не просто человек, а военная судьба, которая неизвестно как сложится.

В ее юном сердце все время жило и тихо переворачивалось болезненно острое чувство любви к окружающим людям, и ей хотелось скорее очутиться на фронте, там, где можно на деле доказать эту любовь.

## 3

Поезд прибыл в Москву вечером. Когда Аничка оказалась на Комсомольской площади, ей вдруг захотелось поцеловать мерзлую землю своего родного города. Она раньше никогда не думала, что так любит Москву, наоборот, ей казалось, что она к Москве равнодушна, и ее даже раздражали нескончаемые выспренние слова, расточаемые столице в стихах и песнях. А теперь она поняла, что эти слова просто слабы и бледны по сравнению с настоящим, подлинным значением расстилавшегося перед ней великого города. Все вызывало в ней волнение — любой знакомый дом, наклеенная на щите сегодняшняя московская газета, театральная афиша, уличная сутолока и певучий говорок подмосковной молочницы. А главное — сознание того, что отсюда, из этого города, тянутся нити ко всем городам и селам, фронтам и армиям, что сюда, в этот город, обращены взоры миллионов людей, полные боли и веры.

С замиранием сердца вошла Аничка к себе в квартиру — пустую, холодную и необжитую. Все здесь стояло на своих местах, но на всем лежал отпечаток заброшенности. Весь многоэтажный дом напоминал остановившийся трамвай, в котором что-то испортилось, а все пассажиры его покинули и он стоит посреди улицы, безжизненный и холодный. Добрая половина соседей находилась либо в эвакуации, либо на фронте. Зато оставшиеся встретили Аничку радостными восклицаниями и наперебой зазывали в свои квартиры — они знали ее со дня ее рождения, знали ее отца и помнили мать. Многие помнили даже, как Аничку в детской коляске впервые вывезли гулять во двор. Они пришли в ужас, узнав, что у нее нет хлебных карточек, тут же сложились — каждая соседка по кусочку — и составили таким образом для нее скудный хлебный паек, который исправно приносили ей и в последующие дни.

Начались хлопоты о поступлении в армию Аничка ходила то в горвоенкомат, то в Московский комитет комсомола. После бесед и заполнения анкет она, усталая, голодная как волк, с кружащейся головой, но с легкой походкой и душевным спокойствием, бродила по Москве и не могла наглядеться на улицы и площади, на проходящие то и дело колонны солдат в стальных касках и на аэростаты воздушного заграждения,

лежавшие посреди бульваров, чуть покачиваясь на стропах при порывах ветра.

К родственникам своим Аничка не являлась. Иногда она порывалась пойти к тете Наде, с тем чтобы хоть раз досыта поесть, но и к ней не пошла, так как не хотела говорить тете неправду о причине своего пребывания здесь и вообще не желала объясняться по поводу своих дел.

Тетя Надя вскоре объявилась сама. Кто-то из знакомых, встретив Аничку на улице, поспешил сообщить об этом тете Наде.

Высокая, полная, очень похожая на отца Анички, Надежда Модестовна, поднявшись на четвертый этаж пешком, так как лифт не работал, довольно долго не могла оправиться от одышки. Наконец, придя в себя, она закидала племянницу вопросами и восклицаниями. Узнав, в чем дело, она обомлела, широко раскрыла свои все еще прекрасные синие глаза, плюхнулась в кресло и, вдруг напомнив какую-нибудь свою прародительницу — бабку или прабабку из московских прасолов,— совсем потеряв свой лоск и интеллигентность, закричала:

— Ишь чего вздумала! Сбрендила ты, что ли? Ты же единственная у Александра дочка! Ты же его в гроб сведешь!

В эти секунды Аничка почувствовала к ней самую настоящую ненависть, хотя тетя Надя была ее любимой теткой. Но когда тут же выяснилось, что старший сын тети Нади, Валерик, уйдя в ополчение, пропал без вести, Аничка бросилась тетке на шею, и они обе долго плакали. В слезах Анички излилось все напряжение последних недель, в них была и просьба о прощении за минутную ненависть к тетке.

Надежда Модестовна, вскоре успокоившись, решила, что почти уговорила Аничку отказаться от ее планов. Она прежде всего потребовала, чтобы племянница немедленно переехала к ней. Муж тети Нади, Илья Иванович, работает в штабе ПВО Московской зоны. Паек они получают хороший. Как раз она должна ехать в распределитель получать этот паек. Она настояла, чтобы Аничка поехала вместе с ней. Они поехали, и Аничка увидела впервые за много месяцев колбасу, копченую рыбу и масло. Как ни совестно было Аничке сознаться перед собой в том, что она любит покушать, но у нее потекли слюнки. Тут тете Наде пришла в голову прекрасная идея: Илья Иванович устроит Аничку в штаб ПВО вольно-

наемной. Она будет получать хороший паек. И она будет все равно что на фронте: ведь оборонять Москву от этих стервятников — тоже дело важное и серьезное!

Аничка рассеянно улыбалась, слушая взволнованную болтовню тети Нади, и пытливо заглядывала в собственную душу, как бы спрашивая: «А не лучше ли так — и Москву защищать, и быть с тетей Надей, есть белужий бок».

Хотя у тети Нади была просторная квартира, она обязательно захотела спать вместе с Аничкой. Илья Иванович, служивший за городом, редко ночевал дома.

Тетя Надя приготовила ванну, и обе — толстая сорокапятилетняя красавица и молоденькая девушка — весело плескались в ней, забыв обо всем на свете. Тетя Надя критически оглядела Аничку и сказала, гладя пухлой ручкой плечи и грудь племянницы:

— Ну и раскрасавица же ты стала, Аничка... Ну и будет же кто-нибудь любить тебя, Аничка!

Потом она всплакнула, вспомнив сына, но тут же с некоторым легкомыслием, ей свойственным, сразу перешла от печали к надежде, заявив, что сын ее наверняка среди партизан. Не может ведь такой парень, лыжник, спортсмен, умница, погибнуть так вот, ни за грош. Рассуждая подобным образом, она совсем успокоилась и уже говорила о том, что сын жив, с такой уверенностью, словно знала это точно и неопровержимо.

Аничка стала одеваться и в полутьме медленно натягивала на себя тетину широкую ночную сорочку из розового шелка с бантиками. Тетя Надя опять умилилась, глядя на ее красивые руки и ноги. Сквозь слезы повторяла она:

— Писаная красавица. Я и не думала никогда, что ты будешь такая красавица.

Когда они уже легли, в городе раздался заунывный и бесконечно траурный гуд сирен воздушной тревоги. Репродуктор тоже заворчал и объявил тревогу, Аничка погасила свет и подняла темную штору. По небу бегали лучи прожекторов, время от времени выхватывая из темноты спокойный и далекий силуэт аэростата.

— Не пойду в убежище, надоело,— капризно сказала тетя Надя и крепко прижала к себе Аничку.

Наговорившись всласть, тетя Надя уснула, а Аничка, несмотря на мягкость перины и на приятное состояние доволь-

ства и сытости, долго не спала и глядела на тетю Надю, на ее сдобный двойной подбородок и белую шею. И опять почувствовала внезапную неприязнь к ней, к тому, что она спит, когда сын ее пропал без вести и где-то стреляют зенитки. Сама ощущая свою неправоту, прекрасно понимая, что люди должны же спать, что бы там ни было, Аничка все-таки не могла освободиться от этого чувства и даже отодвинулась, чтобы не слышать идущего от тети Нади приятного и опрятного запаха чистого тела, туалетного мыла и духов.

— Помилуй тебя господь,— прошептала тетя, и Аничка поняла, что она во сне обращается к сыну. Но это старинное выражение тоже не растрогало Аничку. Она перевела по институтской привычке это выражение на немецкий язык и сразу подумала, что так же напутствовали, быть может, немецкие матери своих сыновей, бомбящих теперь московские пригороды.

## 4

Через три дня, утром, прилетел с фронта профессор Белозеров.

Он вошел, большой, грузный, слегка огрубевший, с поседевшими усами и совсем уже белой головой, принеся с собой чужие, диковинные запахи бензина, ременной кожи и дыма. Он загорел, обветрился, и его огромные синие глаза — точно такие же, как у тети Нади,— казались теперь еще синее и еще добрее.

— Принимайте старого фронтовика! — закричал он с юмором, но не без гордости.

Как всегда, его присутствие создавало атмосферу спокойствия, доброты и взаимного доверия. Достигал он этого не обилием ласковых слов или улыбок. Он и говорил немного, и улыбался редко. Пожалуй, главное заключалось во взгляде его глаз, полных доверия к людям, более того — любования людьми, и властно требующих взаимности. Он был добр почти до бесхарактерности, до того, что никто не решался злоупотреблять такой исключительной добротой.

Профессор Белозеров был выдающимся хирургом. Профессию свою он ставил выше всех других на свете и дожил до пятидесяти семи лет, ни на йоту не потеряв чувства юноше-

ского благоговения перед ней, что, впрочем, не исключало некоторого недовольства медленным развитием медицинской науки. Несмотря на это недовольство, он оптимистически предсказывал, что в течение ближайших двадцати лет медицину ожидает новый небывалый подъем на основе достижений других, смежных и несмежных наук, многие из которых неожиданно окажутся, не могут не оказаться, решающими и для медицины.

Приехав к тете Наде, Александр Модестович прежде всего умылся и, тщательно вытирая руки, как перед операцией, лукаво глядел на Аничку, время от времени спрашивая:

— Ну-с, Анна Александровна, как живем-можем?

Вероятнее всего, что Илья Иванович каким-то образом сообщил ему на фронт о приезде Анички в Москву и о ее планах. Так или иначе, Александр Модестович ничего об этом ей не сказал. Он уселся рядом с дочерью и, ни о чем не спросив, стал рассказывать о своей работе на фронте, о сложных операциях, сыворотках, переливаниях крови. Аничка, выросшая в докторской семье, прекрасно знала медицинскую терминологию, и профессору доставляло удовольствие беседовать с ней, как с врачом, пользуясь латынью и вспоминая разные довоенные случаи из своей врачебной практики.

Рассказывал он ей и о своих фронтовых впечатлениях намеренно сгущая краски в том смысле, что старался представить фронтовую жизнь очень прозаической, обыкновенной и даже скучной.

Ревниво и горячо любя свою дочь, профессор Белозеров в то же время относился к ней с той преувеличенной критичностью, какую иногда усваивают умные отцы. Он находил ее взбалмошной, ленивой и слишком изысканной во вкусах и привычках. Конечно, он отдавал должное и ее хорошим качествам — уму, природной доброте, восторженности, умеряемой хорошо развитым чувством юмора, наконец, твердости характера. Но вот именно эта твердость характера казалась ему чаще всего просто сумасбродством «барышни». Слово «барышня» в его устах было самым ругательным словом, означающим бездельницу, белоручку, неженку — то, что он с усмешкой называл «родимым пятном капитализма».

Александр Модестович был сторонником жесткого воспитания, считал, что детей надо приучать к лишениям и физическому труду. Однако так он думал только теоретически, а

на деле проявлял к дочери слабость, которая его самого угнетала и раздражала. Поневоле приходилось оправдывать себя тем, что она с тринадцати лет осталась без матери, а он был занят работой.

Следует сказать, что Александр Модестович явно недооценивал воспитание, полученное Аничкой дома, в школе и вообще среди окружающей жизни. Он, по сути дела элементарно, считал, что главное в воспитании — это наставления, нравоучения, разного рода советы, и упускал из виду, что душа девочки впитывала в себя впечатления окружающей среды, примеры беззаветного труда и преданности своему долгу, которые она ежедневно и ежечасно встречала во многих знакомых ей людях и в самом ее отце. Он не учитывал, что она — в меру понимания, свойственного ее возрасту, — критически подходит к явлениям, полусознательно отбрасывая все не находящееся в соответствии с тем пониманием жизни, какое укоренилось в их семье и семьях, связанных с ними. Одним словом, Александр Модестович Белозеров, несмотря на свой выдающийся ум и проницательность, мало знал собственную дочь и слабо разбирался в ее внутреннем мире.

Поэтому то, что ей вздумалось бежать из института на фронт, удивило его, испугало и показалось неожиданным и непохожим на нее.

Рассказывая ей о своих фронтовых впечатлениях, он пристально смотрел на нее и ждал, когда же она заговорит о себе.

Но она молчала и только со сдержанным волнением следила за ним из-под полуопущенных век. Ни у него, ни у нее не хватало мужества начать после долгой разлуки тяжелый разговор, который, как они оба предполагали, может закончиться ссорой и взаимным неудовольствием.

Наконец он решился первый и попросил рассказать, что заставило ее совершить необдуманный шаг, не списавшись с ним. Она попыталась объяснить ему ход своих мыслей и побуждения, и он, слушая Аничку, думал, что, не будь она его дочерью, мотивы ее показались бы ему вполне уважительными и закономерными в условиях такой войны. Но она все-таки была его дочерью, и он, глядя на ее юное лицо, раскрасневшееся от волнения, с замиранием сердца думал о том, что ее могут убить. Да, это был древний инстинкт, и Александр

Модестович, как ни старался быть объективным, ничего не мог поделать с ним. Тогда он попытался скрыть правду ссылками на разные другие, второстепенные и третьестепенные обстоятельства. Он сказал, что бегство ее из института — даже и ненавистного ей — акт недисциплинированности, которая в военное время недопустима. Наконец, он просто предлагал ей поступить в медицинский институт либо в крайнем случае отправиться на фронт с ним вместе.

Он сознавал шаткость своей позиции, и тем более убедительные и красноречивые слова находил для того, чтобы отговорить дочь от ее намерений. Но все уговоры оказались напрасными. Ехать с ним вместе она отказалась — она не желала «всю жизнь оставаться профессорской дочкой». В институт она поступит после войны.

Тогда он заподозрил ее в том, что она решила отправиться на фронт по другим, сугубо личным причинам. То есть познакомилась и влюбилась в какого-нибудь офицера-фронтовика, который повлиял на нее в этом смысле. О таких случаях профессор слышал где-то от кого-то.

Когда он сказал ей об этом напрямик, Аничка вспыхнула от обиды. Но подозрения эти были, как она знала, настолько беспочвенны, что она только гордо тряхнула головой и сказала, что считает весь разговор ненужным и жалким и жалеет, что у хороших людей бывает столько нехороших задних мыслей.

На следующий день генерал Белозеров улетел обратно на фронт, так ничего и не добившись от дочери.

В Московском комитете комсомола и в военкомате у Анички с зачислением в армию пока ничего не выходило — тут сказывалось ее бегство из института, которое, естественно, вызывало некоторую настороженность. Тогда Аничка решилась обратиться к старинному другу их семьи, генерал-лейтенанту Силаеву, работавшему в Генеральном штабе.

Жил он, кстати, у себя в служебном кабинете — семья его находилась в эвакуации, и ходить домой, в холодную квартиру, полную чересчур дорогих воспоминаний, ему не хотелось. Да и работы было слишком много, чтобы по старому обычаю куда-то уезжать и утром обратно возвращаться на службу.

Приземистый человек с могучей шеей и стриженной ежиком большой простецкой головой, генерал Силаев из батра-

ков ушел когда-то в Красную Армию и с тех пор служил в ней, не представляя себе иной жизни, чем военная, и иного костюма, чем военный. Он был военным в лучшем понимании этого слова, так как вместе с умением беспрекословно подчиняться умел заставлять людей беспрекословно выполнять свои собственные приказы; вместе с некоторой внешней прямолинейностью, похожей на грубость, он был тонким знатоком солдатской души и большим эрудитом в вопросах военной истории; вместе с безусловным пониманием и соблюдением генеральского достоинства ему был присущ тот глубокий и непобедимый демократизм в обращении с людьми, который привлекал к нему сердца подчиненных.

Выслушав Аничку, он, к ее радости, даже не попытался выразить сомнение в целесообразности ее поступка. Он все сразу понял и оценил и, вопреки опасениям Анички, ни словом не заикнулся о трудностях, которые ее ожидают, и о ее «деликатном воспитании».

Он сказал:

— Ладно. Понимаю. Ясно. Правильно. А куда ты хочешь?

Она сказала, что знает немецкий язык и поэтому считает себя способной — после соответствующего обучения — работать в тылу у немцев. Он забарабанил пальцами по столу, приговаривая: «Так-так-так...»

— По-немецки я говорю, как настоящая немка.

— Так-так-так,— говорил он, барабаня пальцами по столу.

— И я смогу выполнить любое задание в тылу врага.

Он перестал наконец барабанить пальцами, долго молчал, кивал головой и упорно о чем-то думал. Казалось, что он ищет пути, как лучше и скорее осуществить ее просьбу, на самом же деле он размышлял о том, как бы сделать так, чтобы не исполнить желания Анички. Он вполне признавал законность ее душевных стремлений и вполне разделял ее чувства. Находясь в ее положении, то есть будучи двадцати лет от роду и зная в совершенстве язык противника, он бы тоже, вероятно, добивался того же, чего добивалась она. Но он слишком любил и высоко ценил профессора Белозерова, чтобы послать его единственную дочь на такое сложное и опасное дело, к тому же, как он догадывался, против желания отца.

— Вот что,— сказал он наконец.— Мы так порешим. Ты иди в свой военкомат, пусть тебя зачислят в армию. Затем

придешь ко мне. Распоряжение военкомату о твоем зачислении будет отдано.

Он проводил ее до лестницы и долго стоял наверху, глядя ей вслед, качая головой, покашливая и усмехаясь.

Усилиями генерала Силаева Аничка была послана переводчицей в штаб Западного фронта. Она очутилась в большом тихом селе и была помещена в двухэтажном доме, в одной комнате с двумя девушками-бодистками, Клавой и Машей. Стояла не очень холодная, но ветреная зима. Вообще здесь было тихо — гораздо тише, чем даже в тыловом приволжском городе, откуда она убежала. Широкая улица отгородилась от мира шлагбаумами, возле которых стояли часовые в больших тулупах. Офицеры штаба работали много, но работа эта казалась Аничке чисто канцелярской. Никто не стрелял, а все писали и разговаривали по телефону. Телефонов же было много, вся окрестность была переплетена телефонными линиями, тянущимися на шестах, деревьях, столбах телеграфа и просто по земле.

Клава и Маша в качестве старожилов и по привычке делали вначале всю работу в комнате. Они убирали, кололи дрова, носили воду, отбирали у Анички носовые платки и стирали их вместе со своими собственными. По правде говоря, Аничка всего этого вначале почти не замечала, вернее — это ей казалось естественным. Но однажды, заметив это, она ужаснулась и немедленно перевернула весь порядок вверх дном. Она сразу же приняла все хозяйственные заботы на себя, так как была значительно менее занята работой, чем девушки, которые ночи напролет просиживали в подземном помещении, где находился военный телеграф.

Девушки ее любили и говорили о ней, что хотя она и дикая, но очень хорошая.

Она действительно казалась окружающим людям дикой. С мужчинами она была высокомерна, держала себя с ними холодно и отпугивала их насмешливыми остротами, а тех, кто к ней приставал, она казнила тем, что с невинным видом, во всеуслышание, на людях, не считаясь с присутствием старших начальников, со смехом рассказывала об их ухаживаниях, выставляя их в таком глупом виде, что они приходили в отчаяние. Это средство самозащиты оказалось очень действенным. Ее прозвали «мощным узлом сопротивления». И надо сказать, что, как ни странно, это ее поведение нра-

вилось всем — даже многим из самих пострадавших — и возбуждало во всех чувство уважения к ней и какой-то даже гордости за нее. Оказывается, тот длинноногий лейтенант в поезде многому научил ее.

— Ох, умора! — смеялась Клава, прослышав об Аничкиных расправах со штабными воздыхателями.— Ты молодец, Аничка, так им и надо. Ты хорошая.

Но Аничка не казалась себе хорошей. Она считала, наоборот, что она очень плохая, взбалмошная, неуравновешенная, слишком рефлектирующая, словно все она взвешивает, ничего не делает без предварительного обдумывания, как бы решая в каждом случае: это хорошо, это плохо. Быть хорошей в результате предварительного обдумывания казалось ей нечестным. Она считала, что поступать хорошо нужно бессознательно и только тогда можно быть спокойной и счастливой.

Почти с первых же дней пребывания в штабе фронта Аничка стала добиваться, чтобы ее направили если не в тыл врага, то по крайней мере ближе к передовой. Но дело это продвигалось туго, и в этом не последнюю роль играли тайные «козни» генерала Силаева и то обстоятельство, что фронтовое начальство, разумеется, знало, чья она дочь. Кроме того, ее стремление куда-нибудь в полк или в дивизию, поближе к передовой, воспринималось многими как детская романтическая прихоть и поэтому не одобрялось.

Месяцы пребывания в штабе фронта все-таки не прошли даром для Анички. Она вошла в быт, в образ жизни армии, усвоила целый ряд необходимых каждому военному человеку понятий и привычек. Она, далее, участвовала в допросах редких пленных (наше контрнаступление под Москвой уже кончалось, и пленных было мало), прилежно переводила немецкие письма и документы на русский язык, усвоив таким образом стиль немецких воинских документов и вообще переписки. Она также хорошо изучила организацию, уставы, мундиры, знаки различия и отличия немецкой армии. Номера немецких дивизий перестали быть для нее пустым звуком, враг перестал быть отвлеченным и страшным понятием, а облекся в плоть и кровь, в цифры и факты.

Наконец, она выработала здесь для себя самой те нормы поведения, которые снискали ей прозвище «дикой», но создали вокруг нее атмосферу не замутненного какими-либо двусмысленностями уважения.

Несмотря на это, она упорно добивалась своего и, проявляя терпение и настойчивость, понемногу переходила все ближе и ближе к передовой: из штаба фронта — в штаб армии, из штаба армии — в штаб дивизии и, наконец,— в полк.

Обо всех этих перипетиях рассказала Аничка,— конечно, вкратце и не касаясь самого сложного: своих внутренних переживаний,— полковнику Семену Фомичу Верстовскому в блиндаже капитана Акимова в ночь перед боем.

Полковник только головой качал и ахал.

— Бедный Александр Модестович,— бормотал он.

Он посмотрел на часы, вспомнил, что пора идти, и все-таки ему трудно было уйти от Анички, ему казалось, что он делает преступление перед своим другом, профессором Белозеровым, оставляя ее здесь одну, как бы без присмотра.

— Мне надо идти,— сказал он наконец.— Во время боя придется быть с командиром вашего полка. Ты тоже приходи туда. Нечего тебе делать здесь.

Пригнувшись к ней и опасливо оглядевшись, он сообщил ей о завтрашней смене.

Затем он прошел к тому закоулку в овраге, где стояла его машина, сел в нее и поехал к штабу полка. Но и в машине он не мог успокоиться и, к удивлению шофера, все твердил:

— Ну и Аничка... Ну и девчонка...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### *Разведка боем*

#### 1

Одновременно с Верстовским к Головину приехал командир дивизии генерал-майор Мухин. Выслушав доклад командира полка о ходе подготовки предстоящей разведки боем, генерал сказал:

— Не знаю, как быть с Акимовым. Сегодня получили распоряжение откомандировать его в Москву для дальнейшего прохождения службы в военно-морском флоте.

— Наконец-то! — обрадовался за товарища Головин и тут же опечалился: — Жаль. Хороший командир.

Генерал пытливо взглянул на него:

— Так как вы считаете? Пусть проведет бой или сразу сейчас отозвать?

Головин, колеблясь, долго не отвечал. Разумеется, для успеха боя было бы целесообразнее не отзывать сейчас Акимова. С другой стороны, незаменимых людей нет. А бой будет тяжелый.

Головин посмотрел на комдива. Они оба думали об одном и том же.

— Лучше все-таки, если он проведет бой,— медленно произнес генерал.

Акимов в это время ходил по своему переднему краю, заглядывая в ниши и землянки, негромко окликая дежурных пулеметчиков и стрелков. Он останавливался у пулеметов и проверял каждый из них, давая короткую очередь в ночную темноту.

Большинство солдат, кроме дежурных, спали, как ранее приказал Акимов. Он просовывал голову в землянки, где они спали. Оттуда тянуло спертым воздухом от сушившихся портянок и махорочного дыма, слышался храп и тяжелое дыхание, кашель и произносимые во сне отрывочные слова.

— Спите, спите,— бормотал Акимов словами старой песни,— друзья, под бурею ревущей... С рассветом глас раздастся мой...— продолжал он бормотать по дороге к следующей землянке, с остервенением разрезая сапогами высокую воду,— ... на подвиг иль на смерть зовущий...

— Кто идет? — окликнули его. И тут же узнали: — Здравствуйте, товарищ капитан.

— Здорово. А ты кто?

— Вытягов.

— Здравствуй, сержант. Не спишь?

— Не сплю.

— С чего бы это?

— Не спится.

— Оружие чистили?

— Все в порядке.

— Патроны получили?

— Получили.

— И бронебойные получили?

— И бронебойные.

— Как тут немец?

— Дрыхнет. Ракеты изредка дает. Закурим, товарищ капитан?

— Закурим.

Они закурили. Огонек спички осветил лицо Вытягова, спокойное и доброе.

— И долго мы здесь просидим, в этой мокрети? — спросил он.

— Про то знают бог и Верховный Главнокомандующий.

— Это верно.

— А что? Трудновато?

— Как сказать... Надоело.

— Война не тетка. Ложись спать, сержант. Надо выспаться.

— А на море лучше воевать, чем на суше, товарищ капитан?

— Смотря какая суша. Тут воды столько, что и сушей не назовешь.

— Хе-хе... Верно.

— Это кто там хихикает?

— Это я. Корзинкин.

— А-а, санинструктор!.. И ты не спишь?

— Да вот не сплю. Мы тут с Файзуллиным рассуждаем...

— Ты тоже здесь, Файзуллин? Нехорошо. Комсорг, а показываешь такой пример...

— Комсоргу спать не положено, товарищ капитан.

— Да ладно с твоей политграмотой. Про что же вы рассуждали?

Последовал смущенный ответ:

— Про жизнь, в общем. Про то, как дальше будем жить, после войны то есть.

— Далеко вперед загадываешь.

— Вот Файзуллин, к примеру, желает поступить в рыбный институт.

— Техникум,— поправил Файзуллин.

— Ну да. Он говорит, что у них в Казани...

— У них в Казани пироги с глазами. Ложитесь спать. Прошу вас, как братьев, прошу. Куда это годится?

Покачивая головой и усмехаясь в темноте, Акимов пошел по направлению к батальонной кухне. Она помещалась в одном из

боковых тупичков большого оврага. Тут было тепло и светло от огня. Повар Макарычев отдал рапорт. Лицо его лоснилось и выражало спокойное довольство.

— Чего на завтрак готовите? — спросил Акимов.

— Пшенный концентрат.

— А мясо есть?

— Мяса не клал. А что? Класть?

— Клади.

— Мы уже, товарищ капитан, по мясу норму перевыполнили.

— Ничего. Клади. Либо корму жалеть, либо лошадь жалеть.

— Прикажите отпустить, товарищ капитан.

— Прикажу. Двойную норму клади. Понял?

— Понял.

— И кормить всех в пять тридцать. Часы есть?

— А как же! Есть.

Акимов подошел ближе к повару и сверил свои часы с огромной серебряной луковицей Макарычева.

— Твои отстают,— сказал он.— Переведи на двенадцать минут.

Постояв несколько минут молча, наслаждаясь ласковым теплом, идущим от кухонного огня, Акимов пошел на свой наблюдательный пункт. К нему вела длинная узкая щель, оканчивающаяся тупиком, перекрытым бревнами в два наката и засыпанным землей сверху. Под этими бревнами щель была несколько расширена и снабжена амбразурой. В обычное время здесь находилась пулеметная точка. Теперь все уже было приспособлено служить в качестве НП. Радист развернул рацию и, время от времени проверяя слышимость, полусонным голосом считал:

— Один, два, три, четыре, пять.

Несколько телефонов стояло рядком на земляном полу, который был уже устлан все теми же ивовыми прутьями: видимо, Майборода успел побывать здесь. Да и скамейка тут стоит.

Акимов уселся на скамейку и посмотрел в амбразуру. Дождь — нудный и бесконечный — все еще лил и лил. Было и так темно, а тут еще на низину лег туман, сквозь который не просматривался даже ручей. Только иногда редкая ракета освещала бледным светом эту темень и туман, похожий на клубы медленного дыма, и тогда видны были мятущиеся, как бы в страшном волнении, прибрежные заросли.

Там, за ручьем, на высоком западном берегу, очень выгодном для обороны, были леса, неразрушенные деревни с бревенчатыми избами, а дальше находился город Орша, о котором Акимов ранее знал только понаслышке либо из школьного учебника. Но теперь этот город в течение месяца представлялся ему целью всех мечтаний. Несмотря на вполне понятное чувство радости, возникшее в нем при известии о близком уходе на отдых, было все-таки как-то жаль, что так и не возьмешь эту Оршу, а, пожалуй, главное, что не захватишь высокую лесистую местность перед передним краем, местность, изученную путем беспрерывного наблюдения до самых мелких подробностей, местность, где так много дров для топки и рощ для маскировки, где можно было бы понастроить уйму уютных, теплых, обшитых досками землянок и бань. Солдаты обычно глядели с вожделением на этот желанный кусок земли, на эту «землю ханаанскую», как называл ее Майборода, знаток старинных священных выражений. А потом выпал бы снег вместо этого гнилого дождя, и тогда только вою й да вою й...

Но дело, разумеется, было не в одном только каком-нибудь куске земли. Ибо, как ни суживали фронтовые будни батальонного масштаба круг человеческих интересов и стремлений, но Акимов все время помнил, какое значение имеет занятие Орши для всей армии: этот узел стратегических и рокадных дорог открывал нашим войскам путь на Польшу.

Из амбразуры задувал ветер, принося с собой капли дождя. Акимов вытер лицо и вдруг подумал о том, как хорошо было бы рвануться вперед не на полтораста или двести метров, как предусмотрено приказом, а пойти и пойти по белорусской земле, потом вступить освободителями на польскую землю, а там Германия, Франция, берега Атлантики.

Акимов мысленно усмехнулся этим далеко идущим стратегическим планам, столь непосильным для одного подразделения. Пока суд да дело, нужно продвинуться на эти двести метров сквозь плотный огонь. «Мы придем, придем, но не так скоро»,— пробормотал Акимов, обращаясь, быть может, к Польше и Франции, о которых он часто думал и которые очень жалел.

Дождь все шел. Видимость во время боя будет плохая, и нужно, чтобы связь работала безотказно. Впрочем, под прикрытием тумана легче будет подтянуть подразделения ближе к противнику для короткого броска. Обдумав это обстоятельство,

Акимов соединился по телефону с майором Головиным, но того не оказалось на месте.

— Он выехал к вам,— сказал дежурный офицер из штаба полка.— Вместе с десятым.

За спиной Акимова тихо разговаривали связисты.

— Ты здесь, Майборода? — негромко спросил Акимов. Он всегда, в любой темноте, чувствовал присутствие ординарца.

— Здесь.

Акимов послал Майбороду за командирами рот, а сам сел ждать прихода командира полка и командира дивизии — «десятого».

Не прошло и пяти минут, как по щели забегали огоньки фонариков. Выйдя из землянки в щель, Акимов доложил:

— Первый батальон готовится к выполнению боевой задачи. Командир батальона капитан Акимов.

— Вольно,— послышался голос генерала Мухина. Его рука, протянувшись из темноты, пожала руку капитана.— Как дела, комбат?

Акимов сообщил ему свой план действий, в том числе и мысль об использовании в своих интересах тумана.

— Хорошо,— сказал командир дивизии.— А если немцы заметят?

— В тумане они все равно не смогут вести прицельного огня,— поддержал комбата Головин.

— Как настроение? — спросил комдив.

Акимов ответил коротко:

— Хорошее.

— Что ж, молодец. Тебе хорошо среди воды. В родной стихии.

— Танков не дадите? — спросил Акимов.

— Нет.

— Понятно.

— Не считаю целесообразным.

— Понятно.

— К чему тебе танки? Ничего не видно — раз. Грунт такой, что даже на гусеницах далеко не уедешь,— два. Подход танков разоблачит предстоящую атаку — три.

— Понятно.

— Понятно, понятно! Ты все «понятно», а сам сердишься. Артиллерии дам много. Мы им такой огневой вал устроим, только держись.

— Понятно.

— Вот и все. Действуй. Привез я тебе стереотрубу. Гляди в оба, как большой начальник. Сейчас к тебе приедут представители двух артиллерийских и одного минометного полка. Начало атаки — залп «катюш», целым дивизионом.

— Спасибо, товарищ генерал.

— Ты чего меня благодаришь? Разве младшие благодарят старших? Это я тебе скажу спасибо, когда ты хорошо проведешь бой.

— Виноват, товарищ генерал.

— То-то.

Генерал постоял молча, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Лицо комбата, обрамленное темной бородой, было сосредоточенным и серьезным.

Неожиданно генерал спросил:

— А тебе хотелось бы опять на корабль? — Акимов удивился праздности этого вопроса, но генерал не дал ему ответить и продолжал: — Взять бы теперь да очутиться подальше отсюда, где-нибудь в синем море? А?

Акимов с некоторой досадой махнул рукой и сказал:

— Единственное место, где я хочу теперь быть,— это немецкая траншея, вон там, напротив нас.

Генерал погасил фонарик и сказал чуть изменившимся голосом:

— До свидания, комбат.

Он медленно пустился по щели в обратный путь, а майор Головин, сильно пожав руку Акимова на прощание, ушел вслед за генералом. Вскоре послышался шум отъезжающей автомашины.

— Скорей бы рассвело,— сказал кто-то.

— Проходы в минных полях сделаны? — спросил Акимов.

— Готово,— ответил из темноты Фирсов.

Невдалеке, в овраге, бренчали котелки. Солдаты завтракали.

Рассвет наступал туго, как будто нехотя. Но все-таки Акимов уже узнавал лица стоявших почти гуськом в узкой щели людей. Он посмотрел на часы, потом поднял глаза и увидел среди других переводчицу. Он отвернулся, совершенно равнодушный, и с мимолетным удовлетворением отметил в себе это равнодушие.

— Сверим часы,— сказал Акимов с некоторой торжественностью в голосе. В руках у офицеров блеснули часы, у кого руч-

ные, у кого карманные.— Пять сорок. Погосян, можешь начать двигаться. Через двадцать минут начнешь и ты, Бельский. Без шума. Все время держите связь, в случае необходимости — посыльными.

Оба командира постояли еще с минуту и ушли.

Акимов повернулся и пошел к себе на НП. Стереотруба уже стояла на месте, двумя холодными стеклянными глазами уставясь вдаль. В углу, обняв колени руками, сидел Майборода. Радист склонился над своим аппаратом. Из расположенной неподалеку землянки, где находились артиллерийские наблюдатели, слышался негромкий говор.

Туман все густел. Он был похож на тот утренний туман, который иногда покрывает поверхность моря, и Акимову вдруг представилось, что вот за этим серым туманом действительно скрывается море и что, когда туман рассеется, он увидит пронзительную синеву и стройные очертания кораблей.

Его воображение внезапно разыгралось, и он увидел перед собой знакомую картину морской пристани, сутолоку различных, непохожих друг на друга посудин в неширокой бухте. Ему показалось даже, что он ощущает соленый запах.

Он подумал о том, что приморский город ничем, собственно, не отличается от любого другого города. Такие же улицы, дома, мостовые, у стен домов между камнями весной пробивается зеленая травка. И вот ты идешь по одной из таких ничем не примечательных улиц, и вдруг за каким-то поворотом перед тобой вырастают тонкие линии мачт и рей, и сразу же весь мир преображается, обычное становится необыкновенным, и тобой овладевает безмерная жажда передвижения, путешествия, жажда новизны.

Отдавшись этому внезапному полету воображения, Акимов тем не менее знал, что это только оболочка, внутри же, во всю ширину сердца, живет и болит совсем другая, жгучая и всеобъемлющая мысль: что́ там делается на самом деле, в этом тумане, из серого ставшем молочно-белым. Где там люди? Погосян, Бельский, Вытягов и многие другие, которых он, всех без исключения, хорошо знал и за жизнь которых втайне боялся. Да собственно говоря, они сейчас даже не интересовали его как люди, а только как исполнители той державной воли, которая заставляла командира дивизии и полковника Верстовского, майора Головина и его, Акимова, пушкарей, связистов, саперов, весь полк, всю дивизию и всю армию сражаться и жертвовать

собой. Никто не мог бы всех этих людей заставить делать то, что они делают,— только неистребимое и глубокое чувство долга, ставшее чертой характера.

— Позавтракайте, товарищ капитан,— сказал Майборода для очистки совести: он знал, что Акимов сейчас есть не будет. Акимов ничего не ответил. Он ждал. И вот раздалось тихое верещание телефона: «Сирень» (Погосян), а вслед за тем и «Фиалка» (Бельский) сообщили, что подразделения заняли исходный рубеж для атаки.

## 2

Стрелка часов приближалась к восьми. Напряжение стало уже невыносимым, когда раздался первый залп орудий.

Землянка задрожала. Акимов замер, пристально глядя в одну точку, на дрожащее бревно, из-под которого то и дело валились кусочки глины. Артиллерия рокотала. Ее рокот то сливался в один тревожный и сильный гул, то распадался на отдельные мелкие гулы.

Акимов подошел к амбразуре. Впереди расстилалась одна сплошная полоса тумана, медленно черневшего от примеси порохового дыма. А ближе, образуя косую сетку, все так же падал мелкий дождь.

В ту секунду, когда артподготовка закончилась и как бы на закуску был подан залп «катюш», прорезавший вихрем темное небо, ухо Акимова уловило хотя и смягченное туманом, душившим звуки, как вата, но отчетливое «ура».

Теперь как раз туман был совсем некстати. Он мешал артиллерии, сопровождавшей пехоту, и мешал Акимову управлять боем. События, творившиеся в тумане, казались очень далекими, оторванными от мира и не поддающимися постороннему влиянию.

Акимов связался по телефону с первой ротой. Оттуда доложили:

— Мешает продвигаться пулеметный огонь. Деремся в тумане.

— Откуда огонь?

— Справа, фланкирует.

— Далеко от противника?

— Кто его знает? Близко, кажется.

— Ружейный огонь?

— Слабый.

— Пулемет подавите своими средствами. Продвигайтесь вперед. Неуклонно продвигайтесь вперед.

Во второй роте, у Бельского, дело обстояло хуже. Перейдя ручей, она встретила сразу же сильный огонь и залегла в прибрежной осоке.

— Делай бросок и врывайся в траншею,— сказал Акимов.— Сирень прошла далеко вперед, а ты отстаешь.

Какой-то шутник или романтик дал, в виде, что ли, компенсации за дурную погоду, всем подразделениям в таблице позывных названия разных цветов. Странно было в этот дождь, слякоть и туман обмениваться такими словами, как «Сирень», «Фиалка», «Жасмин», «Черемуха». Артполк, например, прозывался «Ромашкой», а страшные для противника гвардейские минометы «катюши» — «Колокольчиком». Цветы, цветы, цветы — лесные, полевые и садовые — тревожно перекликались друг с другом, вдруг вызывая в душе множество разных ненужных воспоминаний.

Между тем немецкие пушки, укрощенные было нашим огнем, заметно ожили. Наши ответили им, и разыгралась артиллерийская дуэль. Из соседней землянки все чаще и взволнованней раздавались артиллерийские команды. Шрапнель, фугасные и осколочные с различными угломерами и в разных дозах — то целыми батареями, то по нескольку штук, то даже дивизионами — посылались туда, за молочно-белую, а теперь покрасневшую от огня полосу тумана.

Наконец туман медленно рассеялся. Перед глазами Акимова открылась долгожданная картина переднего края, но ничего особенного там не было заметно, только изредка то тут, то там перебегали, низко пригнувшись, маленькие фигурки в серых шинелях, почти сливавшиеся с землей. Их казалось очень мало. Их и было очень мало.

— Что мешает тебе продвигаться? — настойчиво бросал Акимов в трубку.— Ты меня поняла, Фиалка? Что мешает тебе продвигаться?

Но Бельский не успел ответить — порвалась связь. Пока связисты выбежали на линию соединять провода, связь порвалась и с Погосяном. В этот момент позвонил Головин:

— Доложите обстановку, Акимов.

Но тут же порвалась связь с полком.

Ремизов сказал:

— Я пойду к Бельскому. Он там, бедняга, совсем запоролся.

Акимов кивнул головой и снова сел к стереотрубе.

Когда связь с Погосяном наладилась, тот ликующим голосом сообщил, что ворвался в траншею немцев и ведет в ней бой.

— Ты понимаешь? — кричал Погосян, возбужденный донельзя.— Ты понимаешь или не понимаешь? Он тут наставил рогаток и мин натяжного действия. Очищаюсь от них, черт их возьми! Я тут весь в рогатках, понимаешь или нет? Очень нехорошо.

— Закрепляйся,— сказал Акимов.— Помоги Бельскому, очищай траншею влево. Готовь гранатометчиков. Выдвинь ПТР. Я вижу — немцы собираются в деревне, готовятся к контратаке. Почему не слышу твои пулеметы?

— Они в пути, понимаешь? Вот они идут. Они переползают. Я тут весь в рогатках и ежах.

— Помогай Бельскому. Он застрял. Ты не видишь, что ему там мешает?

— Бельскому? Что ему мешает? Ничего ему не мешает! Не понимаю, почему он не продвигается. Вот у меня это действительно черт знает что, понимаешь или не понимаешь? А у Бельского тихо, как на кладбище.— Он, помолчав, сказал уже тише: — Мы тут у немцев два пулемета захватили.— И еще тише: — И два ящика вина.

— Смотри там, пусть никто ни капли не пьет,— угрожающе предупредил Акимов,— а то я к вам приду, расправлюсь со всеми.

Вскоре возобновилась и связь с Бельским.

— Мины задерживают, товарищ капитан,— сказал Бельский.— Тут все заминировано.

— А саперы где?

— Они здесь. Работают. Но мин очень много.

— Посмотри, как далеко прошел Погосян. Он уже в траншее.

— Хорошо Погосяну, противник там не оказывает никакого сопротивления...

— Ладно,— сурово прервал его Акимов.— Свое горе — велик желвак, чужая болячка — почесушка... Где Ремизов?

Ремизов взял трубку.

— Ремизов,— сказал Акимов.— Бельский действует недопустимо медленно. Посмотри там, что к чему, и предупреди его,

что если он не выполнит задачу, будет отдан под суд трибунала.

Спустя минуту эту же фразу сказал Акимову по телефону майор Головин:

— Командир дивизии велел передать тебе, что если ты не выполнишь задачу, будешь отдан под суд трибунала.

— Понятно,— пробурчал Акимов.

— И я вместе с тобой,— закончил Головин.

— Вдвоем веселее,— сказал Акимов.

Вскоре немцы на участке Погосяна перешли в контратаку. Фигурки немцев, как ваньки-встаньки, только успев подняться, снова падали. Казалось, будто они сваливаются с пригорка, играя в какую-то мудреную игру, смысл которой заключается в том, чтобы не свалиться вниз, в то время как снизу кто-то тянет. Во второй траншее противника тоже накапливалась пехота.

Раздался еще один залп «катюш». Столбы пламени покрыли немецкий передний край. Когда снова стало видно, Акимов заметил бегущих назад немцев.

— Бегут,— сказал Майборода. И добавил: — Зер гут.

В землянке и в щели все закурили, зашептались, заметно оживились.

Мимо пронесли раненых. Они тихо стонали. Трое других раненых медленно и спокойно, не прячась, словно уже полученные раны предохраняли их от пуль, шли по поверхности земли.

Акимов, разъяренный, высунул голову из землянки и крикнул:

— Марш в укрытие, черти!

Те смиренно спустились вниз и уселись в щели неподалеку от НП.

Вслед за первой последовала вторая немецкая контратака, на этот раз при поддержке трех танков, которые тоже будто нехотя скатывались зигзагами вниз, туда, где засели наши. Тут же, как назло, снова порвалась связь.

— Орешкин,— сказал Акимов.— Иди к Погосяну.

— Лейтенант Погосян убит,— сказал рядом один из тех трех раненых, которых Акимов заставил спуститься в щель. Он курил махорку.

— Да? — сказал Акимов и, помолчав, добавил: — Орешкин, примешь командование первой ротой.

Не отрывая глаз от стереотрубы, он взял телефонную трубку и сказал:

— Лилия, слышишь? Дай бронебойными по танкам. Слышишь?

Акимова вызвал к рации командир дивизии.

— Удерживаем первую траншею,— доложил Акимов,— но противник напирает.

Командир дивизии спросил про левый фланг.

— Отстала Фиалка,— сказал Акимов.— Туда пошел Ремизов. Выправим положение. Прошу огня по деревне, там противник снова накапливается для контратаки.

Наконец позвонил Ремизов.

— Мы пошли,— сказал он.— Сделали два прохода. Дайте огня по роще квадратной. Там два пулемета.

Огонь был дан немедленно, и Ремизов, не отходя от трубки, твердил все более восторженно:

— Очень хорошо. Как хорошо! Как точно! Прямое попадание в немецкий дзот. Какая точность! Какие мастера! Спасибо им. Мы двинулись.

Акимов и сам видел, как солдаты второй роты, ободренные точной работой артиллеристов, во весь рост бросились вперед. Вскоре прибежал связной, сообщивший, что вторая рота ворвалась во вражескую траншею и вступила там в рукопашный бой.

Когда Акимов доложил об этом командиру полка, Головин сказал:

— Высылаю к тебе взвод из моего резерва. Можешь ввести его в бой по твоему усмотрению.— После некоторого молчания Головин спросил: — Удержишься в немецкой траншее?

— Удержусь,— сказал Акимов.

Положив трубку, он впервые подумал о Погосяне. Погосян любил покушать и выпить. Женщин он тоже любил. При виде женщины его глаза так и разгорались, причем ему было безразлично — красивая она или некрасивая, молодая или пожилая. Он любил их как-то бескорыстно, как любят произведения искусства. «Тот, кто их выдумал,— говорил он, улыбаясь при этом вовсе не цинично, а даже скорее стыдливо,— был неглупый человек...» И покушать же он умел, бедняга Погосян! Полная противоположность Ремизову.

Акимов медленно взял трубку и вызвал Фиалку. Когда она отозвалась, он сказал:

— Передайте Ремизову, что я приказал ему вернуться ко мне на НП. Поняли? Повторите.

Фиалка повторила.

Акимов закурил и прислушался к тихим разговорам солдат.

— Люблю низкую облачность во время боя,— сказал Майборода.

— Да,— поддержал его телефонист.— Нелетная нынче погодка.

— Когда мы воевали под Ельней...— начал вспоминать кто-то из солдат.

— А вот подо Ржевом...— вмешался другой.

Тут Акимова вызвал опять к рации командир дивизии. На сей раз он был расположен очень благодушно.

— Спасибо, Акимов,— сказал он.— Удержишь?

— Удержу,— ответил Акимов.

Сразу же после этого разговора Орешкин доложил, что его солдаты выбиты из вражеской траншеи.

— Сейчас я к тебе приду,— сказал Акимов.

Он встал и застегнул шинель на все пуговицы. Одновременно, побледнев, встал и Майборода. Но Акимов снова сел на скамейку, и Майборода, вздохнув, сел тоже.

Затем в землянку вошел низенький, как мальчик, востроносенький, с большими остановившимися глазами, младший лейтенант. Он представился:

— Командир взвода младший лейтенант Фильков. Прибыл в ваше распоряжение.

— Сколько у вас народу? — спросил Акимов.

— Восемнадцать человек.

— Не густо.

Он оглянулся и увидел всю тянущуюся от НП в тыл узкую длинную щель, в которой сидели и стояли связные, связисты, а также раненые, все еще не решавшиеся уйти из-за почти не прекращающегося артобстрела.

— Беги на кухню к Макарычеву,— приказал Акимов Майбороде.— Пусть он вместе со своими помощниками и повозочными бежит сюда. Чтобы ни одного человека там не осталось. Все сюда.

Майборода исчез, а Акимов вышел к порогу землянки и сказал:

— Тут остаются вот эти три связиста и радист. Остальные поступают в распоряжение младшего лейтенанта Филькова. Легко раненные тоже.

Вернувшись к амбразуре, он с минуту поглядел в трубу, затем, повернув голову к младшему лейтенанту, спросил его:

— Давно на фронте?

— Второй день,— вполголоса ответил Фильков. Помолчав, он добавил: — Но я буду стараться.

— Я понимаю,— успокоительно и очень ласково сказал Акимов.

Вскоре пришли «тыловики»: Макарычев и с ним человек восемь. Акимов объяснил Филькову задачу и сказал:

— Как придете к Орешкину, сообщите по телефону или посыльным. Попрошу у командира дивизии дать еще одну небольшую артподготовку.

Вместе с Фильковым Акимов вышел в щель и, пройдя по ней метров двести, увидел невдалеке в овраге взвод младшего лейтенанта. Люди встали при его приближении. Это были порядком изнуренные, но спокойные, видавшие виды люди.

Фильков машинально сказал:

— До свидания.

И ушел во главе своих людей. Строй замыкал очень красный, потный и чуть прихрамывавший Макарычев, посмотревший в лицо Акимову жалкими, испуганными глазами. Он немного отстал от строя и спросил:

— А обед, товарищ капитан? Обед кто будет готовить, товарищ капитан?

— Я,— безжалостно ответил Акимов и пошел обратно на НП. Здесь его уже ожидал Ремизов. Замполит был весь черный. Глаза его за очками лихорадочно и весело блестели.

— Отбились гранатами от контратакующих немцев,— сказал он.

Акимов сказал:

— Останешься тут за меня. Информируй Головина почаще. Я пойду к Орешкину.

— А где Орешкин?

— Вместо Погосяна. Погосян убит.

— Да? — спросил Ремизов.— Только час назад я его видел.

— Пошли,— сказал Акимов Майбороде.

## 3

Они двинулись по щели, потом повернули в другую. Противник стрелял из минометов, мины рвались кругом. «И чего его потянуло вперед,— тоскливо думал Майборода, прижимаясь к стенке хода сообщения.— Ему надо батальоном управлять, а

не вперед лезть». Он смотрел на вызывающе спокойный затылок Акимова с некоторой даже злостью: «И кто его посылал? Если бы ему приказали — дело другое. А то он сам лезет, неизвестно зачем...»

Ко всему прочему, Акимов довольно громко и как бы одобрительно говорил при каждом разрыве немецкого снаряда:

— Вот хорошо. Так, так. Вот, вот.

Да, Акимов был доволен, что немцы стреляют часто и много, давая возможность таким образом нашим артиллерийским разведчикам засекать местоположение вражеских огневых позиций — для того в конце концов и затеян этот бой.

— Так, так,— бормотал Акимов, сердито, но злорадно косясь на разрывы то слева, то справа.

Траншея становилась все мельче и наконец незаметно кончилась. Невдалеке протекал ручей, но его берега не были видны, так как кругом стояла вода, и границы ручья были обозначены только торчащей из воды осокой и тонкими, дрожащими под ветром ивами, у которых верхушки и ветки были изломаны и расщеплены. По воде шла мелкая дождевая рябь. Рядом, на кочке, уткнувшись головой в мокрую землю, а ноги держа в воде, сидел телефонист с аппаратом и бубнил:

— Подснежник. Подснежник. Подснежник. Товарищ Акимов. Товарищ Акимов.

— Да посмотри сюда,— сказал Акимов.— Твой Подснежник же здесь, возле тебя стоит.

Телефонист поднял кверху мокрое, как от слез, лицо и, сразу просветлев, сказал:

— Товарищ капитан, вам Сирень передает: Фильков прибыл. Когда артиллерия заработает, спрашивают.

— Скажи, сейчас у них буду. Где Орешкин?

— Вон там,— показал телефонист пальцем на кустарник на другом берегу.

Акимов шел во весь рост, и Майборода вынужден был идти так же. Ему казалось, что его видят все немцы отсюда до Берлина, и было страшновато.

Они перешли ручей и воду в его пойме по торчащим тут и там кочкам, камням и бревнам, оставшимся от разрушенного мостика. Вода весело и игриво журчала под ногами, неся с собой желтые кленовые листочки. На другом берегу воды сразу стало меньше, берег отлого подымался кверху. Сразу же отсюда начинались свежие мелкие окопы, по всей видимости совсем не-

давно отрытые нашими солдатами. Дальше, в кустарнике, кругом лежали люди Филькова. Акимов поискал глазами среди них и заметил повара Макарычева, который уже приободрился и даже рассказывал окружающим его бойцам какую-то историю. Солдаты сдержанно смеялись, поглядывая вперед.

Орешкин, Фильков и капитан Дрозд сидели в щели.

— Ну, как дела? — спросил Акимов, сверху нагибаясь к ним.

Орешкин радостно улыбнулся, и его красивенькое личико расплылось, словно приход Акимова изменил все положение. Акимов презрительно спросил:

— Ты чего здесь сидишь? Погосян захватил траншею, а тебя оттуда выпихнули, и ты еще ухмыляешься. Я тебя, сукиного сына, под трибунал отдам. Где твои солдаты?

Орешкин побледнел и вылез из щели.

— А твои разведчики где? — спросил Акимов, обернувшись к Дрозду.

— Здесь, со мной.

— Пусть идут вперед вместе со всеми. Для меня каждый человек дорог.

Дрозд угрюмо возразил:

— Я не могу посылать разведчиков в атаку. У них своя задача.

— Они ее не выполняют,— сказал Акимов, и его лицо стало свирепым.— И не выполнят, если будут здесь торчать.

Телефонист из щели крикнул:

— Жасмин и Ромашка сейчас начнут.

Снова загремела наша артиллерия. Акимов пошел вперед, бросив на ходу Филькову:

— Подтяни своих солдат за нами. Пойдем за огневым валом.

Метрах в ста впереди лежали солдаты первой роты. Они приподнялись и, согнувшись, пошли вместе с офицерами. Артналет, к сожалению, прекратился очень быстро, минут через семь,— то ли снарядов было мало, то ли распоряжение было отдано не так. Акимов выругался. Упрямо стоя во весь рост, несмотря на то что кругом начали посвистывать пули, он вдруг побелел, поднял вверх руку, сжатую в кулак, и крикнул громко, так, как, вероятно, кричат моряки во время бури:

— Вперед, товарищи! За нашу родину! — И неожиданно для всех и для себя самого добавил старинную, вычитанную из книги фразу: — Не опозорьте русское оружие перед лицом неприятеля.

— Ура-а!..— раздался крик, и все ринулось вперед, стреляя на ходу, захлебываясь, что-то бормоча, оскользаясь, падая, подымаясь, как бы во власти мощного призыва, который все еще звенел в ушах. Сбоку и сзади подбадривающе постукивали пулеметы. Полетели гранаты. Потом все стихло. Майборода, спрыгнув в траншею на немца, схватил его за лицо и начал остервенело тыкать затылком в грязь. Потом он опомнился и осмотрелся. Траншея была полна наших солдат. Поспешно устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Акимов, сидя на корточках, говорил по телефону, крича, отчаянно ругаясь и почти не слушая, что ему отвечают.

— Огня! — кричал Акимов.— Боеприпасы тащите сюда немедленно. Побольше гранат и снаряженных дисков. Спите там, сволочи? Вот я вернусь, я вам покажу, сукиным детям! Артиллерийских командиров сюда гоните, отсюда лучше видно!

Он встал и сказал Орешкину:

— Так держать! Понятно? — Он был без фуражки, ее сбило пулей. Он продолжал говорить: — Твой НП теперь будет здесь, в траншее, а мой — вон там, в кустарнике, где ты сидел и ухмылялся.— Осмотревшись, он устало улыбнулся: — Хорошо оборудовали траншеи. Немец порядок любит.

Действительно, траншея была сделана хорошо, даже красиво. Вся обшитая досками, она шла правильными зигзагами. Ниши для спанья и те были устланы досками и соломенными матами. Повсюду валялись масленки из оранжевой пластмассы — остатки недоеденного немецкого завтрака. Здесь же лежали и убитые немцы и наши рядом. В воздухе стоял странный, единственный на свете запах захваченной вражеской траншеи. Очень чужой запах.

Акимов пошел по траншеям, перебрасываясь с солдатами полушуточными-полусерьезными словечками:

— Ну, вот мы и добрались до приличного жилья. Сухо и не дует. Держитесь здесь, смотрите, покрепче. Если нас выбьют обратно в болото и грязь — грош нам цена.

Вдруг он умолк. Он услышал поблизости женский голосок, разговаривающий по-немецки. Аничка, усевшись на ящике из-под патронов, с блокнотом в руках, допрашивала немецкого пленного.

— Вы почему здесь? — спросил Акимов.

Она подняла на него глаза и ответила, высокомерно вскинув подбородок:

— Дальше немцы не пускают.

Кругом сдержанно хихикнули солдаты.

— Нет, без шуток,— загорячился Акимов, покраснев.— Вам тут нечего делать.

— Что ж,— она хладнокровно поднялась и отряхнула шинель,— тогда допросите пленного сами.

— Да, но тут не место для допроса.

— Да, но он ранен и не может двигаться.

Акимов покосился на пленного, махнул рукой и пошел дальше. «Что, съел?» — спросил он себя, не зная, досадовать или смеяться.

Позднее он вместе с Дроздом настоял, чтобы переводчица отправилась с пленным в тыл и находилась с Ремизовым, на старом НП.

Найдя глазами среди солдат Макарычева, он сказал ему с притворной строгостью:

— Вам боевое задание. Возвращайтесь. Будете ужин готовить. Поняли? Выполняйте.

Вместе с пленным, двумя разведчиками и батальонным поваром Аничка отправилась в тыл. Пленный действительно не мог идти самостоятельно — его то несли, то тащили. Когда они уже переправились через ручей, опять заработали немецкие минометы, пришлось лечь плашмя в грязь, кругом рвались мины, и Аничка ужасно боялась, чтобы не убило немца. Но все обошлось. Вскоре они оказались у Ремизова.

Укоризненно качая головой и помогая Аничке счищать грязь с шинели, Ремизов говорил:

— У меня все время душа была неспокойна за вас. Нехорошо все-таки. Вы не сердитесь на меня, но девушкам здесь не место, честное слово. Немцы ведь не знают, что вы писали в институте курсовую работу об их великом поэте Шиллере. Возьмут и убьют. Фашисты ведь, Анна Александровна.

Он собирался уходить вперед, на новый НП за ручьем, но командир полка все еще не разрешал менять НП. Аничку Ремизов настоятельно попросил отправиться в овраг, в землянку с патефоном.

— Там вы и пленного толком допросите, и музыку послушаете,— сказал он ей, опять берясь за телефонную трубку.

Вскоре Аничка с пленным и разведчиками очутилась в батальонном овраге, в том самом, куда пришла этой ночью. Огонь противника ослабел, и они шли не по дну, а по кромке оврага

и, так как пленный был тяжелый, вскоре сели передохнуть на окраине разрушенной, сожженной деревни. Здесь они пристроились на обломках избы, возле черного дымохода, рядом с промежуточной телефонной станцией. Аничка решила тут же допросить немца и основные данные допроса передать по здешнему телефону.

Из солдатской книжки пленного явствовало, что он является обер-ефрейтором 78-й штурмовой дивизии Гансом Кюле из Ганновера.

Маленькое число «78» представляло собой факт большой важности. Этой дивизии раньше тут не было. Свистнув от удивления и удовольствия, Аничка начала допрос.

То, что его допрашивала «фрейлейн» — то есть девушка, да еще красивая и с мелодичным голосом,— подбодрило немецкого ефрейтора: он понял, что расстреливать его не будут. Более того, он не только приободрился, но и слегка обнаглел. Ранее расположенный говорить всю правду, он теперь подумал, что это было бы нехорошо, так сказать, недостойно немецкого солдата. Поэтому он с каждым вопросом отвечал все неопределеннее и наконец просто замолчал. Для того чтобы поднять свой собственный дух и взвинтить себя, он начал мысленно называть русских — и в том числе даже эту юную, приятную и хорошо знающую немецкий язык девушку: «мои мучители», «садисты, издевающиеся над раненым», и т. д.

Наконец Аничка потеряла терпение и, глядя в упор в его бегающие глаза, спросила, будет ли он отвечать на вопросы.

— Хорошо,— медленно сказала Аничка, не получив ответа.— В таком случае я передам вас солдату, который вас проводит в штаб.— Она повернулась к разведчику Бирюкову и подозвала его: — Подойдите сюда, Андрюша.

Бирюков — сама доброта, тихий и молчаливый уралец — подошел и нагнулся над пленным. Лицо Бирюкова — плоское, с раскосыми глазами и красными обветренными скулами, производило на людей, не знавших его, впечатление необычайной свирепости.

Кюле, в ужасе отшатнувшись, сразу же заговорил и рассказал все, что знает.

Весьма довольная своей военной хитростью, Аничка записала показания пленного, передала самое важное из этих показаний начальнику штаба полка по телефону, потом отправила разведчиков с пленным в тыл, а сама пошла обратно к Ре-

мизову. Но не успела она спуститься в овраг, как заговорили на тысячи ладов немецкие пушки и минометы. Вероятно, немцы подтянули сюда артиллерию с других участков.

Аничка еле успела заскочить в землянку Акимова. Овраг содрогался.

В землянке никого не было, и Аничка очень обрадовалась этому. Она закрыла глаза и заткнула себе уши пальцами, прижавшись к стене, оплетенной ивовыми прутьями. Ей было страшно, и она делала то, что делают люди, когда им страшно.

Потом заскрипела дверь, приползли полковые связисты с катушками провода, повар Макарычев и еще какие-то солдаты. Аничка сразу же присела к столу и как ни в чем не бывало стала причесывать свои коротко стриженные волосы, деловито говоря:

— Сильный огонь. Ясно, немцы перебросили на наш участок артиллерийские подкрепления. Видимо, их сильно напугала наша атака. Как там наши — удержат позиции или нет?

— Только бы комбата не убило,— сказал Макарычев. Он был очень бледен.

Продолжая причесываться, Аничка проговорила:

— Посмотреть бы хоть одним глазком, что там делается.

Ей послышался оттенок лицемерия в этих своих словах. И тогда она, превозмогши себя, действительно вышла в овраг и вдоль его западного склона медленно пошла вперед. Вскоре артналет прекратился. Издали слышалась только довольно частая пулеметная дробь. Опять пошел дождь. Пронеслась телега без ездового. Какое-то предчувствие беды закралось в сердце Анички. При этом она думала больше всего об Акимове. Все время боя она находилась подле НП комбата и была свидетельницей всего, что творилось там, слышала все, включая акимовскую ругань, которая почему-то не оскорбляла ее слуха. Было бы ужасно, думала она теперь, если бы он погиб. Ужасно не для нее, разумеется, но для всего батальона и для полка. И для нее в том числе.

Шум боя слабел все больше, потом все утихло. Аничка приближалась к той щели, в конце которой помещался НП. Подойдя ближе, она не узнала местности. Все было перепахано снарядами. На месте НП зияла воронка. В этой воронке копались люди с лопатами. А на краю ее, на кончике вывороченного бревна, сидел человек без фуражки. Это был Акимов.

Один из копавших вылез из воронки и, постояв немного,

бросил лопату. Аничка подошла к нему и узнала Майбороду. Она спросила:

— Что случилось?

— Прямое попадание,— сказал Майборода.— Замполита убило.

Аничка побелела и сжала зубы до боли в ушах. Потом она взглянула на Акимова. Он сидел неподвижно, и по его щекам текли слезы. Аничка задрожала. Она никогда не поверила бы, что этот железный человек, которого она наблюдала сегодня целый день, может плакать. И то, что он может плакать и что он плачет, потрясло ее. Ей хотелось подойти к Акимову и обнять его. Акимов поднял на нее глаза, медленно встал и спросил:

— Вы здесь? — Потом он опустил голову и, указывая рукой на воронку, сказал: — Ничего от человека не осталось. Ничего.

Рядом, в соседней щели, телефонист настойчиво, почти с отчаянием, то понижая, то повышая голос, звал, убеждал, умолял:

— Лилия, Лилия, Лилия, Лилия.

Показалась группа раненых. Один из них, поравнявшись с Акимовым, сказал:

— Прощайте, товарищ капитан. Может, уже не увидимся.

— Вытягов! — воскликнул Акимов.— Ранен?

— Ранен.— Сержант улыбнулся.— Но не очень опасно.— Уходя, он опять обернулся к Акимову и сказал: — Жалко. Вы все на отдых, а я в госпиталь.

Смысл сказанных Вытяговым слов дошел до Акимова спустя полминуты. Он сделал два шага вслед раненым.

— Ты это про что? — спросил он.— Про какой такой отдых?

Вытягов остановился, повернулся к комбату и, хитровато смерив его глазами, сказал:

— Будто не знаете! Это все знают. Ночью вернулись из медсанбата Скопцов с Алешиным. Во́йска там собралось видимо-невидимо. Нас сменять будут.— Он помолчал, потом повторил: — Прощайте, товарищ капитан. Мы вас никогда не забудем.

Раненые пошли дальше, а Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед.

Стемнело быстро, как темнеет осенью. Часто вспыхивали немецкие ракеты — противник боялся ночной атаки. В оврагах и траншеях все угомонились, улеглись кто где попало.

Дождь перестал. А в первом часу ночи все были подняты по тревоге и наконец увидели.

Лязгая оружием, гремя котелками, хлюпая сапогами по глине, подходили свежие части. Хорошо одетые и вооруженные, оглядываясь не очень весело, но и вовсе не грустно, посмеиваясь над унылым видом здешних солдат, но и понимая причину этого унылого вида, нюхая воздух, пахнущий порохом и пожаром,— одним словом, в полном сознании трудности предстоящей жизни, но без всяких ужасов по этому поводу,— пришельцы занимали построенные другими землянки, хлынули во все щели, в том числе и в захваченную сегодня вражескую траншею, что-то делали, мастерили, обживались, хлопотали, переобувались, крякали, вздыхали.

— Счастливо отдохнуть,— напутствовали они беззлобно и безо всякой зависти строившихся и уходивших в ночь здешних солдат.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## *Любовь*

### 1

Поезд, состоявший из теплушек, двигался на восток, и двигался не очень быстро, как и полагается поезду, везущему солдат не на фронт, а от фронта. Солдаты целыми днями сидели и стояли, тесно прижавшись друг к другу, у открытых дверей и наслаждались великим покоем, исходившим от широких серых полей. Стаи птиц улетали на юг. Золотые березки сменялись зелеными елками, а то вдруг у колодца возникала красная мокрая рябина. Впрочем, деревья не так успокоительно и мирно действовали на солдат — солдаты досыта насмотрелись на разные деревья,— как зрелище станций, семафоров, стрелок, пакгаузов — всей исправно действующей системы железных дорог. Привыкнув к пешим маршам или передвижениям на машинах, солдаты во время боев хотя и пересекали не раз незаметно для себя пару рельсов, но почти забыли, что на свете есть железная дорога, по которой можно ездить.

Вид тихих деревень и серых полей, звуки паровозных гудков и лязг колес навевали чувство спокойствия, и сны тоже

были тихие, мирные. Снились котята, куры, дети,— правда, все они почему-то копошились в длинных и мокрых оврагах.

Ночью не спали только дежурные, подкладывавшие дрова в железные печки. Остальные все спали, даже не спали, а отсыпались. Утром их будил холод: уже наступили утренние заморозки. Спрыгивали с нар, босиком бежали к печке, сладко затягивались горьким махорочным дымом, зевали, обувались, на ближайшей станции бежали с котелками в вагон, где находилась кухня, и, позавтракав без особого аппетита, опять весь день спали или глядели на пробегавшие мимо равнины, жадными ноздрями втягивая в себя чистый и прохладный воздух предзимья.

Куда ехали, никто не знал, и мало кто этим интересовался. Пункт назначения был неизвестен даже командиру дивизии. Военные коменданты больших станций и те знали не более того, что им полагалось знать: следующую большую станцию, куда им надлежит отправить воинский эшелон номер такой-то.

Первый батальон был, в связи с проведенным им изнурительным боем, освобожден от несения наряда по эшелону. Спали по пятнадцати часов в сутки, а капитан Акимов — тот лежал все время на своих нарах, почти не слезая с них. Молчаливый Майборода приносил ему поесть, забирал посуду и не осмеливался заговорить с комбатом, так как тот находился в том изредка нападавшем на него тяжелом и хмуром настроении, при котором разговаривать с ним было опасно.

Акимов лежал наверху, возле окошка, и часами глядел в него, ни звуком не выдавая того, что не спит. В вагоне все соблюдали молчание, и так как это было тягостно, то офицеры батальона и солдаты штаба батальона, ехавшие здесь, старались улизнуть к соседям.

В вагоне оставался один безропотный Майборода, который, дорвавшись наконец до настоящих дров, топил беспрерывно, наслаждался одиночеством и время от времени подымал голову кверху, прислушиваясь, не сказал ли что-нибудь и не пошевелился ли комбат.

Наконец однажды, на третьи сутки, Акимов слез и попросил умыться. А умывшись, спросил:

— Корзинкин жив?

— Да.

— А с Файзуллиным что?

— Ранен Файзуллин.

— С кем едем?

— Первый и второй батальон и штаб полка,— ответил Майборода, оживившись, и начал выкладывать новости: — Полк едет двумя эшелонами. Мы — задний. Командир полка едет впереди, с третьим батальоном и артиллерией. Конечно, там же и тыловики. На фронт они идут сзади, зато с фронта — впереди. В общем, дивизия растянулась эшелонов на десять. Каждый день отправляется эшелон. Я для вас вот на одной станции пива достал. Выпейте, товарищ капитан, а то выдохнется... За деньги,— добавил он, откупоривая бутылки и ухмыляясь.— Давно уже ничего не покупал за деньги.

Акимов молча выпил пиво, которого не пробовал, пожалуй, с начала войны.

Майборода сказал:

— А хорошо жить без денег. Чтобы нам все давали — вот как на фронте: и одежу и хорошее снабжение... Но только без войны.

— Значит, чтоб войны не было, а снабжение чтобы было? — усмехнулся Акимов.— Ну, а с работой как?

— А как же? — возразил Майборода обиженно.— Без работы разве жизнь?

Акимов сказал:

— Что ж, это и есть почти коммунизм. Чтоб войны не было, была бы мирная работа, а снабжение — как на фронте... Да ты, оказывается, убежденный коммунист, сержант Майборода.

— Да, выходит так,— задумчиво произнес Майборода. После некоторого молчания он возобновил рассказ о местных новостях: — К вам приходили, проведать. Инженер полковой и еще этот, как его, птица певчая — чиж или как там его. Дрозд. И с ними переводчица приходила. Спрашивала про ваше самочувствие. И еще пластинку одну просила поставить, да выкинул я эти пластинки во время погрузки. Куда едем, неизвестно. Некоторые говорят — в Москву. Формироваться, конечно.

— Они с нами едут? — спросил Акимов.

— Кто?

— Ну, да вот Дрозд и остальные...

— Да, с нами.

На ближайшей станции Акимов вышел погулять. Он пошел вдоль эшелона. Перрон разрушенной станции был полон гуляющих солдат. Возле киоска стояла группа офицеров, среди

которых Акимов сразу же увидел Аничку. Кто-то окликнул Акимова:

— Павел Горденч! Отоспались наконец?

— Да,— односложно ответил Акимов.

Аничка обернулась к нему и крикнула:

— Идите сюда, Акимов!

Тут же она сама пошла ему навстречу и дружески пожала ему руку. Он смутился, но посмотрел на нее с жадным любопытством: какая же она на самом деле? Такая ли, какой показалась ему тогда, в первый раз?

Она оказалась такой же. В чуть туманном свете дня она представлялась только более земной, менее высокомерной и далекой. В том, как она его встретила и что сама подошла к нему, чувствовалась доброжелательность, но не больше. Или больше? Во всяком случае — в ее поведении ощущалась некоторая властность и понимание своей власти. Несмотря на свою юность, несмотря на то что из-под ее шапки-ушанки выбивалась темно-каштановая прядь волос, падая на белый, без единой морщинки, гладкий, высокий, выпуклый лоб,— несмотря на все это, она вела себя подобно старшей здесь, и ее неожиданная приветливость по отношению к Акимову тоже имела оттенок знающего себе цену благоволения.

Инженер Фирсов удивился:

— Ты все еще не сбрил бороду? Пора, пожалуй, сбросить лишнюю растительность.

— Да верно,— рассеянно ответил Акимов.— Просто забыл про нее.

— А вы, правда, побрейтесь,— попросила Аничка.— Тут на станции парикмахерская есть. А мы подождем вас.

Он готов был тотчас же исполнить ее желание, но нечто строптивое, злое заставило его ответить ей холодно и враждебно:

— Уж вам-то моя борода не мешает.

Она удивилась, вспыхнула, но, овладев собой, сказала язвительно:

— Грубость украшает вас так же мало, как и борода.— И, пристально посмотрев на него, добавила: — Не надо злиться.

Акимов ничего не ответил и вернулся к себе подавленный. Он сам не понимал, почему так грубо с ней говорил. Потом он понял, что разозлился вот по какой причине: она разговаривала с ним слишком сердечно, и именно это так рассердило его.

Он не желал, чтобы она относилась к нему, как ко всем. И еще одно, пожалуй: в ее тоне ему почудилось нечто вроде заигрывания. Если же она заигрывает с ним, хотя они еле знакомы, значит, она может заигрывать с любым еле знакомым человеком. И это наполняло его нехорошим, ревнивым чувством.

«Что греха таить,— думал он, кусая кончик этой самой своей злосчастной бороды,— я влюблен в эту девицу, и так сильно влюблен, что не могу простить ей заигрывания даже с самим собой».

Не было Ремизова — того единственного человека, с которым Акимов мог бы поделиться своими мыслями. Что сказал бы Ремизов?

Лежа на своих нарах, Акимов старался представить себе, что сказал бы Ремизов.

Ремизов сказал бы:

— Друг мой, есть вещи сильнее нас. Но вовсе не значит, что все, что сильнее нас,— плохо. И кроме того, почему ты не допускаешь, что этой милой и прелестной девушке ты просто понравился? Не скромничай. Не такой уж ты скромный, чтобы считать себя недостойным ее любви, скорей напротив. Нет, ты слишком самолюбив, и в этом — причина твоих сомнений. Ты хочешь знать наверняка, что она к тебе неравнодушна. Узнав это, ты побежал бы к ней и постарался бы получить над ней власть. Ты бы тогда помыкал ею, сам притворялся бы равнодушным, чтобы заставить ее полюбить тебя еще больше. Я знаю эту игру, где человек хочет подчинить себе любимого человека, сделать из него раба, при этом, может быть, мучаясь великой жалостью к нему.— Голос Ремизова начал бы звучать металлически, и он закончил бы сухо: — И это, учти, пожалуйста, есть пережиток капиталистического сознания, и надо с ним бороться.

Акимов грустно рассмеялся, так похоже это было на то, что сказал бы, будь он жив, капитан Ремизов.

Вечером поезд остановился на станции Рославль, и в вагон к Акимову пришел командир второго батальона капитан Лабзин. Он влез к товарищу на нары и зашептал ему на ухо:

— Павел Гордеевич, прошу тебя, пойдем. Тут недалеко живет одна моя знакомая. Возле самой станции. Мы с ней переписываемся год. Забежим. Поезд тут простоит часа три. Я спрашивал...

«И зачем тебе компания?» — спросил было Акимов, но потом вдруг поднялся, оделся и сказал:

— Ладно.

Они прошли по улочке, застроенной железнодорожными бараками, повернули на другую и остановились возле палисадника с одинокой красной рябиной. Лабзин пошел вперед, в темную прихожую небольшого стандартного дома. Он был слегка взволнован, так как знакомую свою доселе никогда не видел, а только переписывался с ней после того, как получил ее письмо, адресованное «лучшему снайперу воинской части». Письмо это, подобно сотням тысяч других женских писем, было послано на фронт, чтобы подбодрить и утешить солдата, а пожалуй, и для того, чтобы подбодриться и утешиться самой писавшей.

В маленькой комнатке, скупо обставленной самым необходимым, горела свеча. Двух комбатов встретила высокая худощавая женщина лет тридцати, с очень усталым лицом, но с прекрасными русыми волосами, выложенными косами на голове. Эти косы, лежавшие кругом головы, молодили женщину и напоминали о том, что, в сущности говоря, она совсем недавно была просто девчонкой.

Приход двух капитанов, из которых один мог считаться ее знакомым, взволновал женщину. После первых слов Лабзин сразу стал веселым и развязным, вынул бутылку водки и какую-то закуску, которую почему-то называл «закусь», что очень коробило Акимова.

— Пригласите подружку, Наташа,— сказал Лабзин.— Посидим, поговорим.

Наташа накинула на плечи темный платок и вышла из комнаты. Лабзин же, поглядывая на Акимова, беспокойно спрашивал:

— Ну как? Ничего? Правда, ничего?

Он всегда робел перед Акимовым и теперь, хотя сам не был ни в коей мере очарован внешностью Наташи — на фотографии она выглядела моложе,— хотел бы, чтобы Акимову она понравилась. Его нервировало молчание Акимова, который сидел у столика, подперев рукой большую равнодушную голову.

Минут через десять вернулась Наташа с подругой. Подругу звали Аней, и это задело Акимова. Аня была высокого роста, с большими серыми глазами и бледным лицом.

Сели к столу. Выпили. Исчезла связанность и робость. Лабзин рассказал что-то веселое, при этом все время расхваливая Акимова и уничижая себя.

Акимов говорил мало, но вскоре заметил, что Наташа оказывает ему предпочтение перед Лабзиным, и был несколько сконфужен этим. Она все время обращалась только к нему, а чаще всего, как и он, молчала. Лабзин тоже вскоре заметил, что Наташе нравится Акимов, но не обиделся. Он занялся Аней и вскоре вместе с ней ушел.

Оставшись с Наташей наедине, Акимов почувствовал себя неловко. Он даже досадовал на себя по этому поводу. Былая моряцкая удаль словно совсем исчезла в нем. «Не уйти ли?» — подумал он, но и уйти не мог. Она сняла нагар со свечи и сказала:

— Темно теперь у нас. Немцы взорвали электростанцию.

Потом она опять подсела к нему. Оба были смущены и взволнованы. Он подумал об Аничке с горьким злорадством: «Все, кончено. Ведь все равно все кончено. Вот и прекрасно. Забыл тебя. Больше не буду мучиться. Конец». Он взял руку Наташи в свою. Ее руки были очень горячие. Вся она была горячая, как огонь.

Она еще что-то потом говорила, вздыхала...

Он лежал рядом с ней, почти бездумный. «Вот теперь все будет хорошо»,— думал он, рассеянно гладя ее распустившиеся косы, а она тихо твердила:

— Спасибо тебе. Спасибо.

Она благодарила именно за эту рассеянную, добрую ласку, а не за то, что было раньше.

— Я буду очень тосковать по тебе,— сказала она.

И он поверил ей, несмотря на их быстрое и случайное сближение. То, что для него было случайностью, ей казалось уже судьбой. Лицо ее, еле знакомое, казалось ему знакомым и прекрасным. Он уже упрекал себя за то, что отнесся к ней только лишь как к безымянной и безликой отдушине для своих страстей. Он вдруг подумал, что мог бы остаться здесь навсегда и был бы счастлив. Он ощутил в ее объятиях и прочитал в ее широко открытых глазах повесть одинокой жизни. Это была та же война, только в ином обличье.

Недалекий гудок паровоза напомнил ему о том, где он находится, и заставил поспешить.

Она накинула платок и вышла вместе с Акимовым.

Состав стоял темный и безмолвный. Впереди, рассыпая снопы искр, уже попыхивал паровоз.

Они постояли в густой тени станционного здания. Она не

имела ни права, ни власти удержать Акимова хоть на минуту и с непритворным отчаянием припала в темноте к его груди, чтобы навеки проститься. А он, гладя ее по голове, не находил в себе ни одной нехорошей мысли, а только жалость и волнение.

## 2

Возле своего вагона Акимов увидел одинокую фигуру.

— Это вы, товарищ капитан? — послышался голос Майбороды.

— Я. Чего ты не спишь? Иди спать.

— Вас дожидался.

— Ну, вот я здесь.

Майборода влез в вагон, а Акимов остался. Кто-то впереди запел приятным голосом под гитару. Акимову показалось, что он узнал голос Дрозда. Вспомнив о том, что Аничка спрашивала Майбороду о пластинках, Акимов, усмехнувшись, подумал: «На бесптичье и дрозд соловей». Хотя Дрозд пел не так уж плохо.

Прислушиваясь к пению, Акимов вдруг решил, что Дрозд влюблен в Аничку. Как бы то ни было, далекое и негромкое бренчание гитары наполнило его тоской, и ему захотелось пойти туда, где находилась Аничка. Он постарался отбросить прочь эти мысли, постарался думать о Наташе, о ее одинокой судьбе, но уже понял, что встреча с Наташей вовсе не поможет ему успокоиться и выкинуть из головы другое.

В темноте двигались фонарики железнодорожников. Чей-то голос спросил:

— Скоро нас отправят?

— С полчасика постоите,— ответил другой голос.— Там путь занят.

Акимов пошел вдоль состава и наконец поравнялся с полуоткрытой дверью штабного вагона. Гитара уже замолкла. Из вагона доносились негромкие голоса. Акимов постоял, постоял, потом полез в вагон. Люди сидели вокруг печки. Огонь в печке ярко пылал.

— А, товарищ Акимов,— встретил его инженер Фирсов.— Пожалуйте к нашему очагу.

Акимов прислушался. Но нет. Женского голоса не было слышно. Тем не менее он чувствовал, что она здесь, что она

где-то тут, рядом, сидит и молчит. Это было ясно из всего поведения людей, хотя бы из их сдержанных разговоров. Он ждал, что кто-нибудь окликнет ее, спросит о чем-то, и тогда можно будет хоть услышать ее голос. Но никто ее не окликал.

Он собрался было отправиться к себе, но поезд тряхнуло, паровоз дал свисток. Тронулись. Конечно, он мог бы спрыгнуть на малом ходу и с легкостью вскочить в свой вагон, но ему не хотелось уходить отсюда, и он воспользовался этим поводом, чтобы не уйти.

Аничка же упорно молчала, сидя в углу на нарах, именно потому, что вошел Акимов. Ей трудно было определить свое чувство к нему, но ей почему-то казалось все время, что она и он имеют от всех некую тайну, никому, кроме них, не известную. Может быть, то, что она видела, как он плачет.

Конечно, он был настоящим героем. Но и остальные люди, сидящие здесь в вагоне, тоже были героями. Дрозд несколько раз ходил по вражеским тылам. Фирсов был опытным и храбрым сапером и тысячу раз рисковал жизнью. И все остальные тоже так. Они разговаривали, вспоминая прошлые бои, размышляя вслух о том, что их ожидает на месте формировки,— одним словом, вели самые обыкновенные разговоры, но она знала, что за этими обыкновенными словами кроется не бедность мысли, а привычка к сдержанности, нежелание и неумение говорить красиво. Каждого из сидящих здесь людей она, несмотря на темноту, видела. Не видела она одного Акимова. Он казался ей неясным, глубоким и непохожим на других. Она не могла понять, в чем дело, пока наконец, усмехнувшись в темноте, не подумала: «Да он мне просто нравится».

Тем не менее она попыталась отдать себе отчет в том, почему он ей нравится. И решила, что ее поразило в нем редкое сочетание физической и нравственной силы. На него можно было положиться, он был одним из тех людей, которые способны быть могучими защитниками от невзгод и горестей жизни. Но разве не ощущала она себя тоже достаточно сильной и способной на многое? Да, ощущала и, чувствуя в себе скрытые силы, равные его собственным, тянулась к нему с тем благородным и бескорыстным самоотречением, какое испытал бы, будь он мыслящим существом, дождь, приближаясь к земле.

Как раз перед тем, как Акимов вошел в вагон, о нем здесь говорили. Все отзывались о нем с похвалой, кроме Дрозда, который почему-то говорил об Акимове с непонятным раздраже-

нием. Например, он говорил, что Акимов заносчив, груб и носится со своим морским прошлым, как «с писаной торбой».

Дрозд так отзывался об Акимове потому, что страстно и ревниво любил Аничку и боялся, что Акимов ей понравится так же, как он нравился всем, в том числе ему, Дрозду.

Капитан Дрозд, будучи хорошим человеком, храбрым и дельным офицером, как бы старался казаться хуже, чем был на самом деле, считая, что разведчик должен вести себя самоуверенно и развязно. Смуглый, как цыган, с блестящими черными глазами, он мог от всякого пустяка зажечься, как спичка. Лишь во время выполнения боевой задачи он становился расчетливым и хладнокровным и в такие моменты очень нравился Аничке. С ней он вначале принял тот залихватский и игривый тон, которым обычно щеголял, но почти сразу же понял, что ошибся. Прежде всего он с некоторым удивлением отметил, что разведчики, люди, прошедшие огонь и воду, при новой переводчице не позволяют себе ни легкомысленных разговоров, ни пошлых намеков. Это заставило его насторожиться. Он стал внимательно приглядываться к переводчице. На него произвела большое впечатление ее отвага, независимость и весьма определенное презрение ко всяким заигрываниям. При всем том ее не покидала женственность, действовавшая на Дрозда с удивительной силой. Когда рядом разрывался снаряд или когда приближались вражеские самолеты, она чуть бледнела и жалобно говорила:

— Ох, как страшно!

Но при этом продолжала делать свое дело так же размеренно и точно, как прежде.

У него сердце замирало от восхищения, когда он слышал эти слова: «Ох, как страшно!» Право же, он иногда чуть ли не мечтал о здоровом артналете, с тем только, чтобы еще разок услышать от нее эти слова. Произнося их, она казалась ему слабее, а потому — ближе, доступнее.

Именно в связи со своим чувством к Аничке Дрозд опасался Акимова. Акимов был силен своей прямотой. Он никогда не лицемерил и не притворялся, не приспосабливался к людям. Напротив, люди приспосабливались к нему.

Он был как будто весь на ладони, этот Акимов, и все-таки было в нем много тайного, сложного. Это был не «рубаха-парень», каким он казался спервоначалу, и прямота его была вовсе не признаком элементарности, а свойством характера, который не желает связывать себя двуличием.

Дрозд на первый взгляд был таким же «рубахой-парнем», говорившим в глаза людям то, что думал о них. Но это только казалось, и сам Дрозд знал это лучше всех. На самом же деле он беспрестанно шел на уступки. Прямота его была не совсем естественной, он сам себя понуждал быть прямым, но это было ему трудно. Он, напротив, любил быть приятным людям, нравиться им и вследствие этого часто кривил душой. Поэтому он втайне считал себя человеком заурядным, «дипломатом», и сам мучился этими своими качествами.

Акимов был прирожденным вожаком, руководителем, Дрозд же хотел быть вожаком, мечтал об этом, но был еще для этого слаб, подвержен припадкам лицемерия и припадкам грубости, не имел, одним словом, определенной линии.

Что касается Анички, то Дрозд вовсе не заметил ничего похожего на особое отношение ее к Акимову или Акимова — к ней. Но, считая Акимова выше себя, а Аничку — достойной самого лучшего, он боялся сближения их именно потому, что считал их подходящими друг для друга.

Теперь, сидя в темной теплушке и оживленно беседуя с остальными офицерами, Дрозд все время прислушивался к сидевшим молча Акимову и Аничке, и ему казалось, что их молчание означает некую связывающую их невидимую нить. И своим оживлением, шутками и остротами он как бы тщился порвать эту нить и чувствовал, что не может. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них заговорил, но оба молчали. В конце концов все это было настолько неуловимо, что, может, и нити-то никакой не было, а все одна мнительность, иногда думал Дрозд.

Но он не ошибался, нить эта существовала.

Наконец Акимов заговорил.

— Когда я был маленьким,— сказал он,— я мечтал ехать с солдатами в эшелоне. Мне казалось, что нет ничего веселее, чем быть солдатом и ехать в эшелоне.

«Нет, не может плохой человек так говорить»,— думала Аничка, прислушиваясь не столько к словам, сколько к голосу Акимова.

— А вот теперь,— продолжал Акимов,— мне вовсе не весело. Все боюсь, как бы кто из солдат не отстал или не выпил лишнего. Вообще в армии лучше всего быть рядовым. Рядовой, как бы ни было ему трудно, все-таки как у Христа за пазухой. Может, оно и неприлично капитану хотеть вернуться в первона-

чальное состояние, но, честное слово, иногда хочется ни о чем не думать и ни за кого, кроме себя, не отвечать.

Акимов, разговаривая тем добрым, дружелюбным тоном, какой был ему свойствен в нормальное время, удивлялся, как может он говорить о таких обычных вещах после того, что было час назад в том маленьком стандартном домике на станции. «Как нехорошо,— подумал он,— что человек способен скрывать свои некрасивые тайны...»

Им овладел внезапный жгучий стыд, и он подумал, что самое лучшее — вовсе не иметь некрасивых тайн, хотя это очень трудно.

Кто-то спросил:

— Когда вы на днях подымали людей в атаку, о чем вы думали?

Акимов сказал:

— Не помню.

— Страшно подымать людей в атаку,— проговорил Гусаров.— Боязно, что не подымутся.

Акимов возразил:

— Нет, у меня этого не бывало. Об этом просто нельзя думать. Если будешь думать об этом, солдаты и в самом деле не подымутся, они почувствуют твое сомнение,— и тогда пропала атака. Ты должен быть уверен, что подымутся все как один. А для этого надо их поднять в самый правильный момент. Иначе будет чистое донкихотство. Как в политике: мало дать правильный лозунг, надо дать его вовремя.

Дрозд в это время думал: «Красиво говорит. Как лектор политотдела. Красуется. Мыслитель, так сказать».

— Об этом мне часто говорил Ремизов,— добавил Акимов, помолчав.

«Вовремя скромно перенес на Ремизова,— мрачно комментировал про себя Дрозд.— Понял, что немножко скромности не помешает. Хитрый, черт».

Гусаров стал рассказывать случай, приключившийся будто бы в городе Рыбинске: приехавший домой по дороге из госпиталя некий фронтовик застал у жены другого и застрелил жену. Трибунал якобы оправдал убийцу, признав, что он прав.

Почти все в вагоне согласились с этим решением, один только Акимов произнес глухим голосом:

— А сам небось в госпитале и на фронте никому проходу не давал.

Начался спор на тему о нравственности оставшихся в тылу жен. Дрозд рьяно спорил с Акимовым, хотя не желал спорить, понимая, что Аничка, все так же сидевшая молча, в этом вопросе не может не быть на стороне его противника. Все больше злясь, он думал: «Защищает женщин, чтобы ей понравиться. Дескать, я хороший, я женщин уважаю...»

Кто-то окликнул Аничку:

— Анна Александровна, а вы как думаете?

Но Аничка ничего не ответила, решив притвориться спящей. Слушая Акимова, она вдруг ужаснулась при мысли, что он может выбрать себе какую-нибудь недостойную его подругу жизни. И при мысли об этом она заранее жалела его странной, острой и внешне ничем не оправданной жалостью.

### 3

На следующий день, рано утром, поезд остановился на полустанке, и Акимов, которому не спалось, вышел погулять.

Весь эшелон еще спал, и только несколько солдат — из тех, что постарше,— вылезли из вагонов и, покуривая, уселись на травянистую насыпь.

К Акимову подошел капитан Лабзин и тут же начал рассказывать об окончании своего вчерашнего приключения. Оно не увенчалось успехом, женщина оказалась строгих правил, но Лабзин, бессмысленного тщеславия ради, изложил Акимову все дело так, словно успех был полный. Акимову было неприятно и совестно слушать все это, и он отрезал:

— Ладно. Что было, то было, и рассусоливать тут нечего. Одинокие женщины. Жаль их, и все.

Паровоз дал гудок. Лабзин ушел к себе, солдаты бросились к вагонам, и поезд тронулся. Акимов шел рядом со своим вагоном, ожидая, чтобы влезли солдаты.

— Быстрее,— поторапливал он их. Поезд прибавил ходу. Акимов уже ухватился за дверную щеколду, чтобы вспрыгнуть, и вдруг увидел Аничку, которая бежала от станции к поезду. Она держала в руках солдатский котелок, из которого по земле расплескивалось молоко. Она была без шинели, в зеленом форменном платье с узенькими погонами. Бежала она легко и быстро, ее длинные, стройные ноги, обутые не в сапоги, а в маленькие закрытые туфли, так и мелькали.

Акимов выпустил из рук щеколду и встал, наблюдая, что будет дальше, сумеет ли Аничка догнать поезд. И, поняв, что не сумеет, повернулся к ней. Он чуял спиной, как мимо пробегает вагон за вагоном все быстрее, и из каждого вагона ему кричали:

— Товарищ капитан, давайте прыгайте сюда!

Но он не оборачивался. Он смотрел, как Аничка, тоже наконец поняв, что поезда ей не догнать, замедлила шаг, потом совсем остановилась. При этом она заткнула себе рот ладошкой, как бы для того, чтобы не кричать, с видом такого комического отчаяния, что Акимов улыбнулся. Она вначале не заметила Акимова и увидела его только тогда, когда поезд пролетел, а он остался один на фоне желтой полоски несжатой ржи.

Поезд отгромыхал, стало совсем тихо, и они медленно пошли навстречу друг другу.

— Вы тоже отстали? — спросила она.

— Да.

— Очень рада. Вдвоем веселее. Не знаете, когда пройдет следующий эшелон?

— Точно не знаю. Говорят, эшелоны отправлялись каждые сутки.

— Значит, только завтра уедем? Куда же мы денемся?

— На станции будем.

— У меня нет ни копейки денег. А у вас?

— Тоже нет.

Она весело рассмеялась, потом вдруг стала очень серьезной и спросила:

— Вы из-за меня остались?

— Да.

Помолчали. Он попытался объяснить свой поступок:

— Я подумал: как же вы будете тут совсем одна...

— И вам стало меня жалко?

Он ответил:

— Жалко — не то слово. Просто я подумал, что нехорошо оставлять вас одну.

— Я не подозревала, что вы такой добрый,— сказала она без всякой иронии.— Большое вам спасибо. Действительно, вдвоем лучше.

Он сказал:

— Постараемся уехать сегодня, может быть, подвернется какой-нибудь поезд, и мы догоним свой эшелон.

Она испугалась:

— А ведь верно! Вам может влететь. Вы же оставили свой батальон. И все из-за этого молока. Вдруг захотелось молока.— Она посмотрела на свой котелок и серьезно предложила: — Не хотите молока?

Он рассмеялся, она вслед за ним. Потом оба разом смутились. Чтобы скрыть смущение, огляделись. Вокруг расстилались ржаные поля, кое-где не сжатые. Прямо перед ними тропинка во ржи вела в березовую рощу, полную шелеста и вздохов ветра. Маленький полустанок — кирпичный домик с балкончиком и надписью «блок-пост» на нем — стоял окруженный старыми деревьями. Рядом на скамейке сидела очень старая старуха с двумя бутылями молока — виновница всей истории.

Прежде всего они отправились на полустанок и узнали у начальника, когда ожидается ближайший поезд, а так как времени было много, пошли гулять.

Они углубились в ту самую березовую рощу. Роща была устлана ковром из желтых листьев. Желтая листва сохранилась еще и на деревьях, и все было очень красиво. Они вдыхали полной грудью пряный аромат осени. Да, стояла золотая осень, и вообще оказалось, что все в мире осталось на своих местах: в помещении станции больно кусались осенние мухи, стаи ворон то опускались на поле, то с громкими криками взмывали вверх и сплошь покрывали старые деревья возле станции, жужжали пчелы, вылетевшие за последним осенним взятком. Все эти картины нормальной жизни казались Акимову и Аничке чем-то совершенно новым, и они сами чувствовали себя новыми.

Оба молчали, медленно гуляя по роще, и с каким-то особым удовольствием загребали ногами нежную толщу осенней листвы. Акимову было неловко, что он молчит, теряя, как ему казалось, драгоценное время, когда следовало бы если не объясниться, то по крайней мере понравиться, быть занимательным, интересным. Он все придумывал, что сказать, никак не мог придумать ничего хорошего и упрекал себя, иронизируя по собственному адресу: «Трудное дело, Павел Гордеич, любовь крутить, это тебе не воевать, тут сноровка нужна».

Он даже сам не представлял себе, как умно делает, что молчит: Аничке нравилось, что он молчит. Ей было бы невыносимо слышать от него пустые слова.

Он краешком глаза смотрел на ее узкую руку с длинными пальчиками, на которых ногти были выстрижены до самой кожи, как у маленьких детей. Рука ее рассеянно била длинным прути-

ком по белым стволам берез. В другой руке покачивался котелок. Конечно, следовало бы, учтивости ради, взять этот котелок из ее рук, но Акимов все не решался на такого рода галантность и не без юмора думал о том, что как мужчина должен был бы взять у женщины лишнюю ношу, но как капитану негоже ему обхаживать лейтенанта.

Он думал все время о ней, и как-то странно думал: у него в голове не вмещалось, что та, о которой он думает, и та, что идет рядом с ним,— один и тот же человек. Та, о которой он думал непрестанно все последние дни, была очень далеко и не могла быть возле него, а та, что шла здесь, была совсем близко, рядом. Эту он мог вот сейчас взять за руку, с ней он мог запросто разговаривать, а та находилась как бы в заоблачных сферах, царила в его душе. Может быть, близость любимого человека этим именно и прекрасна, что возлюбленная, находящаяся рядом с тобой, все равно что птица, которая добровольно спустилась к тебе на руку, но настоящее место которой — вверху, очень далеко от тебя.

Акимов был счастлив, и Аничка чувствовала это. Того, что Акимов отстал от поезда ради нее, было бы недостаточно для такого суждения: это просто хороший поступок, и его мог совершить любой знающий ее офицер или солдат. Но тут было важно то обстоятельство, что это сделал именно Акимов. Аничка чуяла, что он мог сделать это только всерьез, только в исключительном случае, и не такой он человек, чтобы сделать нечто подобное из простой предупредительности.

Она время от времени взглядывала на Акимова, одна рука которого — загорелая, большая — рассеянно теребила пуговицу на кармане гимнастерки.

Ее рука с прутиком и его рука на гимнастерке были почти совсем рядом. И, глядя на руку Анички и на свою, Акимов подумал, что обе руки что-то ему напоминают, но он не мог вспомнить, что именно. Потом вспомнил: узкий, изящный листок ивы рядом с большим кленовым листом.

Они взглянули друг другу в глаза, улыбнулись и хотели что-то сказать, но внезапно откуда-то со стороны станции послышался встревоженный, ищущий голос:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

— Майборода,— сказал Акимов и вздохнул.

Да, это был Майборода, который, узнав от солдат, что комбат отстал, спрыгнул с поезда и побежал обратно. Теперь он

вынырнул из-за деревьев и как ни в чем не бывало, с обычным своим хмурым выражением лица, в надетой набекрень шапке-ушанке, подошел к своему командиру, искусно притворившись, что не находит ничего странного в присутствии здесь переводчицы. На его руке висела шинель Акимова.

Все трое пошли обратно на станцию, причем Акимов, слегка смущенный, напустил на себя суровый вид. На станции их ожидал еще один сюрприз: тут были два полковых разведчика, Бирюков и Молчанов, которые, оказывается, тоже покинули эшелон и принесли Аничке ее шинель; капитан Дрозд, разумеется, разрешил им это и очень, как они говорили, волновался за нее.

Итак, их стало пятеро. Они все уселись на скамейке возле станции. Вскоре к ним подсел и начальник станции и еще железнодорожники. Конечно, пошли разговоры о войне, о сроках ее окончания, расспросы, хорошо ли еще дерутся немцы или уже похуже и скоро ли наконец размахнутся союзники со своим вторым фронтом, будь он неладен.

Скамейку окружила ватага мальчишек, которые молча и очень напряженно прислушивались к разговору и глазели на причудливые маскхалаты разведчиков — те по привычке их так и не скинули,— на ордена Акимова и на ясное, улыбающееся лицо Анички.

4

Первый же поезд, прибывший через три часа, оказался очередным эшелоном дивизии, и к тому же тем самым, в котором следовал штаб дивизии и генерал Мухин. Эшелон этот намного опередил свое расписание и теперь двигался почти впритык к тому, от которого отстали Акимов и Аничка.

Здесь их встретили сердечно, как потерпевших бедствие, накормили и устроили в один из вагонов.

В вагоне пели солдаты. Запевала, смуглый и хитроватый украинец-старшина, возбужденный и наивно гордый собственным своим высоким и довольно сильным тенором, в промежутках между песнями косясь на Аничку, сетовал на отсутствие женских голосов.

— Без *женчин* разве пение? — говорил он с сокрушением.

Аничка посмотрела на Акимова вопросительно, и Акимов кивнул головой. И оттого, что она не просто запела, а попросила

у него разрешения петь, у него сразу пересохло в горле, такой она показалась ему в этот момент близкой и с незапамятных времен своей. Она запела, и старшина, не прекращая пения, одобрительно и восхищенно замотал головой.

А впереди трубил паровоз, и Акимову казалось, что это его любовь, несясь вперед, оглашает притихшую равнину победным трубным звуком.

На ближайшей большой станции Акимов покинул вагон, сказав Аничке, что скоро вернется. Усмехаясь про себя и радуясь, как ребенок, он направился прямо к парикмахерской. Станция, как почти все здесь, в местах, где недавно еще бушевала война, была разрушена, и вместо нее стоял большой дощатый барак. А рядом с ним находилась будка, где помещались почта и парикмахерская.

Поджидая на перроне своей очереди, Акимов увидел медленно прогуливающегося комдива, которого сопровождали штабные офицеры.

Генерал подозвал комбата, пожал ему руку и спросил:

— Когда сдаете батальон?

Узнав, что Головин еще не успел ни о чем сказать Акимову, генерал, очень довольный тем, что может сообщить нечто приятное хорошему человеку, поведал ему об откомандировании во флот и был несколько удивлен молчанием комбата.

— Как вы попали в наш эшелон? — спросил генерал.

— Отстал.

— Ай-ай-ай, нехорошо. Да ладно, все равно им придется от вас отвыкать.

Акимов на это ничего не ответил, и генералу почему-то опять стало не по себе от напряженного молчания комбата.

Кивнув, генерал ушел дальше, а Акимов вернулся к парикмахерской. Он тут постоял, дожидаясь своей очереди, но, когда очередь подошла, он непонимающими глазами взглянул на лейтенанта, сказавшего: «Ваша очередь, товарищ капитан»,— потом посмотрел на парикмахершу в белом халате, потрогал свою бороду, сказал: «Нет, не надо»,— и, к общему удивлению, ушел.

У вагона, где находилась Аничка, он постоял еще несколько минут и поднялся в вагон только тогда, когда поезд уже тронулся. Он сел на свое место, но на Аничку не смотрел, а только молча покуривал.

Заметив это, Аничка тоже помрачнела. Впрочем, ее угрюмость продолжалась недолго, вскоре она просто как бы пере-

стала замечать Акимова, пересела поближе к солдатам, начала им рассказывать интересные истории о немецких пленных, смешные анекдоты, в которых особенно доставалось Гитлеру и Геббельсу, а также разные случаи из жизни разведчиков. Об Акимове она, по-видимому, совсем забыла и с искусной жестокостью всячески подчеркивала это. Солдаты глядели на нее с обожанием. Майборода и тот покинул молчаливого Акимова и подсел поближе к ней.

Вечерело. Над темной равниной разносились тоскливые гудки паровоза. Раскаты хохота, то и дело раздававшиеся в вагоне, ожесточали душу Акимова. Он хотел скорее уйти отсюда и только ждал первой остановки, чтобы отправиться к знакомым офицерам в другой вагон.

Но на следующей станции оказалось, что поезд догнал следовавший ранее эшелон. Эшелоны встали друг подле друга. Акимов, выйдя на перрон, услышал в темноте знакомые голоса Орешкина, Бельского и других людей из его батальона. Тогда он кликнул Майбороду, сказав громко, чтобы Аничка слышала:

— Вот мы и догнали своих. До свидания.

Оставшиеся сутки пути он провел в оживленной деятельности: беседовал с солдатами, расспрашивал их о домашних делах, читал им сам за отсутствием замполита газеты, проводил политбеседы в каждом вагоне. Потом он затеял разбор с офицерским составом последнего боя, отмечая правильные и неправильные действия отдельных подразделений и недостатки в вопросах взаимодействия с артиллерией. Он прощался. А оставшись наедине с собой, он старался думать о море, о Новороссийске и Батуме, восстанавливал в памяти флотские команды, сигналы, расположение корабельных и маячных огней, семафорную азбуку и служебные знаки.

Никогда он не казался таким веселым и ласковым, как в это время, и никогда не был внутренне таким глубоко несчастным.

Что касается Майбороды, то он, узнав о предстоящем отъезде капитана, вовсе перестал что-либо делать и целыми часами лежал наверху на нарах лицом вверх. Он огрызался на всех, в том числе и на самого Акимова. Акимов велел оставить его в покое и сам тоже не тревожил его, только покачивал головой.

Между тем, обогнув Москву, эшелоны поехали по Октябрьской железной дороге. Ночью прибыли наконец в Бологое, оказавшееся станцией выгрузки. Здесь по перрону уже сновали офицеры штаба тыла дивизии и полка. Своих людей ожидал

майор Головин. Началась выгрузка. Акимов подошел к Головину, отрапортовал о прибытии и сразу же спросил:

— Кому батальон сдавать, товарищ майор?

Головин сухо ответил:

— Подожди, вот устроимся, тогда решим.

— Да что тут решать? Мне ехать надо.

— Ничего, потерпишь денек,— сердито сказал Головин.

На рассвете погрузились в машины и отправились в сторону от станции по убитой булыжником дороге. На дороге уже стояли указки: «Хозяйство Мухина», «Хозяйство Головина» и разные другие.

Квартирьеры встретили первый батальон у въезда в деревню и указали Акимову места, где он должен был расположиться со своими людьми. Здесь уже бродили связисты, наводя телефонную связь. Старшины распределили солдат по избам. Все население высыпало на улицу. Женщины, стоя у изгородей, пристально вглядывались в каждое лицо с обычной в таких случаях тайной мыслью: нет ли тут случайно моего?

В тот же день майор Головин созвал к себе всех офицеров. Офицеры собрались в помещение колхозного клуба, красиво убранного кумачом и еловыми ветками.

Распаренные после бани, хорошо выбритые и довольные, все офицеры были чисто одеты, кое у кого появились даже фуражки мирного времени, с малиновыми околышами, и вынутые со дна чемоданов ярко-желтые новенькие погоны взамен мятых полевых. Сапоги у всех блестели.

Головин оглядел своих людей, удовлетворенно усмехаясь, и сообщил, что на днях начнет прибывать пополнение. Все роты будут доведены до нормального состава. Все имущество и вооружение, включая артиллерию, будет пополнено до штатного количества. С завтрашнего дня нужно начинать занятия по боевой и политической подготовке. Занятия следует проводить строго по расписанию, по часам, как в мирное время. Первый батальон займется оборудованием учебной штурмовой полосы, второй и третий батальоны — устройством полигона для стрельб. Тут же роздали новенькие уставы и наставления в красных переплетах, распорядок дня и расписание занятий.

После совещания Акимов задержался и опять спросил у командира полка:

— Кому сдать батальон?

Головин вдруг обозлился:

— Бессердечный ты человек, Акимов, ей-богу! Понятно, ты скорее хочешь попасть во флот. Но хоть бы не показывал при всех своего желания избавиться от нас поскорее. Это же нетактично, честное слово.

— Да нет же,— растерянно проговорил Акимов.— Не в этом дело. Просто надо поскорее, зачем тянуть жилы. Ну, дайте человека, я сдам ему батальон, и дело с концом.— Помолчав, он добавил: — Всех я вас люблю, как братьев. Все вы мне дорогие и родные, если уж сказать всю правду. Но к чему канитель? Надо отправляться, и все.

Головин, смягченный этой исповедью, сказал:

— Был я сегодня у генерала. Офицеров пока нет. Тебе придется продолжать командовать батальоном до прибытия новых офицеров. Это продлится не больше десяти дней. А потом мы дадим тебе письмо с объяснением, по какой причине ты задержался. Ну, что еще? Представил тебя генерал к ордену Красного Знамени за разведку боем.

Акимов покачал головой:

— Это все хорошо. Но отпусти меня с богом завтра же. Сделай такое одолжение.

Головин только отмахнулся от него.

Все было хорошо до вечера, а вечером Акимову так захотелось увидеть Аничку, что не было никакой возможности сладить с собой. Он решил лечь спать, хотя было очень рано. Впервые за много недель раздевшись, он лег на чистую простыню. В избе, где он обосновался, жили старик и старуха, которые сразу стали называть его «сынок» и всячески старались устроить его получше. Майбороде он велел жить в «казарме» — другой избе напротив.

— Отвыкай от меня,— сказал он своему ординарцу.

Итак, он лег в постель, но о сне не могло быть и речи. Им овладела тоска. Он встал, оделся, почитал какой-то устав, снова погасил лампу, посидел у окна, поглядел на темную синеву неба, на ясные звезды и вышел на улицу.

Кругом по причине светомаскировки было темно, но всюду чувствовалось оживление. Лаяли собаки. Пели солдаты. Раздавались женские голоса.

Он опять вошел к себе в избу и затеял бриться. Вытащив из печки чугун с горячей водой, он развел мыло и вынул из чемодана бритву. Из запечной каморки пришел старик и, наблюдая за капитаном, все приговаривал:

— А не жалко, сынок, бороду брить? Такая роскошная борода, прямо генеральская. В старое время все генералы были бородатые. Даже не видано было, чтобы генерал — и без бороды...

К нему присоединилась и старушка. Она с жалостью смотрела, как Акимов морщится от боли, обдирая бритвой свою густую растительность.

Бабушка сказала:

— Ой, батюшки, да ты, оказывается, совсем молодой вьюноша. А с бородой ты был вроде человек пожилой.

Акимов посмотрел в зеркальце, висевшее рядом с многочисленными стариковскими семейными фотографиями, и ужаснулся, увидев свое безбородое лицо, которое показалось ему до глупости молодым и очень некрасивым. Борода делала лицо продолговатым, благородно удлиненным. А теперь оно казалось голым, подбородок — куцым, расстояние между носом и ртом, лишенное усов,— огромным, а нос, торчащий на этом голом лице,— сиротой без отца, без матери.

— Тем лучше,— сказал Акимов вслух, усмехаясь.— Значит, не влюбится в меня морская царевна и не затащит к себе на дно.

Он снова лег, опять маялся без сна и по-настоящему обрадовался, когда часов в десять кто-то постучался. Зашел незнакомый старший лейтенант. Оказалось, что он прислан из политотдела на должность заместителя по политчасти взамен Ремизова. Это был молодой, бойкий, крепкий человек. Он устроился рядом с Акимовым на широкой лавке, от души обрадовавшись теплу, так и прущему из большой русской печи.

Акимов отнесся к нему сдержанно: уж слишком был он непохож на Ремизова, чтобы показаться Акимову стоящим замполитом. Но хорошо было и то, что хоть пришел кто-нибудь, с кем полагается говорить, и можно забыть о тянущей из дому тоске.

### 5

Аничка все эти дни грустила. Она считала, что с Акимовым у нее все кончено, и, как могла, боролась с чувством недоумения и горечи, не покидавшим ее. Она не желала вдумываться в причины его внезапной холодности и грубости там, в поезде. Эти холодность и грубость были либо какой-то неожиданной в таком человеке интеллигентской неуравновешенностью, либо недостой-

ной игрой глупого «сердцееда», думающего, что таким путем можно сильнее подействовать на Аничку.

Но однажды вечером она, будучи дежурной по штабу полка, услышала разговор начальника штаба с кем-то из офицеров о том, что Акимов на днях уезжает, так как его отзывают обратно во флот.

Тут она, сопоставив факты, все поняла.

На следующий день, освободившись от дежурства, Аничка без всяких колебаний сейчас же пошла в соседнюю деревню, где располагался первый батальон. Здесь было пустынно: солдаты находились на тактических занятиях. Дежурный сержант с красной повязкой на рукаве и штыком на поясе прогуливался вдоль улицы. Он указал Аничке избу Акимова, и она отправилась туда.

Возле избы на завалинке сидел седенький старичок и курил трубочку. Рядом с ним свернулся в клубок большой белый кот.

— Капитан дома? — спросила Аничка, поздоровавшись. Для верности она добавила: — Высокий такой, с бородой.

— Высокий, верно,— ответил старичок лукаво,— но насчет бороды не знаю, не видал. Нет на ем никакой бороды. Конечно, борода — трава, скосить можно.

Аничка села рядом со старичком. Он спросил:

— Чем, я извиняюсь, занимается такая барышня в нашей геройской армии?

Узнав, что Аничка переводчица, он был этим очень заинтересован и даже восхищен и начал ее расспрашивать о немцах и о том, когда, по мнению немцев,— он обязательно хотел знать мнение самих немцев,— Германия будет разбита.

В деревню повзводно стали с песнями возвращаться солдаты. Наконец Аничка услышала издали голос Акимова и, вздрогнув, подумала: «Я его люблю». Потом она увидела и самого Акимова. Он шел по улице, очень высокий, окруженный другими офицерами, и о чем-то громко с ними разговаривал, энергично подчеркивая свои слова взмахом правой руки.

Увидев Аничку, Акимов почувствовал, что бледнеет. Он приостановился на минуту и, как это ни глупо, прежде всего подумал о том, как он ей понравится без бороды.

Но Аничка даже не заметила изменения в его внешности. Бегло поздоровавшись с офицерами, она обратилась к Акимову:

— Я узнала, что вы уезжаете от нас. Скажу вам откровенно — мне очень жаль, что вы уезжаете.

Акимов в замешательстве сказал:

— Да?

Офицеры почувствовали себя неловко и ушли.

— Когда вы уезжаете? — спросила Аничка.

— На днях. Как пришлют замену.

— Ага. Ну да. Понятно.

Он сказал глухим голосом:

— Я все хотел с вами повидаться, да не решался. Главное, мне это казалось ненужным, даже, откровенно сказать, вредным делом. Ну, режьте меня, ну, скажу вам всю правду. Совсем не могу без вас жить.— Испугавшись, что она обидится и отнесется к его словам так, как всегда, по слухам, относилась к такого рода объяснениям, он тут же стал, как мог, замазывать то, что сказал раньше: — Ну, может, я это слишком сильно сказал. Я, товарищ Белозерова, все старался делать, чтобы ничего такого не было. Тем более что мне надо уезжать. Я очень люблю море и морскую службу. Но люблю я это или не люблю, а ехать надо. Вот все, что я могу вам сказать, как говорится, в твердом уме. Конечно, лучше бы всего этого не было. Не то время. Не обижайтесь, но я жалею, что встретил вас. Нам бы лучше встретиться в мирное время.

Она слушала это странное любовное объяснение с неизъяснимым чувством, и ей казалось, что искренность его была на грани величия.

— Просим чай кушать,— сказал старичок, о котором они совсем забыли.

Вошли в избу. На столе кипел самовар. Бабушка поздоровалась с Аничкой. Сели за стол. Аничка думала о том, как странно он говорил: он говорил только о своих чувствах, даже ни разу не спросив, любит ли она его. Он как бы опасался спрашивать об этом, как бы боялся — но не отказ ее услышать, а наоборот — узнать, что и она его любит. Она воспринимала его боязнь с радостной благодарностью, понимая мотивы его страха и удивляясь силе и яркости этого характера.

Она вскоре ушла, пообещав прийти позднее, вечером. Потом они ходили по полям и спящим деревням почти до утра. То же самое повторилось и на следующий день и после. Им трудно было расстаться. Близкая разлука и краткость предстоящих часов лишили их отношения первоначальной связанности и скованности. Они уже разговаривали друг с другом так, словно были знакомы сто лет, вместе смеялись над чудачествами ка-

ких-то родственников, вместе сожалели о каких-то погибших, известных только одному из них. Домик в Заречной Слободке города Коврова и его обитатели становились такими же близкими Аничке, как большая профессорская квартира в Николо-Песковском переулке в Москве — Акимову.

— Почему вы меня не поцелуете ни разу? — спросила она его однажды, остановившись во время гулянья.— Не мне же первой вас поцеловать.

— Боюсь,— произнес он глухо, потом приблизил свое лицо к ее странно суровому лицу и поцеловал ее.

Побледнев, она сказала:

— Не так уж вы и боитесь.

Всю эту неделю им казалось, что они одни и никого вокруг нет, несмотря на то что окрестность была полна солдат, крестьян и детей.

На седьмой день рано утром, перед тем как Акимов отправился проводить занятия на штурмовую полосу, к нему в избу постучались, и вошел капитан с чемоданчиком в руке. У Акимова екнуло сердце. Так оно и оказалось, — это был капитан Черных, новый офицер, назначенный командиром первого батальона.

На занятия Акимов уже не пошел, познакомил капитана со своими офицерами, солдатами, с батальонным хозяйством и сдал батальон. Черных был спокойным, наблюдательным, сдержанным человеком, с русыми прямыми волосами, все время падавшими на лоб. На его груди красовался орден Александра Невского. Акимову он понравился, и Акимов не без ревнивого чувства заметил и то, что солдатам новый комбат тоже понравился.

«Вот и прекрасно,— думал Акимов,— вот и ехать можно».

Он пошел в соседнюю деревню, в штаб полка. Здесь Головин его поздравил: прибыл приказ о присвоении Акимову звания майора.

— Сдал батальон? — спросил Головин.

— Так точно, сдал.

— Садись, посиди.

Оба сели, помолчали.

— Какое впечатление произвел на тебя Черных? — спросил Головин.

— Отличное. Хороший офицер.

— Сибиряк.

— Да, знаю.— Помолчав, Акимов добавил с усталой улыб-

кой: — Раньше солдаты гордились: у нас комбат — морячок. Теперь будут хвалиться: у нас комбат — сибирячок.

— Да,— улыбнулся и Головин.— Наверно. Если только комбат окажется хорошим.

— Окажется,— сказал Акимов.— Поверь моему глазомеру.

— А не хочется тебе уезжать? — спросил Головин.— Слышал я, у тебя с Белозеровой... Прости меня, конечно... Рассказывали.

— Ну что ж,— спокойно сказал Акимов.— Командиру полка полагается все знать, что у него в полку творится. Ничего плохого не нахожу в этом. Да, уезжать не хочется,— признался он.— Очень я ее люблю.

— Она хорошая.

— Да.

— И красивая.

— Да.

— Она была еще красивей. У нее косы были очень красивые. Длинные. Но она их, как пришла к нам в полк, срезала. Неудобно, видите ли, воевать с косами. Мешают, видите ли. Я, как узнал, что она их срезала, ахнул. Как-то жалко мне стало ее кос. Да уж не полагается командиру полка проявлять заботу о косах своих подчиненных... Когда поедешь?

— Думаю, завтра.

— Да ты побудь деньков несколько. Флот не убежит, и море не высохнет. Мы тебе бумажку дадим, что задержали.

— Перед смертью не надышишься.

— Это верно.

Помолчав, Головин удивленно и даже слегка завистливо развел руками:

— Не думал я, что ее приручить можно... А ты вот приручил.

— Это не я. Сам не знаю, как это случилось.

Они пожали друг другу руки, и Акимов пошел искать Аничку.

В это время начал падать первый снег, и все было покрыто тонкой, еще слабой, как пух, белой пленкой, в которой явственно различались отдельные снежинки. Снег падал крупными, но хлипкими хлопьями, знаменуя наступление нового времени года. Еще не привыкнув к мысли о том, что он уже не пехотинец, Акимов подумал о необходимости начать лыжную подготовку, получить для солдат теплое белье и валенки.

Аничку он застал во дворе того дома, где разместились полковые разведчики. Здесь выстроились новички, вызвавшиеся служить в разведке, и капитан Дрозд беседовал с ними, рассказывая разные боевые эпизоды и объясняя, каким храбрым, сметливым, находчивым и политически грамотным должен быть разведчик. Аничка стояла рядом с Дроздом.

Увидев Акимова, она поняла, что что-то произошло, и пошла к нему навстречу. Дрозд внезапно замолчал и объявил:

— На сегодня хватит. Разойдись.

И ушел в избу. Акимов обратил внимание на то, что разведчик осунулся и побледнел. Но, глядя на приближающуюся Аничку, Акимов вдруг остро позавидовал Дрозду, который остается здесь и будет видеть ее ежедневно.

При взгляде на расстроенное лицо Акимова Аничка все поняла и спросила:

— Новый комбат?

— Да.

— Ничего,— сказала она, взяв его за руку.— Будем веселы и спокойны. Что такое для нас каких-нибудь полтора года или год? Правда? Я тебя очень сильно люблю.— Она впервые назвала его на ты.— Тебе недостаточно этого?

Да, ему было этого недостаточно. Унести, увезти ее с собой — этого было бы для него достаточно. Если бы можно было уложить ее в спичечную коробочку и спрятать — вот этого ему было бы достаточно.

Они пошли по полям к его деревне.

Войдя в избу и сняв шинели, они уселись возле печки. Потом она сложила его вещи в чемодан. Потом они снова молча сели к печке. Они не спускали глаз друг с друга. Потом они вместе поели, снова погуляли и снова вернулись в избу. Потом она вышла на улицу, постояла там у крыльца, а когда вошла обратно, то увидела, что он сидит за столом и его голова тяжело опущена, как тогда, после гибели Ремизова.

Она не стала его тревожить, начала стелить постель. Он услышал шорох и хотел зажечь лампу, потому что уже стемнело. Она не дала ему зажечь свет и сказала:

— Ложись спать. И я у тебя останусь. Не хочу уходить.

Он испугался:

— Не надо.— Но спросил: — Ведь не надо, правда?

Она тихо сказала из темноты:

— Я ничего не боюсь. Мы принадлежим друг другу навсегда. Слышишь?

Слова эти еще за несколько дней до того казались бы ей самой смешными и избитыми, теперь же она произнесла их так проникновенно и с такой силой, словно сама их придумала и они произнесены на этом свете в первый раз.

Он обнял ее, но вместе с тем со страхом подумал, что она слишком легко на это решилась, и эта ее кажущаяся опытность глубоко и больно задела его. Но вот она застонала, заплакала, смертельно затосковала и, не зная, как ему объяснить, сказала сквозь сжатые зубы: «У меня никогда этого не было». И он проклял себя за свое подлое недоверие к ней и испытал приступ такой великой нежности, какой никогда не испытывал. Но, несмотря на свою страсть, он все-таки понимал и чувствовал, что ей нехорошо и неприятно и что она ничего не ощущает, кроме боли и, пожалуй, еще сладости самопожертвования.

Теперь он смотрел на нее с безмерным удивлением и гордостью, думая: «Это она. Аничка. Как это может быть?»

А она, прижимаясь к нему, думала, что нет ничего лучше, чем быть с ним рядом, а то, что люди считают самым важным,— вовсе не самое важное, а самое трудное и непонятное.

Они провели вместе после этой ночи еще целых пять дней. Ему надо было ехать, но он не мог оторваться от нее, как некогда рыцарь Тангейзер — от Венеры в старой немецкой легенде, описанной Гейне и положенной на музыку Вагнером. Найдя это книжное сравнение, Аничка почему-то ужасно обрадовалась,— наверно, потому, что хотя все здесь совершалось не в волшебной горе, а в маленькой бревенчатой избе, но от этого любовь и страсть не становились менее великими.

На шестой день Акимов проснулся очень рано, долго смотрел на лицо спящей Анички, затем ушел и вскоре приехал на машине. Аничка молча оделась. Захватив с собой Майбороду, они отправились к станции. Здесь они остановились, потом Акимов, подумав, велел шоферу ехать в город. Им указали дом, где помещался загс.

— Зайдем сюда? — спросил Акимов. Он был очень доволен этой пришедшей ему в голову мыслью и несколько удивился, услышав слова Анички:

— Разве нам это нужно? — Помолчав и поглядев на маленькую красную вывеску, она добавила: — И название какое-то канцелярское, скучное: запись актов гражданского состояния...

Они вошли в маленькую комнату, чисто и даже нарядно обставленную. У сидевшей здесь немолодой строгой женщины в пенсне Акимов спросил, могут ли военнослужащие, офицеры, зарегистрировать свой брак, на что женщина ответила не без ехидства:

— Могут, если желают.

Записав их, она подняла на новобрачных красноватые, может быть от слез, глаза, поздравила их и пожелала им счастья. Они вышли из тихой комнаты, где за годы войны регистрировали больше смертей, чем браков и рождений, и в торжественном настроении отправились на вокзал. Через час Акимов уехал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

## *Море*

### 1

В Москве Акимов прямо с вокзала попал в Московский флотский экипаж — большой дом, служивший перевалочным пунктом для военных моряков.

Хотя дом этот находился посреди улиц и площадей большого города, окруженного, в свою очередь, бескрайними полями и лесами, бесчисленными городами и селами, но стоило Акимову ступить на порог, как ему уже показалось, что он в море. Поистине это был большой корабль, хотя и накрепко пришвартованный к московской земле. Весь распорядок здесь был корабельный, здесь раздавался свист дудок, слышались флотские команды. Часы — и те здесь были палубные, с поделенным на двадцать четыре часа циферблатом!

Акимову, отвыкшему от моря и флота, показалась немного смешной, но необычайно умилительной та серьезность, с какой здешние обитатели неизменно называли обыкновенный паркетный пол палубой, гранитные лестницы с железными витыми перилами — трапом, столовую — кают-компанией, а окна, выходившие прямо на асфальт московской улицы,— иллюминаторами.

Удивляясь всему, как человек, попавший после дальних странствий на родину, Акимов думал: «Сохрани бог произнести

тут слово «веревка» — засмеют, не поймут даже, что ты подразумеваешь обыкновенный «конец» или «шкерт».

Сдав старшине в вещевой баталерке «зеленку» — так здесь называли армейское обмундирование — и облачившись в полную морскую форму, включая черную фуражку с «крабом», Акимов окончательно почувствовал себя моряком. Свои ежедневные прогулки по Москве в ожидании назначения на должность он уже сам стал называть, подобно всем обитателям экипажа, «отпуском на берег». Допоздна ходил он по этому бесконечному «берегу» из улицы в улицу, ходил без цели, как бы прощаясь напоследок с сухопутной жизнью. Постоял он однажды и возле Аничкина дома в Николо-Песковском переулке.

Но вот наступил день, когда Акимову вручили назначение. Оно явилось для него полной неожиданностью, потому что он привык к мысли, что флот, куда его пошлют, может быть только Черноморским, а море, где он будет плавать,— только Черным. Назначение же он получил в Северный флот, в Баренцево море, за Полярный круг.

Приехав поездом в Мурманск, Акимов сразу же пошел в порт.

Конечно, все здесь выглядело иначе, чем на юге. Гранитные скалы были покрыты инеем, а среди белых скал чернела вода залива, подернутая туманными испарениями. У берега белел ледяной припай. Над заливом царили синие печальные сумерки полярной ночи. Но все-таки это было море со своим запахом, соленым и пронзительным, это был порт, полный транспортов, военных катеров и рыбных траулеров, с мощными кранами и лебедками, с реющими флагами и быстроходными моторными катерами, носящимися по волнам во всех направлениях.

Оцепенение и грусть, владевшие Акимовым в последнее время, исчезли сами собой, и жизнь снова показалась ему прекрасной, несмотря на расстояние, отделявшее его от Анички.

Энергично проталкиваясь сквозь толпу грузчиков, он отыскал попутный катер, шедший на базу флота. Ступив на борт корабля впервые после более чем двухлетнего перерыва, Акимов с волнением отдал, как полагалось, честь советскому военно-морскому флагу, взвившемуся на гафеле. Катер тронулся. Он ловко скользил между многочисленными судами. Было довольно тепло. Сигнальные мачты береговых постов, створные знаки понемногу пропадали во мгле. Мимо медленно прошел эсминец. Сыграли «захождение», и люди на катере, повернувшись лицом

к эсминцу, приложили руки к козырькам. То же самое сделали люди на эсминце. Вскоре гавань скрылась вдали. За кормой бурлила и пенилась серая вода.

По-прежнему кругом царил синий полумрак, и Акимову казалось, что сейчас либо начнет светать, либо начнет темнеть. Но не светало и не темнело.

Вскоре Акимов увидел на берегу мачты радиостанции и расположенные на горе амфитеатром большие дома. Сигнальщик передал на береговой пост свои позывные. Тотчас же на мачте поста появился ответный сигнал «добро» — то есть разрешение на вход в гавань. Медленно раздвинулось боковое заграждение. Глазам открылся обледеневший пирс. Оттуда спустили сходни, по которым все гуськом взобрались наверх.

В штабе флота Акимов получил назначение дублером командира на морской охотник. Как и следовало ожидать, ему, после такого перерыва, не решились доверить самостоятельную должность.

Не тратя времени, Акимов пошел разыскивать свой корабль.

Охотником командовал лейтенант Бадейкин, маленький, невзрачный, кругленький человечек с преждевременной лысиной, офицер из старшин-сверхсрочников. Узнав, зачем к нему пришел этот огромный широкоплечий капитан третьего ранга, Бадейкин, по-видимому, очень сконфузился. Рядом с Акимовым он выглядел как толстый и робкий мальчик.

Он познакомил Акимова с катером и повел его на мостик. Тут он представил Акимову своего помощника — младшего лейтенанта Климашина и боцмана — старшину первой статьи Жигало. Этому Жигало было не более тридцати лет, но, чтобы походить на настоящего, «классического» боцмана, он отпустил себе рыжие моржовые усы, ходил медленно и глядел на мир своими светлыми, почти белыми глазами спокойно и по-стариковски снисходительно.

— Где вы устроились? — спросил Бадейкин у Акимова.

— Пока что оставил чемодан в штабе. А вы где живете?

В ответ на это Бадейкин пробормотал что-то нечленораздельное, из чего Акимов сделал вывод, что «коротышка» не очень гостеприимен.

Он стал рассказывать Акимову про боевой путь своего корабля. Морской охотник прошел 27 тысяч миль (то есть пятьдесят тысяч километров), отконвоировал 96 транспортов, сбил три вражеских самолета, потопил одну подводную лодку про-

тивпика, провел 16 десантных операций. Ему было присвоено звание гвардейского.

Рассказывая, Бадейкин стоял навытяжку, как будто докладывал начальству, и Акимов, чувствуя смущение лейтенанта и желая рассеять неловкость, сказал напрямик и не без досады:

— Слушайте, Бадейкин. Вы на мои погоны не обращайте внимания. Я ваш ученик. Вы мой учитель. Рост и звание тут не играют никакой роли. Договорились, что ли?

— Есть,— выпалил Бадейкин, по-прежнему держа руки по швам.

Акимов в ответ расхохотался, и Бадейкин — вслед за ним тоже. И когда Бадейкин засмеялся, его невыразительное плоское лицо стало таким приятным, хитрым и осмысленным, что Акимов сразу понял, почему он послан под начало именно к этому неказистому человечку, и даже начал подозревать, что преувеличенное уважение Бадейкина к нему и его званию — только лукавая маска, «на всякий случай», очень умного и бывалого человека.

Вытирая платком слезы, выступившие у него на глазах от смеха, Бадейкин спросил:

— Пойдете с нами на операцию или отдохнете денька два?

— Я уже две недели как отдыхаю,— сказал Акимов.— Пойду с вами. И вообще — не спрашивайте, а приказывайте.

На кораблике шла обычная работа. Одни матросы скалывали лед с палубы, другие осматривали и проворачивали механизмы. Внизу, под водой, слышался стук: это водолазы осматривали подводную часть судна. По всему катеру приятно звенели звоночки, звякал телеграф, из радиорубки слышалась музыка. Боцман Жигало, медленно двигаясь по палубе, закреплял все по-походному — от форштевня до кормы. Он же был парторгом и на ходу договаривался с матросами о заметках для боевого листка.

Наблюдая всю эту обыкновенную корабельную суету, Акимов ощутил внезапный внутренний подъем и подумал, что хорошо сделал, сразу же согласившись на первую предложенную ему должность.

— Вот и прекрасно, и лучше быть не может,— сказал он вдруг, к некоторому удивлению Бадейкина.— Теперь скажите номер вашей почты. Мне надоело жить без адреса.

Он тут же написал несколько слов Аничке, но отослать письмо не успел. К сходням подошла группа людей, увидев которых Бадейкин заторопился и сказал:

— Скоро отправимся.

Это были разведчики, которых надлежало высадить в тылу у немцев. Вооруженные автоматами, гранатами и финскими ножами, они молча гуськом прошли на палубу и уселись плотной кучкой у рубки. Командир разведчиков, очень бледный, с красным шрамом на лбу, поднялся на мостик.

— Старший лейтенант Летягин,— представил его Бадейкин Акимову.

Матросы знали всех разведчиков по имени и громко здоровались с ними, сопровождая крепкие рукопожатия дружелюбными возгласами:

— Здорово, Костя!

— Как живешь, Петруха?

— Давно не видались.

— Уже из госпиталя?

Вот наконец отдали швартовы, Бадейкин произнес слова команды. Сердце Акимова застучало. Кораблик вздрогнул, пошел, развернулся и двинулся вперед, к выходу в залив, в открытое море.

## 2

Открытое море! То было серое, неприветливое море — Студеное море, как оно называлось на русских картах времен Ивана Грозного,— но у Акимова взыграло сердце при виде этого безграничного водного пространства, при виде гор соленой воды, катящихся одна за другой, догоняющих одна другую, проваливающихся вниз, чтобы, собравшись с новыми силами, опять вознестись в вышину.

Акимов опять, как некогда, испытал эту великую, немного мальчишескую гордость стояния на командирском мостике с подставленной всем ветрам грудью. Да, тут наглядней, чем где бы то ни было на свете, ощущалось, что такое значит движение вперед вопреки препятствиям.

Рядом с ним стоял рулевой, старшина 2-й статьи Кашеваров, такой же огромный, рослый детина, как сам Акимов. При взгляде на его молодое сосредоточенное лицо Акимов вдруг как бы увидел себя самого в ранней молодости, в 1936 году, когда

он служил рулевым на Черном море. Это внезапное видение сделало его немножко сентиментальным, и он думал, косясь на Кашеварова: «Сколько же тебе еще предстоит радостей и горя, сколько душевных подъемов и падений, как будешь ты счастлив и как несчастен, сколько мыслей пронесется в твоей упрямой голове!»

Акимов пощупал свой карман, где лежало неотправленное письмо Аничке, и глубоко и шумно вздохнул. А вздохнув, тихонько засмеялся, подтрунивая над собой: «Ну и стал же ты вздыхать, дружок! На море так нельзя, здесь ветер и без твоих вздохов довольно свежий».

Ему вдруг стало весело, даже не то что весело, а как-то приятно, и ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он был точно в таком же месте и ощущал и думал то же самое, что ощущает и думает теперь.

Кораблик безжалостно качало. Волны то и дело перекатывались через палубу, и вскоре кругом не осталось ни одного сухого местечка. Вода почти сразу же замерзала, и матросы беспрестанно скалывали лед, который отягощал корабль и грозил лишить его устойчивости. Акимов наблюдал матросов и не мог не заметить, что любое их движение рассчитано, что каждый исполняет свое дело сноровисто и быстро, не дожидаясь указаний. Он заметил и то, что матросы все покинули сухой кубрик, уступив его разведчикам.

Следя за Бадейкиным, Климашиным, Жигало, Кашеваровым и матросами, он все больше преисполнялся уважения к ним, оценив по достоинству порядок, царивший на маленьком суденышке. То, что матросы уступили кубрик разведчикам, причем уступили без приказа, а просто из сочувствия к людям, которым предстоит много холодных, бессонных и опасных часов во вражеском тылу, тоже указывало на высокий боевой дух, спаянность и организованность экипажа морского охотника.

Кораблик, хотя его жестоко бросало, упрямо и даже залихватски шел по заданному курсу.

Волнение Акимова понемногу улеглось. Все показалось ему простым и несложным и было бы похоже на учение в Черном море, если бы не эти синие сумерки, от которых веяло скрытым где-то неподалеку таинственным светом.

Приближался берег — голые гранитные округлые скалы, так называемые «бараньи лбы», образовавшиеся здесь в незапамятные времена четвертичного периода. Они имели столь пустын-

ный и неуютный вид, что Акимов поневоле пожалел разведчиков, которым предстояло высадиться здесь.

Эти скалы так были похожи одна на другую, что казалось невозможным ориентироваться тут. Никаких приметных пунктов, никаких особо выдающихся вершин или ярких пятен,— все одни и те же «бараньи лбы», похожие друг на друга, как родные братья, темные, почти черные, лишенные какой бы то ни было растительности, но, несмотря на это, красивые суровой, грозной красотой.

— Варангер-фьорд,— сказал Бадейкин, показав рукой вперед.

Берега казались очень близкими. Акимов удивлялся, почему Бадейкин не снижает хода.

— Еще далеко,— сказал Бадейкин.— А ведь кажется, что близко, правда? К этому здесь надо привыкнуть. Рефракция.

Отдавая приказания, Бадейкин не забывал — впрочем, с безукоризненным тактом — время от времени объяснять Акимову причину и значение того или иного своего распоряжения. Например, распорядившись погасить свет в кубрике, он сказал, обращаясь как бы к себе самому, но адресуясь, разумеется, к Акимову:

— Это для разведчиков. Чтобы им со свету не было темно.

Бадейкин поглядывал на Акимова и с несколько ревнивым чувством отмечал, что новичок ведет себя спокойно, очень внимательно прислушивается и присматривается к окружающему и мотает себе на ус. «Посмотрим, что будет дальше»,— думал про себя Бадейкин не без тайного желания вывести из равновесия приехавшего с сухопутья офицера. Ему хотелось показать пехотному командиру, что и тут житье не сахар и что звания и ордена зарабатываются тут не так, здорово живешь. Впрочем, дело, как назло, пока что шло гладко, и Бадейкин, хотя и был этим весьма доволен, с другой стороны жаждал осложнений.

Старшины и матросы тоже присматривались к Акимову с интересом. Они знали, что он всего лишь дублер, однако его тяжеловатый, пронипательный взгляд, как всегда, действовал на людей подстегивающе, заставлял их хотеть понравиться ему, заслужить его одобрение. Бадейкин чувствовал это и немножко завидовал Акимову — больше всего его крупному росту и уверенному виду.

Берег приближался. То здесь, то там на берегу вспыхивали

одиночные огоньки. Может быть, это были немецкие береговые посты, а возможно, норвежские рыбаки занимались тут своим промыслом. Да, как ни странно, эта пустынная страна была Норвегией, и Акимову это обстоятельство показалось из ряда вон выходящим. Ему, черноморцу, Норвегия, естественно, представлялась очень далекой страной, гораздо дальше Италии и даже Африки. А тут — вот она, серая, вспыхивающая редкими огоньками, вся в скалах и фьордах, которых, впрочем, теперь не было видно.

Чем ближе к берегу, тем серьезней становились лица окружающих людей. Каждую минуту на мостике появлялся и снова исчезал молчаливый Летягин. Боцман Жигало застыл у пулемета. Комендоры заняли места возле пушек. Матросы готовили сходни, другие надевали резиновые костюмы. Все делалось быстро, с той привычной стройностью и красотой, по которым безошибочно угадывается большой опыт.

Вдоль берега был виден белый гребень прибоя. Климашин волновался и, проверяя показания лота, озабоченно шептался с Бадейкиным. На ходовом мостике снова выросла бесшумная фигура разведчика Летягина. На этот раз он уже больше в кубрик не спускался, а остался здесь, вглядываясь в берег, уточняя курс корабля по незаметным, только ему одному известным, ориентирам на берегу.

Наконец вышли на траверз места высадки.

— Право руля! — скомандовал Бадейкин.— Вперед самый малый!

Акимов внимательно следил за эволюциями катера. На берегу все было тихо.

Из кубрика поднялись на палубу разведчики и остановились слева от мостика, держась близко друг к другу, словно они состояли из одного куска.

Недалеко от берега неожиданно распространился довольно густой, хотя и низкий туман. Катер вошел в него, и туман покрыл всю палубу, так что сверху, с мостика, люди были видны по пояс, а ниже их закрывало это белесое густое облако. Странно было видеть половинки людей, медленно двигающиеся по невидимой палубе, словно бы в воздухе. Акимов пристально вглядывался в туман, и ему вдруг почудилось, что, когда туман рассеется, он увидит не гранитные берега с еле заметной неглубокой бухточкой, обрамленной белой пеной прибоя, а маленький ручей и за ручьем — поднимающийся вверх отлогий склон

с траншеями, ходами сообщения и глинистыми овражками, заполненными хлюпающей пресной водой. И эта странная и неожиданная мысль опять напомнила Акимову Аничку, Ремизова, Головина, Погосяна, Майбороду — всех людей, таких далеких от моря.

Но когда туман рассеялся так же быстро, как и возник, Акимов снова увидел палубу небольшого катера, серые волны Баренцева моря и маленькую бухточку, окаймленную гранитными скалами.

Акимов сказал Бадейкину почти начальническим тоном:

— Вы будете здесь, а я распоряжусь высадкой.

Он понимал, что надо спешить. Их могли заметить с берега, а это означало бы провал всего дела. К тому же он обратил внимание на то, что матросы с беспокойством поглядывают на небо, видимо опасаясь вражеской авиации. А катер, как назло, не мог подойти ближе к берегу: прибой угрожал бросить его на камни. Берег был уже метрах в десяти.

Не дожидаясь команды, матросы, державшие сходни, быстро спустились вниз и очутились выше пояса в воде. Конец сходней лежал на их плечах. Снизу, из воды, слышались их нетерпеливые голоса:

— Ну, давайте, давайте...

Разведчики подошли ближе. Они не без содрогания смотрели на довольно широкую полосу студеной пенящейся воды, отделяющей конец сходней от торчащих на берегу больших камней, промежутки между которыми то наполнялись до краев подступающей к берегу белой водой, то опоражнивались дочиста. «Перенести их, что ли?» — подумал Акимов, покосившись на разведчиков, и без дальнейших раздумий, движимый разнообразными чувствами, в которых ему некогда было сейчас разбираться, пошел вперед по сходням. Спрыгнув в ледяную воду и на мгновение зашедшись от пронизывающего холода, он крикнул:

— Летягин!

Он легко поднял Летягина на плечи и пошел к берегу вслед за очередной волной. Высадив Летягина на большой валун, он дождался, пока следующая волна разобьется о камни, и пошел обратно к сходням. Здесь он принял на плечи следующего разведчика и при этом мимоходом отметил, что его примеру последовали еще три матроса. Необычная десантная операция быстро закончилась. Она неожиданно вызвала даже веселое оживление

среди матросов, стоящих и идущих по пояс в ледяной воде со своей живой ношей на плечах. Какая-то молодецкая удаль овладела ими, несмотря на стужу. Послышались отрывистые возгласы:

— Держись крепче!

— Осторожно, искупаю!

— Ух, жарко!..

Перенеся последнего разведчика и больно стукнувшись головой о его вещевой мешок со снаряженными дисками, Акимов взобрался на сходни, с них — на палубу. Разведчики уже пропали, исчезли в скалах, словно никогда их и не было. Катер медленно пошел вдоль побережья.

— Бегите в кубрик греться,— сказал Акимову кто-то из матросов.

Он побежал в кубрик и быстро разделся. Здесь еще было темно. Но вот кто-то начал шарить в темноте, проверяя, хорошо ли задраены иллюминаторы, и свет зажегся. Это был сам Бадейкин. Он подал Акимову несколько одеял. Лицо его было серьезно. Он ушел, вернулся обратно с фляжкой водки и снова ушел. Потом снова вернулся.

— Что бы мне такое надеть? — спросил Акимов.

Бадейкин, оказывается, уже подумал об этом. Он принес белье, матросские штаны и резиновые сапоги.

— Налезет ли? — с сомнением спросил Акимов.

Бадейкин ответил:

— Это — нашего рулевого, Кашеварова.

— Тогда налезет,— улыбнулся Акимов.

— Вот вам и первое морское крещение,— сказал Бадейкин.

Акимов поморщился:

— Какое же это морское? Только что мокро.

Он был недоволен собой, считая, что зря полез в воду сам, следовало послать матросов. Он действовал не как командир, а как матрос. Допустим, ему жаль стало разведчиков. Им бы не обсушиться на берегу. Но разве только из-за этого он полез в воду? Не было ли в его поступке желания пофорсить перед Бадейкиным и остальными моряками решительностью пехотного командира? (Странно, что в пехоте он всегда чувствовал себя моряком, а очутившись во флоте, не мог забыть о том, что был пехотинцем.)

Да, в его поступке было желание заявить о себе, утвердить

себя среди новых товарищей, утвердить себя перед новым для него морем, холодным и суровым морем Баренца.

Он сказал немного сконфуженно:

— Будь я не дублером, а командиром корабля, я бы так не сделал. А дублеру все равно делать нечего, вот я и стал грузчиком.

Бадейкин не улыбнулся, хотя был согласен с замечаниями Акимова на собственный счет.

Снаружи послышался отдаленный звук орудийного выстрела, потом еще один. Бадейкин замер.

— Нас заметили,— сказал он.— Надеюсь, Летягин уже далеко. Пойду на мостик.

Он ушел. Стрельба гремела все чаще. Акимов поднялся наверх. Вспышки орудийных выстрелов показывались на берегу то тут, то там.

— Это с Варде,— сказал Жигало.

Кто-то крикнул:

— Самолеты по корме, пять штук! «Фокке-Вульф сто девяносто»!

Акимов не успел удивиться четкости доклада, как раздался гул колокола — сигнал тревоги, мощный голос «ревуна», и сразу же заработали пушки и пулеметы морского охотника. Неясно было, что началось раньше: доклад наблюдателя, сигналы или стрельба,— они прозвучали почти одновременно. И перед изумленными глазами Акимова произошел кратковременный, как молния, бой между пятью немецкими самолетами и как будто беззащитным маленьким советским корабликом.

Самолеты обладали невероятной скоростью, но казалось, что маленький корабль неуязвим. Подчиняясь следующим одно за другим хриплым отрывистым приказаниям Бадейкина, катер-охотник выделывал замысловатейшие фигуры на волнующейся воде. Он то подпрыгивал, то шарахался влево, вправо, то вдруг, заметавшись, начинал как бы пятиться назад. Временами казалось, что он не просто плавает по воде, а извивается, подобно змее,— настолько неожиданными и головоломными были его движения.

Акимов посмотрел на Бадейкина. Маленький командир был неузнаваем. Он превратился в сжатый комочек с нелепо вертящейся во все стороны головкой и, бросая беспрерывно хриплые слова, до смешного точно повторял все движения своего собственного корабля, то наклоняясь, то отступая несколько назад,

то застывая на месте с перекошенным лицом. Рулевой Кашеваров уже тоже был не человеком, а превратился в штурвал, рулевое колесо, подчинявшееся, как автомат невероятной точности, словам стоящего рядом маленького человечка. Он не глядел ни вверх, ни вниз, ни по сторонам, ни даже вперед, он только слушал и только исполнял.

Кораблик отходил все мористей, на водный плес, в открытое море, что несколько удивило Акимова, так как ему казалось, что у береговых скал легче укрыться от самолетов.

Бадейкин, полуобернувшись к Акимову (Акимов изумился самообладанию «коротышки», не забывшего и тут, что имеет ученика), сказал:

— Здесь нам свободней маневрировать.

Самолеты сбросили несколько бомб с разворота, но попали не в катер, а в то место, где он находился полминуты назад. Быстрота — вот что решало дело. И кроме того,— беспрерывный зенитный огонь. Оба пулемета мелко дрожали. Бывало, пули попадались трассирующие, и тогда становилось заметно искусство пулеметчиков: несмотря на то что кораблик сильно качало — иногда он плыл почти на боку,— лента трассирующих пуль шла все туда же, вверх, к самолетам, почти не уклоняясь в сторону. Кормовая автоматическая пушка беспрерывно стреляла, и, если бы не были видны ползущие к ней и от нее подносчики снарядов, казалось бы, что пушка заряжена снарядами надолго, на месяцы и годы, и вот так она будет изрыгать огонь вечно.

Как ни странно, но не кораблику, а немецким самолетам приходилось туго. Они шныряли вокруг да около, с ревом проносились мимо почти над поверхностью воды, поливая море градом пуль, потом увиливали за скалы и, вновь появляясь из-за них, сбрасывали бомбу или две, но на том месте, где они надеялись настигнуть кораблик, его уже не было.

Потеряв надежду справиться с морским охотником, самолеты улетели, обиженно ревя. Стало очень тихо. Свист ветра и грозный шум моря звучали теперь как детский лепет. Боцман отошел от пулемета и прислонился к борту. Его рвало.

Тут только Акимов заметил, что все, и он в том числе, блестят от соленой морской воды, превратившейся в ледяную корку. Все на палубе, кроме раскаленных стволов пулеметов и пушек, обледенело, все переливалось белым фосфоресцирующим светом.

3

— Я пойду вниз, посплю,— сказал Бадейкин.

Акимов отлично заметил удивленные взгляды помощника и рулевого и без труда догадался о том, что Бадейкин ранее отнюдь не имел привычки спать во время плавания и, видимо, просто хочет дать возможность ему, Акимову, самостоятельно покомандовать кораблем.

Оставшись на мостике один, Акимов стал распоряжаться на охотнике. Чувство некоторой неуверенности очень быстро покинуло его, благо никаких осложнений на обратном пути не приключилось. Маленький экипаж катера-охотника беспрекословно и немедленно выполнял все команды, и Акимов радовался этому, хотя сознавал, что это не его заслуга. Но больше всего Акимов радовался тому, что, как выяснилось понемногу, он все знает и прекрасно помнит, что все корабельные команды, писаные и неписаные законы здешнего быта, взаимодействие частей корабля вовсе не забыты им, как ему представлялось раньше, а все это, вплоть до мелочей, тихо и разом поднялось из глубины его памяти так, как иногда бывает с песней, забытой, казалось, до основания. Поняв это, Акимов ликовал про себя, но решил помалкивать, чтобы не прослыть слишком самоуверенным человеком, а между тем хорошо изучить местные условия.

Показались створные знаки, радиомачты и дома на горе. Катер ошвартовался у пирса. Бадейкин поднялся наверх и сошел на берег, чтобы доложить в штабе дивизиона о ходе операции. Прозвучала дудка дежурного, сзывающего матросов на вечернюю поверку. Акимов смотрел, как матросы выстраиваются вдоль борта. Он с удовольствием разглядывал их. Здесь было много открытых, приятных матросских лиц, и Акимов смотрел на них, испытывая некоторую зависть к Бадейкину, как человек, лишенный семьи, к отцу большого, хорошо устроенного, дружного семейства.

Боцман Жигало медленно ходил по палубе, приводя хозяйство в полный порядок. Все понемногу успокаивалось, входило в обычную колею.

Вернувшись, Бадейкин поднялся на мостик и спросил у Акимова, как будто бы забыв, что однажды уже задавал такой вопрос:

— Где вы устроились?

— Чемодан свой я пока оставил в штабе,— ответил Акимов тоже так, словно раньше об этом разговора не было.

Бадейкин, помолчав, сказал:

— А может, пойдете ко мне? Со мной жена. Живу по-семейному.

Акимов пошел вместе с Бадейкиным, и, миновав большие дома, они вскоре очутились у одного из маленьких домиков на горе. Комната лейтенанта была жарко натоплена. На окошках стояли горшки с разными комнатными растениями, в одном горшке рос даже далекий южный гость — кактус.

— У нас и парничок есть,— сказал Бадейкин.— Конечно, здесь все растет не очень шибко.

Вошла смуглая женщина в пестром халате.

— Моя жена,— сказал Бадейкин и улыбнулся.

Она дружелюбно поздоровалась с Акимовым и ушла за ужином.

— Я сам северянин, коренной мурманец,— разговорился Бадейкин.— Потомственный рыбак. А Нина — южанка, грузинка.— Он понизил голос.— Тоскует по югу. На флоте,— продолжал он уже обыкновенным голосом,— я со времени его основания. Я Сталина здесь видал десять лет назад, когда он приезжал с Кировым и Ворошиловым и они велели тут флот создавать. Я еще тогда плавал на каботажном судне. Еще Нины не было в Мурманске. А вы женаты?

— Нет,— механически ответил Акимов, потом, рассмеявшись, поправился:— То есть женат, собственно говоря. Представьте себе, забыл. Моя...— Слово «жена» звучало слишком непривычно, и он не решился произнести его. —...моя Аничка в армии. Мы были вместе недолго. Вот я и не привык.

Тихая жизнь в квартире Бадейкина была так разительно непохожа на то, что происходило полчаса, час тому назад! Нина Вахтанговна бесшумно подавала ужин. От нее пахло туалетным мылом и лекарствами — она работала медсестрой в госпитале. Сам Бадейкин сменил китель на какой-то старомодный архалук с кисточками, а сапоги — на шлепанцы. По его лицу расплылось выражение необычайного довольства.

Акимов во время еды и после, перелистывая «Лоцию Баренцева моря», с интересом наблюдал Бадейкина и Нину Вахтанговну. Бадейкин называл ее Нинусей, а она его — Лешенькой. И Акимов ловил себя на том, что это не только не кажется ему смешным, как казалось бы еще два месяца назад, но даже уми-

ляло его, и что сам он был бы не прочь вот так жить с Аничкой; и что если жена будет называть его на людях Павликом или даже Пашенькой, то это не будет ему казаться отвратительным, как казалось бы каких-нибудь два месяца назад, до знакомства с Аничкой.

Продолжая думать об этом, он потом решил, что отнесся бы, вероятно, иначе ко всей этой мирной, почти мещанской картинке, если бы не видел Бадейкина на мостике в бою с вражескими самолетами, если бы не помнил его фигуру во время боя — вертящуюся, как петрушка, во все стороны, но вовсе не смешную, а необычайно ярую, гневную, почти грозную, и что сто́ит случиться теперь тревоге, как этот маленький человечек сбросит архалук и шлепанцы и снова станет тем, чем был несколько часов назад.

На следующий день — если можно было назвать днем все тот же долгий синий сумрак — Акимов вместе с Бадейкиным отправился на катер.

Моряцкий поселок, расположенный на скалах, выглядел очень оживленным и даже веселым. Из громкоговорителей гремела музыка. В сиреневых расселинах скал, через которые были проложены мостки и лесенки, играли дети. Да, здесь были даже дети, и вообще все кругом имело вид обжитой, благополучный и благоустроенный. И только там, внизу, в темно-синих водах залива,— казалось, очень далеко и от домов, и от играющих детей, и от развешенного для просушки белья, и вообще от всех мелких человеческих забот,— медленно проплывали подводные лодки, эсминцы, катера, посверкивали сигнальные огни, подрагивали на ветру флаги. Оттуда доносились негромкие гудки, свистки, грохот якорных цепей.

Акимова вывел из задумчивости громкий возглас:

— Акимов! Пашка! Ей-богу, он!

Акимов, крайне удивленный тем, что кто-то знает его здесь, в далеком краю, по имени, оглянулся и увидел отделившегося от группы моряков и идущего к нему почти бегом приземистого моряка. Не успев опомниться, Акимов очутился в объятиях этого человека, которого не сразу даже узнал. Наконец рассмотрев его, Акимов воскликнул:

— Мигунов! Вот не ожидал тут встретить черноморца!

— Черноморцев тут хватает,— сказал Мигунов.— Тут и Лысков, и Степанов, и кого тут только нет! А тебя никак не ожидал увидеть. Ну как же ты поживаешь? — говорил Мигу-

нов, ощупывая и охлопывая Акимова любовно, но весьма ощутительно.— Да ты уже капитан третьего ранга! Здорово меня обскакал!

Акимов улыбнулся.

— Спасибо пехоте-матушке. Это она меня до майора возвеличила.

Мигунов потащил Акимова к дожидавшимся морякам и объявил им:

— Дружок-черноморец приехал, Пашка Акимов. У немцев на флоте паника.

Узнав, что Акимов служил в пехоте и только что приехал чуть ли не с самого фронта, Мигунов сразу затих, стал подробно расспрашивать о ходе военных действий там, на главном театре войны, и время от времени, с непохожей на него серьезной миной, говорил:

— Что? Трудненько там? А?

Акимов не мог не отметить при этом, что моряк считает флот, как он выразился, «подсобным хозяйством», а пехоту — основой основ. Это явление было новостью для Акимова — в мирное время моряки были склонны ставить себя выше сухопутных войск. Перемена мнения соответствовала ходу войны и, несомненно, указывала на трезвый ум этих морских ребят, окруживших теперь Акимова тесным кольцом.

Узнав, что его друг назначен всего-навсего дублером, Мигунов обиделся за Акимова и сердито сказал:

— Эх вы! У надводников всегда так! Жаль, что ты не подводник. У нас совсем другой порядок. Где ты устроился? Да брось ты этих женатиков,— он покосился на молча стоявшего поодаль Бадейкина.— Переходи к нам, холостякам. У нас веселее.

— Ты совсем не изменился,— засмеялся Акимов.

Ему было приятно, что у него тут оказались друзья-черноморцы и среди них этот забубенный парень, капитан-лейтенант Мигунов.

Простившись с ним и пообещав подумать о его предложении, Акимов догнал Бадейкина.

— Знаете Мигунова? — спросил Акимов.

— Знаком немного.

— Сорвиголова,— улыбаясь, сказал Акимов.

— Герой Советского Союза,— серьезно сообщил Бадейкин.

— Ну? — удивился и рассмеялся Акимов.— Вот так обскакал!

Акимов остался жить у Бадейкина. Мигунов, нередко забегавший к нему, даже приревновал товарища к маленькому лейтенанту и все пытался сманить его к холостякам.

— Да я же сам «женатик»,— смеясь, сознался наконец Акимов.

— И ты? — удивился Мигунов, и, внезапно задумавшись, сказал с некоторой грустью: — Лучшие люди женятся. Боюсь, и мой черед приходит.

Акимов все время проводил на своем катере, руководил учебными занятиями, присутствовал при малых и больших приборках, вечерних поверках, расспрашивал матросов обо всем, что им известно о Баренцевом море, знакомился с бухтами, якорными стоянками и путевыми картами.

Этими всеми делами, а также ожиданием писем от Анички были полны мысли Акимова все время. Ожидание ее писем стало тем постоянным и напряженным состоянием души, которое не покидало его ни на минуту, что бы он ни делал. Он вспомнил, что даже не знает почерка Анички, и представлял себе, каким должен быть ее почерк, а также старался представить, каким будет ее первое письмо и ее обращение к нему: «милый», «дорогой» или еще что-нибудь в этом роде. Он назначал все новые сроки для получения ее первого письма и, слегка насмехаясь над самим собой, старательно высчитывал, сколько дней прошло с момента получения ею его первого письма отсюда. А так как она должна, очевидно, ответить ему сразу же, ее ответ должен прибыть через такое-то количество дней. Не получив ответа в предполагаемый срок, он отнес это за счет больших расстояний и скрепя сердце назначил новый срок, а потом назначал все новые и новые сроки.

В течение этого времени спокойная жизнь на берегу несколько раз прерывалась поисками вражеских подводных лодок, обнаруженных на подходе к базе, а спустя три недели морской охотник совершил вторичное плавание в Варангер-фьорд.

На этот раз катером командовал Акимов, Бадейкин же находился внизу и появлялся на мостике только изредка. Потирая ручки, маленький лейтенант спрашивал Климашина или боцмана Жигало:

— А мой квартирант что? Хороший ученик?

Климашин отвечал:
— Вполне справляется, товарищ лейтенант.
Жигало отвечал коротко:
— Моряк.
Это было величайшей похвалой в устах боцмана, и Бадейкин радовался такой аттестации, потому что привязался к Акимову внезапной и сильной привязанностью, отличающей очень сдержанных и малообщительных людей.
Между тем катер приближался к той точке побережья, которая предуказана была ему боевым распоряжением. Берег не подавал признаков жизни. Бадейкин вышел на мостик.
— Не видать? — спросил он.
— Тишина,— ответил Акимов.
Минут сорок дрейфовали у берега, дожидаясь. Все молчали.
Наконец Акимов нетерпеливо сказал:
— Может, мне на розыски пойти?
— Нет,— энергически возразил Бадейкин.— Нет у нас такого приказа.
Уже собрались уходить, когда значительно южнее указанного пункта в небе появились долгожданные ракеты: три зеленые, две красные. И следом за ними оттуда донеслись звуки выстрелов.
— Полный вперед,— скомандовал Акимов.
Перестрелка становилась все более ожесточенной. Все на катере заняли места по боевому расписанию. Катер подошел к берегу, и Акимов велел сигнальщику дать условленную заранее ответную серию красных ракет. Это, как Акимов, впрочем, и предполагал, немедленно вызвало стрельбу по катеру. Боцман, сидевший у пулемета, начал отвечать. Закричала и стремительно взлетела в небо чайка.
С берега, совсем рядом, послышался хриплый голос:
— Мы тут, ребята.
С тупым треском упали на камни сходни. Пулеметы свирепствовали вовсю.
— Скорей, скорей,— негромко говорил Акимов, стоя у сходней.
Разведчики же шли очень медленно. Они несли что-то на плечах. Акимов не имел времени узнать, что именно,— он руководил огнем пулемета и матросских автоматов по невидимому противнику, стрелявшему из-за скал.

— Все? — спросил он у разведчика, который шел последним, пятясь назад, лицом к берегу, и стреляя из автомата.

— Все, — ответил разведчик, оглядываясь и опуская автомат.

Убрали сходни. Только когда катер отошел от берега на добрых два кабельтова, то есть около четырехсот метров, Акимов приказал прекратить огонь.

Кораблик лег на обратный курс. Разведчики исчезли с палубы — им, по обыкновению, предоставили кубрик.

Вскоре на мостике показался Летягин.

— Здравствуйте, — сказал он.

Акимов улыбнулся ему.

— Рад вас видеть. Как дела?

Летягин помолчал, потом ответил:

— Задачу мы выполнили, да вот... Убит главстаршина Храмцов. Хороший разведчик. Я решил увезти его с собой. Пусть лежит в родной земле. Чтобы враги не надругались. Хотя можно его было похоронить у норвегов, они народ хороший, фашистов ненавидят и нам помогают, укрывают наших людей, тех, что бежали из немецких лагерей. У них можно было похоронить Храмцова, конечно, но мы как раз шли в обратный путь, вот я и решил. А норвеги, — он называл норвежцев «норвегами», — народ хороший. Очень мне помогли. — Помолчав, он проговорил уже веселее: — Задачу мы выполнили хорошо. Даже отлично выполнили. Сведения важнейшего характера, очень пригодятся командованию. — Он бледно улыбнулся. — С вашей легкой руки.

— Вернее, с моей легкой спины, — грустно улыбнулся и Акимов. Ему было жалко этого неизвестного ему Храмцова.

Летягин все не уходил с мостика. Видимо, ему хотелось говорить. Голосом, который все крепчал, словно оттаивал после множества холодных ночей, он рассказывал о «норвегах», хвалил их, жалел и в то же время поругивал за некоторую пассивность в борьбе с захватчиками.

Вернувшись на базу, Акимов покинул катер вместе с Летягиным. Разведчик пригласил его к себе в гости, но Акимов, хотя Летягин ему очень нравился, не пошел с ним, а сослался на какое-то дело и поспешил в штаб дивизиона спросить о письмах. Письмо было — от матери, из Коврова. От Анички ничего не было. Акимов удивился и огорчился. Он считал, что сегодня — крайний срок, даже если Аничка по каким-нибудь причи-

нам ответила на его первое письмо через неделю после получения его.

Да, даже если она ждала целую неделю, если она была способна целых семь дней не ответить на его первое письмо,— даже и в этом случае ответ должен был бы уже прибыть.

Акимов пошел было домой, чтобы обсушиться и поесть, но с полдороги, вспомнив о семейном уюте и взаимных нежностях четы Бадейкиных, повернул обратно: этот уют и эти нежности теперь раздражали его.

— Так и есть,— бормотал Акимов, медленно шагая по палубе,— «жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда...» Это до тебя все знали, а теперь и ты это узнал.

Он редко писал последнее время домой, в Ковров, и теперь жгучая обида на Аничку соединилась с угрызениями совести по поводу его невнимательности к матери и отцу, и, дополняя друг друга, эти два чувства составили такую горькую смесь, что хотелось кусать пальцы. Он спустился в командирскую каюту, написал письмо домой и, вспоминая родной дом, отца, мать, сестру, думал, почти умиротворенный: «Это у меня есть, и этого никто не отнимет».

Он снова поднялся на палубу. Матросы в кубрике обедали. Оттуда слышались веселые голоса, и вскоре раздалось пение Кашеварова. На баке среди тросов стояли боцман Жигало и Климашин. Боцман курил и негромко рассказывал:

— Познакомился с ней американец один. Он ей — лав ю, лав ю, люблю, значит, люблю, она — хи-хи да ха-ха... Он ей говорит: разрешите, значит, преподнести подарочек. И дает ей шелковый чулок. Один чулок. Ну, она рассмеялась, спрашивает: это зачем же мне один? Или я калека? А он ей: второй получишь после. Когда после? А когда, значит, уступишь моему желанию. Ну, она баба бойкая, возьми и наплюй ему в рожу. Скандал. Он — к коменданту: оскорбили его, значит... Хе-хе...

Он невесело рассмеялся.

Климашин удивленно протянул:

— Ну и людишки!

— Вонтики,— сказал Жигало.

«Вонтиками» называли здесь американцев потому, что, про-

давая в закоулках Мурманского порта чулки и сигареты, они вполголоса спрашивали: «Вопт ит?», то есть: «Желаете?» Этот тихий и бросаемый мимоходом, как бы вскользь, вороватый вопрос всех спекулянтов мира и послужил поводом для местного прозвища.

Климашин ушел. Боцман остался в одиночестве, что-то бормотал, покашливал. Накопец он заметил Акимова.

— Вы здесь? — удивился боцман.— А я думал — ушли.

— Нет, не ушел,— сказал Акимов. Помолчав, он спросил: — Трудно было вам, Иван Иванович, к северу привыкать?

— Нет. Служба — всюду служба. Сначала, конечно, казалось все мрачным, некрасивым. Суровым. Потом пригляделся. И понравилось. Очень даже понравилось.— Он пытливо посмотрел на Акимова и вдруг спросил: — А вам что? Не по душе?

— Да нет, ничего,— поспешно проговорил Акимов. Глядя на расходившиеся волны, он сказал: — Погода неважная.

Жигало мечтательно вздохнул:

— Было время. Плавали только в хорошую погоду. А теперь плаваем в любую. Разве я бы в мирное время вышел в открытое море на нашей скорлупе при семибалльном шторме? Ни в жизнь! А теперь выходим. И не тонем! Корабль — он тоже как будто соображает, что война. Как человек. А человек что? Никаких посторонних нежностей не осталось. Работает за четверых и не ропщет. Почти не ропщет. Иногда только. И то — больше на Гитлера.— Жигало замолчал, потом, внимательно взглянув на Акимова, спросил:— Может, отдохнете здесь, товарищ капитан третьего ранга? Мы вам коечку постелем... Обед принесем...

Акимов сказал:

— Вот и хорошо. Так и сделаем.

Ему было немного стыдно оттого, что он дал проницательному боцману возможность заметить свое тяжелое настроение. «Раньше со мной такого не бывало»,— думал он, удивляясь и злясь.

Однако с этого дня Акимов почти вовсе не покидал катера и в ответ на встревоженные вопросы Бадейкина ссылался на то, что хочет лучше войти в курс дела и беседы с матросами-северянами очень для него полезны. Бадейкин огорчился, но не стал возражать.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### *Море и земля*

### 1

«Никаких посторонних нежностей» — эти слова боцмана Жигало без ведома самого боцмана прозвучали как упрек Акимову.

Приняв близко к сердцу этот упрек, Акимов старался поменьше думать об Аничке, и, так как писем от нее по-прежнему не было, он назначил последний срок — самый последний, после которого решил забыть Аничку, искоренить из сердца воспоминание о ней. Конечно, он понимал, что это невозможно, и не рассчитывал на это в буквальном смысле слова, но он твердо верил, что сможет загнать воспоминание в самую глубину сердца, задушить его другими мыслями, иными воспоминаниями, а главное — службой.

Этот последний срок совпадал с 1 января, с началом нового, 1944 года.

В ночь на 1 января, когда все в поселке среди скал готовились к празднику — интенданты выписывали водку, женщины пекли пироги, дети украшали маленькие заполярные сосенки самодельными игрушками,— катер-охотник Бадейкина получил приказ немедленно выйти в море в составе отряда эскортных кораблей. Не без вздохов сожаления бросились бегом сотни моряков вниз, к причалам.

В штабе дивизиона было решено, что Бадейкин останется на берегу, а катером будет на сей раз совершенно самостоятельно командовать его дублер. Несмотря на то что маленький лейтенант мечтал провести новогодний вечер с Ниной Вахтанговной, он все-таки был очень взволнован, не мог себе представить, как это его катер выйдет в море без него. Растерянным и тоскующим взглядом следил он за своим кораблем, исчезавшим вместе с другими во мраке ночи.

Задача отряда состояла в том, чтобы встретить в открытом море очередной американский караван судов и принять на себя его охрану до Мурманска.

В темноте глаз еле различал другие корабли. Но не было ощущения пустынности, чувствовалась даже некоторая теснота: то тут, то там мигали узкие лучи сигнальных огней, радист при-

нимал и передавал на мостик Акимову скупые приказания флагмана. К полуночи небо освободилось от туч, на нем заиграло северное сияние. Акимов поздравил в мегафон всех находившихся на палубе и в переговорную трубу — всех находившихся внутри корабля с наступающим Новым годом. Корабли отряда обменялись приветственными сигналами.

Сигнальщик отрапортовал:

— Дымы справа, двадцать пять.

Американский караван приближался. Он состоял из двух десятков транспортов различного водоизмещения. По бокам расположились низкие серые военные корабли.

Матросы узнавали иностранные суда.

— Вот «Леди Джеп»,— сказал сигнальщик, показывая пальцем на один из транспортов.

— А это «Золотая Стелла»,— сообщил Кашеваров, подняв подбородок в направлении американцев: руки его были заняты.

Вот уже на палубах транспортов можно было различить людей. Они стояли на борту своих гигантских пароходов, словно на крышах пятиэтажных домов, и радостно махали беретами подходившим кораблям советского отряда.

Эсминцы, морские охотники, сторожевые корабли, тральщики, замедлив ход, занимали свои места в «ордере» по ранее разработанному плану. Занял предназначенное ему место на крайнем левом фланге конвоя и Акимов. После сложного маневрирования караван двинулся к Мурманску. Шли медленно, приноравливаясь к ходу тяжелых транспортов.

На траверзе полуострова Рыбачьего, который весь в снегу подымался из темной воды сверкающей серебряной громадой, не более чем в трех кабельтовых левее конвоя на мгновение показалась в волнах и тут же снова исчезла тонкая и грозная игла перископа.

Акимов и матросы на его катере заметили ее.

Нельзя было медлить ни секунды. Акимов отдал команду: «Атака, вперед полный, бомбы товсь»,— и уже тогда, когда катер стрелой несся в направлении скрывшегося перископа, сообразил поднять на мачту сигнал и дать условную ракету. Глубинные бомбы были сброшены, подняв позади катера огромные фонтаны воды, из свинцово-серой ставшей вдруг пронзительно зеленой.

Развернувшись, катер пошел назад. Акимов опять увидел перед собой пароходы и военные корабли. Все небо над ними

тревожно осветилось белыми ракетами. Над Рыбачьим тоже взмыли в небо ракеты. Стало светло, как днем. Видно было, как по палубе ближнего американского транспорта бегают взволнованные люди.

— Ничего, коробка,— успокоительно бормотал Акимов, обращаясь к американскому пароходу.— Не бойся. Выручим.— Он был полон холодной ненависти к притаившейся в молчаливой толще воды вражеской лодке и почти сумасшедшей боязни за судьбу огромной, красивой чужой посудины, груженной чем-то важным для майора Головина, Майбороды, Файзуллина, Вытягова, Филькова, Орешкина. И для Анички. Колокол громкого боя — сигнал тревоги — все звонил и звонил.— Товсь! — опять скомандовал Акимов. Еще одна серия бомб полетела в воду. Опять за кормой катера один за другим поднялись в воздух изумрудные каскады воды. Подчиняясь очередной команде Акимова, катер во второй раз развернулся и опять пошел вперед, в море. Климашин на корме готовился к очередному бомбометанию. Он что-то кричал. Гидроакустик — то есть матрос, слушающий воду,— прерывающимся голосом крикнул снизу:

— Шум винтов слева, сто тридцать пять.

Катер сбросил еще одну серию глубинных бомб и снова развернулся. Приближались два катера, высланные флагманом в помощь Акимову. Они были уже близко, когда кто-то из матросов, подняв сияющее лицо к мостику, неожиданно крикнул:

— Ура-а!..

Невдалеке на крутящейся и бурлящей морской поверхности показалась узкая и все расширяющаяся масляная полоса.

— Ура-а!..— вопил все тот же голос, полный бесконечного восторга.

Конечно, немецкая подводная лодка, может быть, имитировала собственную гибель, пуская для отвода глаз на поверхность моря соляровое масло. Акимов готов был тут продежурить хоть целую неделю, чтобы добить ее или удостовериться в ее гибели. Но флагман приказал ему присоединиться к конвою, и он ушел, оставив свой пост на попечение других двух катеров и утешая себя тем, что лодку обнаружил он и благодаря его быстрым действиям она не выпустила смертоносную торпеду.

Проводив караван до Мурманска, Акимов вместе с остальными кораблями вернулся на базу. Катер ошвартовался вблизи других морских охотников, участвовавших в конвое, у знакомого пирса.

Как раз в это время в бухте показался юркий, веселый, крашенный в зеленый цвет катер военно-полевой связи. Он просигналил морским охотникам:

— Для вас имею почту. Разрешите подойти.

Матросы всех катеров высыпали на палубу и ждали приближения почты. Акимов в это время рассказывал Бадейкину об истории с вражеской лодкой. Рассказывал он довольно подробно, но все мысли его были сосредоточены на пакете писем — разноцветных конвертов и белых треугольничков, которые перебирал в руках боцман Жигало. Письма быстро рассосались среди матросов. Вот в руке Жигало осталось их пять, вот два, наконец одно. Это последнее Жигало, усмехаясь, повертел в руках, потом надорвал конверт и стал читать.

— Вот и все,— сказал Акимов.

— Молодец вы, Павел Гордеич! — воскликнул Бадейкин.— Хорошо поработали! — Его глаза блестели от радости.

## 2

На палубе появился незнакомый Акимову старший лейтенант с широким румяным лицом и часто мигающими близорукими глазами.

— Военный корреспондент Ковалевский,— представился он, вынул блокнот и тут же начал расспрашивать Акимова, как была потоплена немецкая подводная лодка.

— Вовсе она не потоплена,— сказал Акимов хмуро.

Ковалевский опешил, жалобно посмотрел на Бадейкина и спросил:

— Как так не потоплена? А в штабе мне сказали...

— Про это в точности знает не наш штаб, а немецкий,— возразил Акимов.

Но от Ковалевского не так-то просто было отделаться, и в конце концов Акимову пришлось рассказать ему весь ход операции. Бадейкин затащил его и корреспондента к себе в каюту. Он не одобрял скромности товарища и все приговаривал, обращаясь к Ковалевскому:

— Пишите, пишите...

Ковалевский умел заставлять людей рассказывать. В особо трудных случаях, когда собеседник оказывался совсем неразговорчивым, как в данном случае Акимов, корреспондент напускал

на себя такой жалостный и беспомощный вид, что люди начинали свою сдержанность считать чуть ли не преступлением.

Ковалевский самозабвенно любил море и моряков и даже слегка стыдился того, что сам он не боевой офицер, а корреспондент. У непосвященных людей среди своих московских знакомых, особенно женщин, он старался создать впечатление, что принадлежит к «плавсоставу», то есть является офицером на корабле. Он делал так не потому, что был лжив по природе,— напротив, это был честнейший человек,— а из своеобразного тщеславия. В глубине души он полагал себя прирожденным моряком и считал, что только благодаря печальному стечению обстоятельств провел жизнь на суше. Он отлично знал все существующие классы и типы военных кораблей и вел у себя в записной книжке строгий учет потопленных и построенных немецких, английских и американских линкоров, авианосцев, крейсеров. Морские словечки — разного рода шпангоуты, комингсы и бимсы — не сходили с его уст.

Он помнил массу выдающихся случаев из боевых действий субмарин (он называл для пущего шику подводные лодки «субмаринами»), торпедных катеров, эсминцев и знал в лицо почти всех мало-мальски отличившихся офицеров и матросов Северного флота.

— Вот я и с вами познакомился,— сказал он Акимову. Ему хотелось бы еще поговорить с моряком, но его смущал сосредоточенный и суровый взгляд Акимова, мысли которого, по-видимому, витали где-то очень далеко отсюда.

Простившись, корреспондент ушел на берег.

— А вы? — спросил Бадейкин.— Пойдемте ко мне. Мы вам праздничного пирога оставили.

Акимов отвел глаза.

— Извините, Бадейкин,— сказал он.— Не могу. Обещал к Мигунову зайти.

Он действительно пошел к Мигунову в общежитие «подплава», хотя за минуту до того вовсе не собирался туда.

Мигунов часа два как вернулся с позиции. Его подводная лодка, повредив немецкий эсминец типа «Леберехт Маас», попала в тяжелое положение: на нее навалились сразу три вражеских штурмбота, забросавших лодку глубинными бомбами.

— Еле выбрались,— рассказывал Мигунов.— Гоняли нас два часа. Я уже думал — конец приходит. У нас только что сам командующий был, похвалил. Затонул, говорит, эсминец, летчики

докладывали. Ордена будут. Хорошо, что ты пришел, Паша. Выпьем за спасение души, а то ты совсем захирел у этого Бадейкина. Угрюмый ты какой-то стал.

Акимов сказал:

— Немцы небось радуются — потопили, дескать, советскую подводную лодку. Штабы рапортуют, корреспонденты пишут...

Это предположение рассмешило Мигунова.

— А мы тут гуляем!

Он побежал звать товарищей. Быстро накрыли стол. Подводники без умолку говорили о последней операции. Дело не обошлось без некоторого самохвальства. Белобрысый лейтенант втолковывал Акимову, что подводники — «главные люди на флоте» и что именно они наносят немецким фашистам самые серьезные потери. Акимов устало соглашался, но, поддразнивая подводников, спрашивал:

— Ну, а эсминцы как? Неужели ничего не сто́ят?

Подводники не возражали против эсминцев, но настаивали на первенстве подводных лодок. Акимов опять соглашался, но тут же снова спрашивал:

— А морская авиация? Мелочь, по-вашему?

Авиации они отдавали должное, но опять-таки не в ущерб своему роду оружия.

Акимов пил много, но незаметно было, чтобы он хмелел.

Мигунов вдруг расчувствовался и, оглядев всех присутствующих добрым и восторженным взглядом, сказал:

— Какие вы у меня все хорошие ребята! А вот этот,— крикнул он, показывая пальцем на Акимова,— мой любимый друг! Он еще всем покажет! Я его знаю! Павел, ты золотой парень, и один в тебе недостаток — что ты не подводник. Выпьем за здоровье Паши Акимова!

Все охотно поддержали этот тост и затем решили отправиться в Дом флота.

Веселая компания оделась и вышла на улицу. По дороге их застала пурга, знаменитые на севере «снежные заряды»: облако снежной крупы, в котором еле увидишь идущего рядом человека. Пронесется такой заряд, и опять снега нет, словно его и не было. Потом — следующий заряд.

Издалека доносились звуки вальса. Акимов представил себе вдруг, как Аничка в темноте осенней ночи под Оршей шла по оврагу на звуки музыки. И на мгновение он испытал странное чувство перевоплощения в Аничку, словно это не он, а она шла

теперь в полярной ночи на звуки вальса туда, где, быть может, он, Акимов, ждет ее.

Потом это странное чувство рассеялось, ощущение невероятной близости возлюбленной исчезло, а взамен опять пришло отчаяние и сомнение в себе и в Аничке. Он вдруг твердо решил, что его постигло величайшее несчастье: она его забыла. И он стал не без некоторой наивности искать причины, почему она его забыла. Он говорил себе, что этого следовало ожидать и если он раньше думал, что она будет его помнить и любить, то он только уподоблялся невежественному алхимику, вообразившему, что он может заключить солнечный луч в стеклянную посудину.

Раз она так быстро могла влюбиться в него, Акимова, почему это не могло случиться с ней во второй раз?

Мало ли там хороших людей! Взять хотя бы капитана Черных, нового командира первого батальона. Ведь понравился он и солдатам, и офицерам, и Головину. Черных действительно прекрасный человек, спокойный, сдержанный, с ловкими и точными движениями, не такой увалень и сумасброд, как он, Акимов. Чем больше думал Акимов об этом, тем более достойным Аничкиной любви казался ему капитан Черных, и именно он, а не кто-нибудь другой.

«Да, но ведь мы муж и жена»,— негодовал Акимов и сам издевался над этим соображением. Чем могло ему помочь то обстоятельство, что где-то за тридевять земель в большой разграфленной книге они с Аничкой записаны рядом? Что может тут сделать та немолодая женщина в пенсне, записавшая их чуть дрожащей рукой в эту книгу?

Акимов чувствовал, что сердце его разрывается от настоящего горя, и, сжимая зубы, шептал, обращаясь к свирепому ветру и острой, как град, снежной крупе: «Бей, бей сильнее. Дураков бить надо».

Потом он понял, что находится в очень внутренне расслабленном состоянии. С ясностью ума, свойственной ему, он отнес это за счет усталости и действия водки, вскоре взял себя в руки и крикнул Мигунову:

— Как ты там, Вася? Живой?

— Живо-о-ой! — ответил Мигунов. Голос его заглушали вой ветра и свист обдававшей их снежной крупы.

— Ну и славу богу! А то ты все молчишь, даже странно. На себя не похож! Песню, что ли, споем?

— Боюсь, начальство услышит, скажет — пьяные.

— А что — разве трезвые? Конечно, пьяные. Обманывать начальство нехорошо...

Все засмеялись. Звуки вальса все приближались. Наконец показалось большое здание, ступеньки которого были завалены только что выпавшим, нетронутым снегом, отчего казалось, что дом необитаем.

Но дом был полон людей. Электрические лампы освещали ровным и спокойным светом мягкие дорожки и дубовые панели. Кроме офицеров флота и морской авиации, тут находилось и немало женщин — врачей, связисток и офицерских жен. Женщины — многие из них были в длинных шелковых платьях — сидели отдельной группой у стены, глядели на мужчин, перешептываясь, усмехаясь и отпуская критические замечания по их адресу. Все вместе напоминало самые благополучные времена в каком-нибудь Доме флота под мирным небом южной гавани.

Снова начались танцы. Обвеваемые широкими юбками стройные ноги закружились по паркетному полу. Моряки с серьезными лицами людей, делающих не очень приятное, но весьма нужное дело, кружили своих дам. Иногда мелькало лицо красное, явно подвыпившее, оно тщилось из последних сил оставаться серьезным, но, встречаясь взглядом со стоявшими вдоль стен нетанцующими знакомыми ребятами, складывалось в полувиноватую, полуглумливую гримасу, означавшую: «Знаю, что это глупо, но уж простите, братцы».

Все выглядело бы совсем мирно, если бы не властное вмешательство дежурного офицера, который время от времени появлялся в дверях с бесстрастным лицом и отрывисто вызывал:

— Капитан-лейтенант Бирюков! На корабль!

— Капитан второго ранга Погорельцев! К командующему!

— Флаг-механик флота! К командующему!

Иногда он вызывал по списку:

— Военврачи Каневская, Лукина, Преображенский! В госпиталь!

— Алексеев, Муравьев, Самойлович, Гуссейнов! В политуправление!

— Пискарев, Губенко, Геладзе! К командующему!

Иногда он вызывал еще более кратко:

— Офицеры с «Ретивого»! На корабль! Срочно!

— Летчики Морозова! На базу! Срочно.

— Экипаж подлодки 26—17! В подплав! Срочно!

При больших вызовах зал редел, как вырубленный.

Вызванные бросали свою пару посредине очередного па и мгновенно исчезали. А оставленные женщины еще с полминуты стояли среди танцующих, все еще держа руки на уровне плеч исчезнувших партнеров, и с их лиц постепенно сходила томная усмешка, вызванное танцем легкое опьянение. Потом они тихо отходили к стене и, прислонясь к ней, к чему-то настороженно прислушивались, как будто они могли что-либо услышать, кроме отдаленного шума прибоя и свиста ветра.

Наблюдая все это, Акимов вдруг подумал: не убита ли она, Аничка, не ранена ли? Как ни странно, но эта мысль пришла ему в голову впервые, и он сам удивился своей непонятной в данном случае беспечности: он все время думал о чем угодно, а о том, что с Аничкой могло что-нибудь случиться, он не думал ни разу. «Нет,— решил он.— Головин сообщил бы мне, если бы что-нибудь произошло». Он содрогнулся от сознания своей полной беспомощности. Он не мог ничего сделать — ни поехать туда, где находилась его возлюбленная, ни позвать ее сюда, ни даже просто дать ей телеграмму. Его нерадостные мысли были прерваны Мигуновым. Лихой подводник, который танцевал до упаду с миловидной девушкой-врачом, пробрался к Акимову и зашептал ему на ухо:

— Павел, пошли к Валечке в гости. Там славные девчата...

Акимов отрицательно замотал головой и ушел в тихую комнату библиотеки. Здесь тоже было полно народу. Почитав газеты, Акимов решил написать письмо Аничке.

Он писал:

«Аничка! Я опять пишу тебе письмо, не надеясь получить ответ. Мне давно уже следовало прекратить эту писанину, но каждый день, как только выдается свободная минута, меня так и тянет написать тебе. Одним словом, мне трудно жить без тебя, а я, по правде говоря, не очень верил раньше в возможность такой любви, чтобы трудно было без человека день прожить. Все, что я вижу интересного, я стараюсь запомнить, чтобы потом рассказать тебе. Раньше со мной такого не бывало. Я стараюсь гораздо больше, чем раньше, понять самого себя, уяснить себе свои собственные мысли и поступки, а наткнувшись

на какую-нибудь умную мысль — это бывает со мной иногда,— я стараюсь ее не забыть, чтобы потом, когда мы встретимся, выразить ее тебе, возможно, под видом как бы экспромта, чтобы ты увидела, какой у тебя дружок умный. Зачем я все это тебе теперь пишу — сам не знаю. Ты можешь только посмеяться. Раньше я не мог понять, за что ты меня полюбила, а теперь не могу понять, как могла ты меня забыть».

Написав письмо, Акимов поднялся уходить. В вестибюле он услышал отрывистый крик дежурного:

— Капитан третьего ранга Акимов! В штаб Овра!

Вначале он подумал, что тут находится какой-нибудь однофамилец, настолько неожиданным и нелепым показалось ему то обстоятельство, что он кому-то нужен. Но вот к нему выбежал Мигунов.

— Тебя вызывают,— сказал Мигунов торопливо.— Идем, я тебя провожу, а то ты тут заблудишься.

У Акимова потеплели глаза — он по достоинству оценил жертву, которую бравый подводник готов был принести на алтарь дружбы, бросив танцы и свою Валечку.

— Ладно, Вася,— сказал Акимов.— Иди танцуй. Я все сам найду. Найду, ей-богу, найду.

Он втолкнул Мигунова обратно в зал, а сам оделся и вышел в ночную тьму, по-прежнему оглашаемую свистом вьюги.

Вызывали действительно его. Он был принят контр-адмиралом и получил новое назначение — полноправным командиром морского катера охотника, притом — более крупного, более совершенного и с лучшим вооружением, чем катер Бадейкина.

Вспомнив о Бадейкине, Акимов испытал чувство неловкости, ему казалось, что Бадейкина незаслуженно обошли, а его, Акимова, незаслуженно возвысили. Он решился даже сказать об этом контр-адмиралу, но тот недовольным голосом возразил:

— Начальству виднее.

Позже, проходя мимо пирса, где стоял маленький кораблик Бадейкина, Акимов осознал, как жаль ему расставаться с ним. С катера доносился осипший голос боцмана Жигало и пение рулевого Кашеварова.

— «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,— пел Кашеваров. И хотя слова «гордый «Варяг» казались такими до смешного не подходящими к суденышку, не имевшему даже имени, а только номер, в этот миг Акимов без всякой иронии отнес

слова песни именно к маленькому катеру и его маленькому командиру.

Приняв свой «собственный» корабль, Акимов пошел проститься с Бадейкиным. Но бадейкинского катера уже не было — он ушел на очередное задание в море. Не было никого и в домике на горе. Акимов взял в условленном месте ключ, собрал свои вещи, вышел, запер дверь, положил ключ, напоследок бросил прощальный взгляд на окошко, на горшки с цветами и сказал вслух:

— Прощайте, Бадейкин. Прощайте, Нина Вахтанговна.

Затем он отправился на свой корабль.

— Смирно! — скомандовал кто-то, заметив вступившего на борт нового командира. Матросы замерли. Акимов посмотрел на них, потом отдал честь военно-морскому флагу Союза ССР и своему экипажу. Ему казалось, что теперь он окончательно расстается со своими личными горестями и надеждами. Глядя на темный залив, он прощался с воспоминаниями и с мечтой о своем, в конечном счете маленьком, счастье. Он сказал «вольно» и поднялся на мостик.

### 3

Аничка не писала Акимову по той причине, что жизнь ее подверглась большим, внезапным и удивительным переменам. Аничка оказалась далеко от своего полка и даже вне рядов армии и поэтому все еще не знала адреса Акимова. Что же касается капитана Черных, то с капитаном этим она вообще не была знакома и вряд ли могла бы вспомнить, как он выглядит и как его зовут. Она бы остолбенела от изумления, если бы узнала, что этот вовсе не знакомый ей капитан является предметом ревности Акимова.

Полк формировался в районе станции Бологое еще две недели после отъезда Акимова. В течение этого времени Аничка получила от Акимова два письма из Москвы, но не имела возможности ответить на них в связи с тем, что адрес его — почта Московского флотского экипажа — был временным. Он и сам не советовал ей писать, покуда он не обзаведется твердым адресом.

Первого ноября полк был ночью поднят по тревоге, срочно погружен в вагоны и вместе с другими полками дивизии, в бе-

шеном темпе, почти без остановок, часто двойной тягой, то есть с двумя паровозами — впереди и в хвосте,— отправлен на юг и выгружен третьего ноября в районе столицы Украины, города Киева. Оттуда вся дивизия — и не только она одна, но и множество других — пошла пешим маршем на запад и влилась в войска Первого Украинского фронта, предназначенные для освобождения Киева.

С самого начала похода распространилась та напряженная, жаркая и тревожная атмосфера, которая всегда сопутствует боям на важном направлении. В небе шли почти непрерывные воздушные бои, авиация врага почти беспрестанно висела над головой, стараясь бомбами и пулеметными очередями задержать, сбить с толку, ослабить наступающие войска, внушить им ужас и неуверенность. Полки шли по осеннему бездорожью, машины то и дело приходилось вытаскивать на себе, и Головин, верхом на лошади, с грустью смотрел, как от тылового лоска и сытого, довольного вида его офицеров и солдат понемногу ничего не остается.

И все-таки это было наступление, и, несмотря на бездорожье и на атмосферу постоянной тревоги, душа радовалась обилию войск и техники и зрелищу разбитых немецких танков и машин, брошенных противником на обочинах дороги и частично еще догоравших.

Полк прибыл к Днепру в момент начала переправы через реку, которая находилась под мощным обстрелом и бомбежкой. На другом берегу, на высоких холмах, желтел листвой и чернел пожарищами город Киев.

В оглушительном грохоте, среди громких и раздраженных криков тысяч людей Аничке удавалось сохранять поразительное спокойствие, которое успокаивало всех окружающих. Стоявшие в башнях танков танкисты, проезжая мимо, махали ей руками и долго оглядывались на нее, пока не исчезали в дымном аду правого берега. Впереди десятка одетых в маскхалаты, обросших и молчаливых разведчиков она производила необычайное впечатление и вызывала удивленные, дружелюбные, а иногда и двусмысленные замечания проходивших солдат из других дивизий. В ответ на эти последние замечания разведчики свирепо говорили:

— Ладно. Проходи, пока не получил по морде.

Эта угроза оказывала немедленное действие, и солдаты ускоряли шаг, еще более удивляясь, потому что они улавливали в

угрожающем тоне разведчиков уважение к этой девушке и готовность защищать ее от любых покушений.

Артиллерия гремела беспрестанно, а краснозвездные самолеты со всех сторон сотнями летали на правый берег и, отбомбившись, возвращались обратно. Был канун праздника, двадцать шестой годовщины Октябрьской революции, и это обстоятельство придавало сражению за Киев оттенок особой значительности и торжественности.

Во время переправы Аничке вдруг стало нехорошо, она побледнела и почувствовала головокружение. Она не обратила на свое состояние никакого внимания, так как отнесла его за счет страха смерти, все время витавшего над десятками тысяч идущих по деревянному настилу людей, но спустя несколько дней, уже за Киевом, она встревожилась и поняла, в чем дело.

Это ее, как ни странно, очень удивило. Несмотря на все, что она знала не хуже других людей, ей все-таки показалось непонятным, чудовищным и глупым, что оттого, что она провела с любимым человеком несколько трудных для нее ночей в небольшой деревеньке около станции Бологое Октябрьской железной дороги, внутри нее зародилась новая жизнь. Вначале она отнеслась к этому факту несколько легкомысленно. Она даже решила, что, когда ребенок родится, надо будет оставить его у тети Нади и затем вернуться в армию. Потом она поняла, что это все — глупости, что не может она отдать ребенка кому бы то ни было, что ребенка надо кормить, растить, воспитывать, что это не игрушка, а человек, притом — ребенок, притом — ее ребенок. «Мой ребенок»,— повторяла она про себя, смеясь и недоумевая. С безмерной, но вполне понятной наивностью она думала: «Как быстро все это получилось». Ей представлялось нормальным, что дети рождаются лишь после долгой, спокойной супружеской жизни.

Шагая с разведчиками по заполненной людьми и машинами фронтовой дороге и превозмогая тошноту, находясь все время в состоянии сдержанного волнения, Аничка беспрестанно размышляла о себе. Она делала все, что от нее требовалось, но, глядя на окружающих ее людей, думала, что она уже отгорожена от них невидимой, но непроходимой стеной своего нынешнего состояния, своего материнства. На смену прежним интересам властно явился новый интерес, и ее тайна, казалось ей, ставит ее ниже всех этих людей, которые живут более широкими задачами и озабочены более важной заботой.

По ночам, прикорнув в каком-нибудь шалаше или в очередной избе, избранной для ночлега, Аничка не спала, а прислушивалась к голосам солдат, которые разговаривали о войне и победе, и готова была плакать, чувствуя, что все эти разговоры, такие важные для всех людей, для нее теперь звучат как нечто второстепенное и далекое.

Она не знала, на что решиться,— заявлять ли о том, что с ней случилось, или предоставить событиям идти своим чередом, покуда все не станет и без того ясным. Но все несчастье заключалось в том, что она вскоре начала жалеть развивающегося в ней ребенка странной и тревожной жалостью, которая заставила ее стать осторожной, медлительной, рассчитывать каждое движение,— даже от верховой лошади она отказалась, что очень удивило окружающих, так как ранее для Анички не было большего удовольствия, чем ездить верхом.

В бою за Коростень был ранен в ногу командир полка Головин. Аничка пошла его проведать в избу, где он в ту пору обосновался.

Посидев возле Головина и узнав, что он остается в строю и не уйдет в госпиталь, она неожиданно для себя чуть не расплакалась и спросила:

— А мне что делать? — и рассказала ему обо всем.

Головин, смущенный еще больше, чем она сама, пробормотал:

— Ну что ж делать? Ничего не поделаешь...— Подумав, он проговорил: — Жаль, нет адреса Акимова. Послать бы ему приветственную телеграмму.

Она сказала:

— Как это все неожиданно. И как-то нехорошо.

— Что же делать? — опять спросил Головин и снова добавил: — Ничего не поделаешь.— Он посмотрел на ее лицо и вдруг горячо вступился за нее самое: — Чего же вы так? Ничего плохого в этом нет. У вас же не так, чтоб... случайно... Все ясно. Вам надо демобилизоваться, ехать в Москву и приступить к исполнению материнских обязанностей. Это же не шутка. Детей рожать, Анна Александровна, тоже, если подумать, важное, государственное дело.— Он помолчал, потом продолжал с нарочитой грубоватостью: — Я даже рад, все боялся, как бы вас не убило. Как бы я тогда отчитался перед Акимовым?

Воцарилось долгое молчание, было слышно, как возле избы разговаривают два солдата.

Один солдат сказал:
— Ты мне про ранет и шафран не толкуй. Нет на свете яблока лучше антоновского.
Другой пробасил:
— Ты в Крыму никогда не бывал, вот и заладил: антоновка, антоновка...
Головин медленно сказал:
— У меня ведь тоже... В Ульяновске в эвакуации двое детишек. Девочка и мальчик. Катька и Ванька.
Его голос дрогнул, и Аничка только теперь увидела, что командир полка растроган и взволнован.
— Нервы,— сказал он и отвернулся.
Через несколько дней Аничка получила документы и пошла на хутор, где располагались разведчики, проститься. Но оказалось, что, пока она оформлялась в штабе полка, пришел приказ двигаться дальше. На хуторе она уже никого не застала. Полк вытягивался по желтой глинистой дороге, люди, пушки и подводы медленно двигались дальше на запад, и вскоре Аничка осталась одна на опушке соснового бора. Мимо нее шли и шли войска, и казалось, что все, в том числе и леса и поля, движется на запад, а на восток идти или ехать невозможно, не на чем и незачем.
— Прощайте, товарищи! — сквозь слезы сказала Аничка и, взвалив на плечо свой чемоданчик, пошла на восток.
Там, немного дальше от передовой, уже было, правда, полно машин, идущих и на восток, и на юг, и на север, во всех направлениях, простирались военно-автомобильные дороги с контрольно-пропускными пунктами, регулировщицами, избами для отдыха, гремели станции железных дорог и опять без конца — вторые, третьи, четвертые эшелоны войск, не спеша идущие и едущие на запад, к границам государства. Везли печеный хлеб, снаряды, ящики с махоркой, с патронами. Шли полевые кухни, машины с обмотками, шапками-ушанками и зимним нательным бельем, полевые хлебопекарни, похоронные команды, автобусы эвакогоспиталей. И чем дальше Аничка, вначале на машине, потом в поезде, двигалась на восток, тем с бо́льшим удивлением убеждалась в том, что всюду много людей, в каждой деревне люди и все что-то делают, работают, ждут. Аничка с особым интересом смотрела теперь на детей, приглядывалась к ним так, словно никогда не встречала их раньше.
«Грозилась синица море зажечь»,— с горечью думала Аничка

о себе. Но по мере приближения к Москве, по мере наблюдения за обыкновенной, нефронтовой жизнью огромных масс людей у Анички стало легче на сердце, она как бы высвобождалась от той, свойственной фронтовикам ограниченности представлений, которая как бы сверху вниз смотрит на все происходящее позади узенькой линии, где непосредственно идут бои. Она вдруг стала думать не только о пространстве, но и о времени, не только о продвижении вперед на конкретной местности, но и о продвижении вперед великого государства во времени, в масштабе истории. И как ни странно, именно в этом масштабе, казалось бы таком огромном и необъятном, Аничка и ее будущий ребенок заняли хотя и скромное, но важное и вполне приемлемое место, хотя они же не могли найти себе места в прежнем, слишком элементарном, линейном представлении Анички о своем жизненном призвании.

Все эти мысли конкретно вылились в решение немедленно после приезда в Москву начать готовиться в медицинский институт, с тем чтобы осенью будущего года поступить туда и при помощи отца стать хорошим хирургом или детским врачом. Решив это, Аничка почувствовала в себе прилив сил и тот внутренний подъем, который она испытала два года назад, отправляясь самовольно на фронт. Но теперь решение ее, не уступая тому, прежнему, в горячности и силе, было, однако, решением уже зрелого человека.

### 4

Москва конца 1943 года ничем не походила на Москву начала 1942 года. Тогда она была пустынна и сурова, людские потоки излились из нее — один на запад, другой на восток. Теперь потоки эти — пожалуй, еще и с лихвой — как бы снова влились обратно в величественное и бурное русло. Город, оживленный, полный людей и машин, жил очень напряженной и шумной жизнью и только по вечерам на несколько минут замолкал, прислушиваясь к громкоговорителям, объявлявшим об очередной победе Красной Армии, и ожидая очередного салюта.

Аничка радостно включилась в эту быстротекущую, слегка взвинченную, но полную великих ожиданий жизнь почти мирной Москвы. С той непреклонностью, какую она сумела развить в себе, Аничка приступила к исполнению своего решения, раз-

добыла у подруг учебники, тетради, справочники и начала заниматься.

В школе и институте учение часто было для Анички постылой обязанностью, теперь же теоремы и формулы приобрели для нее неожиданный интерес. Ломать голову над задачей — дело, которое она раньше терпеть не могла,— теперь казалось ей увлекательным занятием. Может быть, умственное напряжение служило наилучшей разрядкой после длительного физического напряжения на фронте. Кроме того, занятия математикой, физикой и химией напоминали ей детство, которое, безвозвратно пройдя, представлялось теперь Аничке прекрасным временем. «Я старею»,— смеялась Аничка, правильно разгадав суть этих перемен. Но она была довольна, даже счастлива своим рвением и успехами и решила про себя, что продолжать учиться надо, уже имея некоторый жизненный опыт,— только тогда ты способен оценить по заслугам радость узнавания новых вещей и одухотворенное состояние человека, содержание жизни которого — познание ее.

Вскоре в Москву приехал профессор Белозеров. Он был вызван для переговоров по поводу новой службы: его хотели оставить в Москве, в Главном санитарном управлении армии.

Заехал он к тете Наде и только там узнал, что Аничка в Москве. Тетя Надя сообщила ему и о том, что Аничка с жаром взялась за подготовку к поступлению в медицинский институт.

Это известие умилило и обрадовало Александра Модестовича. Он поспешил поехать домой и еще больше умилился, застав Аничку в компании с двумя другими девушками в окружении учебников. Все они были, по-видимому, весьма увлечены занятиями и не заметили, как в комнату вошел Александр Модестович.

Аничка была одета в защитное платье военного образца, а когда повернулась к отцу, он увидел на ее высокой груди — да, у нее была уже высокая, прекрасной формы грудь — два ордена и медаль «За отвагу». А лицо! Лицо было поразительно спокойным и, как показалось Александру Модестовичу, очень значительным.

Увидев отца, Аничка обрадовалась и в то же время слегка встревожилась. Ребенок, так странно и быстро реагировавший на все душевные движения своей матери, зашевелился. «Это твой внук»,— мысленно обратилась Аничка к Александру

Модестовичу, и ей показалось немного комичным то, что у ее отца есть внук, а он не знает об этом.

Александр Модестович был счастлив, что дочь невредима и притом так мила и по-новому уравновешенна. Он полуторжественно, полушутливо поблагодарил ее за то, что она наконец удостоила вниманием медицину, при этом подчеркнув, что она, разумеется, вольна в своих действиях,— он намекал на то, что жалеет о прошлой размолвке и признает свою вину.

Девушки, смущенные появлением столь крупного медицинского светила, ушли. Александр Модестович решил отпраздновать счастливую встречу и достал бутылку вина, но ему пришлось пить одному, потому что Аничка, которая уже думала только о благополучии своего ребенка, боялась, что вино будет вредно для *него.*

Вечером Александр Модестович раздобыл билеты в Большой театр, и они пошли вдвоем смотреть балет «Лебединое озеро». Обстановка театра, старомодная роспись огромного потолка, торжественность тяжелого алого бархата, а главное, самый балет — музыка и безукоризненное изящество великой балерины Улановой,— все это составило столь грандиозный контраст со свежими воспоминаниями Анички, с картиной задымленных горизонтов, укрытых поблекшими осенними ветвями пушечных батарей, с бесконечными размытыми дорогами, по которым беспрестанно шли люди в шинелях и переваливались машины. А то обстоятельство, что публика так непосредственно и глубоко воспринимает красоту человеческого тела и созданных человеком звуков, как бы опять и опять оправдывало в собственных глазах Анички ее вынужденный уход из армии.

Аничка обращала на себя всеобщее внимание, и Александр Модестович не мог не заметить, с каким любопытством все смотрят на нее и на него. И он испытал чувство необычайной гордости за эту красивую, взрослую, сильную девушку, которая, как ни странно, была его дочкой.

Шли дни, и Аничка все не решалась сказать отцу о самом главном. Не решалась, очевидно, потому, что предчувствовала, как огорчен и подавлен будет Александр Модестович, сочтя свои прошлые подозрения справедливыми. По сути дела, они и оказались справедливыми с точки зрения человека, который не знает Акимова и, пожалуй, мало знает ее, Аничку. Взгляд голубых глаз отца, полных спокойной гордости за дочь, иногда приводил Аничку в трепет, и хотя она ни разу всерьез не

пожалела о том, что произошло, но тем не менее все откладывала решительное объяснение.

Вставая рано утром, когда Александр Модестович еще спал, она уходила за покупками, готовила завтрак, потом они, оживленно разговаривая, вместе ели. Им было весело друг с другом. Потом он уезжал в Наркомат обороны, а она возилась по хозяйству — убирала, готовила обед или сидя (чтобы не повредить *ему*, ребенку) стирала белье. Потом приходили ее две подружки, и они вместе занимались.

Александр Модестович с восхищением воспринял перемены, происшедшие с его дочерью: он ведь давно мечтал воспитать ее в любви к физическому труду, но благие пожелания его оставались невыполненными. Эти навыки дала ей армия. Полюбив за время войны армию, профессор Белозеров думал теперь о ней, в связи со своей дочерью, с особенным чувством благодарности и преклонения.

В канун нового 1944 года Аничка получила наконец целую пачку писем от Акимова. Все они были уложены в большой, сделанный из газеты пакет. Адрес на пакете был надписан неровным, разбросанным почерком капитана Дрозда.

Она прочитала акимовские письма одно за другим, даже не по порядку, а так — какое первым попадалось под руку. С каждым новым письмом она все больше удивлялась уму, силе выражения и сдержанной страсти Акимова. Ей было бесконечно приятно то, что он не только хороший и умный сам по себе, но и может выразить свои мысли на бумаге. Теперь только она уличила себя в том, что не вполне освободилась от институтской высокомерной привычки судить о людях по степени их грамотности, но подумала, что ей было бы неприятно, если бы ее избранник — каким бы героизмом он ни отличался на войне — оказался человеком малограмотным.

Она тут же написала длинное ответное письмо и побежала бросить письмо в почтовый ящик. А вернувшись, никак не могла приняться за учебники и все перечитывала письма, потом ей захотелось опять написать ему, и она написала второе письмо, еще длиннее первого, и снова побежала к почтовому ящику.

Встретить Новый год Александр Модестович решил вместе с дочерью у своего старого друга генерала Силаева, к которому недавно вернулась из эвакуации семья.

Эта новогодняя вечеринка должна была быть и прощаль-

ным ужином — Силаев только что получил назначение на фронт. Этого назначения он давно добивался, так как его обуревала тревога, что он не повоюет по-настоящему, не приобретет подлинного военного опыта, в таком избытке приобретаемого фронтовыми генералами.

Придя домой довольно поздно вечером, Александр Модестович стал торопить Аничку, чтобы она поскорей оделась.

Она решила проститься с военным платьем и надеть новое, гражданское, фасон которого сама придумала. Это было черное, длинное, закрытое шерстяное платье, с широким поясом и с широким, круглым, достигающим проймы рукава воротником из перемежающихся белых и черных полосок блестящего шелка. Рукава были просторные, длинные, схваченные в запястьях узкими манжетами из того же материала, что и воротник. Она выглядела в этом платье очень нарядной и старше своих лет. Волосы у нее уже отросли и красиво падали на плечи, на блестящие шелковые полоски воротника.

Взглянув в зеркало, она сама себя еле узнала и очень себе понравилась, и ей казалось, что она и военный переводчик Белозерова — совсем разные люди.

Ей не очень хотелось куда-либо идти, она была все время под впечатлением полученных писем Акимова, настроение у нее было очень радостное, тихое. За окном шел крупными хлопьями новогодний снег, и казалось, весь зимний город полон томительного и сладкого ожидания больших радостей.

Она то и дело взглядывала на столик, где лежали письма, и каждый раз улыбалась им.

Вошел Александр Модестович. И вдруг он посмотрел на дочь, одетую в нарядное платье, по-особому внимательно. Что-то непонятное, что-то новое в ее фигуре, женское, не по-девичьи плавное, поразило его.

Она, заметив его взгляд, слегка побледнела, потом подошла к отцу и просто сказала, без боязни, но очень серьезно:

— Да, папа, я беременна.

Разумеется, не следовало этого так говорить. Дипломатичнее было бы сказать: «Папа, я вышла замуж». А потом, уже позднее, может быть на следующий день, досказать остальное. Но эти слова, самые важные, сами собой сорвались с ее уст именно потому, что они были самыми важными, и она стремилась не говорить лишних слов и считала, что ниже ее достоинства продолжать заниматься дипломатией с собственным отцом.

Но то, как он отнесся к ее сообщению, сразу же исключило всякие дальнейшие объяснения. Его глаза стали оловянными, слепыми. Куда девалась его обычная доброта? Он глядел на дочь с негодованием и ужасом. Он сразу же решил, что был прав с самого начала, что она и в армию стремилась вовсе не ради общего дела. Он сразу уверовал в самое худшее.

«Неужели это моя дочь?» — думал Александр Модестович, немедленно забыв о своих собственных грехах молодости. Впрочем, неправильно будет сказать, что он забыл о них. Может быть, как раз напротив. Бессознательно вспомнив все свои непорядочные поступки по отношению к женщинам, он еще больше стал презирать Аничку, при этом меряя неизвестного ему Акимова на свой аршин. Некоторые отцы почему-то склонны считать, что возлюбленные их дочерей — негодяи. Не потому ли, что сами они, отцы, подчас оказывались негодяями?

Даже ее желание поступить в медицинский институт он считал теперь фальшивым, так как заподозрил Аничку в том, что она этим хотела только подольститься к отцу, задобрить его. Не было на свете низости, которую он не мог бы теперь приписать дочери.

Может быть, если бы Аничка попыталась поговорить с ним, рассказать ему обо всем подробно и спокойно, Александр Модестович сумел бы правильно оценить положение и побороть унизительное чувство почти мужской ревности. Но, чутко уловив ход его мыслей, Аничка вся вспыхнула от негодования и уязвленной гордости и презрительно сказала:

— Впрочем, это мое личное дело. Свои соображения по этому поводу прошу оставить при себе.

Она ушла к себе, а Александр Модестович постоял несколько минут неподвижно, потом вышел в коридор, оделся и ушел из дому. К Силаеву он уже, разумеется, не пошел. Второго января он решительно отказался от работы в Москве и уехал опять на фронт, на свою прежнюю должность.

## 5

Для того чтобы не жить на отцовские деньги, Аничка поступила на работу в библиотеку иностранной литературы. Она уходила туда утром, составляла каталоги и часто после работы оставалась там, упрямо готовясь к поступлению в институт.

Здесь же она писала письма Павлу, и все содержание этих писем — веселых, бодрых, с выдуманными смешными эпизодами, приключившимися якобы с ней,— настолько не походило на ее действительную жизнь, что это вызывало у нее самой слезы обиды. Она писала ему о хождениях в театр, подробно разбирала пьесу и игру актеров в спектаклях, виденных ею пять лет назад, исправно передавала ему приветы от отца, тети Нади и других родственников, а работу свою — почти техническую — в библиотеке изображала так, словно на свете не было более интересной, лучше оплачиваемой и веселой работы.

Письма от Акимова приходили почти каждый день. Он прислал ей аттестат на тысячу рублей в месяц, и ей стало легче жить.

Она часто ловила себя на том, что тоскует по армии — по общности интересов, чувству защищенности от бед и неожиданностей в большой семье взрослых, вооруженных, решительных людей. Она мечтала поехать служить туда, где находится Акимов, и, конечно, добилась бы своего, если бы не будущий ребенок. Она даже несколько раз думала, не лучше ли было бы без ребенка, но потом отвергала эту мысль. «А что, если родится большой человек, такой, как Ленин или Пушкин? Или хотя бы такой, как Павел?» — думала она наивно, но убежденно.

Она послала Акимову список мужских и женских имен на выбор. Из мужских он выбрал имя Андрей, из женских — Екатерина.

В июле исполнились сроки, и Аничка медленно пошла пешком на Большую Молчановку в родильный дом. Она думала о том, что было бы, если бы отец не поссорился с ней и если бы она не замкнулась от него, не желая из гордости сделать первый шаг к примирению. Сколько было бы машин, профессоров, нянек, телеграмм! Он бы и сам прилетел с фронта.

Но эти мысли вовсе не делали ее несчастной, а наоборот, ее нынешнее положение не профессорской дочки, а женщины такой, как все, самостоятельной, озабоченной, отвечающей за свои поступки перед людьми, было ей по душе и даже льстило ее самолюбию.

Рожениц было мало — всего пять на огромную многокоечную палату: война еще продолжалась.

Аничка родила в следующую ночь девочку. Одновременно у другой женщины родился мальчик.

Койка, на которой лежала другая роженица, с утра уже была завалена цветами и записками. К Аничке же никто не приходил, и это обстоятельство все-таки больно ее кольнуло, тем паче что она была немножко разочарована рождением девочки, а не мальчика, которого, как она знала, ожидал Акимов.

И вот в полдень няня принесла и ей сразу целых четыре букета цветов — тут были и розы, и фиалки, и флоксы, и даже запоздавшая в этом году сирень. Цветы так и посыпались на больничное одеяло и на столик возле кровати. Они напомнили Аничке загородные прогулки, тенистые дачные садики под Москвой, а главное — нечто такое, что она с трудом могла вспомнить, но что, казалось ей, было особенно важным. Наконец она вспомнила: позывные воинских подразделений в тот осенний день под Оршей, в ту душераздирающую разведку боем, когда она познакомилась с Акимовым. Из глаз ее пропали и эта палата, и большое дерево, то и дело сующее листву в распахнутое окно больницы, и сморщенное лицо больничной няни,— возникли мокрые траншеи и узкие лазы, бесконечные овраги и мятущиеся под сильным ветром и косым дождем заросли на берегу ручья.

Потом Аничке подали записки, и первая, раскрытая ею, была от Акимова. Аничка чуть не лишилась чувств, решив, что Акимов здесь, но тут же все объяснилось. Акимов писал: «Моя милая! Тебе передаст эту записку т. Ковалевский, корреспондент московской газеты. Он едет в Москву. Завидую ему зверски, что он увидит тебя. Спешу, катер ждет его. Он тебе расскажет все обо мне».

Тут же была записка и от Ковалевского:

«Уважаемая Анна Александровна, зашел к Вам домой, и соседи мне сказали, где Вы. Поздравляю Вас и посылаю от имени т. Акимова и от моего имени этот букет».

Записки были еще от тети Нади, от Тани Новиковой, от девушек, с которыми Аничка вместе готовилась в институт, и от капитана Дроздa, который, оказывается, еще с месяц назад приехал в Москву учиться в военной академии и именно сегодня решился разыскать ее.

Слабая от пережитых болей и волнений, Аничка не смогла ничего написать в ответ и попросила няню передать всем, что она здорова, чувствует себя хорошо и благодарит всех.

Внизу, в приемной, тетя Надя в это время строго и придир-

чиво допрашивала Ковалевского, кто такой Акимов, какой он, сколько ему лет, в каком он звании, порядочный ли он человек, понимает ли он свою ответственность и т. д. и т. п.

Дрозд стоял в стороне, угрюмый и молчаливый. Таня Новикова и другие девушки с небескорыстным любопытством будущих матерей осматривались кругом и, робея, приглядывались к мужьям рожениц, сидевшим с весьма виноватым и жалким видом людей, нанесших своим близким незаслуженную обиду.

Выписавшись из больницы, Аничка уступила настояниям тети Нади и переехала к ней. Надо отдать справедливость тете Наде: в ссоре Александра Модестовича с дочерью она была целиком на стороне Анички и о своем брате, которого боготворила, на сей раз отзывалась весьма непочтительно:

— Он дурак! Все мужчины дураки!

Ковалевский стал приходить к Аничке довольно часто. Он рассказывал ей об Акимове, о том, что ее муж сумел отличиться уже в первые дни своего пребывания в Северном флоте, и о том, что он был назначен самостоятельно командовать большим морским охотником, а затем командиром звена морских охотников. Рассказывая об Акимове с тем восхищением, которое было ему свойственно всегда в отношении моряков, Ковалевский даже не замечал, что изображает в своих рассказах свои личные отношения с Акимовым вовсе не такими, какими они были на самом деле,— то есть отношениями еле знакомых, случайно встретившихся людей,— а так, как будто они там, на Севере, были чуть ли не самыми близкими друзьями. Он поступал так не для того, чтобы обмануть Аничку, он и в самом деле чувствовал себя здесь, в Москве, близким другом Акимова и сам верил в свои рассказы. Он невольно рассказывал то, что слышал о нем, так, словно сам был свидетелем этому. Привез он однажды и две вырезки из газет, в которых Акимов упоминался как пример для подражания другим офицерам флота.

Аничка очень нравилась Ковалевскому. Он мог подолгу молча наблюдать, как она сидит на диване, очень белая, чистая, сосредоточенная, читает учебник и записывает что-то в тетрадь или что-нибудь шьет для своей девочки, время от времени поднимая на него глаза и ласково спрашивая:

— Вам не скучно?

Или говоря:

— Вы бы пошли куда-нибудь, где повеселее.

Он сознавал, что существует для нее только как друг Акимова, но это не обижало его. Он ни на что не претендовал. Просто ему нравилось быть здесь и глядеть на Аничку, любоваться ею, удивляться тому, как она превозмогает вечное желание спать — она теперь из-за девочки постоянно недосыпала — и все занимается или возится с ребенком.

Девочка в «свидетельстве о рождении» называлась Екатериной Павловной Акимовой, и было немножко смешно, что малютка имеет такое серьезное и длинное имя. Вообще в ней было много странного и смешного. Больше всего удивляло, смешило и трогало то, что на ее лице — особенно во время сна — бессознательно отражались еще несвойственные ей чувства и состояния: гнев, презрение, равнодушие, задумчивость, высокомерие, легкомыслие, серьезность — все те чувства и состояния, которые когда-нибудь станут чертами характера.

Для матери эта маленькая девочка составляла целый мир. Аничка так привязалась к ней, что уже с трудом могла себе представить, как она жила без Катеньки. То время казалось ей очень далеким. Все вопросы войны, мира, будущего, все проблемы послевоенного устройства — все это Аничка рассматривала теперь в свете дальнейшей жизни ее ребенка.

Став матерью, Аничка и сама казалась себе более значительным, сложным и драгоценным организмом. Она с удивлением думала о своем теле, способном на такое чудо, как рождение человека. Она берегла себя, боялась даже слишком быстро перейти улицу, чтобы не рисковать своей, такой необходимой теперь, жизнью. Вспоминая, как легко рисковала она жизнью на фронте, Аничка задним числом ужасалась при мысли, что Катеньки могло бы не быть.

Ковалевский глядел на Аничку и ее ребенка с обожанием и решил про себя, что образ матери с младенцем недаром занимает такое большое место во всех религиях. А при мысли о том, что на дальнем севере России отец этой девочки сражается за ее будущее, Ковалевский чувствовал, что его глаза наполняются слезами.

На дальнем севере России в это время было лето и солнце не заходило вовсе. Бесконечный день заменил бесконечную ночь. Среди гранитных скал проросла зеленая трава. С моря на сушу неслись причудливые тучи разных оттенков — от молочного до темно-лилового. Иногда они опускались ниже седым туманом и покрывали скалистые горы, так что казалось, что

кругом — туманная и сырая низменность. Но потом их угонял ветер, и они уносились с быстротою дыма, обнажая вершины скал и мачты стоявших в заливе кораблей.

Большое красное солнце склонялось к морю, вот-вот оно исчезнет, скроется с глаз. Казалось, оно само мечтает охладить в море свою раскаленную голову. Но что-то сильное и невидимое останавливало ход солнца к закату, и оно оставалось в небе, роняя вокруг кровавые и лиловые полосы, словно пригвожденное незримыми гвоздями.

— Сейчас там хорошо,— говорил Ковалевский Аничке.— Сейчас там жить и воевать неплохо, я вам точно говорю. Я сам хочу туда скорее поехать. Скоро там начнется наступление.

Он действительно все время просился на Север, но командировку получил только в сентябре. Он сейчас же побежал к Аничке. Она собрала для Акимова посылку, написала письмо, сфотографировала Катю.

Весь под впечатлением встреч с Аничкой, безнадежно и тайно влюбленный, с чувством глубокой, незлобивой зависти к Акимову, Ковалевский выехал из Москвы. Несколько дней он провел в Мурманске, а прибыв на базу флота, первым делом пошел разыскать Акимова. В Аничкиной посылке были яблоки, и он опасался, как бы они не сгнили.

Однако Акимова он на старом месте не нашел. Акимов был недавно откомандирован на полуостров Рыбачий в морскую пехоту. Ковалевский, во всякой мелочи искавший подтверждения своих догадок о предстоящем наступлении, подумал, что мероприятия командования по укреплению морской пехоты опытными кадрами — тоже один из показателей близости важных событий.

Приближение решительного часа чувствовалось по многим приметам. Командующий флотом то и дело вылетал в штаб Карельского фронта. На базе флота стали часто появляться пехотные генералы. Армейские соединения получали пополнения людьми и машинами. Корабли спешно ремонтировались. Подводные лодки и морская авиация расширяли круг своих действий, круша и разрывая морские коммуникации 20-й Лапландской армии Гитлера.

В связи со всеми этими новостями Ковалевский совсем забегался и только в начале октября выбрался наконец на Рыбачий.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### *Берег*

#### 1

В самый разгар подготовки к прорыву немецкой обороны на горном хребте Муста-Тунтури, когда вся операция уже была разработана до тонкостей и каждая часть знала полосы своего наступления; когда морская и полевая пехота, расположенная на полуостровах Рыбачьем и Среднем, ликовала в предвкушении великого часа,— отдельный батальон морской пехоты, стоявший на левом фланге, получил приказ о смене.

Люди жили здесь долгие месяцы и годы в болотах, в трещинах скал, в складках известняка, в изломах шиферных плит, под круглосуточным обстрелом и бомбежкой. Известия о наступательных операциях других фронтов они воспринимали с неподдельной завистью. И вот в тот момент, когда наступление и здесь, в этом далеком медвежьем углу, стало реальным делом, их внезапно отзывали.

Генерал, командовавший войсками на полуостровах, сказал командиру батальона:

— Имейте в виду, Акимов. Ничего не сообщайте своим людям до самой смены. Так будет лучше.

Комбат усмехнулся, но генералу эта усмешка показалась вовсе не уместной, и он строго сказал:

— Поняли?

— Понял,— ответил комбат. Легкая усмешка все еще не сходила с его лица. Он спросил: — Не знаете, товарищ генерал, куда нас?

Генерал ничего не ответил, словно не слышал вопроса.

Покинув блиндаж генерала, Акимов отправился к себе в батальон, на передний край.

Он шел, насвистывая песенку, с легким средцем, как некогда в детстве, когда отправлялся с ребятами в лес ловить птиц. Они шли с банками из-под консервов, полными живых тараканов и червей, и с самодельными лучками для ловли. Укрывшись в кустах тальника, они слушали соловьиную песню, восхищались ее «коленами», зачарованным шепотом называя

каждое колено его принятым в народе именем: «почин», «клыканье», «желна», «пленьканье», «лешева дудка», «водопойная россыпь»...

Вообще он часто ощущал себя совсем молодым в последнее время. Это ощущение появилось в нем после получения от Анички ее первого письма. Он никогда раньше не думал, что несколько страничек бумаги, исписанных круглым женским почерком, способны сделать переворот не только в настроении человека, но и в его физическом самочувствии. Как ни странно, он чувствовал себя теперь просто здоровее и моложе, не говоря уже об усвоенной им постоянной и ровной благожелательности к людям.

Он читал это первое письмо на палубе своего катера после возвращения из очередной операции. Никто, казалось, не обращал на него внимания, и он краснел и бледнел, замирая от острого счастья на каждом слове. Потом он прочитал письмо еще раз и спрятал его в карман. После этого он постоял неподвижно не меньше трех минут и опомнился, только услышав дружелюбный голос одного из матросов, сказавшего не то вопросительно, не то утвердительно:

— Дома оказалось все в порядке, товарищ командир?

Акимов посмотрел на этого человека. Его звали Матюхин, он был родом из Кронштадта. На его лице рыжели крупные веснушки. Это круглое веселое лицо показалось Акимову необыкновенно милым, а вопрос Матюхина неожиданно раскрыл глаза Акимову на то, что люди его экипажа гораздо более тонкие наблюдатели, чем он думал раньше.

На следующий день Акимов получил второе письмо, затем письма стали приходить регулярно. Если вначале Акимов был вполне поглощен своей радостью, то позже не мог не осыпать себя жесточайшими упреками. «Каким же надо быть маленьким и гнусным человечком,— думал он,— чтобы думать об Аничке то, что я думал раньше!» Он твердил себе, что честнее всего было бы написать ей, что она полюбила человека нехорошего, полного самых отрицательных черт и недостойного ее.

Он не понимал, откуда в его сердце возникла слепая и ярая сила, которая настолько поработила его ум, что он был готов отречься от Анички. Правда, он теперь вдруг понял, что несмотря на все свои мучительные подозрения, он все время где-то в душе был тем не менее глубочайшим образом убежден в ее верности и душевной чистоте. Поразительно, что эта глубо-

кая уверенность, жившая в нем, могла существовать рядом с самыми тяжелыми сомнениями.

К Матюхину он очень привязался. Позднее, когда его перевели на Рыбачий в морскую пехоту, он взял Матюхина с собой вестовым.

Вообще после получения Аничкиных писем он стал мягче и внимательнее к людям. Он стал больше интересоваться личными делами матросов. Если раньше они говорили между собой, что их командир «строгий и справедливый», теперь они говорили о нем короче: «хороший».

Он все это прекрасно замечал и даже задавал себе вопрос: где сильнее дисциплина — там, где командир строг, или там, где он требователен, но добр. И пришел к выводу, что на катере моряки слушались каждого его слова потому, что они были, во-первых, людьми долга, во-вторых, боялись командира; здесь же, в батальоне морской пехоты,— потому, что были людьми долга и боялись *огорчить* командира.

Дисциплина второго рода была выше.

Командный пункт батальона располагался в известковой скале, в пещере. Вестовой Матюхин, увидав комбата, широко улыбнулся и встал с места, но принять положение «смирно» не смог — пещера была для этого слишком низка.

— Садись, еще стукнешься от излишнего усердия,— наполовину ласково, наполовину насмешливо сказал Акимов и вошел в пещеру.

Матюхин пытливо взглянул на комбата, но не решился спросить, по каким делам командира вызывало начальство. Он уже хорошо изучил характер Акимова и знал, что тот в лучшем случае отделается ничего не значащей шуткой, например:

— В пехоте ординарцы не такие болтуны.

Матюхин любил слушать рассказы комбата о боях на Большой земле и о солдатах, воюющих там. В минуты затишья Акимов — чаще всего лежа — вспоминал бои за Ельню и Смоленск и тяжелые времена 1942 года на Кавказе.

— А где вам больше нравится, в пехоте или тут, на море? — спрашивал Матюхин.

— Ну как тебе сказать? — задумчиво усмехаясь и как будто о чем-то вспоминая, отвечал Акимов.— В бою на суше веселее. Все-таки там под ногами земля, ямку выкопаешь и сидишь. Кроме того, тут лес, там рощица, рядом ржаное поле — замри и жди команды. Вот ты моряк, вырос на Балтике, что ты зна-

ешь? Море, гавань — и все. Море да море — а что такое море? Если подумать, то это только много воды, да и то соленой. А суша — штука разнообразная, пестрая, там и горы, и холмы, и луга. А какие перелески! А какие опушки! Глазу интересно.— Он все усмехался и кончал так: — Хорошо там, где нас нет. А вспоминать все приятно.

Окидывая взглядом пещеру, Матюхин размышлял о том, что вот скоро и это кончится и будет казаться приятным воспоминанием. «Интересно, что ему там сказали в штабе, скоро ли ударим?» — думал Матюхин, искоса поглядывая на комбата.

Все выяснилось позднее, когда пришли три пехотных офицера, прибывших из части, которая должна была сменить батальон Акимова. Часть эта оказалась штурмовой инженерной бригадой.

Саперы с любопытством и удивлением огляделись.

Пещера уходила в глубь скалы. Голоса звучали здесь странно, гулко, эхо разносило их, ударяло о выступы и стены и приносило обратно измененными. На естественных полочках, которые, казалось, были специально выбиты в известняке, лежали в образцовом порядке предметы военного обихода — котелки, противогазы, ручные гранаты. У одной из стен стояла превосходная никелированная койка комбата. Ниже висели барометр и богато украшенный немецкий секстан. Пол был устлан резиновыми ковриками явно корабельного происхождения. Столик и несколько стульев — тоже все морского образца.

Дальше в глубину пещера была застелена тюфяками, на которых спали матросы штаба батальона. Там, в густом мраке, горела самодельная лампочка, кто-то двигался, тихо разговаривал. Хотя между «кубриком» — помещением матросов и «кают-компанией» — помещением офицеров не было никакой перегородки, но существовала условная, воображаемая перегородка, и когда из темноты к этой условной границе подходил матрос, он неизменно спрашивал:

— Разрешите?

Акимов, заметив удивление саперов, сказал:

— Что, понравилась наша пещера? Мы постарались обставить ее получше. Это мой вестовой, или как там по-вашему — ординарец, что ли? — большой специалист по части уюта.

Матюхин разливал чай для офицеров из огромного жестяного чайника в такие же большие кружки. Он глядел на саперов

настороженно и даже враждебно. «Пришли на готовое»,— бормотал он, громко стуча кружками.

Самый молодой из прибывших, худенький инженер-капитан, изумленно покачивал головой.

— В первый раз тут, на Рыбачьем? — спросил его Акимов.

— Он вообще на Севере впервые,— ответил за капитана инженер-подполковник.— Недавно из Москвы. И, как на грех, попал в сплошную ночь.

— Да,— подтвердил инженер-капитан.— Это очень странно. В книгах все кажется естественно, а посмотришь на самом деле — странно.

— Чаще бывает наоборот,— коротко рассмеялся Акимов, потом, внимательно взглянув на инженер-капитана, добавил: — Ничего, привыкнете, и вам здесь понравится. Небось еще писем из дому не получали?

— Не получал,— удивился и слегка покраснел инженер-капитан.

Непринужденно беседуя с саперами, Акимов на самом деле испытывал чувство тревоги. Вначале он сам не отдавал себе отчета, что именно тревожит его, но позднее понял: воспоминание о смене частей в прошлом году, под Оршей.

— Все это имущество,— начал он неторопливо рассказывать,— с затопленного немецкого тральщика. Наши торпедные катера его подбили, а береговая артиллерия добила. Он возьми и затони неподалеку, почти возле нас. Тут мы сорганизовали свой собственный «эпрон». Мои морячки стали доставать со дна Баренцева моря то сундук, то стол, то койку. Вот и секстан притащили. В общем, массу ненужных вещей. Ясное дело, больше всех отличился вот этот орел, Матюхин. Он даже бочонок какого-то древесного спирта выудил. Решил меня побаловать. Ну, спирт я его заставил вылить в море. Теперь там, наверно, вся рыбка передохла.

Матюхин покраснел до корней волос. Все засмеялись.

Акимов, рассказывая, все глядел исподлобья на инженер-подполковника, думая: «Вот сейчас возьмет и скажет: дескать, рассказываешь ты складно, но дело в том, что нам неясна группировка и численность войск противника, просим произвести разведку боем».

Но инженер-подполковник только по-детски похохатывал, потом поднялся с места и сказал:

— Ну спасибо, товарищ капитан третьего ранга... Мы пойдем к себе. Смену, как приказано, проведем в шесть утра.

— Тут совсем запутаешься с этим временем,— пробормотал инженер-капитан.

Когда они ушли, Акимов, по правде говоря, вздохнул с облегчением.

В пещере остались только свои офицеры — замполит капитан-лейтенант Мартынов и командиры рот — лейтенанты Козловский, Венцов и Миневич.

— Куда это нас, как ты думаешь? — спросил Мартынов.

Остальные сидели, нахохлившись, сокрушенно качали головами. Неожиданный приказ о сдаче участка казался всем странным, непонятным и несправедливым.

Акимов сказал:

— Не знаю я, ничего не знаю. Думаете, не спрашивал? Спрашивал. Генерал молчит. Может, сам не знает. Одним словом, записывайте маршрут и прощайтесь с Рыбачьим. Проверьте все до последнего хлястика. Почистить оружие и побрить всех.

Усмехаясь про себя, глядел Акимов на хмурые лица своих офицеров и испытывал успокоительное чувство от сознания, что он уходит отсюда не один, а с ними, вот этими людьми, которых он успел полюбить за короткий срок совместной службы. Это было куда приятнее, чем уйти одному, как он уходил, например, из полка майора Головина, с морского охотника Бадейкина и потом — из звена морских охотников, которым командовал в последнее время.

Может быть, это ему казалось теперь, но морские пехотинцы нравились ему больше, чем просто пехотинцы, и больше, чем просто моряки. Дело в том, что они были и теми и другими. В них была особенная спаянность, порывистая удаль, гордость своей причастностью к морю, внешняя и внутренняя культура, свойственные морякам, и в то же время — основательность, настойчивость, гордость тем обстоятельством, что именно они своим продвижением по земле решают успех сражения, трезвая и расчетливая храбрость, свойственные пехоте.

Прибыв сюда полтора месяца назад, Акимов должен был признать, что он ничего подобного по трудности условий жизни раньше не видывал. И все-таки морские пехотинцы имели на редкость молодцеватый вид. Здесь стояло войско обстрелянное, прокалившееся на северном ветру, насквозь просоленное морем,

связанное безупречной морской дружбой, шагающее по скалам и пятнистой тундре вразвалку, как по корабельной палубе.

Мартынов, потомственный моряк-ленинградец, очень высокий, очень худой, с вечной трубкой в зубах, с широкими, прямыми, даже чуть приподнятыми кверху плечами, был всегда сдержан и спокоен, аккуратен, чисто выбрит и вымыт. Принадлежности его туалета вызывали удивление: там были разные щеточки и щетки, губки и мыльницы,— все это блестело никелем и белыми костяными ручками. Его вошедшая в поговорку опрятность была так непохожа на интеллигентскую небрежность в одежде покойного Ремизова! И все же Акимов находил в них нечто родственное: прямолинейную, но безграничную до самозабвения преданность общему делу и умение страдать молча.

Козловский был невысокого роста, но очень складный смуглый юноша, с живыми глазами и маленькой изящной головкой на длинной юной шее. Венцов, напротив, был плотный, широкоплечий, безбровый крепыш с толстыми добрыми губами. Нервное тонкое лицо Миневича с черными усиками и фатовскими бачками все время подергивалось.

Все они, как и другие морские пехотинцы, были одеты в шинели армейского образца, но что-то неуловимое выдавало их принадлежность к сословию моряков. Их мечтой было вернуться на корабли, но, пока это не могло осуществиться, кораблем был для них и этот полуостров, и эта пещера, и вообще весь мир. Миневич — тот даже носил на шапке пехотинца морскую эмблему, так называемого «краба» с золотым якорем.

Выпив чаю, лейтенанты отправились к себе в роты. Акимов с Мартыновым тоже собрались туда, но их задержало появление ближайшего соседа по участку — капитана третьего ранга Селезнева. Ему жаль было расставаться с Акимовым — он уже прослышал о смене,— и он выглядел очень грустным, но тем не менее стал отбирать из «оборудования» акимовской пещеры то, что могло пригодиться ему и что он вовсе не желал оставлять саперам.

Акимов сказал:

— Ладно, ты тут смотри, что тебе нужно, а я пошел в подразделения.

Передний край располагался вдоль скал, один опорный пункт соединялся с другим головокружительными тропками, по

которым вились телефонный провод и толстая веревка. Этих веревок по всему переднему краю тянулось множество, так как в темноте полярной ночи можно было попасть туда, куда требовалось, только держась за них.

Но теперь был полдень, то короткое время, которое служило единственным напоминанием о том, что где-то существует дневной свет.

Стоя у обрыва, Акимов услышал внизу, среди груды камней, недовольные голоса.

— Уже знают,— сказал Акимов.

Заслышав шаги и узнав комбата и замполита, матросы замолчали.

Акимов позвал:

— Туляков!

— Есть! — отозвался главстаршина Туляков и повернул к командиру серьезное лицо с очень черными густыми бровями.

— Что, загрустил?

— Немножко, товарищ капитан третьего ранга. Жаль, конечно, уходить отсюда перед наступлением. Я здесь три раза свой день рождения справлял, в этих скалистых горах. Тут состарился, можно сказать.

— И я здесь третий год,— сказал старшина 1-й статьи Егоров. Он сверкнул глазами и, показывая рукой в сторону противника, неожиданно с яростью произнес: — Ух, проклятый! Мечтал я — доберусь до тебя наконец, рассчитаюсь за все три года...— Его большая узловатая рука сжалась в кулак и, ослабев, опустилась вниз. Он взглянул на Акимова, застенчиво улыбнулся и пояснил: — Я все ихние повадки изучил, некоторых даже личность запомнил.

Старшина 2-й статьи Гунявин спросил откуда-то издали, из полутьмы:

— А не знаете, куда нас? В резерв, что ли?

В этом вопросе послышалась такая неподдельная тревога, что Акимов улыбнулся и сказал:

— Зря беспокоитесь, ребята. Вола в гости зовут не мед пить, а воду возить.

Все засмеялись.

— Этот скажет...— одобрительно прошептал Егоров.

Не без гордости глядели бойцы снизу вверх на крупную фигуру своего комбата. Они успели полюбить его и нередко хвалились перед бойцами из других батальонов:

— У нас комбат воевал в пехоте под Москвой и Смоленском. С ним не страшно.

Акимов пошел дальше. На повороте тропинки он остановился и поглядел на немецкий передний край. Горный хребет Муста-Тунтури возвышался за перешейком. Сплошное нагромождение почти отвесных скал,— по крайней мере отсюда казалось, что они непреодолимы. Простым глазом можно было различить вражеские укрепления, многоярусные полосы каменных и железобетонных огневых точек.

Глядя на эту мощную оборону, Акимов вспомнил о том, как он год назад под Оршей глядел из амбразуры на захваченную немцами белорусскую землю и мечтал пойти вперед и вперед, чтобы освободить стонущую под игом захватчиков Европу. Эта мечта в то время казалась страшно далекой. Теперь наши войска стояли на западе под Варшавой, а на юге сражались в Румынии, Югославии и Венгрии. Здесь, на севере, не настала ли очередь Норвегии?

— А как ты думаешь, куда нас пошлют? — неожиданно спросил Акимов, обращаясь к Мартынову. Не дождавшись ответа, он пристально посмотрел на Мартынова и проговорил: — А я вот думаю, что в десант.

Мартынов встрепенулся:

— А почему ты думаешь, что в десант?

— Больше некуда. Если я не ошибся, то мы через пару деньков окажемся в тылу у всех этих горцев из Тироля и Штейермарка.

— Вот как? — озабоченно произнес Мартынов. Подумав, он сказал: — Не нужно пока о твоих предположениях рассказывать матросам.

Акимов махнул рукой.

— Матросам? — переспросил он.— Они все сами поймут, если уже не поняли. От солдата разве что-нибудь скроешь?

По переднему краю шла негромкая суета, лязгало оружие, раздавались нетерпеливые голоса ротных старшин. Люди спешили завершить все приготовления в светлое время, которое уже кончалось. Темнело быстро, и когда Акимов вернулся к пещере, густая темнота окутала все кругом.

Селезнев уже собирался уходить.

— Секстан возьми,— сказал Акимов.

— А зачем?

— Хороший. Жалко бросать. Будет тебе память.

— Ладно. Спасибо. Пришлю своих парней за имуществом.
— Смотри поспеши, не то саперы захватят.

Тут в разговор вмешался Матюхин. Он негодующе сказал:
— А койку, товарищ комбат? Неужели мы койки оставим?

Акимов, прищурясь, ответил:
— Бери что хочешь, но учти — на своей спине все понесешь.

Это предупреждение сразу же образумило Матюхина, и он, хотя и не без сожаления, бросил прощальный взгляд на никелированную койку и на весь пещерный уют, который он создавал здесь с таким трудом собственными руками.

Это уже все прошло, уже становилось воспоминанием. А что будет впереди — неизвестно.

## 2

На следующий день в пещеру Акимова, где расположились саперы, явился Ковалевский. Он порядком устал, так как от самой машины тащил через скалы посылку с яблоками.

Узнав, что Акимов со своим батальоном ушел в неизвестном направлении, Ковалевский очень расстроился. Он собрался было отправиться обратно, но его заинтересовали саперы. Поговорив с ними, он сел на корабельную койку писать про них корреспонденцию. «Эти саперы, хотя они и не моряки, тоже удивительно храбрые люди»,— растроганно думал он, быстро водя карандашом по страничкам блокнота. Потом он пошел в соседние части морской пехоты, по дороге попал под сильный обстрел противника, полежал в обнимку с Аничкиной посылкой полчаса под огнем и, благополучно выбравшись оттуда, встретился с известным во флоте главстаршиной, Героем Советского Союза, о котором давно мечтал написать очерк.

Разговор с ним занял часа три. Затем Ковалевский пообедал в одном из полков сухарями и жидким супом и собрался уходить, но узнал, что береговая батарея, расположенная неподалеку, на днях потопила немецкую самоходную баржу. Материал показался ему интересным, и он отправился туда. По дороге он и сопровождавший его солдат попали под пулеметный обстрел и еле выбрались.

Ковалевский считал себя отъявленным трусом и очень страдал от этого. Тысячу раз за день душа его уходила в пятки, но

он все-таки упрямо полз туда, где его ожидала интересная встреча, важный разговор — все то, что он называл «материалом».

Бледный после пережитых волнений, он усаживался с солдатами, записывал, расспрашивал, завидовал их спокойствию и не замечал, что солдаты глядят на него одобрительно: «Молодец корреспондент, забрался к нам на самую передовую». Ему казалось, что они видят насквозь все то, что творится у него в душе. Впрочем, они, может быть, это и замечали, но не только не осуждали его а, наоборот, с уважением и даже некоторым удивлением думали: «Пищит, а лезет».

Покончив со своими делами, Ковалевский снова взвалил ящик с яблоками себе на плечо и стал пробираться обратно к ожидавшей его машине. Под прикрытием скал, далеко от передовой, он повеселел и приободрился. Но здесь он встретил знакомых офицеров, только что вернувшихся с экстренного совещания у командующего флотом. Они сообщили Ковалевскому, что на следующее утро начинается наступление — прорыв на Муста-Тунтури. Ковалевский сразу же вернулся обратно, сдал ящик с яблоками на хранение в баталерку одной из частей морской пехоты и, замирая от волнения, приготовился смотреть и записывать.

На передовой было тихо и темно. И вдруг все вскочили со своих мест: не очень далеко на северо-западе послышалась артиллерийская пальба, а в промежутках — частая пулеметная дробь.

— Это где, это где? — заволновался Ковалевский.

Капитан третьего ранга Селезнев схватил планшет, посмотрел на карту и сказал:

— Да. Фьорд Маттивуоно: Не иначе, наш десант там высадился. Там и Акимов, ручаюсь!

У Ковалевского сжалось сердце — он достаточно ясно представлял себе, что значит десант в тылу противника, и не мог не вспомнить Аничку Белозерову и ее ребенка.

Немцы на Муста-Тунтури, услышав гром сражения за своей спиной, начали на всякий случай бешено обстреливать советские позиции на полуострове Среднем. Но здесь наша артиллерия молчала, как будто на позициях все уснули. И только позднее, через несколько часов, когда командование убедилось в полном успехе высаженного десанта, артиллерия, сосредоточенная на Рыбачьем и Среднем, начала свое наступление.

Артподготовка продолжалась полтора часа, затем стрелковые полки и части морской пехоты поднялись в атаку. Горноегерские войска генерала Рендулиц не оказали серьезного сопротивления, и хребет Муста-Тунтури вскоре покрылся лезущими вверх, цепляющимися за уступы скал советскими солдатами, осветился вспышками гранат и огласился торжествующими криками «ура».

Прибывшие вскоре офицеры штаба корпуса сообщили Ковалевскому, что десантные части перерезали дорогу на Поровара и тем самым привели в смятение немцев на Муста-Тунтури, что и решило успех прорыва.

Это было 10 октября.

Войска хлынули в западном направлении. Ковалевский сел в машину, которую к нему прикрепили по личному распоряжению командующего флотом, и, с трудом лавируя среди множества грузовых машин, вездеходов и артиллерийских орудий на гусеницах, поехал вслед за наступающими частями.

Несмотря на все события, он не забывал и о поручении Анички и спрашивал у каждого встречного-поперечного, где Акимов. Оказалось, что батальон Акимова действительно высадился вместе с другими частями у фьорда Маттивуопо, но где находятся десантные части теперь, никто толком не знал. Ходили слухи, что в ночь на 13 октября флот высадил десант морской пехоты вблизи военно-морской базы Лиинахамари. Моряки овладели этим портом и таким образом лишили немецкое командование возможности вывезти свои части из Линахамари морем. Может быть, Акимов находился там.

Наступающие войска продвигались довольно медленно, так как дорога тянулась по голому плоскогорью, покрытому разбросанными здесь и там кучами камней и изобиловавшему трясинами и болотами. За передовыми подразделениями шли инженерные части, которые прокладывали путь машинам и орудиям через эту убогую, болотистую тундру.

Часто машины застревали в трясинах, их быстро разгружали; снаряды уносили на плечах к ушедшим вперед пушкам, а машины выволакивали на руках из грязи. Беспрерывно шел дождь и снег, было холодно и сыро. Несколько раз застревала и машина Ковалевского, и он врывался в строй какой-нибудь идущей неподалеку части с требованием помочь ему вытащить машину. Солдаты шли к нему на помощь без особой охоты, удивляясь, по какой такой причине старший лейтенант

разъезжает на легковой. Но стоило ему заявить о том, что он корреспондент, как они дружно брались за дело — им было приятно, по-видимому, то обстоятельство, что некто со стороны видит их тяжелый труд и сумеет все это сделать, может быть, достоянием множества людей где-то там, на дальнем юге. Москва тут тоже считалась дальним югом.

Ковалевский разыскал военный телеграф штаба корпуса и передал полную восклицательных знаков корреспонденцию. Она начиналась словами: «Моя машина движется среди наступающих войск. Впереди — Печенга».

Печенга, или, как ее называли ранее по-фински,— Петсамо, уже была действительно близко. Окутанная туманом низина содрогалась от гула. Привезли на машине трех немецких пленных, очень пришибленных, измученных. Это были жители Тироля, прошедшие выучку в Альпах под руководством Шернера и Дитля. Они теперь имели жалкий вид, совсем не тот, что в начале кампании, именуемой в документах германского генштаба операцией «Голубой песец».

Потолковав с ними тут же возле машины, Ковалевский быстро набросал и передал по телеграфу очередную корреспонденцию, которую начал словами: «Вот они, «герои» Крита и Нарвика! Они медленно идут по тундре, низко опустив головы...»

На следующий день после взятия Петсамо Ковалевский был уже там. Он расспрашивал генералов и солдат, беседовал с моряками и пехотинцами. Ему казалось, что весь мир смотрит теперь на север.

Петсамо! Это было место, где базировались немецкие корабли, отсюда налетала вражеская авиация на многострадальный Мурманск. Теперь это место, казавшееся раньше таким опасным и недосягаемым, находилось в наших руках.

Ковалевский приютился при штабе одной бригады и написал несколько корреспонденций. Первая из них начиналась словами: «Моя машина медленно едет по улицам освобожденной Печенги».

Истины ради следует сказать, что никаких улиц тут не было, а была одна-единственная улица, вернее — дорога, вдоль которой стояли редкие, раскиданные здесь и там деревянные строения.

О посылке для Акимова Ковалевский забыл, а вспомнив, почувствовал угрызения совести и побежал к находившемуся в

городе представителю флота, чтобы узнать, где же наконец он может увидеть Акимова.

Ему сказали, что скорее всего Акимов находится в районе Линахамари. Ковалевский собрался туда, но тут выяснилось, что посылка с яблоками уплыла: часть морской пехоты, в которой она хранилась, пошла по направлению к норвежской границе.

— Ах, какой ужас! — воскликнул Ковалевский.

Эти яблоки стали его манией. Ему очень хотелось привезти их Акимову, обрадовать его, услышать слова благодарности. Еще бы: свежие яблоки на севере!

Он предвкушал удовольствие, которое доставит Акимову, и горькую радость, которую сам он, Ковалевский, испытает, рассказывая Акимову об Аничке, о маленькой Кате, о том, как хорошо Аничка выдержала экзамен в институт и как сильно любит она Акимова.

Решив, что эти известия все-таки важнее яблок, Ковалевский поехал в Линахамари, но Акимова уже там не застал: за несколько часов до этого десантные части снова были погружены на корабли и ушли в море, в неизвестном направлении.

### 3

Морская пехота по приказу Военного совета погрузилась на десантные корабли, с тем чтобы высадиться — в третий раз за последние дни — в тыл и фланг немцам, но уже на норвежскую территорию.

План десантной операции был таков: впереди следовало десять катеров-охотников с передовыми отрядами. Следом за ними, примерно на расстоянии десяти миль, шел первый эшелон — отряд сторожевых кораблей и отряд тральщиков по десять вымпелов каждый, а еще в десяти — двенадцати милях позади — второй эшелон.

Погрузка происходила в полной тишине. Только поскрипывали сходни да позвякивало оружие.

Перед самой погрузкой приехал командующий флотом. Он прошел по берегу в сопровождении своих штабных офицеров от батальона к батальону, от роты к роте. То тут, то там вспыхивали карманные фонари, освещая адмиралу дорогу.

Подойдя к батальону Акимова, адмирал спросил своим кар-

тавящим говорком, известным всем морякам Севера до последнего кока:

— Кто здесь грузится?

Акимов отдал установленный рапорт. Командующий в сопровождении Акимова обошел морских пехотинцев, поговорил с ними и собрался идти дальше, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Рябоватое открытое лицо комбата было сосредоточенным и суровым.

Вдруг адмирал спросил:

— А не хочется вам обратно на корабль?

Акимов удивился. Ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он слышал обращенный к нему точной такой же вопрос, произнесенный тоже в темноте и тоже при свете карманного фонарика. Но он не мог вспомнить, было ли это на самом деле или ему только мерещится, что было.

— Командованию виднее,— ответил он уклончиво.

Адмирал выключил фонарик. Сразу стало очень темно. Помолчав, он сказал:

— Держитесь, Акимов. Вот еще эту операцию проведете, и я вас заберу обратно. Повоевали на суше — и довольно. Договорились?

— Есть,— сказал Акимов. И вдруг, пожалев адмирала, голос которого звучал устало и озабоченно, добавил: — Вы не беспокойтесь, товарищ командующий. Мы все сделаем.

Адмирал порывисто пожал руку комбата и, не сказав больше ни слова, пошел дальше вдоль берега. Свет карманных фонариков вскоре потерялся вдалеке.

Акимов подошел к предназначенному для него катеру-охотнику. На этом катере с ним должна была грузиться рота Козловского. Остальные роты шли в первом эшелоне.

Погрузка шла уже полным ходом. Матросы с катера в темноте негромко командовали пехотинцами, распределяя их по кубрикам.

Кто-то из матросов добродушно говорил:

— Не забудь, Сережа, поставить чумички и ведра, а то начнут травить, заблюют нашу коробку. Море шквальное.

— Не бойся, не заблюем,— отвечал так же добродушно кто-то из пехотинцев.— Видали мы коробки почище твоей.

— Видали, видали. Брось курить, вот тебе и видали...

— Хе-хе...

Взойдя по сходням, Акимов с минуту поглядел, как его

люди скрываются в люке и размещаются па палубе, потом пошел к мостику — познакомиться с командиром катера. От такого знакомства и, по возможности, дружеских отношений с хозяином десантного корабля во многом зависел успех высадки.

У самого входа на мостик Акимов столкнулся с кем-то из экипажа и, всмотревшись, узнал по грузной фигуре и пышным усам боцмана Жигало.

— Жигало! Иван Иванович! — воскликнул Акимов, все еще не веря своим глазам.

— Павел Гордеевич! Ей-богу, Павел Гордеевич!

Жигало крепко пожал протянутую ему руку и сказал:

— Ну и обрадуется наш-то!

Акимов быстро поднялся на мостик и заключил в свои объятия маленького лейтенанта, который от волнения даже стал заикаться и только повторял:

— Вот не ожидал...

Они не успели ни о чем поговорить, как был дан сигнал о выходе.

Шторм достигал семи баллов. Катер-охотник кидало, как щепку. «Баренцева бочка» выпустила на десантные суда всех своих чертей и водяных. Все это выло, визжало и исступленно кидалось на корабли.

Стоя рядом с Бадейкиным, Акимов время от времени вытирал рукой мокрое лицо и весело взглядывал на маленького командира. Тот с улыбкой, так необычайно украшавшей его плоское лицо, тоже посматривал на Акимова.

— Похудели! — крикнул Бадейкин.

— Что? — не расслышал Акимов за ревом ветра.

— По-ху-де-ли!..

— Нины Вахтанговны со мной не было!

— Хе-хе...

— Поздравляю! — крикнул Акимов.

— Чего?

— Не заметил раньше! С повышением, товарищ старший лейтенант!

— Спасибо! — улыбнувшись, сказал Бадейкин.

— Чего? — не расслышал Акимов.

— Спасибо-о-о-о!

Акимов рассмеялся:

— Ну и погодка!

— Где лучше? — изо всех сил прокричал Бадейкин.— У нас или в пехоте?

— Везде лучше! — захохотал Акимов, потом, наклонившись к Бадейкину, крикнул ему в самое ухо: — Поздравьте и вы меня! У меня дочь.

— Чего?

— Дочь, дочка, Катей назвали!

— Поздравляю!..

Огромная волна положила кораблик на правый борт.

— Держись, ребята! — крикнул Акимов своим пехотинцам, заполнившим палубу. Его сильный голос перекрыл шум ветра, и к нему наверх обратились мокрые лица. Они успокоительно улыбнулись ему. Рулевой Кашеваров на секунду отвернулся от штурвала и посмотрел на Акимова. И опять Акимов вспомнил себя молодым. Он потрепал рулевого по плечу, рулевой улыбнулся, что-то сказал, но Акимов не расслышал. Он посмотрел на своих людей, стоявших на палубе, и, угадывая под черными шапками знакомые лица — Тулякова, Матюхина, Гунявина, Егорова и других, подумал с несколько ревнивым чувством, что нынешние его подчиненные нисколько не хуже бадейкинских ребят и что с ними тоже можно делать большие дела.

От этих мыслей Акимова отвлекли знакомые очертания берегов. Темные скалы, отвесно спускавшиеся прямо в море, похожие как две капли воды на те скалы, которые были и раньше, чем-то неуловимым все-таки отличались от них. Это начинался Варангер-фьорд — тот самый, куда Акимов впервые плавал дублером на этом самом катере-охотнике. Вот там, немного дальше, катер высаживал Летягина с его разведчиками. Бадейкин тоже вспомнил об этом и, тронув Акимова за плечо, показал рукой на берег.

— Да,— сказал Акимов.

Он вспомнил, с каким содроганием думал тогда о том, как холодно и тяжко будет разведчикам на этом диком, неприветливом берегу. Сейчас ему самому придется высадиться здесь, и это вовсе не казалось ему таким уж страшным. Более того, вспомнив, что он высаживается на берегу чужой, но союзной страны, где местное население стонет под игом захватчиков, он с особенной гордостью почувствовал силу и значение того народа и тех вооруженных сил, к которым он принадлежал. В этот момент перед ним во всем своем величии предстал тот факт, что от Баренцева до Черного моря советские армии уже

находятся за рубежами страны и что не только защита своего народа, а и освобождение других народов стало реальным, будничным, рабочим делом.

Акимов не мог не вспомнить свои комсомольские времена, овеянные не очень определенным, несколько абстрактным, но страстным и великодушным желанием освободить весь мир от произвола и угнетения.

Теперь мечта оделась в плоть и кровь, приобрела реальные очертания,— разумеется, совсем другие, чем представлялось в юности, но тоже прекрасные. Действительностью были трепетание советского флага на мачте, гул мотора морского охотника, мерцание потаенных сигнальных огней, молчаливая сосредоточенность десантников на палубе, частый стук собственного не постаревшего сердца и темные очертания берегов чужой страны, ждущей избавления.

Эти берега все приближались, скалы становились все явственнее, все выше. Наконец охотники очутились меж двух горных гряд и вошли в неширокую горловину фьорда.

Хотя катера двигались без огней, при полном радиомолчании и даже перешли на подводный выхлоп мотора, но вскоре их с берега заметили, там появилась яркая вспышка, потом раздался гром выстрела, и неподалеку в море разорвался снаряд. С обоих берегов фьорда поднялась стрельба. Снаряды мягко шелестели над головами. Над фьордом зажглось несколько десятков осветительных ракет, медленно опускавшихся все ниже.

Бадейкин дал команду поставить дымовую завесу. Одновременно то же самое сделали и остальные охотники и тут же устремились к берегу, увеличивая этим движением глубину задымленной полосы. Фьорд покрылся стремительно крутящимися и вьющимися белыми дымами, так что ничего не стало видно кругом. А немецкие береговые батареи не переставая били наугад, и иногда среди дыма вспыхивали неясные багровые огни разрывов и к небу подымались необычайной красоты изумрудные столбы воды.

Бадейкин хорошо знал эти берега и не беспокоился о том, что приведет свой катер к нужной точке побережья. Он только остро тревожился за Акимова, ему было очень жалко товарища, которому предстоит бой, а потом продвижение в этой неуютной местности, где негде ни обсушиться, ни отдохнуть. «То ли дело у нас, моряков,— думал Бадейкин, вытирая со щек солепую

воду, превращающуюся в лед,— не надо было ему уходить в пехоту».

В этот момент поступил сигнал о высадке.

Катера были уже у берега. Корабельные пушки и пулеметы дружно работали, очищая, по возможности, берег от неприятеля. Осветительные ракеты немцев лихорадочно прыгали вверх и плясали в небе. От них стало светло, и бурное море, брызги прибоя, перекошенные лица матросов — все вырисовывалось очень отчетливо, хотя резкие тени делали все это более пронзительным и мрачным, похожим на моментальную фотографию.

Рядом разорвался снаряд, осколки завизжали вокруг. Станковые пулеметы затарахтели по сходням. Разорвался второй снаряд. Кто-то охнул. Кто-то упал в воду. Темные тени десантников метнулись со сходней и рассыпались по берегу. Третий снаряд упал еще ближе.

— Завести пластырь! — хрипло крикнул Бадейкин.

«В катере пробоины»,— понял Акимов, но ему было уже не до того, все мысли его уже были на берегу, где вступали в бой его люди. Он даже не простился с Бадейкиным — забыл или не смог и, только ступив на сходни, на мгновение ощутил в сердце острую боль, чувство безмерной вины перед товарищем, которого он обязан был покинуть в беде.

Уже у самого берега его бросило в сторону взрывной волной. Он упал в воду и ухватился за выступ скалы. В ушах гудело. Ему вдруг стало жарко, и, оглянувшись, он увидел, что катер горит. Он рванулся было назад, но взял себя в руки и, проглотив едкую и горькую слюну, пошел вперед на берег. Последнее, что он видел на катере-охотнике, был боцман Жигало, который сидел у своего пулемета и бил длинными очередями по береговым укреплениям немцев, несмотря на то что сзади него горело, шипело, взрывалось.

4

— Вперед, вперед,— негромко и настойчиво повторял Акимов, продвигаясь все дальше. Рядом с комбатом полз Матюхин, а немного позади — корректировщики с кораблей. Они ползли с радиостанцией, с тем чтобы направлять стрельбу корабельных комендоров по наземным целям.

Сухая и горькая злость распирала грудь Акимова. Он старался не оборачиваться, но, пригнувшись к земле и вдыхая не-

знакомые запахи чужого берега, не мог не учуять и того запаха горелой краски, который доносил до него ветер с фьорда. Среди гула стрельбы, рева прибоя, сопения ползущих рядом моряков, стука расставленных на флангах пулеметов он не мог не слышать позади себя скрежета, сильных всплесков, мелких взрывов, тревожных криков на тонувшем охотнике.

— Вперед, вперед,— говорил Акимов негромко, медленно продвигаясь к тому высокому месту, откуда он решил руководить боем. Здесь уже находился лейтенант Козловский. Отсюда Акимов осмотрел находящееся перед ним, отлого вздымающееся вверх поле боя, по которому ползли десантники.

Передние из них уже находились в кабельтове от берега, но теперь залегли. Десант захватил небольшой плацдарм, шедший правильным полукружием. Слева, там, где упрямо бил пулемет Тулякова, шел самый упорный бой. Находившаяся у подножия скалы хорошо укрепленная немецкая береговая батарея, по-видимому, имела сильное пехотное прикрытие. Стрельба оттуда становилась все ожесточенней.

Распорядившись, чтобы корректировщики сообщили на корабли об этой помехе, Акимов пополз вдоль фронта залегших пехотинцев.

— Товсь,— говорил он негромко, и моряки, услышав знакомое моряцкое слово, произнесенное голосом комбата, понимающе кивали головами.

По береговой полосе, а потом все ближе стали рваться мины из невидимых вражеских минометов. Их безобразное кряхтение рвало уши.

Акимов прислушался. Наконец корабельная артиллерия дружно ударила по левому флангу, там что-то вспыхнуло и загорелось.

При дрожащем свете пожара на мгновение стало видно все кругом: однообразные скалы, поросшие лишайниками и мхом, карликовые ивы, темные сарайчики на вершине скалы.

— Что ж,— сказал Акимов, вставая и вынимая из кобуры пистолет.

Матюхин поднял ракетницу и дал в небо одну за другой три красные ракеты.

Все встали вслед за Акимовым и, как по уговору, рванули на груди гимнастерки, словно им было жарко. Матюхин не спеша вынул из кармана бескозырку и надел ее, а шапку также не спеша засунул за пазуху шинели.

Сколько раз аккуратист Мартынов сердито журил моряков за этот обычай, нарушающий воинскую форму. Они выслушивали его упреки, каялись и в первом же бою делали то же самое.

В грозном жесте морских пехотинцев было больше чем желание показать миру свои матросские тельняшки — примету моряков, то есть людей, не знающих страха. В этом жесте было и отречение от жизни, и гордое презрение к смерти.

— Впере-ед! — крикнул Акимов, сам опьяняясь страшным напряжением этого мига.

Все рванулось вперед. Морская пехота молча, без выкриков, но неодолимо и размашисто шла вверх по отлогому склону. Достигнув гребня скал и перевалив через него, матросы бросились вперед по плоскогорью бегом. Здесь стало очень темно — осветительные ракеты перестали взлетать, вероятно потому, что немецкие ракетчики бежали. Моря уже не было видно: оно пропало за скалами, и все, что находилось там, на море,— родные корабли, родные люди, родные флаги, возможность вернуться морем домой,— все это казалось уже нереальным и очень далеким.

Акимов задержался на гребне, чтобы не терять из виду свои фланги и фьорд. Корректировщики снова развернули рацию. Матюхин дал ракеты, обозначавшие новый передний край. Все тяжело дышали. Мимо поползли раненые — они двигались к морю. Связные прибывали со всех сторон и, доложив обстановку, исчезали в темноте. Наступило затишье — фальшивая тишина, настороженная и пугающая. И сразу же снова стало светло от ракет.

— Начинается,— сказал Акимов.

Стрельба с немецкой стороны все разрасталась.

Слева бежал человек. Он то пригибался к земле, то снова поднимался, и при свете ракет видно было, как блестят его глаза не то от страха, не то от озорства. Он еще издали крикнул,— казалось, весело:

— Жмет немец, мать его так...— Узнав комбата, он осекся, встал смирно по всей форме и доложил: — Противник контратакует, товарищ капитан третьего ранга! Туляков просит помощи.

Акимов с полминуты разглядывал его, но так и не узнал матроса — все его лицо было вымазано землей и кровью.

Глядя вперед, на пляшущие тени деревьев, Акимов спросил:

— Людей сколько осталось? — Так как матрос не отвечал, думая, что комбат обращается не к нему, а куда-то вперед, Акимов сказал: — Тебя спрашивают.

Матрос осмотрелся, потом подошел к Акимову вплотную и сказал ему почти на ухо:

— Мало.

— Пойдешь туда,— сказал Акимов Козловскому.— Возьми человек десять.

Лейтенант сказал «есть» и стал спускаться по скалам во главе своих людей. Надульные тормоза ручных пулеметов поблескивали на свету. Матрос с окровавленным лицом побежал впереди лейтенанта, странно подпрыгивая и что-то бормоча. Только теперь Акимов узнал в нем Егорова.

Опять стало тихо. Немецкие снаряды рвались у самого берега. «В чем дело?» — удивился Акимов и в это же мгновение услышал позади себя топот многочисленных ног.

— Акимов! — крикнул кто-то снизу, и через несколько минут подле Акимова почти упал запыхавшийся от бега капитан-лейтенант Мартынов.

— Прибыли,— сказал он.

Вокруг стало тесно от людей. Все гудело и кричало. Кинув прощальный взгляд на море, на стоявшие там корабли, мысленно попрощавшись с друзьями, живыми и мертвыми, Акимов пошел во главе батальона. Рев прибоя все отдалялся, пламя ракет уже казалось далеким заревом. Батальоны вытянулись по каменистой дороге, все более углубляясь в тесные дефиле незнакомого побережья.

Во время краткого привала Акимов собрал командиров.

— Егоров что, ранен? — спросил он.

— Ранен, но остался в строю.

— Буйков?

— Ранен, но остался в строю.

— Семенов?

— Убит.

— Левашов?

— Убит.

— Сотников?

— Ранен в голову, эвакуирован.

— Бойченко?

— Ранен, остался в строю.

Мартынов умывался, тщательно тер руки белой щеточкой с

костяной ручкой. Его бритвенный прибор стоял на большом камне. Рядом на костре грелась вода для бритья.

Он сказал:

— Надо представить отличившихся к награде.

Акимов посмотрел вниз, на лежавших вповалку моряков, и усмехнулся:

— Им сейчас не ордена, им бы поспать. Ох, как нужно поспать.— Он тяжело поднялся с места и сказал: — Брейся скорее. А вы давайте команду строиться. Пойдем на Киркенес.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### *Берег*

*(окончание)*

#### 1

Города Киркенеса не существовало больше. Он был весь, дом за домом, сожжен и взорван войсками Гитлера перед их бегством. Угольные кучи, лежавшие всюду вдоль побережья, тоже подожженные немцами, тлели синими мерцающими огоньками, насколько хватал глаз. Все кругом, как на Смоленщине и в Белоруссии, пахло горьким и сладковатым запахом пожара и разрушения, мучительно знакомым запахом, который нельзя никогда забыть.

Всюду было очень тихо и мертво, и только каждые полчаса немцы, еще находившиеся на расположенном напротив города скалистом острове Скугеррее, тупо и упрямо выпускали по городу два-три пушечных снаряда. Снаряды взрывались на выжженных дотла улицах, вызывая гулкое эхо.

Акимов и его люди обошли молчаливым дозором пустынный город. Улицы угадывались только по торчавшим там и сям дымоходам да по чистеньким садовым заборам из стальной сетки или штакетника. Удивительно чисты и опрятны были улицы этого не существующего уже города, на которых валялась только бесконечная путаница цветного немецкого телефонного провода. На мысу должна была стоять обозначенная на карте церковь, в честь которой названо это место [1], но и церкви не

[1] Киркенес — церковный мыс *(норвежск.)*.

существовало, от нее осталась лишь часть кладбищенской ограды.

Пошли влево к заводу «Сюд-Варангер». Одна из труб завода сохранилась, а другая валялась в виде огромной кучи кирпича. Здесь тоже было тихо. Ни живой души кругом.

— Все ясно,— сказал Акимов.— Тут побывали те же самые немцы, что и под Оршей. Узнаю ухватку.

— И те же, что под Ленинградом,— мрачно дополнил Мартынов, прислушиваясь к очередному бессмысленному артиллерийскому обстрелу.

Акимов связался по радио с командованием и получил приказание оставить в Киркенесе одну роту, а с остальными идти в поселок Бьерневатн, там расположиться и ждать дальнейших распоряжений.

Оставив на побережье роту Миневича и выделив ему боеприпасы и продовольствие на три дня, Акимов во главе батальона пошел опять через заваленные обломками улицы и, миновав их, вышел на дорогу.

Дорога шла к югу. Рядом, среди посыпанных снежной порошей тундровых болот, чернела узкоколейка, кое-где на ней сиротливо торчали одинокие тачки, ржавые и тоже присыпанные снежной крупой.

Поселок Бьерневатн пострадал меньше, чем Киркенес. На высоких флагштоках возле здешних домиков тут уже развевались норвежские национальные флаги — красные, разделенные на четыре поля большим синим крестом с белой окантовкой. Жители появились на улице и со сдержанным ликованием встречали советские части. Они жили в шахтах и щелях на окраине поселка. Солдаты и матросы сочувственно вглядывались в измученные, давно не мытые лица норвежцев.

Акимов разместил своих людей в длинном красном деревянном здании, по-видимому бывшей бане, и еще в трех домах, в которых до последней минуты размещались немцы,— по этой причине они не успели взорвать дома. Здесь сохранились нары и байковые одеяла военного образца.

Все, кроме дежурных, сразу же легли спать, даже не дожидаясь, пока батальонная кухня приготовит еду, неизвестно — завтрак, обед или ужин, так как люди потеряли счет времени.

Покончив со всеми делами по размещению людей, Акимов собрался было тоже поспать, но тут до его ушей, наполовину оглохших от многодневного гула артиллерии, дошел детский

плач, раздававшийся где-то неподалеку. Акимов вышел на улицу. Матюхин, еле живой от усталости, не решился лечь, видя, что комбат не ложится, и пошел за ним. Акимов направился к шахтам. В глубине шахт слышались женские голоса, урезонивавшие плачущих детей.

Акимов вошел в темное отверстие подземного коридора. Увидев детей, он впервые почувствовал, что он отец,— раньше он это только знал, но не чувствовал. При свете карбидных ламп детские лица казались удивительно бледными, возбуждали жалость и тревогу за находящуюся далеко в Москве маленькую девочку. На стоявших молча у стен норвежцев Акимов теперь смотрел тоже не просто как на обездоленных захватчиками-иностранцев, а как на людей, принадлежащих к тому же племени, что и он, Акимов,— к племени озабоченных отцов.

Они были почти все высокого роста, белесые, с обветренными лицами рыбаков и приморских жителей, одетые почти сплошь — в том числе и женщины — в цветные вязаные джемперы и лыжные брюки.

Акимов стоял в нерешимости, не зная, что делать, когда вдруг из глубины шахты к нему быстрыми шагами подошел человек в советской военной форме. Акимов узнал Летягина и, обрадовавшись, пошел ему навстречу.

— И вы здесь? — спросил Летягин. Его бледное лицо выразило живейшее удовольствие. Потом он показал рукой на все окружающее и печально проговорил: — Видите, что творится? Немцы все взорвали, рыбацкие суда и мотоботы угнали, так что норвегам даже нельзя рыбу ловить. Голодают.

Акимов, подумав, сказал:

— На первый случай могу накормить человек двести. У меня кухня на ходу.

Просветлев, Летягин сказал несколько слов норвежцам, и те быстро разошлись по шахтам, скликая женщин и детей.

Женщины и дети вмиг поднялись со своих мест и пошли вслед за Матюхиным к полевой кухне. Акимов не мог не заметить и не оценить того обстоятельства, что мужчины не пошли с женщинами, а остались на месте.

— Пусть и они идут,— сказал Акимов. Он усмехнулся: — Исус, говорят, пятью хлебами целую дивизию накормил. Я побогаче его. У меня резервы большие: два дня воевали, почти не евши.— Помолчав, он мрачно заметил: — Да и народу в батальоне поубавилось.

Акимов и Летягин медленно пошли вслед за норвежцами в расположение батальона. Повар, он же пулеметчик, Дерябин, толстый и добродушный, как и полагается быть настоящему корабельному коку, с помощью Матюхина реквизировал у спящих моряков все котелки и разливал не бог весть какую, но жирную и сытную пшенную кашу норвежским женщинам и детям. Завидев комбата, повар крикнул:

— А с хлебом как, товарищ капитан третьего ранга? Хлеба им давать?

— Давай,— сказал Акимов.

Он был очень доволен, что встретил Летягина. Разведчик был молчалив, но все, что касается севера Норвегии, он очень хорошо знал, бегло говорил по-норвежски и вообще чувствовал себя здесь, на чужой земле, как дома. Норвежцы тоже относились к Летягину по-особому, с очевидным доверием и дружелюбием. Многие знали его, видимо, с тех времен, когда он тут действовал в немецком тылу. Они изменили фамилию разведчика на свой лад и называли его «лет-егер», то есть «легкий охотник», вкладывая в это прозвище особый смысл.

— Где вы тут питаетесь? — спросил Акимов.

— Везде,— улыбнулся Летягин.

— А может, нигде? Переходите ко мне на довольствие.

— Спасибо,— сказал Летягин и обернулся: — Вот комендант сюда идет.

Комендант, седой армейский полковник, подошел в сопровождении старшего лейтенанта, с минуту поглядел на обедавших норвежцев и спросил у Акимова:

— Вы командир части?

— Я.

— Хорошо сделали.

Он представил Акимову старшего лейтенанта:

— Переводчик Логинов.

Переводчик был очень молодой человек в роговых очках, с живым и красивым лицом. Он сразу преисполнился симпатии к моряку, особенно когда узнал, что тот проявил такую хорошую инициативу. Полковник, снова с минуту внимательно поглядев на обедавших норвежцев так, словно впервые видел, как люди едят, отдал приказание, чтобы все воинские части, расположенные в поселке и вокруг, покормили местных жителей до подхода вторых эшелонов, когда можно будет наладить плановое снабжение продовольствием.

Логинов вскоре привел бургомистра, такого же высокого и белесого, как все остальные норвежцы. Бургомистр робел. Он прятался где-то в развалинах и не знал, что происходит в Киркенесе и вокруг города. Логинов с трудом разыскал его и не без торжественности передал ему, как представителю союзной администрации, гражданскую власть.

Летягин предложил коменданту и бургомистру зайти к местным жителям в шахты. Разведчик проявлял необычайную заботу о норвежцах и как бы в оправдание себе бормотал:

— Они славный народ, эти норвеги. Мне много раз помогали.

Снова поглядев на озябших детей, бледных женщин и мрачных мужчин, Акимов сказал, вздохнув:

— Придется уступить им дома, черт побери! — Словно устыдившись своей мягкости, он досадливо добавил: — Опять солдатам жить в пещерах да землянках. А что поделаешь?

Полковник хмуро возразил:

— Нашим солдатам отдохнуть надо. Они тоже люди.— Минуту погодя он развел руками, его квадратное злое лицо вдруг приобрело выражение беспомощности и грусти, и он сказал: — А в общем, вы правы, майор. Как-то неудобно, нехорошо. Дети. Да, да, Логинов. Пишите распоряжение — освободить все уцелевшие дома. Ладно.

Логинов тут же сообщил о решении коменданта бургомистру, который при всей своей сдержанности не мог не выразить удовольствия, смешанного с некоторым удивлением.

Акимов пошел к себе в батальон. Во всех домах и в бывшей бане спали его люди. Они лежали в разнообразнейших позах и тяжело дышали. Дневальный дремал у топившейся круглой железной печки. Один только Егоров услышал, как вошел комбат. Он открыл глаза, приподнялся с места и укоризненно произнес:

— Вы бы легли, поспали бы, товарищ капитан третьего ранга.

Акимов рассеянно сказал:

— Скоро лягу.

Егоров показал на свою тельняшку и, улыбаясь, проговорил:

— Разделся. Пожалуй что в первый раз за два года в одном белье. Хорошо.

Акимов побагровел и отвернулся.

— Может, тебе перину и грелку дать? — сказал он хмуро и растолкал дневального: — Поднимай всех.

— Подъе-ем! — завопил дневальный.

Все вскочили со своих мест и начали быстро одеваться.

Объяснив в кратких словах, зачем их будили, Акимов закурил и собрался уходить, но все не уходил, все медлил. Он настороженно вглядывался в лица моряков, молча надевающих шинели и скатывающих одеяла. Он искал в их лицах выражения неудовольствия, но, к своей радости, не находил ничего похожего, ни тени досады, ни намека на ропот. Они, несомненно, восприняли приказ как нечто само собой разумеющееся.

2

Акимов оставил за батальоном только помещение бани, где разместились кухня, столовая, нечто вроде клуба и батальонная канцелярия. Остальные дома были очищены, и в них вселились женщины, дети и старики.

— Вот мы и в подходящем для нас помещении,— усмехнулся Акимов, насмешливо оглядывая землянку, куда он перебрался вместе с другими офицерами.— Матюхин, наводи порядок.

Дерябин принес офицерам жареной рыбы.

— Свеженькая,— сказал он, улыбаясь.— Только что наловили.

Поели и улеглись спать. Кругом все стало тихо — матросы тоже спали. Только Матюхин не лег, он ушел куда-то, принес столик, несколько стульев, карбидную лампу, таз для умывания и даже полуобгоревшую ковровую дорожку, которую постелил у входа. Вскоре землянка приняла приличный вид упорядоченного фронтового жилья. Удовлетворенно улыбнувшись, вестовой тоже собрался лечь, но ему помешали: пришел переводчик Логинов в сопровождении пожилого норвежца.

Матюхин угрожающе зашептал:

— Тише. Спит комбат. Не спал целую неделю.

— Как же быть? — виновато сказал Логинов.— Нужно. Честное слово, нужно.

Пожилой норвежец оказался местным пастором и просил разрешения прочитать проповедь в помещении бани, поскольку это помещение являлось наиболее вместительным из всех оставшихся в поселке, уже не говоря о городе.

Акимов потер лоб и посмотрел мутными глазами на Логи-

нова и норвежца, не понимая, где находится и что от него хотят.

Наконец он все вспомнил.

— Да мы же в Норвегии,— сказал он.— Значит, вы говорите, проповедь?

Мартынов, услыхав разговор, открыл глаза и вскочил на ноги.

— Нет, нет, нет,— сказал он, негодуя.— У меня там все украшено портретами и лозунгами. Как же так — религиозная проповедь!

Акимов рассмеялся. Было действительно смешно смотреть, какие сердитые, почти ненавидящие взгляды бросал политработник на смущенно мнущегося в углу лютеранского священника.

— Нет, ты не смейся,— рассердился Мартынов.— Я не могу разрешить в краснофлотском клубе исполнение религиозных обрядов.

На этот счет завязалась короткая дискуссия, в ней живейшее участие принял и вестовой Матюхин, который высказался в том смысле, что «пусть молятся, у нас-де молиться никому не запрещают, кто хочет тот молится...»

— Глас народа — глас божий,— засмеялся Акимов.

Не прошло и часу, как в клуб начали собираться норвежцы с женами. Они чинно уселись на скамьи с молитвенниками в руках, а так как скамеек было мало, то многие стояли. Пастор пришел в длинном сюртуке. Его узкое и обветренное, как у рыбака, лицо было торжественно и несколько печально, как у всех духовных лиц на всем земном шаре во время богослужения, в том числе у ковровского попа, отца Василия, которого Акимов помнил с детства.

Пастор встал под портретами и начал говорить. Логинов остался слушать проповедь и потом сказал Акимову, что лучшую речь не мог бы произнести и агитатор. Пастор благодарил советских солдат и командование советских войск и призвал своих прихожан оказывать содействие этим войскам и молиться богу за освобождение всей Норвегии и за полный разгром нечестивых германских армий. После этого все запели какой-то гимн.

— Что ж, это неплохо,— успокоился Мартынов,— только зря он тут припутал бога.

После проповеди пастор в сопровождении бургомистра и

еще двух, по-видимому, видных граждан пришел к Акимову поблагодарить за разрешение и за доброе отношение к населению.

Логинов представил их по-русски:

— Ульсен, учитель. А это Виккола, кулак, большая сволочь. С немцами сотрудничал. Скупщик трески и семги, оптовик, владелец всех здешних лавок.

Он говорил эти слова серьезно и громко, и Акимов еле сдерживался, чтобы не рассмеяться прямо в красное, надутое, смертельно серьезное лицо Викколы, неподвижное лицо, на котором только глазки бегали во все стороны.

Акимов, не будучи дипломатом, не пожелал ему подать руку, а только слегка наклонил голову. Подняв же ее, он взглянул прямо в глаза Викколы, и у того судорожно затрепетали веки.

— Боишься, толстяк? — спросил Акимов, и Логинов, чуть улыбнувшись, поспешил перевести эти слова на норвежский язык так:

— Чем могу служить?

Норвежцы начали говорить по очереди — сначала бургомистр, потом пастор, потом учитель, наконец Виккола. Этот говорил длиннее всех, говорил очень спокойным голосом, только его веки предательски трепетали.

— Он говорит,— перевел Логинов,— что счастлив приветствовать русские победоносные войска. Он говорит далее, что жители Киркенеса довольны окончанием войны и будут честно выполнять все указания его величества короля Хокона, норвежского правительства в Лондоне, а также советского командования. Он нахально заявляет, что рад освобождению от ига захватчиков. Большая сволочь.

Неизвестно, понял ли что-нибудь Виккола из этого перевода или, может быть, прочитал в глазах Акимова чувства сына и внука ткачей к кулаку и эксплуататору, но, уходя, он низко и подобострастно кланялся, упорно избегая глядеть в глаза советским офицерам.

Акимов с Логиновым вышли проводить норвежцев. Они обратили внимание на то, что поселок очень оживился. Из лесных убежищ, из расселин плоскогорья возвращались люди, мужчины и женщины с детьми, с велосипедами, с рюкзаками за спиной. Акимов, улыбаясь, смотрел на маленьких девочек, довольно нарядно одетых, в красных вязаных шапочках с помпон-

чиками. Цепко держась за руки отцов и матерей или за седло велосипеда, они почти бежали, еле поспевая за широким шагом родителей, и пока не исчезали из виду, все оглядывались с любопытством на русских.

Далеко на севере по-прежнему светились синие язычки пламени — все еще продолжали гореть угольные кучи.

Акимов повернулся к Логинову:

— Почему они не гасят уголь? Жалко, добро пропадает, а у самих в домах топить нечем.

Логинов сказал несколько слов бургомистру, тот помолчал, подумал, потом произнес:

— Дэ эр икке ворт.

— «Это не наше»,— перевел Логинов, засмеялся добрым, чуть визгливым смехом и объяснил Акимову: — Уголь принадлежит не магистрату, а заводу. Придется нашим солдатам спасать их уголь.

Норвежцы ушли. Собрался уходить и Логинов, но тут показался еще какой-то старик норвежец, направившийся прямо к землянке. Увидев Акимова, он остановился на некотором отдалении и пристально на него посмотрел. Убедившись в чем-то, известном только ему самому, он подошел ближе и снял свою широкополую брезентовую шляпу. Седые волосы прямыми прядями упали на широкий лоб. Он заговорил неторопливо, монотонно и очень грустно, глядя светлыми немигающими глазами в пространство между Акимовым и Логиновым.

— У него моторную лодку наши ребята угнали,— сказал Логинов, покраснев.— Рыбак он, зовут его Коре Педерсен. От немцев, говорит, я ее укрыл, спрятал, а русские оказались ловчее, нашли. Некрасиво. Безобразие. Стыд и срам, честное слово.

Акимов вдруг рассердился:

— Сразу «стыд и срам»! Война ведь, тут города горят, а вы покраснели, как девица,— лодку, видишь ли, угнали... Можно подумать — ужасная катастрофа, конец света, на весь мир опозорились...— Посмотрев на старого рыбака, стоявшего молча и неподвижно со шляпой в руке, он осекся и угрюмо закончил: — Скажите ему, что мы разберемся.

Когда Логинов и старый Педерсен ушли, Акимов подумал, покурил, потом пошел к землянкам, где располагались роты.

Люди спали, и очень не хотелось их будить из-за какой-то дурацкой, никому не нужной лодки. Он постоял, постоял, по-

косился на Егорова, спавшего в сапогах и шинели, повернулся уходить, но потом остановился и хрипло сказал дежурному:

— Буди.

Когда все были выстроены, Акимов спросил:

— Кто взял лодку?

С минуту длилось молчание, наконец вперед выступил главстаршина Туляков и хладнокровно переспросил:

— Это вы про какую лодку, товарищ комбат? Я брал лодку.

Акимов удивился.

— Зачем? — спросил он.

Туляков помялся с минуту, потом сказал:

— Рыбу ловили.

— Какую такую рыбу? Зачем рыбу?

— Для вас, товарищ комбат,— негромко сказал Туляков.

— Для меня? — Акимов побелел.— А почему вам кажется, старшина, что я без рыбы жить не могу? А? Вы меня жалеете, да? Хотели мне удовольствие сделать, а для этого опозорили меня и себя на весь мир? Где лодка?

— Я оставил ее там, где взял.

— Вольно,— сказал Акимов, обращаясь к матросам.— Разойдись.

Все не без чувства облегчения исчезли в землянках, оставив с комбатом одного Тулякова.

— Пошли,— сказал Акимов.

Они пошли, Туляков впереди, Акимов за ним. Шли долго, наконец справа показался узкий фьорд. Туляков уверенно шел вдоль фьорда, потом, постояв и подумав, направился к берегу. Здесь, в расщелине меж скал, стояла лодка.

Акимов спросил:

— Где ты ее взял? Здесь?

— Кажись, здесь.

Акимов огляделся. Немного выше по фьорду, шагах в трехстах, за низким заборчиком чернелась небольшая рубленая хижина.

Акимов пошел к хижине. На заборчике сушились сети. Акимов перешагнул через заборчик и постучал в дверь. Ему открыли. Девичий голос что-то спросил по-норвежски.

— Педерсен? — спросил Акимов.

Девушка ответила «я», то есть «да»,— это слово Акимов знал, оно так же звучало по-немецки.

— Коре Педерсен? — спросил Акимов.

— Дэн гамельман эр утэ и шззн [1],— сказала девушка нараспев, неожиданно напомнив Акимову южнорусский говор.

— Гамельман! Что за гамельман? — сказал Акимов, почесывая за ухом.— Придется за переводчиком сходить.

— Гамельман — это по-ихнему старик,— объяснил Туляков, чуть усмехнувшись.

Акимов обозлился:

— Ух, и грамотный же ты! Уже и по-норвежски умеешь! А ты бы у этого самого гамельмана лодки не брал, вот это было бы лучше!

Он поманил девушку за собой и повел ее к скалам, где стояла лодка. Она шла вначале боязливо, но потом, увидев лодку, вскрикнула, обрадовалась.

— Вот,— сказал Акимов, обернувшись к Тулякову.— В следующий раз, если захочешь что взять, спроси у хозяина. И возврати ему в руки. Понял?

— Понял.

— Смотри.— Акимов двинулся в обратный путь. После долгого молчания он сказал: — Еще наделаешь международных осложнений, так что Наркоминделу придется писать объяснительные ноты. И из-за кого? Из-за главстаршины Ильи Тулякова, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, члена ВЛКСМ. Нехорошо, Туляков. Иди.

Делая выговор Тулякову, Акимов был не совсем искренен. По совести говоря, он никак не мог обвинить старшину. В конце концов лодку Туляков, правда, взял, но вернул ее в полном порядке,— не в хижину же было ее тащить к старику. Оставил на воде почти рядом с домом.

Все дело выяснилось позднее, когда пришел Летягин. Акимов вместе с офицерами обедал и пригласил Летягина к столу. И как раз в это время в шахту ввалился старик Педерсен.

Он был очень оживлен и весел. Его светлые глаза, ранее полные почти трагической неподвижности и скрытого упрека, теперь комично щурились и счастливо мигали. С Акимовым и другими офицерами он теперь держал себя запросто, даже с оттенком стариковской снисходительности. Теперь они были в его глазах просто необычайно симпатичные молодые люди, свои ребята, правда одетые в иностранный мундир. Эта неожидан-

[1] Старик в море *(норвежск.)*.

ная форма глубокой, но сдержанной благодарности очень позабавила и растрогала Акимова.

Он попросил Летягина поговорить со стариком, и вот что оказалось: земля у фьорда, поскольку она является частной собственностью, разрезана на участки. Туляков взял лодку на крошечном собственном участке земли старого рыбака, а оставил ее у кусочка берега, принадлежавшего другому владельцу.

Старик в этой связи с полной серьезностью объяснил, что не может же он идти на чужой участок искать свою лодку, что участков много и не каждый разрешит постороннему человеку шляться по своей земле.

— Да, здесь так живут,— сказал Летягин.

Действительно, вся здешняя земля, включая острова, была поделена на маленькие, крохотные владения, у границ которых нередко стояли столбики с надписью «Adgang forbudt»,— то есть «Вход воспрещен»,— и за этими столбиками, на бедных хуторах, к которым вели «частные дороги», среди чахлых капустных грядок, тощих покосов и низкорослых берез, жили владельцы — каждый у себя и за себя. А вокруг вздымалась ничья земля бесплодного плоскогорья, где все лето паслись, дичая, олени лопарей.

Старого рыбака усадили обедать, и он жадно ел все, а в особенности черный ржаной хлеб, о котором здесь почему-то ходили слухи, что в него запекается сливочное масло.

— Ну и ну! — опешил Акимов.— Чего только не придумают люди!

Как бы в подтверждение этих слов, старик осторожно спросил, правда ли, что русские тут останутся навсегда, захватят всю Норвегию и конфискуют все лодки, земли, леса, скотину и всех жен. («Молодых только, надо думать?» — спросил он, хитреянько щуря бледно-голубые глаза.)

— Это все квислинговцы орудуют,— угрюмо сказал Летягин после того, как что-то долго и сердито объяснял старику.— Разные викколы, кулачье всякое.— Он взглянул на возбужденного Мартынова и предостерегающе произнес: — Нас, товарищ капитан-лейтенант, это не касается. Этим должна заниматься норвежская администрация. Есть такая инструкция из Москвы.

Старый рыбак, пообедав, ушел, вскоре поднялся и Летягин. За ним явились разведчики.

— Далеко? — спросил Акимов.

— Дня через два вернусь,— сказал Летягин.

— И сразу к нам приходите. Ладно?

— Ладно, приду,— ответил Летягин.— У вас хорошие люди.

Акимов вышел проводить Летягина.

— До свидания, товарищ Акимов,— сказал Летягин. Разведчики, стоя плотной и темной кучкой посредине улицы, дожидались его.

— Счастливо.

Летягин пошел было, потом вдруг остановился и, обернувшись к Акимову, проговорил:

— Помните ведь Бадейкина?

— Да,— сказал Акимов.

— Верно, вы же с ним служили. Его катер затонул при высадке десанта. Сам он тяжело ранен.

— Да? — сказал Акимов.

Летягин с разведчиками скрылся за поворотом дороги. Акимов внезапно почувствовал себя очень усталым, почти больным, и ему захотелось скорее лечь спать, и не на час, а на очень долго, так, чтобы, проснувшись, он мог многое забыть и чтобы из его ушей пропал непрекращающийся гул, который все еще раздавался в них. Он прошел мимо домов, в которых уже жили норвежцы. Двери открывались и закрывались. Люди таскали спрятанные и закопанные пожитки к себе в дома.

— Вот и хорошо. Вот и прекрасно,— бормотал Акимов.

Его окликнул лейтенант Венцов, дежуривший по батальону:

— Радиограмма.

— Посветите,— попросил Акимов.

Лейтенант зажег фонарик.

Акимов прочитал, сказал: «Так, так»,— и вошел в землянку. Лейтенант Козловский сидя спал с гитарой в руке. Матюхин дремал в углу. Услышав шаги комбата, он вскочил, самодовольно улыбнулся, обвел рукой убранную, обставленную мебелью и завешанную плащ-палатками землянку и спросил:

— Ну как, товарищ капитан третьего ранга? Не хуже, чем бывало у вашего Майбороды?

— Пожалуй, не хуже,— сказал Акимов, не взглянув на убранство землянки. Он вынул карту и стал изучать маршрут, проставленный в радиограмме. Путь шел через тундру к реке Тана-эльв. Река эта, очень длинная, впадала в Тана-фьорд. Населенных пунктов по дороге не было.

Матюхин внимательно посмотрел на комбата, вздохнул и начал покорно сворачивать одеяла и собирать посуду.

— Где Мартынов? — спросил комбат.

Замполит, оказывается, ушел в роты проверять, все ли спят.

— Спят, спят! — вдруг рассердился Акимов.— Уже поспали, хватит!

Он выругался и бросил через плечо Венцову, стоявшему на пороге:

— Давай команду «в ружье».

Послышались удаляющиеся шаги Венцова. Акимов постоял неподвижно, прислушиваясь. Козловский сладко похрапывал, и не хотелось его будить. Тишина длилась еще минуты две, потом все кругом задрожало от топота ног, тревожных выкриков и лязга оружия. Акимов постоял еще минут пять, наконец услышал громкую команду: «Становись!» Вошел Мартынов — такой же прямой, опрятный и собранный, как всегда. Он без слов подошел к столику, прочитал радиограмму и сел. Козловский вскочил и, дрожа от холода спросонья, стал торопливо укладывать гитару в мешок.

Прислушавшись, Акимов вышел из землянки.

— Смирно-о-о! — подал команду откуда-то из темноты лейтенант Венцов.— Товарищ капитан третьего ранга! — доложил он, и его голос, сильный и молодой, звучно и красиво до щегольства разнесся в темноте.— Батальон выстроен по вашему приказанию.

Акимов приблизился к темному строю морских пехотинцев и прошел вдоль колонны. Знакомые глаза смотрели на него спокойно и уверенно. И, глядя на бойцов, Акимов сам приободрился и повеселел.

### 3

Со всех сторон батальон обступили синие сумерки. Туманное северное сияние спокойно висело над ним. Между скалами кричали птицы.

Холодный ветер, дувший в лицо, прогнал сонливость. Пронзительные крики птиц и вся непривычная обстановка вызывали в моряках необъяснимую тревогу. В такие минуты полезно было посмотреть вперед, туда, где темнела массивная фигура комбата, который шел размашистым шагом, время от времени

поворачивая к своим людям большое, чуть насмешливое, очень спокойное лицо. Иногда он что-то говорил, и тогда ближайшие к нему люди улыбались, а задние, хотя и не слышали слов, улыбались тоже.

— Этот скажет,— одобрительно бормотал Егоров.

Согласно радиограмме, батальону надлежало поступить во временное распоряжение командира стрелковой дивизии, представители которой должны были встретить моряков на перекрестке дорог южнее Киркенеса, возле сохранившихся в целости домиков. Но здесь пока никого не оказалось, и Акимов в ожидании прибытия представителей велел располагаться по хижинам, выставив караулы. Потом он послал двух моряков поднять в ружье роту Миневича и привести ее сюда, а сам вместе с Мартыновым и Матюхиным постучался в первую попавшуюся хижину, возле которой на флагштоке развевался норвежский флаг.

Маленький домик был полон народу. Норвежцы — мужчины, женщины и дети — лежали на матрасах или сидели на стульях, а то и просто на полу, вдоль всех стен. Домик походил на постоялый двор. Изо всех углов на Акимова смотрели детские глаза. Он остановился в замешательстве, решив было, что нечего усугублять и без того невыносимую тесноту. Но тут навстречу ему из-за стола поднялся высокий худой человек с небритыми щеками. Он взволнованно заморгал глазами. Потом заговорил. Детские глаза во всех углах комнаты засверкали, женские — заулыбались. Мужчины солидно захмыкали.

Акимову и его спутникам быстро очистили три стула возле длинного стола, на котором горели карбидные лампы. А хозяин все говорил, и хотя русские его не понимали и он это знал, но выражение его лица было столь красноречиво радушным, что и Акимов, и Мартынов, и Матюхин тоже улыбались, чувствуя себя довольно глупо, но хорошо.

Хозяин был рабочим на руднике — он очень хотел и никак не мог объяснить это русским, пока младшая дочь, умненькая Осе, не догадалась показать им фотографию отца в одежде рудокопа с киркой в руке. Когда русские поняли и в знак дружбы крепко пожали хозяину руку, он начал им что-то рассказывать, жестикулируя, и в отчаянии вращал глазами, видя, что они его не понимают. Они разобрали только слова «коммунист» и «тюскен» — по-норвежски «немцы»,— но и этого оказалось достаточно.

— Он коммунист, что ли,— неуверенно сказал Мартынов, показывая пальцем на хозяина.

— Я, я, я,— вскричала вся комната разом.

Нет, это не могло быть ложью ради снискания расположения русских офицеров. Никакого подобострастия, которое Акимов ощущал в словах и выражении лиц киркенесского бургомистра, Ульсена, Викколы, не было здесь и в помине.

Мартынов разволновался, пожалуй, не меньше норвежцев. Он вынул из кармана гимнастерки партийный билет, ткнул в грудь себя, потом Акимова и сказал:

— Вот. Коммунисты. Мы.

Хозяин осторожно взял в руки книжечку, показал ее жене, детям и всем остальным, потом вернул Мартынову и, когда тот спрятал ее, неожиданно обнял капитан-лейтенанта, обнял Акимова, затем нерешительно пошел к Матюхину, но, вдруг остановившись, спросил:

— Коммунист?

— Нет,— отрицательно мотнул головой смущенный Матюхин.— Беспартийный.

Рудокоп удивился: он не предполагал, что в России имеются некоммунисты, но Акимов, засмеявшись, поощрительно толкнул его к Матюхину, и норвежец, тоже засмеявшись, обнял и вестового.

Молоденькая девушка — ее звали Ингри, о чем она, приседая, сообщила русским,— убежала в соседнюю комнату и вернулась с мучными лепешками, заменявшими хлеб и носившими название «кнекебрё». Матюхин подумал-подумал и достал из вещевого мешка заветную фляжку. Появились рюмки. Разлили всем понемножку. Все встали. Норвежцы, пристально глядя русским в глаза, сказали «скол», приложили рюмки к сердцу и стали неторопливо пить. Русские сказали «на здоровье» и выпили залпом.

А хозяин то улыбался, то говорил, время от времени сжимая руки на груди в отчаянии от того, что его не понимают. Он говорил о том, как трудно тут коммунистам, и о том, что хозяева завода «Сюд-Варангер» владеют всем краем, как вотчиной, а на заводе орудует желтейший профсоюз. И о том, что вот он, рудокоп, впустил к себе несколько семей погорельцев, и сделал он это потому, что он коммунист и обязан сочувствовать обездоленным, но далеко не все обладают чувством солидарности и многие погорельцы ютятся буквально на улице.

Мартынов внимательно слушал, качал головой, понимая по всему, что речь идет о чем-то очень важном, и сетуя на себя, что он не может понять ничего из сказанного. Он шепнул Акимову:

— Надо изучать норвежский язык, вот что я тебе скажу.

Кто-то из женщин завел патефон. Может быть, они собирались плясать, но в это время распахнулась дверь, и в дом торопливо вошел полковник в высокой папахе и кожаном реглане. Это был представитель стрелковой дивизии, которого ожидал Акимов. Половицы под его тяжелыми шагами заскрипели. Пораженный пестрым зрелищем и многолюдством, он огляделся, но ничего не сказал, подошел к Акимову и быстро бросил ему одно слово:

— Пошли.

У полковника были встревоженные глаза, и Акимов беспрекословно поднялся с места и пошел за ним к выходу. Но уже у самой двери он вдруг остановился как вкопанный. Мелодия только что поставленной пластинки показалась ему очень знакомой. Нет, не просто знакомой, а родной, полной интимнейших и радостнейших воспоминаний.

— «Танец Анитры» Грига,— произнес Акимов, и ему почудилось, что эти слова произнесены даже не его голосом, а голосом Анички, так ясно увидел он перед собой землянку, оплетенную ивовыми прутьями, и все то, что было связано для него с этой музыкой.

Норвежцы удивились и обрадовались, услышав от русского командира знакомые слова.

— Я, я, я! — восхищенно закричала вся комната разом.

— Минуточку,— сказал Акимов, обращаясь к полковнику и, несмотря на нетерпеливые взгляды его, не двинулся с места, пока не прослушал всю пластинку. Он не мог понять, почему родная мелодия попала в такие далекие края, и лишь когда музыка замерла, вспомнил, что автор ее — норвежец, уроженец этой страны и, вероятно, гордость этого народа.

Покинув наконец норвежский домик, Акимов вслед за полковником направился к зеленой штабной машине, стоявшей на перекрестке. Оба вынули карты.

— Положение сложное,— сказал полковник.— Немцы предприняли контратаку в районе селения Полмак, на реке Танаэльв. Не исключена возможность серьезного контрудара. На западном берегу Таны замечено крупное скопление противника.

Даю вам десять грузовых машин для переброски хотя бы части вашего батальона. Больше пока дать не могу. Остальные пусть идут пешим маршем. Выступайте немедленно.

Акимов сказал:

— Ясно. Все будет сделано.— Он помолчал, потом вдруг улыбнулся и добавил: — Знакомая музыка — это почти все равно что старого друга встретить.

— Что? Что вы сказали? — не понял полковник, занятый другими, вовсе не музыкальными мыслями. Но Акимов ничего не ответил и размашистым шагом пошел к своему батальону, который уже выстроился на дороге.

Первая рота погрузилась в подошедшие грузовые машины. Акимов вскочил на подножку передового грузовика и крикнул маленькому чумазому шоферу:

— Давай, жми быстрее.

Колонна тронулась.

— Зажигай фары, чего боишься,— сказал Акимов, усевшись рядом с шофером.— Так мы далеко не уедем, а надо быстрей. Там немец зашевелился.

Машины пошли быстрее по каменистой дороге среди скал. А в ушах Акимова все не переставала звучать та странная и изящная мелодия, даже не грустная, а зовущая, манящая и немного тревожная, и вместе с ней перед глазами проносились знакомые картины. Ему казалось теперь, что окружающая суровая природа стала мягче и милее. Птичий грай над скалами, синие сумерки — все это теперь очень нравилось ему, и ему на миг представилось, что войны уже нет, а сам он просто путешественник по незнакомым, интересным местам, о которых придется вскоре рассказать Аничке. Поэтому надо стараться ничего не забыть, все запомнить: пронзительный крик птиц, вьющуюся среди голых скал дорогу, благодарные лица норвежских мужчин и женщин, сияющие глаза норвежских детей, красные, разделенные на четыре поля синим крестом норвежские национальные флаги, развевающиеся теперь на всех здешних флагштоках в знак освобождения,— все, все.

Вскоре послышались взрывы снарядов. Зарево занимавшегося пожара показалось впереди. Оно освещало темные строения поселка и длинную полосу леса вдалеке. По-видимому, то был тянущийся вдоль реки Тана-эльв придолинный лес — за полосой деревьев угадывался край, обрыв, змеящийся соответственно речному руслу.

На скале слева от дороги стояли люди. Они смотрели на запад в бинокли. У подножия скалы связисты тянули катушки с проводом.

Остановив колонну, Акимов спрыгнул с машины, поднялся на скалу и спросил у стоявших там темной кучкой офицеров:

— Ну, что там? Я — Акимов, прибыл с морской пехотой.

Все оглянулись на него и заметно обрадовались. Кто-то, видимо старший здесь, показал на пожар:

— Вот ваше направление, товарищ Акимов. Мы вам придаем минометную роту.— Он крикнул: — Минометчиков сюда!

Лейтенант-минометчик подошел к Акимову и, приложив руку к шапке, доложил:

— Прибыл в ваше распоряжение.

Потолковав с офицерами, Акимов спустился со скалы и крикнул:

— Долой с машин!

Машины мигом опустели. Моряки быстро построились и пошли вслед за комбатом. Акимов шел впереди вместе с Козловским и лейтенантом-минометчиком. Покосившись на минометчика, он проговорил:

— Минометам без моей команды не стрелять. Нечего зря дома разбивать.

Поблизости разорвалось несколько снарядов. Немцы, очевидно, били с западного берега реки.

Акимов повернулся к Козловскому:

— Развертывай людей в цепь. Пошли.

Моряки полезли через скалы. Их фигуры были ясно видны на фоне светлого неба.

— Как твоя фамилия? — спросил Акимов у лейтенанта-минометчика.

— Селиверстов, товарищ майор.

— Так вот, Селиверстов, пока не стреляй. Будь со мной. Дело, видишь ли, в том, что нужно немцев из селения выгнать, не дать им возможности взорвать дома. А если тебя пустить в ход, то ты сделаешь то же самое, хотя и с благородной целью. Так что не сердись.

— Я не сержусь! — сказал Селиверстов сконфуженно.

Они медленно пошли вперед. Прибежавший связной доложил, что немцы медленно отходят, поджигая дома. Жители бегут в лес. На реке находится довольно большая флотилия моторных баркасов. Артиллерия бьет с западного берега.

— Атаковать! — крикнул Акимов.— Что вы там копаетесь? Ждете, чтобы они все сделали и убежали?

Со скалы, куда Акимов взобрался, ему был виден заросший лесом противоположный берег, на котором то тут, то там вспыхивали орудийные выстрелы.

— Я вам покажу Бадейкина,— бормотал он.— Я вам покажу поджигать...

Стремительно спустившись со скалы, Акимов пошел к лесу и вскоре достиг первых деревьев. Здесь было темно. Между стволами Акимов увидел блестящую ленту реки. Деревья спускались отлого к самому берегу. Левее, в излучине реки, виднелись на воде небольшие суда,— видимо, норвежские, согнанные со всей Таны.

— Вперед, моряки! — крикнул Акимов.

Пулеметы, автоматы и винтовки застрекотали по всему берегу. Послышалось «ура».

— Селиверстов,— сказал Акимов.— Вот и твоя очередь. Дай по этим суденышкам разок.

Селиверстов сказал несколько слов сопровождавшим его солдатам и поднял к глазам бинокль. Среди деревьев зашуршали пули. Затарахтели лодочные моторы. В небо взлетели красивые разноцветные ракеты.

Акимов пошел вниз, к реке, то и дело не без удовольствия прикасаясь к шершавым стволам сосен.

— Это ты, Туляков? — спросил он у человека, сидевшего за пулеметом.

— Я, товарищ комбат.

— Так их, так. Отчаливают, сволочи. Чего же это Селиверстов там молчит? А речка ничего, красивая... Пороги. И не замерзает, горная. Двигайтесь влево вдоль берега.

Бойцы медленно шли вдоль берега влево, к селению. Наконец заработали наши минометы. Немецкие суда разметало по всей реке. Все кругом загудело и задрожало. Пули зловеще свистели среди сосен.

— Товарищ комбат, товарищ комбат! Где комбат?

— Только что был здесь.

— Товарищ комбат!

Никто не ответил. Матюхин тыкался среди деревьев, ища Акимова.

— Туляков, а Туляков! — наклонился над пулеметчиком Матюхин.— Тебя спрашивают.

— Чего?

— Где комбат?

— Да вот же он,— сказал Туляков, повернул голову от пулемета и растерянно замигал: комбата не было.

Матюхин увидел комбата лежащим у самой воды. Одна рука Акимова — большая, загорелая — опустилась в воду, и в этом месте образовался маленький четырехструйный водопад.

— А-а-а!..— закричал Матюхин по-бабьи.

Несмотря на гул пушек и минометов, на плеск воды, на вопли немцев, этот крик услышали все. Подбежали люди, подошли справа матросы Венцова, слева — Мартынов, Козловский. Акимова подняли и понесли в селение. Кто-то попытался увести Матюхина, но он торопливо говорил:

— Вы меня не трогайте. Оставьте меня. Я не хочу жить.

Акимов еще слышал крик Матюхина, но ему казалось, что это шум воды, бьющейся о пороги, крик ночной птицы и вообще нечто, исходящее не от человека, а от природы. Потом, когда его несли, он на мгновение пришел в себя и решил, что возле него дежурят Мартынов, Матюхин и еще кто-то уже много ночей подряд, и он захотел сказать им, что хватит, пусть они идут спать, ведь они хотят спать. Ему показалось, что он это им сказал, и они исчезли, провалились куда-то, а теперь он хочет пить, и некому подать ему пить, так как он велел всем уйти от его койки. Ему чудилось, что он лежит на корабельной койке, и она раскачивается все больше и больше, и он ударяется каждый раз голым сердцем о что-то острое и одновременно тупое. И вот качка стала невыносимо сильной, так что боль все больше увеличивалась, так что нельзя было терпеть, потому что сердце с налета билось все о то же самое, острое и тупое. И он подумал, что так нельзя, что это надо прекратить, нельзя так терзать сердце, потому что оно — не его собственное: может быть, он в этот миг думал об Аничке; хотя он уже не мог вспомнить ни ее имени, ни ее лица, ни даже того, что́ она такое, но в его мозгу дрожало радостное и светящееся пятно, включавшее в себя и ее и все, что он любил в жизни, и именно этому радостному и светящемуся принадлежало его сердце, содрогавшееся от боли и борьбы.

Он затрепетал и затих.

— Конец,— сказал Мартынов и рванул на груди ворот, как это делали матросы перед атакой.

Комбата несли все так же бережно, как живого, потому что

невозможно было поверить, что это большое, сильное тело, это отважное, беспокойное сердце, только что жившие такой полной жизнью, не существуют больше. И странно было смотреть, что он лежит неподвижно, как будто уже накрепко привык и к *этому* новому состоянию, уже освоился и на *этой* новой позиции. Следом за ним несли еще двух убитых — молодых матросов Иванова и Горюшкина, смерть которых тоже вызовет боль и отчаяние у людей, знавших их при жизни так, как друзья знали Акимова.

Возле лопарского стойбища, среди бедных чумов, построенных из жердей и покрытых оленьими шкурами, Мартынов приказал сделать привал. Вскоре начался сильный снегопад. Лопари запрягли оленей в нарты, убитых положили на нарты. Олени поводили большими рогами и чутко прядали ушами. Лопари шли рядом — низкорослые, испуганные. От них шел застарелый рыбный запах. Их головной убор состоял из разноцветного, похожего на шутовской, колпака с острыми концами.

Неведомо откуда появился отряд разведчиков. Шедший впереди Летягин подошел и спросил, где капитан третьего ранга Акимов. Ему молча показали на нарты. Красный рубец на его лбу побелел.

Когда двинулись дальше, Летягин пошел рядом с нартами, хотя ему было неудобно так идти, он то и дело проваливался в снег, но упрямо шел рядом — ему казалось необходимым и важным смотреть на укрытое плащ-палаткой лицо Акимова.

В Киркенесе Акимова ждал приехавший сюда Ковалевский. Яблоки в ящике прекрасно сохранились — то были крепкие антоновские яблоки. Он их наконец разыскал и привез. Ему сказали о случившемся, он обмяк, заплакал и, плача, поехал обратно в Печенгу, в Краснознаменную часть морской авиации, о которой нужно было написать очерк.

Норвежские власти выделили место для кладбища у подножия плоскогорья Хейбуктмузн, или, как оно называлось на наших картах, Хебуктен. На этом месте и раньше хоронили русских людей, угнанных в Норвегию и замученных здесь немецкими фашистами. Сюда привезли всех убитых за последние дни солдат и офицеров частей и кораблей, получивших наименование «Киркенесских».

Норвежцы приспустили свои флаги. Одевшись в черное платье, они на лыжах и просто пешком по свежевыпавшему снегу

пошли к новому кладбищу. Туда же двигались строем советские солдаты и моряки.

Летягин шел рядом с Мартыновым. Оба молчали. Вскоре пришли на место. Отрывистые слова команд по-особенному глухо и печально отдавались среди скал. Снегопад все усиливался.

Летягин смотрел на неподвижные лица солдат и думал о том, что пребывание любой чужой армии на какой-либо территории, хотя бы союзной, обременительно для местного населения, но никогда никакая армия не старалась быть менее обременительной, чем наша, не стремилась к большему самоограничению, чем наша, не показывала такого примера бескорыстия и дружелюбия.

Под светлой тяжестью этих мыслей Летягин решился наконец посмотреть в лицо Акимову. Лицо моряка было спокойно и прекрасно. И Летягину вдруг подумалось, что вот сейчас Акимов откроет глаза и что-то скажет. Что он скажет? Своим раскатистым глубоким голосом он, наверно, лукаво усмехаясь, проговорит:

— Ну, хватит жилы тянуть. Хоронить так хоронить.

От этой глупой мысли Летягин почувствовал, что сейчас заплачет. Он сжал губы и покосился на Мартынова. Замполит стоял белый, как бумага.

Раздался залп прощального салюта. Женщины заплакали, запричитали, как все женщины на свете у могил, какой-то старый рыбак крикнул по-норвежски: «Мы вас не забудем!»; какие-то три очень похожие друг на друга девушки зарыдали, все было кончено.

Когда все разошлись, Летягин и Мартынов еще постояли с полчаса у могилы Акимова, возле деревянного обелиска с красной звездой.

Летягин сказал:

— Надо было перевезти его к нам, туда. В родной земле все-таки лучше.— Подумав, он возразил себе самому: — Ничего. Норвеги — люди хорошие. Будут ухаживать. Следить. Очищать от снега.

Белый туман распространился над Варангер-фьордом. Снег все валил и валил густыми хлопьями, падая на море и на берег, и казалось, что он способен забить, замести и море, и скалы, и это плоскогорье. Но волны поглощали его, а ветер сдувал снежную пелену со скалистых вершин, и только в болотных низинах она оставалась лежать нетронутая, глубокая и бесстрастная.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### *Жизнь мертвых*

1

После окончания в 1949 году Второго московского медицинского института врач Анна Александровна Белозерова со своей дочерью поселилась в городе Туле. Она работала в больнице. Там ей были очень рады, кроме всего прочего и по той причине, что к ней каждое воскресенье приезжал на машине ее отец, профессор Белозеров. Его приезды беззастенчиво эксплуатировались больницей, и он, посмеиваясь, соглашался на это, консультировал, а иногда делал особо сложные операции.

Александр Модестович примирился со всем, что произошло у Анички, уже давно. Поразмыслив, он понял, что, если бы ему рассказали эту же историю, но случившуюся с другими людьми, он несомненно обвинил бы отца в бессердечии и тупости. С течением времени он все больше ужасался своей жестокости и, смирившись, признался себе, что вовсе не является еще образцом разумного и нравственного человека, каким он не без самодовольства иногда считал себя.

Обо всем этом он откровенно написал Аничке еще осенью 1944 года, а вернувшись после войны с фронта, старался как мог загладить свою вину. Внучку он очень полюбил.

Встретив однажды генерала Верстовского (он уже был генералом) и узнав, что тот работает в Отделе внешних сношений Министерства Вооруженных сил, профессор попросил его навести справки о могиле мужа Анички в Норвегии.

— Его зовут Акимов, Павел Гордеевич, был он капитаном третьего ранга. Похоронен... Подожди, я сейчас погляжу. Хейбуктмузн, близ Киркенеса.

Верстовский записал себе в блокнот все это, потом вдруг встрепенулся:

— Как его фамилия? Акимов? Подожди, неужели это тот самый комбат? Большой, упрямый, веселый человек? Бывший моряк?

— Ты знал его?

— Еще бы! Правильно, Аничка служила с ним в одном полку. Так он, значит, погиб? Какая жалость! Отличный, отличный офицер.

Александр Модестович не привык, чтобы Семен Фомич кем-либо так восторгался, и был растроган и польщен добрым мнением Верстовского о человеке, который некогда представлялся профессору виновником Аничкина несчастья.

Верстовский обещал навести справки. Вскоре он позвонил по телефону и договорился о встрече.

— Да, это тот самый знакомый мне превосходный командир. Оказывается, он был отозван обратно во флот. Я даже припоминаю — разговор об этом был при мне, там же, под Оршей. Моряки-северяне хорошо помнят его. Он вообще принадлежит к категории людей, которых нелегко забыть. Об обстоятельствах его смерти может очень точно рассказать некто капитан-лейтенант Летягин из Главного морского штаба. О могиле Акимова я запросил нашего военного атташе в Норвегии. Я сказал ему, что Акимов — твой и мой родственник, муж Анички. Он обещал мне все разузнать.

Анне Александровне исполнилось двадцать восемь лет, и ее красота находилась в ту пору в полном расцвете. Она проявила себя талантливым врачом. Она была ровна и проста в обращении. Сослуживцы и больные любили ее.

По просьбе отца ее вскоре перевели в Москву, в одну из столичных клиник. Тут она сделала успехи, которые, будь они дистигнуты другим врачом, оценивались бы еще выше. Однако, так как она была дочерью Белозерова, ее умение и способности приписывали его руководству и некой наследственности, как будто можно передать по наследству призвание и тончайшее чутье.

Но ей это было все равно, она уже чувствовала свою начинавшуюся профессиональную зрелость, уже ощущала в себе зачатки той мощи, которой удивлялась при операциях отца и других выдающихся хирургов.

Казалось, она жила тихо и безбурно, отдавая все силы своему делу и дочери Кате. Трудно было на ее безмятежном лице прочесть то отчаяние, которое владело ею раньше и иногда охватывало ее и сейчас.

Года два она жила в состоянии беспрерывного и беспросветного горя. Она отлично училась, но все ее учение шло своим чередом, как бы помимо ее существа. Ей казалось, что она находится на гребне волны, которая без усилий с ее стороны держит ее и несет вперед. Эту волну можно было назвать долгом, обязанностью, любовью к родине, материнской любовью и

другими словами,— как бы то ни было, эта волна не давала тонуть Аничке.

Но что бы Аничка ни делала, она спрашивала себя беспрестанно: «Как могу я читать книгу, когда его нет? Как могу я пить воду, когда его нет? Как могу я надевать перчатки, когда его нет?»

И все-таки она читала книгу, пила воду, надевала перчатки, подобно тому как это делала тетя Надя, сын которой так и не вернулся с войны.

Это иногда приводило Аничку в ярость, она казалась себе жалким животным, гнусно цепляющимся за жизнь. Она не хотела жить, потому что умер Акимов, и считала, что настоящий человек не должен при этих обстоятельствах жить. Однако она жила и делала все, что требовалось, для себя, для Катеньки, для отца и для общества, среди которого существовала.

Она стала читать все о Норвегии, потом даже изучила норвежский язык, который дался ей легко, так как был схож с немецким. И, читая об этом трудолюбивом, честном, малочисленном народе, она находила утешение в том, что он, этот народ, трудолюбив, честен и малочислен, словно в этом могло быть оправдание смерти Акимова.

## 2

Однажды она решила поехать в Ковров, к родителям Павла. Это было летом 1946 года, во время каникул. Вечером она села в поезд и утром была уже на месте. Она прошла по Абельмановской улице, потом по Базарной, миновала старинные каменные ряды, набережную, перешла через мост и очутилась в Заречной Слободке. Тут стояли одноэтажные рубленые домики, потонувшие в зелени садов.

Она без труда нашла нужный ей домик, похожий как две капли воды на все остальные. На скамеечке сидела старушка. Это была мать Акимова, Аничка сразу узнала ее по неуловимому сходству с сыном. Было странно, что такая маленькая, чистенькая, светящаяся добротой старушка приходилась матерью огромному Павлу Акимову. И еще было странно: как может она сидеть на скамейке, когда его нет.

— Здравствуйте, Мария Капитоновна,— сказала Аничка.— Это я, Аня Белозерова. Я вам писала.

Старушка порывисто обняла Аничку и молча повела ее в дом.

— Чего же ты внучку не привезла? — спросила Мария Капитоновна, вскоре овладев собой.— Али привезла?

— Нет, не привезла,— сказала Аничка.— В другой раз привезу.

— Так вот ты какая,— прошептала Мария Капитоновна, глядя на Аничку пристально и печально.

Соседи прослышали о приезжей, и дверь начала отворяться, впуская все новых любопытствующих взглянуть на вдову Павла Акимова. Это были пожилые ткачи и ткачихи, а с ними дети. Все чинно здоровались с Аничкой. Они знали, что она дочь знаменитого врача, генерала, но не это вызывало их любопытство: некоторые из них сами были родителями генералов, партработников, директоров и других крупных людей. Нет, они просто близко знали и любили Пашу Акимова, он был в свое время самым сильным и самым добрым мальчиком в Заречной Слободке, потом известным ударником и активистом. Были здесь и такие старики, которые некогда прочили своих дочек за него, и всем было интересно посмотреть, кого же выбрал Паша, парень привередливый по этой части, себе в жены. Посидев и попив чаю с вишневым вареньем, они разошлись, решив, что выбрал он хорошо.

Потом вернулась с работы младшая, еще незамужняя сестра Акимова, Варя. Она была учительницей и преподавала в младших классах той самой школы № 1 — бывшей гимназии,— где учился в свое время Павел. Она была так похожа на Павла, что Аничка вздрогнула, увидев ее, и крепко обняла Варю. А Варя заплакала.

Наконец пришел с ткацкой фабрики старый мастер Гордей Петрович Акимов — большой, насмешливый, с петушиной, задиристой правой бровью, стоявшей торчком. Он вошел, поздоровался и, не подозревая, кто эта молодая женщина, сидевшая рядом с Варей, сказал:

— А вот и мы... Здравствуйте, молодежь. А это что ж за красавица? Мы таких в Коврове что-то не видывали.

Ответное молчание заставило его насторожиться, он увидел на столе возле самовара фотографии сына, и тогда его большое лицо вдруг потеряло выражение насмешливости и болезненно перекосилось.

— Такие дела,— сказал старик. Потом спросил: — А внучка как?

— Здорова,— сказала Аничка.— Привезу ее к вам в другой раз.

На следующий день Аничка осматривала город. Варя и старик Акимов показали ей большой экскаваторный завод, тот самый, где Павел когда-то работал. Гордей Петрович рассказал ей все, что помнил об этом заводе. Он еще помнил, как завод был мастерской, где все делалось вручную, при свете керосиновых ламп. В кузнице стоял тогда такой дым, что люди задыхались. Когда становилось совсем невмоготу, кузнец выбегал, падал в снег и, полежав там, шел обратно работать.

Теперь здесь возвышались большие светлые здания, и во дворе Аничка увидела новые экскаваторы «Ковровец», крашенные в красную, вроде трамвайной, краску.

Старик показал ей Ширину гору — место сходок и демонстраций. Здесь же происходили в старину кулачные бои.

Это был город металлистов и ткачей, один из тех многочисленных русских рабочих городов, которые не жалели своей крови и сил для дела революции и социализма. Когда в Москве вспыхнул мятеж левых эсеров, Ковров выслал на помощь московским рабочим солдат 250-го пехотного полка и местных большевиков во главе с председателем Совета и секретарем уездного комитета партии Абельманом. При подавлении мятежа Абельман был убит, в его честь в Москве названа застава. Большевики и рабочие Коврова посылали людей для разгрома муромского белогвардейского восстания и ликвидировали кулацкие мятежи в Ключниковской и Бельковской волостях. Потом они упорно и основательно работали для восстановления своих фабрик и заводов, в 1931 году построили первый экскаватор, а через два года наладили серийное производство.

— А в Отечественную войну ковровцы...— Старик замолчал, потом добавил глухим голосом: — Отдали все, что могли.

### 3

На этом можно и закончить повесть о Павле Акимове и перейти к другим повестям о людях более позднего времени, об их радостях и печалях. Так и хочется поставить слово «конец» и, сдержав слезы расставания с Акимовым, задуматься на мгновение и отложить в сторону перо.

Но это невозможно.

В августе 1951 года люди с ломами, лопатами, взрывчаткой, грейдерными машинами пришли на русские воинские кладбища в Норвегии и стали взрывать могилы, вытаскивать и бросать в угольные ямы останки солдат, которые, будь они живы, обратили бы в бегство миллион этих гробокопателей. Они стали разравнивать землю кладбищ тяжелыми катками, они разметали и раздавили цветы, положенные сюда жителями этих мест.

Среди других кладбищ они взорвали и кладбище в норвежской провинции Финмарк, где лежало тело Акимова, и рядом, на плоскогорье, начали строить аэродром для бомбардировщиков, предназначенных бомбить города той державы, которая первая послала своих солдат для освобождения Норвегии и первая же вывела свои войска из Норвегии освобожденной.

Люди, живущие чужим трудом по обе стороны Атлантического океана, начали готовить войну против народов, но память человечества о событиях недавнего прошлого тревожила их. И они решили искоренить эту память. Мертвые мешали им, и они решили еще раз убить мертвых.

Известия об этих событиях еще не стали предметом широкой гласности, они медленно проходили через разные дипломатические и иные канцелярии, еще проверялись и уточнялись, ибо невозможно было сразу поверить в реальность такого неслыханного дела.

Генералу Верстовскому об этом рассказал прилетевший из Норвегии военный атташе. Сообщение потрясло генерала и ужаснуло его. И еще больше он ужаснулся именно по той причине, что знал, *кто* лежит в той могиле. Ведь все-таки очень важно было то обстоятельство, что там лежал Акимов.

Верстовский приехал к профессору Белозерову, заперся с ним в его кабинете и рассказал все, что знал. Александр Модестович был бледен и удручен. Стемнело, и они сидели в нерешительности, не зная, что делать и сообщать ли обо всем Аничке. За стеной был слышен смех ребенка и негромкий разговор.

— Все равно она узнает,— сказал Верстовский.— Это не может долго оставаться неизвестным.

— Так что делать? Сказать? — проговорил Александр Модестович.

— Ей бы замуж выйти,— сказал Верстовский, помолчав.

— Не желает.

Совсем стемнело. В дверь постучалась Аничка, тихо спросив:

— Папа, ты спишь?

Оба генерала трусливо промолчали, ничего не ответили, и она ушла к себе.

— Мертвые — и те им мешают,— хмуро сказал Верстовский.

А профессор Белозеров, поглаживая свои седые усы, с недоумением и тоской думал о том, что происходит на свете. Он становился все мрачней и суровей. Но нет, можно остановить все часы на земном шаре, а время все равно будет идти вперед; и разрушение братской могилы на дальней северной окраине Европы — это тоже не более как остановка всего лишь только маленьких, тихо тикающих в полярной ночи часиков со смехотворной целью остановить время.

— Надо ей сказать,— проговорил наконец Александр Модестович и позвал Аничку.

Выслушав Верстовского, Аничка осталась сидеть неподвижно. Удивление, ужас, скорбь и неверие в людей овладели ею. В эти мгновения, длившиеся, казалось ей, века, она с ужасом спрашивала у Акимова: «Зачем же ты пошел туда, за что умер? Кому понес ты чистоту помыслов, свое мужество и свою любовь?»

К счастью, состояние это длилось недолго. Ведь следовало понять, что тяжкое оскорбление брошено в лицо не только ей, но всем людям, и важно было не спутать светлый лик человечества с искаженной харей всемирного стяжателя и мещанина. Аничка сумела это понять. Она овладела собой и почти спокойным голосом сказала, что, по-видимому, мертвый Акимов так же страшен врагам, как он был им страшен живой. И что ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым, жить.

Пожелав спокойной ночи отцу и генералу Верстовскому, Аничка пошла к себе.

На следующий день, первого сентября, Екатерина Павловна Акимова, семи лет от роду, должна была впервые пойти в школу, и Аничка стала разглаживать утюгом ее белый фартук. Брызгать водой на фартук на этот раз не пришлось — он был и так в изобилии смочен крупными, как дождевые капли, материнскими слезами.

*1952*

# ВЕСНА НА ОДЕРЕ

*Роман*

## *Часть первая*

## ГВАРДИИ МАЙОР

### I

В одно туманное зимнее утро, оглашаемое карканьем ворон, таких же хриплых и неугомонных, как и подмосковные их сородичи, за поворотом дороги возник чистенький сосновый лесок, такой же точно, как и только что пройденный солдатами. А это была Германия.

Впрочем, об этом пока что знали только штабы. Солдаты, простые люди без карт, пропустили великий миг и узнали о том, где они находятся, только вечером.

И тогда они посмотрели на землю Германии, на эту обжитую землю, издревле защищенную славянскими посадами и русскими мечами от варварских нашествий с востока. Они увидели причесанные рощи и приглаженные равнины, утыканные домиками и амбарчиками, обсаженные цветничками и палисадниками. Трудно было даже поверить, что с этой, на вид такой обыкновенной, земли поднялось на весь мир моровое поветрие.

— Так вот ты какая!..— задумчиво произнес какой-то коренастый русский солдат, впервые назвав Германию в упор на «ты» вместо отвлеченного и враждебного «она», как он называл ее в течение четырех последних лет.

И солдаты, остановившись на дорогах, вздохнули. Торжествующий крик десяти тысяч ксенофонтовских греков при

виде моря и ликующие возгласы Колумбовых спутников при виде земли прозвучали в этом согласном вздохе сдержанных людей нашего времени, пришедших после страшных испытаний к своей цели.

Однако надо было идти дальше, и колонны тронулись в путь.

Войска шли по дороге непрерывным потоком. Пехота, грузовики, длинноствольные пушки и тупоносые гаубицы двигались на запад. Временами лавина останавливалась по вине какого-нибудь нерасторопного шофера, и раздавались негодующие крики. Правда, в этих столь обычных криках на забитой фронтовой дороге не чувствовалось раздражения и злости, какие были им свойственны раньше: все стали добрее друг к другу.

Колонны снова трогались, опять раздавались возгласы пехоты: «Принять вправо!» — регулировщики взмахивали флажками, и все оставалось бы очень привычным и изрядно надоевшим, если бы не эти слова, которые хмелем шумели во всех головах и светом светились во всех глазах,— слова: *«Мы в Германии»*.

Будь среди этой массы людей поэт, у него глаза разбежались бы от великого множества впечатлений.

Поистине каждый человек, двигавшийся по дороге, мог бы стать героем поэмы или повести. Почему бы не описать эту живописную группу солдат, среди которых выделяется огромный старшина то ли с таким загорелым лицом, что его волосы кажутся белыми, то ли с такими русыми волосами, что его лицо кажется смуглым?

Или этих веселых артиллеристов, повисших, как птицы на дереве, на своей огромной пушке?

Или этого худощавого молодого связиста, тянущего свою катушку чуть ли не от подмосковных деревень и дотянувшего ее до германской земли?

Или этих милых, ясноглазых медсестер, которые так важно восседают на грузовике, груженном палатками и медикаментами? При виде их солдатские плечи как-то сами собой расправляются, грудь выпячивается, а глаза светлеют...

А там на дороге появилась машина с прославленным генералом. За ней следует бронетранспортер с грозно подъятым ввысь крупнокалиберным пулеметом. Почему бы не написать об этом генерале, о его бессонных ночах и знаменитых сражениях?

Каждый из этих людей имеет за собой две тысячи таких километров, о которых только в сказке сказать да пером описать.

Но вот внимание солдат привлекло необычайное зрелище, развеселившее всех.

По мокрой от тающего снега дороге неслась карета. Да, это была настоящая, крытая пурпурным лаком карета. Сзади торчали запятки для ливрейных лакеев. На дверцах красовался сине-золотой герб: оленья голова с ветвистыми рогами справа, зубчатая стена замка слева, шлем с забралом наверху, а внизу — латинский девиз: «Pro Deo et Patria» [1]. Однако на высоком кучерском сиденье восседал не графский холуй, а молодой солдат в ватничке и, причмокивая, понукал лошадей, как заправский русский ямщик:

— Пошевеливайтесь, родима-аи-и!..

Бойцы провожали карету гиком, свистом и шутками:

— Эй, катафалка! Куда поехала?

— Гляди, покойника везут!

— Братцы!.. Музей сбежал!..

«Ямщик» старался сохранить невозмутимый вид, но его безбородое раскрасневшееся лицо дрожало от еле сдерживаемого хохота.

Пассажиры этого странного экипажа были случайными попутчиками. Они либо догоняли свои части, либо ехали по предписанию к месту новой службы. Карету подобрал молодой молчаливый капитан Чохов у ворот помещичьей усадьбы. Служащий в поместье старый поляк объяснил, что за отсутствием бензина пан барон собирался бежать на запад в этой карете, но не успел: прошли русские танки — и пан барон, переодевшись, отбыл пешком.

Пообещав подобрать и проучить беглого барона, буде он попадется на пути, капитан Чохов поехал догонять часть, куда получил назначение. Было много попутных машин, но капитан Чохов любил независимость. По дороге он прихватил двух солдат, однако втроем они двигались недолго: уже на следующем километре в карету попросилась молодая стройная женщина-врач с капитанскими погонами, а спустя полчаса — лейтенант с перевязанной рукой: он ехал из госпиталя после легкого ранения.

---

[1] За бога и отчизну.

Завязалась беседа, которая тут же была прервана новым лицом: на подножку кареты ловко вскочил широкоплечий синеглазый майор. Он юмористически окинул взглядом атласную обивку и насмешливо сказал:

— Красноармейский привет уважаемой графской семье.

Никто не заметил, как женщина тихо ахнула и уставилась на майора огромными серыми, вдруг просветлевшими глазами. Не заметил этого и майор. Он продолжал:

— На чем хотите ездил: на лодках и плотах, в аэросанях и оленьих нартах,— но в карете не приходилось! Решил испробовать!

Речь его, оживленная и исполненная веселого лукавства, сразу нарушила стесненность, которая обычно сковывает такие случайные компании. Все засмеялись и стали дружески приглядываться друг к другу, как дети, пойманные на недозволенной шалости. В синих глазах майора светился тот дружелюбный, жизнерадостный огонек, который выражает приблизительно следующее: «Я люблю вас всех, сидящих здесь, без различия пола, возраста и национальности, потому что вы мои друзья, хотя и незнакомые, родичи, хотя и дальние, потому что все мы из Советского Союза и все делаем одно и то же дело». Людей с таким огоньком в глазах любят дети и солдаты.

«Феодальные» лошади, погоняемые молодым колхозником, помчались еще веселее. Майор почти упал на сиденье и тут, взглянув на женщину, вскрикнул:

— Постойте! Это вы, Таня? — И он крепко сжал ее руку, внезапно став серьезным.

Все почему-то обрадовались нежданной встрече двух людей, знакомых, возможно, еще с незапамятных довоенных времен. Однако, подозревая здесь какую-то романтическую подоплеку, все, после обычных слов, произносимых в таких случаях («Что? Знакомую встретили?», «Вот так встреча!» и т. д.), тактично отвернулись, давая возможность майору и женщине-врачу поговорить, а может быть, и расцеловаться.

Поцелуев, однако, не последовало. Знакомство гвардии майора Сергея Платоновича Лубенцова с капитаном медицинской службы Татьяной Владимировной Кольцовой хотя и имело большую давность, но было случайным и кратким: они шесть дней двигались в одной группе, выходившей из окружения между Вязьмой и Москвой в памятном 1941 году.

Лубенцов был в то время лейтенантом. Совсем еще молодой,

двадцатидвухлетний, он и тогда казался веселым, хотя эта внешняя веселость стоила ему немалых усилий воли. Но он считал чуть ли не своим комсомольским долгом казаться именно веселым в те трудные дни.

К нему, шедшему с остатками взвода, все время присоединялись одиночки и маленькие группы бойцов, потерявших свою часть. Некоторые из этих людей были подавлены, многие непривычны к воинскому труду. Нужно было их подбодрить, успокоить, наконец просто привести в боевую готовность перед лицом многочисленных опасностей.

Однажды на привале, в поросшем густым кустарником болоте, кто-то, тихо стонавший от усталости, спросил:

— А может, нам не удастся пройти?

Лубенцов в это время срезал финским ножом толстую палку: он мастерил носилки для раненного в обе ноги танкиста. Услышав вопрос, он ответил:

— Что ж, возможно, что и не пройдем.— И, помолчав, неожиданно добавил: — Но это не так существенно.

Послышался недоуменный ропот. Лубенцов пояснил с подчеркнутой беззаботностью:

— Останемся в немецком тылу партизанить. Чем не отряд? У нас даже и врач свой,— он кивнул в сторону Тани,— а оружия хватит...

Откуда брал он уверенность и твердость в эти тяжелые дни? Он родился и вырос в приамурской тайге, был вынослив, превосходно ориентировался на местности и знал бездну полезных вещей, необходимых в лесу. Но не в этом было дело. В лейтенанте жила безраздельная уверенность в конечной победе над любым врагом. Эта уверенность временами даже удивляла бедную Таню, совсем ошалевшую от долгой ходьбы, непривычных лишений и тяжких дум.

Она попала в действующую армию прямо из мединститута и только успела приступить к своим обязанностям в санитарной части стрелкового полка, как немецкие танки прорвали нашу оборону и двинулись на Москву.

Молодой лейтенант вскоре начал относиться к Тане, единственной женщине в его группе, с особым вниманием, за которым скрывалось нечто большее, чем простое сочувствие.

Он до боли жалел ее. Она была такая бледная, большеглазая и такая грустная, что он готов был тащить ее на плечах по

этим осенним изъезженным проселкам, покрытым вязкой грязью и окаймленным мокрыми красными кустами. Она шла молча, не жалуясь и не глядя по сторонам, и это ее молчание, да и самое ее присутствие благотворно влияли на остальных. Она-то этого, конечно, не знала, но Лубенцов — тот знал и иногда упрекал отстающих:

— Вы бы хоть у этой девушки поучились...

По утрам лужи покрывались тонким ледком, небо угрюмо хмурилось. Немцы были близко. Таня страдала, у нее так мерзли руки, что она не могла причесаться, заплести косу, умыться. И все мысли у нее тоже окоченели, кроме одной: «Ох, как мне плохо!» А этот лейтенант ежедневно брился самобрейкой, жаловался, улыбаясь одними глазами, на отсутствие сапожного крема и однажды даже умылся по пояс возле какой-то речки. У Тани зубы застучали при одном взгляде на это купанье.

Она была благодарна ему за все: за то, что он специально для нее на привалах раскладывал крошечный костер — разжигать костры он вообще запрещал, это было опасно; и за то, что он научил ее правильно наматывать портянки и смотрел на нее сочувственно, иногда бросая ободряющие слова:

— А вы молодец! Из вас солдат будет.

Деятельный, неутомимый, хорошо разбирающийся в людях, он не только для Тани — для каждого находил слово поощрения. Благодаря его настойчивости и хладнокровию все стали чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Перед рассветом он с двумя бойцами обычно отправлялся в разведку. Однажды он вернулся мрачный и рассеянный. В соседней деревне, сообщил он, находятся пленные русские бойцы, в большинстве легко раненные. Тяжело раненных, как ему удалось выяснить, гитлеровцы по дороге расстреляли.

— Пленных охраняют,— сказал он, помолчав,— но охраны всего человек пятнадцать. Караулы не выставлены.— Вопросительно взглянув на окружающих его людей, он продолжал: — А связь у них — одна ниточка... Перерезать — и все.

Воцарилось молчание. Вдруг вперед вышел человек в крестьянском тулупе со смушковым воротником. До сих пор этот человек шел все время молча, глядя себе под ноги и ни во что не вмешиваясь.

— Нечего ввязываться в безрассудное дело,— сказал он медленно и веско.— Для нас это непосильная задача. Вы гово-

рите — их пятнадцать, а нас человек пятьдесят. Допустим. Но то — регулярные войска... Немцы.

Лейтенант нахмурился и сказал:

— Здесь не профсоюзное собрание, а воинская часть, хотя бы и сборная.

Человек в тулупе процедил сквозь зубы:

— Не учите меня воинским порядкам. Я понимаю в них больше, чем вы.

— Тем лучше,— кротко возразил Лубенцов.— Я командир, и мои приказы должны выполняться.

— Кто вас назначил? — вскипел человек в тулупе.— А вы знаете, кто я такой? Я подполковник.

Лубенцов вдруг рассмеялся.

— Да какой же вы подполковник? — сказал он.— Тулуп вы, а не подполковник!

Человек в тулупе спросил упавшим голосом, но все еще бодрясь:

— Не вы ли меня разжаловали?

— Зачем? — ответил Лубенцов и, уже отвернувшись к остальным, добавил: — Вы сами себя разжаловали.

Пленных освободили с легкостью, неожиданной даже для Лубенцова. Захваченная врасплох охрана не оказала никакого сопротивления. Немцы чувствовали себя слишком уверенно. Оружие было аккуратно составлено в козлы в сенях сельсовета, и Лубенцов роздал трофейные винтовки освобожденным раненым бойцам, которым Таня оказала посильную медицинскую помощь.

Группа двинулась в путь ускоренным маршем, так как Лубенцов боялся преследования. Шли бодро, словно поход только что начался. Оживленно перешептывались. Никому не хотелось спать, ноги не болели даже у самых отъявленных нытиков. Все преувеличивали свою победу и были в восторге от лейтенанта. Для многих именно эта ночь явилась подлинным началом их боевой жизни.

Следующей ночью Таня впервые увидела немцев.

Лил дождь. Отряд вышел к большаку. По дороге двигались грузовые машины. Таня вначале не обратила на них никакого внимания и рассеянно шагнула вперед, но тут на ее плечо легла рука лейтенанта.

— Ложитесь,— сказал он тихо.— Немцы!

Она растерянно осмотрелась: где немцы? И, уже прижав-

шись к земле, поняла, что эти машины — обычные грузовые машины с ярко горящими фарами — они как раз и есть «немцы». Показалось несколько танкеток с черными крестами. До Тани донесся картавый говор.

Все это было так чуждо, так нелепо и враждебно, что Таня ощутила одновременно удивление, отвращение и страх. Она почувствовала себя одинокой и подавленной, словно эти чужие до омерзения тени отрезали от нее всю прошлую жизнь, все надежды и все мечты. Она схватила Лубенцова за руку и долго ее не отпускала, до тех пор, пока отряд не тронулся дальше. Мелькнувший свет фар слабо осветил лицо лейтенанта. Дождевые капли ползли по его щекам. Лицо юноши было теперь невыразимо серьезным и печальным.

Утром они вышли наконец к своим. По дороге на формировочный пункт Лубенцов подошел к Тане и попросил дать ему ее московский адрес:

— Может быть, встретимся когда-нибудь, зайду к вам чайку попить.

Просьба эта удивила ее тем же самым — его уверенностью в будущем, в том, что впереди мирная жизнь со встречами, адресами, чаями.

Адрес? Таня жила в Москве у тетки. Но дело было не в этом. Она сказала:

— Я замужем.

Конечно, то был не очень умный ответ — ведь он не предложение ей делал в конце концов.

— Адрес я вам дам, разумеется,— поспешно добавила она.

Но впопыхах Таня забыла о своем обещании. Они прибыли на формировочный пункт, ее обступили офицеры, среди них было много врачей. Ее напоили сладким чаем, накормили мясными консервами. Согревшаяся, полная надежд на встречу с матерью и с мужем, она как-то сразу позабыла, кем был для нее этот бесстрашный, веселый и добрый лейтенант в течение шести самых трудных дней ее жизни.

Лейтенант постоял минутку неподалеку и незаметно ушел. Потом она узнала, что он получил назначение в какую-то часть и уехал. Она мимоходом подумала о нем с грустью и пожалела, что не сказала ему прощальных благодарственных слов.

И вот этот лейтенант, теперь уже гвардии майор, спустя три с лишним года сидит рядом с ней в несущейся по мокрому асфальту карете.

## II

Это была удивительная встреча. Оба были взволнованы.

— Вы по-прежнему такой же веселый,— сказала она,— и все вам нипочем.

— А вы по-прежнему немножко грустная,— отозвался он,— но более взрослая.

— Старая,— засмеялась она.

Она так мило смеялась, тепло, тихо, как бы про себя. При этом ее большие глаза почти исчезали, превращались в искрящиеся щелки, а нос морщился, что придавало лицу несколько неожиданное выражение крайнего добродушия.

В этот момент сверху, с облучка, раздался громкий, встревоженный голос «ямщика»:

— Товарищи офицеры! Кругом врут, что мы в Германию вошли...

Лубенцов оторопело посмотрел вверх, потом открыл полевую сумку, вынул карту и, развернув ее на коленях, перевел дыхание и произнес:

— Да, мы в Германии.

Лейтенант выхватил пистолет, распахнул дверцу и выпустил в воздух всю обойму. «Ямщик» выстрелил в небо из винтовки. Лошади, испугавшись, прибавили ходу. Все приникли к окнам. Мимо мелькали поляны, лесные опушки, кусты, и люди удивлялись обычности всего этого:

— Глядите, липы!

— Боярышник!

— Яблони!

Лейтенант, раскрыв свой чемодан и порывшись в нем, горестно воскликнул:

— А водки-то нет!

«Хозяин» кареты, капитан Чохов, не говоря ни слова, достал откуда-то флягу с водкой. Сидящий в карете солдат, смущенно улыбаясь, погладил рыжие усы и сказал:

— У нас, товарищи офицеры, это самое... Спиртик есть... Ежели не побрезгаете... Противный, но крепкий. Зверобой...

Карета свернула с дороги и, запрыгав по кочкам, вскоре остановилась в роще. «Ямщик», всунув предлинный бич в стойку облучка, присоединился к остальным. Все очень расшуме-

лись, только Таня почему-то присмирела. Она забралась на высокое кучерское сиденье и сидела там, сжавшись в комок, подевичьи угловатая, невеселая, и смотрела с отсутствующей улыбкой на тянущиеся кругом реденькие рощи. Пить она отказалась.

— Тут не пить надо,— сказала она, отстраняя кружку,— не знаю, что надо, может быть, плакать от жалости к тем, которые не дошли.

И все поняли, что она права. И хотя выпили, конечно, но уже не шумно, а как бы в торжественном раздумье.

Выпили за победу, за войска Первого Белорусского фронта. Рыжеусый солдат предложил тост также «за наш семейный фронт, за жен и деток то есть».

— И за мужиков, конечно,— прибавил он, косясь на Таню,— ежели они есть, а ежели нет, то за женихов.

Таня сказала:

— И подумать только! Вон там немецкая деревня. Даже как-то странно, что здесь живут немцы, те самые, что наделали в мире столько зла. Что же? Сжечь эту деревню? Перебить там всех?

Все молчали. Потом послышался голос капитана Чохова:

— А что вы думаете? Пойдемте, сделаем это.

Эти слова, произнесенные спокойным голосом, заставили всех взглянуть на Чохова. И все увидели круглое юношеское лицо, маленький ровный нос и серые решительные глаза. В этих глазах была вызывающая самоуверенность ничего не боящегося человека.

Гвардии майор Лубенцов внимательно посмотрел на него и только махнул рукой. Это короткое, несколько презрительное движение было, пожалуй, красноречивее слов. Всем стало ясно, что никто никуда не пойдет, ничего не сожжет и никого не перебьет — по крайней мере в присутствии гвардии майора.

Понял это и Чохов. Враждебно взглянув на Лубенцова и сжав губы, он больше не произнес ни слова.

— Немецкая армия еще отчаянно дерется,— сухо проговорил Лубенцов.— И вы будете иметь возможность проявить свою прыть в бою...

Таня примирительно сказала:

— Поехали!

Все уселись в карету, и вскоре она, гремя колесами, въехала

в деревню. Здесь их встретила огромная надпись на маленькой ратуше:

| SIEG ODER SIBIRIEN![1] |
|---|

Лубенцов перевел остальным этот невразумительный лозунг — по-видимому, последнее изобретение Геббельса.

— Пугает фриц фрица нашей Сибирью,— даже немного обиженно сказал рыжеусый.— А мне бы дожить до победы да поехать в свою Сибирь, к Василисе Карповне и детям.

«Ямщик» остановил карету у одного из домов. То был красивый кирпичный домик с высоким крыльцом, внутри было тихо и темно и пахло тленом. В то время как «ямщик» распрягал лошадей, остальные шумно размещались в холодных комнатах, с любопытством заглядывая в темные закоулки.

Внезапно на пороге появился «ямщик». Он был чем-то взволнован и сказал, обращаясь к Лубенцову:

— Товарищ гвардии майор, там в сарае что-то не тае...

Они вышли. В темноте двора похрюкивали свиньи. Сарай был полон дров. А за темной массой поленьев фонарик Лубенцова осветил очертания пяти повешенных.

— А, черт! — выругался Лубенцов.— Снимай! — скомандовал он и начал резать ножом веревки.

Повешенные тяжело грохались об пол. В сарай вошли лейтенант и Чохов. Лейтенант начал суетливо помогать Лубенцову. Чохов стоял в стороне. Его папироса светилась в темноте сарая.

Двое подавали еще признаки жизни. Это были старуха и маленькая девочка. Их внесли в дом. Таня начала приводить их в чувство. Девочка вскоре уже сидела рядом с Таней на диване, одной рукой потирая шею, а другой крепко уцепившись за руку незнакомой женщины. Старуха, не глядя на окружающих ее молчаливых русских, стала ходить по комнате, тяжело шаркая и убирая разбросанные на полу вещи.

Лубенцов немного знал немецкий язык, и хотя запас его слов почти исчерпывался чисто военным лексиконом, ему все-таки удалось расспросить старуху.

Оказалось, что ее сын, местный национал-социалистский активист, не успел эвакуироваться и в страшной панике решил повеситься и повесить всю семью. Прошлой ночью прошли рус-

[1] Победа или Сибирь! *(нем.)*

ские танки, с утра советские войска шли и шли весь день, и, поняв, что бежать уже невозможно, хозяин дома привел в исполнение свой замысел.

— Разве это люди? — с гадливостью сказал растапливавший печку рыжеусый сибиряк.— Этому фашисту не только чужих — и своих детей не жалко. Ведь собственными руками, стервец, вешал.

— Твой сын,— втолковывал старухе «ямщик», ударяя себя по лбу пальцем,— во, во, дурной... Ферштейн? Как можно,— кричал он, вероятно думая, что чем громче, тем понятнее,— вот такую...— он махнул рукой в сторону девочки,— маленькую,— его рука опустилась к полу,— вешать? — И он показал рукой на свою шею.

Старуха принялась стелить русским постели. Делала она это без подобострастия: она слишком недавно стояла на пороге смерти, чтобы заискивать перед кем-либо. Просто так полагалось, русские были победителями и имели право рассчитывать на смирение побежденных.

Лубенцов, однако, как человек военный, не мог рассчитывать на запоздалое немецкое смирение. Поэтому он решил на всякий случай установить охрану. Кропотливо расписав порядок дежурств и сигналы тревоги, Лубенцов напоследок сказал:

— В общем, вы можете все ложиться спать, а я буду дежурить до утра, потому что спать я сегодня не смогу.

— Можно, я подежурю с вами? — спросила Таня из дальнего угла комнаты.

— Конечно! — воскликнул Лубенцов.

Все, как по уговору, сразу разошлись по своим местам, а Лубенцов с Таней еще некоторое время посидели за столом. Потом они оделись, чтобы пойти на пост.

В доме уже раздавался тихий храп. Прежде чем выйти на улицу, они обошли дозором все комнаты. В столовой на диване спал капитан Чохов. Во сне его круглое лицо, потеряв свойственное ему выражение вызывающей самоуверенности, выглядело совсем юным. В соседней комнате беспокойно ворочался на постели лейтенант. Он спал в своей старой шапке-ушанке, во сне скрежетал зубами и что-то бормотал. На огромной двуспальной кровати поместились рыжеусый с «ямщиком». Оба были одеты, обуты и укрыты шинелями, хотя под ними возвышался целый ворох одеял. Из-под шинелей солдат торчали стволы автомата и винтовки, тоже укрытые и тоже как будто спящие.

Рядом с ними на маленькой кровати спала немецкая девочка.

Лубенцов тихо рассмеялся по поводу укутанного оружия и спартанской непритязательности солдат — этой приобретенной на войне вечной готовности к бою.

Вышли во двор. Было очень темно и ветрено. С дороги доносился глухой шум проходящих войск и гудки автомашин. Под большими деревьями что-то двигалось. Лубенцов засветил фонарик. Старуха рыла лопатой яму.

— Чего это она? — вполголоса спросила Таня.

Лубенцов подошел к старухе и заговорил с ней; она долго и подробно объясняла ему что-то. Вернувшись к Тане, Лубенцов сказал:

— Могилу роет. Самоубийц на кладбище не хоронят — вот в чем дело... если я правильно понял.

Они вышли на улицу. Постояли минуту молча. Потом Таня спросила:

— Кем вы сейчас работаете?

— Начальником разведки дивизии. Теперь вот возвращаюсь из штаба армии. Вызывали. Хотели отправить в Москву учиться в Военную академию. Еле отпросился. Как-то обидно не довоевавши отправиться в тыл, да еще перед самым концом. И разведчиков своих не хотелось оставлять: свыкся с ними. И дивизия наша стала для меня как бы родным домом. Уломал все-таки начальство. Спасибо, не послали... А то бы я уже был где-нибудь под Минском...— Он помолчал, затем добавил: — И не встретил бы вас.

У них оказалось немало общих знакомых. Таня служила раньше в одном из армейских госпиталей, знала начальника разведотдела армии полковника Малышева. Теперь она возвращалась с совещания хирургов,— она работает ведущим хирургом в дивизии полковника Воробьева.

— И его знаю,— сказал Лубенцов.— Хороший командир. А мой комдив, генерал Середа, еще лучше.

— Да у вас все хорошие,— улыбнулась она и, посмотрев на него сбоку, тихо проговорила: — Как замечательно, что из этой страшной войны, погубившей столько прекрасных людей, вы вышли невредимым! Особенно при вашей профессии. Я очень рада, что встретила вас.— С минуту помолчав, она спросила: — А полковника Красикова из штаба корпуса вы знаете?

— Знаю немного.

Они медленно ходили вдоль фасада уснувшего дома. Она оступилась, он взял ее под руку и уже больше не отпускал.

— Разве на посту так можно? — спросила она чуть насмешливо.

«Ах, это почти мирное время! — думал Лубенцов.— Я гуляю с женщиной под руку впервые, кажется, за четыре года!»

Небо прояснилось, из-за разорванных туч выглянула луна. Она осветила белые дома с продольными черными перекладинами на стенах и остроконечную крышу кирхи. Как тут было не вспомнить леса у Вязьмы, где они скитались три года назад!

— У меня такое чувство,— сказал он,— будто мы долго взбирались на высокую и крутую гору, и вот мы на самой вершине или близко от нее... Может быть, это довольно избитое сравнение, но — ох, как далеко видно с этой вершины! То, что было, начинаешь видеть по-новому, а то, что будет, становится таким прозрачно-ясным... Теперь мы полностью осознали свою силу и свое значение. Мы как-то выросли, вроде как бы зрелость приобрели...— Он улыбнулся, сконфуженный.— В общем, это трудно объяснить...

Она посмотрела на него внимательно, просто для того, чтобы удостовериться, что он действительно тот самый лейтенант, который стоял рядом с ней холодной осенней ночью у старой смоленской дороги. Тот самый, у кого можно научиться быть уверенной и смелой. Она вдруг позавидовала его разведчикам и вообще тем, кто близко общается с ним.

— Вы слышите? — неожиданно спросил он.

Они удивленно переглянулись: невдалеке раздались странные стонущие звуки, словно на гигантских струнах играл ветер. То был старый, знакомый с детства мотив. На некоем неведомом инструменте кто-то играл знаменитую песню о Стеньке Разине. Звуки неслись из кирхи. Лубенцов с Таней направились туда, вскоре очутились перед широкими ступенями и вошли. Лунный свет лился из узких сводчатых оконниц. В сиянии этого света на высокой балюстраде сидел какой-то сержант и играл на органе. Внизу стояла группа слушателей-бойцов.

Внезапно игра прекратилась, и сержант, встав с места, певучим голосом спросил:

— Товарищ майор, разрешите продолжать?

Лубенцов, зачарованный, сначала не понял, что обращаются к нему. А поняв, ничего не сказал, махнул рукой и вместе со своей спутницей вышел из кирхи.

На улице было холодно, ветрено и торжественно.

Они медленно шли обратно к дому. Лубенцов вдруг спросил:

— А ваш муж... на каком фронте?

— Он погиб,— сказала она.— В сорок втором году.— И сухо добавила: — На Сталинградском фронте.

Эта внезапная сухость в голосе означала: «Прошу меня не жалеть, не говорить лишних слов и не притворяться, что вас интересует мой муж».

Она небрежно сказала:

— Вот такие дела.

Но тут она взглянула на Лубенцова и, увидев его растерянное, смущенное лицо, не выдержала. Напрасно она с силой закусила нижнюю губу — было уже слишком поздно: из ее глаз полились слезы, и она отвернулась, еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться навзрыд.

### III

Ранним утром в деревне появилась колонна грузовых машин. Один из грузовиков внезапно остановился. Оттуда спрыгнул молоденький связист лейтенант Никольский. Он первым делом радостно сообщил Лубенцову:

— Знаете, товарищ гвардии майор, мы уже на германской территории!

— Знаю,— усмехнулся Лубенцов и повернулся к Тане. Надо было ехать, а расставаться не хотелось.

Из дому вышел только что проснувшийся рыжеусый сибиряк. Заметив, что майор собирается уезжать, он сказал:

— Счастливого пути, товарищ гвардии майор. Встретимся, однако, в Берлине.

— Похоже на то,— засмеялся Лубенцов и крепко пожал протянутую ему большую солдатскую руку.

С такой же энергией пожал он и тонкие пальчики Тани. Она сморщилась от боли и жалобно сказала:

— Разве так можно? Мне же этой рукой раненых оперировать...

Лубенцов вконец смутился, мысленно обругал себя за неловкость и сел в кабину рядом с шофером. Лейтенант вскочил в кузов, и машина тронулась.

«Ну и медведь же я! — с досадой думал Лубенцов.— Ни слова не сказал на прощание, привета остальным попутчикам не передал... И что она подумает обо мне!»

Он вздохнул. Шофер покосился на него и понимающе улыбнулся: «Ох, эти разведчики! Всюду поспевают!» Лубенцова в дивизии знали все, о хитроумии и храбрости разведчика ходили легенды. Понятно, что шофер, так же как и лейтенант Никольский, решил, что гвардии майор неспроста прогуливался ранним утром с этой красивой сероглазой врачихой.

Машина тем временем выехала на большую дорогу и, включившись в бесконечную колонну других машин, пошла медленнее.

Разглядывая плывущую за окошком равнину, запорошенные снегом черепичные крыши, ровно высаженные небольшие рощи и бессознательно оценивая местность с тактической точки зрения, Лубенцов, однако, не переставал думать о Тане. Он вспомнил ее слезы и ее последующий взволнованный рассказ о гибели мужа и о смерти матери и, вспоминая все это, почувствовал, что улыбается мечтательной, нежной и, как он сразу решил, бессердечной улыбкой. «Выходит,— подумал он,— я радуюсь тому, что она осталась без мужа?! Никак не ожидал от себя этакой подлости!»

Он постарался принять серьезный вид.

Встреча с Таней, да еще в такой день, означающий скорый конец войны, показалась ему глубоко знаменательной.

Таня была «старой знакомой»,— это обстоятельство играло для Лубенцова очень важную роль. Их отношения, таким образом, не должны были носить характера той нередкой на войне скоропалительной «дружбы» мужчины с женщиной, «дружбы», которая претила ему и которой он избегал.

«Старая знакомая!» Эти слова были необычайно приятны Лубенцову, они освобождали его от чувства робости, испытываемого им в присутствии случайно встреченных женщин, слишком хорошо знающих, чего от них хотят.

В мыслях о Тане и о будущих встречах с нею прошло все время до прибытия в деревню, где расположился, вероятно на несколько часов, штаб дивизии.

Здесь Лубенцов сразу окунулся в отлично ему знакомую атмосферу хлопотливой, хотя и не очень торопливой деятельности, свойственной всем штабам, где бы они ни находились.

Дивизионные разведчики разместились в большом, густо

побеленном доме на западной окраине деревни. Дом был полон белых перин и стенных часов разных размеров, отличавшихся таким простуженным звоном, словно они просились под эти перины.

Над дверьми, над кроватями и в простенках висели напечатанные на картоне древнеготической вязью изречения в стихах — главным образом на тему о необходимости довольствоваться малым и о преимуществе тихого семейного счастья перед мирской суетой. Под стишками висели фотографии двух улыбающихся германских солдат — видимо, сыновей хозяина дома — на фоне улиц и площадей европейских столиц: Копенгагена, Гааги, Брюсселя и Парижа. Сыновья хозяина не довольствовались малым!

В армии все узнается быстро: разведчики уже знали, что их начальник вернулся. Они пришли его встречать, и хотя были сдержанными людьми и чувства свои проявляли редко, но Лубенцов не мог не заметить, что они рады его возвращению.

Были тут старшина Воронин — знаменитый разведчик, смуглый, маленький, юркий, с хитрым лисьим личиком; степенный, знающий себе цену старший сержант Митрохин; командир разведывательной роты, молоденький капитан Мещерский; ординарец Лубенцова — замкнутый и чудаковатый сержант Чибирев.

Вечно небритый, избегающий каждого лишнего движения, апатичный переводчик Оганесян сидел на одной из перин, но при виде Лубенцова проворно вскочил,— гвардии майор оценил эту жертву и поторопился сказать «вольно», после чего переводчик с облегчением снова опустился на перину.

— Значит, вы в академию не едете? — застенчиво спросил Мещерский.

— Нет, уж после войны поеду,— сказал Лубенцов.

Начались расспросы: что говорят в штабе армии, что предпринимают немцы на других участках фронта?

Все были в приподнятом, праздничном настроении. Один из разведчиков сказал, восторженно размахивая руками:

— Видели, товарищ гвардии майор, что на дорогах делается? Какая силища! А народу-то, народу сколько! А пушек! Ну, катиться немцу кубарем, даром что на него вся Европа работала!

— Шли, шли и дошли,— удовлетворенно вздохнул старшина Воронин и неожиданно сказал: — Выходит, товарищ гвардии майор, пора приниматься за шило и молоток.

Представление о шиле и сапожном молотке никак не вязалось с обликом Воронина, кавалера пяти орденов, непревзойденного по храбрости разведчика. Лубенцов улыбнулся и впервые за войну взглянул на каждого бойца в свете его прошлой профессии.

Итак, «великий» Воронин был сапожником, Митрохин — литейщиком, Чибирев работал на Днепре бакенщиком, Оганесян, этот неопрятный, брюзгливый и добрый человек,— искусствовед, а капитан Мещерский еще никем не был — он перед самой войной кончил десятилетку.

И только Лубенцов до войны был тем, чем он остался по сей день: кадровым военным.

— Ну, друзья,— сказал он, скрывая за шуткой свое волнение,— пока вы еще не сапожники, а солдаты, расскажите, что нового в дивизии.

Но тут в дверях показалось постное лицо майора Антонюка — помощника Лубенцова. Он никогда не отличался веселым нравом, а теперь был особенно угрюм.

Ему трудно было скрыть свое разочарование. Он надеялся, что отъезд начальника на учебу повлечет за собой повышение по службе его, Антонюка.

Майор Антонюк знал назубок уставы и наставления, в армии был давно, имел отличную выправку, раньше был кавалеристом и немало гордился этим. Он кончил специальные курсы по разведке и считал себя большим знатоком разведывательной службы.

К Лубенцову у него было сложное отношение. Конечно, он не скрывал от себя качеств гвардии майора. Однако он склонен был считать недостатками Лубенцова то, что другими признавалось за достоинства. Он, например, осуждал манеру Лубенцова обращаться с разведчиками запросто и по-товарищески. Далее, он считал, что Лубенцов совершенно напрасно учится у Оганесяна немецкому языку: не к лицу начальнику обучаться чему бы то ни было у подчиненного, словно школяру какому-нибудь. Вообще он считал, что в Лубенцове много «гражданского», а «гражданское» для Антонюка было синонимом неполноценного. Например, к капитану Мещерскому он стал относиться попросту с презрением, узнав, что тот втихомолку пописывает стихи.

Лубенцову все это было известно. Он иногда посмеивался, изредка сердился. Но стоило гвардии майору повысить голос, и

Антонюк сразу стушевывался. Вообще он уважал только сердитых начальников. Лубенцов говорил про него:

— На него не накричишь — ничего не сделает... И про других думает то же самое.

Но теперь Лубенцов был слишком счастлив вступлением в Германию и встречей с Таней, чтобы обратить внимание на недовольный вид Антонюка. Он внимательно разглядывал карту с нанесенными на нее данными об оборонительных сооружениях противника вдоль реки Кюддов. Разведчики, окружив своего начальника, благодушно покуривали махорку и ждали распоряжений. Уж это они знали: неугомонный гвардии майор работу для них найдет! Сейчас он скажет свое обычное словечко «давай», и все завертится быстрее. И действительно, он, подумав, встал с места, прошелся по комнате и сказал:

— Ну что ж! Давай, ребята! Воевать надо! Я думаю, мы выбросим разведпартию вперед, надо разведать укрепления по реке Кюддов... Это ведь сооружения знаменитого «Восточного вала»! Готовьте людей, Мещерский. Вы пойдете старшим. Я схожу к генералу с докладом.— Он обратился к переводчику: — А пленные есть?

— Есть.

— Допрашивали их?

— Да так, немножко.

— Про Кюддов спрашивали?

— Нет,— сознался переводчик.

Лубенцов укоризненно взглянул на Антонюка, но ничего не сказал, надел шапку и пошел к командиру дивизии.

## IV

Возле дома, где поместился командир дивизии генерал-майор Середа, было очень шумно. Видимо, приехало какое-то большое начальство: у палисадника стояла легковая машина и бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом. В дом и из дома то и дело пробегали штабные офицеры с папками, очень озабоченные и даже чуть напуганные. Один из них шепнул Лубенцову на ухо:

— Знаешь, кто у нас? Сизокрылов!

Да, у комдива находился сам член Военного Совета генерал-лейтенант Георгий Николаевич Сизокрылов. Лубенцов

нерешительно остановился, потом все-таки поднялся на крыльцо.

В прихожей было полно народу. Тут сидели порученцы и адъютанты Сизокрылова, автоматчики из его охраны и вызванные офицеры штаба дивизии. Было тихо. За дверью раздавались негромкие голоса.

Нет, теперь заходить к комдиву не стоило. Прислонясь к дверному косяку, Лубенцов обдумывал слова доклада на случай, если член Военного Совета пожелает вызвать разведчика.

Распахнулась дверь, и на пороге показался начальник политотдела дивизии, полковник Плотников.

— Пошлите за Лубенцовым,— сказал он кому-то из дивизионных офицеров.

— Я уже здесь,— отозвался Лубенцов.

— Ага! Заходи!

В обширной полутемной комнате было очень тихо. В дальнем углу на диване сидел сухощавый седой человек в генеральской шинели. Напротив него стоял навытяжку командир дивизии генерал-майор Середа. Еще какой-то незнакомый Лубенцову генерал-майор — судя по эмблемам на погонах, танкист — и два полковника стояли поодаль.

Лубенцов хотел доложить о своем приходе, но, почувствовав, что атмосфера в комнате напряженная, и от души пожалев своего комдива, который, несомненно, за что-то получал нагоняй, встал «смирно» у стены.

Первое услышанное им слово было «карета». Он насторожился, удивленный.

— Да, в каретах даже,— сказал член Военного Совета, видимо продолжая разговор. — На чем хотите ездят... Сегодня мне пришлось остановить три каких-то шарабана, доверху нагруженных вашей пехотой, Тарас Петрович.— Он помолчал и сказал уже тише и, как показалось Лубенцову, не без лукавства: — Впрочем, не только вашей...— Посмотрев на Середу в упор, он произнес раздраженно: — Садитесь, чего же стоять!

Генерал Середа сел, а Сизокрылов встал с места и заговорил, прохаживаясь по комнате.

— Успешное и быстрое наступление — дело хорошее, но и оно имеет свои теневые стороны. Чересчур ретивые командиры в наступлении часто забывают о дисциплине. В войсках появляется этакое ухарство — нам, мол, все нипочем, раз мы такие

храбрые... А на вражеской территории это может вылиться в очень неприятные эксцессы. Все вы как пьяные ходите: в Германию, дескать, вступили... А между прочим, нужно эту самую Германию по-великолуцки брать, победить ее нужно!

«Почему же меня вызвали? — думал Лубенцов, испытывая чувство некоторого раскаяния по поводу своей предосудительной, как оказалось, поездки в карете.— Неужели известно, что и я в этом деле грешен?»

Он внимательно разглядывал члена Военного Совета, которого видел впервые, но о котором много слышал. Его поразили глаза Сизокрылова: глубокие, умные, очень усталые.

Узнав, что разведчик явился, Сизокрылов повернулся к нему и смерил его пристальным взглядом. «Неужели знает про карету?» — снова подумал Лубенцов, слегка покраснев.

Но с этим все обстояло благополучно.

— Вы хорошо ориентируетесь ночью? — спросил генерал у Лубенцова.

— Да, товарищ генерал.

— Ваш комдив сказал мне, что вы на днях были в штабе танкового соединения...

— Так точно. Два дня назад.

— Прово́дите меня туда.

Лубенцов озабоченно проговорил:

— Между нами и танкистами могут оказаться блуждающие группы немцев. Фронт здесь несплошной. Я могу, товарищ генерал, съездить сам и привезти сюда танкистов для доклада. Я справлюсь быстро.

Сизокрылов опять пристально взглянул на разведчика и слегка насмешливо ответил:

— Я бы с удовольствием послушался вас, товарищ майор, но беда в том, что я хочу побывать в танковых частях лично.

Лубенцов смутился и сказал:

— Понятно, товарищ генерал.

— Что касается блуждающих групп «вервольфов» [1],— продолжал Сизокрылов,— то я не думаю, чтобы их следовало опасаться. Немцы любят приказ, на свой страх они действовать не будут. А те, что поумнее,— те попросту понимают, что это бесполезно. У вас дела много?

---

[1] «Вервольф» — подпольная организация, созданная гитлеровцами в конце войны для диверсионных актов в тылах союзников.

— Утвердить план разведки и допросить пленных.

— За час справитесь?

— Справлюсь.

— В вашем распоряжении час.— Генерал взглянул на часы и внезапно обратился к командиру дивизии: — А где ваша дочь? Неужели все еще здесь, с вами?

Тринадцатилетняя дочь генерала Середы находилась при отце почти безотлучно. Мать ее была убита немецкой бомбой в первые недели войны.

Воспитанная в окружении солдат, среди боев и военных невзгод, она прекрасно разбиралась в картах, в свойствах разных родов оружия и, как шутя говорил ее отец, читать училась по «Боевому уставу пехоты, часть первая».

Генерал вел бесконечную переписку с сестрой жены насчет устройства девочки. Когда обо всем наконец договорились, началось наступление на Висле. Тут было уже не до личных дел, и Вика по-прежнему оставалась в дивизии.

Это была странная, очень способная, болезненная девочка. Она обладала изумительной памятью и нередко подсказывала отцу названия населенных пунктов, номера высот и приданных дивизии артиллерийских и иных частей. Бывало, когда штабные офицеры в беседе с комдивом не могли вспомнить населенный пункт, где дивизия стояла в прошлом году, из угла комнаты раздавался тихий голосок Вики, говорившей не без комичного самодовольства:

— Папа, это было на западной опушке леса, два километра южнее Задыбы.

Но, зная все эти бесполезные для нее вещи, она понятия не имела о многом, чем живут девочки ее лет.

Конечно, такой своеобразный случай не мог остаться незамеченным, и ничего не было удивительного в том, что существование Вики известно члену Военного Совета.

— Позовите ее,— сказал Сизокрылов.

Комдив молча вышел в другую комнату и позвал Вику.

Вошла бледная большеглазая девочка в защитного цвета юбке и гимнастерке, со стриженными по-мальчишечьи черными волосами, тихая, серьезная, подчеркнуто спокойная, но по едва уловимым признакам, отмеченным Сизокрыловым, очень нервная. Ее левое плечико еле заметно подергивалось. Она подошла к члену Военного Совета и представилась:

— Вика.

Заметив Лубенцова, она дружески улыбнулась ему. Это не укрылось от внимания члена Военного Совета, и он сделал вывод, что разведчик является тут общим любимцем.

Пока Лубенцов в соседней комнате докладывал начальнику штаба дивизии свой план разведки, генерал Сизокрылов завел разговор с Викой. Он сказал, обратившись к ней на «вы», как к взрослой:

— Вам пора ехать учиться в Москву. Война идет к концу, и надо думать о будущем.

— Хочется дождаться взятия Берлина, товарищ генерал,— серьезно ответила Вика.— Там ведь будет так интересно!

— И все-таки вы должны уехать отсюда.

— Я ведь и здесь учусь. Майор Гарин и лейтенант Никольский занимаются со мной немного.

— Немного? — переспросил генерал.— Немного — это мало.

— Я понимаю,— смущенно согласилась Вика.— Но это пока.

— А вы своему отцу не мешаете воевать? — спросил Сизокрылов, покосившись на командира дивизии.

— Наоборот,— ответила Вика,— я ему помогаю.— Ни на кого не глядя, она скорбно улыбнулась.— Когда он что-нибудь забывает, я ему напоминаю.

Все рассмеялись. Сизокрылов остался серьезным и сказал:

— Ну, что ж... это хорошо. И все же я вас попрошу: отправляйтесь немедленно во второй эшелон. Ведь штаб дивизии при нынешней маневренной войне часто попадает в трудное положение... Возможны разные случайности — вроде той, когда вы с отцом наскочили на немцев. Было это?

— Да, на окраине города Шубин.

— Вот видите.

Генерал Середа, сконфуженно улыбаясь, сказал:

— Понятно тебе, Вика? Ничего не поделаешь, приказ Военного Совета, надо выполнять.

Лубенцов тем временем согласовал план разведки и пошел к себе. Он передал Антонюку необходимые распоряжения, а сам вместе с Оганесяном и Чибиревым направился в сарай, где находились пленные.

Пленные сидели на соломе и ели из котелков суп. Дожидаясь, пока они поужинают, Лубенцов вполголоса заговорил со своим ординарцем:

— Как у тебя дела? Кони в порядке?

— В порядке,— ответил Чибирев.

Его квадратное лицо было, как всегда, непроницаемо и спокойно. Однако Лубенцов достаточно хорошо знал своего ординарца, чтобы не заметить, что у того на языке вертится какой-то вопрос. И действительно, Чибирев сказал:

— Вот говорили, что у немцев совсем живот подвело. А между прочим, коров и свиней тут чертова уйма. Это как же?

Лубенцов с интересом посмотрел на него. Видимо, этот вопрос волновал не одного только Чибирева, а и всех разведчиков. Действительно, в немецких дворах хрюкали свиньи и мычали породистые черно-белые коровы.

— Это все не так просто,— ответил Лубенцов после краткого раздумья.— Покуда свинья ходит по белу свету, ее не едят. А резать скот немцам не разрешалось. Это мне еще один пленный рассказывал на Буге... Ну, вот и получается: взглянешь со стороны — еда, а вникнешь — не еда, а военные запасы.

Чибирев задумался, оценивая убедительность ответа. Потом сказал:

— Похоже, что так. Стало быть, немцы могли бы воевать еще лет десять. Им бы и жратвы хватило и всего... Значит, их не голод задушил и не американская бомбежка, а мы.

Да, поистине Чибирев сказал самое главное, и Лубенцов благодарно улыбнулся ему.

Лубенцов любил своего ординарца, несмотря на его чудачества. О людях Чибирев говорил полупрезрительно, с видом непререкаемого судьи, и не так просто было получить похвалу из уст этого замкнутого, многодумного солдата.

Про Лубенцова он говорил:

— Это человек.

Про Антонюка, которого не любил и втайне не уважал, он отзывался так же кратко:

— Это не человек.

Разведчики иногда посмеивались над ним, спрашивая то про одного, то про другого:

— Как ты думаешь, Чибирев, это человек или не человек?

Правда, смеяться над ним было довольно опасно: в гневе он проявлял бешеный нрав.

Оганесян начал выкликать поодиночке пленных.

Два интересных симптома сразу бросились Лубенцову в глаза. Во-первых, немцы принадлежали к различным соединениям и тыловым гарнизонам; регулярные, специальные, резервные и охранные части совершенно перемешались между собою,

являя картину растерянности и паники, царившей в германской армии. Во-вторых, за несколько часов плена немцы уже успели совсем потерять свою военную выправку и превратились в то, чем они были до войны,— в чиновников, лавочников, ремесленников, рабочих, крестьян. Этим они коренным образом отличались от прежних пленных. Те и в плену оставались солдатами.

Видимо, они уже всерьез поняли, что Германия потерпела поражение. Правда, не все. Обер-фельдфебель из разбитой 25-й пехотной дивизии, Гельмут Швальбе, мрачно поблескивая сумасшедшими глазками, ответил на вопрос о перспективах войны так:

— В темных шахтах,— сказал он с пророческим видом, высоко подняв грязный палец,— куется тайное оружие огромной силы... оно спасет Германию.

Тощий ефрейтор, стоявший за спиной этого Швальбе, презрительно и злобно сказал:

— Er ist ja verrückt, aber total verrückt, dieser Esel! [1]

Среди пленных началась негромкая перебранка, которая, видимо, возникала не впервые. Лубенцов с удовлетворением отметил, что Швальбе одинок, большинство смеется над ним, а остальные подавленно молчат.

Об укреплениях на реке Кюддов пленные знали больше понаслышке, однако и эти крупицы сведений были тщательно отмечены и записаны Лубенцовым.

Час, данный разведчику членом Военного Совета, истекал. Гвардии майор оставил Оганесяна в сарае для продолжения допроса, а сам, захватив с собой ординарца, пошел к командиру дивизии.

Здесь уже царила предотъездная суета. Автоматчики торопливо занимали места на скамейках бронетранспортера. Они подвинулись, дав место Чибиреву.

Из дому вышел Сизокрылов. Оглядевшись и заметив разведчика, он кивнул ему, затем попрощался с Середой и Плотниковым и направился к машине.

— Поехали,— сказал он.

Лубенцов сел рядом с шофером, член Военного Совета с генералом-танкистом и полковником, своим адъютантом, поместились сзади.

Машина неслась по асфальту, мягко покачиваясь. За пово-

---

[1] Он совсем с ума спятил, осел этакий! *(нем.)*

ротом дороги она нагнала медленно ползущую, запряженную четверкой лошадей карету.

Лубенцов украдкой взглянул на члена Военного Совета. Генерал сидел с закрытыми глазами. Машина обогнала злополучную карету. Лубенцов готов был поклясться, что это та самая, чоховская колымага. Но он не мог определить точно: машина мчалась слишком быстро, и к тому же начинало темнеть.

## V

Карета действительно была та самая. В ней находились только капитан Чохов и рыжеусый сибиряк, восседавший на козлах в качестве кучера. Остальные попутчики с утра разбрелись по своим частям.

Чохов сидел, мрачно покуривая. Он заметил в огромной легковой машине Лубенцова и подумал о нем с неопределенным раздражением: «Опять этот майор... Проповедник... Знаем мы их...» Он никак не мог простить Лубенцову его презрительного жеста и ядовитых слов, да еще при женщине. «Красавчик,— думал он,— наверно, какой-нибудь тыловик... Смеется все время... Немцев спасает... Чистюля».

Полк, куда направлялся Чохов, был уже близко; деревня, где стоял штаб, появилась за первым же поворотом.

— Погоняй,— сказал Чохов.

Рыжеусый хлестнул лошадей бичом.

Штаб полка разместился в длинном доме с островерхой черепичной крышей. Перед домом росли три старых, развесистых дуба. Оставив карету возле этих дубов, Чохов четким шагом проследовал мимо часового, удивленного зрелищем странного экипажа, и, протиснувшись среди стоявших и сидевших здесь ординарцев, посыльных и писарей, вошел в небольшую комнату. Маленький майор говорил по телефону. Писарь и телефонист сидели за столом.

Молодцевато, с залихватской плавностью приложив руку к ушанке, Чохов доложил:

— Капитан Чохов прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.

— ...Смотри, Весельчаков,— кричал майор в телефонную трубку,— деревню возьми! Что значит — стреляют?.. А что ты думал, тебя с музыкой будут встречать?..

Положив трубку, майор сказал телефонисту:
— Вызови мне «Лилию»... Как там поживает сей белый цветок, узнаем.— Потом он обернулся к Чохову, взял его предписание и спросил: — Ну?
«Занятный живчик,— подумал Чохов.— Неужели начальник штаба?»
— На должность командира роты? — спросил майор.
— Так точно.
— Давно на этой должности?
— Два года.
— Давненько,— произнес майор и, махнув рукой телефонисту, чтобы тот замолчал со своей «Лилией», спросил: — Почему так?
Чохов смотрел прямо в глаза майору непроницаемыми серыми решительными глазами, как водолаз смотрит из скафандра на морское растение.
— Не знаю,— ответил он.
Майор усмехнулся:
— Вот как? А кто же знает?
— Начальство знает,— сказал Чохов.
Майор хмыкнул и вышел в другую комнату.
— Это кто? — спросил Чохов у писаря коротко и повелительно.
— Начальник штаба полка.
— Как, ничего парень?
— Кто? Товарищ майор? — удивился писарь такому панибратскому тону в отношении начальника штаба — Героя Советского Союза майора Мигаева.— Ничего...
Майор вернулся, переговорил с вызванной наконец «Лилией», белым цветком, и сказал, обращаясь к писарю:
— Зачислить капитана Чохова командиром второй стрелковой роты. А это что там за колымага? — вдруг заинтересовался он каретой, стоявшей за окном.
— Это моя,— сказал Чохов.
Мигаев рассмеялся:
— Ах, вот ты какой граф! Поня-ятно!.. Брось эту телегу! Роту тебе дают пехотную, а не моторизованную... И учти — нам комбат нужен. Будешь человеком — назначим комбатом.
— А мне и так ладно,— сказал Чохов.
— Да иди ты, странный ты человек! — притворился рассерженным майор.

— Есть идти,— меланхолически ответствовал Чохов и повернулся, снова приложив руку к ушанке с молодцеватой небрежностью.

Когда он уже открыл дверь, Мигаев крикнул вслед:

— А где вторая рота, знаешь?

— Найду,— односложно сказал Чохов и вышел.

Чохов был родом из Новгорода. Он рос без отца, со старушкой матерью, в домике на окраине города. Старший брат работал в Ленинграде на заводе. Когда началась война, Чохову было девятнадцать лет, он только что окончил педагогический техникум и был влюблен в соседскую дочку Варю Прохорову, светловолосую ясноглазую девушку, которая училась в техникуме вместе с ним и с начала учебного 1941 года должна была начать преподавать в школе. Чохов же собирался ехать к брату в Ленинград, с тем чтобы поступить там в институт.

Война поломала все планы. Чохов забил досками окна своего домика, попрощался с Варей и пошел с матерью на станцию.

В Ленинграде Чохова сразу же взяли на военную службу. Варя писала ему каждый день, потом фашисты захватили Новгород, и переписка прекратилась. Чохова отправили вместе с его частью на Карельский фронт. Начались беспрерывные бои, в которых Чохов сразу же показал себя выдающимся по хладнокровию и храбрости солдатом. Вскоре его направили на курсы младших лейтенантов. Учиться ему, правда, пришлось недолго, так как курсанты были брошены в бой на Мурманском направлении, но офицерское звание Чохов все-таки получил и стал командовать взводом. Его тяжело ранило. Год спустя, уже находясь на Северо-Западном фронте, он узнал из газет, что учительница Варвара Прохорова, партизанская разведчица, была повешена гестаповцами в Новгороде, на улице Ленина.

Потом он получил известие из Ленинграда, и оказалось, что матери у него тоже нет: старушка умерла от голода зимой, и не сохранилось даже могилы, так как она умерла на улице и ее похоронили незнакомые люди. Старший брат погиб при обстреле города, когда снаряд попал в цех, где он работал.

Чохов остался один из всей семьи.

Удары, разразившиеся над юношей, вызвали в нем прямую и сильную реакцию, ожесточили его. Война стала делом всей его жизни, главным содержанием ее. Он ни о чем не думал и не

говорил, кроме как о войне. Со временем он даже стал чуть ли не гордиться тем, что он один на свете. «Мне что? Я один»,— думал он часто и по любому поводу. Когда солдаты получали письма из дому или рассказывали о своих семьях, при этом умиляясь, улыбаясь, вздыхая или жалуясь, Чохов смотрел на них свысока, как будто эти родственные связи унижали их, делали их слабее.

В боях он отличался непомерной лихостью. Ненависть его к немцам — в том числе и к пленным — вошла в поговорку. Начальники многое прощали ему за храбрость и, зная о выпавших на его долю несчастьях, потихоньку жалели его, но тем не менее вынуждены были относиться к капитану настороженно: уж очень он был лих! Вопреки всем правилам он всегда шел впереди солдат, хотя при этом частенько терял управление своей ротой.

По этим причинам Чохов уже долгое время оставался на должности командира роты и хотя притворялся, что это его нисколько не трогает, в глубине души был очень уязвлен. Вот и теперь он вышел от майора Мигаева с мрачным лицом и направился к своей карете.

Вокруг кареты уже собрались солдаты. Они рассматривали ее с удивлением и легкой насмешкой. Рыжеусый объяснял им слышанные вчера от Лубенцова подробности устройства старинного экипажа. Латинский девиз он перевел так: «За веру, царя и отечество».

Узнав, что Чохов едет дальше, рыжеусый распрощался с ним: его дивизия находилась левее. Он сказал, как давеча тому гвардии майору:

— Встретимся в Берлине, что ли?

— Доживи раньше,— сказал Чохов.

Рыжеусый вскинул на плечо вещевой мешок и пошел «доживать».

— Никому не нужно в первый батальон? — спросил Чохов у солдат.

Нашлись и такие. Здесь оказался посыльный из штаба батальона и с ним полковой связист. Они влезли в карету и весело подпрыгивали на мягких атласных сиденьях. Геральдический олень на неплотно прикрытой дверце, казалось, испуганно покачивался, глядя на иноземных солдат, пришедших победителями на родину знаменитых померанских гренадер Фридриха Великого.

Майор Весельчаков, командир первого батальона, находился в крайнем доме деревни. Он уже знал о приезде нового коман-

дира роты. Ему сообщил об этом по телефону Мигаев. Может быть, Мигаев намекнул и на некоторые странности в характере лихого капитана. Во всяком случае, комбат ничего не сказал насчет кареты, которую увидел еще издали.

Весельчаков был высокий, рябой, нескладный человек. Впрочем, одет он был на редкость аккуратно: чистый белый воротничок, ярко начищенные сапоги.

Дело в том, что Весельчаков был женат. Про Глашу, жену комбата, Чохов слышал еще в карете, от посыльного.

Глашу справедливо называли матерью первого батальона. Она работала медицинской сестрой. Чистота была ее манией, но за этой манией стояло что-то более значительное, чему солдаты не могли найти имени.

Весельчаков, после того как сошелся с Глашей, имел кучу неприятностей. Вопрос о Глаше и Весельчакове уже разбирался на заседании партбюро полка. На войне, тем более в условиях стрелкового батальона, не полагалось обзаводиться семьей. Однако для Весельчакова и Глаши сделали исключение.

Приехавший с целью расследовать этот случай инструктор политотдела майор Гарин не мог решиться разлучить их по той простой причине, что комбат и Глаша по-настоящему любили друг друга. Это бросалось всем в глаза, это знал каждый солдат батальона.

Гарин беседовал с заместителем Весельчакова по политчасти и с парторгом. В данном случае все было ясно: нельзя допускать расхлябанности среди офицеров. Война есть война. Нужно было разлучить комбата с Глашей. Но Гарин чувствовал, что это неправильно. Тут не «походная» любовь, тут просто любовь. Посидев ночь напролет над выводами своего расследования, он ничего не написал и вернулся в политотдел дивизии. Гарин решил про себя, что вот начнется наступление — и об этом деле забудут. Так оно и тянулось до настоящего времени.

Хотя Глаши теперь в комнате не было, женская рука чувствовалась повсюду в чистоте и порядке, окружавших комбата. Вскоре появилась и сама Глаша.

Это была большая, очень полная женщина лет двадцати семи, с толстыми ногами, прямыми льняными волосами, чуть-чуть рябая, как и Весельчаков, с крепкими румяными щеками.

Но посмотрите в глаза этой великанше — и вас поразит выражение редкой доброты. Взгляните на ее крошечный рот, на ямочки посреди румяных щек — и вы забудете об отсутствии гра-

ции. Тут угадывалось нечто более драгоценное, чем красота,— прекрасная душа.

Это смутно почувствовал и Чохов.

Она стала хлопотливо угощать нового офицера, рассказывая ему, как старому знакомому, что здесь в немецкой аптеке, где она рылась полдня, нашлись хорошие медикаменты и немалый запас бинтов. Она радовалась этому, потому что медсанбат далеко отстал от передовых частей.

— Чисто живут,— говорила она о немцах,— только душонка у них, видно, нечистая. Уж очень боятся нас! Знает кошка, чье мясо съела.

Батальон только что взял большую деревню и захватил два исправных вражеских танка и десяток грузовых машин. Эти машины стояли возле дома комбата. Немцы отошли в лесок на возвышенность, и оттуда били их минометы,— каждые пять минут воздух оглашался кашляющим разрывом. То справа, то слева в поле рвались мины. После каждого взрыва Весельчаков бурчал тихо и угрожающе, обращаясь к невидимому противнику:

— Подожди... Утром запоешь...

— Выбить их оттуда, что ли?..— полувопросительно сказал Чохов.

— Люди устали,— ответил Весельчаков,— трое суток не спавши... Пусть отдохнут. Можете следовать в свое подразделение. Оно в деревне, вон там, видите, за ручьем. На северной окраине. Вам покажут. Людей у вас мало, командиры взводов все выбыли из строя, зато вам приданы батарея противотанковых пушек и минометная батарея. Огня хватает.

— Вы там последите,— напутствовала Чохова Глаша,— чтобы солдаты разувались на ночь... И хорошо бы им искупаться в баньке.— Она просительно посмотрела на Весельчакова.

— Опять ты с твоей банькой! — замотал головой Весельчаков.— Бойцам спать надо, а не париться.

Чохов отправился в путь.

Он лихо вытянул бичом баронских лошадей, и они живо перемахнули через ручей. Вода была лошадям по брюхо и залила атласные сиденья кареты.

При самом въезде в деревню, возле разрушенных мостков через ручей, лежал убитый русский солдат. Обсыпанный неродной землей, лежал он в своей серой шинели, устремив глаза в чужое небо.

Это был первый мертвый русский солдат, увиденный Чоховым в Германии. Какая трагическая судьба: пройти в боях и лишениях столько дорог и погибнуть у самой цели! Как всякий молодой человек, Чохов сразу же подумал о себе, о том, что, может быть, и ему уготовано то же самое.

## VI

Немецкая оборона на Висле была беспримерной по своей мощности. Кто бывал на войне, знает, что́ представляет собой стрелковая рота после прорыва такой обороны. Позднее, при преследовании противника, рота теряет уже не много: случается, кого-нибудь убьет, или ранит, или заболеет кто-нибудь. Людей становится все меньше, а задача роты все та же, в общем рассчитанная на полный состав. Теперь каждый воюет за шестерых. Никто не отстает и не болеет. Убить или ранить их мудрено. Они бессмертные люди.

Это не значит, что уцелевшие солдаты самые лучшие. Они *были* такими же, как и те, что воевали с ними бок о бок и выбыли из строя. Но они, обогатившись драгоценным военным опытом, *стали* самыми лучшими.

Вторая рота состояла из двадцати «бессмертных». Ее малочисленность объяснялась еще и особыми условиями: при прорыве полк наступал на самом правом фланге армии, вернее — фронта, хотя солдаты, конечно, об этом понятия не имели. За рекой уже двигался другой фронт, войска которого сразу же устремились к северу. Таким образом, полк — и вторая рота в том числе — шел с открытым правым флангом. Его обстреливали орудия Модлинского укрепленного района справа, и в то же время он нес потери от огня противника, отступавшего перед ним.

Хотя Чохов воевал уже не первый день, его покоробила малочисленность вверенной ему роты. «Назначили командиром отделения!» — думал он в сердцах.

Солдаты с нескрываемым интересом разглядывали своего нового командира, так лихо перемахнувшего через ручей в своем диковинном тарантасе. На них произвели впечатление его решительный вид, холодные серые глаза и вся его самоуверенная ухватка.

— Где командиры взводов? — спросил он построившихся в шеренгу солдат, словно не знал вовсе о составе роты.

Высокий старшина, козырнув, ответил без запинки:

— Таковых не имеется, товарищ капитан. Есть я, то есть старшина, и два командира отделений: старший сержант Сливенко и сержант Гогоберидзе. Последний командир взвода, младший лейтенант Барсук, выбыл из строя по ранению в боях за город Бромберг. Обязанности писаря-каптенармуса выполняет ефрейтор Семиглав. Парторг роты — старший сержант Сливенко. Докладывает старшина роты Годунов.

— Разуйтесь,— сухо приказал Чохов своей роте,— и спать.

Но спать ушли не все. Двадцатилетний ефрейтор Семиглав под впечатлением великого события — вступления в Германию — никак не мог заснуть.

Вчера вечером парторг Сливенко провел по поводу этого события короткий солдатский митинг, и Семиглав был очень взволнован. Он долго провозился в авторемонтной мастерской, стоявшей на краю деревни, нашел там напильник и мастерил что-то. Выйдя оттуда, он, вздыхая и укоризненно разглядывая свои руки, сказал парторгу:

— Совсем отвык... Какой я теперь слесарь? Мне и третьего разряда не дадут.

Сливенко ответил успокоительно:

— Привыкнешь. Ты и солдатом был никудышным вначале, а теперь какой орел! А уж слесарное дело привычней!

Но Семиглаву было обидно: руки совсем не слушаются. Он грустно бродил по деревне, заглядывал в дома. Навестив артиллеристов и минометчиков, он сообщил им о прибытии нового командира роты. В одном из покинутых домов он обнаружил новенький эсэсовский мундир с железным крестом и, вернувшись к себе в роту, доложил о своей находке капитану.

— Спалить этот дом,— сказал Чохов.

Парторг Сливенко удивленно поднял брови и спокойно заметил:

— Сейчас палить—деревню осветишь, немец спасибо скажет.

— Что, немца испугались? — хмуро спросил Чохов, но больше не настаивал на своем.

Зашли оповещенные Семиглавом артиллеристы — командир противотанковых орудий и лейтенант-минометчик. Они ознакомили нового командира роты с состоянием их «хозяйств», как они на общепринятом военном жаргоне называли свои подразделения. Боеприпасов было мало — всего лишь полбоекомплекта: тылы отстали. Обещают к утру подбросить.

Деревня была залита лунным светом. Люди по большей части спали. Только наблюдатели в окопчиках за деревней сидели — кто у пулемета, кто у противотанкового ружья — и вглядывались в неясные очертания деревьев и кустарников, пряча в рукава шинелей огромные махорочные скрутки. Орудия лишь изредка отвечали на немецкий минометный огонь: берегли боекомплект.

Проводив артиллеристов, Чохов лег в постель, приготовленную для него старшиной. А рота, собравшись во дворе, начала потихоньку делиться впечатлениями о новом командире.

— Видать, решительный,— сказал сержант Гогоберидзе, высокий смуглолицый человек с маленькими, закрученными вверх черными усиками.

— Отчаянный! — добавил Семиглав.

Все поглядывали на Сливенко: мнение парторга имело для них важное значение. Но Сливенко уклонился от вынесения поспешного приговора и только произнес:

— Поживем — увидим.

Годунов решил, ввиду приезда командира, устроить ужин на славу — в батальоне ему удалось получить водку на тридцать человек, числившихся в роте неделю назад. Приметив в сарае кур, оставленных сбежавшими хозяевами, старшина приказал Семиглаву:

— Поймать тройку кур и изжарить. Только смотри, по курам не стрелять, а то разбудишь нашего капитана. (Он уже называл командира «нашим капитаном», приняв его, таким образом, в ротную семью.)

Семиглав, за всякое дело принимавшийся с большим жаром, побежал к сараю, но вернулся через несколько минут красный, вспотевший, однако без кур.

— Не даются куры,— сказал он смущенно.

Из сарая раздавалось отчаянное кудахтанье. Годунов презрительно взглянул на Семиглава и проговорил:

— Что же ты, милый! Куру не поймаешь?

Семиглав виновато развел руками и снова вернулся в сарай. После отчаянной беготни он все-таки поймал петушка, подшибив ему ноги палкой. Вынув нож, он начал резать петушку голову. Но петушок вдруг вырвался из его рук и, таща за собой полуотрезанную голову, пошел скакать по двору. Семиглав с ужасом смотрел на безголового дебошира.

Тогда к нему подошел Пичугин. Это был немолодой тщедуш-

ный крестьянин из-под Калуги, скуластый, с узенькими голубыми глазками и реденькими желтыми волосами на подбородке. Ботинки с обмотками выглядели на нем, как лапти. Он сказал:

— Дурак.

И решительными шагами направился к сараю. Семиглав, полный любопытства, пошел за ним, а Годунов, не желая ронять свое старшинское достоинство, остался на месте, но издали следил за происходящим, крайне заинтересованный.

Пичугин приоткрыл дверь сарая и долго, как гипнотизер, смотрел в полутьму, где сторожко закудахтали встревоженные куры.

— Каких тебе, старшина? — деловито спросил он Годунова, косясь на него, но и не оставляя своим вниманием кур. Он говорил понизив голос, «чтобы куры не поняли».

— Любых,— сказал Годунов.

Пичугин медленно вплыл в сарай. Он шел словно мимо кур, словно даже глядя в сторону, но приближаясь к ним неотвратимо.

— Цып-цыпочки,— говорил он баюкающим голосом.— Цыпцыпочки, немецкие курочки, яйки кладите кругленькие, гладенькие, гутен морген, гутен абенд, ауфвидерзейн... Не помните ли вы, курочки, Калугу-матушку, русский городок, где ваши хозяины в гостях побывали... Брали, брали курочек, сестричек ваших... Ели да похваливали... Цып-цып...

Он внезапно кинулся в сторону, и у него в руках затрепыхались две птицы. Остальные куры, почти с визгом, разлетелись кто куда.

Не спеша, с курами под мышкой, вышел он во двор и, не глядя на Семиглава, но адресуясь именно к нему, сказал:

— Не умеючи не берись. Спасибо ефрейторишке Фрицу. Он стоял у меня в избе. Мастер был по этому делу, всех до одной переловил. Может, это его дом, кто знает... Насмотреться на это надо, как я насмотрелся. Ну, и резать курицу тоже дело не простое. Так резать, чтобы ладно, да складно, да без шуму, без убытку... Зачем куре до кухни шуметь? Она от этого нервная делается и така жестка — не перекусишь...

Говоря эти прибаутки, Пичугин взял одну курицу за головку и как-то с этаким подворотцем тряхнул ею от своего плеча к земле. Затем он бросил ее в сторону. То же самое проделал он и со второй курицей. Семиглав нагнулся над курами и охнул:

— Гляди, старшина, уже готовые! Мертвые совсем...

— А со своим петухом,— отряхиваясь от перьев, сказал Пичугин,— разделывайся сам, как знаешь... Видишь, все еще крыльями махает, недорезанный твой. И чему вас там в школах учили? Ты вот восемь классов кончил, слесарь высшего разряда, а петуха зарезать не умеешь...

Приготовив кур, Годунов пошел будить Чохова:

— Товарищ капитан, ужин готов.

Чохов сразу вскочил и стал натягивать сапоги. Узнав, зачем его будят, он снова скинул сапоги, хотел было отказаться, но, увидев жареную курицу и водку в хрустальном графинчике,— старшина знал толк в таких делах! — вспомнил, что весь день ничего не ел. Он сел ужинать.

За стеной раздавался солдатский храп. По улице деревни непрестанно шуршали шаги, доносились окрики караула. Деревня была полна связистов, саперов, санитаров. Послышался грохот повозок: это из боепитания полка привезли патроны.

Вошли три дивизионных разведчика, обитавших в соседнем доме. Они только что сменились со своего наблюдательного поста на чердаке на краю деревни и теперь присели греться к огоньку стрелков.

В дверь постучали. Прибыла еще одна группа дивизионных разведчиков во главе с командиром роты капитаном Мещерским. Капитаны познакомились. Разузнав у наблюдавших за немцами разведчиков новости, Мещерский сообщил им:

— Знаете, ребята, гвардии майор вернулся.— И любезно объяснил Чохову: — Это наш начальник разведки... Хотели его послать в академию, а он не пожелал.

Вообще этот капитан-разведчик был очень вежлив и выражался книжно. Чохов, считавший вежливость ненужной роскошью на фронте, примирился с такой необычной манерой Мещерского только потому, что тот был разведчиком, а разведчиков Чохов уважал.

Обогревшись, Мещерский и его люди поднялись со своих мест.

Чохов, узнав, что группа пойдет в тыл к немцам, спросил у Мещерского:

— И вы с ними пойдете?

— Обязательно,— сказал Мещерский.

Чохов вышел на крыльцо и смотрел вслед удалявшимся разведчикам, пока они не скрылись из виду. У крыльца стоял старший сержант Сливенко, парторг роты.

— Вы что, на посту? — спросил Чохов.

— Нет, товарищ капитан, просто не спится.— Помолчав, Сливенко сказал: — У меня тут дочка, товарищ капитан.

— Где?

— Кто знает где!.. В Германии. Угнали ее сюда. Как вчера сообщили из политотдела, что мы вошли в Германию, у меня сон пропал.— Он коротко засмеялся, словно извиняясь за свою слабость.— Сдается мне, старому дураку, что, может, дочка-то от меня за полверсты, где-нибудь на ближнем фольварке или в соседней деревне.

— Германия большая,— сказал Чохов.

— Сам знаю, а спать не могу. Сегодня мне один немец сказал, что на соседнем фольварке русские девчата работают. У помещика. Туда прямая-прямая дорога. Разрешите сходить, товарищ капитан, успокоить душу.

Они вошли в дом, и Чохов посмотрел на карту. Фольварк был в двух километрах к северо-востоку.

— Как же быть? — сказал Чохов.— Один вы не пойдете, а дать вам людей — в роте-то всего сколько... Говорят, здесь орудуют группы вроде партизан...

Сливенко презрительно рассмеялся:

— Да что вы, товарищ капитан! Никогда не поверю, что у них партизаны. Не пойдет немец на такое дело. Немец — он аккуратист, знает, что плетью обуха не перешибешь. Да и где здесь партизанить? Леса чистенькие, прилизанные, дорожки пряменькие... Нет, вы за меня не бойтесь, я один пойду...

На Чохова подействовали эти, по-видимому, глубоко продуманные слова. Хотя и не без колебаний, он все-таки разрешил парторгу отлучиться.

Сливенко взял автомат, положил в карманы по гранате и сказал, смущенно улыбаясь:

— Спасибо, товарищ капитан. Вы им,— он махнул рукой на дверь соседней комнаты, где спали солдаты,— даже не говорите... Я приду назад через час,— и закончил по украински: — А то невдобно: парторг, а такый старый дурень!

Он откозырял и вышел.

Чохов собрался было прилечь, как вдруг дверь широко распахнулась, и в дом стремительно вбежал капитан Мещерский. Он был весь в грязи и глине.

— Где у вас телефон? — спросил он.— Надо сообщить

наверх важную новость. Противник уходит. Я подползал к самой его передовой. Уходит, я вам определенно говорю.

Позвонили в штаб батальона, оттуда передали известие в полк и дивизию.

Дивизия сонно зашевелилась.

Чохов разбудил своих людей. Они еле передвигали ногами от усталости и ежились в предутреннем холоде.

— Сейчас пойдете? — спросил Чохов у Мещерского.

— Да, меня ждут,— сказал Мещерский.— До свидания, товарищ капитан.

Чохов опять подивился неизменной вежливости разведчика. Выйдя следом за ним во двор, Чохов еще некоторое время постоял, прислушиваясь к удаляющимся шагам Мещерского. Потом он повернулся к своей роте. Рота стояла в полном сборе.

Солдаты вышли из ворот. Деревня уже была полна людей, повозок, машин. Повозки громыхали, машины гудели, звякали котелки.

## VII

Чем дальше шел Сливенко по обочине асфальтированной дороги, громко стуча подкованными каблуками, тем более вероятным казалось ему, что именно на этом фольварке и найдет он свою дочку, или дочку́, как он называл ее по-украински, с ударением на последнем слоге.

Правда, в самой глубине его мозга, как на крошечном островке, сидел Сливенко-умник, издевавшийся над Сливенко-фантазером, которому все казалось таким возможным.

— Ну и чудак же ты, Сливенко,— говорил ему Сливенко-умник, язвительно ухмыляясь,— неужели ты это всерьез решил, что Галя именно тут, на этом фольварке? Прожил ты, старый шахтер, сорок лет с гаком, видал белый свет и вдруг поверил, что в этой вражьей стране, где столько тысяч фольварков и деревень, ты сразу найдешь свою дочку́... Да иди ты к своим ребятам и ложись спать...

Но Сливенко упрямо шел вперед. Он вспоминал свою Галю. Когда пришел враг, ей исполнилось шестнадцать лет, она только что окончила девятый класс. Это была высокая, красивая, смуглолицая девушка. Но для отца всего дороже был ее ум: тонкий, чуть насмешливый, прячущийся за приличест-

вующей ее возрасту скромной молчаливостью на людях. Сливенко испытывал великое наслаждение, беседуя с дочкой и открывая в ней все новые качества: понимание людей, сильную волю и недюжинные способности. Правда, он старался не потакать своим отцовским чувствам и был с ней довольно строг.

Сливенко с раскаянием вспоминал свои несправедливые, как ему теперь казалось, придирки. И глупо же было так горячиться из-за ее детского романа с Володькой Охримчуком, чудесным веселым парнем, впоследствии погибшим на войне.

Когда война подошла к Донбассу, Сливенко вступил в коммунистический батальон, брошенный против немцев под город Сталино. В этом бою Сливенко был ранен, и ночью на тряском грузовике его отвезли в военный госпиталь.

Конечно, выздоровев, он мог сказать, что он шахтер-забойщик. Вряд ли его взяли бы в армию в этом случае: шахтеры нужны были в тылу, в Караганде хотя бы. Но Сливенко не то что скрыл свою профессию, нет, он просто не сообщил о ней. Он думал при этом, по своей военной неискушенности, что его пошлют обязательно туда, куда он стремился всем сердцем,— к Ворошиловграду, что он будет выбивать немцев с родного Донбасса. Но его постигло разочарование: он был назначен в зенитную часть в какую-то заштатную станицу, где находились склады горючего. Сливенко с тоской глядел в безграничное ночное осеннее небо над степью, а душа рвалась на запад, к родной шахте, к родному маленькому домику. Впрочем, он потом успокоился, сознавая, что родной дом есть у каждого и все вместе дерутся за свою родину в целом и за каждый дом в отдельности.

Пришел день, когда освободили Донбасс, и Сливенко после второго ранения (в ту пору он уже был пехотинцем) удалось побывать на родной шахте. Он переступил порог своего дома и долго стоял, обнявшись со своей «старухой», посреди комнаты, не понимая ее горьких слез и все-таки догадываясь о причине их, не смея спросить, в чем дело, и в то же время зная, что это связано с Галей, которой в доме нет, отчего дом кажется пустым и никому не нужным.

Наконец, когда прибежали соседки и он узнал о Галиной судьбе, он стал утешать «старуху» и, конечно, обещал ей, улыбаясь уж слишком неуверенной улыбкой, что, как только он придет в Германию, он найдет дочку. И хотя «старуха»

этому не верила, но ничего не отвечала, а только плакала потихоньку.

И вот он в Германии. И живой! И здесь, в километре от него, его дочка.

Он ускорил шаги.

Потом появилась тягостная мысль, которую он всегда отгонял от себя: «Дочь — красавица. Какой мужчина не посмотрит на нее? Кто умильно не улыбнется ей? А если такая в рабстве? А немцы — господа?..»

Показался фольварк. Это был большой дом, обнесенный глухой каменной стеной, похожей на крепостную. Маленькие сводчатые воротца в этой стене тоже походили на крепостные. Ворота были из мощных досок с железными перекладинами, калитка наглухо заперта.

Сливенко пнул кованым сапогом ворота и крикнул:

— Отпирай!

Отчаянно и злобно залаяла собака.

Раздались торопливые шаги. Они замерли у калитки, потом стали удаляться. Тогда Сливенко ударил прикладом автомата в калитку!

— Отчиняй двери!.. Русский солдат пришел!

Шаги стали еще торопливее. Там был уже не один человек, а несколько. Наконец чей-то голос у калитки робко спросил:

— Was wünschen Sie? [1]

— Виншензи, виншензи, отпирай, говорю!

Калитка отворилась.

Перед Сливенко стоял старый хилый немец с фонарем в руке. Немного поодаль жались к дверям конюшни две тени. Они вдруг подняли руки вверх и медленно пошли к Сливенко. Он увидел, что это немецкие солдаты.

— Капут,— сказали они.

— Ясно, капут,— сказал Сливенко.

На всякий случай он — военной хитрости ради — громко бросил в молчаливую ночь за воротами:

— Подождите, ребята!

У него там, дескать, еще люди.

Но сказал он это так, скорее для очистки солдатской совести, нежели из желания убедить немцев.

---

[1] Что вам угодно? *(нем.)*

— Только цвай? — спросил он, тыча поочередно в каждого солдата пальцем.

— Цвай, цвай, нур цвай,— забормотал старик.

— Кругом! — скомандовал Сливенко, беря автомат наизготовку.

Немцы поняли, повернулись и пошли по обширному двору, заваленному навозом и соломой и заставленному большими высокобортными телегами.

Они вошли в господский дом. В вестибюле Сливенко велел им остановиться известным всем русским солдатам окриком «хальт».

— Оружие где? — спросил он, хлопая рукой по прикладу автомата.— Вот это где, оружие?

— Ниц нема,— ответил один из солдат по-польски.

— Никс вафен,— ответил другой,— веггешмисен,— пояснил он рукой, словно бросая что-то.

— Бросили,— перевел Сливенко.

Пожалуй, лучшим выходом из положения было бы уложить этих двух длинных рыжих немцев хорошей автоматной очередью. Но так Сливенко не мог бы поступить — не из страха перед начальством, запрещающим такого рода расправу,— об этом никто бы все равно никогда не узнал. Нет, Сливенко просто не мог так поступить, это было не в его правилах.

Сливенко подошел к одной из дверей и толкнул ее. Он подозвал старика и при свете фонаря увидел большую печь, кафельный пол, медные кастрюли. Два окна были закрыты ставнями. Он показал солдатам на дверь кухни. Они с готовностью вошли туда. Затворив за ними дверь, Сливенко сказал, указывая на замочную скважину:

— Запри.

Старик засуетился, выбежал, его шаги раздавались по лестнице в каких-то дальних комнатах пустынного дома, наконец он пришел со связкой ключей и запер дверь кухни.

Тогда Сливенко спросил:

— Где русские?

Этого старик не понял, встал неподвижно, наклонив набок седенькую птичью головку. А когда понял, замахал руками:

— Вег, вег, вег,— заквакал он.

Ушли. Угнали их еще дальше на запад.

— А твой хозяин где? Хозяин? Ну, барон где? Граф?

Старик понял наконец и снова замахал руками:

— Вег, аух вег!..

Старик потешно затопал ножками: убежал, дескать, удрал.

— А ты, значит, охраняешь его добро?—спросил Сливенко.— Охраняй, охраняй... Где же твоя жена, детки где? Киндер?

Старик пошел вперед, а Сливенко за ним. Они вышли из господского дома. В самом конце двора стоял маленький домик, лепившийся к стене, словно ласточкино гнездо.

Они вошли. Сливенко увидел женские лица, перекошенные от страха. Старуха и три дочери.

Злорадное чувство захлестнуло Сливенко. Он присматривался внимательно и долго к трем немецким дочкам.

— Значит, русские девушки вег, рус киндер вег, туда, на запад...— бормотал Сливенко,— что ж, дейч киндер туда, на восток, марш-марш...

Тут он удивился. Немки явно поняли это сопоставление, но поняли как приказание. Обменявшись несколькими фразами с матерью, они начали собираться. Они даже не очень суетились. Складывали в узел одежду. Мать не плакала. Это выглядело так, словно они знали, что это справедливо. Гнали русских, теперь пришла очередь немок. Только младшая дрожала, хотя и сдерживалась изо всех сил, боясь раздражить русского своим несправедливым недовольством. Потом они остановились и стали ждать.

Это была жалкая сцена, и Сливенко, поняв, что́ происходит, неожиданно рассмеялся. Рассмеяться так добродушно, сверкнув белыми зубами, мог только человек с золотой душой, и немки поняли это. Они с удивлением и надеждой посмотрели на смеющегося русского солдата. Он махнул рукой и сказал:

— Никс Сибирь... Идить до бисовой мамы.

Он сам устыдился собственной отходчивости и грозно цыкнул на радостно разболтавшихся женщин, так что они сразу притихли. И он говорил себе: «Они угнали твою дочку, разорили твой дом, а ты их жалеешь?»

Но вот он взглянул на их большие красные руки, руки людей, привыкших к тяжелому крестьянскому труду, и, по правде сказать, в душе пожалел их: «Разве *эти* угнали? Разве *эти* разорили?»

С такими мыслями возвращался старший сержант Сливенко к своей роте, шагая позади прихваченных им пленных немецких солдат.

Роту он уже не застал на месте.

В деревне размещался штаб дивизии. Связисты тянули провода, позевывая и беззлобно ругаясь.

— И тут он бежит,— сказал один.— И на своей земле... Где же он остановится? Совсем спать не дает, подлец!

Сливенко сдал немцев разведчикам, занимавшим тот дом, где два часа назад располагалась вторая рота, и потихоньку — тем неторопливым шагом, который отличает бывалого солдата, знающего, что он не может опоздать,— пошел на запад, в свой полк.

По дороге его догнала машина политотдела дивизии, в которой сидели полковник Плотников и майор Гарин. Узнав в шагающем по дороге солдате парторга одной из рот, полковник остановил машину:

— Садись, довезу.

Сливенко сел рядом с майором Гариным.

— Митинг насчет вступления в Германию провел? — спросил Плотников.

— Провел, товарищ полковник,— ответил Сливенко и добавил: — Я трех солдат в партию подготовил, а на парткомиссию все не вызывают.

— Да вот времени никак не выберем,— виновато сказал Плотников.— Все наступаем да наступаем. Тоже, оказывается, горе! — улыбнулся он.

Помолчав, Сливенко спросил:

— А как с немцами быть, товарищ полковник?

Плотников удивленно переглянулся с Гариным и в свою очередь спросил у Сливенко:

— А ты как думаешь?

— Я думаю,— медленно ответил Сливенко, поглаживая свои черные усы,— что с ними теперь надо поспокойнее. С гражданскими то есть. Просто как будто и не немцы они совсем... а так — люди.

Плотников рассмеялся.

— Правильное чутье! Видишь: вот настоящее чутье! — обратился он к Гарину, слегка понизив голос, словно для того, чтобы Сливенко не слышал похвалы. Потом он снова повернулся к парторгу: — Верно говоришь. Этого и держись.

Тут же Плотников заговорил с Гариным о Весельчакове и Глаше. Корпус требовал окончательных выводов по этому делу. Гарин с пеной у рта доказывал, что несправедливо разлучать двух славных и любящих друг друга людей.

— Конечно, жалко их,— сказал Плотников.— Все-таки ты продумай хорошенько выводы. А ты что делал в штабе дивизии? — обратился он вдруг к Сливенко.

— Я пленных приводил,— ответил Сливенко, затем он, истины ради, добавил: — И дочку искал.

В ответ на вопросительный взгляд полковника Сливенко пояснил извиняющимся голосом:

— Мою дочку. Она тут, в Германии. Угнали ее с Донбасса. Только в том фольварке никого уже нет. Погнали их дальше на запад.

Взгляд полковника Плотникова стал рассеянным и угрюмым. Ничего не сказав, он стал смотреть на дорогу.

По дороге, в промозглом предрассветном тумане, тянулись к западу кони, машины, усталые люди. Навстречу попалась повозка полевой почты, отвозившая солдатам письма, ехали порожние грузовики из-под боеприпасов. Шел мокрый снежок. Голые ветки деревьев дрожали. Развевающиеся плащ-палатки на солдатах трещали, как паруса.

Люди шли молча. Пулеметная стрельба слышалась уже совсем близко. На перекрестке Сливенко попросил остановить машину — она здесь поворачивала направо, к штабу полка,— спрыгнул, попрощался и пошел дальше, туда, где пулеметы злобствовали особенно сильно.

## VIII

Когда чоховская карета осталась далеко позади, гвардии майор снова оглянулся на генерала. Сизокрылов сидел все так же неподвижно, закрыв глаза. «Смертельно устал»,— сочувственно подумал Лубенцов. В это мгновение Сизокрылов с каким-то почти неуловимым выражением не то злости, не то упрямства вскинул голову, открыл глаза и, обращаясь к сидящему рядом генералу-танкисту, спросил:

— Давно с Урала?

Генерал-майор, не ожидавший вопроса, встрепенулся и ответил:

— Четыре дня. Мы приняли материальную часть, и нас тут же погрузили в эшелоны.

— И за четыре дня вы проделали весь путь?

— Так точно!

Танкист добавил, широко улыбнувшись:

— По приказанию Сталина нам устроили «зеленую улицу».

Сизокрылов оживился и сказал, неожиданно обращаясь к Лубенцову:

— Знаете вы, майор, что значит «зеленая улица»?

Лубенцов недоуменно развел руками, и Сизокрылов стал объяснять:

— Это дорога из сплошных зеленых светофоров. На каждой узловой стоят наготове, под парáми, мощные паровозы. Паровозы сменяются, и эшелоны мчатся сквозь ряды зеленых светофоров до следующего паровоза, уже ожидающего своей очереди на следующей узловой. И на всем пути ни одного красного глазка, ни одной остановки — путь свободен. Вот это организация!

— Осмотрщики,— горделиво добавил генерал-майор,— бегом бежали вдоль вагонов. Не поездка — полет! До сих пор никак не опомнюсь...

Воцарилось молчание. Мимо окон машины проносились опустевшие деревни, в которых выли собаки, мычали беспризорные коровы, бушевал ветер, падал мокрый снег. Вскоре въехали в небольшой городок с мощеными улочками и двухэтажными домами под высокими черепичными крышами. Сизокрылов спросил:

— Как там наша охрана? Не очень отстала?

Адъютант посмотрел в заднее стекло — бронетранспортера не было.

— Подождем,— сказал Сизокрылов.

Шофер остановился на небольшой площади. Сизокрылов открыл дверцу и вылез из машины. За ним последовали остальные. Он осмотрелся кругом и подумал вслух:

— Это полоса Воробьева, кажется.

Лубенцов с живым интересом посмотрел на темную площадь и очертания домов: в дивизии полковника Воробьева служила Таня, и по этой причине погруженный во мрак городишко показался Лубенцову заслуживающим самого пристального внимания.

Между тем это был обыкновенный скучный городок, полный ночных шорохов и звуков. По дворам ржали кони, раздавались шаги, негромкие голоса солдат и отдаленные возгласы часовых.

Генерал Сизокрылов сосредоточенно шагал вдоль тротуара туда и обратно, звук его твердых шагов гулко отдавался в узком квадрате площади. Наконец он остановился возле возвышавшегося посреди площади темного силуэта какого-то памятника. Генерал зажег фонарик, и все увидели над каменным постаментом парящего чугунного орла, а пониже — выбитые на камне и окруженные железным лавровым венком цифры: «1870—1871».

Генерал погасил фонарь. Стало совсем темно.

Генерал сказал:

— Победителям Седана от благодарных сограждан. Городишко маленький, а чванливый...

За поворотом забегал свет фар. Выехав на площадь, бронетранспортер на мгновение осветил ее всю — вместе с остроконечной крышей ратуши, заснеженным фонтанчиком и чугунным орлом на памятнике — и тут же погасил фары. Из темноты вынырнул лейтенант, командовавший автоматчиками. Из-за его плеча — заметил Лубенцов — мелькнуло лицо Чибирева.

Генерал спросил:

— Мы не слишком быстро едем?

— Хорошо бы потише,— признался лейтенант.

— Быть по сему,— сказал генерал.

Все улыбнулись, кроме лейтенанта. Он был очень молод и считал неуместным улыбаться при исполнении важных служебных обязанностей. Кроме того, его не устраивали загадочные и неопределенные слова «быть по сему», и он все стоял, ожидая ясного ответа.

— Мы поедем медленнее,— пояснил Сизокрылов.

Все уселись на свои места. Машина тронулась.

— Можете курить, кто курит,— вдруг сказал Сизокрылов.

Генерал-танкист и полковник обрадованно задымили папиросами. При свете этих огоньков и светящихся циферблатов спидометра и часов на щитке машины Лубенцов, обернувшись, снова увидел, что член Военного Совета, полузакрыв глаза, не то думает о чем-то, не то дремлет. Но нет, он не дремал. Через минуту он встряхнулся и, словно продолжая начатый разговор, сказал:

— Однако немцы все еще верят гитлеровской пропаганде. Обратите внимание на деревни: почти никого не осталось. Германское радио вопит об ужасах русского нашествия, при-

зывая гражданское население бежать на запад. И они бегут. Наша агентура доносит страшные подробности об этом бегстве. Люди мрут от холода и голода. Гитлер, видимо, решил потянуть в могилу вместе со своей персоной по меньшей мере пол-Германии. Подобно царьку дикарей, тащит к себе в гроб живых людей, чтобы на том свете не остаться без подданных...— Помолчав, Сизокрылов проговорил: — А теперь мы уже снова на польской территории...

Машина бежала по мокрой дороге, оставляя за собой рубчатый след. Снежинки кружились в свете фар, как будто застигнутые врасплох, и панически разбегались в стороны, сменяясь все новыми и новыми. Лубенцов напряженно вглядывался в темноту, боясь пропустить нужный поворот. Хотя он и знал дорогу, но в прошлый раз ездил к танкистам днем; ночью же все казалось другим, незнакомым. Поворота не было, а по всем расчетам ему уже следовало быть: за маленькой часовней проехать рощу, и там сразу направо. Но ни часовни, ни рощи. Он украдкой взглянул на спидометр — проехали уже шестьдесят восемь километров: Лубенцов при выезде заметил километраж, как делал это всегда. «Неужели пропустил поворот?» — подумал Лубенцов с беспокойством.

Как всегда во время поездок ночью по малознакомой дороге, все, буквально все казалось лишенным особых примет. Дорога — и та казалась шире, и деревья по краям выше, чем днем. «Собственно говоря,— успокаивал себя Лубенцов,— поворота еще не может быть потому, что машина едет медленно, шофер боится, чтобы не отстал бронетранспортер с автоматчиками». Но спидометр показывал уже семьдесят семь километров. Лубенцов встревожился не на шутку.

— Спидометр — что? Работает? — внешне равнодушно спросил он у шофера.

— Шалит что-то,— шепотом ответил шофер.— Исправить надо, да времени вот никак не выберу. Все в разъездах...

Лубенцов облегченно вздохнул и покосился на генерала. Тот смотрел прямо перед собой. На его переносице обозначилась глубокая складка.

Мимо пронеслась долгожданная часовня. Лубенцов сказал:

— Давай направо.

Показался городок. Здесь Лубенцов благословил свою привычку отсчитывать кварталы: в городе всего труднее попасть на правильную дорогу и часто приходится кружить по пере-

улкам. Правда, Лубенцова спасали его опыт и инстинкт, он почти всегда *чувствовал,* если можно так выразиться, нужный поворот. Но гвардии майор, кроме того, на этот случай имел свой «метод»: он бессознательно, по привычке, отсчитывал повороты. «Пятый квартал направо,— вспомнилось ему,— затем третий налево, затем первый налево и там выезд из города на шоссе. Пятый или шестой? Да, пятый,— на углу тумба и сбитый фонарь».

— Направо,— сказал он шоферу.

Машина повернула, доехала до третьего квартала, Лубенцов скомандовал «налево», затем снова «налево». Делал он это с некоторым самодовольством, компенсируя себя за испытанную ранее тревогу. Домиков становилось все меньше, потом они совсем пропали. Поехали лесом.

— Вы сколько раз ездили по этой дороге? — внезапно спросил генерал.

— Один раз.

— Превосходная память,— похвалил его член Военного Совета и спросил: — Вы давно у Тараса Петровича?

— Полтора года.

— Значит, это вы организовали в междуречье Буг — Висла дневной поиск?

— Я.

— Я помню этот случай. Умная была операция. Вы член партии?

— Да.

— Кем вы были до войны?

— Лейтенантом.

— Ага, вы кадровый военный?

— Да.

— Раз вы кадровый военный, вам следовало бы, может быть, перейти на работу в большой штаб... Не мешает расширить свой военный кругозор...— Он умолк, ожидая с каким-то непонятным любопытством ответа Лубенцова.

Тот покачал головой и сказал:

— Нет, товарищ генерал, разрешите мне довоевать войну в моей дивизии.

Адъютант генерала подивился разговорчивости члена Военного Совета и его интересу к незнакомому офицеру. О том, что генерал Сизокрылов — человек внимательный к людям, адъютант, конечно, знал. Сизокрылов любил людей. Но это была

любовь скрытная, глубокая, совсем лишенная сентиментальности. Некоторые даже считали его жестоким.

Сизокрылов знал, что его боятся, и это иногда очень обижало его. Лубенцов ему понравился именно потому, что в нем не видно было обидного страха перед большим начальством. «Значит, работает честно,— решил Сизокрылов,— и дело свое знает...»

— Подумайте,— сказал он.— Я могу сказать Малышеву.

— Нет, товарищ генерал. Не говорите ему. Ваше слово он поймет как приказ, и меня сразу же переведут...

— Как хотите,— уже равнодушно согласился генерал и снова закрыл глаза.

— Кажись, приехали,— сказал шофер.

Машина въехала в большую деревню. Хотя было совершенно темно, но в темноте угадывалось, что деревня полна людей. Чье-то лицо на ходу заглянуло в машину, перед радиатором взмыл в небо шлагбаум. Часовые в белых полушубках встали «смирно», несколько теней замахало руками, то тут, то там замигали карманные фонари, раздались негромкие голоса. Машина остановилась.

## IX

Члена Военного Совета ждали. Около машины навытяжку стояло человек десять. Приземистый человек в папахе громко и раздельно произнес:

— Смирно! Товарищ генерал-лейтенант...

Сизокрылов нетерпеливо прервал его:

— Знакомьтесь. Командир танковой бригады. Вам на пополнение прибыл, с Урала прямо. Принимайте новую бригаду.

Генералы быстро пошли к дому. Захлопали двери, потом все стало тихо.

Лубенцов находился в нерешимости. Он свою задачу выполнил и теперь не знал, что, собственно говоря, делать: идти ли за членом Военного Совета или остаться в машине с шофером? Он выбрал нечто среднее: вылез из машины и стал прохаживаться вдоль забора.

Из бронетранспортера высыпали автоматчики и, греясь подобно извозчикам, били себя по бокам большими, неуклюжими руками в рукавицах. Молодой лейтенант стоял возле машины,

сосредоточенный и строгий, ожидая дальнейших распоряжений. Чибирев незаметно подошел поближе к гвардии майору и молча покуривал, освещая диск своего автомата желтым огоньком папиросы. Вскоре из машины вылез шофер. Он закурил, подошел к Лубенцову и сказал:

— Да, товарищ гвардии майор, вы ночью, как кошка, видите... Редкий талант. Я вот вожу члена Военсовета уже полтора года — он все время почти на колесах,— мне бы вашу способность... Вы и по карте так или по памяти только?

Лубенцов не успел ответить. К ним быстро подошел кто-то из офицеров и громко спросил:

— Кто тут командует автоматчиками Военного Совета?

Лейтенант молча вышел вперед.

— Поведете людей в эту избу. Греться и ужинать. Там все приготовлено. А где тут майор-разведчик, не знаете?

— Я,— отозвался Лубенцов.

— Пойдемте со мной.

Лубенцов вслед за офицером вошел в большой дом, куда за несколько минут до этого скрылся генерал Сизокрылов. Из полутемных сеней они вступили в ярко освещенную электрическим светом большую комнату, где человек десять девушек-радисток сидели у радиоаппаратов. Девушки принимали радиограммы, записывая длинные столбцы цифр на листки бумаги. Возле каждой из них стоял, сидел или нервно прохаживался офицер.

В комнате было жарко от ярко горевшей печи. Приказания отдавались коротко:

— Свяжитесь с Петровым!..

— Спросите, почему не докладывает о соседях!..

— Достигли ли Ландсберга?

— Переспросите, где немец контратаковал!..

— Свяжитесь со штурмовиками!..

Иногда слышались возгласы:

— А, черт!.. Пусть выполняет задачу!

— Передай: горючее вот-вот прибудет!

Офицер, сопровождавший Лубенцова, исчез, а гвардии майор встал у стены, чтобы никому не мешать. Девушки, несмотря на напряженную работу, время от времени ухитрялись бросить на гостя любопытный взгляд и поправить челку.

Просматривая листок с цифрами, один подполковник радостно воскликнул:

— Самойлов вышел к Ландсбергу! Пойду доложу!

Он быстро застегнул пуговицы кителя и скрылся в соседней комнате.

Вообще все офицеры время от времени уходили в соседнюю комнату с листками цифр и тут же возвращались обратно.

Сопровождавший Лубенцова офицер вскоре вернулся.

— Член Военного Совета приглашает вас ужинать.

Лубенцов пошел вслед за офицером. В соседней комнате за большими столами с разложенными на них картами сидели штабисты и отмечали изменения, происходящие в положении танков. В душе пехотинца Лубенцова шевельнулась некоторая зависть к работникам танкового штаба. За час тут происходят изменения, какие не могут даже сниться пехоте-матушке! «Хотя и без нее танки тоже далеко не пойдут»,— успокоил он тут же свое пехотное самолюбие.

В одной из комнат лежали и висели генеральские шинели.

— Раздевайтесь,— шепнул офицер Лубенцову.

Лубенцов снял шинель и приотворил дверь в следующую комнату. Здесь за накрытым столом сидели танковые начальники и один генерал-летчик. Всех было десять человек.

Член Военного Совета прохаживался, по своему обыкновению, из угла в угол и молча обдумывал создавшееся положение. Наступление протекало успешно. Но из доклада начальника штаба генерала Сергиевского — хотя он, надо сказать, докладывал осторожно, не делая выводов,— и из разговора по радио с танковым командующим, находившимся впереди с оперативной группой, Сизокрылову было ясно, что положение усложняется с каждым часом. Прежде всего танки оторвались от пехоты на пятьдесят — сто километров. Танковые полки, разрезавшие Восточную Германию, потеряли часть техники и личного состава. Коммуникации были частично разорваны боеспособными немецкими дивизиями. Подвоз боеприпасов и горючего совершался, таким образом, в очень трудных условиях. Одну автоколонну разбила немецкая авиация. Самое сложное заключалось именно в том, что многие бригады израсходовали свое горючее, а автобаты, ушедшие за горючим, еще не вернулись с тыловых баз.

— Почему не вернулись? — спросил Сизокрылов, внезапно остановившись перед Сергиевским.

Сергиевский встал, но ничего не ответил.

— Вы не знаете? — спросил Сизокрылов.— В таком случае я вам объясню. Вы передоверили важнейшее дело — снабжение горючим — второстепенным лицам, а то и просто шоферам. Послали машины и на этом успокоились. А с ними должны были следовать ответственные офицеры штаба.— Он снова зашагал по комнате, потом спросил:

— Вызвали наконец Карелина?

— Вызвал, товарищ генерал,— ответил Сергиевский.

Генерал Карелин командовал артиллерийской дивизией, которая со своими тяжелыми орудиями находилась на марше. Он ночевал в соседней деревне. Его разбудили и привезли. Он вошел, рослый, краснощекий, рыжий, молодцеватый, и, громко представившись, встал неподвижно, ожидая вопросов члена Военного Совета.

— Как дела, Карелин? — негромко спросил Сизокрылов.

— Спасибо, товарищ генерал! — ответил Карелин, улыбаясь.— Все в порядке. Матчасть готова бить по Берлину. График движения выдерживаю пунктуально. Артиллеристы горят желанием действовать в боевых порядках пехоты. С рассвета двинусь дальше.

— Молодцы! — сказал Сизокрылов и повторил: — Молодцы!

Он заходил по комнате, потом опять остановился и спросил:

— А горючее есть?

— Хватит! — радостно воскликнул Карелин.— До Берлина хватит! Машины заправлены по горло...

— Садись ужинать,— пригласил Сизокрылов.

Карелин, скинув бекешу, сел за стол и огромными, веселыми, красными руками ухватился за вилку и нож.

— А горючее,— продолжал Сизокрылов,— ты все, понимаешь, все, без остатка, передашь танкистам.

Карелин выпустил вилку из рук и беспомощно уставился на члена Военного Совета. Его лицо сразу же осунулось.

— А я? Как же я?..— спросил он дрожащим голосом, и всем стало жалко этого огромного веселого человека, так внезапно низвергнутого двумя словами с вершины ликования в глубину отчаяния.

— Снарядите бензозаправщики,— сказал Сизокрылов Сергиевскому,— они поедут с приказанием Карелина к нему в дивизию и заберут горючее. Напишите приказание,— обратился он к Карелину.— Пишите: передать все имеющееся в наличии горючее в бензозаправщики танковых войск немедленно под

расписку. Основание: приказание Военного Совета. Подпишитесь. Поужинаете со мной, а потом поедете к себе и лично проверите выполнение своего приказа.

Генерал Сергиевский, ободрившийся и повеселевший, помальчишески, почти вприпрыжку, побежал с запиской Карелина отдавать распоряжение. Карелин же остался сидеть за столом мрачный как туча. Есть он уже не мог и только глядел стеклянными глазами на скатерть. Все молчали. Молчал и член Военного Совета. Он тоже, впрочем, почти ничего не ел, вскоре встал с места и спросил:

— Новая бригада еще не прибыла? Уральская? Кто поехал ее принимать?

— Полковник Березов.

— Сколько километров до станции выгрузки?

— Шестьдесят.

Он посмотрел на Карелина, отвернулся и сказал, обращаясь к танковым генералам:

— Поврежденные танки надо восстанавливать на поле боя. Вы имеете немалый опыт в этом деле. Ремонтник — теперь центральная фигура в ваших соединениях. Представляйте особо отличившихся к награждению званием Героя Советского Союза.— Он обратился наконец к Карелину: — Я вижу, что аппетит я вам испортил. Что ж, поезжайте к себе и проверьте выполнение приказа. Я знаю местный патриотизм ваших артиллеристов. Вероятно, они неохотно будут отдавать горючее. Поэтому вы лично проследите за этим делом.

Карелин пробормотал «есть», надел бекешу и вышел.

Все прислушались. Под окном раздался сердитый голос Карелина:

— Заводи! Поехали! Заснул ты, что ли?

Член Военного Совета усмехнулся, но ничего не сказал.

Сергиевский вошел и доложил, что бензозаправщики отправлены за горючим.

— А о ваших снабженцах,— жестко сказал Сизокрылов,— мы еще поговорим в другой раз.

Он прислушался — вдали гудели моторы.

— Бригада на подходе,— сказал Сергиевский.

Действительно, через минуту в комнату вошел тот генерал, который ехал с Сизокрыловым в машине. Он доложил, что бригада прибыла и сосредоточивается в лесу.

— Пошли в аппаратную,— сказал Сизокрылов.

Все, как по команде, поднялись с мест и вышли вслед за Сизокрыловым и Сергиевским в другую комнату.

Лубенцов снова остался один и снова почувствовал себя неловко от своей ненужности и случайности своего пребывания здесь. И опять приоткрылась дверь, и полковник-танкист позвал его, шутливо сказав:

— Чего же вы все отстаете? Член Военного Совета каждый раз спрашивает про вас...

Лубенцов, растроганный вниманием генерала, который, несмотря на множество дел, помнил о каком-то едва знакомом майоре, пошел вслед за всеми. Генералы столпились в небольшой комнатке. Сизокрылова не было. Царило напряженное молчание.

— Со Сталиным говорит,— вполголоса сообщил кто-то из стоявших поближе к двери.

Наконец показался Сизокрылов. Обведя взглядом присутствующих, он сказал:

— Директивы получены следующие: выйти на Одер во что бы то ни стало и зацепиться за Одер. Не ввязывайтесь в бои за укрепленные города, обтекайте их и двигайтесь вперед. Шнайдемюль, Дейч-Кроне, Ландсберг, Кюстрин обойти. Возьмем эти пункты пехотой. Ваше дело — уничтожать немецкие резервы на подходе к укрепленным районам, резать оборону немцев и, главное, выйти на Одер. Разведка сообщает о величайшей растерянности Гитлера и его штаба.

Он замолчал, потом произнес слова, заставившие всех насторожиться:

— И учтите — не одного только Гитлера. Те, кто раньше, когда мы истекали кровью, всячески оттягивали открытие второго фронта, теперь торопятся изо всех сил вперед... Нетрудно понять, что любой ваш танкист, ремонтник, снабженец делает сегодня большую политику... А теперь поедем к уральцам и оттуда домой,— сразу переменил тему Сизокрылов и, отыскав глазами Лубенцова, кивнул ему.

— Вы не останетесь у нас до утра? — спросил Сергиевский.— Отдохнете немного.

— Нет, надо ехать, отчитаться перед Военным Советом. Да и вам пора, пожалуй, менять командный пункт и продвигаться дальше на запад.

— Есть!

Сизокрылов сказал, обращаясь ко всем остальным:

— Вы свободны, товарищи.

Генералы простились и ушли все, кроме Сергиевского. Сизокрылов медленно пошел в комнату, где они раньше ужинали. Сергиевский после некоторого молчания произнес изменившимся голосом, нервно теребя оказавшуюся у него в руке небольшую скрученную в трубку карту:

— Товарищ генерал, гвардии лейтенант Сизокрылов погиб геройской смертью. Его танк с ходу ворвался на переправу и...

— Мне все передавали по телефону весьма подробно,— устало сказал Сизокрылов.

— Это случилось третьего дня в шестнадцать тридцать. Я немедленно приказал доложить вам.

— Мне доложили.— Помолчав, Сизокрылов сказал: — Вам передали мою просьбу, чтобы полк не сообщал пока о случившемся в Москву моей жене?

— Да, товарищ генерал.— Большое, чуть рябоватое лицо Сергиевского на мгновение дрогнуло.— Распоряжение об этом передано.

Они молча оделись и вышли на улицу. Было ветрено и сыро. Моторы автомашин потрескивали в предрассветном мутном тумане. Автоматчики уже сидели на своих местах в бронетранспортере. Молодой лейтенант стоял вытянувшись у генеральской машины. Завидев генерала, он приложил руку к ушанке и доложил:

— Бронетранспортер готов к дальнейшему следованию.

Сизокрылов спросил:

— Не обидели вас танкисты? Накормили?

— Так точно,— с полной серьезностью ответил лейтенант.

— Тогда поехали.

## X

Впереди двигался трофейный «хорх» Сергиевского, за ним — «эмка» командира уральской бригады, а следом — машина члена Военного Совета и бронетранспортер. Лубенцов по-прежнему сидел рядом с шофером, хотя ему теперь не нужно было следить за дорогой.

Все, что он видел и слышал у танкистов,— рассказ о «зеленой улице» от Урала до Германии, ощущение необычайной силы и быстроты танкового удара, разговор со Сталиным

отсюда, из далекой польской деревни, и, наконец, неожиданно открывшееся Лубенцову горе генерала Сизокрылова,— все это глубоко поразило гвардии майора и казалось ему связанным одно с другим неразрывными узами. Даже забота генерала о своих автоматчиках и внимание его к нему, Лубенцову, приобретали некое необычайно важное значение и тоже представлялись гвардии майору имеющими прямое отношение к непреодолимой силе нашего наступления.

Мысли его были прерваны могучим «ура». Машина остановилась. На лесной поляне, куда они въехали, стояли танки. Красные флажки развевались на башнях. Танкисты в новеньких замшевых шлемах ровным строем замерли возле своих машин. Впереди всех с развернутым красным знаменем стоял высокий танкист. С хвойных деревьев осыпался потревоженный криками снег.

Сизокрылов медленно вышел из машины и неожиданно громко, ясным и спокойным голосом, словно проводя дружескую беседу, начал говорить:

— Товарищи танкисты! Я буду краток, потому что время не ждет и вам надо двигаться. Перед вами поставлена задача величайшей важности: в ближайшие дни выйти на подступы города Берлина.

Лес огласился могучими рукоплесканиями и криками «ура». Переждав минуту, Сизокрылов продолжал:

— Ваши товарищи совершили гигантский прыжок от Вислы. Вы, прибывшие по «зеленой улице» с Урала сюда, должны вместе с ними довершить дело. Военный Совет уверен, что вы справитесь со своей задачей потому, что вы принадлежите к армии коммунистов,— людей, не знающих преград. Вы, танкисты,— ударный таран армии трудящихся, впервые в истории взявших власть в свои руки и сумевших создать такую грозную силу, которой не страшны никакие военно-политические комбинации возможных врагов. Вы сейчас выступите в свой славный нелегкий поход. Военный Совет желает вам успеха.

— Разрешите выполнять? — спросил Сергиевский.

— Выполняйте.

Член Военного Совета сел в машину, и они поехали. А сзади послышалось хлопание моторов и гул, от которого снова затрепетал лес, осыпая снегом танки, бронетранспортеры, «катюши» и самоходные орудия.

Перед расставанием генерал Сергиевский сунул Лубенцову в руку свернутую дудкой карту.

— Для члена Военного Совета,— шепнул он ему.

Пока Сизокрылов прощался с танкистами, Лубенцов успел заглянуть в эту карту. Карта масштаба 1 : 50 000 воспроизводила маленький район с ветряками и рощами. Посредине ее красным карандашом был сделан крестик, над которым каллиграфическим почерком топографа было написано: «Здесь похоронен 2 февраля 1945 года гвардии лейтенант Сизокрылов Андрей Георгиевич».

Колеса мягко шелестели по мокрому снегу. Светлело все заметней. Искоса посмотрев на члена Военного Совета, Лубенцов увидел, что тот опять сидит с закрытыми глазами.

Генерал Сизокрылов старался не думать о сыне. Но это значило все время думать о нем. Он вскоре понял это, но попрежнему пытался отвлечь себя другими, очень важными служебными мыслями: о горючем, о взаимодействии танков с авиацией, о необходимости подогнать пехоту, не дать ей отстать от танковых частей.

Но мысль о гибели единственного сына неотвратимо возникала из-под вороха других мыслей. Иногда она на мгновение сметала все остальные и оставалась совсем одна, во всей своей страшной обнаженности. В один из таких моментов генерал, не выдержав, застонал, но тут же открыл глаза и торопливо сказал, обращаясь к своему адъютанту:

— Не забудьте, как только приедем, распорядиться от моего имени о немедленном обеспечении Карелина горючим.

— Есть,— ответил полковник.

— Вот мы едем по Германии,— продолжал Сизокрылов,— и даже сами полностью не осознаем значения этого факта... Тут дело не только в победе нашего оружия, а в победе нашего духа, образа мыслей, системы воспитания народа, нашего исторического пути. Невольно вспоминается восемнадцатый год, когда могучая германская империя (кстати, значительно более слабая, нежели империя Гитлера) нависла над молодой Советской Россией. Ленин тогда настоял на заключении мира с Германией... несчастного мира, как назвал его Владимир Ильич... Наш вождь пошел на этот мир потому, что понимал: главное — сохранить и укрепить нашу советскую родину, построить социализм, то есть такой строй, который способен обеспечить победу над любым врагом... И вот мы в Германии.

Генерал находил в этих воспоминаниях и исторических сопоставлениях силы для того, чтобы держать себя в руках. Они, эти воспоминания, напоминали ему о том, что он деятель великой партии и не к лицу ему забывать об этом при любых обстоятельствах.

«Нелегкое дело,— думал генерал, болезненно морщась,— в моем положении оставаться спокойным, трезво мыслящим руководителем, который выше всяких земных несчастий. Трудно приходится генералам... А генеральшам?» — подумал он вдруг, вспомнив о жене.

Когда Андрей окончил танковое училище, Анна Константиновна робко попросила мужа взять сына к себе. «Пусть он будет с тобой,— сказала она, краснея.— Ведь тебе полагается иметь каких-то там адъютантов». Она хорошо знала мужа и именно потому так робко заговорила с ним о сыне. Действительно, как она и могла ожидать, он рассердился и сказал с упреком: «Ты ведь знаешь, Нюра, что я никогда на это не соглашусь. Да и Андрей — ты это тоже знаешь прекрасно — не пожелает прятаться от войны за генеральской спиной, а за отцовской — тем более...»

Жалел ли он теперь об этом своем ответе? Нет!

И все-таки страшно было думать о жене теперь, и тяжко было оправдываться перед ее материнским горем.

Сизокрылов сжал зубы и с трудом открыл глаза. Было совсем светло. Они миновали городишко с памятником «победителям Седана». По дороге тянулись обозы. Русый затылок майора-разведчика опять напомнил генералу о сыне. Генерал сказал:

— Вашей дивизии, майор, придется, видимо, осаждать крепость Шнайдемюль. Это один из наиболее укрепленных пунктов так называемого «Восточного вала». Учтете это при составлении плана разведки.— Помолчав, он добавил: — Ориентируетесь вы ночью превосходно. Это делает вам честь как разведчику.

Машина подъезжала к деревне, где вчера вечером располагался штаб дивизии. Шофер замедлил ход. Лубенцов положил возле него свернутый в трубку лист карты и кивнул в сторону генерала. Шофер понимающе наклонил голову.

— Передайте привет Середе и Плотникову,— сказал Сизокрылов, пожимая майору руку.

Лубенцов вышел из машины и мельком увидел, что одновременно с бронетранспортера соскочил Чибирев. Приложив руку к шапке, Лубенцов ждал, пока проедут машины. Наконец они скрылись из виду.

Чибирев сказал:

— Мне автоматчики про него рассказывали. И про сына его... М-да...— Он закончил неожиданно коротко и тихо: — Это человек.

Они вошли в деревню, но штаба дивизии здесь уже не было. Корпусные связисты, бредущие с катушками провода по посыпанному снегом полю, сообщили что дивизия на рассвете ушла вперед и штаб переехал в другую деревню, западнее.

Лубенцов решил зайти в тот дом, где вчера стояли разведчики: может быть, кто-нибудь там еще остался. Они зашли. Дом стоял пустой и холодный. Все так же валялись перины и, похрипывая, стучали стенные часы.

— Что ж, пойдем ловить попутную машину,— сказал Лубенцов.

В этот момент он заметил в дальнем углу комнаты, на одной из перин, спящего человека.

— Э, да тут кого-то забыли,— произнес Чибирев и подошел к закутанной в одеяло фигуре.

Глазам удивленных разведчиков предстало смешное и испуганное лицо. То был пожилой немец в очках, небритый, с женским платком на голове. На платок была надета черная мятая шляпа. Увидев разведчиков, он вскочил, снял шляпу и вежливо раскланялся. Чибирев ухмыльнулся. Из бормотания немца Лубенцов понял, что немец — хозяин этого дома. Напуганный всем происходящим, он ушел в лес, а теперь, когда стало тихо, вернулся домой.

— Uhrmeister,— говорил немец, показывая пальцем поочередно то на себя, то на стенные часы.

— Часовщик,— перевел Лубенцов своему ординарцу.

— Рабочий, значит, человек,— перестал ухмыляться Чибирев и вынул из кармана ломоть хлеба.

— Данке шён, данке шён,— поблагодарил немец.

— Дам по шее, дам по шее,— буркнул Чибирев, передразнивая немца; видимо, он был несколько недоволен своим слишком либеральным поступком.

Разведчики ушли, а часовщик остался стоять, жуя хлеб и бормоча про себя непонятные слова.

## XI

Когда русские скрылись из виду, немец еще с минуту постоял, прислушиваясь, потом опустился на перину и долго сидел неподвижно.

Его лицо потеряло выражение подчеркнутого испуга и нарочитой дурашливости. Но даже и теперь его бывшие сослуживцы вряд ли могли бы узнать в смешно одетом и опустившемся старике Конрада Винкеля (№ 217 F) из особого R-отделения разведывательной службы штаба армейской группы.

Увидев входящих русских, Винкель решил было назвать себя и сдаться. Потом он все-таки передумал, до трепета испугавшись того, что произойдет, и выдал себя за хозяина дома. Ему пришло в голову присвоить профессию часовщика при виде многочисленных стенных часов и потому еще, что в течение своих трехнедельных странствий он не раз убеждался, что русские хорошо относятся к людям рабочих профессий.

Он был растерян и душевно разбит. То, о чем он мог догадываться и раньше, теперь стало до ужаса несомненным: Германия побеждена. Но даже не это так удручало его. То, что происходило, было больше, чем военное поражение,— это было крушение надежд и чаяний поколения немцев, к которому справедливо причислял себя Винкель.

Конрад Винкель всю жизнь прожил в Данциге. Немцы «вольного города», разжигаемые гитлеровской пропагандой, непрерывно возбуждаемые агентами Гесса, Розенберга и Боле, преисполненные ненависти к конкурентам — полякам, были настроены крайне шовинистически. Несмотря на осторожные увещевания отца, человека умного и скептического, молодые Винкели — Конрад, Гуго и Бернгард — с упоением маршировали в батальонах гитлеровской молодежи и штурмовых отрядах, кричали «хайль Гитлер», рассуждали о великой миссии Германии в Европе. Раньше довольно спокойные и прилежные в учебе парни, они превратились понемногу в отравленных дикими предрассудками бесшабашных гитлеровских молодчиков.

Эти прилизанные, малокровные, прилежные, долговязые, в меру испорченные юноши вообразили себя непобедимыми, грозными, бестрепетными «белокурыми бестиями». Культ

насилия стал их жизненной философией. Мания величия, ставшая государственной доктриной, магически подействовала на молодых олухов от Кенигсберга до Тироля.

По правде сказать, среди этого угара Конрад, старший из братьев (в 1938 году ему уже было двадцать пять лет), в глубине души несколько сомневался. Ему многое не нравилось. До него доходили слухи об эсэсовских зверствах, о концлагерях, о массовых расстрелах и выселениях. Правда, он старался не очень приглядываться к действительности — это было бы опасно. Свойственная ему чисто бюргерская вера в дутые авторитеты не позволяла сомневаться слишком сильно. Раз рейхсканцлер, чей авторитет так велик *даже за границей* (в этой ссылке на заграницу таилась, кстати говоря, ядовитая капля неуверенности в подлинном авторитете фюрера), раз профессора, ученые, писатели, старые рейхсминистры фон Бломберг и фон Нейрат (старым доверяли больше, чем новым: они были посолиднее), раз генералы рейхсвера, да и сам Гинденбург, призвавший Гитлера к власти,— раз все они говорят «так надо»,— чего же тут сомневаться?!

Для блага Германии нужно уничтожение целых народов — что же делать? Надо убивать? По-видимому, без этого обойтись нельзя. Необходимо обманывать? Что ж, дураки на то и созданы, чтобы их обманывали.

Вот этими и другими мыслями, софизмами, вывертами Конрад Винкель и ему подобные заглушали в себе голос совести, иногда нашептывающий неприятные вещи.

Конечно, если бы можно было еще и воевать чужими руками, было бы совсем хорошо. Но нет, воевать приходилось самим.

Гуго, Бернгард и Конрад один за другим ушли в армию. Бернгард, впрочем, воевал недолго: ему оторвало обе ноги, и он вернулся домой, основательно усомнившись в целесообразности решения спорных вопросов путем войны. Конрад вначале служил при штаб-квартире генерал-губернатора бывшей Польши доктора Франка, в Кракове. Ему очень пригодилось знание столь презираемого им польского языка. При последней «тотальной» мобилизации, летом 1944 года, его перевели на разведывательную работу в штаб армейской группы. Там же он прошел краткий курс шпионских наук, а потом занимался контрразведывательной службой во фронтовых тылах германской армии.

Отступление немецких армий до линии Вислы, конечно, глубоко обеспокоило Винкеля. Как разведчик, он знал, что газетные статьи о том, что русские после такого рывка уже не в силах наступать, не соответствуют действительности. Однако он был уверен, что оборона на Висле — могучая и непреодолимая сила. Три недели назад, когда германские армии стояли на Висле, Конрад Винкель не предполагал, что эта могучая оборона рассыплется прахом под ударом русских. Правда, удар был очень силен. Штабные офицеры, бывшие во время атаки русских на переднем крае или поблизости от него, рассказывали страшные подробности. Советская артиллерия и авиация буквально смели все на своем пути.

Тринадцатого января Винкель, находившийся при штабе группы, встретился со своим младшим братом Гуго, недавно награжденным дубовыми листьями к железному кресту. Гуго приехал в штаб по какому-то поручению.

Утром четырнадцатого они услышали отдаленный могучий гром артиллерии.

— Началось,—сказал Конрад бледнея.

Гуго, прислушиваясь, покачал головой и сказал:

— Даже если русские прорвутся кое-где, мы их остановим на линии Бромберг — Познань и в Силезии, превосходно приспособленной к обороне...

Правда, Гуго ни словом не упомянул о фюрере: он надеялся только на военное командование.

— Наши генералы — люди опытные,— сказал он, торопливо застегивая мундир.— Они организуют оборону на новых рубежах. Ну, до свиданья. Я поехал. Надеюсь, увидимся.

Через два часа стало известно, что русские прорвались на широком фронте.

Но даже и теперь Винкель считал, что положение вовсе не катастрофично. До Германии далеко, русские выдохнутся. «Восточный вал» — огромная цепь долговременных сооружений на старой германской границе — уж во всяком случае преградит русским путь к жизненным центрам империи.

Штаб между тем подозрительно заволновался, а к вечеру лихорадочно заторопился. Грузили в машины что попало. Нервозность, дикая спешка и бессмысленная толчея царили везде.

В этот момент Конрада вызвал к себе полковник Бем. Беседа происходила в подвале, так как русская авиация, видимо нащупав местопребывание штаба, почти беспрерывно бом-

била деревню. Конраду было приказано надеть гражданскую одежду и направиться с радиостанцией в Хоэнзальца — польский город, называвшийся прежде Иноврацлавом,— с заданием сообщать по радио о продвижении и составе русских войск. Шифр прежний. Полковник вручил Винкелю документы на имя Владислава Валевского, варшавского маклера по продаже недвижимости. Ему надлежало под видом беженца из Варшавы обосноваться в Хоэнзальца у поляка — торговца, тайного фашистского агента, который и приютит его. При этом полковник сообщил, что в соседний город Альтбургунд (польский город Шубин, тоже переименованный на немецкий лад) уже отправлен с таким же заданием лейтенант Рихард Ханне, который проживает там под видом автомеханика поляка. Дав Винкелю три явки в Германии на случай, если ему придется идти дальше на запад, полковник отпустил его. Винкель побежал сломя голову к указанному ему дому. Майор Зиберт, уже влезавший в машину, неохотно слез, крикнул: «Дать рацию!» — и тут же уехал. Мрачный штабс-фельдфебель указал Винкелю на дюжину лежащих на полу раций и потребовал расписку. Винкель сел писать расписку. Кругом все гудело от взрывов русских бомб. Штабс-фельдфебель, подумав, сказал:

— Ладно, берите без расписки.

Винкель растерянно посмотрел на рацию. Как ее тащить? На счастье, он заметил во дворе старую садовую тачку. Он положил рацию и батареи на эту тачку и, толкая ее перед собой, пошел в отделение «II-б». Бем уже уехал. Возле машин бегали люди, не желавшие отвечать на вопросы. Наконец появился обер-лейтенант Гаусс, коллега и приятель Винкеля.

— Ты куда? — спросил Гаусс вполголоса.

— В Хоэнзальца. Радиостанцию тащу с собой.

— Я в Вартегау, в Гнезен [1].— И еще тише: — Дело — дрянь. Ты хоть по-польски знаешь хорошо, а каково мне с моим польским языком, от которого за версту разит Саксонией... Я ему говорю: я по-чешски умею... Вы меня в Чехию пошлите. А он еле дышит от страха... Уехал, дьявол. Говорить не с кем. Я слышал: русские завтра будут здесь. В общем — пошли. В соседней деревне нас ждет Крафт с машиной.

---

[1] Переименованные гитлеровским правительством Познанщина и город Гнезно.

Они вошли в дом, выбрали себе гражданскую одежду среди валявшихся здесь вещей и переоделись. Винкель завернул в одеяло свою рацию. Они вышли из деревни. По дороге нескончаемым потоком шли разгромленные части регулярных войск. Машины яростно сигналили, разгоняя мрачно шагающую пехоту.

Солдаты приняли Винкеля и Гаусса за поляков. Какой-то фельдфебель даже пригрозил им расстрелом и велел сойти вон с дороги.

— Шпионы,—бормотал фельдфебель,— я вам покажу.

Винкель не на шутку струхнул. Действительно, они должны были вызывать подозрения. А если кто-нибудь из солдат пороется в тачке и обнаружит радиопередатчик,— расстреляют в два счета, не выслушивая никаких оправданий.

Регулировщиков движения на дорогах не было. Иногда какой-нибудь офицер пытался установить порядок, но его никто не слушал. Из кюветов торчали брошенные машины и пушки. Дальше, в воронке от бомбы, валялись книги,— видимо, имущество какой-то бежавшей роты пропаганды: евангелические и католические молитвенники, солдатские календари. Одна из книг была раскрыта, и портрет фюрера, измазанный грязью, глядел дикими глазами на проходящих людей. Винкель отвернулся.

Солдаты исподлобья смотрели на проезжавшие грузовики с мебелью, коврами, пальмами, фикусами — имуществом бегущих на запад гаулейтеров, комендантов и начальников зондер-команд. На дюжине грузовиков проследовали гарнитуры красного дерева какого-то гаулейтера, говорили, что самого доктора Ганса Франка. Великолепные резные шкафы, столы и шифоньеры тончайшей работы медленно покрывались мокрым снежком. Из-под столов и кресел, гогоча, вытягивали головы большие белые гуси.

На хуторе, в святая святых отделения, куда не допускался, под угрозой расстрела, никто посторонний, было полно народу — интендантских чиновников, солдат, хохочущих пьяных женщин. Оказалось, что эвакуируется воинский публичный дом.

— Неужели Крафт уехал? — бледнея от ужаса, спросил Гаусс.

К счастью, Крафт еще не уехал. Среди сутолоки и шума он один сохранял видимость спокойствия. Он стоял перед камином в своей комнате и сжигал горы бумаг, лежавших стопками вокруг него. Он кивнул переодетым офицерам и сказал:

— Сейчас вас отправлю. Русские близко.

Он критически оглядел их, сделал несколько замечаний насчет одежды, посоветовал Гауссу не так уж выкатывать грудь колесом:

— Помните: вы штатский.

В ответ на жалобу Гаусса, что тот плохо говорит по-польски, он развел руками и хмуро сказал:

— Ничего не поделаешь. Приказ — послать вас в Гнезен. Отменить не могу, а начальники все разъехались.— Помолчав, он повторил:— Русские близко.

— Как вы думаете, их скоро остановят? — поинтересовался Гаусс.

Крафт посмотрел на него долгим, сумрачным взглядом своих белых, неподвижных глаз и сказал:

— Надо выполнять приказы... Наши на западе бьют американцев в Арденнах, а тут вдруг — русское наступление. Неслыханное по силе... Я лично считал, что оно начнется недели через две. Были такие данные. Большевики поторопились: видимо, спасают растерявшихся американцев...— Он бросил последнюю стопку бумаг в камин и спросил: — Денег у вас хватит? Возьмите на всякий случай.

Он роздал им по пачке кредиток — марок и польских злотых, потом, подумав, сказал:

— Хотя, пожалуй, эти деньги уже потеряли свою ценность. Вот вам русские рубли. Они фальшивые, но сделаны умело, почти не отличишь.

Между тем к дому подъехал огромный синий автобус. Он настойчиво гудел, вызывая Крафта. Крафт оделся, и они вышли.

В машине сидели несколько незнакомых Винкелю людей в штатском и два унтер-офицера в военной форме, вооруженных автоматами. Автобус был полон каких-то запечатанных сургучными печатями сундуков. Тачка с радиостанцией еле влезла в машину, но Винкель ни за что не хотел с ней расстаться. Впихнули тачку и поехали.

Темнело. С дороги доносились шум и чьи-то пронзительные вопли.

В полночь проехали город Кутно, где слез, предварительно пошептавшись с Крафтом, один из штатских. В городе Коло покинул автобус другой. Перебрались через реку Варту. Переправа была забита людьми и обозами. Пришлось часа два по-

стоять. В городе Конин оставили еще одного агента и затем поехали на север. Двигались весь день. Дорога была запружена отходящими войсками и беженцами, целыми немецкими семьями, бредущими по обочинам дороги. На одном перегоне автобус обогнал машину с красным деревом и белыми гусями доктора Франка.

Поздно вечером остановились невдалеке от Хознзальца. Здесь наступила очередь Винкеля. Крафт предложил ему сдать воинские документы, уничтожить все письма и вообще всякие остатки прошлой жизни. Винкель быстро обследовал свои карманы и сказал, что все в порядке. Гаусс пожал ему руку горячей и дрожащей рукой.

Винкель спрыгнул. Следом за ним спустили его тачку. Автобус сразу же взял с места и вскоре исчез за поворотом. Винкель постоял минуту и потом, медленно толкая тачку, пошел по направлению к Хознзальца, или, вернее, Иновроцлаву,— Винкелю следовало отныне обязательно называть город его польским именем.

Он испытывал чувство страха и неуверенности. «Полагаться на поляка в нынешние дни,— думал он,— дело опасное». Однако другого выхода не было. Его немного успокоило то, что по дороге шло много немцев и поляков и некоторые из них толкали перед собой почти такие же тачки, какая была у Винкеля, так что он ничем не отличался от них. Двигались и группы немецких солдат, но отныне он уже не мог обращаться к ним за защитой: он был Владиславом Валевским, варшавским маклером, и никем другим. В красивый, уютный ресторан возле бензобудки при въезде в город он уже тоже не мог зайти, так как на двери была надпись: «Nur für Deutsche («Только для немцев»).

«Впрочем,— подумал он с горькой усмешкой,— вскоре придут русские, и они *нас* освободят от немецкого гнета».

Улицы были пустынны. Не без труда нашел Винкель нужный ему двухэтажный каменный дом с бакалейной лавкой внизу. Постучавшись в запертую ставню, он стал дожидаться. Никто не появлялся.

Винкель снова взглянул на вывеску — да, дом тот самый: «Склеп споживчий Матушевского». Он снова постучал в окно, уже громче и решительнее. Наконец чей-то мужской голос за воротами спросил по-польски:

— Цо пан потшебуе?

Винкель ответил, как полагалось, что у него письмо «до пана Матушевского» от пана Заблудовского из Варшавы. Калитка тихо отворилась, и Винкель покатил вперед свою тачку.

Матушевский оказался низеньким, довольно толстым и очень разговорчивым человеком. Он был необычайно напуган происходящим и не выказывал особенного удовольствия по поводу прихода «пана Владислава Валевского». Его жесткие седые усики вздрагивали при малейшем уличном шуме, верхняя губа приподнималась, обнажая маленькие острые зубки, а правая толстая ручка предостерегающе повисала в воздухе,— он напоминал в такие минуты полевого грызуна, обеспокоенного чьим-то присутствием в пшенице.

Но как только шум прекращался, Матушевский снова начинал быстро говорить, пересыпая рассказ о своей семье и старшем брате, живущем в Лондоне, жалобами на слабость немецкой армии, на неоправдавшиеся надежды и на неминуемый приход русских.

— Ах, ах,— говорил он,— какой неприятный оборот приняли дела... И чем это кончится, пан?..

Впрочем, советским деньгам, имевшимся у Винкеля, он обрадовался необычайно (Винкель, конечно, не сообщил ему о том, что они фальшивые). Устроил он немца в маленькой комнатке под чердаком. Рацию поместили на чердаке, среди валявшихся здесь куч пеньки, бочонков, старых сундуков.

Винкель-Валевский был представлен худой молодящейся старухе пани Матушевской в качестве беженца из Варшавы. Ему пришлось сообщить ей все, что он знал и чего не знал о положении в Варшаве и о продвижении русских. Хозяин постарался быстро спровадить жену в спальню и, оставшись снова наедине с Винкелем, изложил ему свое «политическое credo», как он высокопарно выразился.

— Я поляк,— сказал он,— и мне многое, да, пан, многое, было отвратительно из того, что делали... м-м-м... господа немцы. Немецкая политика, пан... э-э-э... Валевский, есть неумная политика. Не из любви к вам, пан, принимаю я вас, а из высших политических соображений, потому что, пан, коммунизм есть бич божий. Говорю с вами вполне откровенно... Я разделяю воззрения Армии Крайовой, к которой имею честь в некотором роде принадлежать. Я слушаю радиостанцию «Свит» и вполне согласен с политикой генерала Соснковского... Говорю с вами вполне откровенно, пан... э-э-э... Валевский, вполне откровенно...

Я не ренегат польский, о нет! Мой брат в Лондоне занимает некоторый пост в правительственных органах. О нет, пан, мой брат — не министр Матушевский, человек, впрочем, весьма достойный... О нет! Пан министр Матушевский — мой однофамилец, не больше.

Болтовня Матушевского необычайно раздражала Винкеля, однако он вынужден был ее слушать. Самый факт такой развязной откровенности поляка, невозможной еще несколько дней назад, показывал, насколько упал авторитет Германии. Винкель еле сдерживал себя, чтобы не разразиться бранью. Но не те были времена. Он сидел насупившись и пытался даже изобразить на своем лице интерес к тому, что говорил ему этот польский «политик». Через силу слушая болтовню хозяина, Винкель думал о своем: «Только бы армия сумела закрепиться на линии Бромберг — Познань — Бреслау,— тогда все может быть спасено...» И еще он думал: «Какой позор... Так бежать! Как бараны...»

Он пошел в свою каморку и вскоре уснул.

На рассвете его разбудил чей-то быстрый шепот. Он увидел Матушевского. В руке поляка трепыхалось большое красное полотнище.

— Русские в городе,— прошептал он.— Вставайте, пан, вставайте, помогите мне!..

— Так скоро? Не может быть...— сказал Винкель, пораженный.

— Не может быть! — злобно передразнил Матушевский...— Вояки!... Вставайте! Помогите мне, пан!

Он распахнул маленькое окошечко. Холодный ветер ворвался в комнату, смахнув со стола салфетку и календарь. Взгромоздившись на стул, Матушевский прибивал красный флаг к древку, торчавшему в стене дома, под самым окошком мансарды. Звуки ударов гулко отдавались на пустынной улице. Пан Матушевский слез со стула и тяжко вздохнул.

Красное знамя реяло над домом.

## XII

С утра Винкель пошел бродить по улицам городка. В тот день он мог по достоинству оценить огромную мощь русского наступления. Танки и первоклассная тяжелая артиллерия проходили мимо бесконечным потоком.

Кроме того, не нужно было быть большим психологом, чтобы прочесть на темных от ветра и загара лицах пехотинцев настоящий боевой дух, этакую солдатскую «втянутость» в военную жизнь. Солдаты не шли сомкнутым строем, не выступали гусиным шагом, тут не было ни фанфар, ни барабанной дроби, ни внешнего блеска, ни позы завоевателей.

Люди шли спокойно, внешне даже как будто не спеша,— так, как идут люди, делающие дело, которое им хорошо знакомо. Они с любопытством глядели на вывески, лукаво улыбались красивым паненкам, вероятно не прочь были бы отдохнуть, и поболтать, и поухаживать за девушками. Но они нигде тем не менее не останавливались и шли все дальше и дальше на запад. И Винкель почувствовал с содроганием, что нет на свете такой силы, которая была бы способна остановить этих людей.

Одна из частей прошла с развернутым знаменем.

На этом знамени Винкель увидел серп и молот и пятиконечную звезду — коммунистические, или, как часто выражались в Германии, «марксистские» эмблемы. Он привык к тому, что коммунисты обязательно вне закона. Еще бы: с 1933 года слово «коммунист» считалось запрещенным, страшным словом. Коммунисты на воле — эти два понятия вместе не умещались в голове Винкеля, как если бы ему сказали: «Лунные жители в Берлине». А тут коммунисты были на воле! И не просто на воле, а во всеоружии несокрушимой силы и у ворот германской империи!

В полдень Винкель, совершенно обессиленный, вернулся домой. Он озяб и был голоден. Матушевский встретил его молча и только выразительно покашливал. Вскоре раздался стук в дверь, и перед ними возникла высокая фигура юноши с краснобелой повязкой на рукаве. Поздоровавшись с Матушевским и с «беженцем из Варшавы», представленным ему хозяином дома, он сообщил, что через час на площади состоится городской митинг.

Матушевский, кланяясь и прикладывая жирную ручку к жилету, поблагодарил за известие и заверил юношу, что он, Матушевский, и его семья обязательно примут участие в митинге по поводу столь великого и радостного события, как освобождение родного Иновроцлава от подлых оккупантов.

При этом он ехидно посмотрел на Винкеля.

Винкель пошел вместе с Матушевским на митинг.

На площади уже собралась ликующая толпа народа. Повсюду пестрели красно-белые и красные флаги. На балконе магистрата стояли советские и польские офицеры.

Выступала молодая, но совершенно седая полька, освобожденная из немецкого лагеря. То, что она рассказывала, было поистине ужасно. Площадь застыла в зловещем молчании. Винкель замер, не смея шелохнуться. Когда полька кончила свою речь, на площадь, громко гудя, въехали машина и бронетранспортер. В бронетранспортере стояли советские солдаты в касках, с автоматами. Из машины вышел пожилой русский генерал. В сопровождении офицеров — двух русских и одного польского — он вошел в магистратуру и вскоре появился на балконе.

Председательствующий на митинге поляк тотчас же предоставил ему слово. Фамилия Сизокрылов ничего не говорила полякам, но она была хорошо знакома немецкому разведчику.

Генерал начал говорить. Его громкий и ясный голос разнесся среди старых домов. Он поздравил поляков с освобождением от фашистского ига и обещал польскому населению дружескую поддержку и помощь Красной Армии.

Площадь отозвалась на слова генерала громким, взволнованным гулом. Винкель почувствовал, что кто-то обнимает и крепко целует его. Он увидел себя в объятиях старого поляка, потом его обняла и расцеловала молоденькая полька. Полетели в воздух шляпы и каскетки.

Винкель, ошеломленный и подавленный, еле выбрался из толпы. Вернувшись к Матушевскому, он бесшумно поднялся на чердак. Здесь было тихо, темно, пахло пылью и мышами. Винкель зажег фонарь, лихорадочно стал налаживать рацию. Сейчас он сообщит, что в городе много русских войск и что здесь генерал Сизокрылов. Пришлют авиацию — и весь этот Иноврацлав вместе с Матушевским взлетит на воздух!

Он начал работать ключом, вызывая «Кайзерхоф». В эфире разговаривали, пели, играли. Вскоре заговорила и его волна, но... по-русски. Кто-то настойчиво считал: «Раз, два, три, четыре, пять...» Потом произнес: «Ваня, даю настройку».

«Кайзерхоф» не отвечал.

Винкель стал искать другие волны. Из отрывочных немецких разговоров можно было понять, что войска беспорядочно

отступают. Кто-то кого-то просил о помощи. «Я окружен!» — кричала другая волна. «Zum Teufel!» [1] — ревела третья.

Винкель просидел у рации всю ночь, потом еще три ночи и, наконец, понял, что все напрасно. Маломощная рация могла действовать только в радиусе до ста километров. Видимо, германская армия вышла — вернее, выбежала — из радиуса действия передатчика.

Утром Винкель сошел вниз. Открыв дверь в квартиру Матушевского, он увидел двух русских офицеров и чуть было не бросился бежать, но овладел собой. Оказалось, что офицеры явились просто на постой. Вежливо побеседовав с хозяевами и с «беженцем из Варшавы», они сели играть в шахматы. Винкель неотрывно следил за ними. Они сосредоточенно глядели на доску, оба молодые, с крутыми, широкими лбами и умными, спокойными глазами. Нет, они не были похожи на завоевателей. Они не орали, не хвастали, никого не хотели подавить своим превосходством.

Он спросил, как оценивают они перспективы войны. Оба одновременно подняли глаза от шахматной доски, внимательно вслушивались в не всегда для них понятные польские слова, потом один ответил:

— Война окончится в ближайшие месяцы.

— Еще в этом году? — спросил «Валевский».

— Конечно,— даже несколько удивленно ответил русский.

«Валевский» решился выразить сомнение по этому поводу, сказав, что у немцев еще много сил. Матушевский бросал на него дикие предостерегающие взгляды,— сам он тут же заверил «панов офицеров», что слабость немцев очевидна.

Русские, однако, согласились с «Валевским».

— Силы у них есть, и довольно крупные,— сказал один из них,— но мы сильнее, и к тому же немцы морально подавлены.

— Про́шу пана? — переспросил «Валевский», не поняв последнего слова.

— Подавлены,— повторил русский, сделав красноречивый жест кулаком от плеча вниз.

Винкель вышел из комнаты, и следом за ним выскочил Матушевский. Он зашептал:

— Вы с ума сошли, пан!.. Чего вы наговорили! Вы нас погубите!

---

[1] К черту! *(нем.).*

— Молчите, старый дурак! — прошипел Винкель и поднялся в свою каморку.

Что делать? Пробираться в Данциг, домой? Родственники, без сомнения, эвакуировались оттуда к дяде Эриху в Виттенберг. Пробираться с радиостанцией поближе к фронту? Это была безрассудная затея: русская контрразведка поймает его.

Наконец он решился. Он пойдет в Шубин, к Рихарду Ханне. Лейтенант отправился на место раньше, когда еще не было такой спешки. Возможно, у него рация посильнее и имеются другие средства связи. Винкель был немножко знаком с этим лейтенантом, хотя вообще начальство не разрешало агентурщикам слишком близко общаться друг с другом.

Он снова спустился вниз. Матушевский оказался у себя в лавке. «Сторонник генерала Соснковского» решил открыть лавку, демонстрируя этим свое полное удовольствие в связи с приходом русских и лояльность к новой власти — Крайовой Раде Народовой. Одетый в клеенчатый халат, он семенил от бочек с селедкой к бочке с керосином и обратно. Жена восседала рядом, отпуская муку и колбасу по баснословным ценам.

— Я ухожу, пан,— сказал Винкель.

Матушевский испуганными, непонимающими глазами уставился на Винкеля. Винкель громко, чтобы покупатели слышали, объяснил:

— Душа рвется в Варшаву... Может быть, разыщу кого-нибудь из родных...

Матушевский поспешно вытер руки о передник и вышел с Винкелем в заднюю комнату, сплошь заставленную мешками и бочками. Здесь Винкель сказал, что рацию он оставляет, а сам идет по делу в другой город. Возможно, что он вернется. Он просит Матушевского дать ему на дорогу немного продовольствия. С каждым словом Винкеля лицо Матушевского все больше прояснялось. На радостях он вручил Винкелю объемистый пакет со снедью. Там была белая булка, колбаса, целая головка голландского сыра и даже бутылка водки.

Поздно вечером Винкель тихо открыл ворота и вышел, толкая перед собой тачку. Вскоре он очутился на большой дороге. Падал мокрый снег. Изредка попадались навстречу колонны поляков, бредущих к себе домой из различных лагерей, из немецких усадеб и заводов. Многие были с семьями. Маленькие дети спали на руках отцов и матерей. Повизгивали колеса

тачек и велосипедов. Дорога и ночью не спала. В кустах у обочины кто-то шептался, плакал, разговаривал.

Винкель шел, стараясь ни о чем не думать. Мысли приходили в голову безрадостные и тяжелые. Раз все оказалось блефом — немецкое величие, немецкая миссия, немецкая непобедимость,— куда же деваться ему, Винкелю? «Уйти в частную жизнь»,— подумал он высокопарным слогом газетных светских хроник. «И, вероятно, так теперь решают миллионы немцев»,— подумал он минуту спустя. Ведь в конечном счете какой он, Винкель, деятель? Он всегда думал только о себе. Ему говорили, что богатая жизнь возможна лишь в том случае, если немцы завоюют Европу и построят в ней новый порядок, который обеспечит им власть и значение. «Но что такое власть и значение?— думал теперь Винкель, как некогда Экклезиаст.— Дым и прах, не больше...»

Устав от долгой ходьбы, Винкель свернул с дороги в рощу, поставил тачку, прислонился к ней и задремал. Вскоре ему почудилось, что кто-то находится рядом. Действительно, невдалеке, у большого дерева, стояли какие-то люди. Трое. Они были одеты в наспех напяленное штатское платье. Обросли бородами. Все трое неподвижными глазами уставились на человека с тачкой.

— Что везешь? — хрипло спросил один из них по-немецки, на таком типичном швабском диалекте, что Винкель даже вздрогнул от неожиданности.

Он сразу понял, что имеет дело с переодетыми в штатское немецкими солдатами, которые пробираются из русского окружения к своим. Хотя он не имел никакого права разоблачать себя, но при виде соотечественников его охватила такая жгучая радость, что он решился пренебречь конспирацией и воскликнул:

— Я тоже немец!

Не ответив ни слова, один из них ткнул его кулаком в грудь, а другой отпихнул от тачки. Они начали рыться в вещах, хватая то одно, то другое и все время оглядываясь на дорогу. Наконец они нащупали продукты.

— Что вы делаете? — забормотал Винкель.— Я немец... Я обер-лейтенант... Мы все... Я... тоже пробираюсь...

Они молча покатили тачку и скрылись с ней в лесу. Винкель встал и, хромая, побрел по дороге. Как ни странно, но без тачки ему труднее было идти: она придавала какой-то смысл его

ходьбе, толкание тачки казалось неким важным делом, оно отвлекало от тяжких мыслей. Винкель вздыхал и чуть не плакал от досады.

В одной деревне — это было уже утром — он набрел на группу русских солдат,— видимо, связистов, которые варили на костре кашу. Он постоял невдалеке от них, они его подозвали, и один, чуть заметно улыбнувшись, спросил:

— Что, озяб? Ты кто такой будешь?

— Поляк,— ответил чуть слышно Винкель.— Владислав Валевский из Варшавы.

— А чем ты занимаешься? — спросил другой.— Рабочий, крестьянин или из интеллигенции?

Винкель, вспомнив про серп и молот, не решился назвать себя агентом по продаже недвижимости: он понимал, что для коммунистов причастность к «недвижимости» — неважная рекомендация.

— Ма́ляж [1],— ответил Винкель и для лучшего разумения помотал правой рукой в воздухе, словно водил кистью.

— Маляр! — обрадовался третий солдат, высокий и сильный человек с льняными волосами.

Все называли его «товарищ старшина», и он, по-видимому, был здесь главный.

— Слышите, ребята? Маляр, оказывается. Кушать не хочешь, маляр? Садись!

Винкель уселся и начал уплетать горячую кашу с мясом.

— У меня дядька маляр. Знаменитый мастер. В Вологде живет. Слышал про такой город — Вологду?

— Нет,— ответил Винкель.

— Вот еще! — шутливо обиделся старшина.— Про Вологду не слышал! Ну, теперь будешь знать! За-а-ме-чательный город! Не забудь смотри! Вам русские города знать нужно, поскольку мы-то из этих городов к вам на выручку пришли... У вас все Берлин, Париж да Лондон... Про эти небось знаешь?

— Так,— сказал Винкель.

— Вот именно,— продолжал словоохотливый старшина.— А теперь будете знать Кострому, Вологду... вот так!

— Кострому, Волёгду,— повторил Винкель.

Все рассмеялись.

— А куда ты идешь? — спросил один из солдат.

---

[1] Художник *(польск.)*.

Винкель объяснил, что идет к сестре в Быдгощ, у нее там семья, квартира, а у него дом разрушен, семья убита во время бомбежки...

— Бездомный,— покачал головой один из солдат, до сих пор молчавший.— Сколько их теперь, бездомных-то!..

Винкель поднялся, снял шляпу, поклонился русским и побрел дальше.

К вечеру он пришел в Шубин.

## XIII

Авторемонтная мастерская, несмотря на позднее время, работала. В большом кирпичном здании гудели моторы. Входили и выходили польские рабочие и русские солдаты: видимо, мастерская ремонтировала советские воинские машины.

Увидев солдат, Винкель не осмелился зайти в мастерскую.

Он сел в темном дворе на кучу кирпича и стал ждать. Вскоре моторы затихли, и из освещенного квадрата двери начали выходить один за другим рабочие. Винкель пристально вглядывался в каждого из них, боясь пропустить Ханне. Наконец он увидел одетого в комбинезон долговязого парня и узнал его голос: Ханне с кем-то оживленно разговаривал. У Винкеля забилось сердце, словно он увидел близкого друга, хотя с Ханне был еле знаком.

Винкель пошел вслед за ним, нагнал его и дрожащим голосом произнес:

— Ханне...

Ханне остановился как вкопанный.

— Кто вы? — прошептал он по-немецки.

Винкель назвал себя.

Они молча зашагали по темной улице.

— Вот здесь,— сказал Ханне, направляясь к воротам двухэтажного дома.

Молчание Ханне вдруг испугало Винкеля. После встречи с тремя соотечественниками в роще у дороги его уверенность в немецкой солидарности изрядно поколебалась.

Ханне вскоре остановился у какой-то двери, отпер ее своим ключом, и они вошли. Винкелю прежде всего бросился в глаза лежавший на стуле рюкзак, до отказа набитый вещами.

Ханне присел на койку и спросил:

— Итак?..

Винкель пристально смотрел в лицо Ханне, оценивая и изучая его. Что можно сказать этому человеку и чего нельзя? Не лучше ли начистоту выложить все, о чем Винкель думал, и просить совета? Нет, Винкель боялся, даже при нынешней обстановке он боялся сказать правду.

Ханне в свою очередь внимательно следил за Винкелем. Зачем прибыл обер-лейтенант? Кто его прислал? Проверять, что ли, приехал? Ханне твердо решил уйти из Шубина на восток и покончить со своей службой. Неужели начальство пронюхало об этом? Он тревожно покосился на приготовленный в дорогу рюкзак.

Винкель перехватил этот взгляд и спросил как можно более спокойно:

— Собираетесь уходить, Ханне?

«Узнали, сволочи! — подумал лейтенант.— Сейчас он спросит, где рация...» Рацию Ханне по частям побросал ночью в колодец сразу же после прихода русских.

— Никуда я не ухожу,— ответил он вызывающе.— Почему вы думаете, что я ухожу?..— Он пробормотал злобно: — Не всякий способен на дезертирство...

Они испытующе смотрели друг на друга. «Знают ли они, куда я отправляюсь?» — думал Ханне, с ненавистью наблюдая за Винкелем. «Что он сболтнул насчет дезертирства?» — с испугом подумал Винкель.

— Сейчас дезертировать,— быстро сказал Винкель,— втройне позорно... Отчизна в опасности... Враги со всех сторон. Теперь нам нужно поддерживать фюрера так, как никогда раньше.

«Сволочь полицейская»,— думал Ханне. Он сказал:

— Лично я не сомневаюсь в победе. Временные неудачи не могут нас сломить.

«Дубина и эсэсовский подонок! — думал Винкель.— Чего доброго, еще запоет «Хорста Весселя...» Винкель сказал:

— Ну вот и прекрасно... Где ваша рация?

Они с отвращением и страхом смотрели друг на друга исподлобья. Наконец Ханне сказал весьма независимым тоном:

— Она в другом помещении... Сейчас я вам дам чего-нибудь поесть. Вы, вероятно, голодны.

«Что делать? Куда идти? — думал Винкель.— И зачем я прицелся к этому глупому и тупому служаке, который даже теперь ничего не понимает?»

Оба уселись за стол, молча жевали. Потом Ханне вскочил и сказал:

— Ах да, Винкель, у меня и рому есть немножко...

Он достал из рюкзака бутылку. Винкель с удовольствием выпил, и его начало клонить ко сну. Ханне любезно предоставил ему кровать, а сам улегся на диване.

Винкель проснулся на рассвете от холода. Ни Ханне, ни его пальто, ни рюкзака в комнате не было. Подождав с полчаса, Винкель оделся и, пугливо озираясь, вышел из дому.

Так начались скитания Винкеля.

Он брел от деревни к деревне, все ближе к линии фронта; брел он без всякого плана, просто стремясь попасть в Германию. Только эта мысль его и занимала.

Было холодно. В одном пустом доме он нашел женский платок, обмотал себе голову, а поверх платка напялил шляпу. Взглянув в зеркало, он обрадовался своему глупому, несчастному виду, неспособному внушить, пожалуй, никаких подозрений.

Винкель шел теперь по областям, из которых поляки были в свое время почти поголовно выселены по приказу Гитлера. Землю передали немецким колонистам, или, как они сами себя недвусмысленно называли, «плантаторам», теперь убежавшим на запад вместе с германской армией. Деревни пустовали. Винкель заходил в покинутые дома, ел все, что попадалось под руку на кухонных полках и в погребах. В одной деревне он сделал себе даже запасы продовольствия. Полчаса погонявшись за беспризорным, уже одичавшим поросенком, он наконец поймал его и кое-как зарезал найденным в одном доме кухонным ножом. Мокрые и скользкие куски свинины он напихал себе в карманы.

Фронт ушел далеко на запад. По дорогам тянулись нескончаемой вереницей русские тылы.

Винкель, опустившийся, грязный, обросший, безопасности ради примкнул к одной из многочисленных польских семей, возвращавшихся к своему старому месту жительства. Несмотря на трудность длительного пешего пути и на отвратительную, гнилую погоду, поляки были в приподнятом, радостном настроении. Навстречу двигался поток людей, тоже освобожденных

Красной Армией,— русские, украинцы, поляки, чехи, сербы. Встречаясь, людские толпы весело перекликались и обменивались новостями.

Дорога жила шумной, радостной, напряженной жизнью.

Польская семья, за которой увязался Винкель, побаивалась его, подозревая, что он тронулся. Он и сам поддерживал в них это убеждение, бормоча себе что-то под нос и время от времени тяжко и шумно вздыхая. Поляки постарались бы, вероятно, отделаться от него, но он однажды намекнул им, что полтора года просидел в Майданеке. Тогда они, от души пожалев его, стали за ним ухаживать, отдавали ему лучшие куски, и старшая дочь Ядвига пригласила его даже к ним в Ходзеж, с тем чтобы он там отдохнул и «пришел в себя».

Глава семьи Марцинкевич был железнодорожным стрелочником. В 1941 году его выселили в «генерал-губернаторство» из насиженного места, где он прожил всю жизнь. Теперь Марцинкевичи возвращались домой, довольные и полные надежд. Это были тихие и славные люди.

Оставалось всего несколько километров до цели их путешествия, когда вдруг ранним утром из лесу вышла довольно большая колонна вооруженных немецких солдат во главе с офицером.

На дороге возник короткий переполох. Все остановилось.

— Русские далеко? — отрывисто спросил офицер, обращаясь по-немецки к опешившим полякам.

Поляки молчали.

Винкель постоял неподвижно, потом быстро подошел к немцам и сказал:

— Только что проследовал русский обоз. Он повернул направо.

К удивлению Винкеля, колонна немцев быстро пошла по указанному им направлению. Винкель потоптался на месте, потом пошел вслед за немцами, даже не оглянувшись на Марцинкевичей, весьма удивленных внезапной разговорчивостью и превосходным немецким языком «бывшего узника Майданека».

По-видимому, немецкие солдаты, нуждавшиеся в продовольствии или оружии, собирались напасть на обоз. Винкель решил открыться офицеру и пробиваться в Германию не в одиночку, а вместе с этой довольно многочисленной группой.

Минут через пять, завернув в рощу, немцы увидели длинный конный обоз, груженный сеном и ящиками. Возле подвод, держа в руках длинные вожжи, не спеша шли пожилые русские солдаты, и было их не больше десяти человек.

— Капитан,— проговорил Винкель, решительно сбрасывая с себя одуряющее оцепенение последних дней,— я офицер штаба армейской группы...

Офицер посмотрел на него непонимающими глазами. И вдруг Винкель увидел, что и офицер и солдаты идут вперед с поднятыми вверх руками по направлению к обозникам. Те уже заметили приближение немцев и остановились.

Винкель замер посреди дороги, мелко дрожа. Он собрался было уйти поскорее в лес, но его неожиданно окликнул один русский солдат:

— Эй, як тебе там!

Винкель подошел поближе.

— Скажи им, хай идут по дорози, там наш контрольный пункт. Ему хай сдаются. У нас часу немае.

Винкель скороговоркой перевел какому-то немцу эти слова и сразу же юркнул в придорожные кусты.

Через несколько дней путаных и тяжелых странствий Винкель очутился в большом лесу. Вдоль опушки тянулись бетонные укрепления, заваленные буреломом ходы сообщения, ржавые переплетения колючей проволоки.

В лесу было тихо. Наступил вечер, лунный и сравнительно теплый. Над бункерами, дотами и траншеями шумели сосны. Эти старые сооружения никто не оборонял. В них царил застарелый запах прелой травы, талого снега, сырости.

Винкель спустился в обшитый темно-коричневыми необструганными досками бункер. Здесь было сыро, но тепло. Винкель заснул, прислонившись головой к стене под амбразурой.

Проснулся он на рассвете, дрожа от холода: его лихорадило.

Он еле вылез из бункера и побрел по лесу, натыкаясь на все новые и новые оборонительные сооружения, и вдруг его осенило: он находился на пресловутом «Восточном валу» — на том самом, который должен был преградить путь русским армиям к сердцу Германии. «Вал» простирался на несколько километров вглубь. Над ним шумели сосны, посыпая бетонные укрепления мокрым снегом. Немцы даже не успели дать тут бой, они катились все дальше — к Одеру, к Берлину.

Винкель, спотыкаясь, брел по лесу.

Вскоре он оказался в немецкой деревне, где в доме с часами встретился с Лубенцовым. Когда русские ушли, бывший немецкий разведчик посидел немного, потом снова лег, зарывшись лицом в подушку.

## XIV

Лубенцов, покинув дом с часами, поехал на попутной машине к командиру дивизии, который с нетерпением ожидал его возвращения. Генералу очень хотелось узнать, говорил ли что-нибудь о нем и о его дивизии член Военного Совета, и что именно.

Тарас Петрович Середа часто притворялся, что его не волнует мнение старших начальников: он, дескать, солдат и воюет не ради похвал. Но это было только тонкое прикрытие для ревнивого, настороженного, постоянного интереса к мнению вышестоящих командиров о нем и его дивизии.

Начальник политотдела полковник Плотников часто подсмеивался над этой слабостью комдива.

Сам Плотников до войны был человеком гражданским. Он окончил в свое время Институт красной профессуры, позднее работал начальником политотдела МТС на Кубани, а затем, защитив диссертацию на степень кандидата философских наук, преподавал диалектический материализм в Харьковском университете. Несмотря на это — а может быть, именно поэтому,— он был прост в обращении.

Плотникова назначили к генералу Середе начальником политотдела в 1942 году. Генерал не испытал особого восторга, узнав, что к нему присылают «философа», да к тому же необстрелянного.

Но, встретив вместо предполагаемого буквоеда умного политработника, прекрасного пропагандиста, умевшего излагать самые трудные вопросы простым и понятным языком, генерал понял свою ошибку. Кроме того, он вскоре обнаружил, что полковник храбр, причем храбр весело, без натуги, а храбрость для генерала, человека до глубины души военного, была немаловажным достоинством.

Военным делом Плотников занимался с начала войны методично, как и всем, что он делал. Он выписывал своим четким почерком длинные выдержки из «Полевого устава»,

хорошо усвоил тактические и технические возможности авиации, артиллерии и танковых войск. Что касается непосредственно политработы, то тут он был «бог», как восхищенно говаривал Середа.

Два бывших рабочих, ставших один генералом, другой ученым, жили дружно и работали слаженно, что не мешало, впрочем, «младшему по званию» частенько одергивать «младшего по знанию», как они иногда шутя называли друг друга, когда оставались наедине. Дело в том, что «младший по знанию», генерал Середа, нередко увлекаемый «дивизионным патриотизмом», то пытался сманить из других дивизий лучших хирургов, офицеров, хозяйственников, то перехватить захваченного соседями пленного. Своих, если они в чем-либо оказывались виноватыми, он одергивал строго, но старался это делать без шума, чтобы не «позорить семейство».

Дивизия любила генерала Середу. Подчиненные с восторгом говорили о его понимании людей, замечательной храбрости, великолепной выдержке при любых обстоятельствах, грубоватом, но остром юморе и даже о его закрученных черных усах, которые он холил и лелеял.

— Что ж это Лубенцов задерживается? — спрашивал генерал, поглядывая на часы.

— А, любопытство разбирает? — лукаво осведомился Плотников.

В соседней комнате возилась у открытого чемодана Вика. Она собиралась уезжать во второй эшелон. Уезжать ей очень не хотелось. Девочка усвоила бытующее среди штабных офицеров слегка презрительное отношение к «тылу», хотя тыл дивизии находится довольно близко к передовой. Генерал предложил ей на выбор: жить либо в редакции дивизионной газеты, либо в штабе тыла с майором интендантской службы Астаховой.

Подумав, Вика выбрала редакцию. Военные журналисты — это все-таки лучше, чем интенданты. Тем более что там работала наборщиком и начальником типографии славная женщина, бывший снайпер. Решили, что они будут жить вместе.

Горячие просьбы Вики оставить ее, как прежде, при штабе ни к чему не привели. Тарас Петрович был очень щепетилен во всем, что касалось выполнения приказов старших начальников. Он не мог пренебречь прямым распоряжением члена

Военного Совета, хотя отлично знал, что генерал Сизокрылов не станет проверять выполнение этого приказа.

Середа, повышая голос, то и дело строго спрашивал у Вики:

— Скоро соберешься?

Она, уныло укладывая чемодан, отвечала:

— Сейчас.

Наконец появился Лубенцов.

— Мы будем брать Шнайдемюль! — сразу же сообщил он самое главное.— Член Военного Совета предполагает, что немцы будут оборонять город основательно. Это крепость «Восточного вала».

Комдив немедленно вызвал начальника штаба и командующего артиллерией, связался с корпусом, позвонил в полки. Одним словом, началась обычная в такие минуты деловая суета, которая радует всякое офицерское сердце. Корпус подтвердил, что задача дивизии меняется и что полоса ее наступления пойдет левее, на Шнайдемюль. Час спустя прибыл из корпуса соответствующий письменный приказ. Приехали командиры полков и приданных дивизии частей.

Дивизии были приданы «иптап»[1], артполк Резерва Главного Командования, дивизион гвардейских минометов и самоходный артиллерийский полк. Командиры этих частей имели за собой десятки стволов огромной разрушительной силы, море огня. Между тем это были тихие, спокойные, вежливые люди. Глядя на них, комдив мысленно подсчитывал возможности каждого из этой огнедышащей компании: этот подполковник имеет столько-то стволов, этот майор — столько-то, а всего эти люди дадут столько-то выстрелов в минуту.

Распределив силы по стрелковым полкам и оставив в своем непосредственном распоряжении «катюши» и, в качестве противотанкового резерва, самоходный полк, генерал поднялся с места. За ним встали и все остальные.

— Жалко мне вас, товарищи,— сказал генерал,— вы задерживаетесь под Шнайдемюлем, в то время как другие части идут на Берлин. Но что поделаешь? Вместо того чтобы отводить войска за Одер и оборонять свою столицу, Гитлер запирает живую силу в городах. Познань, Бреслау, а теперь Шнайде-

---

[1] Истребительный противотанковый артиллерийский полк.

мюль... Что же, в наших интересах покончить с этой крепостью как можно скорее. Желаю успеха!

Вика под шумок ушла с Лубенцовым к разведчикам. По дороге она сообщила ему, что ночью прибыла радиограмма от группы Мещерского. У Мещерского все в порядке, он как будто даже пленного взял.

Вика относилась к гвардии майору с особой симпатией. Ей нравились его синие веселые глаза, храбрость и изобретательность, а главное — его увлекательные «рассказики», как она называла доклады Лубенцова комдиву. Он всегда говорил о немцах, об их сложных передвижениях и намерениях, пересыпая свои слова мудреными названиями вражеских дивизий и книжными именами пленных. Особенно запало ей в голову название дивизии «Мертвая голова».

— Где она теперь? — спросила Вика.

— В Венгрии,— рассеянно ответил гвардии майор.

В домике у разведчиков было тихо, как обычно бывает у разведчиков, когда в тылу противника действует группа. Солдаты собрались в большой комнате и молча прислушивались к неясному шуму и треску за закрытой дверью соседней комнаты. Там совершалось величайшее таинство разведки — радиосвязь с действующей в расположении противника разведпартией.

Разведчики были встревожены. Мещерский передал первую радиограмму в три сорок пять и обещал снова связаться с дивизионной рацией в восемь ноль ноль. Теперь уже был десятый час, а «Ручей» (позывной Мещерского) не откликался.

Увидев входящего гвардии майора, разведчики облегченно вздохнули, как будто во власти Лубенцова было заставить Мещерского отозваться.

Мещерский отозвался только в полдень. Сидевший с наушниками Воронин вдруг покраснел от возбуждения до корней волос.

— Говорит? — спросил Лубенцов.

— «Ручей»! «Ручей»! — воскликнул Воронин, радостно кивнув головой.— Я «Море»! Слышу тебя хорошо!..

Лубенцов немедленно сменил его у рации и услышал голос Мещерского. Капитан докладывал, что немцы идут по дороге к Шнайдемюлю («пункт 8-б»). Прошла средняя артиллерия, двадцать танков, два батальона пехоты. По реке Кюддов, южнее города, пехота в траншеях.

— «Ручей»! «Ручей»! Я «Море»! — сказал Лубенцов.— Задачу ты выполнил. Иди в сектор шестнадцать, правый верхний угол, и жди нас там. Не забудь про сигналы.

«Правый верхний угол сектора шестнадцать» был большой болотистой рощей северо-восточнее Шнайдемюля.

— Ну, вот и все! — восхищенно воскликнул Воронин.

— Еще не все,— сказал Лубенцов озабоченно.— Надо предупредить нашу артиллерию и полки... Как бы они не приняли группу Мещерского за немцев,— чего доброго, перестреляют в темноте и неразберихе. Пошли в штаб!

Штаба, однако, уже в деревне не было — он по приказу комдива передвинулся дальше на запад. Лубенцов поехал догонять его.

## XV

В двухэтажном доме почтового отделения, где расположился штаб, все было поднято вверх дном. На полу и на конторках валялись всевозможные штампы, печатки, бандероли, скоросшиватели, целые вороха писем, длинные ленты почтовых марок с изображением Гитлера и Гинденбурга и горки бронзовых монет.

Оганесян бродил по телефонной станции, всовывал вилки в гнезда и, посмеиваясь, окликал неведомых абонентов:

— Алло, алло!

Но телефоны, покинутые абонентами, молчали.

Интереснее всего были свежие пачки газет — среди них вчерашний «Фёлькишер беобахтер». Вчерашние берлинские газеты! Они пахли свежей типографской краской, и вопли Геббельса и Лея на их страницах были тоже самые свежие, только что из глотки!

Вот эту статью на первой странице Геббельс написал всего два дня назад. Геббельс, который существовал до сих пор в голове каждого бойца не как живой человек, а как отвлеченное олицетворение нацистской лжи и коварства, становился теперь осязаемым, конкретным врагом.

Вопли отчаяния исходили уже не от пленных фрицев, а из первоисточников. Сам Гитлер, казалось Лубенцову, готовится поднять руки и крикнуть знаменитые слова: «Гитлер капут!»

Тем временем привели новую партию пленных, и Оганесян приступил к их допросу в верхних комнатах, в спальне сбежавшего почтмейстера.

Пленные, в общем, ничего нового сообщить не могли. Они принадлежали к разбитым частям почти полностью разгромленной мощной группировки «Висла», которой командовал новоиспеченный полководец Генрих Гиммлер.

Пленные за войну страшно надоели Оганесяну, но, встретив солдата из 73-й немецкой пехотной дивизии, он сразу оживлялся, щурился, усмехался — с таким солдатом он мог беседовать хоть целый день.

Семьдесят третья пехотная дивизия была слабостью, предметом особого внимания и особой ненависти Оганесяна. Стоило ему узнать, что взят кто-нибудь из 73-й,— и он сразу же мчался на допрос, жертвуя даже сном, а поспать он любил.

Призванный в армию на должность переводчика в апреле сорок второго года, Оганесян попал в стрелковую дивизию в районе Керчи. Он еще не успел даже обзавестись военным обмундированием, когда фашисты при поддержке бесчисленного множества авиации пошли в наступление.

Даже теперь, через три года, в черных глазах Оганесяна вспыхивала неуемная ярость при воспоминании о тех днях.

На узком пятачке у пролива сгрудились тысячи людей. Небо было черно от немецких самолетов, и берег превратился в одну сплошную черную воронку от разрывов бомб. А обычная жизнь земли между тем продолжалась. Стояла прекрасная летняя погода. Морской прибой разбивался у ног белой пеной. Вокруг взрывались бомбы, а чайки думали, что это буря, и кричали, как положено чайкам во время бури.

Началась незабываемая переправа. На лодках, катерах, бочках, самодельных плотах люди переправлялись на заветное кавказское побережье.

Когда немцы слишком напирали и становились слышны их возгласы, наши бойцы, не дожидаясь команды, бесстрашно бросались на неприятеля. Враги в ужасе пятились и отступали, и тогда люди снова отходили к синему морю, слонялись у самой волны, тоскливо ожидая подхода очередных лодок. А в синем небе уже появлялась очередная стая пикирующих бомбардировщиков «Ю-87».

Вот в это-то время к Оганесяну подвели его первого пленного. Это был высокий, слегка пьяный немец, который держал себя с вызывающей наглостью. Он, по-видимому, немало удивился, когда стоявший среди офицеров штатский человек в замаранном глиной и землей синем костюме, с торчащим набок шелковым галстуком и с давно не бритыми, иссиня-черными, ввалившимися щеками стал его допрашивать на чистейшем, литературнейшем «хох-дейч» (верхне-немецком).

Удивленный таким превосходным знанием немецкого языка, пленный отвечал Оганесяну на вопросы с некоторым даже уважением. Он был из 73-й пехотной дивизии и хвастливо сообщил, что именно его дивизия так стремительно прорвала фронт и отбросила русских к проливу.

— Поручите мне,— сказал он,— передать командованию о вашем согласии сдаться в плен. Почетная капитуляция. Мы поражены вашей храбростью.

Так говорил этот паршивый полупьяный фашист, играя роль парламентера и спасителя.

Оганесян задрожал и начал отстегивать кобуру у стоявшего рядом капитана (у него самого пистолета в то время еще не было), но выстрелить не выстрелил, а только громко и гортанно кричал что-то непонятное. Это он ругался на родном языке, по-армянски.

С 73-й дивизией Оганесян повстречался еще раз, в конце 1944 года. Она занимала оборону северней Варшавы, в междуречье Буга — Нарева и Вислы. Лубенцов, знавший добродушие и ленивую меланхоличность своего переводчика, удивился поведению Оганесяна в то время. Только жгучая ненависть могла так изменить этого человека.

Заполучив первого пленного, Оганесян долго смотрел на него, усмехаясь недоброй усмешкой, обнажившей его пожелтевшие от махорки неровные зубы. Он спросил:

— Где вы были в сорок втором году?

— Вначале я был у Керчи...— начал было пленный и вдруг задрожал, увидев перекосившееся лицо переводчика.

Когда пленного увели и Оганесян стал тем же добрым, милым, чудаковатым Оганесяном, каким был всегда, он рассказал Лубенцову историю своего знакомства с немецкой 73-й пд.

— Какой костюм пропал! Какой галстук пропал! — восклицал он, словно это было самое главное.— Я переправлялся на

бочке, а одежду волна с бочки смыла... Может, она там где-нибудь еще плавает.

Лубенцов не улыбнулся забавному окончанию страшного рассказа. Он сказал:

— Что ж, подождем. Насколько я разбираюсь в обстановке, твоей семьдесят третьей наступит конец в ближайшие дни.

Действительно, 73-я пехотная дивизия немцев была разгромлена в пух и прах под Варшавой. Ее солдаты разбрелись кто куда, побросав оружие; артполк попал в плен весь целиком. Не раз еще встречались Оганесяну пленные из этой дивизии. Однако, хотя он чувствовал себя вполне отомщенным за керченские дни, солдат 73-й он допрашивал долго, подробно, смакуя детали разгрома и допытываясь о судьбе полков, батальонов и даже отдельных офицеров, фамилии которых он знал. А знал он о 73-й дивизии все!

Теперь к нему неожиданно попали еще два солдата из этой дивизии. Он стал их допрашивать, по обыкновению злорадно усмехаясь и подсказывая подробности, удивлявшие их.

Один из них — молодой длинный солдат с рыжими вихрами — на вопрос переводчика, при каких обстоятельствах он попал в плен, ответил, что его и товарища захватил русский солдат на уединенном фольварке, где они укрывались, собираясь переодеться в гражданское платье и пробраться домой.

— Спроси, где его дом,— сказал Лубенцов.

Оганесян спросил и услышал в ответ:

— Шнайдемюль.

Лубенцов вздрогнул. Это была удача. Он даже удивился, почему Оганесян так спокойно воспринял ответ немца. Ну да! Здесь кончался переводчик и начинался разведчик.

Отправив остальных немцев на сборный пункт военнопленных, Лубенцов при помощи переводчика стал подробно и дотошно расспрашивать уроженцев Шнайдемюля.

Пленные показали следующее.

Город Шнайдемюль — польское его название Пила — стоит на реке Кюддов. Через него проходят «имперская дорога № 160», ведущая к Балтийскому морю, на Кольберг, «имперская дорога № 104», которая через Штеттин тянется до Любека, в провинции Ганновер, и, чуть западнее, «имперская дорога № 1» — на Берлин и далее на Магдебург, Брауншвейг, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Аахен.

Немец с рыжими вихрами, оказавшийся шофером, особенно расхваливал эту последнюю «имперскую» дорогу.

— Эта дорога,— рассказывал он не без самодовольства, как построивший дорогу подрядчик при сдаче работы владельцу,— хорошо асфальтирована и весьма благоустроена. Она приведет вас в Берлин, прямехонько к центру, к Александерплац. От Шнайдемюля до Берлина — ровно двести сорок километров. Три часа хорошей езды на автомобиле.

Лубенцов не мог не улыбнуться при этих гостеприимных словах немца. Немец-шофер, почувствовав себя в родной стихии, закатывал глаза и продолжал восторженным слогом путеводителя:

— Дорога номер один — самая длинная в Германии и, кроме автострады, самая благоустроенная... Она тянется далеко-далеко, до самой границы с Бельгией...

— А сколько это? — спросил Лубенцов.

— Свыше восьмисот километров.

Лубенцов рассмеялся. Ему, дальневосточнику, показалось смешным это ничтожное расстояние. От границы до границы — восемьсот километров! Он вспомнил приамурские дали, где тысяча километров считалось рукой подать. Вспомнил он также и про «зеленую улицу» протяжением почти в четыре тысячи километров, о которой слышал вчера от генерала-танкиста.

— Ну ладно, ближе к делу,— сказал он наконец.— Пусть расскажут о Шнайдемюле.

Пленные начали рассказывать.

Город с востока и юга окружен полосой лесов «штадтфорста» [1]. Да, они знают, где находятся старые крепостные форты. Один, самый большой, расположен километрах в пятнадцати восточнее города. Там же имеются траншеи. Пять километров южнее еще один форт — «Вальтер». Между фортами — старые пулеметные точки, бетонные. Правда, они очень запущены, заросли травой и цветами, в них часто играли дети. Ведь границу отодвинули далеко на восток! Леса изобилуют озерами и впадающими в Кюддов речушками.

Пленные старательно нанесли свои данные на схему, подробно поясняя каждую черточку.

---

[1] Пригородный лес *(нем.)*.

Что касается самого города, то это обычный город с казармами, лесопильными заводами, памятником Фридриху Прусскому, канатными фабриками, старыми кирхами. Один пленный живет на Гинденбургплац, в центре, а второй — на Берлинерштрассе, на западной окраине. Там у них родственники, а именно...

— Понятно,— сказал Лубенцов.— Спроси их насчет реки, что за река. Ее придется форсировать.

Река Кюддов — небольшая, но довольно многоводная речка, приток Нетце — омывает город с юго-востока и делит его на неравные части: меньшую — восточную и бóльшую — западную. Река спокойная, грунт песчаный, берега отлогие. Имеются купальни, лодочная станция...

— Ладно,— усмехнулся Лубенцов.

Один из немцев сказал:

— Может быть, здесь на почте найдется план города. Ведь Шнайдемюль — центр здешнего округа.

План действительно нашелся, и в комнатах почтмейстера закипела работа. Топограф и чертежник сели размножать план города для полков. Оганесян переводил на русский язык названия улиц, площадей, промышленных и общественных зданий.

Лубенцов был доволен и с нежностью подумал о том неизвестном русском солдате, который захватил этих шнайдемюльских жителей где-то в уединенном фольварке.

## XVI

Через час позвонил начальник развéдотдела армии полковник Малышев.

Узнав, что в распоряжении Лубенцова имеется подробный план города Шнайдемюль, полковник приказал предоставить по одному экземпляру плана тем дивизиям, которые будут осаждать Шнайдемюль совместно с дивизией генерала Середы. Лубенцов пошел в штаб, чтобы узнать, о каких дивизиях идет речь и где они расположены. Здесь выяснилось, что с востока Шнайдемюль будут атаковать части полковника Воробьева. Дивизия же Середы получила приказ обойти город с севера и занять позиции вдоль западных окраин.

Воробьевцы, как сообщил дежурный офицер, уже завязали

бои к востоку от города. Действительно, вдали слышалась орудийная пальба и что-то полыхало на горизонте.

Лубенцова и Таню будет, таким образом, разделять осажденный немецкий город. Что ж, пустяки для любящего сердца разведчика!

Однако приказ полковника Малышева насчет передачи соседям плана города давал возможность встретиться с Таней раньше взятия Шнайдемюля. Ведь никакой беды не будет, если Лубенцов сам поедет к полковнику Воробьеву для вручения плана. И все-таки эта поездка казалась ему не совсем благовидной: не будь Тани, он и не подумал бы сам отвозить план. Можно было Антонюка послать или кого-нибудь другого.

Генерал Середа был очень доволен, что его разведка «утерла нос» разведчикам Воробьева и теперь окажет им помощь.

— Приветствуй там Воробьева,— сказал Середа, усмехаясь и покручивая ус.— Спроси, может быть, ему еще что-нибудь нужно... Скажи, чтоб только покрепче блокировали немцев, а город мы возьмем!..

Лубенцов велел седлать коней, вынул из чемодана и надел «мирную» форменную фуражку с малиновым околышем и поскакал крупной рысью на своем вороном «Орлике» к Шнайдемюлю в сопровождении Чибирева. Вскоре всадники свернули на боковую дорогу и очутились в большом лесу. Лубенцов думал о Тане и о том, что только ее присутствие здесь способно умерить его досаду по поводу остановки у Шнайдемюля, в то время как другие дивизии и армии идут вперед, все ближе к Берлину вслед за танковыми соединениями, крошащими немецкие укрепленные валы.

Дивизия полковника Воробьева славилась в армии. Она создавалась на базе пограничных частей, и ее командный состав был весь из бывших пограничников. Люди этим гордились. То была спаянная и сильная дивизия, стойкая в обороне и стремительная в наступлении. Сам Воробьев, старый чекист-пограничник, никак не мог расстаться с пограничной формой, с ярко-зеленым верхом на фуражке.

Воробьев долго рассматривал план города и фортов. О том, что ему везут этот план, он уже знал: в армии все узнается быстро.

— Ну, что же, спасибо,— сказал он.— Это штука неплохая. А Середе передай, чтоб покрепче стоял на западных окраинах, а я уж тут с моими пограничниками ударю...

Лубенцов улыбнулся: то же самое говорил и его комдив!

Разведчик пошел к своим здешним коллегам. Чибирев шел сзади, держа под уздцы лошадей. У разведчиков Лубенцов спросил, между прочим, о местонахождении их медсанбата. При этом он сослался на зубную боль и скорчил жалобную мину.

— Наш медсанбат здорово отстал,— пояснил он.

Усмехаясь своей уловке и избегая взглядов Чибирева, гвардии майор поскакал в медсанбат. Впрочем, Чибирев был, по обыкновению, невозмутим: он привык не задавать праздных вопросов и скакал рядом с начальником, как тень.

Медсанбат расположился в большой деревне, спрятанной в глубине шнайдемюльского «штадтфорста».

Весело, хотя и чуть смущенно, и на этот раз даже не глядя в сторону Чибирева, он спросил у проходящей медсестры, где он может найти капитана медицинской службы Татьяну Владимировну Кольцову. Сестричка, увидев синеглазого улыбающегося майора верхом на красивом вороном коне, ответила кокетливо и с нескрываемым любопытством:

— Она недавно уехала... Что ей передать? — И то ли не в силах совладать с желанием насолить другой женщине, то ли от стремления предостеречь симпатичного всадника, ядовито добавила: — Она по вечерам часто уезжает...

— Понятно,— машинально сказал Лубенцов, все еще продолжая улыбаться.

— За ней приходит легковая машина...

— Понятно,— повторил Лубенцов, но улыбка сошла с его лица, и он осадил коня так, что тот встал на дыбы.

Кивнув опешившей девушке, он помчался в обратный путь. Чибирев поскакал за ним, но вскоре отстал.

Немного успокоившись, Лубенцов придержал коня, похлопал его по шее и громко спросил:

— А ты-то, бедняга, чем виноват?

— «...няга... оват...» — отозвалось лесное эхо.

«Немецкое эхо, а по-русски говорит»,— усмехнулся Лубенцов.

На западе раздавался орудийный гул. Конь, услышав эти хорошо знакомые и мало приятные звуки, навострил уши и

пошел шагом. Моросил не то снег, не то дождик, гнилой и мерзкий.

Лубенцов вскоре выехал на пресловутую «имперскую дорогу № 1», по которой теперь с грохотом двигались советские войска. Проследовал тяжелый артиллерийский полк, гудевший всеми своими машинами. Резво подпрыгивая, пронеслись противотанковые пушечки. Проехала саперная бригада со складными понтонами. Грузовики с гвардейскими минометами медленно прошли стороной. Люди смотрели на пробирающуюся по обочине дороги вымокшую и усталую пехоту с некоторой жалостью: дивизии, застрявшие у Шнайдемюля, казались всем обиженными судьбой.

К Лубенцову подъехал на машине какой-то майор-артиллерист. Он сказал:

— Вы что, у Шнайдемюля стали? Ну, будет вам морока, я думаю.

Увидев хмурое, расстроенное лицо пехотного майора, он по-своему понял его чувства и закончил даже как-то виновато:

— А может, нас на Одере задержат...

Лубенцов даже не рассмеялся этому своеобразному утешению. Потом артиллерист уехал, а Лубенцов отправился разыскивать свою дивизию. Навстречу ему попался лейтенант Никольский, мокрый, осоловевший. Он во главе связистов тянул дивизионную линию. Увидев Лубенцова, он сразу же выпалил новость:

— Знаете, товарищ гвардии майор, мы будем осаждать Шнайдемюль!..

— Знаю,— ответил Лубенцов.— Где штаб?

— Поезжайте по проводам, и они доведут вас до штаба.

— Мещерский вернулся?

— Вернулся и пленных привел.

Вскоре Лубенцов въехал в деревню. Здесь, на одной из улиц, он вдруг остановил коня. Он увидел дом, даже не дом, а большой серый кирпичный сарай, похожий на автомобильный гараж,— с такой же широкой двустворчатой дверью. В этой двери было окошечко. Вместо ограды вокруг дома, далеко в глубину окружающих его огородов, тянулась колючая проволока в три ряда. Она была натянута на крепкие дубовые колья и переплетена между кольями вкривь и вкось. Вдоль всей этой необычной ограды на расстоянии пятнадцати — двад-

цати метров друг от друга стояли невысокие деревянные квадратные башни под треугольными крышами.

Огромный двор, обнесенный проволокой с башнями, был захламлен, завален навозом и обрывками бумаги. Все это вместе — серый дом без окон, двор, ржавая проволока и дозорные башенки — являло собой вид омерзительный и страшный.

Лубенцов сошел с коня, передал повод Чибиреву, а сам медленным шагом вошел в этот дом. На цементном полу лежала солома. Она лежала рядами, в ней еще сохранились вмятины от человеческих тел. На стенах были нацарапаны надписи на русском и украинском языках — душевные излияния обездоленных людей, полные отчаяния и надежды.

Нет, это был не концлагерь. Просто жилище русских военнопленных и рабов, пригнанных на полевые работы в деревню и поспешно угнанных незадолго до прихода Красной Армии. Это был не Майданек какой-нибудь, а обычный маленький лагерь для «восточных рабочих».

Самое страшное было то, что серый дом с его оградой и башенками стоял в ряду других деревенских домов. Справа от него тоже находился дом, но без проволоки, простой, крашенный белой краской домик с горланящим петухом во дворе. Слева стоял серенький домишко с занавесками на окнах. Правда, местные жители убежали отсюда. Но ведь они были здесь еще несколько дней назад, ведь они, эти люди, мирно сажали капусту и репу в огородах, прямо примыкающих к проволочной ограде! И напротив тоже стояли дома — просто жилые деревенские дома.

Лубенцов вышел из сарая, вскочил на лошадь и вскоре прибыл к разведчикам. Тут он снял «мирную» форменную фуражку с малиновым околышем, злобно сунул ее в чемодан, скинул шинель, надел пилотку, натянул ватную телогрейку, подпоясался ремнем, положил пистолет за пазуху и, оглядев разведчиков, выстроившихся перед ним во дворе, сказал:

— Ну, ребята, пойдем Шнайдемюль брать! Война продолжается. А то я все в разъездах — то в штабе армии, то с начальством, то бог знает где!

Оганесян тем временем допросил взятых группой Мещерского пленных. Людей из 73-й пд тут не было, однако он допрашивал немцев подробно, так как Лубенцов поставил ему

задачу — уточнить группировку противника в крепости Шнайдемюль.

Наиболее ценные данные дал огромный грязный детина, оказавшийся ординарцем командира немецкого крепостного батальона. В городе, как он показал, засели: Бромбергское кавалерийское училище, 23-й морской отряд, два крепостных пулеметных батальона, с десяток батальонов фольксштурма, какой-то охранный полк и танковая часть.

При каждой фразе пленный охал, вздыхал, махал рукой,— на все он махал рукой, этот опустившийся, ни во что не веривший немец.

— Ах да,— говорил он,— здесь был Гиммлер! — Он махнул рукой и на Гиммлера, с миной, означавшей: «Что уж тут может поделать Гиммлер?» — Да, пять дней назад тут был Гиммлер, он назначил подполковника войск СС Реммлингера начальником обороны города,— немец снова махнул рукой: какого черта тут сделает Реммлингер?

— Почему же вы продолжаете сопротивляться? — задал Оганесян ставший уже стереотипным вопрос.

— Ах да...— сказал немец и вздохнул.— Приказ есть приказ...— И он махнул рукой, на этот раз уже на себя и на своих товарищей, которых нацисты заставляют драться, хотя всякому понятно, что это уже бессмысленно.

Лубенцов велел Антонюку сообщить все данные комдиву и Малышеву, а сам пошел с разведчиками на передовую.

Противник находился на востоке — во второй раз за войну,— впервые так было под Москвой, когда Лубенцов выбирался из окружения. Вспомнив об окружении, Лубенцов снова подумал о Тане.

— Ты женат? — спросил он у старшины Воронина, молча шагавшего рядом.

— Нет,— усмехнулся Воронин,— не успел. Женюсь, как только возьмем Берлин и я домой вернусь.

— Уж так это срочно?! — насмешливо сказал Лубенцов.— А на примете есть кто-нибудь?

— А как же? — ответил Воронин.— У кого же нет на примете невесты? Вот приеду домой, в Шую, расспрошу, конечно, как она там жила... М-да... У меня там разведчик есть,— он лукаво подмигнул,— сестренка, на ткацкой фабрике работает... Она мне все про мою Катю пишет... Как она да с кем она. В общем, все...

— А это некрасиво,— сурово сказал Лубенцов.— Мало ли что на нее наклевещут, а ты сразу и поверил?

— Почему сразу? — ответил Воронин, несколько удивившись горячности гвардии майора.— Сразу только дурак поверит...— Он помолчал, потом серьезно сказал: — Катя у меня хорошая... Я и не сомневаюсь. А у вас на примете есть кто-нибудь?

Лубенцов покосился на молча шагающего слева Чибирева и проговорил:

— У меня никого нет.

Неподалеку разорвалась мина. Лубенцов сказал:

— Вот видишь? Рано насчет невесты загадывать.

Они вошли в деревню, на краю которой стояла одинокая башня. К чему построили здесь эту башню, неизвестно: то ли она красовалась в виде остатка далекой старины, то ли служила пожарной каланчой,— но Лубенцов сразу оценил ее выгоды и решил устроить здесь наблюдательный пункт командира дивизии. Он поднялся по винтовой лестнице и посмотрел в бинокль. Перед ним расстилался город, покрытый сизой дымкой сырого тумана. Мокрая красная черепица крыш, справа — вокзал, слева — бездымные трубы большого завода.

Лубенцов послал одного из разведчиков с донесением в штаб, а сам с остальными двинулся дальше. Они шли мимо окапывающихся подразделений, мимо только что отрытых позиций артиллерии, мимо установленных в овраге минометов, мимо дымящих походных кухонь. Солдаты всюду хлопотали, устраивались, жгли костры и, несмотря на страшную усталость после трех недель непрерывного наступления, ругали этот город, остановивший их движение вперед, на Берлин.

Пахнуло полузабытой за время наступления окопной войной. Разведчики шли по ходу сообщения, то переступая через спящего солдата, то перескакивая через земляной горб не вполне законченного участка траншеи.

Лубенцов, проходя вдоль фронта, беседовал с командирами рот и взводов, с солдатами — преимущественно с пулеметчиками и снайперами, с полковыми разведчиками, с саперами и артнаблюдателями, подробно расспрашивая обо всем замеченном, нанося данные на карту и схему наблюдения. Он старался все делать как можно более тщательно. На рассвете полки будут подняты в атаку, и следовало поэтому уяснить себе и обобщить систему немецкой обороны, расположение вра-

жеских огневых точек и инженерных заграждений. Кроме того, следовало забыть о Тане, и Лубенцов добросовестно старался забыть о ней. Правда, слушая командира, он иногда ловил себя на том, что думает о своей «старой знакомой». В такие минуты он сурово хмурил лоб и вспоминал генерала Сизокрылова. Строгое, спокойное лицо члена Военного Совета всплывало в его памяти, и это воспоминание каждый раз подхлестывало его и заставляло сосредоточиться на одном — на своей работе.

Так он продвигался вдоль фронта дивизии с юга на север, и план города понемногу заполнялся различными значками, обозначающими вражеские пушки, танки, пулеметные точки, проволоку, минные поля.

О Тане ему все-таки пришлось вспомнить еще раз: в одной землянке, у щели с пулеметом, он натолкнулся на своего попутчика — «хозяина» знаменитой кареты, капитана Чохова.

## XVII

Капитан Чохов очень удивился, увидев майора-«чистюлю» в ватной телогрейке, с двумя гранатами на поясе, во главе дивизионных разведчиков. Еще больше удивился он, узнав, что этот майор и есть тот знаменитый, удалой, неизменно удачливый и бесстрашный Лубенцов, начальник разведки дивизии, о котором ему не раз уже рассказывали солдаты.

Чохов смутился. Смутился и Лубенцов, но совсем по другой причине: весь мир словно сговорился напоминать ему об этой Кольцовой! Он нахмурился и сказал:

— Вот мы и встретились еще раз! Ну, рассказывайте, что вы наблюдали у немцев...

Чохов сообщил ему в немногих словах все, что видел. Он показал на плане города — на лубенцовском плане, уже, к удовольствию гвардии майора, дошедшем до командира стрелковых рот,— расположение замеченных им и его солдатами огневых точек.

Пока Лубенцов наносил на свою схему данные Чохова, капитан следил за гвардии майором. Правильный профиль с чуть-чуть вздернутым носом, красивые, теперь крепко сжатые губы, высокий, чистый лоб с русой прядью. В душе Чохова

шевельнулось нечто вроде зависти — не к славе Лубенцова, а к его какой-то явственно ощутимой душевной ясности и отсутствию всякого подобия рисовки.

Лубенцов сложил схему и сказал:

— Пошли, понаблюдаем!

Один из разведчиков тихо и настойчиво сказал:

— Вам, товарищ гвардии майор, поспать надо. Вы которую ночь не спите.

— Правильно,— поддержал его другой.— Мы сами понаблюдаем.

— Да я же спал,— возразил Лубенцов.

— Когда? — спросил первый разведчик.— Не видели мы что-то...

— Я по дороге из штаба армии спал,— сказал Лубенцов и сразу покраснел, вспомнив, что тут находится свидетель его «дежурства» с Таней позапрошлой ночью. Он быстро добавил: — Я в машине, когда ездил с членом Военного Совета, дремал...

— Не спали вы, товарищ гвардии майор,— жалобно произнес разведчик с квадратным лицом.

— Брось, Чибирев,— оборвал его Лубенцов,— пошли. Пойдете с нами? — спросил он Чохова.

Чохов вышел вместе с разведчиками. Хлестал полуснег, полудождь, «фашистский дождик», как называли его солдаты. Траншея перерезала холм, на восточном скате которого все остановились.

— Вот здесь удобно,— сказал Чохов.

Лубенцов посмотрел в бинокль и бросил Чохову с некоторым упреком:

— Далеко от противника окопались...

В траншее сидели солдаты. Они разговаривали. Лубенцов прислушался. Черноусый старший сержант проводил, видимо, политбеседу. Он стоял у ручного пулемета, вглядываясь в серую пелену тумана перед траншеей, и одновременно говорил, время от времени поворачивая голову к внимательно слушающим солдатам:

— ...Гитлер, значит, социалистом назвался, а хозяев и пальцем не тронул. Это, конечно, нам понятно: фашисты — цепные собаки капиталистов. Почему же все-таки Гитлер назвался социалистом? Потому что социализм — идея правильная, передовая, она в крови у рабочих, рабочий человек от нее отка-

заться не может. И не пошел бы он за Гитлером, если бы не обман. Что правда, то правда, немецкий рабочий... того... дал себя обдурить этому бандиту.— Он замолчал, потом сказал с горечью: — Вот я шахтер. Ну, и в Германии есть шахтеры. И я все думал: как же немецкие шахтеры, горняки, допустили до такого страшного дела? Как это они пошли на нас, русских шахтеров? Как это они рубали уголек для тех заводов, что строили самолеты, юнкерсы, бомбившие мою родную шахту, где я работал всю жизнь и где рабочие — хозяева? Как их так обдурили? Вот, сознаюсь, не думал, что можно так облапошить шахтера! — Он помолчал, потом хмуро объяснил: — Шахтера — это я к примеру говорю... Рабочего, одним словом. И тут, конечно, надо проявить большое рабочее, советское сознание и понять что к чему, чтобы не обозлиться на немцев вообще, на всех: и на тех, что охмуряли, и на тех, которых охмуряли...

— Ваш? — вполголоса спросил Лубенцов у Чохова, одобрительно кивнув головой.

— Парторг Сливенко,— ответил Чохов.

— Правильно говорит,— сказал Лубенцов, хитро прищуриваясь.— Умница. Не то что некоторые другие.

Чохов покраснел: он прекрасно понял, что хочет сказать Лубенцов. Разведчик, понятное дело, вспомнил об их недавней стычке.

Сливенко между тем вдруг запнулся и умолк. Потом крикнул:

— Смотрите: немцы зашевелились!

Маленькие фигурки немецких солдат перебегали по железнодорожной насыпи.

— Сообщите артиллеристам,— сказал Лубенцов.

Чохов быстро пошел к телефону в свою землянку. Наша и немецкая артиллерия заработала почти одновременно. Дуэль продолжалась минут десять. Снаряды рвались несколько левее, но очень близко.

— Ложитесь! — сказал Лубенцов, не переставая наблюдать.

Он засекал по огненным вспышкам, по звуку выстрела и силе разрыва позиции и калибры вражеской артиллерии. В этом деле Лубенцов не знал себе равных — артиллеристы всегда консультировались с ним. Приглядываясь и прислушиваясь, он негромко говорил сам с собой:

— Так... Семьдесят пять миллиметров... Хорошо... Еще одно

того же калибра в створе между вокзалом и депо... Прекрасно. Ого, какая махина! Не меньше ста пятидесяти пяти миллиметров... Постой, постой!.. Она же... Ложись, ребята!

Он пригнулся. Вслед за отвратительным свистом позади траншеи разорвался снаряд. Захрустела и разлетелась на куски одинокая ольха невдалеке от землянки Чохова. Засвистели осколки и куски дерева. Лубенцов осмотрелся и увидел командира роты. Чохов стоял на земляном горбе, до пояса высунувшись из траншеи, и курил с таким независимым видом, словно ехал в карете. Лубенцов усмехнулся полунасмешливо, полуодобрительно и подумал: «Экий хвальбишка. А смел, ничего не скажешь!»

— Спуститесь пониже,— сказал он.— К чему рисковать зря!..

Чохов послушался.

Артиллерийская дуэль закончилась так же внезапно, как и началась.

— Пошли,— сказал Лубенцов, обращаясь к разведчикам,— надо доложить комдиву обстановку.— Он дружески пожал руку Чохову на прощанье и опять сказал: — А парторг ваш — молодчина!

Разведчики вскоре скрылись из виду, а Чохов еще некоторое время постоял в траншее, думая о Лубенцове с внезапной симпатией.

Чохов был храбр и знал это, но он не мог не отметить про себя, что храбрость Лубенцова более чистой пробы.

Лубенцов не красовался своей неустрашимостью. В траншее он стоял не потому, что хотел показать людям, на что способен, а потому, что ему это нужно было для дела. Чохов заметил любовь к Лубенцову разведчиков. Солдаты второй роты уважали Чохова, но не было в их отношении к нему той сердечности и почти слепого доверия, каким, очевидно, пользовался гвардии майор у своих солдат.

Чоховым овладело свойственное очень молодым людям желание походить на поразившего его воображение человека. Однако он тут же поспешил «осадить себя». Ему показалось унизительным это чувство.

Гвардии майор на обратном пути в штаб думал о Чохове и, по правде сказать, не так о нем, как о связанной с ним позавчерашней и, видимо, последней встрече с Таней.

## XVIII

Недоброжелательность по отношению к Тане, сквозившая в обращенных к Лубенцову словах медсестры, не была случайной. Люди медсанбата с недавних пор осуждали Таню, которая вначале всем очень понравилась.

Дело в том, что уже с месяц, как один из корпусных начальников, полковник Семен Семенович Красиков, стал оказывать Тане особое внимание. Это был человек вдвое старше ее, внушительного вида офицер, известный в дивизиях своей строгостью и личной храбростью. Все знали, что у него есть взрослая дочь чуть ли не Таниного возраста.

Если бы товарищи по работе относились к Тане равнодушно, их бы, вероятно, не тревожила эта история. Но они полюбили Таню, и им было досадно разочаровываться в ней. Особенно негодовала лучшая подруга Тани, Мария Ивановна Левкоева, командир госпитального взвода, узкоглазая, высокая, говорливая брюнетка с татарскими скулами и пышной грудью. Правда, она вообще относилась исключительно недоверчиво к мужчинам. Тех медсестер, у которых были «симпатии» среди солдат и офицеров, она без конца укоряла.

— Вы думаете, это так пройдет? — говорила она. — Не беспокойтесь, война ничего не спишет! Вы думаете, не узнается? Приедете, мол, домой и начнете новую жизнь? Дудки! Мир тесен, уважаемые девушки! Уж поверьте мне!

Неизвестно, следовали ли ее советам девушки медсанбата. Что касается Тани, то она напрямик заявила Маше, что не желает слушать нотации, и в ответ на гневные речи подруги только заливалась своим тихим смехом.

Этот смех обезоруживал Машу. Вообще всем становилось хорошо на душе от Таниного смеха: столько чувствовалось в нем душевной доброты. Он сразу менял все представление о ней. Когда она была серьезная и на ее лбу между темными бровями обозначалась строгая вертикальная морщинка, многие считали ее суровой, недоступной и даже немножко злой. Но стоило ей засмеяться, как тотчас становилось ясно, что душа у этой женщины очень нежная, прямая и добрая.

Раненые, не знавшие ее фамилии, так и называли ее: «Та врачиха, что хорошо смеется».

Перед отъездом Тани на совещание хирургов в санотдел армии Маша (в который раз!) попыталась поговорить с ней по душам.

Маша без стука вошла в Танину комнату, постояла с минуту у двери, почему-то шевеля руками в карманах шинели, будто лезла за словом в карман, вопреки своему обыкновению. Потом она порывисто обняла Таню и даже всплакнула.

Слезы Маши обидели Таню. Она резко сказала:

— Чего вы меня оплакиваете? Почему вы лицемерно молчите, криво усмехаетесь? И вообще, кто вас просит опекать меня? Семен Семенович — очень добрый и славный человек...

— Добрый! Знаем мы этих добряков! — вскрикнула Маша.

— Что за глупости у тебя на уме! — засмеялась Таня.— Для твоего успокоения могу тебе сообщить, что Семен Семенович относится ко мне просто как хороший товарищ.

— Не смейся, пожалуйста,— загородилась Маша рукой от Таниного смеха.— Что ты думаешь? Он тебя удочерить хочет? Пожалел сироту? Ну, как знаешь... Видимо, тебе льстит, что полковник увивается вокруг тебя, что со всеми он строг, а с тобой ласков, что он учит тебя водить машину... А мне это противно!

Она ушла, сердито хлопнув дверью.

Красиков нравился Тане. Действительно, ей льстило, что человек с большим жизненным опытом относится к ней дружески, предупредительно, а может быть, даже и любит ее. Ей необычайно импонировала его храбрость, о которой она много слышала. Правда, Таня довольно решительно отклоняла попытки Красикова заводить разговор на лирические темы и только отшучивалась.

Вернувшись с совещания хирургов, еще под впечатлением этой шальной поездки в карете и неожиданной встречи с Лубенцовым, Таня пошла к командиру медсанбата капитану Рутковскому. Сюда во время их разговора позвонил Красиков. Рутковский передал ей трубку.

— Вы уже приехали,— обрадовался Красиков.— Как съездили?

— Очень хорошо! — ответила Таня.— Оставила своих в Польше, а вернулась к ним в Германии... И знаете, каким образом я въехала в Германию? Никогда не угадаете! В карете! В самой настоящей графской.

— Когда же мы увидимся? — спросил Красиков.— Может быть, заедете ко мне? Ладно? Я пришлю за вами... Сегодня же вам делать нечего. Посидите за рулем...

Она согласилась, а пока что пошла обедать в дом, где разместилась кухня.

Обед уже кончился, и врачи разошлись. Повариха, маленькая черноглазая украинская девушка, подала Тане второе и встала возле нее, скрестив на груди смуглые руки.

Она сказала:

— Значит, скоро войне конец. Вы никогда не бывали в Жмеринке, Таня Владимировна?

Она всегда называла Таню этим странным именем-отчеством, и Тане нравилось это.

— Нет,— ответила Таня.— А что?

— Я из Жмеринки,— смущенно улыбнулась повариха, словно поделилась чем-то сокровенным.

— Захотелось домой? — догадалась Таня.

— Да.

Таня сказала:

— А мой город совсем разрушен. Юхнов. Маленький городок. Наверно, и не слышали про такой?

— Почему не слышала. Слышала. В сводках Совинформбюро.

Таня вышла из столовой. Машина уже дожидалась ее. Сыпал снежок, снежинки медленно падали на гладкую поверхность машины и медленно расплывались по ней. Шофер дремал за мокрым стеклом. Таня открыла дверцу и села рядом с ним. Он встрепенулся, поздоровался и спросил:

— Сядете за руль, Татьяна Владимировна?

— Нет, ведите сами.

Рассеянно улыбаясь и глядя на голые деревья по краям дороги, Таня думала о Лубенцове и о своих встречах с ним. Но, вспомнив, как они сегодня простились, Таня перестала улыбаться. Лубенцов простился с ней как-то уж очень холодно. Увидел машины из своей дивизии, заторопился, словно ему обязательно нужно было уехать именно с этими машинами...

В деревне, где размещался штаб корпуса, Красиков занимал отдельный дом за чугунной решеткой. В окне, в большой клетке, прыгал желтый попугай, наследие сбежавших хозяев. Попугай встретил вошедшую Таню пронзительным гортанным возгласом:

— Auf wiedersehen! [1]

Семена Семеновича не было дома. Он вскоре позвонил по телефону. Обычно Красиков разговаривал властно и громко, смеялся раскатисто. Теперь он сказал быстрым шепотом:

— Танечка, извините... Приехал генерал Сизокрылов, неожиданно...

— Хорошо, я подожду,— сказала Таня.

— Не-ет,— *замялся* Красиков.— Не сто́ит, я не скоро освобожусь...— Он добавил уже тверже и по-деловому, словно говорил с каким-нибудь штабным офицером: — Предстоит сложная операция. Надо готовиться. И вы своим передайте, чтобы готовились. До свиданья.

— Auf wiedersehen! — закричал попугай.

По правде говоря, Таня уехала с неопределенным чувством досады. Она не обиделась на Семена Семеновича, но ей не понравилось что-то в его тоне. Скорее всего, неприятно покоробил Таню страх Красикова перед членом Военного Совета.

Таня не ошиблась. Красиков действительно побаивался Сизокрылова. Требовательность и зоркое внимание генерала к недостаткам вошли в поговорку. Кроме всего прочего, Сизокрылов не терпел «походных романов». При каждой встрече с Красиковым генерал обязательно осведомлялся о здоровье его жены и дочери.

Не делал ли он это нарочно? Не прослышал ли об увлечении Красикова? Это было вполне вероятно: осведомленность генерала о работе и жизни офицеров часто удивляла их.

Сизокрылов заехал в штаб корпуса ненадолго. Он следовал в танковые войска по поручению Военного Совета. Его сопровождал генерал-танкист, командир прибывающего на фронт свежего танкового соединения. Комкор и его заместители были в штабе армии, поэтому член Военного Совета минут пятнадцать беседовал с Красиковым.

Сизокрылов относился к Красикову неплохо. Он ценил его за напористость, храбрость и несомненные организаторские способности. Правда, генерал считал, что Красиков не умеет мыслить самостоятельно. Зато он исполнял все очень точно.

Сизокрылова иногда раздражала эта механическая исполнительность. Проводя совещание или отдавая распоряжение,

---

[1] До свиданья! *(нем.)*

член Военного Совета жаждал возражений — возражений делового порядка, поправок, основанных на личном опыте подчиненных ему людей. Споря, он оживлялся, горячо доказывал и, наконец, учтя все мнения, принимал решение.

Генерал сидел напротив Красикова с суровым и непроницаемым лицом. Он выслушал доклад Красикова, дал ему указания об улучшении работы тылов соединений корпуса и предупредил насчет новых задач, встающих перед командованием в связи с вступлением на германскую территорию. Здесь нужно, сказал он, принимать жесточайшие меры в отношении нарушителей воинской дисциплины.

— Есть! — отвечал Семен Семенович.

Сизокрылов исподлобья оглядел его. Ему не понравилось то, что Красиков сразу и без раздумий согласился с ним. Он продолжал:

— После того, что фашисты сделали на нашей родине, солдат не так-то легко удержать. Как вы думаете?

— Да, товарищ генерал, действительно.

— Тем не менее это необходимо. Надо им разъяснять подробно и терпеливо, а также принимать меры дисциплинарные и любые, вплоть до предания суду трибунала. Разгромив фашизм, мы даем возможность немецкому народу создать новую, демократическую Германию и собрать силы для борьбы против мощных финансовых олигархий,— кстати говоря, не только немецких. Не все немцы враги. Надо учиться их подразделять.

— Есть, товарищ генерал,— сказал Красиков.

— Хотя,— недовольно заключил генерал, отвернувшись к окну,— немцев нужно бы так проучить, чтобы их правнуки помнили о том, что с Россией, тем более с советской, воевать нельзя.

— Ясно, товарищ генерал.

— Что вам ясно? — неожиданно спросил генерал.

Красиков смешался. Тогда Сизокрылов раздельно сказал:

— Вам надлежит не допускать нарушений дисциплины в вашем корпусе, невзирая на справедливую жажду возмездия, живущую в сердцах наших солдат.— Помолчав, генерал спросил: — Что вам пишут из дому? Жена, дочь здоровы?

— Так точно.

Генерал поднялся.

— Прикажете вас сопровождать? — спросил Красиков.

— Не надо.

Красиков, проводив генерала до машины, постоял руки по швам, пока машина и следовавший за ней бронетранспортер не потонули во мглистых вечерних сумерках.

Семену Семеновичу было немного совестно перед Таней, но, несмотря на то что он очень хотел ее видеть, он не решился вторично позвонить в медсанбат.

## XIX

На следующий день после марша медсанбат обосновался в лесной деревне, затерявшейся в глубине шпайдемюльского «штадтфорста». Утром развернули палатки. Начальник аптеки, ворча, распаковал свои тюки с медикаментами.

Таня на рассвете умылась, надела халат и пошла к себе в палатку. На ближнем перекрестке стоял Рутковский, а вокруг него сгрудилось несколько стариков и старух, что-то лопотавших по-немецки. Оказывается, они спрашивали, можно ли им остаться в деревне, или нужно выезжать, хотя их никто не выгонял.

Таня удивилась, увидя их.

Не то чтобы она была настолько наивна, что не ожидала встретить в Германии обыкновенных стариков и старух. Но за четыре страшных года в ее душе накопилось столько ненависти к немцам, что она не могла так просто допустить в них присутствие чувств, мыслей и прочих человеческих качеств. Самое слово «немец» напоминало ей сожженные дотла города и села, в которых русские люди жили под землей, пулеметные очереди с черных самолетов по женщинам и детям, бомбежки санитарных поездов и, наконец, мужа, павшего на каком-то безымянном пригорке у великой русской реки.

Она холодно смотрела на плачущих старух и стариков. Слезы их казались ей бессовестными. Как смели они плакать, они, заставившие пролить столько слез!

Удивляясь тому, что в Германии такие же липы и дубы, как и в ее родном Юхнове, она удивлялась и тому, что здесь живут старики и старухи с обычными морщинами и обычными слезами. И только их чужой, непонятный говор подкреплял ее ненависть — он-то хоть положительно доказывал: это немцы.

Но тем не менее это были люди. И в конце концов Таня пожалела их: уж очень они выглядели забитыми, какими-то сдержанно взволнованными, словно прислушивались оглохшими от грохота ушами к миру, ставшему для них суровым и враждебным. Один высокий лысый старик мял в руке фуражку и просительно произнес по-русски, обращаясь к Тане:

— Товарищ... Товарищ...

Где узнал он это слово? Может быть, он братался с русскими революционными солдатами в 1918 году? Неприятно было услышать родное слово из чужого впалого рта. Стояло ли за этим словом нечто большее, чем подобострастие и испуг?

«Поздно же вы вспомнили, что мы товарищи»,— подумала Таня.

Стали поступать первые раненые. По характеру ранений можно было судить и о характере боев. То было наступление на сильно укрепленную, заранее подготовленную оборону противника. Преобладали тяжелые ранения конечностей — подрыв на минах.

Раненые при виде Тани почти сразу замолкали. Неудобно было мужчине кричать и стонать на глазах у молодой и красивой женщины. «Не слишком ли молода?» — думали те, что постарше и поопытнее. Они вначале даже принимали ее за сестру: такой юной выглядела она; в белом она казалась даже моложе своих двадцати пяти лет. Но нет, это был врач. Медсестры почтительно суетились вокруг нее, с полуслова, с одного взгляда понимали ее приказания. А в ее серых глазах была та спокойная уверенность, которая приходит только с уменьем. И раненые смотрели на нее доверчиво, силясь даже улыбнуться, ища сочувствия и одобрения.

Она говорила:

— Молодец! Вот это солдат! Такой молодой, а такой молодец!

Или:

— Такой пожилой — и такой молодец!

Иногда она становилась разговорчивой; это бывало при самых трудных операциях.

— Что, больно, милый? — спрашивала она, улыбаясь даже несколько кокетливо.— Не смотри на свою рану, это не так уж интересно... Да и что ты понимаешь в ранах? Иная кажется большой и страшной, а на самом деле — сущий пустяк.

Раненые все прибывали. Рябило в глазах от окровавленных тампонов. Всегда веселые, бойкие, медсестры теперь сосредоточенно и бесшумно двигались вокруг Тани.

Лицо одного из раненых, мельком увиденное Таней в сортировочной палатке, показалось ей знакомым. Вернувшись к операционному столу, она некоторое время старалась вспомнить, где она видела это лицо, но не смогла.

Принесли человека с брюшным ранением, потом артиллериста с обожженным лицом. И над всем этим окровавленным миром, полным стонов и вздохов, ровно и спокойно сияла пара больших, как озера, серых глаз над белой марлевой маской и двигались две тонкие умелые руки в резиновых перчатках.

К ней то и дело подходили врачи и сестры, спрашивая, советуясь, прося помощи. Она медленно подходила к соседнему столу или просто издали, слегка вытянув шею, внимательно оглядывала рану, кивала или, наоборот, отрицательно мотала головой, говорила что-то негромко и возвращалась к своему столу.

Иногда в палатку забегала Маша. Она любовно оглядывала Таню, потом возвращалась к себе и там говорила:

— Это будет выдающийся хирург! Если, конечно, не вскружат ей голову мужчины!..

Она разыскивала Рутковского и громко шептала ему:

— Вы заставьте ее хоть поесть, она с утра на ногах! Хоть чаю попить! Вы ее совсем измучаете!

Часа в два дня заехал Красиков.

— Ну, что у вас слышно? — спросил он у Рутковского.

Рутковский доложил о количестве раненых, обработанных и необработанных.

— Когда эвакуируете?

— К концу дня, товарищ полковник.

Красиков зашел в хирургическую палатку.

За работой он видел Таню в первый раз. Вначале он обратил внимание только на то, что в белом халате, перехваченном в талии, она очень стройна. Но, наблюдая ее точные, уверенные движения, слыша этот спокойный голос, полковник преисполнился чувства глубокого уважения к ней и — как ни странно — к себе тоже. Он думал с волнением: «Я не ошибся... Замечательная женщина...» Он долго смотрел на ее затылок, на мягкие волосы, чуть видневшиеся из-под белой шапочки, и, тихо ступая, вышел.

К Тане на стол положили того солдата, лицо которого показалось ей знакомым. Содрав пинцетом повязку с его правой руки, Таня увидела, что кисть придется ампутировать: она была раздроблена.

— Ничего,— сказала Таня,— потерпи. Тебе сейчас будет немножко больно, я тебе рану почищу. Потерпи, черноглазый.

— Я и то...— прошептал он.

И тут она узнала его. Это был «ямщик». Она вспомнила его молодецкий вид на козлах кареты, и у нее страшно забилось сердце.

Медсестра заметила ее внезапную бледность и сказала:

— Татьяна Владимировна, вам отдохнуть надо.

— Да, пожалуй,— согласилась Таня, думая о Лубенцове.

«Только бы с ним ничего не случилось, с Лубенцовым!» — думала она.

Подавив в себе минутную слабость, она принялась за операцию. «Ямщик» мучительно засыпал под действием эфира, прерывистым голосом считая:

— Двадцать один... Двадцать два... Двадцать три...

Когда операция была окончена, в палатку тихо вошла Маша. Она сказала с деланным негодованием, прикрывавшим восхищение и сочувствие:

— Будьте любезны немедленно пойти спать. Раненых осталось мало. Без вас справимся.

Таня послушно вымыла руки, сняла окровавленный халат, надела шинель и вышла из палатки. Уже темнело. Резкий и холодный ветер бушевал среди домов. Она шла по улице, ни о чем не думая, и только у самой окраины деревни опомнилась, услышав позади себя голос Рутковского:

— Татьяна Владимировна, идите же спать наконец.

Она пошла обратно, сказав умоляюще:

— Я сейчас вернусь. Дайте мне подышать воздухом немного.

Она направилась к дому, где разместился госпитальный взвод. Уже в прихожей были слышны стоны и тихие голоса. Дежурные сестры встали и доложили Тане о том, каково самочувствие раненых и кто из них плох.

Таня медленно шла вдоль коек, прислушиваясь к разговорам.

— Еще сопротивляется фриц,— сказал один из раненых, закручивая махорку левой рукой. Правая, раненая, была за-

бинтована. Солдат сидел на койке. Лицо у него было спокойное, и говорил он спокойно.— Да нешто против нас теперь устоишь? Против нас теперь никто не устоит.

— Он и на своей земле удирает,— сказал второй раненый.— Куда он дальше побежит? К американцам, что ли, прятаться?

— Ой! — застонал третий. Этот лежал. Тем не менее и он хотел высказаться и, ойкая и кряхтя, произнес: — Ежели подумать, так фашисту и вправду с ними сподручнее... Одним миром мазаны.

На самой дальней койке лежал «ямщик». Он был очень бледен. Его звали Каллистрат Евграфович, как он сообщил Тане; почтенное длинное имя совсем не шло к его молодому лицу.

— А вы меня не узнаёте? — спросила она.

Оказывается, он узнал ее еще утром, но ему, по-видимому, казалось неудобным говорить ей об этом.

— Не думали мы тогда, что так вот случится,— сказал он тихо и, помолчав, робко осведомился: — Как моя рука? На войне я сапер, а вообще-то я плотник, мне без руки никак нельзя.

— Поправитесь,— сказала она, избегая прямого ответа.

Хотя раненые стонали, как обычно, но Таня подметила у этих раненых, почти у всех, черту, не виданную ею раньше. Вместо некоторой доли удовлетворения тем, что они не убиты, а, слава богу, только ранены, они теперь испытывали горечь оттого, что не удалось довоевать войну. До Берлина рукой подать, а они так оконфузились.

Издалека доносились орудийные выстрелы. Раненые прислушивались к этим выстрелам с какой-то мечтательной отрешенностью, как старики к рассказам о трудной, но золотой поре юности.

## XX

На генерала Середу наседали со всех сторон. Комкор и командарм звонили по телефону почти ежечасно, спрашивая, долго ли он намерен возиться со Шнайдемюлем. Другие дивизии уже на подходах к Одеру, а Середа все еще никак не возьмет этот дрянной городишко.

Если раньше Шнайдемюль все по справедливости называли «крепостью», то теперь командарм с подчеркнутым пре-

зрением именовал его «городишко». Он даже — не без ехидства — посоветовал Середе почитать популярные книжонки об уличных боях в ряде городов, в частности в Сталинграде, во время ликвидации окруженной там группировки.

— Есть! — отвечал Середа; его лицо пылало от обиды.

Генерал обосновался на той самой башне, которую выбрал для него в качестве наблюдательного пункта гвардии майор Лубенцов. Она торчала на окраине деревни, в полутора километрах от Шнайдемюля. С этой башни довольно ясно виден был в стереотрубу город, немецкие позиции среди разбитых снарядами домов, баррикады и надолбы поперек улиц предместья, большой мост и железнодорожная насыпь, в которой противник оборудовал пулеметные гнезда.

Слева виднелись корпуса завода «Альбатрос». Этот завод был основным узлом сопротивления немцев. Там засели пулеметчики и фаустпатронники. Из-за корпусов то и дело высовывались танки. Они выпускали несколько снарядов и снова скрывались, чтобы через несколько минут появиться в другом месте.

Лубенцов находился на НП с комдивом. Здесь разместился обычный штаб наблюдательного пункта — штабные офицеры, артиллеристы и связисты. Сюда привозили на подводе термосы с едой и московские газеты. Газеты эти были семи- восьмидневной давности, и Лубенцов, вспомнив читанные им вчерашние берлинские газеты, не мог не улыбнуться такой отрадной детали: Москва — далеко, а Берлин — близко!

Генерал Середа, находясь на НП, обычно не мог усидеть на месте: то он наблюдал в стереотрубу за противником, то попрекал связистов за неважную слышимость и частые порывы, то сам корректировал стрельбу артиллерии.

Теперь он неподвижно сидел перед картой возле сводчатого оконца башни.

Продвижение исчислялось метрами. Немцы контратаковали почти беспрерывно. На второй день осады одинокий немецкий самолет сбросил над городом листовки. Одну из них Лубенцов подобрал и принес генералу. Это был приказ гарнизону держаться во что бы то ни стало, «не сдавать большевикам ключи от Берлина», как именовался Шнайдемюль. «К вам идут на выручку танки»,— под конец сообщалось в листовке большими, торжественными готическими буквами.

— Вот бессовестные! — рассердился генерал.— Какие танки? Откуда? Ох, брехуны!

Плотников, подумав, сказал:

— Подожди, надо этим шнайдемюльским дуракам глаза открыть, я займусь этим.— Он обратился к Лубенцову: — Приготовь парочку пленных, да таких, знаешь, потолковее.

Вечером политотдельцы подтянули к передовой громкоговорящую установку. Оганесян отправился вместе с ними. Майор Гарин набросал воззвание к Шнайдемюльскому гарнизону, и Оганесян долго пыхтел, переводя русский текст на немецкий язык. Наконец все было готово.

Лубенцов, придя этим вечером на передовую, нашел в траншее одного из батальонов всех участников радиовыступления. Оганесян сосредоточенно репетировал свой текст. Двое пленных получили карандаши и набросали на листках из полевой книжки Гарина свои речи. Оганесян прочитал, перевел Гарину и вступил в долгий разговор с немцами о подробностях. Немцы проявляли «здоровую инициативу», по шутливому определению Лубенцова. То один, то другой спрашивал, не следует ли добавить «то-то и то-то», «чтобы лучше подействовало».

Оганесян заговорил.

В глубокой тишине разносились немецкие слова. Приумолкли даже пулеметы. Затихли даже немецкие ракетчики.

Немцы начали проявлять признаки жизни только тогда, когда заговорил один из пленных. Квакающие разрывы мин огласили окрестность. Потом забила скорострельная пушка, как бы захлебываясь от желания заглушить все сказанное.

Тем не менее пленный в промежутках между стрельбой договорил свою речь.

Лубенцова вызвали на НП командира полка, подполковника Четверикова,— туда, оказывается, прибыл комдив для проверки готовности к утренней атаке.

Кроме Тараса Петровича и Четверикова, на НП находились еще майор Мигаев и командующий артиллерией дивизии, огромный и толстый подполковник Сизых.

Генерал спросил у командира полка, подтянули ли людей поближе к противнику для более короткого броска. Четвериков сказал, что подтянули.

— Пошли,— сказал комдив.

Он двинулся к передовой. Шли молча: впереди генерал, за ним Четвериков, Сизых и Лубенцов, а позади ординарцы. Майор Мигаев, по приказанию генерала, остался в штабе.

Генерал остановился на НП командира первого батальона. То была узкая, устланная соломой щель на невысоком бугорке. Комбат, худощавый, нескладный майор, не сразу заметил приход начальства. Он глядел в бинокль на уже ставшие неясными очертания домов и одновременно кричал в трубку телефона:

— Видишь белый домик возле красного корпуса справа? Там пулеметчик в подвале. Прошу тебя, дай ему разок... Ох, нахальный фриц! Дай ему разок, прошу тебя, как брата...— Заметив наконец генерала, майор бросил трубку, вскочил и отрапортовал: — Товарищ генерал, первый батальон ведет бой за овладение крепостью Шнайдемюль. Докладывает командир батальона майор Весельчаков.

— Крепость, крепость...— пробормотал комдив.— Какая такая крепость? Городишко поганый. Почему не продвигаетесь?

Весельчаков стал объяснять, но генерал, казалось, не слушал. Он взял бинокль из рук комбата и начал смотреть. Комбат замолчал. Воцарилось напряженное молчание. Невдалеке бил пулемет.

Положив бинокль, генерал легко вскочил на бруствер, переступил через него и медленно пошел вперед. Вышли к небольшой, заросшей кустарником ложбине. Генерал сказал:

— Оставайтесь здесь. Я пройду до того домика, потом вы пойдете за мной, но поодиночке.

— Зачем же вам ходить на самую передовую? — сказал Сизых.— Комкор узнает, будут неприятности.

— Ладно, не расскажешь — он и не узнает,— ответил комдив.

— Снимите папаху, товарищ генерал,— посоветовал Лубенцов.

Генерал промолчал и двинулся медленной, гуляющей походкой через открытое место к домику, где находился командный пункт одной из рот. Домик был весь прошит пулями. Командир роты сидел под прикрытием печки и что-то писал.

— Вольно! — предупредил комдив попытку лейтенанта вскочить.— Где ваши люди? Почему не продвигаетесь?

Лейтенант начал показывать на карте местонахождение своих людей, но генерал нетерпеливо сказал:

— Что вы мне там показываете? Вроде как в штабе армии. Идемте.

— Тут здорово стреляют,— испугался лейтенант за комдива, но генерал уже удалялся медленной походкой, и лейтенант пошел за ним.

Низко пригибаясь к земле, прошли два подносчика патронов, таща по земле ящики с патронами. Увидев генерала, они встали во весь рост.

— Вольно! — сказал генерал.— Из какой роты?

— Первой роты,— ответили подносчики.

— Где ваши люди?

— Вот там, на кладбище.

— Хорошее место выбрали,— усмехнулся генерал.

Вокруг посвистывали пули. Стемнело.

Вместе с лейтенантом и подносчиками генерал подошел к первой роте. Солдаты, спасаясь от сильного ветра, сидели и лежали в мелких окопчиках, спиной к ветру.

— Почему задницей к немцу? — спросил генерал.

Узнав комдива, бойцы стали торопливо подниматься.

— Лежите,— сказал комдив; он прислушался к посвисту пуль, потом спросил: — Далеко немец? Или задом не увидишь?

— Близко немец... Так и шпарит из пулемета.

— Как близко?

— Метров сто.

— Что ж, пойдем посмотрим.

Генерал и солдаты цепью пошли вперед. В сгустившейся темноте они прошли метров двести. Ветер дул в лицо. Генерал прислушался.

— Здесь, пожалуй, и окопаться можно,— сказал он.— Теперь немец от нас действительно метров двести, я думаю... Значит, бьет из пулемета, говоришь? — спросил он у солдата.

Солдат смущенно молчал.

Бесшумно подошли Четвериков, Сизых, Лубенцов, комбат и командир роты. Генерал, не взглянув на них, пошел в обратный путь. Офицеры молча последовали за ним. Немецкие пулеметы зачастили: противник, видно, заметил в темноте какое-то движение, а может быть, услышал и голоса.

Вернувшись на НП командира батальона, генерал сказал:

— Завтра на рассвете вашему полку занять завод, мы обеспечим вам поддержку всей дивизионной артиллерией. Завод «Альбатрос» — ключ позиции. Его надо взять во что бы то ни стало. Артподготовка — тридцать минут. Или — для внезапности — тридцать три минуты. Тебе,— кивнул он Лубенцову,— организовать разведку. Нужно разведать огневую систему немцев, да поточнее.

Они вышли из батальонного НП. Было совсем темно.

В штабе полка генерал, наотрез отказавшись от ужина, сказал с горькой усмешкой, обращаясь к Четверикову и Мигаеву:

— Разве это работа? А вы мне доносите: сильный, дескать, огонь. Ишь удивили! Пехота, дескать, не может двинуться с места. А пехота что? Пехотой управлять надо. Командовать. Или вы забыли об этом? Само пойдет? Подернем да ухнем?

Приехав на свой наблюдательный пункт, генерал пропустил вперед Сизых и Лубенцова, вошел вслед за ними и плотно закрыл за собой узенькую дверцу. Потом он повернулся к артиллеристу. Его лицо сморщилось, словно от подавляемой боли. Он сказал:

— А знаешь, правильно думают солдаты. Война кончается, каждому хочется жить, уважаемый артиллерист! Каждому хочется вернуться домой, на родину, орденом похвастать, счастливую жизнь строить. Им и ни к чему лезть на пулемет. И не надо. Понятно или нет? Не на-до! Нам люди нужны... Ты что думаешь: пехота-матушка все выдержит? Дудки! Ты огня им давай! Ты подави вражеские пулеметы, тогда пехота пойдет. Чего ты молчишь? Тебе на переднем крае, мол, все равно не бывать: дослужился до командующего артиллерией? Так, что ли? Предупреждаю: чтобы завтра был настоящий огонь, точный, по целям! И чтобы комбаты не просили по телефону огоньку... Командиры батарей чтобы были на переднем крае, вместе с командирами рот, понял? И ты чтоб был с Четвериковым! Помнишь, что сказал член Военного Совета? Нужно эту Германию по-великолуцки брать, победить ее нужно!

Сизых выскочил из каморки комдива красный и вспотевший и побежал отдавать распоряжения. Лубенцов велел Чибиреву седлать, с тем чтобы выехать к Четверикову в полк.

Генерал остался один. Посидев над картой, он внезапно почувствовал, что ему кого-то не хватает. И тут же понял кого — Вики. Она уже жила во втором эшелоне. Позвонить ей, что ли? Но час был поздний, и он не решился ее будить.

Минут через десять Вика позвонила сама. В ее голосе генерал тоже уловил тоску. Видимо, и она скучала без отца. Впрочем, девочка ничем этого не проявила. Называя, согласно правилам, отца «товарищ тридцать пятый», она спросила, как дела и взят ли уже объект 27 (завод «Альбатрос»). У генерала сжалось сердце от жалости и любви к ней.

«Мама ей нужна»,— думал он.

Над городом вздымались ракеты, доносилось тарахтенье пулеметов. Была холодная, ветреная ночь.

Генерал вспомнил солдат первой роты и грустно улыбнулся, подумав о том, что, вероятно, каждый из них тоже имеет какие-то сложные личные дела, но все эти дела отходят на задний план нынешней ночью, перед боем, и главное в жизни все-таки тот факт, что они находятся в двухстах сорока километрах от Берлина, а другие дивизии с боями выходят на Одер.

Поздно ночью к генералу заехал полковник Красиков.

Ознакомившись с планом завтрашнего боя, он озабоченно спросил:

— Возьмете завод?

— Надеемся взять,— сказал комдив.

— Воробьев неплохо продвинулся,— не без лукавства сообщил Красиков.— Может быть, помочь вам корпусной артиллерией?

— Обойдемся,— сердито ответил генерал.— Помогите лучше Воробьеву.

Вскоре Красикова вызвали из штаба корпуса, и генерал остался в одиночестве.

На рассвете Середа вышел к офицерам из своей каморки. Он приник к стереотрубе, внимательно и долго вглядывался вдаль, потом произнес:

— Вот она, эта... этот городишко.— Оглянувшись и увидав, что все стоят, он сказал: — Сидите, всегда рады вскочить и бросить работу, бездельники!..— Помолчав, он спросил: — Где Сизых? Ага, у Четверикова...— Он посмотрел на часы: — Что ж, пора начинать.

## XXI

Лубенцов, лежа с разведчиками в лощине, среди колючего кустарника, вглядывался в низкие домики с палисадами, в наваленные правее штабели кирпича и металлического лома и в маячащие в дыму массивные корпуса завода. Слева лежала цепь стрелков, еле заметная среди кустарника. Мещерский и Воронин сидели на корточках рядом с гвардии майором.

Разведчики выглядели полусонными. В своих забрызганных грязью плащ-палатках, мокрые и молчаливые, они казались неуклюжими, заспанными, не способными быстро двигаться и размышлять.

Гвардии майор, взглянув на них, сердито поморщился. Сам он находился в состоянии лихорадочного возбуждения. Он страстно желал поскорее покончить со Шпайдемюлем и двинуться на запад, к Берлину, с другими дивизиями, которые шагают по всем дорогам германской земли.

В шесть ноль ноль загрохотали орудия. В городе запылали дома. Столбы дыма и щебня вздымались среди корпусов завода.

Стрелки начали перебегать. Зачастил мышиный писк пуль. По ложбине прошли с носилками бледные санитары. Лубенцов посмотрел на часы. На тридцать третьей минуте раздался тот знакомый, радостный, любимый всеми солдатами прерывистый и задорный грохот — грохот «катюш», гвардейских минометов, который всегда вызывает в душе солдат удаль и чувство собственной неуязвимости.

То был сигнал к атаке.

Разведчики вдруг оживились. Сонливость их пропала сразу. Небрежным движением плеч сбросив с себя плащ-палатки, они остались в легких ватных телогрейках. Перепоясанные ремнями, на которых болтались ручные гранаты, они сразу приобрели тигриную повадку, какая и подобает разведчикам.

Лубенцов глубоко вздохнул, широко улыбнулся и сказал:

— Поехали.

Разведчики исчезли почти моментально в зарослях кустарника. Следом за ними поползли два связиста с телефоном и катушками провода. Катушка стала с визгом раскручиваться. Провод трепетал на грязной земле, ползя как будто нереши-

тельно, затем напрягался, затем вдруг смело прыгал вперед, задевая мокрые ветки кустов.

Слева раздались крики «ура». Они казались совсем слабыми в шуме ветра и треске пулеметов.

Лубенцов внимательно наблюдал за нашими подразделениями. Маленькие фигурки солдат перебегали, падали в грязь и снова бежали дальше. Вскоре эти фигурки показались уже за штабелями кирпича. Немцы опомнились и начали обстреливать из минометов и орудий наше расположение. Солдаты, однако, были уже далеко впереди разрывов.

Тут Лубенцов обратил внимание на провод. Провод остановился. Он лежал, этот провод, на земле, расслабленный и недвижимый, как будто мертвый.

— Нет, я пойду вперед,— нетерпеливо сказал Лубенцов Мещерскому.— Как только полк займет крайние корпуса, делай бросок к водокачке. Давай. Мы с Ворониным будем там.

И вместе с Чибиревым Лубенцов пошел по проводу.

Поле боя, если смотреть на него издали, кажется одной сплошной полосой, полной огня, пустынной и смертельной. Но стоит вам очутиться здесь — и вы увидите, что это весьма разнообразная местность, где растут деревья, стоят домики, амбары. Тут есть дороги, тропинки, овражки. Бывают тут минуты затишья, довольно длительные. Люди разговаривают и даже смеются, хотя очень редко.

Квадратное лицо Чибирева с маленькими острыми глазками неизменно, как привязанное, колыхалось у левого плеча Лубенцова во время ходьбы. В те короткие мгновения, когда Лубенцов припикал к земле, остановленный свистом снаряда, лицо Чибирева оказывалось все там же, у левого плеча.

Потому ли, что бой становился все ожесточеннее, или потому, что Лубенцов с Чибиревым вступили в полосу особенно жаркой схватки, продвигаться становилось все труднее. Кругом гремело.

В кювете у дороги сидели человек шесть раненых и разговаривали между собой.

— Еще сопротивляется, паршивец,— степенно сказал один из них.

Второй сказал:

— Надеется на бога. Тут этих кирх понатыкано, как у нас на Кубани элеваторов...

Третий, пожилой солдат, возразил:

— Какой бог! Гитлер у них бог. На него и молятся, дураки.

Четвертый раненый рассказывал:

— У нас вчера в роте генерал был. Сам нас в атаку повел. Идет во весь рост, а нам велит пригибаться. Генерала, говорит, другого пришлют, а без солдат и новый не навоюет...

Уже совсем недалеко от водокачки, возле свежей воронки от снаряда, лежали убитые два связиста с телефоном. Чибирев поднял телефон и катушку.

На водокачке Лубенцова встретили разведчики из группы Воронина. Они сообщили, что Воронин ушел вперед, а им поручил наблюдать отсюда, вот они наблюдают и все ждут связистов с телефоном, но не могут дождаться.

— Они убиты,— сказал Лубенцов.

Он забрался на башню и стал наблюдать за сражением. Ближние корпуса завода были заняты нашими солдатами. Сзади подходили еще цепи: видимо, Четвериков бросил в бой третий батальон. За главным корпусом собирались немцы. Они сходились сюда, пригибаясь к земле, по ходам сообщения. На длинной прямой улице возле главного корпуса показались четыре танка. Лубенцов передал по телефону о скоплении противника. Через несколько минут он с удовлетворением увидел, как по вражеским танкам и пехоте ударила наша артиллерия. Один танк вспыхнул.

Скоро немцы поняли, какая выгодная позиция занята русскими наблюдателями на водокачке. Вокруг нее стали рваться снаряды. Она задрожала — вот-вот рухнет. Лубенцов приник к цементному полу, потом превозмог себя, приподнялся и вскоре засек своего противника: по башне била самоходная пушка. Он увидел ее длинный ствол, торчащий из пролома домов.

— Самоходная пушка на углу Берлинерштрассе! — крикнул Лубенцов в телефон.

Через минуту возле самоходки разорвался один снаряд, а за ним второй. Лубенцов вытер пот с горячего лба и мысленно от всей души поблагодарил толстого подполковника Сизых и заодно комдива, давшего артиллеристу такой здоровый и полезный нагоняй.

Стало тихо. Бой переместился вперед. Когда подошел Мещерский со своими людьми, Лубенцов пошел дальше, взяв с собой Чибирева и Митрохина и захватив телефон. У Мещерского был свой аппарат.

Лицо Чибирева снова заколыхалось у лубенцовского левого плеча. Пройдя метров триста, они опять очутились в самом средоточии боя, среди заводских корпусов. Даже Чибирев и тот ежеминутно шептал:

— Ложитесь, товарищ гвардии майор.

«Пока ты не забыл моего полного звания, можно еще идти дальше»,— думал Лубенцов, перебегая от укрытия к укрытию среди пулеметных очередей. Вскоре пришлось поползти. Надо было пробраться в четырехэтажный жилой дом: обзор из верхних окон этого дома был, очевидно, превосходный.

Наконец они заскочили в подъезд. Отдышавшись, Лубенцов толкнул дверь. Здесь оказалось обширное помещение с полками и широким прилавком — магазин. У разбитой пулями витрины сидел немецкий солдат с окровавленной головой. Он был мертв, и его удерживал только подоконник, на который он склонился. Рядом с ним лежала кучка гранат с деревянными ручками и винтовка. Лубенцов подобрал несколько гранат. Митрохин и Чибирев сделали то же.

Они поднялись по лестнице вверх и вошли в квартиру четвертого этажа. Лубенцов посмотрел в окно и ахнул от восторга: перед ним была вся вражеская оборона как на ладони. Он быстро приладил телефон и позвонил. Мещерский немедленно отозвался с водокачки.

— Передай: скопление пехоты у заводоуправления, слева... По Берлинерштрассе, в ходе сообщения, немцы лежат... Убитые, что ли? Нет, накапливаются для контратаки... Здесь я остаюсь, объект шестьдесят пять, НП высшего класса! Шли ко мне людей...

Связь порвалась.

— Митрохин,— сказал Лубенцов,— беги назад, исправь по дороге порыв и веди сюда солдат.

Митрохин исчез, и спустя минут пять связь возобновилась.

— Четыре танка,— торопливо сообщил Лубенцов,— подходят по Кверштрассе. Еще три идут из центра города по Семинарштрассе. Вот они поравнялись с главным корпусом... Передай генералу: нужно атаковать на всех участках одновременно. Только так, понял? Одновременно! Они подбрасывают с других участков...

Снова порвалась связь.

Подняв глаза от телефона, Лубенцов увидел, что его ордина-

рец ведет себя как-то странно. Он глядит в окно напряженными, чересчур напряженными глазами.

Лубенцов тоже взглянул вниз и увидел приближающиеся цепи немецких солдат. Пулеметы захлебывались. Стреляли орудия. Все слилось в один нечеловеческий гул. Немцы поравнялись с домом, обтекли его и побежали дальше.

Шум боя явственно отдалялся.

— Наши отходят,— сказал Чибирев.

Внизу раздались немецкие голоса, потом они умолкли.

— Ничего,— сказал Лубенцов,— выберемся.— И добавил неопределенно: — Митрохин передаст...

Все возбуждение последних минут соскочило с Лубенцова. Надо было действовать расчетливо и хладнокровно. Он подошел к двери и прислушался. Тихо. Он вернулся к окну. Падал мелкий снежок. Возле дома приткнулась кирпичная бензобудка под большой желтой надписью: «Shell». В глубине двора на деревянных стойках стояли старые машины.

Мимо бензоколонки прошли человек сто немцев. Они взволнованно галдели и шли довольно уверенно, во весь рост.

— Ничего,— сказал Лубенцов,— выберемся.

— Стемнеет — уйдем к своим,— сказал Чибирев.

Лубенцов возразил:

— К ночи наши сюда придут. Это место оставлять нельзя. Как стемнеет, устраним повреждение и будем корректировать огонь.— Улыбнувшись, он добавил: — Ох, и попадет мне от комдива за то, что полез вперед!

— Ш-ш-ш...— прошипел Чибирев.

На лестнице послышались шаги. До их этажа не дошли. В тишине пустынного дома Лубенцов услышал разговор немцев.

— Wo hast du diese Leckereien gepackt?

— Hier unten, im Laden.

— Dort liegt eine Leiche...

— Jawohl...[1]

Чибирев шепнул:

— Как бы они провод не приметили...

— Подумают, что свой,— сказал Лубенцов.

---

[1] — Где ты раздобыл эти лакомства?
— Здесь внизу, в магазине.
— Там лежит мертвец...
— Да... *(нем.)*.

Шаги и разговор умолкли.

Оставалось одно: ждать темноты. Лубенцов снова начал глядеть в окно. Система немецкой обороны становилась все яснней. Немцы держались только на очень хорошо замаскированном маневре живой силой и танками. Едва наша атака на этом участке захлебнулась, немцы побежали по траншеям — а улицы были вдоль и поперек изрыты траншеями — куда-то на юг, на другой угрожаемый участок. Туда же, хоронясь за домами, спешили танки.

Время тянулось нестерпимо медленно. Чибирев неподвижно сидел на полу, обняв руками колени.

Поблизости от дома стали рваться наши снаряды — сначала правее, затем левее. Лубенцов незаметно задремал, несмотря на почти не прекращающийся грохот артиллерийского обстрела. Немцы, по-видимому, решили, что на этом участке снова начинается атака русских, и опять со всех концов осажденного города сюда начали сбегаться солдаты и собираться танки.

Лубенцов открыл глаза и с досадой смотрел в окно на все происходящее. Никогда он, как разведчик, не был в таком благоприятном положении. И он был бессилен что-либо сделать!

Вскоре опять стало тихо. Как только стемнеет, надо что-то предпринять. Имелись три возможности: либо пробраться к своим, либо устранить повреждение провода и остаться здесь корректировать стрельбу, либо, наконец, просто ждать, ничего не предпринимая,— ждать прихода наших. От последнего варианта Лубенцов отказался. Поразмыслив, он остановился на втором.

Наконец стемнело. Лубенцов и Чибирев становились все сосредоточеннее, все напряженнее. Они молча смотрели друг на друга, пока лица не превратились в неясные пятна. В сгустившемся сумраке оба медленно встали, и Лубенцов сказал:

— Исправишь порыв — возвращайся. Если не найдешь второй конец — тоже возвращайся.

Чибирев ушел. Темнота все сгущалась. Некоторое время Лубенцов заставлял себя не притрагиваться к трубке. Он медленно сосчитал до пятисот. Наконец он взял трубку. Ни звука. Ничего похожего на какую-либо вибрацию. Чибирев не возвращался. Где-то заработал пулемет. Невдалеке раздалась автоматная очередь. И снова тишина.

Лубенцов поднялся, взял в руки провод и бесшумно стал спускаться по лестнице. Провод медленно полз в ладони.

Миновав распахнутую дверь магазина, Лубенцов вышел на улицу.

В это самое мгновение невдалеке грянули две длиннейшие автоматные очереди, раздался оглушительный взрыв гранаты, потом другой, испуганные возгласы немцев — и сразу крик. То, что это мог кричать только Чибирев, было ясно, хотя голос был уже не его, а совсем другой, не человеческий. Он выкрикнул одно лишь слово — родное, русское слово в этой немецкой, полной трупов, трущобе:

— Уходите!..

Лубенцов застыл на месте. Мозг работал с полной ясностью. Почему Чибирев кричит немцам «уходите»? И тут же Лубенцов понял, что крик Чибирева относится не к немцам, а к нему, Лубенцову. Он крикнул громко, с тем чтобы Лубенцов, который, по его расчетам, находился на верхнем этаже, его услышал. В этом крике не было страха — была отчаянная удаль и одно бесконечное предсмертное желание: чтобы Лубенцов услышал.

Автоматы застрочили бешено. Какая-то пушка выпустила будто с перепугу десяток снарядов, тут же в небо взмыли ракеты, и стало светло, как днем.

«К передовой нельзя,— убьют». Лубенцов прыгнул в сторону, забежал за угол дома, прополз возле бензобудки и юркнул во двор, в одну из машин. Посидев там минуту, пока не погасла серия ракет, он выскочил оттуда, добрался до забора, подтянулся на руках и перепрыгнул. В небо взмыли еще десятка два ракет и снова осветили все кругом. Он побежал по улице, перескочил одну траншею, другую, третью, ползком пробрался среди «драконовых зубов» — противотанковых надолб, с разбегу, как кошка, одолел баррикаду, потом бросился к одной из калиток, открыл ее и вполз во дворик, полный голых клумб и деревьев. Здесь он отдышался и почувствовал, что правая нога ранена или ушиблена, хотя он даже не заметил, где это случилось. Боли он тоже пока еще не ощущал.

Он двинулся дальше и вскоре очутился перед глухой стеной полуразрушенного большого дома. Он пролез под железной решеткой ограды и, продираясь сквозь холодные и колючие кусты, набрел на дверь черного хода. Здесь уже было совершенно тихо, слышалось, как из желоба стекает вода. Ракеты взмывали далеко позади.

Он стал подыматься по лестнице. Правый сапог был полон крови.

## XXII

В ту минуту, когда явился Митрохин с приказанием гвардии майора послать людей в объект 65, капитан Мещерский заметил, что наши отходят от центральных корпусов завода. Минут через двадцать положение стало совершенно ясным. Лубенцов с ординарцем были отрезаны от своих. Мещерский оцепенел и беспомощно огляделся. Разведчики молчали. Потом Митрохин начал подробно рассказывать, как было дело, и что говорил гвардии майор, и как они взяли гранаты в немецком магазине.

Мещерский смотрел на старшего сержанта с удивлением: как мог Митрохин говорить с таким спокойствием, словно рассказывал о каком-то обыкновенном боевом задании? Разведчики стали задавать ему разные вопросы, и он детально и толково отвечал им.

«Почему они так спокойны, так бессердечны?» — думал Мещерский, чувствуя, что сейчас заплачет.

Митрохин сказал:

— Окна в той комнате выходят на северо-восток... Место, правда, выгодное: все видать. Там бы пулеметик поставить, можно натворить делов. А гвардии майор что? Он и не в таких переделках побывал... Пересидит до завтра. Хорошо бы, конечно, дать огоньку вокруг того дома, чтоб немцы не лезли...

Услышав последние слова Митрохина, Мещерский ожил: действительно, неужели гвардии майор, которого ни пуля, ни мина не брали, погибнет в этом немецком городишке?

— Да,— захлопотал Мещерский,— пошли к артиллеристам договариваться!

Побежали к артиллеристам-наблюдателям. Командир дивизиона выделил целую батарею для создания отсечного огня на подступах к объекту 65. Артиллерист был очень удручен случившимся. Он хорошо знал Лубенцова, но отнесся к происшедшему не так оптимистически, как Митрохин и Мещерский.

— Опыт, конечно, дело хорошее,— сказал он, покачивая головой.— А мало опытных погибло?

С водокачки позвонил прибывший туда с пленными старшина Воронин. Он сообщил, что комдив велел Мещерскому явиться для доклада.

Мещерский быстро пошел к НП командира дивизии.

Выслушав доклад капитана, генерал сказал:

— Ну что же, ладно, можешь идти.

— А как же гвардии майор, товарищ генерал? Может быть, разведрота попытается...

Генерал резко прервал его:

— Запрещаю!

Встретив жалобный взгляд Мещерского, генерал отвернулся и сухо сказал:

— Уложить в гроб десяток разведчиков — нехитрое дело. Можете идти.

О Лубенцове он не сказал ни слова.

Мещерский вышел от него полный обиды и даже злости на комдива. Встретив напряженный взгляд ожидавшего внизу Митрохина, он махнул рукой.

Когда Мещерский ушел, генерал некоторое время сидел в одиночестве, потом велел подать машину и поехал на передовой наблюдательный пункт, к водокачке. Он поднялся по деревянной лестнице. Разведчики повскакали с мест. Генерал посмотрел на них очень внимательно. Лица у людей были хмурые, одежда мокрая насквозь. Антонюк тоже был здесь.

— Бинокль! — сказал генерал.

Ему подали бинокль. Он поднес его к глазам и спросил негромко, ни к кому не обращаясь:

— Где тот дом?

Митрохин объяснил. Генерал долго смотрел на «тот дом», потом сказал:

— Что же вы? Угробили начальника? Ночью будете его выручать.

— Есть перебежчики,— сказал Антонюк.

Генерал ничего не ответил и начал спускаться вниз. Спустившись на две ступеньки, он остановился, обернулся и спросил:

— Что он передал по телефону?

Мещерский повторил то, что уже однажды докладывал генералу:

— Он сказал мне: «Передай генералу, чтобы атаковали на всех участках одновременно». Он очень настойчиво говорил мне это, даже несколько раз повторил. Потом связь порвалась.

Генерал подошел к своей машине, стоявшей неподалеку, в овраге. Приехав к себе, он спросил, где находится Плотни-

ков: Сказали, что в политотделе. Генерал позвонил в политотдел:

— А Лубенцов-то...

— Я уже знаю,— устало сказал Плотников.

Генерал положил трубку и подумал о Вике. Вика очень любила Лубенцова.

Поздно вечером к генералу собрались дивизионные начальники. Они сели вокруг стола в ожидании распоряжений. Последним прибыл подполковник Сизых. Он остался стоять у стены.

Отдав распоряжения на завтра, генерал сказал:

— Артиллерия работала хорошо.

Сизых облизал сухие губы языком и только теперь сел. Генерал произнес:

— И разведка... тоже хорошо работала.

Антонюк, присутствовавший на совещании, вышел от генерала с каким-то неприятным чувством. Уж очень все жалели о Лубенцове, и хотя никто этого не говорил, но Антонюк ощущал разницу, которую генерал делал между Лубенцовым и им, Антонюком. Конечно, и Антонюк жалел Лубенцова. В конце концов гвардии майор был справедливый начальник и хороший разведчик — правда, без специального образования. Антонюк — теперь он признал это перед самим собой — многому научился у Лубенцова. Гвардии майор хорошо разбирался в самой сложной боевой обстановке и очень точно отсеивал правильные и важные данные от неправильных и маловажных.

Поехал бы Лубенцов в Москву — остался бы жив и здоров.

Оганесян лежал на койке, но, против обыкновения, не спал. Вызванный из роты новый ординарец, молоденький ефрейтор Каблуков, возился в углу, жалостливо косясь на чемодан гвардии майора.

Оганесян из-под полуопущенных век следил за вошедшим Антонюком. Майор уже приобрел знакомую Оганесяну начальственную сухость и важность.

Собственно говоря, Оганесян не мог пожаловаться на отношение к себе Антонюка. Антонюк был высокого мнения о знаниях переводчика и только изредка грубовато порицал его за «гражданскую лень». Однако Оганесян глядел теперь на Антонюка с безмерным озлоблением. Если бы именно не эта лень и нежелание осложнять и так достаточно сложную, как ему казалось, жизнь, он бы выпалил Антонюку все, что думал о нем.

Он бы сказал: «Не радуйся, голубчик! Не быть тебе начальником! Вечно будешь помощником! Слишком всем видна твоя надутая важность, твое вечное желание продвинуться... Не радуйся, все равно пришлют из штаба армии другого!»

Он вполголоса ругался по-армянски и плакал. Ему казалось, что без Лубенцова невозможно жить. И он давал себе слово быть таким, как Лубенцов,— честным, прямым, опрятным, добрым и неутомимым.

«Конечно, мне это будет очень трудно,— говорил он себе, сжимая зубы,— но я буду стараться... И потом я вступлю в партию...»

На рассвете вернулись разведчики. Оставляя на полу грязные следы облепленных глиной сапог, они уселись на стулья, и Мещерский доложил Антонюку о ночном деле.

Они прошли довольно удачно, доползли до того дома. В самом доме они не были: там кишит немцами. На обратном пути их обстреляли. Сергиенко ранен.

— Надо доложить комдиву,— сказал Антонюк.

— Он уже знает.

— Откуда?

— Он приехал с полковником Плотниковым на водокачку и там ждал нашего возвращения.— Мещерский помолчал, потом сказал, понизив голос почти до шепота: — Когда мы подползли к белому домику, знаете, к проходной конторе, мы явственно слышали крик. По-моему, это кричал Чибирев.

— Конечно, Чибирев,— сказал Воронин, глядя в окно.

— Он, ясное дело,— подтвердил и Митрохин, тщательно закручивая большую цигарку махорки.

Мещерский сказал:

— Он крикнул «уйдите» или «уходите». Кому он кричал? Нас он не мог видеть.

— Фашистам угрожал,— предположил Митрохин.— Расходись, мол, туды вашу...

— Гвардии майора предупреждал,— сказал Воронин.

Кто-то из разведчиков вполголоса рассказывал:

— Немцы после этого крика очень всполошились. Нам часа полтора пришлось полежать, пока они угомонились. Ракеты жгли все время. Стреляли.

Зазуммерил телефон. Антонюк снял трубку. Его вызывал второй эшелон. Неожиданно он услышал детский голосок дочери командира дивизии. Она спросила, нашли ли Лубенцова.

Он ответил, что не нашли, и ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь.

— У меня все,— сказала она наконец, бессознательно подражая генеральской манере разговаривать по телефону, но, не сдержавшись, горько всхлипнула.

## XXIII

Узнав, что в медсанбате был Лубенцов, Таня так откровенно просияла, что сестричка, сообщившая ей это известие, даже немного сконфузилась.

— Старый знакомый,— весело пояснила Таня.— Мы с ним случайно встретились на днях.

О том, что это был именно Лубенцов, а не кто-нибудь другой, легко было догадаться по приметам: широкоплечий, синеглазый и, как выразилась сестричка, симпатичный майор.

Однако по смущенному личику вострушки и по тому, как быстро майор уехал, Таня поняла, что разговор был нехороший. Она пристально взглянула на девушку и отошла с тяжелым сердцем. Конечно, как всегда в таких случаях, она стала уверять себя, что это даже к лучшему и если он с первого слова поверил каким-то глупым сплетням, значит бог с ним совсем.

И все же Таня несколько раз ловила себя на том, что она ждет кого-то. И в конце концов поняла, что надеется на вторичный приезд Лубенцова.

Между тем шли упорные бои, и в медсанбате все сбились с ног. Несмотря на это, Таня в промежутке между двумя операциями, ожидая, пока сестра обработает инструмент, как-то даже неожиданно для себя спросила у нее равнодушным голоском:

— Почему же майор не стал дожидаться?

Сестра ответила с деланным простодушием:

— Я ему сказала, что вы уехали... Он сразу ускакал, ничего не сказал. Просто повернул лошадь — и все. И ординарец за ним следом помчался.

Таня, рассматривая на свет ампулу с кровью для переливания, осведомилась еще равнодушнее:

— И не спросил даже, куда я уехала?

Сестра понимала, что именно это больше всего интересует Татьяну Владимировну, и хотела было ответить неопределенно:

пусть помучается эта *недотрога*. Но, вдруг пожалев ее, сказала смущенно:

— Не спросил ничего... И я ему ничего не сказала, даю вам честное слово.

В деревню въехали машины, прибывшие для эвакуации раненых. Таня пошла в госпитальный взвод и вместе с Машей осмотрела наиболее тяжелых, чтобы выяснить их «транспортабельность». Подошла она и к Каллистрату Евграфовичу.

— Вот вы и уезжаете,— сказала она.

Раненых осмотрели, и санитары начали их выносить поодиночке. Таня сбегала к себе, принесла кулек конфет из своего офицерского пайка и сунула «ямщику» на дорогу. Он смущенно отказывался, потом сдался и сказал:

— Ну, спасибо, товарищ капитан медицинской службы. Век вас не забуду.

В комнате было холодно от беспрестанно открывающихся дверей.

Таня сказала:

— Помните того гвардии майора, который ехал с нами вместе в карете? Он вчера тут был, в медсанбате...

Каллистрату Евграфовичу лестно было, что ведущий хирург сидит возле него и запросто разговаривает с ним на глазах у остальных раненых. Он спросил:

— Ну, как поживает гвардии майор? Хороший он человек, простой такой. А, между прочим, во всем разбирается. Понемецки как говорит, а? Здоров он?

— Здоров,— сказала Таня и тоже стала оживленно говорить о Лубенцове, словно она с ним виделась и долго беседовала.— Если он еще раз приедет, я ему скажу, что вы здесь лежали...

— А он приедет? — спросил «ямщик» и сам себе ответил: — Конечно, приедет... А то вы к нему съездите... Доставите человеку радость...

Таня покраснела и спросила, не нужно ли еще чего-нибудь Каллистрату Евграфовичу. Он попросил карандаш, желая «в дороге потренироваться, левой рукой пописать». Она дала ему карандаш.

Поддерживаемый санитаркой, он пошел к автобусу. Машины вскоре тронулись, а Таня все еще стояла; ей было грустно оттого, что Лубенцов больше не приедет. И вот теперь уезжал

Каллистрат Евграфович — рвалась последняя, казалось ей, связь с Лубенцовым.

Маша после эвакуации раненых нашла Рутковского и сказала ему со злостью:

— Вы видели Кольцову? На нее же смотреть страшно, еле на ногах стоит! Вы бы хоть дали ей отдохнуть несколько часов. Безобразие!

На следующий день Рутковский приказал Тане отдыхать. Она очень переутомилась, и все это заметили.

Оказавшись «не у дел», Таня все утро слонялась по деревне, не могла найти себе места. Потом она вспомнила совет «ямщика». «А почему бы действительно не съездить к Лубенцову?» — подумала она. Нет, она не будет перед ним оправдываться, она ни слова не скажет по поводу его подозрений. В конце концов — это ее дело, где и с кем она встречается. Просто она узнала, что он был в медсанбате, и решила навестить его, поскольку он ее не застал.

Приняв это решение, Таня вдруг повеселела и почувствовала себя необычайно отважной и независимой.

Она оделась, привесила — для храбрости — маленький пистолетик к поясу и, покинув медсанбат, прошла лесом к дороге. Ее подобрал какой-то балагур-шофер, везущий «айн-цвай-драй», как он почему-то называл снаряды для пушек.

В штабе дивизии она завела осторожный разговор по поводу дислокации соседних дивизий. Начальник оперативного отделения охотно объяснил ей обстановку.

— Вот здесь наступаем мы, — водил он толстым пальцем по карте, — здесь Середа... А здесь...

Дальше она слушала невнимательно, хотя подполковник пространно разъяснял ей ситуацию, сложившуюся на фронте. Она заметила себе, в какой деревне расположен штаб генерала Середы, и собралась было уходить, но ее задержал начальник связи, жаловавшийся на боль в раненой ноге. Нашлись и другие пациенты, и Таня провозилась до полудня.

Наконец она покинула деревню. Здесь ей удалось сесть на машину, принадлежавшую дивизии генерала Середы. Получилось очень удачно, машина шла в штаб. Таня спрыгнула посреди деревенской улицы. У одного из домов стояла «эмка», и Таня подошла к шоферу, возившемуся у открытого капота.

— Скажите мне, пожалуйста, — сказала она, — где здесь помещаются ваши разведчики?

Шофер спросил:
— А вы откуда будете?
Она не знала, что ответить, но в этот момент из дому вышел высокий генерал в папахе, с черными усами. Увидев молодую женщину в длинной немецкой прорезиненной накидке, генерал Середа слегка удивился.
— Вы ко мне? — спросил он.
Она ответила:
— Я ищу ваше разведотделение.— И, храбро посмотрев ему прямо в глаза, сказала: — Мне нужен гвардии майор Лубенцов.
— Зайдите, пожалуйста,— сказал генерал, помолчав.
Она вошла вслед за ним в дом. Пройдя коридорчик, где при их появлении вскочил сидевший у окна солдат, они очутились в большой комнате. Здесь никого не было. На шифоньере стоял полевой телефон.
Генерал остановился.
— Гвардии майор Лубенцов? — переспросил он и, опять с минуту помолчав, пригласил: — Прошу садиться.
Она не садилась.
— Прошу садиться,— повторил он строго и начал рыться в планшете на столе, словно собирался именно оттуда достать гвардии майора Лубенцова.
Ей стало не по себе под его странным, внимательным взглядом, и она решила, что требуется дать кое-какие объяснения.
— Мы с гвардии майором,— сказала она, присаживаясь на кончик стула,— старые знакомые. Еще с сорок первого года. Мы вместе выходили из окружения под Москвой. Товарищ Лубенцов был на днях у меня в медсанбате, и это, так сказать, мой ответный визит. Вы не беспокойтесь, я сама найду разведотделение. Прошу извинить меня, я вас задержала.
Таня удивилась, почему упорно молчит этот такой внимательный генерал. Объясняя причину своего приезда, она смотрела на его планшет. Наконец она подняла голову и встретилась с глазами генерала. И вдруг увидела нечто такое, что заставило ее умолкнуть. Было что-то странное и тоскливое в этих умных, зорких глазах.
Генерал сказал:
— Лубенцов, по-видимому, погиб. Это случилось вчера.
Позвонил телефон, но генерал не снял трубку, и телефон все звонил и звонил.
— Как жалко! — сказала она.

Она все продолжала сидеть, хотя знала, что нужно уходить, пора уходить и нечего здесь сидеть, задерживать генерала. Но не было сил подняться и не было охоты что-нибудь делать, даже просто встать со стула. Во всем доме царила тишина, только телефон настойчиво позванивал время от времени.

Она наконец поднялась, сказала «до свиданья» и вышла.

На улице ее охватил нервный озноб, и у нее застучали зубы так, что она, проходя мимо снующих по деревне офицеров, еле сдерживала дрожь. Хотелось где-нибудь посидеть одной, но во всех домах, вероятно, были люди.

Тут ее взгляд упал на какой-то странный сарай с двором, огороженным колючей проволокой. Там было темно и тихо. Она вошла и присела на солому, покрывавшую пол.

Зубы застучали еще сильнее.

«Не впадай в истерику»,— сказала она себе. Она подняла голову и увидела на стене русские надписи углем и мелом.

«Мы здесь пропадаем. Прощай, родная Волынь!» — было написано на стене. «Дорогая мама!..» — начиналась какая-то надпись, но остальное было неразборчиво. «Мы вернемся!» — гласила другая надпись.

Это напоминание о бесконечных муках и надеждах тысяч людей подействовало на Таню с необычайной силой. Оно и ранило и облегчило ее душу. Она вышла и, медленно идя по улице, плакала горестными слезами, навзрыд, как в детстве, уже никого не стесняясь и не обращая внимания на удивленные лица прохожих.

## XXIV

С трудом одолев два лестничных пролета, Лубенцов услышал внизу, под собой, голоса — мужские и женские. Он пополз быстрее, открыл какую-то дверь, очутился в темном коридорчике, открыл другую дверь. Перед ним была улица. То есть была комната как комната с диваном, письменным столом, шифоньером, шкафом и стульями и даже с картинами на стенах. А дальше была улица, одинокое дерево и стоящий напротив разрушенный многоэтажный дом.

Передней стены в комнате не оказалось. На полу и на мебели лежали обломки кирпича и толстый слой пыли. Лубенцов вполз в это странное подобие жилья, как актер выходит на сцену.

Комната была почти невредима. Стена обрушилась не от попадания снаряда, а от воздушной волны.

Из дома напротив тянуло сладковатым трупным запахом. Далекие вспышки ракет время от времени освещали развалины, узоры комнатных обоев, фотографии пожилых немцев и немок над письменным столом и голую женщину на картине, висящей над диваном.

Лубенцов подполз к краю и выглянул на улицу. Он находился на первом этаже. Внизу виднелись заложенные мешками с песком окна полуподвала. Напротив проходила каменная ограда, прилегающая к разрушенному дому, на сохранившейся боковой стене которого была нарисована огромная реклама обувной фирмы «Salamander» — гигантская женская нога в туфле. Внутренности дома лежали в каменном скелете в виде огромной, доходящей до второго этажа кучи обломков с торчащими из нее ножками исковерканных кроватей.

Вдоль всей улицы проходила траншея. Во дворе противоположного дома видны были два хода сообщения, ведущие к центральному корпусу завода «Альбатрос»,— Лубенцов узнал этот корпус по башенке с часами, увенчивающей крышу. По той же башенке он смог определить и свое местонахождение: он находился на Кверштрассе. Слева — Берлинерштрассе. На углу стояли два железных столба с разбитыми фонарями.

Улицы были пустынны. Изредка слышались шаркающие шаги проходящих где-то неподалеку немцев.

Лубенцов решил снять сапог и перевязать рану. Но снять сапог было невозможно: все слиплось от крови. Сапог следовало разрезать.

Лубенцов проковылял к шкафу. Тут висели мужские вещи — пиджаки, галстуки. Он перевязал себе ногу галстуком наподобие жгута и набросил на плечи какое-то пальто, чтобы согреться. Потом он улегся на диван. Перед ним прошел весь сегодняшний день. Не верилось, что все эти события произошли за один лишь день и что только сегодня утром он сидел в лощине, поросшей кустарником, рядом с Мещерским и Ворониным. Квадратное лицо Чибирева всего лишь несколько часов тому назад колыхалось возле его левого плеча. А теперь Чибирева нет и никогда не будет.

Какая-то темная маленькая тень мелькнула перед глазами. Одичавшая кошка взметнулась по водосточной трубе, по-чело-

вечьи разумно заглянула сверкающими глазами прямо в глаза Лубенцову и бросилась вниз.

Очень хотелось пить. Лубенцов подумал: «Неужели в этой квартире нет кухни? Должна же быть кухня в квартире». Огромным усилием воли он заставил себя встать и ползком, волоча раненую ногу, двинулся к коридору. Где он получил это ранение, он так и не мог припомнить.

В коридоре было совсем темно. Лубенцов зажег спичку — и желтый огонек осветил темные стены, сундуки, шелковый цилиндр, стоявший на полочке вешалки, и блестящую ручку зонтика, солидно висевшего на гвозде.

Действительно, здесь была маленькая третья дверь сразу вправо от входной. Он толкнул ее, она не поддавалась. Он толкнул ее сильнее и наконец чуть-чуть приоткрыл. Верно, кухня, но она была сплошь в обломках. Потолок, наполовину проваленный, висел, обнажив погнутые железные балки. В полу зияла черная дыра. Из отверстия слышались тихие голоса.

Он бесшумно подполз к дыре и посмотрел вниз. В полуподвале сидели люди. Горела коптилка. В кресле-качалке полулежал совершенно лысый, худощавый, длинноносый человек. Немка в очках лежала на кушетке. Рядом, на узлах с подушками, спали дети.

Стараясь двигаться как можно осторожнее, Лубенцов тщательно обследовал кухню. В шкафчике стояли банки с застывшими на стенках остатками соусов и варенья. Возле шкафчика Лубенцов нащупал кран. Водопровод не работал, но в кране и ближних трубах скопился небольшой запас воды, хотя и наполовину смешанной с песком. Все здесь было смешано с песком и кирпичной пылью и отдавало известкой.

Вернувшись в комнату с диваном, Лубенцов прилег и стал почему-то думать о своем родном крае, о деревне Волочаевке, где он родился. Он вспомнил знаменитую сопку Июнь-Корань, под сенью которой прошло его детство.

На сопке стоит школа, где он учился, и каменный человек со знаменем. Этот человек со знаменем, видимый со всех сторон далеко в тайге, на болотистых падях и лесистых рёлках, был первым ярким воспоминанием детства.

Лубенцов так привык к его виду, к его постоянному порыву вперед, что словно перестал замечать совсем. Но, должно быть, глубоко в душу запал этот образ, этот памятник в честь славного сражения за Дальний Восток, если теперь, оторванный

от тех мест двенадцатью тысячами километров и от всей той жизни — линией фронта, он вдруг вспомнил именно его, человека со знаменем, водруженного на далекой сопке.

Сон ли это или так оно было на самом деле?

В черном бревенчатом доме сидела мать, вся в морщинах, добрых у глаз и горестных вокруг рта, в платке, завязанном под подбородком. Бесшумными шагами, обутый в мягкие ичиги, ходил по двору отец, работавший бригадиром на ближней делянке леспромхоза, старый партизан и охотник. Он часто брал с собой в тайгу сына Сережу, младшего отпрыска семьи Лубенцовых. Они вместе бродили по нехоженым тропинкам, старый и малый, седой и русый, расставляя силки на енотов и стреляя фазанов.

Семья Лубенцовых давала Дальнему Востоку лесорубов, охотников, старателей и плотогонов, а позднее, после революции,— также и капитанов амурской флотилии, пограничников, механиков и даже одного народного комиссара. И то, что отец его, Лубенцова, дрался здесь против японцев, отстаивая советский Дальний Восток, и то, что Лубенцовы были разбросаны по городам и весям гигантского края, и то, что один из них был наркомом в Москве,— все это наполняло детскую душу Лубенцова хозяйским чувством по отношению к окружающему миру.

Любой непорядок в школе, леспромхозе, районе и во всем мире он принимал близко к сердцу, как личное дело. Чей-нибудь нечестный поступок, мокнущий под осенним дождем неубранный колхозный хлеб, фашистские злодейства в Германии и линчевание негров в Америке вызывали в нем безмерное негодование и страстное желание немедленно, как можно скорее поправить дело, наказать виновных, восстановить справедливость.

...Ночь тянулась ужасно медленно. Голова кружилась, и в ушах стоял какой-то назойливый протяжный крик. Генерал, конечно, считает, что его разведчика уже нет в живых. Ничего подобного, Тарас Петрович! Неужели его, Лубенцова, так просто убить?

Лубенцов слабо улыбнулся этим мыслям. Слышал ли Мещерский последние слова по телефону насчет того, что наступать нужно на всех участках? Понял ли он важность этих слов?

Еще раз в сознании Лубенцова медленно проплыли видения

сегодняшнего дня, лица разведчиков, раненых солдат, убитых связистов и, наконец, лицо Чибирева — последнее виденное им человеческое лицо. И не так его лицо, как крик. Именно этот крик, оказывается, все время стоял в ушах, подобно вертящейся на одном месте граммофонной пластинке, беспрерывно повторяющей одно и то же.

Вспышки ракет то и дело освещали комнату слабым светом. Кто-то шаркал по мостовой. Кто-то плакал невдалеке. Кто-то кричал гортанно по-немецки...

Лубенцов забыл о боли и о жажде, когда утром загрохотали наши орудия. Снаряды рвались возле главного корпуса и на Семинарштрассе, где с грохотом осел один дом, изрыгая обломки и языки пламени.

По ходам сообщения напротив забегали немецкие солдаты, то и дело показываясь в проломе каменной стены, под которой проходила траншея.

В траншее показался офицер. Он очень суетился. Солдаты же при каждом разрыве снаряда останавливались и прижимались к земле.

Потом на мгновение стало тихо. Тишина эта, к которой Лубенцов прислушивался с бесконечным вниманием, вскоре прервалась новой канонадой: сухой гром, свист снаряда, а потом дальний разрыв. Это стреляли немцы. Затем раздалось тарахтение моторов. У самого дома, почти рядом с Лубенцовым, остановился немецкий танк. Он стал быстро, как будто в страшной спешке, выпускать снаряд за снарядом. Картина в темно-красной рамочке, изображающая голую женщину, зашевелилась и упала на пол.

Система немецкого огня вырисовывалась как нельзя лучше. На перекрестке через два дома от Лубенцова из подвала бьет, как бешеный, один, как видно крупнокалиберный, пулемет. Второй работает с углового дома Семинарштрассе. Танки в условиях городского боя придерживаются такой же тактики, как тот, что только что стоял здесь: постреляв, он убрался в укрытие, за красный дом на Семинарштрассе.

Полжизни за телефон или рацию!

На улице показался немецкий отряд человек в шестьдесят. Это были пожилые люди и мальчишки с красно-черными повязками на рукавах, одетые в штатскую одежду, но вооруженные винтовками. Винтовки были разные, и эти люди ростом

были разные и выглядели каким-то нелепым тыном из разных палок. Они взволнованно галдели, как утки на болоте.

Шедший впереди офицер вдруг обернулся к своему воинству, что-то процедил сквозь зубы, и они запели. Нестройно, жалко, от детского до старческого дисканта, и среди визгливых голосов дрожащие басы. Боже, что за песня! Волосы становились дыбом от нее. Что касается слов, то они были страшно воинственны. Это была знаменитая песня «Хорст Вессель», сочиненная в мюнхенских пивных.

Снова ударили наши орудия, и немцы, не слушая команды, попрыгали в траншею, давя и пихая друг друга.

Лубенцову показалось, что он слышит отдаленные крики «ура». Вражеские пулеметы заходились от бешенства. Заработал еще один пулемет с Берлинерштрассе. По траншее снова побежали немцы, направляясь к главному корпусу с других участков. Из-за красного дома выдвинулись три танка и в страшной спешке начали стрелять картечью.

Стало тихо. Лубенцова лихорадило. Холодное солнце висело над городом.

Из какого-то переулка показалась группа офицеров. Впереди шел высокий худощавый эсэсовец в черном мундире, в черной фуражке и в черных дымчатых очках. Он шел твердой походкой, остальные следовали за ним в некотором отдалении.

Навстречу приближалась другая группа. Несколько солдат с винтовками вели двух безоружных солдат.

Эсэсовец в дымчатых очках, остановившись возле этой второй группы, что-то прокричал. Один из арестованных, толстый немолодой человек без шапки, упал на колени. Второй, высокого роста мальчик лет пятнадцати, заплакал. Его лицо было окровавлено.

Их поволокли к перекрестку. Поднялась возня, возле железных фонарей на перекрестке появились столы и лестница.

Эсэсовец махнул рукой, и на фонарях заболтали связанными ногами двое повешенных. Затем один из солдат сел за стол под повешенным мальчиком и стал водить самопишущей ручкой по белой бумаге. Его рука дрожала. Другой солдат тяжело влез на стол и прикрепил бумагу с надписью на грудь висящему мальчику. Потом он перенес стол ко второму фонарю и повесил такую же бумагу на грудь толстому человеку. Потом все постояли минуту и ушли. Вскоре из подвалов высыпали

немцы и немки. Они подошли к повешенным, постояли, почитали и молча разошлись.

Снова опускался вечер. Предстояла бессонная ночь в ожидании. «Неужто и завтра наши не придут?»

Лубенцов впервые подумал о том, что — чем черт не шутит! — он может и не выбраться из этого Шнайдемюля. Но он тут же себя одернул. Ведь наши завтра обязательно придут. Ведь, наверно, и комкор, и командарм, и командующий фронтом негодующе запрашивают: «Долго вы там будете возиться со Шнайдемюлем?»

Прошла ночь. Наступило утро. А вокруг царила почти полная тишина. Напрасно вслушивался Лубенцов в окружающий мир. Наша артиллерия молчала. Движение на улицах оживилось. Немцы шли во весь рост, разговаривали громко и вели себя так, словно все самое страшное для них уже позади.

## XXV

К вечеру над Шнайдемюлем стали появляться немецкие транспортные самолеты «Ю-52». Немцы высыпали из подвалов и подворотен на улицу и приветственно махали платками. С самолетов, кружащих над городом, стали отделяться десятки парашютов, белых и красных. Они спускались все ниже, трепеща в порывах холодного ветра. К парашютам были подвязаны ящики — по-видимому, боеприпасы и продовольствие осажденному городу.

Было совсем тихо, даже пулеметы замолчали. И Лубенцову, дрожавшему в болезненном ознобе, пришла в голову странная мысль: «А что, если наши вот теперь, к ночи, снимают осаду?» Сам не зная, по какой ассоциации, он вспомнил промелькнувшее недавно перед ним обросшее худое лицо. Того человека, кажется, звали Швальбе. Да, Гельмут Швальбе, обер-фельдфебель 25-й пехотной дивизии. Это он говорил тогда при допросе низким сумасшедшим голосом:

— В темных шахтах куется тайное оружие, которое спасет Германию.

— Глупости,— произнес Лубенцов вслух.

И в наказание себе за минуту слабости решил ночью подняться куда-нибудь повыше. Не может разведчик лежать в трущобе, не видя и не зная, что творится вокруг!

Он пересчитал свои гранаты. Их было четыре. В пистолете семь патронов. Прекрасно. Одной из гранат можно будет, в случае необходимости, подорвать себя. Он выбрал эту предназначенную для себя гранату. То была меченая граната, на ее деревянной ручке когда-то торчал сучок. Теперь все гладко обстругано, но остались коричневые кружки, напоминающие о том, что такая смертельная штуковина когда-то была зеленеющим деревом. Гранату эту он положил в карман, отдельно от других.

Когда стемнело, Лубенцов слез с дивана, накинул на плечи немецкое пальто и пополз. В коридорчике он снял с вешалки зонтик: пригодится вместо палки. Прислушавшись к неопределенным шумам, он отпер и открыл выходную дверь. Тихо, темно и мокро. Он полз по лестнице вверх очень медленно — не столько из осторожности, сколько от боли и слабости.

На третьем этаже Лубенцов увидел над собой ночное небо: пол-этажа было вырвано снарядом. На лестнице недоставало ступенек, а вверху и вокруг висели железные двутавровые балки с насаженными на них огромными кусками стен. Это препятствие он преодолел с трудом, ухватившись за одну из балок.

Четвертый этаж весь скрипел и стонал. В комнатах без стен стояла какая-то мебель: кресло, детская коляска. Вспышка ракеты осветила куклу в голубом платье, зацепившуюся косичками за карниз.

В конце коридорчика оказалась распахнутая дверь на балкон. Лубенцов шагнул туда и увидел железную пожарную лестницу. До крыши оставалось добрых два метра. Лубенцов стал взбираться, цепляясь за мокрое железо почти окостеневшими руками.

Крыша здесь была невредима. Подальше темнел провал. Гудел ветер. Лубенцов встал во весь рост у дымохода, силясь что-нибудь увидеть или услышать. Но кругом царила полная тишина. Хотя бы одна очередь трассирующих пуль, хотя бы один пушечный выстрел. Ничего.

Лубенцов сел ждать, пока рассветет. Кровельное железо чуть подогнулось под ногами, и Лубенцов вспомнил, как он любил мальчишкой взбираться на крышу, весело тарахтя железом, воображая себя разведчиком и партизаном, прячась за дымоход и медленно выползая из-за него...

Лубенцов сидел, ожидая рассвета. Минуты тянулись очень

медленно. Однажды из-за туч появилась луна, но она тут же спряталась. Пошел гнилой снежок. Где-то обрушилась часть стены. Перекатываясь по глухим, полуразрушенным закоулкам, гул замер в отдалении. Лубенцов сидел неподвижно, почти ни о чем не думая, а только ожидая. Становилось все холоднее. Где-то внизу кто-то тяжело кашлял. Потом небо начало чуть-чуть бледнеть, а ночная темнота — уходить в темные закоулки, все более сгущаясь там, в то время как остальное словно линяло и предметы становились все выпуклее. На восточном горизонте, за лесами, там, где находилась Таня, показалась длинная, тяжелая оранжевая полоса. Запад еще был погружен во тьму, а на востоке оранжевая полоса становилась все больше и светлее, понемногу теряла свою мрачную окраску, желтела, теплела.

Солнце заиграло на шпилях немецких кирх.

Лубенцов сидел неподвижно, ожидая, пока станет светло на западе. Понемногу начал проясняться и западный горизонт.

Лубенцов встал. В первый раз приходилось ему видеть советские позиции с такой высоты со стороны противника. Траншеи тянулись по склону небольшой возвышенности. Среди самых крайних корпусов завода сновали, как муравьи, маленькие люди. Лубенцов не различал лиц и даже одежды, но он сразу почувствовал, что это свои. Он увидел водокачку, поврежденную вражескими снарядами, и ему показалось, что он уловил в лучах восходящего солнца блеск стекол стереотрубы.

Лубенцова била жестокая лихорадка, и раненая нога, казалось, мучительно сжималась и разжималась. Но он уже не чувствовал этого. Он был во власти других, более могучих сил. Он уже не был одинок и потерян среди врагов. Он ощутил дрожь восторга и гордости за свой народ, за выкованную им непобедимую силу. И Лубенцову в лихорадочном полубреду представилось, что он находится не на крыше разбитого немецкого дома, а на дальней сопке Волочаевки и что именно он и есть тот человек со знаменем, стоящий там в вечном порыве.

Советские солдаты на руках катили орудия, деловито подтягивали пушки почти вплотную к заводским корпусам. Сверху казалось, что солдаты заколдованы, что их кто-то заговорил от смерти. А пулеметный и орудийный огонь немцев становился все сильней. И вот наши солдаты падали, но снова поднимались. Поднимались не все, но этого Лубенцов не видел сверху. Они черными точками возникали то здесь, то там, пере-

бегали, упорно ползли, упрямо продвигались вперед, исчезали, снова появлялись из воронок, из-за штабелей кирпича, пропадали в домах, выскакивали в самых неожиданных местах и в самые неожиданные моменты.

Упали фонари с повешенными, сбитые снарядом.

Из всех звуков боя — лая фаустпатронов, взрывов, грохота обвалов, кашля минометов — особенно близко и резко отдавался в ушах Лубенцова звук надрывающегося пулемета, того самого, крупнокалиберного, который, как Лубенцов заметил вчера, установлен в подвальном этаже на перекрестке, метрах в двухстах от дома, где находился гвардии майор.

Тем же путем, каким он пробрался на крышу, Лубенцов начал спускаться вниз. В самом доме было еще темно. И казалось, что находишься в глубоком трюме во время свирепствующей кругом сокрушительной бури.

Лубенцов сунул в карман свою пилотку, надел и наглухо застегнул пальто и, опираясь на зонтик, спустился по лестнице и вышел во двор.

Мимо него пробежала молоденькая девушка с узлом на плечах. Она что-то сказала ему, но он прошел мимо. Девушка исчезла.

Он шел, хромая и сжав зубы, перелез через какую-то ограду и очутился в другом дворе, где тоже суетилось несколько немцев, большей частью стариков и старух. Он прошел мимо них. Кто-то обратил внимание на то, что он сильно хромает, и спросил его о чем-то. Он молча прошел мимо немцев и на виду у них не спеша перелез через следующую ограду, помогая себе зонтиком и крепко сжав зубы.

Это и был тот самый двор с пулеметом.

К улице здесь выходил палисад, вдоль которого была вырыта траншея. От траншеи во двор вел ход сообщения, уходящий затем влево и пропадающий в садике. В ходе сообщения стояли два немца. Они тащили какой-то ящик, по-видимому с патронами, и теперь остановились отдохнуть. Что-то в лице этого хромающего человека в наглухо застегнутом пальто, без головного убора и с растрепанными русыми волосами обратило на себя их внимание. Они пристально посмотрели на него. Он прошел мимо, не остановившись ни на мгновение, и только когда солдаты оказались позади него, подумал о том, что через разрез пальто можно увидеть советские форменные брюки. Поэтому он заставил себя идти медленнее.

Он медленно шел по двору с застывшим лицом, чуя на своем затылке холодок от взглядов вражеских солдат. Нет, они ничего не заметили и не окликнули его.

Тут, на счастье, кругом начали рваться снаряды. Все попрятались кто где мог; потом солдаты побежали: видимо, русские были близко. И только этот человек с растрепанными русыми волосами медленно шел по двору к раскрытой двери черного хода.

Войдя в дом, гвардии майор сразу же увидел перед собой один лестничный марш, ведущий наверх, и другой, слева, ведущий вниз. Дальше дверь палево вела в полуподвал. Там, внизу, задыхался от ярости пулемет. С потолка сыпалась штукатурка.

Лубенцов открыл дверь, прикрыл ее за собой и оперся о косяк, чтобы отдышаться и дать передохнуть ноге. Потом он вгляделся в полутьму. На фоне окна полуподвала четко вырисовывались силуэты двух солдат над пулеметом. Лубенцов двинулся вправо вдоль стены, опираясь на нее спиной, и потом, остановившись, приготовил гранату. Пулемет клокотал. Полуподвал дрожал мелкой дрожью.

Лубенцов бросил гранату и лег плашмя на пол. Взрыв потряс весь дом, отбросил самого Лубенцова в сторону и оглушил его. Опомнившись через минуту, он приготовил вторую гранату и пополз к окну. По перекрестку метались немцы, удирающие кто куда. Он бросил в них одну, потом вторую гранату, затем подумал мгновение, вынул из кармана последнюю, меченую, и тоже швырнул ее на улицу, в кучу бегущих немцев.

Капитан Чохов, пробираясь со своей ротой по дворам к Берлинерштрассе, увидел разрывы гранат и ревниво подумал о том, что вот кто-то ухитрился раньше него ворваться в город. Он тем не менее не преминул использовать эту неожиданную помощь и бросился вперед. Рота захватила перекресток и продвинулась дальше, на прилегающую улицу.

В подвале одного из домов солдаты обнаружили начальника разведки дивизии гвардии майора Лубенцова, пропавшего без вести три дня назад. Он был ранен и очень ослабел. Возле него валялись два убитых немца и разбитый пулемет.

Принесли носилки.

— Выздоравливайте,— сказал ему на прощание Чохов.— Очень рад, что вы живой.

Бой за город длился еще двое суток. К вечеру второго дня стрельба утихла. Появилась группа немецких транспортных самолетов, сбросивших вниз на парашютах груз масла и сыра, к немалому удовольствию солдат.

Вечер выдался на удивление теплый. У Гинденбургплац произошло соединение с дивизией, штурмовавшей город с юга.

Среди солдат этой дивизии, показавшихся из-за громады собора, Чохов узнал рыжеусого сибиряка, своего попутчика по карете. Рыжеусый тоже сразу узнал капитана и отдал ему честь.

— Жив еще? — спросил Чохов.

— А как же? — ответил рыжеусый, улыбаясь и вытирая рукой потный лоб.— Нам теперь умирать уже поздно. На Берлин пойдем, что ли?

— Подожди на Берлин. Сначала Шнайдемюль возьми.

— А что Шайдемуль? Шайдемуль, почитай, уже взятый...

И, присоединившись к своим, он исчез среди развалин.

*Часть вторая*

## БЕЛЫЕ ФЛАГИ

### I

Притихшие немецкие города и селения встречали русских солдат белыми флагами. Белые флаги трепетали на окнах, балконах и карнизах, обвисали под снегом и дождем, призрачно светились в темноте ночей. Германия еще не сдалась, но каждый немецкий дом в отдельности капитулировал, словно отстраняя от себя карающую руку, словно говоря: «С нацистами делайте что угодно, но меня не трогайте...»

Чем дальше на запад, тем оживленнее становились дороги Германии.

Навстречу советским войскам шли колонны поляков и итальянцев, норвежцев и сербов, французов и болгар, хорватов и голландцев, бельгийцев и чехов, румын и датчан, словаков, греков и словен.

С велосипедами и тачками, с рюкзаками и чемоданами шли мужчины, женщины и дети, старики и старухи, девушки и парни. На пиджаках, на разномастных мундирах со споротыми погонами, на куртках и плащах, на платьях и кофтах были нашиты цвета всех национальностей мира. Люди пели, кричали и разговаривали на двунадесяти языках, пробираясь в разных направлениях, но в одно место: домой.

Уже издали, при приближении наших солдат, заслышав гул краснозвездных танков, чехи начинали кричать: «Мы чеши!» —

французы: «Français! Français!» — и все остальные, каждый на своем языке, провозглашали свою национальность, как знак братства и как щит.

Даже итальянцы, венгры и румыны, недавние гитлеровские союзники, виновато, не очень радостно, но все же поспешно сообщали свою национальную принадлежность. Европа ликовала, почувствовав себя свободной, и гордилась тем, что ради ее освобождения пришли сюда советские дивизии, неудержимым потоком устремившиеся по всем дорогам Германии.

Но вот за поворотом показалась толпа людей под красным флагом.

Это были русские. Бывшие военнопленные на костылях, женщины и дети, молодые ребята из Смоленска, Харькова, Краснодара, девушки в белых, завязанных под подбородком косынках.

Все остановилось. Солдаты окружили их, начались объятия и поцелуи, полились слезы. Молодая регулировщица опустила флажок, застыв на месте с мокрыми щеками.

Пошли торопливые расспросы: кто смоленский, кто полтавский, кто донской. Нашлись земляки, почти родичи, «седьмая вода на киселе». Русские люди, так давно оторванные от родины, с удивлением ощупывали солдатские и офицерские погоны, мальчики любовно гладили стволы советских автоматов, смущенной краской заливались девичьи щеки под восхищенными взглядами солдат.

И каких только не бывает чудес на свете! Из грузовика, за которым тащилось огромное орудие, спрыгнул пожилой сержант. И тут же к нему бросилась молоденькая русая девушка, словно она только этого и ждала. Весь артполк остановился как вкопанный, и над отцом и дочерью, упавшими в объятия друг другу, раздалось громогласное «ура».

Около этой группы ходила другая девушка, смуглая, красивая, с белой косынкой, упавшей на плечи, и говорила, говорила без умолку:

— Яке щастя, яке щастя! А мого батька тут немае?

Она бегала вдоль колонны, заглядывала в лица артиллеристов и пехотинцев и все спрашивала:

— А мого батька тут немае?

— А жениха не треба? — спросил какой-то молодой голос с машины, и из-под брезента высунулось красное смеющееся

лицо с веселым, веснушчатым, шелушащимся носом, носом добряка и балагура.

Движение прочно застопорилось.

В этот момент к перекрестку выехала машина с бронетранспортером. Из нее вышел генерал. Пробравшись через толпу к регулировщице, он строго сказал:

— Забывать о деле нельзя.

Многие офицеры узнали генерала. Это был член Военного Совета. Все притихли. Сизокрылов обратился к освобожденным:

— Не задерживайте солдат, товарищи,— у них много дела впереди. Командиры частей, ко мне!

К члену Военного Совета побежали командиры — пехотинцы и артиллеристы. Он сделал им строгое внушение по поводу непорядка.

— Где командир артполка? — спросил он.

Кто-то побежал искать командира артполка. Генерал отошел в сторону, предоставив офицерам навести порядок.

Послышалась команда:

— Становись!

— По машинам!

Все медленно тронулось. Посреди дороги остались только отец с дочерью. Он беспомощно и нежно отталкивал ее от себя, что-то говорил ей тихим голосом и тревожно поглядывал на генерала.

— Почему остановился полк? — спросил Сизокрылов у подбежавшего полковника-артиллериста.

Полковник ответил:

— Виноват, товарищ генерал.

— Что вы виноваты, я знаю,— холодно возразил член Военного Совета.— Мало того что вы сами задержались, но еще и создали пробку. Грош цена такому командиру!

Подъехало несколько легковых машин с генералами — командирами соединений, шедших по этому пути. Генералы попытались было отдать члену Военного Совета установленный рапорт, но Сизокрылов не стал их слушать. Он подошел к пожилому сержанту, стоявшему с дочкой на дороге, и сказал:

— Что, повезло солдату? А довоевать войну все-таки надо.

Сержант торопливо приложил руку к пилотке и, в последний раз взглянув на дочь, полез в машину. Одновременно под брезентом скрылся и веселый нос.

Перекресток опустел — и как раз вовремя. В небе появились вражеские бомбардировщики, которые, правда, сбросили всего две бомбы, так как советские истребители тут же прогнали их.

Член Военного Совета обратился к генералам и политработникам:

— Быстрота теперь важнее всего. Вы обязаны точно выдерживать график движения. Репатриируемые должны следовать по обочинам дороги, не мешая движению войск. Политотделы частей отвечают за работу с репатриантами, организуют митинги. Но все это должно делаться не в ущерб продвижению частей к Одеру.

После того как член Военного Совета уехал, офицеры и генералы постояли, посовещались и, по правде сказать, при этом покачивали головами: «Ох, строг! Ничем его не проймешь!..»

Прибыв в Ландсберг, генерал Сизокрылов вызвал к себе по телеграфу полковника — начальника отдела репатриации. Тот прилетел на самолете. К генералу он не вошел, а вбежал. На его сияющем лице было написано, как он горд и счастлив, что на его долю выпала такая историческая роль: отправить на родину освобожденных советских людей.

Член Военного Совета сказал:

— Я расспрашивал репатриантов, куда они следуют. К сожалению, не все знают свои сборные пункты. Некоторые из них не получили причитающегося им пайка. Между тем у вас достаточно офицеров, средств и транспорта.— Взглянув на полковника с некоторым презрением, Сизокрылов повысил голос: — Ваши офицеры, полковник, слишком умиляются. Простите, я бы даже сказал: глупо умиляются. Солдаты могут себе в данном случае позволить проявить свои чувства; вполне естественно, что советские люди счастливы, выполняя свою историческую миссию. Большевистским руководителям умиляться нечего, нужно руководить делом, которое поручено нам партией. Организуйте дело так, чтобы освобожденные из лагерей люди были сыты, довольны и твердо знали, что будут вскоре дома. И чтобы они при этом не мешали военным действиям, от которых зависит быстрейшая ликвидация бедствий войны.

«Не человек, а кремень!» — обиженно думал полковник, стоя навытяжку перед членом Военного Совета.

Сизокрылов поехал дальше. Глядя на идущих по дороге солдат и на толпы освобожденных людей, он, чтобы заглушить в

себе непрошеную волну умиления и восторга, думал привычную думу о множестве различнейших дел. Правда, это теперь не всегда удавалось ему.

Сизокрылов, человек, вся жизнь которого была связана с партией, был счастлив, что мир освобождают от фашизма советские войска, предводительствуемые коммунистами. Он считал это закономерным явлением, так же как и то, что партизанским движением во всех странах руководили коммунисты. Коммунизм — сила, освобождающая мир. Необходимо, чтобы советские люди показывали всем другим образец выполнения долга, моральной чистоты — всех тех качеств, которыми их наделила жизнь в свободной стране.

Любовь к людям? Да. Но любовь действенная, целеустремленная. Борьба со злом, но борьба государственным путем, под руководством могучей партии, ибо тут, как подтвердил исторический опыт, не могут помочь благие пожелания, тут может помочь только железная организация, военная и политическая.

Хотя генерал и не слышал, что о нем говорили в связи с его приказами, распоряжениями, строгими предупреждениями, он тем не менее догадывался об этом, и это обижало его. Нет, ему не было безразлично, что о нем говорит и тот сержант, встретивший дочь, и разные офицеры и генералы, с которыми он сталкивался. Но он не мог считаться с этим. Они не знали и не могли знать того, что знал он.

А дела на фронте обстояли так: задача, поставленная Верховным Главнокомандованием, была выполнена — танковые части вырвались на Одер, форсировали реку и совместно с передовыми частями гвардейской пехоты захватили на западном ее берегу небольшие предмостные укрепления. Немцы беспрерывно крупными силами атаковали группы наших войск на западном берегу Одера.

Самое главное заключалось теперь в том, чтобы удержать и расширить плацдарм. Решала, таким образом, быстрота переброски войск.

Вчера ночью Сизокрылов пришел к командующему, только что получившему первые сведения о событиях на Одере. Они молча посидели вдвоем, ожидая подтверждения еще туманных и неполных донесений. Огромный штаб притих. Наконец тишина разрешилась громким хлопаньем дверей и взволнованными вопросами:

— Где командующий?

— Войдите! — крикнул командующий, распахнув дверь.

Начальник штаба прибыл вместе с офицером оперативного отдела, прилетевшим с Одера на скоростном истребителе. Он привез с собой драгоценную, пока еще единственную карту с наскоро нанесенным положением частей.

Плацдарм существовал! Еще неустойчивый, извилистый, прилепившийся узенькой ленточкой к Одеру, но он существовал!

Как всегда в таких случаях, данные начали прибывать все более растущим потоком: офицеры связи, радио, телефон, телеграф беспрерывно приносили все новые и новые подробности.

Командующий связался по телефону со Сталиным.

Выслушав доклад, Верховный Главнокомандующий приказал расширять плацдарм, обеспечить ему надежное авиационное прикрытие и закрепляться всерьез. Оба пришли к заключению, что двигаться вперед, на Берлин, без предварительной подготовки не следует, особенно учитывая открытый правый фланг, на котором противник, бесспорно, обладает некоторыми возможностями.

Среди других вопросов Сталин задал вопрос о том, как обстоит дело с осадой Шпайдемюля, и командующий сообщил, что операция будет закончена в ближайшие два-три дня.

Так обстояли дела на фронте.

На следующий день Сизокрылов выехал к Одеру.

## II

Мелькали мимо бесчисленные Альт- и Ной-, Клайн- и Гросс-, Обер- и Нидер-берги, -дорфы, -штедты, -вальды, -гаузены, -гофы и -ау. Проносились городишки под черепичными крышами, с обязательными памятниками либо Фридриху Второму, либо Вильгельму Первому, либо Бисмарку, либо курфюрсту Бранденбургскому — «великим», «железным», «непобедимым». Почти в каждом городке стояли памятники немецким солдатам 1813, 1866, 1870—1871 или 1914—1918 годов от «благодарного отечества» и «признательных сограждан».

На этих монументах, хотя их поставили совсем еще недавно, были нагромождены все аксессуары романтического средневековья: ржавые мечи, щиты, панцири. Чугунные орлы парили над каменными постаментами.

Не было ни одного памятника поэту или музыканту. Для внешнего мира Германия когда-то была страной Гёте, Бетховена и Дюрера, а здесь царили Фридрих, Бисмарк и Мольтке. Потерпевшие поражение па Марне тоже обзавелись монументами, увенчались лаврами и под шумок были причислены к лику победителей.

Генерал Сизокрылов с глубоким интересом присматривался к окружающему и размышлял о Германии.

Конечно, трудно было составить себе ясное представление о ней па основании мимолетных впечатлений. Генерал все время был в разъездах. Только изредка останавливался он по делам службы то в одной, то в другой воинской части, то на полевых аэродромах. Кроме того, он знал, что духовный центр страны находится дальше — за Одером, на Эльбе и на Рейне; та юнкерская Германия, что тянулась по Одер с востока, искони давала «фатерланду» только свиней и солдат.

Однако ясно было одно: жители этих мест, хозяева этих покинутых домов, люди, изображенные на фотографиях в толстых семейных альбомах,— трудолюбивые, дисциплинированные, несколько педантичные,— эти самые люди сделались страшным орудием в руках жадной и бессовестной гитлеровской шайки.

Каким же образом дошла до такого состояния великая страна? Течение ее истории вдруг завертелось безобразным и диким омутом — конечно, не без помощи золотого дождя англо-американских займов.

Немцы не сумели уловить за туманом слов, истошных криков, демагогических вывертов и широковещательных обещаний той непреложной истины, что Гитлер не Германию спасает от «версальского диктата», а спасает немецких капиталистов и помещиков от немецких же рабочих и крестьян. Они не поняли этого потому, что выродившейся верхушке социал-демократии удалось усыпить их бдительность пустыми посулами и многолетним потворством худшим собственническим инстинктам.

В итоге Гитлеру удалось, разгромив рабочее движение, перевести энергию немецкого народа в иное русло: против народов Европы.

Сизокрылов, разумеется, помнил о доблестных людях Германии, брошенных в застенки и концлагери, но ему не так легко было примириться с мыслью, что немецкий рабочий класс в целом не выдержал тяжелого испытания. Эта мысль мучила Сизокрылова и даже, можно сказать, уязвляла его гор-

дость старого большевика. Он любил рабочих людей и горячо верил в их великое будущее. Наравне со всеми коммунистами он был воспитан в духе священного уважения к людям труда любой национальности. Однако тут следовало глядеть правде в глаза. И следовало думать о будущем.

Поражение Германии должно стать победой ее рабочего класса, победой над реакционными воззрениями и шкурными интересами.

По издавна укоренившейся привычке Сизокрылов всеми впечатлениями обязательно делился с женой и сыном. Но сына уже не было в живых. И погиб он в конечном счете за то же самое дело, за которое погиб гамбургский рабочий Эрнст Тельман. Понимают ли это немецкие рабочие и поймут ли?

Жене генерал тоже не мог писать. Он сознавал, что следовало бы сообщить ей о гибели сына, но все медлил, откладывал. Он просто боялся. Ему казалось, что она не переживет этого горя. И, говоря себе, что теперь много страдающих матерей и все-таки они продолжают жить, он думал с тоской: «Нет, *она* не перенесет».

Вскоре Сизокрылова отвлекли от всех этих мыслей важные новости, сообщенные специально прибывшим от командующего офицером.

Да, предположения командования оказались справедливыми. На не захваченной еще нашими войсками широкой полосе вдоль балтийского побережья к востоку от Одера, по которой отступали бегущие на Свинемюнде и Штеттин германские части, несомненно происходили события первостепенной важности. Там шла концентрация немецких войск.

Радиоразведка засекла до трех десятков новых штабов в районе Штаргард — Штеттин. Об оживленном движении танков и пехоты противника из берлинского района к северо-востоку доносила и авиация. Батальон танков, высланный с разведывательной целью в район города Пириц, был атакован немецкими танковыми частями неизвестной нумерации.

Более того: Москва сообщила, что британская морская разведка настоятельно и даже в паническом тоне тоже предупреждает об опасности, грозящей с севера. При этом называется гигантская цифра: якобы полторы тысячи танков сосредоточили немцы на побережье.

Сизокрылов удивился такой неожиданной и непрошеной заботливости союзников, потом понял, что их беспокоит советский

плацдарм на западном берегу Одера. Они, видимо, рассчитывают, что советское командование, испугавшись угрозы с севера, отведет войска на восточный берег, лишив себя таким образом возможности в скором времени начать наступление на Берлин. Англо-американцам — не только из соображений престижа, но и с другой, далеко идущей целью — очень хотелось самим взять вражескую столицу.

Командующий далее сообщал, что он приказал начать переброску войск на север и сам выезжает туда же. Одновременно он распорядился неуклонно продолжать расширение и укрепление одерского плацдарма и военные действия по взятию немецких крепостей Кюстрин и Франкфурт-на-Одере.

Командующий попросил Сизокрылова принять на Одере решительные меры по выполнению этого распоряжения, от которого зависела судьба будущего наступления на Берлин.

Перед выездом член Военного Совета вызвал к себе руководителей контрразведки. Он сообщил им, что в своих поездках по фронтовым тылам видел много блуждающих групп людей из местного немецкого населения. Шли семьями, с домашним скарбом, держась проселочных дорог, что, впрочем, естественно при нынешних условиях.

Среди них генералу встречались и молодые немцы. Они были в гражданском платье, но даже неискушенный человек мог заметить их военную выправку.

— Среди этих людей,— сказал генерал,— могут оказаться военные преступники, да и просто шпионы. Германское командование пока еще существует, и нет оснований рассчитывать на его бездействие.

Контрразведчики доложили генералу о принятых мерах. Действительно, контрразведке удалось захватить немало переодетых в гражданское немецких офицеров в Шверине, Ландсберге, Кенингсвальде и Кенигсберге в Неймарке (городок, называющийся так в отличие от прусского Кенигсберга). Далее, в одном деревенском доме арестованы два фашистских разведчика, которые дали ценные сведения. Задержаны также крупный гитлеровский промышленник, бежавший из Силезии, один из руководителей тамошнего отдела концерна «Герман Геринг» и ряд других людей, бывших комендантов, подкомендантов, зондерфюреров. Все эти люди хотели попасть к наступавшим на западе американцам.

— Они, по-видимому, думают, что американцы, наши союзники, их приголубят,— сказал полковник из контрразведки.

Генерал посмотрел на него, выразительно покачал головой и хмуро произнес:

— К сожалению, у них имеются основания так думать...

После разговора с контрразведчиками генерал заехал в лагерь освобожденных нашими войсками пленных союзных летчиков.

Лагерь разместился в заводском поселке с двухэтажными кирпичными домиками. Уже издали генерал услышал невероятный гул, пение и крики.

В лагере царило не совсем трезвое веселье. Американские и английские летчики гуляли по улицам в обнимку, перекликаясь друг с другом и громко тараторя.

Их радость была вполне естественна. Немцы уже собирались посадить их в машины и отправить дальше на запад, когда в лагерь ворвался один русский танк. Сначала они даже не поняли, что это *русский* танк. Когда танк приблизился, американцы бросились наутек, думая, что гитлеровцы хотят их уничтожить перед отступлением.

Танк постоял с минуту, словно нюхая огромным стволом пушки воздух, потом врезался в самую гущу эсэсовских охранников. Потом он отъехал назад, поурчал немного, ударил по дому, где в страхе скрылись охранники, своротил этот дом, как сворачивают молодецким ударом скулу, повернулся вокруг своей оси, выпустил два снаряда по грузовикам, стоявшим на дороге в ожидании военнопленных, после чего ушел.

Напрасно побежали за ним американцы и англичане, крича слова благодарности и желая вытащить из стальной громадины этих славных ребят, которые так неожиданно, спокойно и весело освободили двести пленных летчиков. Славные ребята, оказывается, были заняты другим делом. Они раздавили гусеницами немецкую зенитную пушку и исчезли за поворотом дороги.

После прихода советских частей английские и американские летчики просили всех приезжавших в лагерь русских офицеров разузнать, кто же все-таки сидел в этом танке.

Смешно сказать, но англичане и американцы, очевидно, считали спасение двух сотен англо-саксов чуть ли не величайшим подвигом этой войны.

Советские офицеры отмахивались:

— Да ну, не все ли равно!

Летчикам сообщили, что для них уже готовы несколько «дугласов» и что вскоре их отвезут на аэродром.

При виде подъехавшего генерала англичане и американцы встали во фронт и приветствовали прибывшего — каждый посвоему: американцы — легким движением правой ладони ко лбу и вперед, англичане — деревянным поднятием руки с несколько вывороченной ладонью к фуражке.

Сизокрылов сошел с машины, пожал руки стоявшим впереди союзным офицерам и спросил через своего переводчика, не нуждаются ли они в чем-нибудь.

Ему ответил высокий англичанин — сэр Реджинальд Тенгли, полковник британских королевских воздушных сил.

Они ни в чем не нуждались и благодарили советское командование за дружескую заботу и поистине товарищеское отношение. Впрочем, у них была одна просьба: если можно, сообщить по телеграфу родным о том, что они живы и здоровы. Генерал согласился и предложил дать его адъютанту список фамилий и званий всех находящихся здесь. Телеграф передаст все это в Москву, в британскую и американскую военные миссии.

Американский майор в очках высказал другую просьбу: нельзя ли его, майора, пока не отсылать? Ведь это черт знает что — в такой момент отсюда убраться! Он, если генерал ничего не имеет против, поступит на службу — временно — в советские воздушные силы, с тем чтобы встретиться на Одере с американцами и уж там перейти к своим.

— На Одере? — переспросил генерал.— На Одере американцев нет. Там немцы. С американцами мы встретимся, вероятно, на Эльбе.

— Значит, Берлин будете брать вы? — спросил другой майор, англичанин.

Генерал пытливо посмотрел на него и односложно ответил:

— Да.

Беседа шла вежливо и тихо, но вдруг в рядах союзных офицеров произошло замешательство. Слегка пьяные сержанты и лейтенанты, толпившиеся позади, за полковниками и майорами, рванулись вперед, отстранив старших по званию, окружили генерала и стали неистово пожимать руки ему и советским офицерам, стоявшим рядом с ним. Встреча сразу потеряла официальный характер. Воздух огласился радостными междометиями и выкриками:

— Тэйнкс, боддис!..
— Лонг лив Раша!..[1]

Полковник королевских воздушных сил сэр Реджинальд Тенгли недовольно покачал головой, но тут же снова вежливо заулыбался, чуть снисходительно, как улыбаются по поводу детской шалости. Он улыбнулся еще шире, заметив, что генерал наблюдает за ним. Наконец его улыбка расползлась уже совсем широко, когда он увидел, что проходящие по дороге советские солдаты приветливо машут руками освобожденным союзным офицерам. Только уши помешали дальнейшему развитию его улыбки.

По дороге безостановочным потоком шли русские солдаты. В выражении их лиц, вообще говоря — добродушных и приветливых, Тенгли прочитал нечто такое, что можно было бы назвать сознанием силы. Русские шли не спеша, но упорно и уверенно, рассматривали все окружающее спокойными, чуть лукавыми глазами. Плащ-палатки на них, раздуваемые ветром, громко трещали, как паруса.

Тенгли вспомнил о бесчисленных разговорах в среде британских высших офицеров по поводу того, что Россия выйдет обескровленной из этой войны. «Не похоже,— подумал он теперь и вдруг ощутил ноющее беспокойство: — Далеко же в Европу зашли они!..»

Улыбка его соответственно начала суживаться все больше.

Тогда заулыбался генерал. И обнаружилось, что это строгое лицо обладает способностью улыбаться ехидно и так проницательно, что англичанину стало не по себе.

В этот момент подъехали автобусы, присланные для переброски союзных офицеров на аэродром, и Сизокрылов отправился дальше.

### III

В связи с событиями на севере части, отдыхающие в Шнайдемюле после взятия города, получили приказ на марш.

Начальник штаба полка майор Мигаев, ночью прибыв из штаба дивизии, собрал командиров батальонов, рот и батарей и огласил приказ.

Командиры, чинно сидящие в кожаных креслах в дирекции

[1] Спасибо, ребята! Да здравствует Россия! *(англ.)*.

какого-то шнайдемюльского банка, где разместился штаб полка, записали в блокноты и нанесли на карты все, что требовалось, и не стали задавать дополнительных вопросов, ибо привыкли к дисциплине. Подкрепляя, по своему обыкновению, каждую фразу словами «так, значит», Мигаев дал указания по поводу предстоящего марша. Потом он спросил с некоторой грустью:

— Вопросов никаких?

— Все ясно,— ответил за всех комбат 2.

И только из дальнего угла послышался мальчишеский и суровый голос нового капитана — командира второй роты. Это был даже не вопрос, а угрюмая констатация:

— Значит, не берлинское направление.

Мигаев оживился. Он услышал именно то, о чем сам думал с огорчением.

— Да, вот именно,— сказал Мигаев,— выходит, не берлинское направление. Так, значит.

«Все натворил этот Шнайдемюль»,— думали офицеры и ругали город последними словами.

Утром первый батальон выступил с Гинденбургплац — центральной площади города; солдаты затянули песню. Из окон и подворотен во все глаза глядели немецкие дети.

Весельчаков верхом на лошади ехал впереди батальона. Командиры рот, тоже верхами, следовали во главе своих поредевших подразделений. За пехотой прошли батальонные минометы, ярко начищенные и имевшие довольно мирный вид.

Пулеметы — те и на тачанках, обращенные стволами назад, выглядели грозно. Потом проследовал обоз, а позади всех на повозке ехала Глаша, сияя румяным лицом и приветливо улыбаясь всему миру.

Солдаты, рассчитывавшие на длительный отдых, все же были довольны неожиданным выходом в путь-дорогу. Правда, и они, кое-что прослышав о маршруте, огорченно покачивали головами: эх, не на Берлин! Они пытливо смотрели на деревни и городишки, на черепичные крыши, на ограды и палисадники, над которыми болтались развеваемые буйным ветром белые флаги.

Шагая по дороге, солдаты вели неторопливые разговоры, степенно делясь впечатлениями о Германии.

Старшина Годунов, бывший колхозный бригадир, потомственный земледелец, интересовался, разумеется, главным обра-

зом сельским хозяйством. Он растирал на пальцах серую немецкую землю, опытным взглядом окидывал маленькие крестьянские полоски и обширные помещичьи поля, а на привалах в деревнях подробно осматривал дворы и службы.

— Разно жили,— говорил он, почесывая могучий, коротко подстриженный затылок.— У помещика здешнего было две тысячи гектаров земли, а у остальных жителей в деревне у всех вместе пятьсот! Черт знает что за порядок! Полное неравенство! — Он презрительно усмехался, шел некоторое время молча, и все понимали, что он думает о родном колхозе «Путь Ленина» на далеком Алтае, колхозе, о котором Годунов уже не раз рассказывал солдатам. Потом он вдруг вспоминал о своих нынешних обязанностях и кричал громовым голосом: — Не растягиваться!.. Разобраться!.. Пичугин, не отставать!

Верный своей укоренившейся привычке обобщать жизненные факты, парторг Сливенко заметил:

— А они всё жаловались: земли мало... Даже воевать с нами пошли, чтоб землю захватить!.. А им бы лучше за землю со своими помещиками воевать: и обошлось бы дешевле, и толк был бы другой!

Покачиваясь на спине огромного коня и краем уха прислушиваясь к солдатским разговорам, Чохов думал о себе.

Только что его нагнал, тоже верхом, майор Мигаев, сообщивший ему, что он, Чохов, представлен к ордену Красного Знамени за шнайдемюльские бои. Капитан первый ворвался со своей ротой в город, захватил главный корпус завода «Альбатрос» и Кверштрассе.

Теплая волна поднялась в самолюбивой душе Чохова, но он ничего не сказал. Мигаев спросил, щуря глаза:

— Что ты сказал?

— Ничего,— ответил Чохов.

«Мальчишка паршивый!» — подумал Мигаев. Ему очень хотелось, чтобы Чохов что-нибудь сказал. Он болел душой за капитана, тем более что из личного дела Чохова уже знал его биографию. Но Чохов смотрел на Мигаева довольно угрюмо и молчал.

— Ладно, догоняй роту,— досадливо сказал Мигаев.

— Есть догонять,— ответил Чохов и тронул повод.

Однако, присоединившись к своим, он с удовольствием подумал об этом красивом и славном ордене на вновь введенной

недавно красно-белой ленте. Впрочем, он тут же прикрикнул на себя: «Не раскисай!»

«Да и Кверштрассе,— думал он, по возможности охлаждая свой пыл,— мы так быстро захватили только благодаря гвардии майору Лубенцову. Он ударил гранатами по немцам с тылу...»

Он вспомнил о Лубенцове с глубокой симпатией. Опасно ли он ранен? Вернется ли в дивизию?

Солдаты поглядывали на Чохова с уважением. Даже Сливенко, который вначале относился к нему очень настороженно, решил теперь, что новый командир — парень хороший, хотя и со странностями. «Политически трошки отсталый»,— думал о нем Сливенко. Сливенко, в частности, неодобрительно относился к тому, что Чохов по сей день таскал за собой свою знаменитую карету,— правда, карета следовала отдельно, где-то в полковых тылах, «подальше от начальства».

Во время боев за Шнайдемюль капитан восхитил своих солдат необыкновенным хладнокровием. Он был словно заворожен от пуль, и вся повадка его была такая, будто его и в самом деле в детстве намазали волшебной мазью, как он сообщил на одном привале. Только пятка, с мрачноватым видом объяснял он своим солдатам,— пятка, за которую мама его держала в это время, осталась необмазанной, и это есть его единственное уязвимое место.

— Да это же вы про другое рассказываете,— рассмеялся Семиглав.— Это ахиллесовой пятой называется.

Чохов сказал:

— Так нечего и спрашивать.

Дул сильный северный ветер, и солдаты шли согнувшись. Полы шинелей и концы плащ-палаток развевались, громко хлопал брезент, покрывавший повозки. Мокрый снег падал на стволы минометов. Ветер гудел в придорожных деревьях, низко стлался по полям, рвал с балконов и окон белые тряпки.

На четвертый день марша рота остановилась в большом барском поместье. За густо побеленной каменной оградой, над которой торчали голые ветки больших деревьев, стоял старый дом с мезонином. Стены его были увиты плющом, вьющимся красивыми узорами, похожими на морозные узоры зимних окон.

Старшина Годунов, разместив солдат, пошел, по своему обыкновению, поглядеть на помещичьи службы. Что ж, конюшни и скотный двор были «на высоте», не хуже, чем в род-

ном алтайском колхозе. Только здесь все это богатство принадлежало одному человеку, и Годунов опять презрительно усмехался по этому поводу.

Он сказал парторгу:

— Еще говорили, немцы — культурный народ... А разве это культурно, когда один имеет столько, а другие — ни хрена?!

Во дворе среди оштукатуренных служб стояла легковая машина «мерседес-бенц», к радиатору которой было приделано обыкновенное деревянное дышло для пароконной упряжки. Годунов созвал всех солдат, чтобы они полюбовались на это устройство.

Солдаты громко смеялись, очень довольные тем, что бензин в Германии кончается и что даже помещики ездят на «конском бензине».

Годунов пристроил возле этой немецкой кареты времен Гитлера чоховскую старинную карету времен кайзера Вильгельма и, распорядившись насчет ужина, отправился в соседние крестьянские дворы, где порядком испуганные немцы встречали его подобострастными улыбками. Так как Годунов знал по-немецки только слова «хальт» и «капут», он и не стал с ними объясняться, а просто, как турист, осмотрел несколько крестьянских дворов, заваленных навозом, маленьких и унылых. И, вполне удовлетворенный осмотром, покачивал головой и громыхал:

— Все ясно!

Довольная улыбка сползла с лица старшины, когда он, вернувшись обратно на помещичий двор, обнаружил отсутствие Пичугина. Выяснилось, что Пичугин отстал еще на дневном большом привале, в городке Шенеберг. Старшина забеспокоился. Приходилось докладывать капитану о пропаже солдата.

— Найти его! — сказал Чохов.

Годунов отрядил Семиглава в Шенеберг. Поздно вечером, когда все уже улеглись спать, Семиглав наконец вернулся вместе с Пичугиным.

— Где пропадал? — спросил старшина, усвоивший ясную и отрывистую манеру чоховской речи.

Пичугин стоял перед старшиной, мигая узенькими голубыми глазками.

— Заснул, товарищ старшина,— сказал он.— А проснувшись, не знал, куда идти. Ждал, авось вы кого-нибудь пришлете за мной.

То же самое Пичугин повторил подошедшему капитану, добавив:

— Спасибочко, что прислали за мной!..

Он говорил униженно, но лукаво. Говорил явную неправду.

— На здоровьичко,— сказал Чохов.— В следующий раз пошлем за тобой пулю.

И он отошел, оставив Пичугина раздумывать над этой угрозой.

Пичугин почесал редкие рыжеватые волосы и шепнул Семиглаву с испугом:

— А что ты думаешь? Убьет! Он такой!..

В барском поместье все затихло. Пичугин погулял по двору, потом вернулся в дом, заглядывал в лицо то одному, то другому из спящих солдат. Все спали. И только в большой комнате, заставленной книжными шкафами, на большом диване полулежал Сливенко и курил огромную махорочную скрутку, огонек которой вспыхивал в полумраке, освещая задумчивое лицо старшего сержанта.

Пичугин на цыпочках подошел к парторгу, с минуту постоял молча, наконец сказал:

— Посмотри-ка, что я тебе покажу.

Он выбежал и тотчас же вернулся со своим вещевым мешком. Развязывая лямки, он хитро ухмылялся, как заговорщик.

— Посмотри-ка, Федор Андреич,— сказал он тоненьким, не совсем уверенным голоском.— Погляди в мой «сидор», чего я достал.

В вещмешке лежали свернутые трубкой хромовые кожи.

— А зачем они тебе? — думая о чем-то своем, равнодушно спросил Сливенко.

— Солдату они ни к чему, это ты правильно говоришь, Федор Андреич, а штатскому крестьянину они в самый раз. Войне вот-вот конец. То-то! Это верных три тыщи у нас в Калуге. Фашист все разграбил, забрал, люди в лаптях ходят, как до революции. Вот оно что!

Сливенко махнул рукой.

— Да перестань ты!.. Что ты, своими двумя кожами всех обуешь?

— Как так всех? — обиженно сказал Пичугин.— Зачем мне все? У меня и своих довольно! Семья, Федор Андреич, шесть душ.

— Семья? — Сливенко посмотрел на Пичугина, но ничего не сказал.

А Пичугин не унимался:

— Да и правильно это. Это вроде как бы контрибуция. Драть с них шкуру! Вот что, если хочешь знать!

— Хромовую шкуру,— засмеялся Сливенко и отвернулся, может быть, заснул, во всяком случае не отвечал на все дальнейшие попытки Пичугина продолжать разговор.

Пичугин ушел, улегся на свою койку в соседней комнате, но заснуть не мог.

Видя столько беспризорного добра, брошенного убежавшими немцами, пустующие квартиры и магазины, он весь горел от жажды стяжания. Он готов был плакать, вспоминая свою разрушенную избу. Ему хотелось перетащить туда все, что он видел: доски, кирпич, стулья, посуду, лошадей и коров. Он мечтал о большой повозке, величиной с автобус. Эх, если бы выдали каждому солдату повозку с парой лошадей! Он ворочался с боку на бок, и ему представлялась эта повозка, нагруженная доверху. Вот она въезжает в родную деревню, и ее встречают радостные возгласы детей.

«Конечно,— оправдывался он мысленно перед Сливенко, которого очень уважал,— хорошо бы всех обуть!.. Да я человек маленький!.. Не парторг!..»

На стенах комнаты висели большие картины в золоченых рамах. Неясные очертания каких-то чужих, написанных краской лиц глядели вниз, на Пичугина.

Часовой у ворот мерно шагал туда и обратно. Внизу шаркали старушечьи шаги. Во всем доме, кроме часового, не спали двое: Пичугин и старуха хозяйка.

Хозяйкой владел непрерывный, почти безумный страх. Она то ли не успела, то ли не захотела убежать вместе с сыном, понадеявшись, что ее, старуху, никто не тронет.

Теперь, сидя в маленькой комнатушке для прислуги и вздрагивая при каждом шорохе, эта наследница родовитых прусских дворянчиков ежеминутно ожидала смерти от руки большевика с длинной бородой. Несмотря на то что кругом царила тишина, штофные обои не изменили своего рисунка, а бронзированные головы сфинксов на ручках кресла смотрели с тем же выражением безмятежного спокойствия, старуха чувствовала, что на нее надвинулся какой-то новый, непонятный, враждебный и страшный мир, в котором ни ей, ни всему, к чему она привыкла, не может быть места.

Она воспринимала приход русских вовсе не как приход

какой-нибудь армии завоевателей, а именно как конец света — того света, в котором она прожила всю жизнь.

Никто не являлся за ней, и это повергало старуху в еще больший трепет.

Только на рассвете дверь в комнату широко распахнулась, и на пороге появилась огромная русская женщина в военной форме. Появление именно женщины, а не ожидаемого большевика с бородой, испугало старуху до обморока. Она глядела в большие светлые глаза «комиссарши» и шептала помертвевшими губами молитву.

Глаша, приехавшая вместе с батальонным парикмахером, была слишком занята, чтобы разбираться в причинах испуга этой старухи. Она велела затопить баню для солдат. Бани, однако, в деревне не оказалось: немцы обычно мылись в тазах и лоханках. Глаша удивленно ахнула. Приказала приготовить горячую воду. Старуха, считая, что чудом спаслась от смерти, побежала выполнять приказание.

## IV

Капитан Чохов сошел вниз.

Глаша сообщила ему, что полк постоит здесь некоторое время, так как дивизия ждет пополнения.

Во дворе царила веселая суета: стрижка волос, раздача мыла и чистого белья. Глаша строго-настрого приказала солдатам в дальнейшем спать, раздевшись до нательного белья.

— Хватит,— говорила Глаша сердито,— поспали в окопах да блиндажах! Пора снова к приличной жизни привыкать!

Старуха хозяйка в длинном черном платье с воланами возилась в просторной кухне, стоявшей обособленно во дворе. Она ходила вокруг огромной кафельной плиты, где грелись лохани с водой. С нею вместе хозяйничали две служанки — молодые немки с высокими прическами, украдкой стрелявшие глазами в солдат.

Чохов, увидав, что теперь ротой командует Глаша, ушел к себе наверх, не желая подчиняться женщине даже в вопросах гигиены.

Он вскользь осмотрел большие картины в золоченых рамах, потом сел у окна и вдруг подумал, что эта древняя старуха в

черном платье — вероятно, помещица. Уразумев это, он даже широко раскрыл глаза.

Живая помещица! Это было так странно! Неужели вот эта старуха в черном — хозяйка всех окружающих усадьбу угодий, всей этой земли, всех этих рощ и лугов?

Чохов с совсем особым интересом смотрел теперь на лесок, видневшийся на краю серого, присыпанного снежком поля. Было очень странно, что этот обыкновенный молодой осинник, лес как лес, принадлежал одному лицу и это лицо — вот та старуха.

Он снова спустился во двор. Глаша уехала в третью роту. Солдаты уже купались. Были слышны их смех и плеск воды в больших лоханях. Парикмахер стриг солдат на застекленной террасе. Он вынес туда из гостиной большое зеркало, чтобы было как в настоящей парикмахерской. Служанки таскали к дому все новые лохани с горячей и холодной водой.

Помещица в черном длинном платье по-прежнему стояла у плиты. Ее желтое одутловатое лицо было влажным от пара.

Черт возьми, она была обыкновеннейшей старухой! Гадкая старушонка — и все!

Тут же за Чоховым увязался высокий старик с длинными и тощими ногами, в шерстяных чулках до колен поверх штанов и в зеленой шляпе, на которой смешно колыхался пучок зеленоватых перьев. Он оказался управителем.

Он кланялся Чохову, поминутно спрашивая:

— Darf ich, Herr Oberst? [1]

«Оберст — это полковник,— думал Чохов.— Прислуживается, старый подхалим!..»

Чохов все смотрел на помещицу. Положительно, она была просто гадкой старушонкой. И как могли здоровенные немцы терпеть, чтобы ими командовала эта сгорбленная, жирная баба-яга? Хотя немцы и Гитлера терпели...

«А пожалуй, надо было бы ликвидировать ее как класс»,— подумал Чохов. Он решил узнать мнение парторга на этот счет. Сливенко уже помылся и вышел во двор. Чохов пригласил его сесть рядом с собой на скамейку и, помолчав с минуту, неопределенно сказал:

---

[1] Разрешите, господин полковник? *(нем.)*

— Видите, помещица...

— Да,— ответил Сливенко, окидывая равнодушным взглядом фигуру старухи, маячившую в дверях кухни.

Потом он посмотрел на сосредоточенное лицо капитана и понял: хоть Чохов и капитан, но совсем ведь мальчишка — он видит помещицу в первый раз в жизни!

Сливенко рассмеялся:

— А что? Не мешало бы ее отправить к ее русским родственникам?

— Да,— сказал Чохов и поднялся со скамейки, может быть, для отдачи соответствующего приказания.

Однако Сливенко остался сидеть.

— Не сто́ит,— сказал он как будто лениво и повторил уже настойчивее: — Не сто́ит.

— А землю крестьянам,— сказал Чохов полувопросительно.

— Все своим чередом,— произнес Сливенко и добавил лукаво по-украински: — Це, товарищ капитан, политыка не ротного масштабу.

Это замечание покоробило Чохова, вновь напомнив ему о том, что он всего лишь командует ротой. И, в душе согласившись с парторгом, что социальные преобразования не входят в компетенцию командира стрелковой роты, он тем не менее нахмурился.

Заметив в глазах капитана гневные огоньки, Сливенко встал и сказал предостерегающе:

— Я политотдел запрошу, пусть там скажут...

Чохов прекрасно понял намек Сливенко. Он снова сел на скамейку.

К ним подошел старшина, тоже чисто вымытый и весь сияющий. Когда он узнал, что эта старуха в черном — местная помещица, он удивился еще больше Чохова. По правде сказать, он тоже был согласен с капитаном, что тут нужно принимать срочные меры.

— У-у, ведьма! — громыхнул старшина своим мощным голосом по всему двору, так что немки испуганно оглянулись.— Раскулачить ее!

Но парторг сумел и его урезонить. Старшина пошел на уступки и сказал капитану:

— Ну, тогда пусть она нас хоть завтраком кормит!

— Это можно,— сказал Чохов и добавил, покосившись на Сливенко: — Поскольку она эксплуатировала чужой труд.

Тут Семиглав крикнул из окна, что капитана вызывают в штаб батальона. Оседлали коня, и Чохов отправился в соседнюю деревню, а Годунов пошел объясняться с хозяйкой насчет завтрака.

После завтрака солдаты запели. Окна были раскрыты настежь, и песня понеслась по всей деревне. Пели возвышенные и грустные песни, до боли напомнившие родину.

Произнося знакомые с детства слова, солдаты вскоре сами почувствовали контраст между духом песни и духом окружающей обстановки. Они непонятным образом начали прислушиваться к привычной мелодии как бы со стороны, как бы с точки зрения немцев, молчаливо сидящих по своим домам и слушающих звуки широкого русского напева. И оттого что солдаты воспринимали свою собственную песню словно со стороны, они находили в ней совсем новую прелесть и раньше не замечаемую силу.

Однозвучно гремит колокольчик...—

самозабвенно выводил Семиглав, по-новому удивляясь этим словам и восхищаясь ими.

«Ох батюшки, какие красивые слова!» — думал он.

Старшина Годунов, поступившись на сей раз своим старшинским достоинством, вторил густым басом и умиленно прислушивался к ладному течению песни, вспоминая свою родную деревню, бескрайние нивы и густые леса Алтая и гордясь тем, что он здесь и что *они* его слушают.

У окна пригорюнился Пичугин, поддерживая остальных мягким тенорком.

И припомнил я ночи другие,—

пел Гогоберидзе. Он пел на восточный лад, глуховато, протяжно, с неожиданными, мягкими переходами.

Несмотря на то, что песни были чисто русские, ему они напоминали прекрасную Грузию, родную Кахетию, зеленые виноградники на берегах Алазани. Злорадно поблескивая синеватыми белками горячих глаз, он повышал голос, чтобы те, сидящие в домах, лучше слышали:

И припомнил я ночи другие,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза...

Сливенко взгрустнулось, и он незаметно вышел во двор. У ворот стоял часовой, с завистью прислушиваясь к поющим.

Сливенко вышел на улицу. Здесь проходила большая дорога, пустынная в этот ранний час, и он прислонился к каменной ограде, куря махорочную цигарку.

Невдалеке, возле ограды, собрались какие-то люди. Они стояли, прислушиваясь к песне русских солдат и односложно переговариваясь между собой. Заметив их, Сливенко подошел поближе и спросил:

— Вам чего нужно?

От кучки людей отделился молодой человек в старом джемпере и синей фланелевой фуражечке с висящими по бокам наушниками и сказал с робкой радостью — сказал почти по-русски, но со странным нерусским акцентом:

— Я есть чех. Чех!

Сливенко подал ему руку, и польщенный этим чех так сильно пожал ее, что Сливенко даже улыбнулся. А когда Сливенко улыбался, каждый мог видеть насквозь его добрую душу. Люди окружили русского солдата, пожимали ему руку и дружески похлопывали по плечу.

Из объяснений чеха Сливенко понял, что двадцать человек батраков помещицы — баронессы фон Боркау — пришли поблагодарить русских за освобождение. Среди них были голландцы, французы, бельгийцы, один датчанин и он — «чех, чех!».

И еще выяснилось, что баронесса со вчерашнего вечера начала их прекрасно кормить. И что сегодня на завтрак была яичница, впервые за все годы. А для того чтобы баронесса фон Боркау разорилась на яичницу для батраков, нужно было, чтобы в Германию пришла вся русская армия.

— Только русская армия, и больше никакая в мире! — перевел чех восторженное замечание одного француза.

— А русских батраков тут нет? — спросил Сливенко.

Чех сказал радостно:

— Нет! Нема русских.

Этот живой, посиневший от холода, но веселый чех обо всем говорил весело, даже о своем пребывании в гитлеровском концлагере год назад. Видно, его переполняла такая радость, что в ее свете тускнели самые мрачные воспоминания.

Оказалось, что русские батраки были здесь, но они ушли дней десять назад, как только в этих местах появились первые

советские танки. Впрочем, не все русские батраки ушли. Одной девушке так и не довелось дождаться прихода своих. Она умерла в конце прошлого года, и они похоронили ее недалеко отсюда.

— Русска слечна...[1] Плакала, плакала... и умерла,— так рассказал чех про эту девушку.

Стало очень тихо. Все ждали, что скажет Сливенко. Он помрачнел и отрывисто произнес:

— Заходьте.

Они вошли во двор веселой гурьбой. Правда, увидав стоящую у окна старуху в черном платье, батраки оробели и замедлили шаг, но Сливенко, приметив это, ободряюще сказал:

— Идемте, не бойтесь.

Он посмотрел на старуху в упор такими ненавидящими глазами, что та, трепеща, немедленно скрылась.

Окружив освобожденных батраков, солдаты оживленно заговорили с ними — главным образом руками и глазами. Старшина Годунов встал во весь свой исполинский рост, кликнул двух немок с высокими прическами и велел им угощать батраков.

— Все, что попросят,— объяснил он,— подавать! Понятно?

Однако ему и этого показалось мало. Он велел прислуживать у стола старухе. Медленными шажками проходила она из кухни к столу и уходила обратно, неся тарелки в дрожащих толстых руках.

Сливенко отошел с чехом в глубь двора. Здесь он постоял молча, потом спросил:

— А кто она была?.. Та русская?..

Чех объяснил, что девушка работала здесь в качестве «Schweinemädchen» (свинарки), а была она родом из Украины.

— С Украины? —переспросил Сливенко и стал закручивать махорочную цигарку.

— Так,— ответил чех.

Сливенко сел на скамейку, пригласил чеха сесть рядом с собой и сказал:

— Закурить не хотите?

Еще бы! У батраков совсем не было табаку, и это, пожалуй, было хуже голода. Сливенко отсыпал чеху в ладонь половину содержимого своего большого шелкового кисета.

---

[1] Девушка *(чешск.)*.

Да, девушка была с Украины — чернявая, смуглая, с длинными косами. Вот там, на скамейке, возле свиного хлева, сидела она вечерами и плакала, покуда этого не замечали баронесса или управитель герр Фогт. Баронесса всплескивала руками и возмущенно говорила: «Ах, боже мой, русская опять сидит без работы!». «И почему они плачут?» — удивлялся управитель.

— С длинными косами? — спросил Сливенко.

— Так,— сказал чех.

Она вместе с другими прибыла сюда в сорок втором году. Они все очень плохо выглядели.

— Ясное дело,— сказал Сливенко и наконец хрипло спросил: — Как ее звали?

Ее звали не Галя, а Мария.

Чех ушел к столу, а Сливенко остался сидеть на этой самой скамейке у свиного хлева, горестно подперев голову руками. Хотя девушка и не была его Галей, но разве мало в Германии барских имений и русских могил?

Солдаты расшумелись.

Молодежь окружила стройную молодую голландку с ослепительно золотыми, почти рыжими волосами, падавшими до плеч.

Она была очень красива, ее ярко-синие глаза бросали из-под длинных черных ресниц победительные взгляды на солдат, млевших от удовольствия. К сожалению, голландка представила и своего мужа, тихого белесого голландца, и это охладило пыл Гогоберидзе, которому красотка очень понравилась.

— Ну, что? — подшучивал Пичугин, подметив разочарованный взгляд Гогоберидзе.— Замужняя бабенка, а? А ты все-таки, знаешь, не зевай...

— Ну нет,— обескураженно ответил Гогоберидзе.— Голландец, союзник, понимаешь!..

Пичугин молодцевато поглядывал на женщин, в особенности на одну уже немолодую француженку — «по годам в самый раз» — и говорил с ними без умолку, немилосердно склоняя на русский манер немецкие слова:

— Теперь вам, фравам, погутшает!..

Женщинам было весело. Они ловили завистливые взгляды немок и исподлобья, злорадно усмехаясь, наблюдали баронессу фон Боркау, как она ходит, мелко перебирая ножками, от кухни

к столу, от стола к кухне. Как они жалели, что не знают ни слова по-русски!

Впрочем, златокудрая красавица Маргарета знала песню, которой она выучилась у своих русских подруг здесь, в поместье. И она запела нежным голоском, бойко вскидывая на солдат синие смелые глаза и ничуть не стесняясь. Произносила она русские слова с невозможным акцентом:

Миналёта кекаталис
Солитиста олетой!

Это должно было означать: «Мы на лодочке катались, золотистый, золотой». Солдаты раскатисто смеялись.

## V

Когда Чохов прибыл в штаб батальона, оказалось, что вызвали его на совещание — обычное летучее совещание командиров рот по поводу порядка марша и замеченных в нем недостатков, подлежащих устранению.

Все обратили внимание на угрюмый вид комбата. Хотя он и говорил привычные слова о заправке бойцов, о чистке и смазке оружия и т. д.,— но казалось, он думал в это время о чем-то другом, то и дело останавливался, запинался, и его легкое заикание — следствие контузии сорок первого года — сказывалось сегодня особенно явственно.

После совещания зашла Глаша. Она пригласила командиров рот завтракать и, силясь улыбаться, сказала:

— Последний раз вместе позавтракаем, деточки...

Выяснилось, что утром получено приказание откомандировать Глашу в распоряжение начсандива «для прохождения дальнейшей службы».

Приказание это было совершенно неожиданным для Весельчакова и Глаши. Майор Гарин, проводивший расследование, много раз заверял, что все в порядке и что никто их не собирается разлучать.

И вот внезапно — это приказание.

Робкий Весельчаков, который не любил и не умел разговаривать с начальством о своих личных делах, все-таки, после Глашиных настояний, позвонил заместителю командира полка.

Но и заместитель, и начальник штаба майор Мигаев довольно резко ответили, что раз есть приказ, значит, нечего рассуждать.

Тогда Глаша позвонила в штаб дивизии майору Гарину. Тот смущенно сказал, что ничего не мог поделать, так приказал корпус. Корпус! Для Весельчакова и Глаши корпус был недосягаемой высотой, чем-то почти заоблачным. Они ужаснулись тому, что их «дело», их простые имена фигурировали где-то там, в корпусе.

Сели за стол, но сегодня не было того оживления, какое обычно царило за столом у хлебосольной Глаши. Разговаривали тихо и о посторонних вещах.

Весельчаков молчал, только время от времени вскидывал глаза на Глашу и невпопад говорил:

— Ну, ничего, ничего...

Подали повозку, ординарец комбата сунул в нее Глашины вещи. Глаша расцеловалась с командирами рот, заместителем комбата, адъютантом батальона, ординарцем и со всеми солдатами штаба батальона. Она поцеловала каждого в обе щеки, троекратно, по русскому обычаю, потом уселась в повозку.

Офицеры стояли на крыльце, молча глядя на происходящее. Ездовой тронул вожжи, Весельчаков пошел рядом с повозкой.

Глаша сказала:

— Сапожная щетка и мазь в вещмешке, в левом карманчике. Сережа знает. Гребенка в кителе, смотри носи ее там всегда и клади обратно на место. Носовых платков у тебя девять штук, меняй их через день. Юхтовые сапоги в починке, сегодня будут готовы, заберешь их — обуй, а хромовые отдай починить, там правый каблук совсем стерся. Как приедет новый фельдшер, отдай ему сульфидин и спирт — они в чемодане, спрятанные.

Когда повозка завернула за холм и деревня пропала из виду, ездовой остановил лошадь. Глаша слезла, залилась слезами и обняла Весельчакова.

Они все не могли расстаться и шли еще некоторое время следом за повозкой, в которой ездовой сидел, тактично отвернувшись и сосредоточенно глядя на лошадиный хвост.

Чохов тем временем пустился в обратный путь. Конь медленно ступал по мокрому асфальту. На полях, покрытых кое-

где снегом, крутилась злющая поземка. Дорога была довольно пустынна, изредка проезжали одиночные машины. Одна такая машина остановилась, и с кузова на асфальт спрыгнули три человека. Машина ушла дальше, а люди постояли, закурили и не спеша пошли навстречу Чохову.

— Капитан! — окликнул его один из них.

Чохов остановил коня. Перед ним, улыбаясь, стоял знакомый разведчик, капитан Мещерский, высокий, стройный, очень приветливый и, как всегда, необычайно вежливый.

— Очень рад вас видеть,— сказал Мещерский.— Вы тут поблизости?

— Да, в соседней деревне,— показал Чохов рукой в направлении барского поместья; потом он спросил: — Дивизия надолго остановилась?

— Никто не знает,— сказал Мещерский.— Мы вот в медсанбат идем. Там наш гвардии майор лежит.— Вспомнив о чем-то, Мещерский воскликнул: — Товарищ капитан! Это же вы его выручили! Пойдемте к нему, он будет очень рад. На днях он про вас спрашивал.

Чохов строго сказал:

— Я его не выручал. Может быть, он меня выручил. Ударил по немцам с тылу.

— Вот и замечательно! — сказал Мещерский.— Ах, простите! Совсем забыл познакомить... Оганесян, переводчик наш... Старшина Воронин... Капитан Чохов...

Чохов повернул коня и поехал рядом с разведчиками. Вскоре они свернули на боковую дорогу. Издалека виднелись красная черепица деревенских крыш и неизбежная башня кирхи. Потом показались белые пятна санитарных палаток, над ними вился дымок «буржуек».

Чохов при виде палаток испытал то чувство глубочайшего уважения, которое испытывает любой перенесший ранение солдат. Медсанбат навсегда оставляет у людей самые светлые воспоминания. Раненого привозят сюда из самого пекла боя, сразу же кладут на чистую простыню, переодевают в чистое белье, дают сто граммов водки, нежные руки бинтуют его, обтирают мягкой марлей запекшуюся кровь, смачивают водой воспаленный лоб. Контраст с только что пережитым в бою настолько разителен, испытываемое чувство облегчения настолько велико, что при одном виде белой санитарной палатки ощущаешь впоследствии глубокую признательность.

Чохов спешился и повел коня на поводу. Повсюду мелькали женские фигурки в белых халатах. Сестры, пробегая мимо разведчиков, приветливо улыбались им и на ходу сообщали:

— Гвардии майор вас ждет с утра!

— Утром гвардии майору делали перевязку!

Мещерский остановился возле одной из палаток.

— Гвардии майор здесь лежит,— сказал он, обращаясь к Чохову.

Чохов привязал коня к ближней ограде и вслед за разведчиками вошел в палатку. Их встретила молодая краснощекая медсестра, которая дала им халаты и проводила за брезентовую перегородку.

Лубенцов сидел на койке, похудевший и серьезный.

Узнав Чохова, он сказал:

— Здравствуйте. Вот кого не ожидал здесь видеть!

Все уселись на стоявшие возле койки стулья. Мещерский вышел к медсестре за перегородку и, как водится, вполголоса спросил о самочувствии гвардии майора. Так поступала мать Мещерского, когда в доме кто-нибудь болел и приходил врач. Мещерский, бессознательно подражая матери, спрашивал так же тихо и так же подробно обо всем, что касалось раны гвардии майора, входя в самые мельчайшие детали.

Оганесян дал Лубенцову последние номера «Правды» и «Красной звезды». Воронин, осторожно оглядевшись и даже посмотрев в оконце, нет ли где поблизости врачей, сунул Лубенцову под подушку фляжку с вином.

— Ну, ну, брось! — возразил Лубенцов.— Чего прячешь? Давай! Мы ее сейчас же и разопьем.

Гвардии майор лежал в палатке один. Раненых не было. Лубенцова оставили лечиться в медсанбате, хотя это не полагалось. Комдив, узнав, что рана легкая, не захотел расставаться со своим разведчиком: ведь из госпиталя он мог попасть в другую дивизию, а генерал дорожил им.

Когда вернулся Мещерский вместе с медсестрой, Воронин что-то шепнул ей на ухо. Она покачала головой, однако тут же ушла и вскоре принесла — тоже оглядываясь, чтобы врачи не заметили,— несколько стаканов.

Все выпили и молча посидели, отдыхая душой и телом, как это всегда бывает с людьми переднего края, оказавшимися на короткое время вне боя.

Дрова в печке трещали. Сестра, сидя на корточках перед

открытой дверцей, время от времени подбрасывала сухие сосновые поленья. Было тихо, уютно и тепло.

Вдруг брезент затрепетал, и в палатку вбежала девочка в шинели без погон, бледненькая, большеглазая, с черными блестящими волосами, подстриженными по-мальчишечьи.

— Немцы сосредоточиваются в районе Мадюзее, Штаргард,— выпалила она торопливо, потом улыбнулась одними губами, пожала всем руки, а незнакомому человеку, Чохову, кратко представилась: — Вика.

Чохов понял, что это дочь командира дивизии. Он видел ее впервые.

Вика только что была у отца и принесла Лубенцову новости, которые постаралась поточнее запомнить. Она вручила майору листовку с приказом Верховного Главнокомандующего, выражавшим благодарность войскам за взятие Шпайдемюля.

— А знаете, кто передавал вам привет? — Победоносно оглядев присутствующих, она торжественно произнесла: — Генерал-лейтенант Сизокрылов! Лично передал. Вам и мне...— Она печально добавила: — У него сын убит.

Вика примолкла и уселась рядом с сестрой возле печки. Лубенцов объяснил:

— Я с членом Военного Совета ездил к танкистам. Ездил-то он, а я служил как бы проводником...— Он обратился к Чохову: — Да вы должны это помнить... Мы еще обогнали ту самую вашу карету.— Гвардии майор нахмурился и спросил отрывисто: — А карета-то с вами, или вы ее уже бросили?

Чохов опустил глаза и ответил уклончиво:

— Верхом езжу.

— Правильно сделали,— сказал Лубенцов.— Кареты к добру не приводят.— Он усмехнулся.

Разведчики не могли не заметить, что гвардии майор сегодня очень задумчив и даже мрачен. Они относили это за счет гибели Чибирева. Но тут была и другая причина. Вчера, во время обхода, Лубенцов разговорился с ведущим хирургом, капитаном Мышкиным. Случайно получилось так, что Мышкин упомянул о хирурге другого медсанбата, Кольцовой, как об очень талантливом и многообещающем молодом враче. Речь шла о сложной брюшной операции, которую сделала Кольцова.

Хотя Лубенцов ни о чем не спрашивал, а так только, поддерживал разговор, Мышкин мимоходом сказал, что у Кольцовой роман с одним из корпусных начальников.

— С каким? — спросил Лубенцов, густо покраснев.

— С Красиковым.

Лубенцова почему-то задело именно то обстоятельство, что это был Красиков. Лубенцов видел полковника несколько раз. То был пожилой, очень резкий и самонадеянный, хотя, безусловно, энергичный и храбрый офицер. Гвардии майору сразу же показалось, что он и раньше недолюбливал Красикова, хотя ничего подобного не было.

Стараясь не думать об этом, Лубенцов обратился к Мещерскому:

— Саша, прочтите что-нибудь. Настроение какое-то смутное, впору стихи слушать.

Мещерский сконфузился.

— Что вы, товарищ гвардии майор! — сказал он.— Нам уже время идти...— Он поднялся было со стула, но Лубенцов удержал его.

Чохов крайне удивился. «Стихи пишет!» — подумал он о Мещерском не без почтения. Нахохлившийся в углу Оганесян впервые за все время заговорил, присоединяясь к просьбе Лубенцова. Вика тоже не осталась равнодушной и сказала:

— Прочтите, мы вас просим.

— Я вам прочитаю «Теркина»,— сказал Мещерский.— В журнале «Красноармеец» напечатаны главы [1].

Все обрадовались. Теркин, этот удалой и мудрый солдат, мастер на все руки, был любимцем фронтовиков, и уже самое его имя вызывало на лице почти у каждого солдата веселую, лукавую и даже горделивую улыбку, словно именно с него, с этого солдата, был списан поэтом Василий Теркин.

Мещерский начал читать, и вскоре все подпали под обаяние неповторимой разговорной интонации этих простых и теплых строк:

Есть закон — служить до срока,
Служба — труд, солдат не гость.
Есть отбой — уснул глубоко,
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.

Есть война — солдат воюет,
Лют противник — сам лютует.
Есть сигнал: вперед!..— Вперед.
Есть приказ: умри.— Умрет...

---

[1] «Василий Теркин», поэма А. Твардовского.

...А еще добавим к слову:
Жив-здоров герой пока,
Но отнюдь не заколдован
От осколка-дурака,
От любой поганой пули,
Что, быть может, наугад,
Как пришлось, летит вслепую,
Подвернулся,— точка, брат.

Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку, колышет,
Каждый день и час грозя.
Кто доскажет, кто дослышит —
Угадать вперед нельзя...

Воронин шумно вздохнул и попросил почитать еще. Мещерский прочитал популярные среди солдат стихи — «Жди меня» и другие. Под конец Лубенцов сказал:

— Вспомните что-нибудь свое, Саша. Вот то, про разведчиков.

Лицо Мещерского сразу стало серьезным. Подумав, он начал тихим голосом, совсем не так воодушевленно и громко, как до того:

В молчании торжественном и строгом
Они ушли по тропам и дорогам
Родимой исстрадавшейся земли,
И матери в тревоге и печали
Им письма материнские писали,
Но только эти письма не дошли.

Разведчики ушли и не вернулись,
Над ними ветки елочек сомкнулись,
Над ними плачет вешняя вода.
Над ними, над немыми, над родными,
В туманном небе, в предрассветном дыме
Горит, не гаснет алая звезда.

Стихи понравились.

— Как в книжке,— сказал Воронин.

Лубенцов, любовно глядя на смущенного похвалами Мещерского, почувствовал страх за него. «Никуда парня не буду больше посылать,— решил Лубенцов,— уж теперь никуда... Меня убьет — не так жалко. А он поэт. Прославится, может быть, после войны, напишет что-нибудь замечательное».

— Вы люди занятые,—сказал Лубенцов,— вам думать некогда... А я вот, лежа на койке без дела, все думаю и думаю целыми днями. Мы даже сами еще не понимаем, что́ мы сделали и в какую силу выросли. Знаете, завидую я Мещерскому: он

стихи сочиняет!.. А просто говорить людям хорошие слова, не в рифму — еще обидятся или засмеют. И обнять всех хочется, да как-то неловко. Я бы сестрицу обнял, да боюсь, подумает, что у меня другое на уме.

Сестричка при этих словах пунцово покраснела и пулей вылетела из палатки.

— Кажись, она не возражает насчет обнимки-то,— засмеялся старшина Воронин.

Вика принужденно улыбнулась этой, по ее мнению, неуместной шутке. Она слушала Лубенцова с большим вниманием.

Лубенцов, не привыкший к сердечным излияниям, смутился и перешел к делам. Он спросил у Оганесяна, сохранилось ли немецкое руководство по пользованию фаустпатроном. Дело в том, что немцы, отступая, бросают огромное количество этих своеобразных противотанковых снарядов, но наши солдаты не все умеют ими пользоваться.

— Надо,— сказал гвардии майор,— перевести руководство на русский язык, отпечатать в нашей дивизионной типографии и распространить среди солдат... Пусть научатся, пригодится.

Оганесян и Мещерский обещали доложить о предложении гвардии майора командиру дивизии.

Чохову не хотелось уходить. Гвардии майора окружала атмосфера какого-то особого спокойствия, добросердечности, взаимной дружественной симпатии.

Однако пора было идти.

— Где стоит ваш батальон? — спросил Лубенцов.

— Недалеко,— сказал Чохов,— у помещицы остановились. Богатая, ведьма. Там у нее картины висят повсюду.

Что тут вдруг случилось с дотоле молчаливым переводчиком! Он вскочил, схватил Чохова за руку и воскликнул:

— Картины? Какие?

На этот невразумительный вопрос Чохов уже не смог ответить.

— Какие! — сказал Чохов.— Не знаю какие. Разные.

— Где это? Я к вам сегодня приду.

Все посмеивались над горячностью искусствоведа.

Чохов сказал:

— Приходите. Мы стоим вон в той деревне. Отсюда видать. Кирха торчит.

Чохов вышел из палатки, отвязал коня, вскочил в седло и поскакал к себе в роту.

## VI

Подъезжая к усадьбе, Чохов услышал солдатский хохот и веселые женские голоса.

Он нахмурился, стегнул плеткой по крутому лошадиному боку, рысью проехал мимо порядком струхнувшего часового и рывком остановил коня посреди двора.

Гогоберидзе, дежуривший по роте, отскочил как ошпаренный от красавицы голландки и крикнул не своим голосом:

— Встать! Смирно!

Смех моментально затих. Все встали. Следом за солдатами, немного напуганные, вскочили и гости.

Не слезая с коня, Чохов обратился к старшине:

— Что за веселье?

Годунов, сохраняя молодецкий вид, поспешил ответить:

— Это, товарищ капитан, не немцы... Это всё французы да голландцы... Они тут батраками работали. Все наши, то есть рабочие люди, товарищ капитан. Пострадали от фашистов...

Чохов сказал:

— Вольно!

Он спрыгнул с коня и прошел в дом.

Здесь в одной из комнат сидели друг против друга помещица и Сливенко. Возле кресла Сливенко стоял незнакомый Чохову молодой человек в поношенном джемпере и синей фуражке. Если бы не землистое от страха лицо старухи, можно было бы подумать, что тут встретились знакомые.

Увидев капитана, Сливенко встал.

— Провожу политбеседу с помещицей,— сказал он, усмехаясь.— Интересно получается! Я у нее спросил, как это она могла пользоваться рабским трудом, это же некультурно. А она отвечает: «Помилуйте, какой это рабский труд, люди, мол, работают, потому что им жить нужно, заработать». Тогда я спрашиваю, а этот товарищ переводит — он чех, все по-нашему и по-ихнему понимает: «Как же так, раз люди здесь подневольно работают, пригнанные из разных стран?» И знаете, что эта старая хрычовка мне отвечает? «Они,— отвечает она,— там умерли бы с голоду, заводы там,— отвечает она,— стоят, разрушения большие, сеют и пашут мало...» Тогда я спрашиваю: «А почему заводы стоят? Почему разрушения? Сами же все наделали, сволочи!»

Сливенко замолчал, махнув рукой.

Тут распахнулась дверь, и в комнату гурьбой вошли иностранные рабочие. Впереди шла, сияя синими глазами, красивая голландка. Она протянула руку Чохову и произнесла несколько слов, покраснев и заметно волнуясь.

Чех перевел. Маргарета от имени всех иностранцев, а также от имени их семейств благодарит капитана и храбрую русскую армию.

Чохов пожал ее маленькую руку и не знал, что ответить.

Ему казалось, что здесь, в этой большой темноватой комнате, заставленной книжными шкафами, он стоит на виду у целого мира. И надо было сказать что-нибудь весомое, конечно, не стихами, но вроде стихов. А то, что он просто капитан, да еще не на очень хорошем счету у начальства,— откуда могли об этом знать молодая голландка и стоявшие позади нее разные люди из разных стран? В их глазах он был могуч и безупречен, и за ним стояла вся армия Советов.

Он сказал:

— Затем мы и пришли.

И хотел сбежать к себе в комнату, но не тут-то было. Иностранцы тесным кольцом окружили капитана.

Чех представил их поодиночке Чохову, и Чохов удивился, что люди, носившие необыкновенные, книжные имена, встречавшиеся только в переводных романах, выглядели почти как русские, как самые обычные люди. Один француз назывался даже похоже на «д'Артаньян», а это был тихий бледный юноша в поношенных штанах.

Они спрашивали, скоро ли можно будет отправляться домой и каким порядком: ждать ли распоряжения советских властей или просто двинуться в путь? Далее их интересовало, нужны ли какие-нибудь пропуска, заверенные советским командованием, и они настоятельно просили о выдаче им таких пропусков.

Голландец Росс просил господина капитана сказать точно, когда кончится война. Француженка Марго Мелье хотела бы знать, можно ли им реквизировать у немцев средства передвижения, а также — есть ли возможность связаться по радио или другим путем с Парижем,— пусть господин капитан отдаст на этот счет приказание.

С каждым новым вопросом Чохов все более конфузился. Он

не знал, нужно ли объяснять, что он всего лишь командир стрелковой роты и не больше того. Но, так или иначе, он был их законным покровителем. Они верили в его могущество, и он не мог, не должен был их разуверять. Может быть, он и сам в этот момент почувствовал себя всемогущим.

Его ответ был: ждать, ждать распоряжений. Распоряжения будут отданы в свое время. Когда советское командование сочтет необходимым.

Маргарета смотрела на него восхищенными глазами. Помещица по-прежнему сидела в креслах, не смея шелохнуться.

Тут Сливенко шепнул Чохову, что батраки плохо одеты, а женщины обуты в деревянные башмаки.

Чохов сурово посмотрел на старуху и сказал:

— Одеть и обуть.

Чех охотно перевел. Помещица поспешно поднялась с места, вынула из кармана огромную связку ключей и засеменила к двери.

Восхищенные женщины пошли за ней выбирать себе одежду и обувь из господских сундуков. Чохов отправил с ними старшину Годунова, чтобы старшина проследил, не то эти, как Чохов выразился, «враги народа» постараются всучить иностранцам одежонку поплоше.

Набрав ворох платьев и туфель, женщины побежали к себе, хохоча и тараторя,— над нарядами надо было еще основательно поработать, подшить, вшить, укоротить старые платья, привести их в соответствие с модами хотя бы 1939 года...

Ах, как они щебетали! Да, эти русские — настоящие парни, они знают, чтó нужно женщинам перед отъездом на родину после таких пяти лет!

Мужчины еще остались побеседовать с капитаном, но тут на улице раздались оглушительные гудки автомашин. Через деревню, овеваемая опахалами маскировочных хвойных веток, медленно проезжала советская тяжелая артиллерия. Все ушли смотреть на гигантские пушки.

Чохов остался один. Он медленно прохаживался по большой гостиной, где на стенах торчали оленьи рога, набитые на черные лакированные дощечки,— хвастливые трофеи барской охоты. Пониже висели картины в золоченых рамах.

Чохов был горд, но на этот раз не собой только, а всеми — солдатами, гвардии майором Лубенцовым, капитаном Мещер-

ским, всеми. Это чувство было ново для Чохова, и он прислушивался к нему внимательно и сосредоточенно.

За окном гудели автомашины, лязгал металл, раздавались веселые голоса и приветственные клики.

Вдруг отворилась дверь, и в комнату вошла Маргарета. Она пробормотала несколько слов, показывая на свои новые черные туфли с высокими каблуками,— видимо, благодарила капитана.

Они стояли друг против друга.

Она была красива и знала это. Он тоже был красив, но он этого не знал. Она была только самой собой и улыбалась ему призывно. Он чувствовал себя представителем великой армии и народа и поэтому старался быть строгим и неуязвимым.

Ткнув себя пальчиком в подбородок, она сказала:

— Margarete... Sie?..[1]

Он понял и ответил:

— Василий Максимович.

Она не поняла длинного имени и сдвинула брови.

— Василий,— сказал он, решив ради краткости отказаться от отчества.

— Ва́силь, Ва́силь,— почему-то засмеялась она, словно обрадовавшись.

Они с минуту постояли молча, потом оба почувствовали себя неловко, и оба не могли понять причину неловкости. «Может, она хочет меня о чем-то попросить?» — думал Чохов, стараясь не слишком приглядываться к девушке. «Может быть, капитан занят, а я его задерживаю и ничего не говорю?» — думала Маргарета.

Она что-то нерешительно произнесла и ждала ответа, но он ничего не ответил, потому что ничего не понял. Тогда она сделала книксен — Чохов даже глаза раскрыл от удивления, о реверансах он читал только в книгах,— и направилась к выходу.

За дверью она минуту постояла неподвижно, затем бегом побежала к своим подругам — рассказать, какой милый и непонятный этот капитан и что зовут его Ва́силь.

Маргарета была родом из Заандама, небольшого городка к северо-западу от Амстердама. Городок этот расположен на самом морском берегу, возле старой дамбы, полон чаек и соленых

[1] Маргарета... А вы? *(нем.)*

запахов рыбы. Когда-то он назывался Саардамом. В августе 1697 года его посетил царь и великий князь московский Петр Первый. Там и доныне стоит памятник Петру, сохранился и домик с черепичной кровлей, в котором русский царь прожил несколько дней. Один лесопильный завод в окрестностях городка называется «De Grootvorst» («великий князь») в память посещения его Петром.

Когда Маргарета задумывалась о России, то эта далекая страна представлялась ей в образе высокого, могучего и непонятного человека, чья исполинская тень пронеслась когда-то по тихим улочкам ее родного Заандама. Даже война немцев с Россией казалась ей далеким, полуфантастическим событием, не имеющим прямого отношения к ней и к ее соотечественникам. Конечно, порабощенные голландцы слушали известия о поражениях немцев в России с радостью: немцев они ненавидели так же, как их предки ненавидели испанцев при Вильгельме Молчаливом. Но они не улавливали прямой связи между этими событиями и своей собственной судьбой.

И вдруг эти события ворвались в их жизнь. Великие восточные пространства оказались не такими уж отдаленными, не такими уж инопланетными, как это представлялось Маргарете Реен, восемнадцатилетней девочке из Заандама, воспитанной на пасторских проповедях, на выдумках бульварных газет и романтике бульварного кинематографа.

Русские — именно они освободили Маргарету и ее соотечественников. Благодаря им она вскоре увидит свою мать, родной городок, берег моря.

Она была полна благодарности к русским. Впервые за три года бродяжнической жизни она почувствовала себя под защитой могучей и дружественной силы. Эта сила воплотилась в маленьком, стройном сероглазом капитане.

Маргарета смотрела на него очарованная и была страшно довольна тем, что он невысок ростом, чуть-чуть повыше ее, не такой, сохрани боже, как Петр Первый, которого она, вероятно, боялась бы.

В присутствии капитана она чувствовала себя в безопасности перед старухой баронессой фон Боркау, ее управителем и разными «амтами», «ратами», «лейтерами», «фюрерами» — всем этим сложным и страшным хороводом, который разлетелся теперь, подобно нечистой силе при свете дня.

## VII

Оганесян пришел в поместье на следующее утро. Предвкушая предстоящее ему наслаждение, он шагал непривычно быстро и одолел лестницу одним махом.

Ему казалось, что он возвращается к тому, от чего он как будто даже без боли и труда отказался,— к своему довоенному ремеслу, не бог весть какому выдающемуся ремеслу музейного экскурсовода. С внезапной острой радостью вспомнил Оганесян полузабытое чувство незаменимости своей первой, далекой жизни среди мерцающих красками холстов.

До войны в музей изобразительных искусств, где он работал, приходили бесчисленные экскурсии школьников, рабочих и красноармейцев.

Оганесян любил объяснять картины красноармейцам, но картины были ему тогда ближе и понятнее, чем эти славные, полные уважения к искусству серьезные парни. Они бесхитростно удивлялись тому, что за красочными неживыми полотнами кроется так много мыслей и подробностей. Полные веры в восходящую линию человеческого прогресса, они с некоторым недоверием слушали его рассказы об утерянных секретах старых мастеров и об их непревзойденных достижениях в колорите и композиции.

За годы войны он увидел посетителей музея не в музее, а в их жизни и воинском труде.

Это были люди, интересующиеся всем на свете, жаждущие все постигнуть и все понять. Огромная любознательность была одной из прекраснейших черт их характера. Они и переводчика любили за то, что он «все знает». Они любили слушать его рассказы о художниках и больше всего о Леонардо да Винчи, которого они, люди практической складки, особенно ценили за математический и технический гений.

То, что солдаты живо интересовались всем этим, радовало и ободряло Оганесяна, который вначале решил, что ничего уже не будет, ничего, кроме окопов, артиллерийских позиций, нудных немецких пленных, тоскливых ветреных ночей, скверных землянок. Нет, солдаты были умнее и прозорливее его. Они знали то, что и он сам понял позже: все впереди, будет жизнь, и борьба идет за нее.

Теперь, в предвкушении осмотра картин, он с новой силой почувствовал, что искусство совсем уж не так отграничено от

пережитых невзгод фронтовой жизни и от судьбы окружавших его офицеров и солдат. Ибо картины — это еще полмузея. Вторая половина — его посетители.

В сопровождении Чохова и черноусого старшего сержанта, оказавшегося парторгом роты, Оганесян медленными шагами вошел в гостиную, где под многочисленными оленьими рогами висели картины.

Тут были неплохие копии: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, венская «Венера» и ленинградская «Персей и Андромеда» Рубенса, дрезденская «Венера» Джорджоне. Рядом с ними висели ландшафты и натюрморты различных немецких художников.

Оганесян испытал восторг, словно встретился со старыми добрыми друзьями. Он ведь до мельчайших подробностей знал биографию каждой картины. Куда девались его сонливость и апатия! Антонюк не узнал бы своего переводчика в этом подвижном, улыбающемся, помолодевшем человеке.

Сливенко, не желавший упустить такой удобный случай для поднятия культурного уровня своих солдат, позвал в гостиную всех людей, свободных от суточного наряда.

Окруженный солдатами, Оганесян начал разъяснять им смысл и композицию картин с той торжественной и важной интонацией, какая свойственна профессиональному музейному экскурсоводу.

Словно вокруг не было никакой войны, словно солдатам не предстояли кровопролитные бои на северном участке фронта, так внимательно слушали они объяснения картин, написанных пять веков назад в далекой Италии — впрочем, теперь уже не такой далекой.

Оганесян, став возле Джоконды и глядя на нее восторженно и влюбленно, говорил, все более воодушевляясь:

— Весной тысяча пятьсот третьего года написал Леонардо портрет Моны Лизы, второй жены знатного флорентинского горожанина Франческо ди Бартоломео дель Джокондо. Кто бы теперь помнил о существовании этого господина и его жены, если бы не кисть великого мастера? Мона Лиза была родом из Неаполя, родилась в тысяча четыреста семьдесят девятом году, вышла замуж шестнадцати лет от роду. Вот она сидит в кресле, с величавой небрежностью опершись руками на подлокотники. Посмотрите на ее лицо, очень прошу вас. Приглядитесь к нему.

Что же это за лицо? Почему о нем пишут, говорят и спорят уже почти пятьсот лет? Многое выражает лицо Джоконды. Некоторые говорят — скромность, другие — нежность, третьи — стыдливость и одновременно тайные желания. Четвертые считают, что оно выражает гордость, даже высокомерие. Были и такие знатоки, которые приписывали этому лицу выражение иронии, вызова, даже жестокости! Загадочность этой прекрасной улыбки вошла в поговорку. Какое же из определений наиболее правильное? Вероятно, все. Художник в мимолетной улыбке флорентинки сумел выразить многогранный женский характер, пламенный и стыдливый, нежный и жестокий...

Оганесян вытер пот со лба и с победоносным видом оглядел серьезные лица солдат. Он добился своего: женщина на полотне была уже для них не просто раскрашенной картиной, а событием, проблемой. Они смотрели на Джоконду с глубоким вниманием.

— У нас в городе,— неторопливо сказал один солдат,— открыли музей перед войной. Много хороших картин привезли. Эта самая тоже там есть. Знаменитая картина. Возле нее всегда полно народу.

— Эту Мону Лизу,— сказал Семиглав,— я в Москве, когда на экскурсию ездил, видел. Там рассказывали, что ее украли из музея.

— Да, да,— подтвердил Оганесян,— в тысяча девятьсот одиннадцатом году оригинал был украден из парижского музея, и только спустя два года картину обнаружили во Флоренции.

Пожилой низкорослый рыжеватый солдат вдруг спросил:

— А сколько, к примеру, стоит такая картина?

Солдаты зашикали на него, а Оганесян сердито кашлянул, но ответил:

— Много. Не меньше полумиллиона.

Солдат ахнул, потом, решив, что его дурачат, сказал с пренебрежением:

— Немецкими марками, что ли?

Оганесян даже побелел от негодования. Он стал горячо доказывать Пичугину, что полмиллиона, вероятно, еще не та цифра, что картина стоит, пожалуй, не меньше миллиона. И золотом, а не марками!

Тогда Пичугин поверил. Он задумчиво остановился напротив этой улыбающейся женщины со сложенными руками и укоризненно покачивал головой, словно удивляясь человеческой

глупости. Все уже давно ушли к другим картинам, а Пичугин все стоял возле Моны Лизы.

Женщины Джорджоне и Рубенса очень понравились солдатам.

— Вот красота! — воскликнул старшина Годунов, забежавший на минутку послушать.

Оганесян радостно покраснел, как будто хвалили его самого.

— И вот это все висит у помещицы,— сказал Сливенко.— Сама только, старая ведьма, и глядела!

Оганесян сразу вспомнил, где он находится и что он смотрит картины, являющиеся частной собственностью какой-то немецкой помещицы.

— Действительно, как это глупо! — пробормотал он.

Чохов пригласил Оганесяна завтракать. Пока готовили к столу, переводчик решил осмотреть усадьбу. Он вышел в следующую комнату, оказавшуюся библиотекой, порылся в книгах. Гитлеровской литературы здесь уже не было: видимо, ее успели уничтожить. Зато на столе, на видном месте, лежали извлеченные из шкафов в связи с приходом русских сочинения Гоголя и Достоевского на немецком языке и томик стихотворений Гейне. Госпожа фон Боркау демонстрировала свою лояльность.

Оганесян спустился вниз и увидел медленно подымающуюся по широкой лестнице молоденькую белокурую девушку. Заметив незнакомого офицера, девушка остановилась, прижалась к перилам и посмотрела на него робко и нагловато в одно и то же время.

Сливенко, провожавший переводчика, сообщил Оганесяну то, что знал о Маргарете.

Оганесян был ценителем красоты, не только изображенной на холсте. Он с удовольствием смотрел на Маргарету, потом заговорил с нею. Для Маргареты было приятным сюрпризом, что смуглый офицер изъясняется на прекрасном немецком языке.

Узнав, что девушка — голландка, Оганесян стал, конечно, прежде всего расспрашивать ее о нидерландской живописи и о судьбе тамошних музеев. Однако он должен был убедиться, что тут она смыслила очень мало. Она созналась в этом без тени смущения. Впрочем, она уехала из Голландии, когда ей было всего пятнадцать лет.

Наверху в дверях показался капитан Чохов.

— Завтрак готов,— сказал он.

Оганесян попросил Чохова позвать к столу и Маргарету. Чохов коротко сказал:

— Ладно, позовите.

Он был очень доволен. Сам он не осмелился бы это сделать.

Маргарета заняла место между Чоховым и Оганесяном и сияла от гордости, что завтракает с двумя русскими офицерами. Она бойко и пространно отвечала на вопросы Оганесяна и время от времени просила, чтобы он переводил ее слова «капитану Ва́силю». Она очень жалела о том, что *ее* капитан не владеет если не голландским, то хотя бы немецким языком.

В 1942 году Маргарету вместе с другими молодыми людьми отправили в Германию — только на период уборки урожая, так обещали им при этом наборе. И вот она уже почти три года на чужбине.

Надо сказать, что нацисты к ним, голландцам, относились гораздо лучше, чем к представителям других национальностей,— по причине, как они объясняли, принадлежности голландцев к германской расе. Голландцы могли свободно ходить по улицам и общаться с немецким населением. На их спины не нашивались позорные лоскутки, как, например, на спины русских и поляков. Им разрешалось получать письма из дому и отвечать на них.

Тем не менее все это было унизительно и страшно. Это была жизнь бродяг, но бродяг подневольных, перебрасываемых партиями из лагеря в лагерь, из провинции в провинцию.

Маргарета исколесила пол-Германии, работала на подземном авиазаводе в предгорьях Гарца, набивала патроны на заводе в Штеттине, убирала хлеб в больших поместьях Тюрингии.

С прошлого года она здесь.

Чего она только не видела за три года, эта стройная красавица бродяжка! Чего она уже не знала! Были и наглые мужчины, и бесстыдные женщины, и свирепые надсмотрщики, и беспощадные хозяева.

Пришлось ей и в тюрьме посидеть.

Работницы авиазавода однажды потребовали, чтобы администрация обратила внимание на жилища. Иностранные рабочие жили в деревянных бараках, в которых протекали крыши. Здесь было полно огромных крыс. Зачинщиков арестовали, и Маргарету вместе с ее подругой — русской девушкой из Смоленска Аней — тоже.

Аня так и не вышла из тюрьмы. Ее очень мучили во время допросов. Маргарету же — вероятно, ввиду ее германской крови — почти не избивали, только однажды ее избили до крови.

Это было страшное время.

Оганесян слушал с глубоким вниманием. Он улавливал в словах Маргареты, и даже не так в словах, как в интонации, горький цинизм, неверие в людей, в их честность и порядочность. Вероятно, она была в достаточной степени испорчена, все казалось ей трын-травой. А может быть, то была только защитная окраска, следствие трехлетних унижений и необходимости как-нибудь выжить, уцелеть в этой бродячей жизни, похожей на просторную мышеловку.

Рассказав все о себе, Маргарета в свою очередь засыпала Оганесяна вопросами. Она хотела знать, что будет после войны. Повесят ли Гитлера?

Правда ли, что в России нет помещиков и вообще богачей? Верно ли, что в России все коммунисты? И коммунист ли капитан Ва́силь? И выходят ли замуж в России? Потому что в газетах писали, что в России не выходят замуж и не женятся, а живут как попало.

Оганесян вскипел и сказал, что это наглая ложь и что газеты врали, а врали именно потому, что в России действительно нет помещиков и вообще богачей. Тогда Маргарета поинтересовалась, женат ли Оганесян. Он ответил, что женат, и в доказательство показал Маргарете фотографию своей жены.

Маргарета очень внимательно и довольно долго глядела на фотографию красивой большеглазой женщины в меховой шубе.

— Красивая у вас жена,— сказала она тихо; помолчав, она спросила, женат ли капитан Ва́силь.

Оганесян перевел ее вопрос Чохову.

— Нет,— сказал Чохов.

Маргарета поняла, вспыхнула и поспешно спросила:

— Верно, что в России всегда мороз?

Оганесян рассмеялся. Потом он принялся объяснять ей, что такое Россия и что на юге там растут лимоны и апельсины, а на Крайнем Севере, на берегах Ледовитого океана, действительно холодно. В центральных же областях обычный европейский климат. И, рассказывая о России, Оганесян стал красноречивым. Задрожавшим от волнения голосом он стал перечислять красоты родной страны, он поведал девушке о снежных горах

Кавказа, о прямых проспектах Ленинграда, об огромных реках и дремучих лесах.

Она слушала очень внимательно, иногда переспрашивая: «Да?», «Вот как?» — и время от времени говоря как будто себе самой: «Об этом надо обязательно рассказать дома».

Она спросила, можно ли ей поехать в Россию. «Там очень хорошо»,— добавила она.

Оганесян, подумав, ответил, что нужно повсюду сделать так, как русские сделали у себя.

— Так нам объяснил и ваш сержант с усами,— сказала девушка, удивившись такому единодушию.— Нам Марек переводил. Это у нас есть чех, который по-русски понимает.

Она уже встала, чтобы уйти, но вдруг остановилась в дверях и сказала с явно подчеркнутой скромностью, прикрыв синие глаза длиннющими ресницами и заметно волнуясь:

— Я говорила вашим товарищам, что у меня есть муж. Так это совсем не муж, это просто Виллем Гарт из Утрехта. Я так говорила, чтобы солдаты не приставали... Я незамужняя.

И Маргарета выбежала из комнаты.

— Бедняжка! — сказал Оганесян. Он перевел Чохову последние слова девушки, потом задумчиво проговорил: — С нее бы картину написать, на тему «Европа, похищенная быком»... Но бык должен быть не белый красавец, как художники писали раньше, а худой, яростный, дикий и отвратительный, как фашизм.

Чохова мифологические сюжеты не интересовали. Когда Оганесян ушел, Чохов остался у стола, полный смутных и торжественных мыслей о себе и о мире.

## VIII

Прежде остальных дивизий корпуса в бой вступила дивизия полковника Воробьева. Первые раненые, появившиеся в медсанбате, рассказывали о немецких танковых атаках, беспрерывных и упорных.

Вскоре появились и немецкие бомбардировщики, которые сбросили на деревню, где расположился медсанбат, несколько бомб.

Началась привычная фронтовая жизнь, полная тревог.

Поздно ночью пришла машина из штаба дивизии с прика-

занием ведущему хирургу прибыть на НП командира дивизии.

Офицер, приехавший на машине, все время торопил Таню, но, в чем дело, не говорил. Он только сказал ей, чтобы она захватила с собой все, что нужно для операции.

Поехали. Машина миновала несколько разрушенных деревень, вскоре свернула на узенькую тропинку и затряслась по подмерзшим кочкам поля. Все вокруг грохало и стонало. Пулеметная стрельба раздавалась очень близко.

В ложбине, возле небольшого, поросшего молодыми елками холма, машина остановилась, офицер спрыгнул, помог выйти Тане и сказал:

— Здесь пойдем пешком.

Они стали подыматься на холм. Впереди и справа рвались снаряды. Вскоре Таня увидела свежевыкопанную траншею, которая вела вверх, к вершине холма.

— Пожалуйте сюда,— пригласил Таню офицер таким жестом, словно он открывал перед нею дверь в театральную ложу.

Она пошла по траншее. Здесь было грязно и мокро. Траншея привела ее ко входу в крытый бревнами блиндаж.

В полутемном помещении на полу и у отверстий амбразур сидели люди. Кто-то, совершенно охрипший, разговаривал по телефону.

— Врач прибыл? — спросили из темноты.

— Да.

Открылась деревянная дверка.

— Заходите, Кольцова,— услышала Таня голос командира дивизии.

На столике за перегородкой горела свеча. При ее тусклом свете Таня увидела полковника Воробьева, полулежавшего на топчане. Он протянул ей большую белую руку с засученным рукавом и молодцевато сказал:

— Чур, никому не рассказывать! А то подымут шум, прикажут уйти в тыл. Пустяковая царапина. Посмотрите.

Рана оказалась не такой пустяковой. Вражеская пуля, правда, уже на излете по-видимому, засела пониже сгиба, в мягкой ткани руки.

— Придется отправляться в медсанбат,— решительно сказала Таня.

— Никуда я с НП не пойду.

— Пойдете, товарищ полковник.

— Не пойду. У меня дивизия воюет. Противник напирает. А вы: «Пойдете, пойдете!»

— Если вы не послушаетесь меня, я немедленно сообщу комкору и командарму — и вам прикажут.

Воробьев сказал обиженно:

— А я вам не разрешаю сообщать. В моей дивизии я командир.

— До первого ранения,— возразила Таня.— Раз у вас пуля в руке, командир я.

— А я вас отсюда не выпущу.

— Этого вы не сделаете. У меня раненых много. Не один вы.

Воробьев сказал умоляюще:

— Кольцова, голубушка!.. Я же вас прошу!.. Будьте так добры!.. Разве я улежу в медсанбате!.. Я же не улежу! Делайте операцию здесь.— Он тихо добавил: — В дивизии потери большие...

Таня, поколебавшись, приказала принести воду для мытья рук.

Вокруг засуетились. Таня разложила инструменты и начала оперировать. Комдив не издал ни звука, ни стона. Позвонил телефон. Воробьева вызывал командарм. Он взял трубку здоровой рукой и, морщась от боли, отвечал командарму с напускной бодростью:

— Есть. Сделаю. Будет сделано. Пускаю свой резерв. Все будет в порядке. Отобью.

Когда операция была закончена и повязка наложена, полковник, бледный и вспотевший, откинулся назад, на подушку, и сказал с ребяческой гордостью:

— Вот какие мы терпеливые! Пограничники! Спасибо, Танечка!.. Смотрите никому ни-ни!.. Как только мы фрицев раздолбаем, приеду к вам на перевязку. Эй, берегите мне врача! — крикнул он кому-то в другую комнату.— По ходу сообщения ведите!.. Уж ее оперировать тут вовсе некому!

Уходя, Таня услышала его слова, обращенные к офицерам:

— Ну, за дело! Как там у Савельева?

Таня вернулась в медсанбат в повышенном настроении. Возбужденная обстановкой переднего края, она совсем забыла о своих личных горестях.

В медсанбате ей сказали, что недавно сюда приезжал Красиков, спрашивал про нее и, узнав, что она уехала неизвестно

куда и еще не вернулась, был, по всей видимости, очень огорчен, хотя старался скрыть это.

Он приехал на следующий день. Таня только что кончила очередную операцию. Она обрадовалась его приезду и сразу же начала расспрашивать о положении дел на фронте.

Против обыкновения, он не отвечал на ее вопросы. Не снимая шинели, он только в упор смотрел на нее и наконец сказал:

— Извините меня, Татьяна Владимировна, но я человек военный и люблю действовать начистоту. Мне сказали, что под Шнайдемюлем к вам приезжал какой-то майор и потом вы отсутствовали целый день. А вчера вы уехали ночью. Я, конечно, не имею права вас допрашивать, но... я мучаюсь. Я даже сам не ожидал... Или вы опять будете смеяться?

Она не смеялась, но и не отвечала на его слова.

Тогда он вдруг предложил ей стать его женой и, шагая по комнате, сказал, что не может без нее жить и просит, чтобы она порвала с тем, у которого была в гостях вчера.

В ответ на это она не могла не засмеяться, и он сердито воскликнул:

— Опять вы смеетесь!

Он выглядел несчастным и растерянным.

Таня была растрогана. Она не предполагала даже, что Семен Семенович так ее любит и что любовь способна настолько преобразить этого обычно самоуверенного и уравновешенного человека.

Она от души пожалела его и, не способная лукавить, сказала:

— Где я была вчера, я вам не скажу, я связана словом. Во всяком случае, я уезжала не по личным делам. А майор... Майор больше не приедет. Никогда не приедет. Он убит.

Ее вызвали в операционную, и она поспешно ушла.

## IX

Хотя Таня ни словечком не обмолвилась в ответ на предложение Семена Семеновича, ему казалось, что в основном все решено. Он обрадовался этому, но в то же время испугался и немножко пожалел о сделанном сгоряча предложении. Он с тревогой думал о жене и дочери. И даже не столько о них,

сколько о том, как посмотрит на всю эту историю генерал Сизокрылов.

После разговора с Таней он, несмотря на свои сомнения и страхи, еще настойчивее, чем прежде, искал встречи с ней. Его тяготило состояние неопределенности. Конечно, лучше всего было бы забыть о Тане совсем, но это уже было не в его власти.

Таня же совершенно не догадывалась о том, что происходит в душе Семена Семеновича, говорила с ним по телефону сердечно и ласково и все обещала приехать к нему в гости, но ее задерживали медсанбатские дела.

Наконец однажды она выбралась к нему.

Сидя за рулем машины, Таня смотрела на проносящиеся мимо немецкие деревни. Белые флаги на оградах и карнизах развевались по ветру. Было уже довольно тепло, и по-настоящему пахло весной.

Штаб корпуса помещался в городке. По улицам шли солдаты и освобожденные из лагерей военнопленные. Вскоре Таня выбралась из этой сутолоки и повернула в тихий переулок.

— Приехали,— сказал шофер, указывая на каменную ограду, за которой виднелся садик, а в глубине двора — домик с двумя башенками.

Таня въехала в ворота. Ординарец, заслышав шум машины, вышел на крыльцо.

— Полковник сейчас приедет,— сказал он,— он просил вас подождать.

Таня вошла в дом, сняла шинель и села к письменному столу, на котором лежали полевая сумка и бинокль Красикова. Тут же валялись напечатанные на машинке листки какого-то официального донесения.

Таня от нечего делать стала читать эти листки.

В них излагались материалы расследования по поводу некоего комбата — майора Весельчакова Ильи Петровича и старшины медслужбы Коротченковой Глафиры Петровны. Эти люди жили в батальоне как муж и жена, что не укладывалось ни в какие правила.

Офицер, произведший расследование, сообщил, что Весельчаков И. П.— один из лучших комбатов в дивизии, награжден тремя боевыми орденами, четыре раза ранен; рабочий; член партии с 1938 года; взысканий не имел; в армии с первого дня войны; ранее участвовал в боях на Халхин-Голе и в Финляндии.

Говорит, что полюбил Коротченкову Г. П. и будет жить с ней и в дальнейшем, после окончания Великой Отечественной войны. Опрошенные члены партии подтверждают, что Весельчаков и Коротченкова представляют собой образец взаимной любви, уважения и товарищеской боевой дружбы. Коротченкова Г. П.— беспартийная, призвана в армию в июле 1942 года, была ранена, награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Несмотря на неоднократные предложения ей, как образцовому медработнику, перейти на менее опасную работу в медсанбат или в санчасть полка, от этого категорически отказывалась и провела всю войну в батальоне, на переднем крае. Имеет девять благодарностей от командования полка за образцовую постановку медработы в батальоне.

Вывод: считать нецелесообразным откомандирование Коротченковой.

Прочитав это каверзное дело, Таня улыбнулась, но потом перестала улыбаться и задумалась.

В это время за окном послышалось гуденье машины и голоса людей. С Красиковым кто-то приехал, и Таня ушла в заднюю комнату, не желая встречаться с сослуживцами полковника. Сидя на стуле у окна, из которого виден был занесенный грязным жидким снежком садик, она волей-неволей сделалась незримой свидетельницей разговора между Красиковым и другим полковником — начальником политотдела корпуса Венгеровым, голос которого Таня узнала.

Красиков спросил:

— Полковник, вы читали это донесение насчет Весельчакова? Безобразие! Обратите внимание на вывод!

Венгеров сказал спокойно:

— Знаю... Мне Плотников рассказывал об этом деле. Люди хорошие, боевые. Дайте мне это дело, я разберусь.

— Но согласитесь,— сказал Красиков,— что так нельзя. Это нехорошо. Познакомились здесь, на фронте... Знаем мы эти знакомства! Надо это прекратить, чтобы другим, особенно женатым, неповадно было! Не мне вам объяснять важность морального фактора.

Потом они поговорили о военных действиях. Наконец Венгеров поднялся с места. Голоса удалились. Затарахтела машина. Стало тихо. Послышались тяжелые шаги Семена Семеновича. Он ходил по комнатам и негромко звал:

— Таня, Таня! Где вы?

Она сидела в темноте, и ей не хотелось откликаться. И не хотелось видеть лицо Красикова.

Но вот дверь отворилась, и он появился на пороге, большой и, видимо, очень довольный. Очутившись в темной комнате, он не заметил Таню и продолжал потихоньку звать:

— Таня, Таня, где вы?

Не получив ответа, он ощупью пошел дальше, к двери в следующую комнату, отворил ее, так же постоял на пороге, всматриваясь в темноту, и, смеясь, говорил:

— Ох и шутница вы, Таня!.. Где вы, Таня?

Таня молчала. Когда Красиков скрылся в соседней комнате, она встала и вышла в ярко освещенный кабинет — туда, где на письменном столе лежали полевая сумка, бинокль и напечатанное на машинке донесение. Сюда же через минуту вернулся из каких-то дальних комнат хохочущий Красиков.

Он был удивлен до крайности, увидев холодные глаза Тани. Узнав причину ее гнева, он мысленно обругал себя за неосторожные слова и стал оправдываться.

— Зачем вы равняете одно с другим? — спрашивал он, стараясь скрыть свое смущение.— Просто нужно спасти хорошего комбата от назойливой бабы!

Она сказала:

— Вы напрасно оправдываетесь. То, что вы говорили по поводу этих двух людей, может быть, вполне справедливо. Все дело в том, что ваши слова должны относиться и к вам. Не может быть двух моралей — для одних одна, для других другая.

Он растерянно и молча смотрел, как она застегивает шинель и надевает пояс. Увидев, что Таня и в самом деле собралась уходить, он хрипло сказал:

— Никуда вы не пойдете.

Он подошел к ней вплотную. Но она не проявила никакого страха и только, неожиданно улыбнувшись, сказала:

— Берегитесь. Я Сизокрылову напишу.

Разумеется, Красиков сразу же отошел к окну, а когда обернулся, ее уже в комнате не было.

Таня вышла во дворик. Шоферское место в машине пустовало. Ключ от зажигания торчал в гнезде. Недолго думая она села за руль и нажала на стартер.

Почему-то было очень темно ехать, и Таня через минуту вспомнила, что забыла включить фары. Видимо, она была взволнована гораздо больше, чем ей самой казалось.

Она нажала кнопку, дорога осветилась. Машина, подрагивая, ехала по ночным улицам городка.

Вскоре Таня услышала позади себя легкую возню: оказывается, на заднем сиденье спал шофер. Вот и хорошо, отведет машину обратно.

Таня вдруг рассмеялась, вспомнив, какое впечатление произвело на Красикова упоминание о члене Военного Совета. Но нет, тут нечему было смеяться. Тане стало очень грустно.

Все-таки Красиков был для нее не просто добрым знакомым: он, по-видимому, занимал немалое место в ее жизни. При всех невзгодах, неприятностях, в постоянном труде она привыкла помнить о том, что у нее есть друг Семен Семенович, отзывчивый, надежный и любящий друг.

Как могла она так ошибиться в этом человеке! Она почувствовала себя очень одинокой.

Между тем вокруг было полно людей. Темные тени двигались по дороге навстречу машине. Дождь падал на солдатские ушанки. Развевались плащ-палатки, топали сапоги, фары машины освещали то повозку, то торчащий кверху ствол зенитной установки, то примостившийся на двух солдатских плечах длинный ствол противотанкового ружья, то чье-то спокойное лицо. Может быть, она вскоре увидит это самое лицо на операционном столе. И тогда она, Таня, перестанет быть слабой женщиной, а будет тем, чем она только и может быть важна людям на войне,— хирургом.

Шофер проснулся и спросонья спросил:

— Это вы, Татьяна Владимировна?

— Я.

— А я-то что, спал, что ли?

— Да. Сейчас мы приедем, вы отведете машину обратно.

## X

К великому огорчению Глаши, начсандив вручил ей предписание отправиться в распоряжение начальника санслужбы корпуса. Значит, ее отчисляли не только из батальона, но и вовсе из дивизии.

Начсандив, которому вся эта история немало надоела, сжался на своем стуле, ожидая слез и причитаний. При своем

маленьком росте он вообще слегка побаивался этой огромной женщины. Но все обошлось. Глаша только охнула, прочитав предписание, потом посмотрела на начсандива как-то странно, очень внимательно и словно с сожалением, и после обычных вопросов, где находится штаб корпуса и как туда добраться, ушла.

Кроме боли, вызванной разлукой с Весельчаковым, ее мучило еще какое-то тяжелое чувство. Глаша сама не понимала, что с ней. А потом поняла: второй день она не работает, и ей было непривычно и мучительно это безделье.

Ожидая попутной машины в штаб корпуса, она увидела идущего по дороге солдата с забинтованной головой и окликнула его.

— Что с тобой, милый? Ранен, что ли?

— Нет,— неохотно отозвался солдат,— нарывы. Хурункулез.

— Фурункулез,— поправила Глаша.

Повязка сбилась, и Глаша — не без труда — уговорила солдата разрешить ей перебинтовать ему голову. Конечно, она сделала это быстро и ловко, и солдат не мог не смягчиться.

Они уселись вместе в машину, и путь прошел для Глаши незаметно,— она надавала своему попутчику уйму медицинских советов, расспрашивала о семье, о родных местах. Когда солдат рассказывал о чем-нибудь печальном — о гибели ли брата или о болезни сына, она сокрушенно качала головой, ахала, охала. Когда же он говорил о чем-то отрадном — о том, что улов нынче большой на Белом море, или о выздоровлении сына, она улыбалась, радостно кивала и переспрашивала:

— Да ну?! Вот как? Это хорошо!

Он оказался северянином из поморов и говорил на странном поморском диалекте, вызывавшем удивление всех попутчиков.

В корпусе Глаше через два дня дали направление на работу в медсанбат другой дивизии, и она сразу же отправилась туда.

Жаль, что с ней уже не было того помора, он ушел куда-то по своей фронтовой дороге. Новым попутчиком Глаши оказался молоденький лейтенант с обвязанной щекой. Он то и дело хватался за щеку и тоскливо ругался про себя.

Глаша вынула из своей укладки бутылочку со спиртом и, намочив ватку, положила лейтенанту на больной зуб. Немножко

спирту она даже дала ему выпить. При этом она говорила разные утешительные слова. Она говорила, что у нее самой болели зубы не раз — это была неправда — и нет хуже на свете боли.

Спирт, выпитый лейтенантом, развязал языки у всех попутчиков-солдат. Каждый из них счел своим долгом доложить сердобольной Глаше о своих недугах и поделиться воспоминаниями насчет зубной боли.

— Только при родах похуже боль бывает,— говорила Глаша, хотя сама она никогда не рожала,— но тут ничего не поделаешь. Такая уж наша горькая доля, от нее не откажешься, не спрячешься — рожай да потом хорони.

Она расчувствовалась от собственных слов и вспомнила своего Весельчакова, словно она его родила и теперь похоронила.

В медсанбате ее назначили в хирургическую роту на должность медицинской сестры. Она пошла представляться ведущему хирургу.

Ведущий хирург, к удивлению Глаши, оказался совсем молодой женщиной, тоненькой, высокой, красивой, немножко бледной и грустной. Шинелька сидела на ней так, что даже не походила на шинельку, а скорее на изящное городское пальто — хоть лису на воротник вешай. «Модница!» — подумала Глаша. Только в больших серых глазах ведущего хирурга, как Глаша заметила с некоторым удовлетворением, было выражение какой-то значительности и суровости, которое, быть может, означало, что врачиха все-таки чего-нибудь стоит.

Ее звали Татьяной Владимировной Кольцовой.

Узнав, что новую сестру зовут Глафирой Петровной Коротченковой, Таня, пораженная, уставилась на Глашу, потом встала, прошлась по комнате и наконец сказала:

— Где вы работали раньше?

Глаша начала рассказывать, а Таня смотрела на ее маленький пунцовый рот и на руки. Руки были пухлые, маленькие, но безукоризненной фо́рмы и — главное — несказанной доброты.

«Вот ты какая»,— думала Таня. Она вспомнила слова Красикова об этой женщине. От нее, значит, Красиков хотел «спасти» того комбата.

Конечно, внешность бывает обманчива.

Таня сказала сухо:

— Что ж, опыт у вас большой. Можете приступать к работе.

Все время Таня внимательно приглядывалась к новой хирургической сестре. Глаша оказалась разговорчивой и смешливой. Она целыми ночами не спала, всех жалела, любого готова была заменить на любой работе, таскала вещи, как двое мужчин.

— У нас в батальоне не то бывало! — говорила она с гордостью.

Разлуку она переносила безропотно. Может быть, ей было все равно? Может быть, общая любовь — а ее в медсанбате полюбили — в состоянии заменить ей любовь Весельчакова?

Только однажды Таня, зайдя поздно ночью в палату, застала Глашу в слезах.

Таня спросила:

— Вас кто-нибудь обидел?

Глаша встала, вытерла слезы тыльной стороной обеих рук и сказала:

— Нет. Кто меня обидит? Просто бабе выплакаться нужно, без этого бабе не жизнь. Да еще такой громадной бабе, как я, если не выплакаться, так что это будет?

За время этого своего монолога она совсем оправилась, улыбнулась даже. У Тани сжалось сердце. Она спросила:

— Тоскуете?

— Тоскую,— ответила Глаша.

Слово это, произнесенное с сильно подчеркнутой буквой «о» (Глаша была родом из «окающего» города Мурома), действительно прозвучало неизмеримой тоской.

Помолчав, она сказала:

— Да кто теперь не тоскует? У меня мужик хоть живой пока... А у других... вот и у вас, Татьяна Владимировна, мне рассказывали... убит мужик...

В эту минуту Тане, всегда очень сдержанной, захотелось рассказать Глаше о своей встрече с Лубенцовым и о его гибели. Но Глаша вдруг смешалась, покраснела и сказала:

— Простите, коли я некстати напомнила... Я пойду.

Поняв намек, Таня, глубоко уязвленная, нахмурилась и промолчала, а Глаша, вконец сконфуженная, пробормотала какие-то извинения и вышла.

Таня печально покачала головой. Она подумала о том, как счастлива, в сущности говоря, эта большая добрая женщина: она любит, любима, и ее разлука с мужем кончится очень скоро — вместе с войной.

## XI

Пичугин ходил по двору рассеянный и очень веселый. Старшина Годунов заметил это и спросил:

— Чего радуешься, Пичугин?

Пичугин несколько испуганно ответил:

— Ничего я не радуюсь. Так только...

И он постарался принять серьезный вид, но улыбка так и лезла из-под его редких желтоватых усов, из пропахшего махоркой тонкогубого, хитрого рта.

«И чего я хожу так, без толку?» — подумал он. А потом понял, что ищет Федора Андреича. Была у Пичугина с недавнего времени такая неотвязная потребность — обо всем рассказывать Сливенко и, недоверчиво усмехаясь, слушать, что скажет Сливенко.

Наконец он поймал Сливенко.

Это случилось уже к вечеру. Сливенко только что вернулся из политчасти полка, куда его вызвали на совещание парторгов, посвященное предстоящим боям. Он пришел нагруженный брошюрами, газетами и бланками «боевых листков». На обратном пути ему повстречалась большая радостная толпа возвращающихся домой русских людей.

Хотя дочери его в этой толпе не оказалось, но Сливенко был счастлив. Губы болели от поцелуев и руки от рукопожатий. Здесь были две девушки из шахтерского поселка, расположенного близ Ворошиловграда. Теперь, после освобождения, им хотелось только одного: попасть в армию. Высокие, стройные, смуглые, эти девушки напомнили ему Галиных подруг, приходивших к ней решать задачи и читать стихи.

Вернувшись в роту, Сливенко доложился старшине и пошел в дом. На лестнице ему повстречался Пичугин. И так как оба солдата сияли и у каждого было о чем рассказать, они сели у окна, и первым начал Сливенко, ибо Пичугин решил свои новости оставить напоследок: он считал их более важными.

Впрочем, рассказ Сливенко об освобожденных русских людях взволновал его.

— Ох, работы сколько будет! — говорил Сливенко, задумчиво покручивая ус.— У нас там разрушенные города, сожжен-

ные деревни. Отстраиваться скорее надо, обуть, одеть людей...

— М-да,— протянул Пичугин.— Намучился народ... Хлебнул горя. Ладно, ничего, все будет в порядке!

Он стукнул себя маленьким кулачком в грудь и поставил перед Сливенко свой вещевой мешок.

— На, смотри!

— Опять хромовые кожи?

— Ну, нет! Я их выкинул,— самодовольно сказал Пичугин.

— Ну? — удивился Сливенко.— Неужели выкинул?

Победоносно глядя на Сливенко, Пичугин раскрыл вещмешок. Там лежали белые коробочки, а в них маленькие цилиндрические камушки, похожие на грифели для карандашей.

— Камушки для зажигалок,— недоуменно сказал Сливенко.

Любовно перебрасывая на ладони камушки, Пичугин сказал:

— Вот! Еще не все сосчитал. В этих коробочках, на которых я крест поставил, сосчитано. А в этих еще не считал.— Подняв глаза на серьезное лицо Сливенко, Пичугин вдруг начал говорить запальчиво и громко: — Чего ты смотришь? Ты знаешь, как у нас там в деревне после немцев? Спичек нет! Одними «катюшами» народ прикуривает. То-то! За такой камушек по пяти рублей можно брать.

— Ну и подлец же ты! — сказал Сливенко не то удивленно, не то негодующе.

Пичугин не обиделся, только усмехнулся, как взрослый над глупостью ребенка.

Сливенко говорил с печальной укоризной:

— Тут весь мир ходуном ходит, мертвецы из могил встают, а ты пять рублей за камушек хочешь брать? Уже цену определил? Может, оптом дешевле? Торгаш ты! Уходи с моих глаз! — Сливенко порывисто встал и закончил: — Попробуй поторгуй! Мы таких в бараний рог скручивали и теперь скрутим!

Пичугин весь взъерошился, схватил обеими руками свой «сидор» и побежал из комнаты, но у порога остановился, повернулся к Сливенко и тихо спросил:

— Капитану не скажешь?

— А ты мне скажи,— ответил Сливенко после минуты молчания,— зачем ты мне про эти камушки рассказал? Для отчета перед парторгом? Чи, может, хотел узнать у меня, правильно это или неправильно ты делаешь?

— Может, так,— уклончиво и хмуро ответил Пичугин.

Сливенко усмехнулся:

— Просчитаешься, Пичугин! — Он подошел близко к Пичугину и проговорил: — Мы такую артиллерию, такие танки и самолеты построили, такую армию вооружили, одели и обули, бьем немцев, захвативших всю Европу, до Берлина почти дошли, а ты насчет спичек сомневаешься? Нажиться на этом хочешь? Дурень ты дурень! Что же, тащи на горбу свои камушки! Сам бросишь! А про себя скажу тебе вот что: не мог бы я хорошо жить, когда вокруг людям плохо. Никогда не мог и теперь не смогу. Знаю, иные могут. И ты, если можешь, попробуй. А я не могу.

Пичугин ушел от Сливенко очень мрачный. Улыбка исчезла с его лица. Слова Сливенко задели его гораздо сильнее, чем он сам того ожидал. Он неуверенно покашливал и бормотал про себя:

— Зря рассказал! Душу свою растревожил!

Во дворе его окликнул капитан. Пичугин обмер от страха. Но нет, капитан ничего не знал о его отлучке. Он сказал:

— Почему винтовку не чистил? Грязная, несмазанная.— Чохов помолчал, потом проговорил не по-обычному многословно, выговаривая слова с некоторым усилием: — Советский воин, поскольку он представитель армии-освободительницы, должен показывать всем пример дисциплины. Идите, Пичугин.

Пичугин ушел, облегченно вздыхая, чистить свою винтовку.

Чохов увидел из окна Маргарету. Она стояла среди солдат и что-то оживленно объясняла им с помощью рук и лучезарных улыбок. Заметив Чохова, она улыбнулась и ему.

Он бегло кивнул ей и отошел от окна.

Он вел себя с ней очень сдержанно, и это удивляло Маргарету. Солдат стесняло присутствие ее мужа (Гогоберидзе непочтительно называл его «сыр голландский»), но ведь капитану было известно, что мужа у нее нет.

Для европейской бродяжки военного времени, которая столько лет пылинкой вертелась в черном вихре оккупаций, войн, лагерной жизни и привыкла смотреть на все с большой долей цинизма, сдержанность русского офицера была непонятна.

Ее подруга и тезка, тридцатитрехлетняя француженка Марго Мелье, говорила ей:

— Ты отвыкла от человеческого уважения, вот и все. Он просто тебя уважает, этот прелестный капитан. Солдаты — они всегда солдаты, но тут, знаешь ли, даже удивительно, как они уважают нас! — Она улыбнулась многозначительно: — Иногда даже слишком.

Так или иначе, но жизнь Маргареты стала яркой и интересной. Хотя начались сборы в дорогу, девушка в душе надеялась, что она уйдет вместе с русским офицером. Он заберет ее в свою чудесную страну. Хотя обсуждались сроки и маршруты возвращения на родину, ей казалось, что она будет дома гораздо позже остальных. Чех Марек учил ее русскому языку, и она уже знала два десятка слов, которыми собиралась в свое время неожиданно поразить капитана.

Какое это было неслыханное счастье — свободно и вольно бегать по тем местам, где две недели назад приходилось идти тихо, степенно, боясь косого взгляда немецких жителей! Приятно было замечать заискивающие взгляды эвакуированных из Берлина горожанок, которых здесь было много и которые раньше относились к иностранцам с презрительной фамильярностью, как к людям низшей породы.

Стало теплее. По деревенским улицам носился уже почти совсем весенний ветер. Суета людей, шум большой дороги, белые флаги на деревенских домах — все это походило на какую-то вселенскую свадьбу, люди казались опьяненными, радостно возбужденными и очень добрыми.

Вечером пошел дождь, вскоре превратившийся в настоящий ливень. Маргарета, сидевшая с подругами за шитьем, выбежала на улицу. На лицо ей падали тяжелые дождевые капли, совсем уже весенние, теплые.

Маргарета почувствовала себя — впервые за последние годы — девушкой своих лет. Она бежала вприпрыжку, вслух повторяя запомнившиеся ей русские слова.

Во дворе усадьбы она побеседовала с русскими, пококетничала с тем смуглым солдатом, который всегда бросал на нее пламенные взгляды, и потом поднялась наверх к «своему» капитану.

Она нашла его в кабинете сбежавшего сына баронессы. Капитан листал какую-то тоненькую книжицу, сидя спиной к двери. Она постояла минуту неподвижно, потом робко кашлянула. Он обернулся и встал.

На столе горела большая лампа. Тут было тихо и уютно.

Она улыбнулась. Он тоже улыбнулся. Осмелев, она подошла к нему ближе, и тут — неизвестно каким образом — случился неожиданный для него поцелуй, быстрый и пахнущий свежим дождем.

В соседней комнате, где находился дежурный, громко и пронзительно зазуммерил телефон. Сразу опомнившись, Чохов осторожно отстранил от себя девушку и вышел.

Весельчаков приказывал поднимать роту в ружье. Выступать немедленно. Прислать повозку за патронами.

Чохов положил трубку, вернулся в свою комнату. Маргарета тихо сидела на подоконнике. Он прошел мимо нее, вышел в гостиную, миновал еще несколько пустынных и темных комнат и, очутившись в каптерке, бывшем будуаре, отдал Годунову необходимые приказания.

А Маргарета сидела на подоконнике, мокроволосая, счастливая, глядя на дождь, на сгущающуюся темноту и ожидая.

Солдаты разобрали с козел винтовки и автоматы, наскоро осмотрели их и пошли во двор строиться. И тут они услышали далеко на севере гул орудийной пальбы.

Война продолжалась. Пичугин возился под деревом, прилаживая лямки вещмешка. Семиглав седлал лошадь капитана.

Вспыхивали огоньки папирос.

Солдаты увидели в окне кухни белое расплывчатое пятно. То была помещица. Она стояла, вытянув жирную, дряблую шею и прислушиваясь к отдаленному гулу орудий. Заметив, что за ней наблюдают, старуха отпрянула и исчезла.

Часовой раскрыл ворота. Они уныло заскрипели. Подвода, отряженная за патронами, потонула в ночной темноте.

Во двор кучкой пробрались бывшие батраки. Им было тревожно от гула орудий и оттого, что русские так молчаливо строятся в ряды, видимо собираясь уходить.

— Смирно! — оглушительно скомандовал Годунов.

Из дому вышел Чохов. Он был в шинели с полевыми ремнями. Семиглав выводил из стойла коня.

— Товарищ капитан,— отрапортовал Годунов, стукнув каблуками.— Рота поднята по тревоге и выстроена в полном составе. Больных нет. Сержант Гогоберидзе убыл за патронами по вашему приказанию.

Чохов медленно прошел вдоль строя. Вдали снова прогремела канонада.

— Вольно! — сказал Чохов, потом он обернулся к стоящим у ворот иностранцам и сказал: — Следите за помещицей. В случае чего можете ее ликвидировать как класс. Я разрешаю.— Он добавил: — Вам нечего бояться. Вы тут полные хозяева.

Чех взволнованно спросил, нельзя ли им уйти вместе с русскими. И получить винтовки.

Чохов коротко ответил:

— Нет.

Старшина Годунов распорядился:

— Пичугин, запрягай карету.

Чохов сказал отрывисто:

— Не надо. Бросьте ее.

— Есть бросить! — громыхнул Годунов, скрыв за этим могучим возгласом свое удивление.

В этот момент на пороге дома появилась Маргарета. Она бесшумно подошла к Чохову. Он не видел в темноте ее лица, но во всей ее фигуре, в развевающемся на ветру платье, в растрепавшихся волосах чувствовалось мучительное волнение.

— Не бойтесь,— сказал он ей чуть дрогнувшим голосом.— Мы вернемся.

Чех тут же шепотом перевел ей эти слова. Но она как будто не слышала. Она протянула капитану руку.

Он, смутившись, подал команду:

— Шагом марш!

Маленькая колонна исчезла за воротами. Дождь молоточками стучал по мощеному двору. Старшина стоял, держа под уздцы верхового коня. И вдруг, невзирая на то, что кругом были люди, ее товарищи, Маргарета прильнула к Чохову, поцеловала его и, мучительно поискав в памяти незнакомые слова, наконец произнесла:

— Я лублу тиебия.

Капитан растерялся, ничего не сказал и тут же вскочил в седло. Ночь поглотила Чохова, но цоканье копыт его коня еще долго слышалось в наступившей тишине.

## XII

Поздно вечером генерал Середа выехал в пункт, через который должна была пройти его дивизия, чтобы посмотреть на нее перед боем собственными глазами. Он всегда так делал

на марше. Ему доставляло огромное удовольствие видеть своих бойцов не красными кружочками и стрелами на карте, а живыми людьми, шагающими, разговаривающими, курящими махорку.

Он считал это полезным и для себя самого и для солдат. Порядок марша, соблюдение питьевого режима, поведение солдат и просто выражение их лиц — все это казалось ему, старому военному, очень важным. В ритме марша он улавливал ритм будущего боя и готовность к нему дивизии.

Солдаты тоже привыкли на марше встречать своего генерала где-нибудь на дороге. Он по-хозяйски вмешивался в ряды, обменивался с солдатами шуткой, иногда строго выговаривал кому-нибудь. Им нравились его простецкие манеры, высокая подтянутая фигура и отеческий тон. Они чувствовали его любовь к ним и его беспокойство за них. Может быть, они и забывали о нем, как только проходили мимо, но он, конечно, занимал в их сердцах определенное место. Они доверяли его военному опыту.

В эту темную, дождливую ночь они не ожидали увидеть его. И генерал в самом деле думал было не выезжать, тем более что чувствовал себя нездоровым.

Но в последнюю минуту он все же решил ехать. Он был неспокоен, понимая, что предстоят кровопролитные бои. Он считал, что солдаты и офицеры слишком свыклись с мыслью об обреченности германской армии, давно не бывали в серьезных сражениях и могут поэтому в первый момент растеряться.

— Американцам, вот кому не война, а масленица! — хмуро покачивал головой Тарас Петрович.— На Западном фронте немцы всерьез не дерутся, целыми дивизиями сдаются в плен, ключи от городов подносят... Так Эйзенхауэру недолго и в Наполеоны попасть!.. Ясно, кто Гитлеру страшнее! Ну что ж, наше дело правое,— воевать так воевать!

То, что сражение будет серьезным, генерал знал. Хотя он всего лишь командовал дивизией и не был в курсе событий целого фронта, но он догадывался, как выгодно было бы для немцев ударить с севера на юг по растянутым советским коммуникациям. Видимо, его дивизия, как и ряд других, предназначалась для ликвидации этой опасности.

Кое-кто из штадива жалел, что дивизия брошена куда-то на север, а не на берлинское направление. Генерал, старый слу-

жака, притворялся, что ему это безразлично: надо, мол, воевать, а где воевать — это начальство лучше знает.

Генерал в сопровождении подполковника Сизых выехал в двадцать три ноль ноль.

Через полчаса к нему присоединился и Плотников, который разослал политотдельцев в полки для поднятия наступательного духа,— он знал о сомнениях генерала и сам был также обеспокоен.

Комдив и начальник политотдела поставили свои машины под старым деревом на перекрестке трех больших дорог и встали друг подле друга, в тысячный раз за время войны.

Войска двигались темными колоннами по мокрому асфальту дороги. Завидев начальство, идущие или едущие верхом впереди своих подразделений офицеры тревожно оглядывались и передавали по цепочке:

— Подтянуться, ребята, генерал нас встречает.

И, приложив руку к пилотке, докладывали на ходу:

— Пятая рота следует по маршруту. Докладывает...

— Вторая пулеметная рота следует по установленному маршруту. Докладывает...

— Рота ПТР следует... Докладывает...

Звание и фамилия терялись в ночи, в дожде, в тарахтении повозок, в неровном топоте ног и копыт.

Командиры полков — те соскакивали с лошадей, подходили к генералу с докладом и оставались с ним до прохождения своей части. Охраняемые ординарцами кони звенели уздечками в темноте. Когда часть проходила, командир полка вскакивал на мокрое седло и исчезал во тьме, догоняя свой авангард.

Генерал разговаривал громко и подчеркнуто бодро, обращаясь к проезжавшим офицерам:

— Ну, как твои дела? Все в порядке?

Он подходил к солдатам, спрашивая:

— Ноги не натерли? Как твой автомат? Стреляет? Почему не укрываешь пулеметы? А заправочка, заправочка-то где? Не гулять, воевать идем.

Заметив, что ночь и дождь угнетающе действуют на солдат, генерал спрашивал:

— Почему не курите? Это вроде как в сорок первом году, когда мы еще немца боялись. Теперь времена другие.

Солдаты с наслаждением закуривали, и строй уходил, поблескивая красными огоньками папирос.

По мере прохождения дивизии лицо генерала светлело.

— Ветераны! — сказал он, отходя к обочине дороги, где стояли Плотников и Сизых.— Великая армия! Можешь закрыть свой политотдел, Павел Иванович!.. Они всё уже сами знают. Они, как мастеровые на работу, идут.

Наконец проследовал, громыхая, и артполк. На забрызганной грязью машине прибыл Антонюк, ездивший в дивизии первого эшелона для получения данных о противнике. Генерал приказал ему следовать за собой и поехал в деревню, где назначил расположиться штабу.

Машины вскоре нагнали дивизионную колонну. Мимо генерала и Плотникова в ночной мгле снова проносилось то одно, то другое знакомое лицо, промелькнули черные усы запомнившегося раньше сапера, ствол криво установленного пулемета, белая лошадь комбата, кубанка Четверикова.

Плотников решил остаться с одним из полков, а комдив обогнал дивизию и вскоре, свернув с главной дороги на боковую, въехал в деревню. Как и другие немецкие деревни, она была вся в белых флагах, уныло висевших под дождем.

Квартирьеры уже расставили по дороге указки с условным знаком «с» (первая буква фамилии комдива). У дома, отведенного для генерала, стоял часовой. Связисты тянули провода, шлепая по мокрой земле большими сапогами.

В доме у стола возились лейтенант Никольский и два связиста, устанавливая телефон. Радист прилаживал рацию.

— Докладывай,— приказал генерал Антонюку и уселся за стол, не снимая папахи и тревожно прислушиваясь к дальнему грому артиллерии.

Пока Антонюк доставал из планшета карту, генерал спросил Никольского:

— С кем уже работает связь?

— С полками,— сказал Никольский, приложив руку к пилотке,— проводной связи нет, так как полки на марше.

— Это мне известно,— усмехнулся генерал.— С кем есть связь?

— Со штабом корпуса, со штабом тыла и с медсанбатом.

— Полки на приеме,— сообщил из угла наладивший рацию радист.

Антонюк доложил, что в районе Наугард, Штаргард, озеро Мадюзее противник сосредоточил первую пехотную морскую дивизию, дивизионную группу «Денеке», эсэсовские дивизии

«Лангемарк» и «Нордланд» и танковые части неизвестной нумерации. Немцы атакуют большими силами танков и пехоты.

Генерал нанес данные разведки на карту и вызвал к себе командиров приданных противотанковых частей и самоходного артиллерийского полка. Вскоре они собрались. Генерал все медлил с открытием совещания, так как ожидал Плотникова, который собирался выступить перед командирами с целым рядом указаний. Но Плотников все не приезжал, хотя должен был давно уже быть здесь.

Тогда генерал решил начать совещание без него. Он указал артиллеристам их огневые позиции и назначил на утро рекогносцировку. Между тем по радио принимались донесения о ходе марша. Один из полков уже занял свой рубеж, остальные на подходе.

Командиры распрощались и уехали.

Плотников явился поздно ночью, бледный, измученный и очень расстроенный. Он велел всем посторонним, включая радиста и ординарца, выйти из комнаты. Его голос был необычайно резок.

Оставшись наедине с комдивом, он сказал:

— Одевайся, Тарас Петрович. Поедем, посмотришь, что наши натворили. Дожили, Тарас Петрович!

Генерал слишком хорошо знал Плотникова, чтобы усомниться в важности происшедшего события. Ни о чем не спрашивая, он надел шинель, и они выехали.

В одной из деревень, километров за десять от нынешнего расположения штаба дивизии, Плотников велел остановить машину. Это была большая деревня с прудом посредине. На берегу пруда стояли несколько человек и курили.

При виде подъехавшей машины они бросили папиросы в пруд и подошли к генералу. То были дивизионные офицеры-контрразведчики.

Генерал молча пошел за ними.

В длинном одноэтажном доме, над крыльцом которого висел поникший белый флажок, лежали убитые немцы. Целая семья, шесть человек. Все они были зарезаны самым зверским образом. Возле них в крови валялась красноармейская пилотка.

Контрразведчики доложили следующее:

Вечером в этот дом, принадлежавший крестьянину Гансу Крюгеру, вошли трое советских солдат. Они были пьяны, шумели и бранились.

— Это были единственные солдаты в деревне? — спросил генерал.

Нет, в соседнем доме стояло отделение армейских связистов. Командир отделения, сержант Владыкин, лично видел тех троих. Возмущенный их безобразным поведением, он зашел в этот дом и предложил им вести себя потише.

Потом связисты легли спать, выставив караул. Солдат Ибрагимов, стоявший в карауле, в полночь услышал пронзительные крики и выстрелы в соседнем доме. Он разбудил сержанта Владыкина. Когда они вбежали в дом, тех уже не было, а *эти* лежали убитые.

Преступников ищут. Все части оповещены. Проводится тщательное расследование.

— Кто бы мог поверить! — сказал Плотников.— Наши солдаты! Детей!..— Он все повторял, покачивая головой: — Кто бы мог поверить!..

Генерал подавленно молчал. На обратном пути оба не обменялись ни словом.

Рано утром, когда полки уже вступили в бой, генерал перед выездом на НП получил шифровку за подписью Сизокрылова.

Генерал покосился на Плотникова и не без трепета взял в руки шифровку.

К удивлению обоих, они взыскания никакого не получили. Вообще шифровка была странная: после изложения случая с убийством немецкой семьи всем командирам дивизий предлагалось максимально усилить охрану своих тылов, учитывая, что среди огромных масс людей, идущих по дорогам в тылу наших войск, могут оказаться гитлеровские военные преступники и разные подозрительные лица.

Надо признаться, что Тарас Петрович не сразу уловил связь между убийством немецкой семьи и этим указанием.

Между тем связь тут была.

## XIII

С одной из тех групп, насчет которых предупреждал свою контрразведку и командиров дивизий генерал Сизокрылов, брел и Конрад Винкель.

Тут шли немецкие семьи, ранее получившие землю и дома выселенных поляков. Шли жители Померании, которые снялись с места еще по приказу гитлеровских властей.

Они двигались, как листья, гонимые ветром. Не зная, где приткнуться и за что взяться, они шли как заведенные, вкладывая в равномерное движение ног всю ту энергию, которая в них еще сохранилась. Хождение как бы стало главным и единственным делом их жизни.

Некоторые тащились на запад потому, что где-то там жили родственники и знакомые. Другие уходили от мести поляков, возвращавшихся на свои исконные земли. Третьи — потому, что шли их спутники, а им страшно было остаться одним. Наконец, четвертые — потому, что никто не приказывал им остановиться.

Навстречу тоже шли группы немцев, из тех, которые эвакуировались по приказу Гитлера, но их опередили русские войска, и теперь они возвращались обратно к месту своего жительства.

Это был какой-то трагический круговорот разных судеб, разбитых надежд и позднего раскаяния.

Среди семейств, стариков, старух, детей, потерявших родителей, и родителей, потерявших детей, шло и немало переодетых в штатское солдат. Они шли вовсе не потому, что хотели пробиться к своим и мечтали взять в руки то самое оружие, которое так охотно бросили, нет, к моменту окончания войны они хотели оказаться поближе к родным местам.

Все эти люди мелкими группами, двигаясь главным образом в ночное время, избегая встреч с русскими частями и освобожденными от фашистского ига толпами, медленно тащились на запад. Иногда они в сумраке сталкивались друг с другом, пугливо останавливались и по взаимному испугу узнавали: *свои*. Тогда они сходились ближе, переговаривались, вполголоса расспрашивали друг друга:

— Откуда?

— Куда идете?

— Дорога безопасна?

— Что нового?

— Нет ли среди вас врача?

— А что?

— Ребенок заболел.

— В Вольденберге русский госпиталь... Зайдите туда.

— К русским?!

— Да... Я там была с моим...

— И они?..

— Да... Лечили...
— Русские?
— Да.

Группы расходились каждая в свою сторону. Люди шли, погруженные в тяжкие мысли, но вслух говорили только самые необходимые слова — насчет пути, обуви, пропитания. Только один высокий старик время от времени громко произносил отрывистые фразы:

— Божье наказание!.. За высокомерие!.. За пролитую кровь!..

Винкель шел в Ландсберг, на вторую явочную квартиру, указанную ему Бемом. Первая находилась в Шнайдемюле, но город был осажден советскими войсками.

В Ландсберг Винкель шел не потому, что жаждал продолжать свою разведывательную деятельность. Просто он хотел встретиться хоть с кем-нибудь из знакомых и что-нибудь узнать. А может быть, просто потому, что нельзя человеку жить без всякой цели, а явочная квартира в Ландсберге все-таки была похожа на какую-то цель.

Всего лишь месяц назад полковник Бем сообщил ему адреса явок, а Винкелю казалось, что с тех пор прошли долгие годы, даже столетия. Тот Винкель, который выслушивал, стоя навытяжку в бомбоубежище, своего начальника, был совсем другим человеком.

Шагая теперь к Ландсбергу, он опасался, не заставят ли его опять что-то делать. Он ничего не хотел делать *для них.*

В конце концов он не германский подданный, а гражданин вольного города Данцига, имеющего свою конституцию и международный статус. Винкель теперь не признавал аннексию Данцига Германией!

Какая это была тихая и сытая жизнь в родном городе до прихода к власти нацистов! Винкель работал таможенным чиновником в торговом порту. Тогда он не слишком доволен был своей службой, зато теперь вспоминал желтые наклейки на тюках с чувством величайшего умиления.

Так шел он с белой повязкой на рукаве — в знак своих мирных намерений — среди других немцев с такими же повязками на рукавах.

Шли обычно до рассвета. Утром группа дробилась. Семьи расходились в разные стороны, каждая семья рассаживалась под своим деревом, хлопотала, варила пищу, ела, вполголоса

перешептывалась. Дети уходили в ближнюю деревню и, как правило, возвращались с хлебом, салом, консервами: русские солдаты не скупились и детям давали еду охотно.

Старики тоже шли в деревню к русским и просили табаку, а потом задыхались и кашляли, наслаждаясь крепчайшим русским «макорка».

Парни помоложе и главы семейств разбредались по лесу в поисках «дичины». Дичиной назывались здесь попадавшиеся в лесу беспризорные овцы и коровы. Их ловили, резали ножами, обдирали, а потом жарили на костре мясо, что вызывало острую зависть у тех, кому не посчастливилось. Вслед «охотникам» брели дети и старики, которые набрасывались на остатки туши, растаскивали все до косточки и потом с взволнованным галдежом готовили себе завтрак на маленьких кострах.

Совместно только *шли*, все остальное делали порознь. Едой не делились. Каждый думал только о *своем* завтрашнем дне. В общей беде никто не желал заботиться о соседе.

Вечером снова собирались в кучу, обсуждали дальнейший маршрут и двигались дальше. Какой-то бывший ефрейтор родом из Ландсберга хорошо знал окрестности. Он вел группу.

Как и прошлой ночью, шли лесами, так как дороги были запружены русскими войсками, а главное — толпами иностранцев. Иностранцев немецкие беженцы боялись гораздо больше, чем русских солдат.

Светила туманная луна. Ноги мягко ступали по напоенным влагой гнилым сосновым иглам. Пробирались мимо смолокурен, покинутых лесопилок, охотничьих хижин. Вскоре вышли к большому озеру. На рассвете лес внезапно кончился. Перед беженцами вырисовались очертания большой деревни с заводскими трубами на южной окраине.

Остановились. Некоторое время смотрели из-за деревьев на пустынное селение. Расселись под елками, разбрелись по лесу, ели, спали, вздыхали, ходили за «дичиной». К вечеру двинулись дальше.

Пересекая шоссе южнее деревни Вугартен, немцы услышали смех и разговоры. Под деревьями, на обочине дороги, цыганским табором расположились на ночлег люди.

Веселый женский голос окликнул немцев по-французски:

— Quel pays passe par lá? [1]

[1] Какая страна проходит здесь?

Не получив ответа, молодая француженка, стоявшая, прислонившись к дереву, с папиросой во рту, начала вглядываться в тусклые очертания человеческих фигур и вдруг, выплюнув папиросу, произнесла по-немецки с выражением бесконечной гадливости:

— O-o!.. Das dritte Reich!.. [1] — И минуту погодя выкликнула: — Heil Schiklgruber! [2]

Раздался оглушительный свист. Под этот свист немцы торопливо пересекли дорогу, прошли по вспаханному полю и, все более ускоряя шаг, укрылись в роще. Они еще услышали позади себя чьи-то слова, произнесенные с комической торжественностью:

— Also floh Zaratustra! [3]

— Божье наказание,— бормотал высокий старик рядом с Винкелем.

В Ландсберге Винкель отстал от других и пошел искать явочную квартиру.

Не без труда нашел он нужный ему трехэтажный дом. Осененный огромной белой простыней на длинном флагштоке, дом этот стоял погруженный в тишину и темноту.

Винкель отворил парадную дверь и прислушался, потом поднялся на второй этаж. Здесь было темно. Он зажег спичку и сразу же увидел аккуратную белую дощечку:

|Karl Werner, Zahnarzt [4]|

Винкель позвонил. Звонок не работал. Винкель постучал. Никто не отозвался. Винкель толкнул дверь. Дверь оказалась незапертой. Винкель вошел и зажег еще одну спичку. В квартире все было поднято вверх дном. На полу валялись раскиданные вещи и битая посуда. Блеснул никель зубоврачебного кресла.

Винкель приоткрыл дверь в следующую комнату и, испуганный, отпрянул. Там что-то шевелилось, большое и безмолвное. Винкель после минуты напряженного ожидания решился снова заглянуть в комнату. Дрожащими руками он зажег спичку.

[1] Третья империя.

[2] Хайль Шикльгрубер! Шикльгрубер — настоящая фамилия Гитлера.

[3] Так удрал Заратустра! *(нем.)*.

[4] Карл Вернер, зубной врач *(нем.)*.

В дальнем углу лежала огромная собака сенбернарской породы. Она пошевелилась, но не встала, только задышала тяжело. Старый пес умирал.

Винкель быстро покинул комнату, притворил за собой дверь и вышел из квартиры обратно на лестничную клетку. Он уже собирался вовсе оставить этот дом, как вдруг из темноты послышался женский голос:

— Не к господину ли Вернеру вы стучали?

— Да,— сказал Винкель.

— Вы не родственник его?

— Родственник жены.

— Вас не зовут ли Карл Визнер?

— Нет.

— Вы не из Силезии?

— Нет.

Покончив с этими вопросами, говорившая зажгла спичку, довольно долго, пока вся спичка не выгорела, оглядывала Винкеля, потом сказала:

— Зайдите.

Винкель вошел в квартиру, расположенную напротив квартиры Вернера. Женщина, оказавшаяся старухой с нечесаными седыми волосами, придвинула ему стул, а сама ушла за ширму и стала там что-то готовить при свете коптилки.

— Так вы, значит, родственник фрау Гильды Вернер? — спросила она из-за ширмы и, не дожидаясь ответа, продолжала:— Так вот, если вы когда-нибудь встретитесь с фрау Гильдой, передайте ей привет от фрау Клайнердинг. Она знает меня, соседи, слава богу. И передайте ей, что господин Вернер ушел в прошлую пятницу, накануне прихода русских. Ночью ушел. А также, что квартиру он хотел оставить на мое попечение, но у меня своих забот хватает, и я наотрез отказалась. Наотрез... Так ей и передайте. А если она вернется когда-нибудь и найдет часть своих вещей у фрау Мюллер и у фрау Зельвиц с первого этажа и свои чулки на кривых ногах фрау Ленц с третьего этажа, чтобы на меня не обижалась... Я не обязана охранять чужие вещи в такое время. Вот что я имею передать фрау Гильде. Она, насколько мне известно, эвакуировалась в Штеттин...— Старуха вышла из-за ширмы с коптилкой в руках, поставила коптилку на стол, стала перетирать полотенцем тарелки и спросила:— А вы куда направляетесь?

— Не знаю,— сказал Винкель.

Старуха громко загремела тарелками и с внезапной злостью проговорила:

— Не знаете?! Сначала весь мир против нас восстановили, все уничтожили, а потом «не знаю»! Боже мой, что *они* натворили! Молодежь перебита на войне, города разрушены!.. Попадись мне кто-нибудь из *них*, из вашего начальства, я бы его сразу русским выдала!.. И не пожалела бы его, будь он хоть какой разнесчастный на вид,— закончила она, пристально взглянув на Винкеля.

— Я не нацист,— пробормотал Винкель.

Старуха сардонически скривила губы и сказала:

— Все теперь не нацисты! Вот и господин Вернер перед бегством зашел ко мне — все насчет своей квартиры — и тоже говорил: «Я не нацист»... Еще русские не вошли в город, а он уже перестал быть нацистом. «Меня принудили», — говорил он мне... Еще и русских даже не было. Он мне еще и свою собаку хотел вдобавок оставить. Она-то не нацистка, это верно... да кормить ее нечем...

Светало. Сквозь черную бумажную штору маскировки пробивался рассвет. Старуха погасила коптилку и отворила штору. Серое, дождливое утро скучно заглянуло в комнату.

Винкель сказал:

— Нельзя ли мне поспать у вас, фрау Клайнердинг, до вечера? Вечером я уйду...

— Спать, спать! — сварливо забормотала старуха.— Заснуть бы навеки и не видеть всего этого!..— Она резким движением распахнула дверь в соседнюю комнату и сказала: — Там можете поспать. Только уж прошу извинить, на кровать не ложитесь... Наверно, не мылись от самого Сталинграда!..

Винкель лег на полу, но, несмотря на усталость, довольно долго не мог заснуть. Ему все чудилось, что старуха уже идет к русскому коменданту, с тем чтобы выдать его, Винкеля.

## XIV

Вечером Винкель покинул дом фрау Клайнердинг и вышел на улицу. Через город проходили русские войска. Лил дождь, но было совсем тепло и пахло весной. Винкель шел медленно, хоронясь в тени домов.

Вскоре он очутился за городом. Где-то, справа и слева, на ближних дорогах, тарахтели машины и раздавался неровный топот ног.

Винкель ускорил шаги, чтобы поскорее очутиться под защитой видневшегося невдалеке леса. Достигнув опушки, он пошел медленнее. В какой-то ложбине он услышал тихие голоса. Раз говорили шепотом, значит, говорили по-немецки. Действительно, тут отдыхала группа немцев и немок. Заслышав шаги Винкеля, они и вовсе притихли. Потом поняли, что и он немец,— по белому пятну на рукаве и по его настороженной, пугливой повадке.

Узнав, что Винкель идет из Ландсберга, они стали расспрашивать, что там слышно. Встречал ли он там группы иностранцев? Сильно ли разрушен город?

Ответив на вопросы, Винкель в свою очередь осведомился: нет ли тут людей, идущих в Кенигсберг в Querмарке? Здесь таких не было, но были люди, идущие в Зольдин и Бад-Шенфлис,— а это как раз по дороге в Кенигсберг.

— Далеко до Кенигсберга? — спросил Винкель.

— Семьдесят километров...

— Там уже русские или...

— Русские. Всюду русские...

— А наши далеко?

— Наши?..

— Армия?

— Да, наши. Армия.

— Далеко...

— Очень далеко.

Винкель присоединился к людям, идущим в нужном ему направлении.

Всю дорогу плакала какая-то женщина. Она шла сзади и тихо скулила.

Шли, как водится, до утра. На рассвете разбрелись по окрестностям, ели, спали.

Винкель достал из кармана кусок хлеба и жевал, сидя под деревом. Было сыро, но тепло. Под соседним деревом тоже сидел немец и тоже что-то жевал. Становилось все светлее. Винкель заснул, потом проснулся, снова заснул и опять проснулся.

Немец под соседним деревом спал.

Взгляд Винкеля бесцельно блуждал по лесу, по ровным просекам, по деревьям, издающим крепкий смоляной запах.

Наконец он посмотрел и на спящего соседа, и лицо этого человека — длинное, безбровое, угреватое — показалось Винкелю знакомым.

Человек был одет в грязное, старое пальто. В руке он зажал палку с костяным набалдашником. Ноги его были обуты в рваные ботинки. Одной рукой он крепко прижимал к себе рюкзак.

«Гаусс!» — узнал его Винкель, обрадованный и пораженный.

Винкель подполз к нему, присмотрелся и уже уверенно позвал:

— Гаусс!

Гаусс проснулся, испуганно взглянул на Винкеля, но не узнал его. Винкель улыбнулся — впервые за пять недель.

— Гаусс,— сказал он,— здравствуй, Гаусс! Это я, Гаусс. Я, Винкель...

Гаусс ахнул. Они обнялись, потом уселись рядом, и Винкель начал торопливо рассказывать о своих злоключениях. Он говорил начистоту, совсем начистоту, не так, как тогда с Ханне.

— Все пошло к черту, это ясно,— сказал он напоследок.— Всему конец. Надо спасать свою шкуру.

— Пст!..— сказал Гаусс, оглядываясь.— Тише!..

— Чего бояться? — возразил Винкель.— К черту! — Произнес он это, однако, пониженным голосом.

— Тише! — повторил Гаусс.— Молчи! — Он придвинулся ближе к Винкелю: — Такие мысли надо держать про себя, не то... Ты откуда идешь?

— Из Ландсберга. Заходил к Вернеру.

— Он давно удрал.

— Мне сказали. А ты что?

Гаусс усмехнулся:

— Продолжаю служить отчизне... Тут у нас руководитель новый. Может, слышал про такого? — Голос Гаусса еще больше понизился.— Фриц Бюрке... Эсэсовец, штурмбанфюрер.— Помолчав, он начал рассказывать о том, что приключилось с ним за последний месяц.— В Гнезно я пожил только два дня, еле спасся, кто-то из соседей — немец, между прочим,— сообщил советскому командованию о моей персоне. По дороге я выдавал себя за чеха родом из Судет... Даже пристал к группе чехов, хотел пробираться с ними вместе, но напился пьяный и наговорил черт знает чего. Чуть не убили. А в Брайтенштайне меня застукал этот Бюрке. Теперь я бегаю кругом, как собака, и при-

ношу шефу данные о передвижениях русских... Вот какие дела!..— Он огляделся и шепнул Винкелю в самое ухо:— Этот Бюрке — страшный тип!.. Убийца. Берегись! Ни звука про свои настроения!..

— Так уйдем,— сказал Винкель.— Мы офицеры вооруженных сил, не эсэсовцы...

Гаусс покачал головой:

— Этот Бюрке — знаешь... Он говорит, что мы в ближайшие дни заключим мир с англичанами и американцами и ударим всеми силами по русским... В Берлине на это здорово надеются.

Помолчали. Потом Винкель спросил:

— А где Крафт?

— Крафт? — Гаусс махнул рукой.— Застрелился в Познани.

Опять помолчали.

— У тебя табаку нет? — спросил Гаусс.

— Нет.

— Умно сделал,— сказал Гаусс, подразумевая Крафта.— Я и сам хотел, но смелости не хватило.

Гаусс внимательно посмотрел на Винкеля.

— Тебя узнать нельзя. Очень изменился. Что ты собираешься делать?

— Не знаю.

— Куда ты шел?

— В Кенигсберг в Querneumarke, на явочную квартиру.

— Старые явочные квартиры все разгромлены. Многих из наших захватила русская контрразведка.

— Что же делать?

— Не пойдешь со мной в Зольдин?

— К этому Бюрке?

— А куда ж идти?

Вечером немцы снова собрались вместе и пошли дальше. Винкель безвольно следовал за Гауссом.

К рассвету прибыли в Зольдин. Гаусс повел Винкеля на западную окраину города. Шли задними дворами. Перелезали через низкие ограды, палисадники. Наконец очутились в пустынном переулке со сплошь разрушенными зданиями.

Оглядевшись, Гаусс юркнул в полуподвальное окно одного дома. Винкель молча последовал за ним. В полуподвале оказалась дверца, за ней другая, и вскоре оба очутились в длинном сыром коридоре, где пахло прелью и мышами.

Шли долго. Наконец очутились в квадратном подвальном помещении. Здесь повсюду стоял острый винный запах. Кругом громоздились большие бочки. На одной из них горела коптилка. Два человека спали на полу на соломе. Третий, поправлявший фитиль коптилки, о чем-то вполголоса спросил у Гаусса. Гаусс успокоительно сказал:

— Да, да...

Они пошли дальше, миновали сырой, темный коридор и, приоткрыв большую железную дверь, вступили в другой винный подвал, сплошь заставленный бочками. Тут было светло, горела маленькая электрическая лампочка, провод от которой покоился на бочках, а сама лампочка свисала с огромной, многоведерной бочки, освещая головы сидевших у стола.

Гаусс, оставив Винкеля у двери, подошел к столу, уставленному кружками, нагнулся к одному из сидящих людей и прошептал что-то.

Человек, с которым разговаривал Гаусс, был маленький, худенький, с острой куньей мордочкой. Он громко произнес:

— Винкель! Подойдите!

Винкель подошел. Второй человек, сидящий за столом, оказывается, спал, положив голову на руки. Большая нечесаная голова с круглой плешью покоилась среди кружек.

— Садитесь,— сказал человек с куньей мордочкой.

Винкель сел.

— Еще один офицер из вермахта? — вдруг произнесла голова с круглой плешью.

— Да,— ответил человек с куньей мордочкой.

— Обер-лейтенант Конрад Винкель,— представился Винкель.

Голова еще с минуту полежала на столе, потом приподнялась. На Винкеля смотрели в упор маленькие проницательные глазки. Голова была посажена на огромные жирные плечи, шея почти отсутствовала.

С минуту посмотрев на Винкеля, человек вдруг громко захохотал.

— Э!.. Посмотри на него, Макс! — крикнул он.— Ну и вид! Где это ты такой платок достал? Шелковый, по-моему! Настоящая фрау!.. Хо-хо-хо! Садись к столу, фрау Винкель! Кушай, пей, а потом в кроватку, хо-хо-хо!..

Этот взрыв веселья погас так же внезапно, как и вспыхнул.

— Садись,— сказал он мрачно, хотя Винкель уже сидел.—

Что? Плохо тебе? Плохо,— ответил он сам себе и, помолчав, проговорил: — Будем знакомы. Я Фриц Бюрке. Слышал про такого? А это Макс Диринг, мой помощник... Далеко пойдет, если русские не задержат, хо-хо-хо!.. Ну, Винкель, что ты будешь делать?

Винкель пробормотал что-то насчет необходимости доложить начальству.

— Начальству! — усмехнулся Бюрке.— Какому начальству? Ты переходишь под мое начальство... Или, может быть, тебе, как офицеру вермахта, не подобает состоять под эсэсовским начальством? Работали, мол, вместе, а подыхает пусть СС? Может быть, тебя больше устраивает рейхсвер, такие господа, например, как фон Витцлебен или Бек, если ты их еще помнишь? Учти, вот эти руки,— он положил на стол пару огромных, красных, волосатых рук, унизанных кольцами,— эти руки сперли Бенито Муссолини у итальяшек средь бела дня. Понял? Вот кто такой Фриц Бюрке! Я при Штюльпнагеле в Париже работал по мокрым делам, в России — при Кохе. Я еще с Штрассером и Ремом работал, если ты помнишь про таких... Пей, чего сидишь? Вина тут хватит до победы!

Винкель выпил кружку вина, у него закружилась голова. Он со страхом исподлобья глядел на эсэсовца. Тот налил ему еще кружку. Винкель выпил и эту. Ему хотелось быть пьяным.

Бюрке, помолчав, сказал:

— Не бойся, со мной не пропадешь! Мне знаменитая парижская гадалка, мадам Ригу, предсказала, что я умру генералом. А мне до генерала далеко, так что придется еще пожить... И вот я прибыл сюда, работать в русском тылу, так сказать! В русском тылу — на германской территории! Никогда не думал!.. И что же я вижу? Я вижу, что немцы наложили в штаны, вот что я вижу... Где здоровые силы нации? Я их не вижу... Мы как в чужой стране. Каждый раз боимся, чтобы нас не выдал какой-нибудь пруссак...— Его глаза вдруг помутнели и налились злобой, он продолжал: — И в эту, так сказать, эпоху меня направляют на работу в русский тыл!.. Мокрое дело, пожалуйте, Фриц Бюрке!.. Мы в вас верим, Фриц Бюрке!.. Это по вашей части, Фриц Бюрке!.. Что ж, поборемся! Фриц Бюрке — чернорабочий национал-социалистской идеи. Он не неженка, не дипломат, не оратор, а работник. Я всех убью!.. А тебя, Винкель, я тоже убью! — закончил он неожиданно.— Я тебе не чистенький офицерик из вермахта! Вырву руки и вставлю спички, понял?.. И сними свой платок, старый зад!

Быстро! Побрить его и напихать национал-социалистской идеей до отказа!.. Пей, Винкель!

Винкель торопливо снял платок, выпил еще кружку и совсем захмелел. Он чувствовал, что Бюрке нравится ему все больше и больше.

— Вот это человек! — бормотал он, чуть не плача от пьяного умиления.— Рр-решительный! Н-н-н-настоящий...— Он глядел в свинцовые глазки эсэсовца с выражением рабской преданности.

Все окружающее он теперь видел как сквозь туман. Вот Диринг исчез, потом вернулся, подошел к Бюрке и шепнул ему что-то на ухо. Бюрке встал и нетвердыми шагами пошел ко входу в подвал.

Гаусс шепнул Винкелю:

— Вот он какой!..

— Хор-р-р-роший,— пролепетал Винкель.— Зам-м-мечательный!.. Всех убьет!..

Вдруг ему померещилось нечто страшное: из открытой двери подвала к нему медленно шел русский солдат! Винкель отшатнулся, помотал головой, но видение не пропало. Винкель вскочил с места и начал отступать к бочкам. Человек в русской форме покосился на Винкеля, подошел к столу, выпил залпом кружку вина и сказал на чистом немецком языке:

— Я иду спать, шеф... Мне пора спать.

И он быстро исчез в раньше не замеченной Винкелем дверце за бочками.

— Что такое? — пробормотал Винкель.

— Молчать! — тихо сказал Бюрке.— Отправьте его спать, этого пьянчужку!

Гаусс подхватил еле стоящего на ногах Винкеля, вывел его из комнаты и с трудом уложил на солому в каком-то подвальном углу.

— М-м-м, настоящий мужчина! — лепетал Винкель.

## XV

Привиделся ли Винкелю русский солдат в эсэсовском шпионском гнезде, или он на самом деле приходил сюда?

Проснувшись утром, Винкель склонен был думать, что ему все померещилось. Трещала голова после выпитого вина, и Вин-

кель, лежа на соломе, не мог в точности определить, что из пережитого за прошлую ночь было сном и что действительностью.

Вокруг него стояли огромные бочки, из-за которых пробивался мигающий, слабый свет ночника.

Очевидно, встреча с Гауссом и разговор с Бюрке были явью. Теперь, протрезвившись, Винкель уже не был в таком восторге от эсэсовца. «Придется опять тянуть лямку,— думал он.— А если русские захватят меня вместе с Бюрке, тогда лагерем для военнопленных не отделаешься!..»

За бочками послышались негромкие голоса:

— На севере большое сражение.

— Да, слышно, как артиллерия гремит.

— Наши бросили в бой много танков.

Кто-то спросил шепотом:

— Ты видел этого... Петера?

— Пст! — прервал его другой.

Потом они зашептались так тихо, что Винкель ничего не мог расслышать, кроме отдельных слов и часто повторяемого имени «Петер». Впрочем, Винкель и не пытался подслушивать. В голове шумело. Пахло винной кислятиной.

За бочками послышались шаги, и голос Гаусса произнес:

— Винкель, где ты тут?

Гаусс показался среди бочек, уже готовый в путь. За спиной висел рюкзак. На пальто были нашиты разноцветные лоскутки.

— Сегодня я буду чехом,— сказал он, показав пальцем на эти лоскутки.

Винкель пошел провожать Гаусса. В конце коридора они остановились.

— Что я должен делать, не знаешь? — спросил Винкель.

— Ходить будешь, как я... Ну и хорош ты был вчера!..

— Отвык от вина.— После непродолжительного молчания Винкель спросил: — Что это, померещилось мне или...

Гаусс сразу прервал его:

— Ладно, не спрашивай... Ничего я не знаю. Темное дело... Специальное задание из Берлина... До свидания.

Они постояли еще некоторое время друг подле друга. Им не хотелось расставаться. Все-таки они были старые знакомые, еще с тех, теперь казавшихся прекрасными, времен, когда оба служили в штабе, а войска стояли на Висле и вся жизнь имела видимость какого-то смысла.

Винкель вернулся в погреб. Вскоре его вызвал Диринг. Задание на первый раз было дано довольно несложное. Вместе с неким Гинце Винкелю надлежало сходить за пятнадцать километров на станцию Липпенэ, побывать у одного железнодорожника, запомнить все, что тот расскажет, и вернуться с этими сведениями обратно.

— Пойдете вечером,— сказал Диринг.— И смотрите, задание выполнить точно и к утру вернуться. Шеф приказал предупредить вас, чтобы вы не вздумали... исчезнуть... У нас всюду глаза есть, учтите это.

Вечером Винкель покинул подвал.

Гинце оказался молодым парнем лет двадцати пяти. На фронте он не был: его отцу удавалось через своего друга Юлиуса Штрайхера как-то спасать Гинце от военной службы. До последнего времени Гинце работал «молодежным фюрером» в одном из округов провинции Ганновер. При формировании батальона фольксштурма он отличился столь патриотическими речами, что его в один прекрасный день без всякого предупреждения, так, что он даже не успел ни о чем сообщить отцу, перебросили на сугубо секретную работу сюда. Это было за неделю до прихода русских войск.

Он прибыл вместе с Бюрке и считался одним из самых надежных работников. Однако работой своей он был недоволен: очень опасная и, по правде говоря, почти бесцельная работа. Об этом он откровенно сказал Винкелю. Правда, они добывают здесь важные сведения о сосредоточениях и передвижениях русских войск, вызывают авиацию, но авиация не прилетает... Нужна взрывчатка, а взрывчатки нет. Даже табаком не могут нас снабдить... который день не курим... В общем, там, в Берлине, здорово обделались!..

О Бюрке Гинце отзывался с уважением и оттенком страха.

— Если бы все немцы были такие, как Фриц,— сказал Гинце (он называл эсэсовца по имени, желая похвастаться перед Винкелем своей близостью с Бюрке),— было бы не плохо... Убить кого-нибудь, зарезать, избить — это для него пустяки!.. Он и Диринга бьет по рылу,— со злорадством сообщил Гинце, потирая между тем свою скулу.— Он сподвижник Отто Скорцени и в каких только делах не участвовал! Его, говорят, сам фюрер хорошо знает: Бюрке служил одно время в его личной охране. Большой человек!

Они медленно шли по мягкой, сырой хвое.

— Нас тут много? — спросил Винкель.

— Какое много! Всего, наверно, человек пятьдесят разных агентов... Остальные разбежались кто куда.

«Ну и разведчик,— подумал Винкель презрительно.— Болтун!..»

— А Петера вы знаете? — решился спросить Винкель.

Гинце зашептал:

— Видел его однажды... «Петер» — это кличка. А кто он, неизвестно. Тоже крупная птица... Это особая группа... Они русским языком владеют и действуют, переодевшись в русскую форму. Я слышал о них кое-что...

Сделали привал. У Гинце оказались две фляги с вином. Выпили и закусили. Гинце сказал:

— Они ликвидируют отставших русских солдат-одиночек и...— Гинце приблизил рот к самому уху Винкеля,— и не только русских... Только смотрите никому не рассказывайте, что я вам сказал... Да, да, хотите — верьте, хотите — нет... немецких женщин и детей...

Винкель широко раскрыл глаза.

— Зачем? — спросил он.

— Особое задание,— веско сказал Гинце, весьма довольный тем, что ему удалось поразить профессионального разведчика.— Прекрасный материал для министерства пропаганды... Знаете, общественное мнение — это важная штука...

Пошли дальше. Кругом было очень тихо, только далеко на севере гремела артиллерия и по небу изредка бегали длинные лучи прожекторов.

— Мы тут недалеко в лесу оборудовали посадочную площадку,— сказал Гинце.— Но самолеты еще не прилетали ни разу. Я их жду с нетерпением... Может быть, отец добьется, чтобы меня перевели на другую работу... Жду приказа, а его все нет.

Вскоре показалось селение Липпенэ, расположенное между двумя озерами, на железной дороге. Винкель и Гинце пробирались в тени железнодорожной насыпи. На рельсах стояли составы, груженные артиллерией и танками. По-видимому, поезда, шедшие на фронт и захваченные русскими. Так и стояли эти орудия на платформах, ни разу не выстрелив. Возле платформ прогуливались русские часовые с автоматами в руках.

Гинце и Винкель осторожно перебрались через рельсы и пошли к видневшемуся неподалеку озеру. На берегу его, возле

мельницы, стоял домик. Они вошли. Хозяин, местный житель, железнодорожник, встретил их не особенно гостеприимно, даже сесть не пригласил, а сразу плотно закрыл за собой дверь и с места в карьер начал выкладывать свои новости: прошло по дороге на Пириц столько-то русских машин, танков, пехоты. На днях неподалеку расположился русский аэродром, там не меньше полусотни самолетов, двухмоторных. В озере Вендельзее вчера утром купались русские солдаты... Да. Несмотря на холод... Русские осматривали железную дорогу; говорят, пустят ее в ход в ближайшее время.

Нервозность хозяина вскоре объяснилась. Когда Гинце, рассевшись на диване, выразил желание часок-другой отдохнуть здесь, хозяин посоветовал им поскорее убираться, так как он вчера зарегистрировался у советского коменданта как член национал-социалистской партии.

Гинце вскочил как ужаленный.

— Зачем вы это сделали? — спросил он.

— Приказ советского командования,— сказал хозяин угрюмо.— А не выполнить я не мог: все равно донесут соседи.

Гинце и Винкель поторопились покинуть дом железнодорожника. Обогнули озеро, потом еще одно озеро и леском пошли по направлению к деревне Цоллен. Оказалось, что Гинце имел поручение побывать в этой деревне. Вероятно, там их будет ожидать Диринг, который направляется куда-то по важным делам.

В крестьянском домике на восточной окраине деревни никого не оказалось. Дверь была незаперта, и они вошли туда. Гинце удивленно протянул:

— Куда же все подевались?

Они вышли во двор и совсем уже собрались уходить, когда дверца расположенного во дворе каменного погреба приоткрылась и оттуда появился не кто иной, как сам Фриц Бюрке.

— Кто там пришел? — спросил он.

— Это мы, Гинце и Винкель,— робко ответил Гинце.

Вслед за Бюрке из погреба вышли хозяин и хозяйка. Они молча прошли мимо разведчиков и скрылись в доме. Гинце и Винкель, вытянувшись, ждали, что им скажет «шеф». Бюрке тяжело уселся на валявшуюся возле погреба колоду и прохрипел:

— Кончено. Засыпались. Я ранен в руку. Что же вы стоите? — продолжал он, помолчав.— Садитесь. Подумаем, что делать. Макс убит. Петер убит. Лебе и еще четверо захвачены. Кто-то нас выдал...

Бюрке поднялся и, пошатываясь, пошел к погребу. Гинце и Винкель двинулись вслед за ним. В погребе было сыро и воняло гнилой капустой. Впрочем, хозяева, видимо, пытались создать здесь какой-то уют: в углу стояли столик, кресло. Горела лампа. Тень Бюрке причудливо колыхалась на сводчатом потолке.

Бюрке сказал:

— Нам надо уходить поскорее. Уже теперь русским наверняка известны все наши явочные квартиры.

Посидели молча. Бюрке все разглядывал свою забинтованную кисть.

— Плохо,— сказал он.

Он боялся заражения крови, газовой гангрены. Он был очень мнителен.

То был уже не прежний Бюрке, и Винкель сразу заметил это. Он держался довольно тихо, каждые пять минут вспоминал Диринга, которого, видимо, любил. Подробностей захвата русскими винных погребов он не стал рассказывать. Во всяком случае, все вокруг этих погребов кишело русскими солдатами. Ясно, кто-то выдал или сами русские выследили. Отстреливались полчаса. Бюрке и еще двое спаслись, убежали, но в темноте потеряли друг друга. Радиостанция и важные бумаги попали к русским. Надо удирать.

— Врача нужно,— сказал Бюрке.— Как бы заражения не получилось!

Гинце поднялся с места и сказал:

— Не беспокойтесь, шеф. Я схожу за врачом.

— Куда? — подозрительно спросил Бюрке, вперяя в Гинце пристальный взгляд.

— В Липпенз, там у меня знакомый фельдшер, по соседству со станцией. Быстро схожу. Только вот рюкзак оставлю здесь, а то тяжело с ним.

Гинце сбросил с плеч рюкзак, и это успокоило Бюрке.

Оставшись наедине с Винкелем, Бюрке долго сидел неподвижно, с закрытыми глазами. Спустя полчаса он открыл глаза и спросил:

— Не пришел Гинце?

— Нет. Еще рано.

Бюрке снова закрыл глаза. Винкель погасил лампу и лег в углу на пол, прислонившись к куче свеклы. Он вскоре задремал. Его разбудил голос Бюрке, спросивший:

— Ты здесь, Винкель?

— Да.
— Не пришел Гинце?
— Нет.

Молчание. Винкель опять задремал. Спустя некоторое время он задрожал от ужаса. Его лицо ощупывала большая, мясистая, потная рука — рука палача. Винкель хорошо помнил эту руку.

— Что такое, шеф? — спросил он трепещущим голосом.
— Нет Гинце? — спросил голос Бюрке.
— Нет.
— Ты почему свет погасил? Тоже хотел убежать?
— Нет, я спал.

Рука Бюрке сползла вниз, ухватила Винкеля за отвороты пальто и легко подняла с полу.

— Пойдем,— сказал Бюрке.— Не беспокойся, с Бюрке ты не пропадешь. Только бы заражения не было! Ты плохо знаешь Бюрке! Но ты его узнаешь. Диринг убит, ты будешь моим другом. Ты парень хороший, Винкель. Обещаю тебе железный крест, как только мы придем. А мы придем, не беспокойся. Слышишь, артиллерия? Это наши идут! Мы пойдем им навстречу...

И Винкель пошел вместе с Бюрке. Выйдя из деревни, Винкель остановился, вынул из кармана свой платок, завязал голову, поверх нахлобучил шляпу.

— Так будет лучше,— пробормотал он.

Бюрке ничего не сказал. Они углубились в лес и пошли на север, туда, где глухо раздавалась артиллерийская стрельба.

Когда рассвело, они сели отдохнуть на траву и вдруг увидели: прямо на них по лесной просеке идут русские солдаты. Русские шли с катушками провода, разматывая и закрепляя его на сучках деревьев. Впереди шел молоденький смуглый стройный офицер. Заметив сидящих на траве двух людей в гражданской одежде, он остановился.

Бюрке встал. Он был очень бледен. Но Винкель, испытавший многое такое, о чем Бюрке и представления не имел, смело пошел навстречу русским и сказал:

— Владислав Валевский... и пан...— он кивнул на Бюрке,— пан Матушевский... Польска, Польска... Домой... До Варшавы...

Лейтенант кивнул им и пошел дальше. Бюрке перевел дыхание. Краска медленно приливала к его лицу.

— Молодчина, Винкель! — пробурчал он.

Увидев вдали пустынную, покинутую смолокурню, они решили здесь остановиться и ждать.

— Наши скоро придут,— бормотал Бюрке, укладываясь спать в большом дощатом сарае смолокурни.— Наши прорвутся!.. Это важная операция, Винкель, очень важная. Танков много. Фюрер не совсем еще обделался. Не беспокойся, Винкель!

## XVI

Лейтенант Никольский очень спешил, иначе он обратил бы внимание на испуганный вид «пана Матушевского».

Нужно было спешить. Дивизия только что вступила с ходу в бой. В лесах и приозерных долинах, сплошь застроенных красивыми дачами штеттинских богачей, развертывалось ожесточенное сражение.

Нет в армии более осведомленных людей, чем связисты. Безгласный и незримый свидетель всех телефонных и радиопереговоров, связист в курсе самых сокровенных тайн своей части.

Никольский, прислушиваясь к телефонным разговорам, замечал, что с каждым часом положение становится все более сложным. Из одного полка утром сообщили об атаке сорока вражеских танков, другой полк минут через десять передал, что ему приходится отбивать атаку шестидесяти танков и что по его позициям бьют шестиствольные немецкие минометы. Переводчик Оганесян доложил начальнику штаба показания свежих пленных из первой морской пехотной дивизии «Гросс-адмирал Дениц». Посты ВНОС[1] беспрерывно передавали о налетах авиации противника, подробно сообщая количество «самолето-вылетов» и марки вражеских бомбардировщиков.

Настойчиво звонил в полки прибывший в дивизию начальник разведотдела армии полковник Малышев. Дежурные офицеры штаба корпуса и штаба армии запрашивали, передавали приказания, кричали до хрипоты.

В линию все чаще включались новые позывные — приданные артиллерийские части. Через километры проводов до Никольского доносилось тяжкое дыхание бьющейся с врагом дивизии, и сквозь все это прорывался низкий, внешне спокойный

[1] Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи.

голос комдива. Этот голос слышали все штабы, все промежуточные телефонные станции, вся широко разветвленная проводная связь. Затаивали дыхание, шикали на неугомонных, желавших продолжать разговор:

— Тише, говорит тридцать пять!

— Замолчите, на проводе тридцать пять!

— Вас вызывает тридцать пять!

В то время как Никольский в своем блиндаже слушал все эти разговоры, поверхность земли гудела от недалеких разрывов бомб и снарядов. Вскоре порвалась связь с полком Четверикова, находившимся в тяжелом положении.

Затем Никольский с удивлением услышал в трубке голос командира дивизии, обращающийся непосредственно к нему, Никольскому:

— Никольский, почему нет связи с Четвериковым?

— Порыв, товарищ тридцать пять. Высылаю связистов на линию.

— Сам иди и проверь. Ты отвечаешь мне за связь с Четвериковым.

Никольский вышел с группой связистов на линию.

Было темное, облачное утро. Линия шла по вспаханным мокрым полям, затем по лесу и, наконец, по асфальту большой дороги. Всюду кипела, грохотала, бурлила весенняя вода, и часто приходилось переходить ручьи вброд по пояс в воде. Многочисленные речки и озера разлились по низинам.

Первая промежуточная находилась на окраине деревни, в белом, крытом черепицей доме. Здесь все было в порядке. Связь со штабом дивизии и со второй промежуточной действовала. Толстая немка подавала связистам кофе, жалуясь на то, что это не натуральный, а желудевый. Натурального кофе не было с начала войны. По ее словам, получалось, что Германия и войну-то начала ради натурального кофе: кофе произрастает в Африке, а колонии у немцев отобрали...

Никольский отправился дальше, ко второй промежуточной.

Здесь линия рвалась ежечасно, бедные связисты без конца бегали исправлять ее и страшно умаялись. Немецкие снаряды падали на залитый водой луг, где размещались позиции нашей артиллерии.

В деревне находился какой-то артиллерийский штаб. Все кругом сотрясалось от выстрелов расположенных вблизи орудий. Испуганные коровы тыкались в ворота, громко мыча.

Третьей промежуточной не было. В сарай, где примостилась эта промежуточная, попал вражеский снаряд. Оба связиста были ранены, а провода раскиданы по лесу. С большим трудом удалось найти концы и соединить их. Раненых погрузили в попутную подводу, идущую в тыл полка за патронами.

Оставив двух своих связистов на промежуточной и сообщив в роту связи о причине повреждения линии, Никольский пошел к штабу полка.

Полковой узел связи находился в фольварке, в одном из просторных подвалов помещичьего дома, среди бочек и запыленных бутылок со старым вином. Штаб был в соседнем подвале.

Взяв трубку, Никольский сразу же услышал голос командира дивизии:

— Спокойно, спокойно! Что значит — немцы прорвались? Восстановить положение немедленно! Немедленно контратаковать! — Помолчав, генерал осведомился: — А «Раскат» уже работает?

Никольский включился в разговор:

— Работает, товарищ тридцать пять.

— Кто у телефона?

— Лейтенант Никольский.

— Ты откуда?

— С «Раската».

— Уже прибыл? Молодец! Давай Четверикова!

Из разговора комдива с командиром полка стало ясно, что положение еще более осложнилось. Немцы ввели в бой новые танки. На участке «Чайки» им удалось прорваться на два километра.

Затем в разговор вмешался командир «Сосны», то есть дивизиона противотанкового артиллерийского полка, приданного Четверикову:

— Простите, товарищ генерал. Докладывает командир «Сосны». Отбил атаку двенадцати танков. Два танка горят. У меня вышло из строя четыре трубы. Вижу в роще Круглой крупное скопление немецких танков.

— Держись, — сказал генерал. — К вам пошла «Пальма».

— Наконец-то! — отозвалась «Сосна», видимо сильно тосковавшая о «Пальме».

«Пальма» — это был самоходный полк.

Связисты пили и смачивали лбы вином из бочек. Время от времени в подвал заходил начальник штаба полка Герой Советского Союза майор Мигаев, почерневший, страшный. Ему давали кружку мозельвейна и немножко махорки,— свой табак он где-то потерял.

— Смотрите не перепейтесь тут! — предупреждал он связистов, уходя к себе.

Никольский подумал, что можно возвратиться в штаб дивизии, но это показалось ему неприличным — уйти с передовой в момент, когда положение так резко ухудшилось. А через час уйти уже было нельзя: полк Четверикова дрался в полном окружении.

Никольский зашел к Мигаеву. Там был Четвериков, только что оставивший свой наблюдательный пункт,— немцы подошли к НП вплотную и обстреливали его уже из автоматов.

Командир полка стоял посреди подвала, большой, на сильных кривых ногах, в кубанке с красным верхом, с плеткой в руке.

Он спросил:

— Гранаты есть?

— Есть,— ответил Мигаев.

— Сколько?

— Двадцать ручных, пять противотанковых.

— Пусть Щукин принесет еще сотню. Всех вооружи гранатами. Свободных связистов, разведчиков, всех ездовых, шифровальщика, топографа — всех рыть окопы вокруг фольварка. Действуй, я пойду во второй батальон.

Четвериков стегнул плеткой по своему сапогу и пошел к выходу. Его затылок был совсем мокрый от пота.

Принесли гранаты. Мигаев положил возле себя на столе две противотанковые. Потом, отдав приказания об обороне штаба, он стал связываться по телефону с «Фиалкой», но «Фиалка» молчала.

— Порыв! — бросил трубку Мигаев и, увидев Никольского, бессмысленно стоявшего посреди подвала с гранатой в руке, сказал: — Лейтенант, у меня все офицеры в разгоне. Идите в первый батальон, узнайте, что там, и передайте приказ.

— Какой приказ?

— Какой приказ? — переспросил Мигаев.— Обыкновенный. Стоять насмерть. Старый сталинградский приказ. Так, значит.

Никольский спросил:

— Можно у вас оставить мою шинель?

Мигаев даже глаза выпучил, потом усмехнулся:

— Конечно, можно! Скидайте шинель и бегите, птенец вы необъяснимый.

Никольский обиделся.

— «Необъяснимый птенец»! — бормотал он обиженно, шагая к северо-востоку, где находился первый батальон.— Почему «необъяснимый»? Даже очень странно! Сами вы «необъяснимый»!..

В кювете у шоссе, обсаженного деревьями, сидели артиллерийские офицеры. Они смотрели в бинокли туда, где, теряясь среди невысоких холмов, проходила железная дорога. Позади низкого виадука медленно шли танки, вздымая гусеницами водяную пыль и с напряжением, через силу, урча.

«Неужели немецкие?» — подумал Никольский.

Капитан-артиллерист крикнул хриплым голосом в телефонную трубку:

— Приготовиться!

Уходя, Никольский услышал команду: «Огонь!» — и вслед за ней оглушительные выстрелы. Танки были немецкие — вокруг них стали рваться снаряды.

Командный пункт батальона находился в ходе сообщения, тянущемся от передней траншеи к роще. Никольский спрыгнул туда и сразу же увидел майора Гарина из политотдела. Майор лежал с закрытыми глазами. Никольский, обеспокоенный, спросил:

— Что он, ранен?

— Да нет, свалился, заснул,— ответил кто-то.

Гарин проснулся, узнал Никольского, очень обрадовался ему и засыпал вопросами:

— Что там комдив? Знает он, что у нас тут делается? Полковника Плотникова видели? Там все в порядке? Никто не ранен, не убит? В корпусе знают обстановку?

К ним подошел комбат. Это был высокий, угрюмый, нескладный майор по фамилии Весельчаков.

При виде его Гарин почему-то смутился и виновато кашлянул. Что касается Весельчакова, то он не глядел на политотдельца, он выслушал Никольского и сказал, что посыльный с донесением послан к Мигаеву. Да и связь уже исправлена. А держаться они будут.

Раздались орудийные выстрелы слева. Никольский пригнул

голову, а Весельчаков сказал, окинув его чуть презрительным взглядом:

— Это же наши бьют, иптаповцы.

— Танк загорелся! — доложил наблюдатель из траншеи.

Весельчаков поднял бинокль к глазам, потом схватил трубку телефона и неожиданно сильным голосом крикнул:

— Не видишь разве, танки снова идут! — и пошел к передовой траншее, крича: — Петеэровцы, к бою!

Никольский вскоре двинулся вслед за комбатом. Весельчаков стоял в траншее рядом с невысоким юным сероглазым капитаном. Оба курили.

— Болванками немец стреляет,— сказал капитан.

— Осколочных нет, что ли? — раздумчиво сказал Весельчаков.

Их спокойные и даже не очень охрипшие голоса подействовали на Никольского отрезвляюще. Да, здесь было спокойнее, чем в штабе полка и в штабе дивизии. А спокойствие это происходило от ясности обстановки — немцы были на виду и были тем, чем были, не больше того: немцами и немецкими танками.

Лейтенант воевал всего полгода, а на передний край пришел впервые. И его поразила простота всего, что здесь есть. В сущности, это была неглубокая траншея, в которой сидели солдаты. Один лежал, умирая, и что-то говорил заплетающимся языком. На этих солдат работал весь громадный аппарат армии: штабы, артиллерия, инженеры, интенданты, радио и телефон. Все это работало для того, чтобы сидящие здесь люди в замаранных глиной шинелях шли вперед.

Долго размышлять по этому поводу Никольскому не пришлось: появились вражеские бомбардировщики. Солдаты с небескорыстным любопытством следили за тем, куда самолеты полетят, в глубине души надеясь, что они пролетят мимо. Однако оказалось, что цель этих черных ревущих сорока пяти «юнкерсов» — именно они, маленькие люди в мелкой траншее. Со свистом посыпались кассеты с противопехотными бомбами, и замирало сердце в предчувствии боли и смертельного удара.

Весельчаков с капитаном остались стоять в траншее во весь рост, сурово игнорируя бомбежку и словно из деликатности не замечая припавших к земле солдат. Когда самолеты отбомбились, капитан сказал:

— Сейчас снова начнется,— и крикнул звенящим, юношеским голосом: — Рота, приготовиться!

Показался майор Гарин с наганом в руке.

Никольский вспомнил, что и у него есть пистолет, и вынул его из кобуры. Он слышал, как пожилой старший сержант с черными усами говорил в сторонке майору Гарину:

— Да зачем вы сюда пришли, товарищ майор? Идите в штаб полка, неужели мы без вас не справимся?

Ответа Гарина Никольский не услышал. Солдаты начали стрелять. Стрельба их казалась Никольскому недружной и малоубедительной. Немцы, впрочем, были другого мнения, они, как сообщил кто-то, остановились и залегли.

Капитан Чохов взглянул на Никольского исподлобья и сказал:

— Из пистолета за четыреста метров кто же стреляет? Возьмите вон у раненого винтовку.

Никольский взял винтовку у раненого и, став у бруствера, начал стрелять. С каждым выстрелом его душа все больше переполнялась необычайной уверенностью в себе. Он не знал, попадают ли его пули в цель. Но он знал, как и все остальные здесь, что он стоит насмерть, по-сталинградски, и никуда отсюда не уйдет.

Это и было то, что по телефону и в штабных документах называлось: атаки противника отбиты с большими для него потерями.

Стоящий рядом молодой капитан закурил папиросу, и спичка в его руке не дрожала.

— Хватит стрелять,— сказал он.— Немец отошел. Разве вы не видите?

Никольский этого не видел. Он ничего не видел. Ему все хотелось стрелять и стрелять.

## XVII

Сначала никто не понял, каким образом здесь, в передней траншее, оказался начальник политотдела дивизии полковник Плотников. Он постоял рядом с солдатами, некоторое время смотрел на немцев в бинокль, затем спросил у Чохова:

— Ну, как дела, капитан? Выстоим?

— Выстоим,— сказал Чохов.

— Чего же ты так мрачно глядишь? — усмехнулся полковник.— Раз выстоим, значит, веселее надо...— Он снова посмотрел в бинокль, потом осведомился: — Солдаты завтракали?

— Нет еще,— сказал Чохов.

— Почему не завтракали? Что за безобразие! Где твой старшина?

Перетрусивший Годунов побежал в лес, к полевой кухне.

— И водочки неси! — крикнул ему вслед Плотников.

Он прохаживался среди солдат, потом велел, пока тихо, углублять траншею. Наконец Сливенко первый догадался спросить:

— А как вы сюда попали, товарищ полковник?

Плотников засмеялся:

— Пробрался, как видишь!.. Что же было делать? Пришлось ползком пробираться!.. Да и окружены вы не так уж плотно, это только так говорится: в окружении... Немцы — те, кажется, думают, что не вы, а они в окружении...

— Могли к ним в руки попасть,— укоризненно заметил Сливенко.

— Я под охраной пришел, с разведчиками.

Действительно, капитан Мещерский с дивизионными разведчиками тоже находился здесь. Мещерский поздоровался с Чоховым, потом подошел к полковнику и сказал:

— Тут майор Гарин в соседней роте. И Никольский здесь, оказывается.

— Вот вам и подкрепление из дивизии! — усмехнулся полковник.— А вы жалуетесь: мало людей!

Гарин уже бежал по траншее к полковнику. Он был изумлен и испуган до крайности.

— Зачем вы сюда пришли?! — вскричал он.

— Ладно, ладно! — вдруг рассердился полковник.— Охота всем меня учить и охранять мою жизнь! Лучше берите-ка, начальнички, лопатки и помогите солдатам углубить траншею, быстро, пока противник не возобновил свою музыку...

Чохов, стоя рядом с Мещерским, тихо сказал:

— А начальник политотдела отчаянный!

— Он всегда такой,— сказал Мещерский.

С приходом Мещерского Чохов стал смотреть на все происходящие тут, такие будничные для командира стрелковой роты, события с какой-то новой для него точки зрения. «Возьмет и опишет»,— думал Чохов, и все, что кругом делалось, приобрело новую, яркую окраску: оно стало темой для будущих стихов. Голос Чохова сделался еще тверже, команды — еще яснее и короче, Чохов даже обратил внимание на природу — молодую

травку, росшую за бруствером, и на разлившуюся бурную речку слева от позиций.

Мещерскому, однако, было совсем не до стихов. Он позабыл о них. Немцы снова готовились к атаке. Рокот спрятанных в глубине рощи Круглой танков становился все громче. Видимо, туда прибыло подкрепление.

Годунов и другие старшины принесли в траншею завтрак и водку. Стало веселее. Пичугин даже начал переговариваться с немцами, залегшими на опушке рощи Круглой:

— Хенде хох — и к нам на фрюштюк!

Веселье продолжалось недолго. Опять начался бой. Танки, скрытые в лесу, осыпали траншею болванками. Затем откуда-то из-за рощи забили немецкие скорострельные пушки. Черные фигурки немцев опять поднялись и пошли вперед. Следом за ними показалась цепь танков: тридцать две машины. Они поравнялись с пехотинцами, обогнали их и медленно, тяжело двинулись к траншее.

Все застыли на местах. Ложки с тихим звоном упали в котелки.

— Кто свою порцию не допил? — крикнул Годунов, подняв над головой фляжку с водкой; мимо фляжки, визжа, пронеслась пуля.

Не выпил свою порцию ефрейтор Семиглав. Однако он уже стоял у ручного пулемета, и пить ему не хотелось. Он уступил водку Пичугину, который, выпив, крякнул, встал и не спеша подошел к своей винтовке, лежавшей на бруствере.

«Какие молодцы!» — подумал Плотников, вздохнув с облегчением. Он сказал:

— Ну, смотрите, ребята! Все надежды на пехоту!

Где-то засвистел снаряд, и этот свист становился все пронзительнее и страшнее, словно надвигался мчащийся на полной скорости поезд. Все обволоклось дымом, так что люди не видели друг друга.

Бледный посыльный, низко пригибаясь, принес ящик патронов и, чуть заикаясь, спросил:

— Где полковник Плотников? Комдив его к рации вызывает.

Полковник, пригнувшись, пошел по ходу сообщения. Рация и радист находились в «лисьей норе», выкопанной в стенке траншеи.

— На приеме двадцать пять,— сказал Плотников, уткнувшись головой в сырую землю возле рации.

— Насилу доискался тебя,— с ясно слышным вздохом облегчения произнес в наушники очень далекий голос комдива.— Как у тебя дела? Лубенцовские с тобой?

«Лубенцовскими» генерал привык называть разведчиков.

Плотников сообщил обстановку. Генерал помолчал, затем обиняками намекнул на то, что в полдень дивизия пойдет в атаку.

В это время снова появилась немецкая авиация.

— Нас бомбят,— сказал Плотников.

— Вижу,— ответил генерал.— Держитесь. Мы тут вот-вот справимся. На участке Иванова противник откатывается. Узнай, как там с огурцами у трубачей...

Плотников пошел к артиллеристам, чтобы узнать, как у них обстоят дела со снарядами, и не слышал заключительных слов комдива по радио. А генерал не удержался, чтобы не добавить:

— Ну зачем ты туда пошел, Павел Иванович!.. Гражданский ты человек!

Ход сообщения был полон весенней водой. Позиции артиллерии находились в лесу, позади переднего края, почти на самой опушке. Машины стояли в овраге. Орудия, вкопанные в землю, были кое-как прикрыты сухими ветками и зеленой маскировочной сеткой. Возле орудий валялись кучи стреляных гильз. Вокруг стлался едкий туман пороховых газов.

Черные, злые и потные, артиллеристы возились у своих пушек, время от времени отвечая кому-то сидящему на дереве и сообщающему данные для стрельбы коротким:

— Есть!

Полковник спрыгнул в яму. К нему сейчас же подбежали артиллерийские офицеры.

— Да вы же ранены, товарищ полковник,— сказал один из них.

Плотников пощупал свою щеку. Она была мокрая. То ли осколок, то ли твердый комок земли, по-видимому, ударил его. Рана была пустяковая. Артиллеристы тем не менее заставили его зайти в свою землянку, смазали царапину йодом и приложили кусочек ваты.

Боеприпасов пока хватало, хотя приходилось экономить.

— Смотрите,— сказал Плотников,— вся надежда на артиллерию.

Он пошел обратно по ходу сообщения. Стало тише. Раненый, лежавший в траншее, затих.

— Умер,— сказал кто-то и покрыл лицо покойника плащ-палаткой.

У бруствера стояли два капитана — Чохов и Мещерский.

— Как гвардии майор? — спросил Чохов.— Поправляется?

Мещерский ответил:

— Понемногу. А жаль, что его нет. С ним чувствуешь себя увереннее. Замыслы противника он разгадывает очень точно.

Опять появилась вражеская авиация.

— Хотя бы до ночи продержаться,— сказал Чохов.

Плотников посмотрел на часы и усмехнулся: они показывали десять утра.

— Вы ранены! — испуганно сказал Гарин, увидев кровь на щеке полковника, но Плотников посмотрел на него так выразительно, что майор осекся.

Весельчаков сообщил, что общая контратака назначена на одиннадцать часов. Потянулись медленные минуты ожидания.

Наконец раздались знакомые грозные слова:

— Вперед, в атаку!

Солдаты замерли. «Почему же никто не вылезает?» — думал Сливенко, и так как все это думали, то никто не вылезал. Над головой злобно свистели пули.

«Почему никто не вылезает? — снова подумал Сливенко. Потом он опомнился и даже усмехнулся про себя: — *Меня* ждут».

Уцепившись за бруствер почти конвульсивным движением пальцев, он перемахнул через земляную насыпь и пошел. Не вслед за ним, а, пожалуй, одновременно с ним, секунда в секунду, вылезли из траншеи все.

Что это значило? То ли, что каждый солдат в одно и то же мгновение подумал: «это меня ждут все остальные»; то ли потому, что требуется определенное время, чтобы заставить себя взглянуть прямо в лицо смерти; то ли, наконец, потому, что все, даже не глядя на старшего сержанта, почувствовали: парторг сейчас пойдет вперед,— так или иначе, но все вырвались из траншеи одновременно.

Справа послышался негромкий стон, кто-то упал как срезанный, но никто не взглянул в ту сторону.

— Вперед, за родину! — громким, срывающимся голосом закричал Сливенко.

Солдаты, тяжело дыша, падали и снова подымались! Ноги начали вязнуть в жирном иле,— это значит, что достигли речушки. Вот вода уже людям по колена, выше, по пояс...

Справа, на опушке рощи, виднелась большая красивая дача с флюгером вроде петушка.

«Если останусь живой...» — думал Сливенко, но что он сделает, если останется живой, он так и не мог додумать: не до того было.

В то мгновение, когда у опушки Круглой рощи стали рваться снаряды («Наши, наши!» — с радостью понял Сливенко), что-то изменилось, неуловимо изменилось — даже непонятно где, пожалуй, в атмосфере. Стало легче бежать вперед, крик «ура» стал громким, и в нем почувствовалось, в этом крике, некое явственное освобождение от давящей тяжести.

В чем же дело?

Немцы не стреляли. Почему — этого Сливенко не мог еще понять. Потом он понял, что те танки, которые ползли теперь развернутым строем слева у виадука, уже не немецкие вовсе, а наши.

Минометчики с лотками на спинах, мокрые от пота, догоняли стрелков. Правее длинные противотанковые ружья плавно колыхались на плечах петеэровцев. Наконец где-то сзади захрипели машины, и из леска показались орудия.

Эта ненавистная роща Круглая, из которой исходили все беды, стала теперь обыкновенной, невинной рощей. Здесь летали воробьи и падала густая тень от сосен. В домике с флюгером Мещерский взял в плен двух раненых немецких танкистов. Они принадлежали к танковой дивизии «Силезия», только что, буквально два часа назад прибывшей с запада.

За рощей приютилась небольшая деревня с лесопильным заводом. Здесь на домах уже болтались белые флажки. Навстречу солдатам вышли два человека — смуглые, с блестящей, как у негров, кожей, но посветлее. Они были одеты в истрепанные костюмы цвета хаки.

Они шли, широко улыбаясь и выкрикивая непонятные слова, выражающие, без сомнения, радость. После их двухминутного разговора с полковником Плотниковым оказалось, что это пленные британские солдаты, но не англичане, а индусы, бежавшие из лагеря под Штеттином. Они просили дать им оружие, чтобы вместе с русскими пойти в бой.

— Уж мы сами докончим,— улыбнулся Плотников.— А вам далеко ехать... Бомбей? Калькутта?..

— Бомбей, Бомбей! — обрадовался один.

— Лагор! — сказал другой.

Солдаты смотрели на индусов с удивлением.

Старшина Годунов постарался угостить далеких гостей как следует. Водки он им не пожалел, и они ушли в тыл полка под хмельком, пошатываясь и радостно улыбаясь.

Тем временем завязывалась новая схватка с немцами, уже успевшими прийти в себя после русской атаки. Над новой, только что отрытой траншеей опять засвистели пули и загрохотала артиллерия. Тяжело дыша, солдаты пили воду из ручьев и луж, черпая ее пилотками. Чохов посмотрел на часы: они показывали всего лишь час дня.

## XVIII

Двенадцатого марта, после того как наши части штурмом овладели крепостью Кюстрин на Одере, окончательно закрепив и обезопасив плацдарм на западном берегу, генерал Сизокрылов поздно вечером запросил штаб о ходе боев в низовьях Одера.

Начальник разведотдела армии, полковник Малышев, побывав в дивизиях, отбивающих атаки неприятельских войск на севере, составил для Военного Совета подробный доклад. Из донесений, по показаниям пленных и путем личного наблюдения полковнику удалось установить ряд знаменательных фактов.

Во-первых, немцы стреляли из танков и из штурмовых орудий болванками. Стрельба болванками по пехоте! Не означает ли это острой нехватки осколочных снарядов? Далее: немцы стреляли по наземным целям из зенитной артиллерии: пушки были сняты с штеттинского и даже берлинского районов ПВО. Это значило, что полевой артиллерии у немцев мало. И наконец, последнее: снаряды немецкой артиллерии были все сплошь выпуска 1945 года. Это было выдающееся открытие: снаряды с завода шли сразу на фронт, стало быть, запасы исчерпаны.

Хотя немцы не переставая бросали в бой все новые и новые силы, успеха они не имели. Правда, несколько наших дивизий находились в трудном положении. Потери довольно велики. Однако все это было несущественно по сравнению с общими результатами боев. Ставка фашистов на прорыв в тыл войскам Первого Белорусского фронта была бита. Наши части, беспрерывно контратакуя и изматывая противника, начали теснить его

и медленно продвигались вперед, охватывая полукругом последнюю вражескую твердыню в низовьях Одера — Альтдамм.

Все эти данные наполнили сердце генерала Сизокрылова уверенностью и спокойствием.

Чохов и его солдаты общего положения не знали. В распоряжении Военного Совета находились десятки тысяч жизней. В распоряжении солдат были только их собственные жизни. Генерал Сизокрылов имел всеобъемлющие данные из сотен источников. Солдаты же знали только то, что видели перед собой.

А перед собой они видели немецкие танки с черно-белыми крестами — такие же, как и на Дону, и под Новгородом, и под Севастополем.

Танков было еще много, но командир дивизии генерал Середа, наблюдая действия немцев, чувствовал, что противник ведет бой нерешительно, с оглядкой, при которой никакое наступление не может увенчаться успехом. Вначале немцы лезли напролом, не считаясь с потерями, но уже через несколько дней, встретив стойкий отпор, они начали выдыхаться. Советские полки стали медленно продвигаться вперед.

Успокоившись, Тарас Петрович уехал с наблюдательного пункта в штаб. Здесь он умылся, снял сапоги и решил даже поспать. Спать ему, однако, не дал начальник политотдела. Плотников только что прибыл с передовой и, увидев генерала, лежащего на койке с газетой в руке, очень удивился.

— Ты что, спать собрался, Тарас Петрович? — спросил полковник.

— Да, поспать нужно часок. И газетку почитать хочется.

— Как же так? Там, на передовой...

Генерал, усмехаясь, ехидно сказал:

— Слышал... Ты там в атаку ходил... Жалко, что ты полковник, а то бы тебя наградить надо орденом Славы Третьей степени. И зачем ты туда полез? Без тебя там людей нету, что ли? Хочешь, я тебе скажу, почему ты полез? Из недоверия к своим людям!

Плотников рассмеялся:

— А сам ты разве не ходишь на передовую?

— Хожу! Когда нужно!

— А кто знает, когда нужно, а когда не нужно?

Тарас Петрович хитро прищурился.

— Это чувствовать надо! — сказал он.

В это время комдива вызвал по радио левофланговый полк.

За последние двадцать минут на левом фланге произошли серьезные изменения. Противник потеснил соседа и зашел в тыл полку Иванова. Полк занял круговую оборону и с трудом отбивался от наседавших немецких танков, принадлежавших к той же танковой дивизии «Силезия».

Более того: немцы прорвались в деревню, где находился штаб полка. Начальник штаба говорил по радио из дома, который обстреливался вражескими автоматчиками.

Тарас Петрович покосился на Плотникова, застегнул китель и начал натягивать сапоги. Потом он взял телефонную трубку и вызвал командира «Пальмы»:

— Приведи своих людей в боевую готовность, а сам приезжай к Дроздову. Я там буду.

Положив трубку, генерал сказал:

— Поеду туда.

— Чувствуешь? — спросил с усмешкой Плотников.

— Чувствую,— ответил генерал сердито.

Они сели в машину и выехали к озеру, возле которого размещался резервный стрелковый батальон. Батальон уже был поднят по тревоге. Солдаты выстроились на берегу озера. Молодой здоровяк комбат, без шинели, с двумя орденами Красного Знамени на широченной груди, встретил генеральскую машину громогласным:

— Смирно!..

Генерал слез с машины, прошелся перед строем батальона, внимательно вглядываясь в лица бойцов, потом сказал:

— Товарищи, я пускаю вас в дело. Не хотел я вас трогать: вы мой резерв. А уж если я пускаю вас в дело, значит, это необходимо. И прошу драться, как подобает резерву командира дивизии. Выбить немцев из двух населенных пунктов, восстановить положение, помочь соседней дивизии, у которой дела неважные, и, одним словом, одержать победу. Вот о чем я вас прошу и что я вам приказываю. Воева́ть вы будете не пешком, а поедете верхом на самоходных орудиях.

Послышалось гудение мотора. По лугу, разбрасывая водяные струи из-под колес, приближалась машина. Генерал повернулся к ней и ждал. Наконец она подъехала, и из нее выскочил низенький коренастый полковник — командир самоходного полка. Подойдя к генералу четким шагом, он доложил комдиву, что полк готов выступить и сосредоточился на исходном рубеже, в лесу, в районе высоты 61,5.

— Батальон будет у вас через час,— сказал генерал и повернулся к солдатам.

Когда полковник уехал, комбат, приложив к фуражке большую руку, рявкнул:

— Разрешите выполнять?

Комдив махнул рукой.

— Напра-во! — скомандовал комбат.

В лад стукнули каблуки.

— Почему без шинели? — спросил комдив у комбата.— Простудишься!

— Сроду не болел, товарищ генерал! — крикнул комбат так громко и четко, словно и это были слова команды, и, обращаясь уже к солдатам, скомандовал:— Шагом марш!

Батальон прошел мимо генерала и вскоре исчез за поворотом дороги.

— Спать, что ли, пойдем? — насмешливо спросил Плотников.

— Ладно шутить,— отмахнулся генерал; он с минуту постоял, к чему-то прислушиваясь, потом сел в машину.

Вернувшись на НП, генерал приказал оперативному отделению распорядиться об общей атаке на восемнадцать ноль ноль, одновременно с началом действий десанта на самоходных орудиях. Подполковник Сизых получил приказание организовать артподготовку на двадцать минут.

Плотников пошел в политотдел, где предупредил своих людей о предстоящей атаке и разослал их по полкам. Потом полковник, недовольный неповоротливостью второго эшелона, решил поехать в тыл дивизии и организовать быструю доставку снарядов и патронов, что было теперь исключительно важно.

Как только он уехал, генерал сел в машину и отправился на передовую.

Машина проезжала мимо обуглившихся развалин немецких сел. Генерал вспоминал разрушенные дотла деревни Белоруссии. Белорусский фронт дрался на «Померанском валу», но фронт остался Белорусским. Это название как бы напоминало противнику, чем грозит вторжение в Советский Союз.

С северо-запада дул сильный влажный ветер, и генерал вспомнил, что море близко. Он обернулся к подполковнику Сизых, сидевшему в машине, но артиллерист, воспользовавшись спокойной минуткой, спал мертвецким сном.

Генерал взглянул на часы: они показывали семнадцать тридцать. Он покосился на шофера: тот сосредоточенно смотрел вперед.

— Морской ветер,— сказал комдив.

Шофер кивнул головой и коротко ответил:

— Балтика.

В лесу, где сосредоточился самоходный полк, было тихо. Бойцы резервного батальона обедали, рассевшись на земле. Среди них в синих комбинезонах примостились самоходчики. Пехота приглашала их отведать пехотной каши, но самоходчики отказывались.

— На пустой желудок драться сподручнее,— сказал один из них.— Человек злее.

Пришли разведчики во главе с Мещерским. Потом приехал полковник Красиков. Он сказал генералу, что сосед справа продвинулся вперед на четыре километра и комкор требует от Середы немедленных действий.

Генерал посмотрел на часы. Без двадцати шесть.

Прибыли саперы, выделенные для сопровождения самоходных орудий. Иванов по радио просил помощи. Генерал посмотрел на часы. Было без десяти шесть.

— По машинам! — раздалась команда, и самоходчики бросились к своим стальным громадинам.

Пехотинцы засуетились, попрятали ложки в голенища сапог и привязали котелки к вещевым мешкам.

— «Резеда», «Резеда», «Резеда»! — надрывался где-то за деревьями телефонист.

Генерал, стоя на опушке леса, пристально глядел в бинокль на расстилающуюся перед ним равнину и уже зеленевшие кустики, окаймлявшие берега неширокой речушки слева. Еще левее виднелся городок с двумя высокими башнями кирх. Над городком вился черный дым пожаров.

Загрохотала артиллерия, и вслед за этим из лесу вынеслись самоходные орудия, облепленные бойцами. Они пошли сначала гуськом друг за дружкой по дороге, а поравнявшись с кирпичным заводом, развернулись и начали с ходу стрелять. Связисты потянули за ними связь, и вскоре генерал и сопровождающие его офицеры покинули лес и пошли к кирпичному заводу, где Мещерский и его разведчики должны были оборудовать для комдива наблюдательный пункт.

Комдив поднялся по лестнице на чердак. Там была установ-

лена стереотруба. Артиллерия гремела не переставая. Наконец наступила тишина, и только слышны были злое урчание самоходок и их сухие, резкие выстрелы. А справа, на пригорке, из окопов поднялись люди и пошли вперед. Ветер донес до ушей генерала нестройное «ура».

Через тридцать долгих минут начали поступать первые сведения из полков. Самоходный полк прорвал немецкий фронт и вышел в тыл вражеским частям. Полк Иванова прорвал с помощью самоходного полка окружение и занял три населенных пункта. Остальные полки также успешно продвигались вперед.

Мимо НП прошли артиллеристы, таща пушки и зарядные ящики на руках по болоту, крича и ругаясь.

Генерал уехал вперед, а на кирпичный заводик вскоре прибыл штаб дивизии. Воронин, захвативший в плен немецкого офицера, привел его сюда, к Оганесяну. К началу допроса вернулся из штаба тыла полковник Плотников. Он пожелал присутствовать при допросе и вызвал Оганесяна с пленным к себе.

Офицер, моряк, корветтен-капитан Эбергардт, сообщил, что в Альтдамме на предмостном укреплении остался только сильный заслон. Разбитые дивизии ушли на западный берег. Там они будут формироваться и держать оборону.

— Если сумеют,— добавил корветтен-капитан, опуская покрасневшие веки и ожидая следующего вопроса.

Он потерял брата, который был ранен во вчерашнем бою и умер у него на руках. Брат был мичманом. Весь род их был моряцкий. Будущее Германии — на воде, говорили морякам со времен Тирпица. Когда их превратили в пехоту, к ним приехал сам главнокомандующий военно-морскими силами гросс-адмирал Дениц. Это было в Альтдамме три недели назад. Будущее Германии, говорил гросс-адмирал, выступая перед строем дивизии своего имени,— на этом клочке земли.

По бледному красивому лицу моряка от ушей до подбородка ходили злые желваки.

— Во время занятий по переквалификации,— сказал он, помолчав,— пехотные инструкторы беспрерывно ссылались на пример русских моряков, которые в боях под Севастополем и Ленинградом оказались превосходными пехотинцами... Довольно бестактно было вспоминать о доблести русской морской пехоты в этих условиях. Наши моряки не сумели или, возможно,

не успели стать настоящей пехотой. К первому марта дивизия насчитывала четырнадцать тысяч человек, теперь от нее остались жалкие ошметки, не больше четырех тысяч морально подавленных людей. Дивизия входила в состав армейского корпуса «Одер», а корпус этот был частью группы армий «Висла», которой командовал рейхсфюрер СС Гиммлер.

Оганесян не мог не заметить, что корветтен-капитан говорил о своей дивизии, и о корпусе, и о группе, и о Гиммлере, и вообще о Германии в давно прошедшем времени.

— Больше не остается,— сказал корветтен-капитан,— рек в Германии хотя бы для того, чтобы называть немецкие корпуса их именами...— Он пробормотал: — Одна река осталась — Лета.

Оганесян перевел эти слова полковнику Плотникову. Полковник внимательно глядел на бледное лицо морского офицера, и немец, заметивший этот задумчивый и, как ему показалось, сострадательный взгляд, вдруг сказал:

— Господин полковник, возьмите меня к себе на морскую службу. Я специалист по тактике подводной войны и имею большой опыт. Мне надоело служить истеричным глупцам и искателям приключений.

Полковник, усмехаясь, ответил:

— Вам и не придется им больше служить. А если когда-нибудь и появятся другие такие же авантюристы, советую помнить уроки этих лет и ваши нынешние слова.— Он обратился к Оганесяну: — Спросите его, не согласится ли он выступить по громкоговорителю с обращением к своим товарищам по оружию.

Эбергардт согласился немедленно.

Ночью его привели к переднему краю, который проходил уже среди домишек городского предместья. Голос корветтен-капитана гулко разнесся среди речных пакгаузов и портовых построек:

— Я корветтен-капитан Эбергардт. Многие из вас меня знают. Я сын и внук немецких моряков и, смею сказать, честный немец. И вот, как честный немец, я призываю вас сложить оружие, не проливать свою кровь за Гитлера. Позор и смерть ему! Он привел нашу отчизну к гибели.

Закончив свою речь, немец застыл, словно оцепенел, потом его плечи затряслись, он резко повернулся и пошел, эскортируемый молчаливыми разведчиками.

## XIX

Солдаты двигались вперед усталые, с промокшими ногами, потные и злые. По обочинам дороги валялись окрашенные в желтый цвет пушки, исковерканные велосипеды, легковые машины и огромные дизельные грузовики.

Ночью Чохов с его ротой ворвался в городок на берегу Одера. Здесь на пустынных улицах стояли подбитые немецкие танки, а на перекрестках — брошенные зенитные орудия.

Для жителей приход русских оказался неожиданным: вчера они читали штеттинскую газету, сообщавшую об успехе немецкого наступления.

В квартирах горел свет,— энергию подавала электростанция Штеттина, где тоже, как видно, не знали, что этот участок побережья уже захвачен советскими войсками.

На реке, у самого берега, попыхивал в темноте военный катерок. Находившиеся на нем матросы шаркали по палубе большими сапогами. На носу мигал фонарь.

Чохов снял с плеча Семиглава ручной пулемет, спустился вниз, к берегу, не спеша установил пулемет возле газетного киоска и дал длинную очередь трассирующих и бронебойных. Сливенко бросил на катер противотанковую гранату. Раздался взрыв, катер вспыхнул, как факел. Послышались крики и стоны.

Взрыв и стрельбу услышали другие катера и канонерская лодка, стоявшая на середине реки. Вдали, над черной гладью, замигали фонари, и вскоре оттуда раздались выстрелы. Суда били по городу, не целясь. Одновременно раздались ухающие разрывы: это заговорила дальнобойная береговая артиллерия из Штеттина.

Солдаты, несмотря на обстрел, примостились поспать, но их сразу же разбудили. Надо было двигаться дальше, перерезать дорогу, соединяющую Альтдамм с южной переправой. Командир полка Четвериков прошел на своих кривых могучих ногах по улице мимо солдат, крича:

— Чего же, я буду впереди, а вы сзади? Мне одному наступать, что ли?

Солдаты повскакали с мест и пошли. Пошли и пошли, снова забыв об отдыхе и о сне. Проходя мимо домов, они с завистью заглядывали в окна. За окнами стояли двуспальные большие кровати с пухлыми перинами.

— Ничего, ребята,— сказал Сливенко,— подождите, поспим скоро.

— Я месяц подряд буду спать,— сказал Гогоберидзе.— Целый месяц! Хорошо спать в горах, под овечьей шубой!

Кое-кто ухитрялся спать на ходу, и, внезапно потеряв направление, сонный боец, как лунатик, шел вбок от остальных, пока его не окликали. Тогда он спохватывался, мотал головой, оглядывался и спешил занять свое место среди других.

Под самым Альтдаммом немцы снова оказали упорное сопротивление. Из Штеттина беспрерывно била береговая артиллерия. Пулеметы стреляли с чердаков. Солдаты залегли и почти немедленно заснули — все, кроме выделенных наблюдателей.

Пока наша артиллерия, сменившая позиции, занимала новые, пока развертывалась и накапливалась на новых рубежах огневая мощь дивизии, солдаты спали. Потом снова явился Четвериков, на этот раз он был не один, а с полковником Красиковым.

Красиков крикнул:

— Почему остановились? Впере-о-од!

И сам пошел впереди солдат.

Солдаты поднялись и, перебегая от укрытия к укрытию, от холма к холму, ворвались на южную окраину города.

Последнюю переправу из Альтдамма в Штеттин защищал вражеский бронепоезд. Только его выстрелы и были слышны в наступившей темноте.

На улицах стояли немецкие зенитные пушки. Чохов велел солдатам подтянуть их и обратить стволами в сторону, откуда доносились выстрелы. Обливаясь пóтом, солдаты повернули их и покатили вперед. Выстрелить из них удалось всего три раза, так как больше не оказалось снарядов.

Сливенко, ползя вперед с гранатой в руке, слышал слева от себя тяжелое дыхание Пичугина.

— Устал, Пичугин? — спросил Сливенко.

— Ничего, выдержим,— прохрипел Пичугин.

Какой-то упрямый пулемет, бивший по перекрестку, не давал возможности продвигаться. Полежали. Потом Сливенко обратил внимание на то, что он не слышит возле себя дыхания Пичугина. Сливенко оглянулся. Пичугина не было. Сливенко поднял глаза. Слева от него находился большой магазин с разбитыми витринами под огромной вывеской.

«Заполз туда свой «сидор» пополнять!» — гневно подумал Сливенко.

Самоходное орудие медленно прошло по улице, вышло к перекрестку и изо всей силы ударило по одному из домов, своротив угол. Немецкий пулемет замолчал. Раздался гром орудий.

— Ура-а-а-а! — послышалось со всех сторон, как шум ветра.

Впереди полыхнуло пламя. Над черным провалом реки ярко пылал немецкий бронепоезд.

Сливенко бросился вперед. Сразу стало тихо. Из какого-то дома вышло несколько немецких солдат с поднятыми руками.

Вытерев пот со лба, Сливенко остановился и опять подумал о Пичугине.

— Не видал Пичугина? — спросил он у Гогоберидзе.

Но ни Гогоберидзе, ни кто другой не видел Пичугина. Сливенко сказал сердито:

— Знаю я, где он... Сейчас схожу за ним.

Солдаты уже шли во весь рост. Город постепенно заполнялся войсками.

Сливенко вернулся к тому магазину, куда скрылся Пичугин. Да, Пичугин действительно был здесь. Он лежал возле стойки скрючившись, раненный. Сливенко вытащил его на улицу, наклонился над ним и спросил:

— Ну, чего тебе?

— В грудь угодил, паршивец,— сказал Пичугин.— Вот здесь.— Он застонал и выдавил сквозь сжатые зубы: — Ты чего на меня смотришь? Не помру. Не такой я. Я — Пичугин.

— Как это тебя?

Пичугин сказал:

— Зашел я сюда... Так, посмотреть... А тут фашист, автоматчик, сволочь...

Слово упрека готово было сорваться с губ Сливенко, но он смолчал, сорвал с Пичугина вещмешок и пояс, расстегнул шинель и поднял гимнастерку. Из раны чуть-чуть сочилась кровь. Сливенко разорвал свой индивидуальный пакет и приложил к ране прохладную марлю.

— Подожди минутку,— сказал он,— сейчас санитара приведу.

Солдаты заполнили ночные улицы города, но санитаров среди них не было.

— Санитаров здесь нет? — спрашивал Сливенко у каждой группы проходящих солдат.

Наконец нашелся фельдшер и с ним санитары с носилками. Они пошли за Сливенко.

Пичугин лежал лицом вниз. Бережно перевернув его на спину, Сливенко увидел, что он мертв. Лицо Пичугина, при жизни такое усмешливое и хитрое, было печальным и спокойным.

Фельдшер и санитары ушли.

Сливенко остался стоять возле Пичугина. Его вдруг охватило чувство глубочайшей, смертельной усталости. Стрельба прекратилась. По улицам шел непрерывный поток возбужденных людей, почуявших отдых. Машины то и дело освещали ярко горящими фарами серьезное лицо Пичугина и широкую усталую спину Сливенко.

По улицам и дворам связисты тянули провода, и тут же, кто на крыльце, кто на огороде, кто просто на мостовой, передавали по телефону в тыл, все дальше и дальше, весть о занятии Альтдамма.

Отныне Гитлер на восточных берегах Одера не имел ни одного солдата. Тщательно задуманное наступление провалилось, и вместе с ним провалились надежды Бюрке, Винкеля, старухи фон Боркау и других обломков старой Германии, застрявших в тылу у наших войск.

Одна из машин остановилась подле Сливенко. С нее соскочил майор Гарин. Он спросил:

— Не скажете, куда проследовал штаб полка?

Узнав Сливенко, он сообщил ему, что в скором времени политотдел созывает семинар парторгов рот, и он просит Сливенко подготовить выступление о своей партийной работе. Заметив неподвижную фигуру на земле, Гарин замолчал, потом спросил, участливо разглядывая лицо Пичугина:

— Что? Друг?

— Не то чтобы друг,— сказал Сливенко.— Вместе в одной роте воевали. Очень жалко мне его. Хотел хорошей жизни, но толком не знал, как до нее дойти. Старья в нем было много. Может, он и сам от этого страдал. Трудный был человек!..

Гарин уехал, а Сливенко все стоял.

«Похоронить его надо»,— подумал Сливенко.

Он пошел разыскивать свою роту и нашел ее с трудом: весь городок был полон солдат, пушек и автомашин — наших и трофейных. Наконец знакомый связной из штаба батальона указал ему месторасположение роты: она разместилась в рыбачьих сараях на берегу реки. Здесь валялись большие сети и все пропахло рыбой.

Над темными водами Одера, над взорванным мостом, над призрачными очертаниями портовых причалов нависло темное небо, освещаемое зарницами редких орудийных вспышек.

Люди очень устали, но никто еще не спал. Не улеглось возбуждение ночной атаки. Рота потеряла трех человек. Известие о гибели Пичугина огорчило всех, хотя его многие недолюбливали за ехидный характер.

— Любил он,— сказал Семиглав,— на чужом горбу в рай ездить. Единоличник!..

Старшина сказал:

— Зачем сейчас худое вспоминать!

Гогоберидзе сказал:

— Смешной был, ох какой смешной!.. Без него скучно будет.

Сливенко огромным усилием воли заставил себя встать.

— Пойду,— сказал он,— узнаю, где его похоронили. Семье написать надо.

Он вышел из сарая и вскоре опять очутился на городских улицах. Машин и людей стало меньше: они рассосались по дворам и домам.

Небо было полно зарниц, непонятно — грозовых или орудийных.

Сливенко поспел как раз вовремя. Подводы дивизионной похоронной команды собирали убитых.

Начальник похоронной команды, сорокапятилетний младший лейтенант с бородкой-эспаньолкой, ходил с фонарем в руке, отыскивая убитых.

Его солдаты, всё нестроевые, пожилые и медлительные люди, делали свое дело с завидным спокойствием. Иногда они закуривали, и вспышки громадных махорочных цигарок на мгновение освещали усатое или бородатое, не веселое, но и не печальное лицо.

Двое из них подошли наконец к Пичугину.

— Что, земляк твой? — спросил один из них у Сливенко.

— Да,— ответил Сливенко.

— Откуда?

Сливенко сказал неохотно:

— Он калужский, я донецкий.

— Вот так земляки! — сказал тот.

— Все мы земляки в чужом краю,— сказал второй сурово.

Младший лейтенант с эспаньолкой дал команду трогаться,

и подводы медленно двинулись по шоссе. Темные фигуры солдат похоронной команды двигались рядом с подводами.

— Интересно очень,— сказал чей-то голос,— с этим лейтенантом получилось тогда, на станции. Я к нему подхожу, беру за ноги — и к себе на плечи. Красивый лейтенантик, совсем молодой. А он говорит: «Это ты, мама?» Живой, оказывается. В бою, говорит, настоящем впервой был, потом пошел к себе — он в штабе дивизии связистом,— а по дороге, бедняга, сел отдохнуть и заснул как убитый. Часов семь спал без просыпу. Его, может, ищут повсюду, а он спит. И чуть мы его не захоронили заживо...

— Мамаша приснилась,— умиленно сказал другой голос.— Ну да, мальчишка еще, даром что лейтенант!

— Много нашего народу нынче полегло,— сказал третий голос.— Жаркий был бой.

— А чудно́,— торопливо проговорил тот, который раньше рассказывал о мнимоубитом лейтенанте,— на германской земле все-таки, а?

— Это да,— согласился другой голос.— Пора нашу постылую профессию бросить.

— Дело солдатское,— произнес равнодушный голос.

Светало. На холме показались чьи-то молчаливые фигуры. Тут и был участок, назначенный под дивизионное кладбище. На картах участок назывался высотой 49,2, три километра юго-восточнее Альтдамма. Здесь уже лежали свезенные раньше убитые солдаты, груда винтовок и автоматов и сложенные горкой деревянные обелиски с красными звездочками. Холм стоял у большой дороги. А та дорога вела на Ландсберг, Познань, Варшаву, Брест, Минск и Москву. И была какая-то дорога и на Калугу, откуда пришел сюда, чтобы не вернуться больше, маленький непутевый солдат Тимофей Трофимович Пичугин.

Сливенко молча смотрел, как закапывают Пичугина. У него было гнетущее ощущение чего-то недоговоренного, чего-то такого, что он должен был доказать Пичугину и уже не мог.

## XX

После взятия Альтдамма Красиков отправился к Тане. У него в полевой сумке лежало письмо жене, которое он собирался, если окажется необходимым, вручить Тане в собствен-

ные руки. И надо сказать, что Семен Семенович был вполне уверен в том, что, прочитав такое письмо, Таня, да и любая другая женщина, согласится на все.

Настроение у Красикова было прекрасное. Альтдаммская операция прошла блестяще. Ходили разговоры о том, что теперь корпус будет переброшен на берлинское направление. Семен Семенович был разгорячен ночной атакой и даже склонен был думать, что наши части ворвались на южную окраину Альтдамма чуть ли не благодаря его личному вмешательству.

В деревне, где располагался медсанбат, уцелело всего два дома. Палатки тоже еще не успели развернуть полностью: одна только хирургическая работала. Раненые лежали и сидели на улице — кто на носилках, а кто просто на голой земле. В уцелевших домах разместили тяжелораненых.

Красиков поговорил с солдатами. Говорил он с ними тем языком, который был в ходу у некоторых начальников. Язык этот весьма беден словами и мыслями, их заменяет благодушный, покровительственный тон:

— Ну, ребята, как?

— Ну, братцы, что?

— Ну, друзья, как делишки?

Кстати сказать, этот тон и эти выражения до крайности ненавистны солдатам. Однако уважение к званию, свойственное русскому солдату, заставило раненых, подлаживаясь под тон Красикова, отвечать в том же тоне, хотя несколько хмуро:

— Ничего, товарищ полковник...

— Порядок в танковых войсках!

Подошли врачи, и Красиков поговорил с ними о прошедших боях и о том значении, которое имеют занятие Альтдамма и ликвидация немецкой группировки, нависавшей над правым флангом.

— Альтдамм,— сказал Красиков,— сопротивлялся отчаянно. Мне пришлось лично повести в атаку один из наших полков.— Помолчав, он спросил отрывисто: — Где Кольцова?

— В хирургической палатке оперирует раненых.

— Скоро освободится?

— Скоро.

— Я подожду.

Полковник пошел прогуляться по деревне. Вдали виднелись роща и озеро. По большой дороге шли нескончаемой чередой

обозы. Рядом с ними двигались освобожденные иностранцы. На высокой помещичьей фуре, в которую были впряжены могучие битюги, проехали к югу французские военнопленные, освобожденные нашими войсками на балтийском побережье. Над фурой развевалось трехцветное знамя.

Шли люди в беретах, в кепи военного образца, в шляпах и матерчатых картузиках. Красиков помахал им рукой и пошел обратно в деревню.

Здесь уже началась эвакуация раненых. Санитарные автобусы выстроились длинным рядом вдоль улицы. Повсюду суетились санитары с носилками.

Возле своей машины Красиков увидел другую легковую машину. Машина была новая, очень красивая, трофейная, марки «опель-адмирал». Оба шофера — его, красиковский, и другой — осматривали машину и обсуждали ее качества.

— Кто приехал? — спросил Красиков.

— Полковник Воробьев.

— Зачем?

Шофер смутился и сказал:

— К Кольцовой.

Красиков даже глаза вытаращил. Но тут же все объяснилось. Из хирургической палатки вышли большой, веселый, улыбающийся Воробьев и Таня. Левая рука комдива была забинтована белоснежной марлей, пограничная зеленая фуражка лихо заломлена на затылок.

— Ранены? — спросил Красиков.

— Да, легонько,— ответил Воробьев.

Его хитрые, серые, смеющиеся глазки смотрели на Красикова чуть насмешливо. Или, может быть, Красикову это показалось.

— И когда это с вами случилось? — спросил Красиков.

— Давненько.

— Почему же мы не знали об этом?

Воробьев ухмыльнулся:

— Приказал никому не докладывать. Спасибо, Татьяна Владимировна выручила.— Он взял руку Тани и поцеловал ее.— Золотая рука! И губки золотые: ничего не разболтали. Да вот беда, неудобно их поцеловать — подчиненная все-таки! — Он рассмеялся, потом спросил:— А вы тут зачем? Больны?

— Зубы,— промычал Красиков.

— Ах, зубы! — Воробьев улыбнулся, Красикову стало не-

ловко, но комдив тут же заговорил о другом: — Я слышал, вы вчера водили в атаку батальон?

— Да, было,— небрежно сказал Красиков.

— Видите машинку? — спросил Воробьев, указывая на автомобиль.— Мои разведчики захватили. Принадлежала генералу Денеке, командиру девятой немецкой авиадесантной дивизии. В багажнике у него оказался даже парашют. Видно, выпрыгнул генерал из машины без парашюта...

Когда Воробьев уехал, Красиков впервые посмотрел на Таню. Она была очень хороша в белом халате и белой шапочке, со своими ясными большими глазами, глядевшими на Семена Семеновича серьезно и холодно.

— Где вы тут устроились? — спросил Красиков.— Мне надо поговорить с вами.

— Еще нигде,— сказала Таня.— Мы разгрузились — и сразу же начали прибывать раненые.

— Прогуляемся,— предложил Красиков.

Они пошли по деревне.

— Когда я просил вас стать моей женой,— сказал он, помолчав,— я не шутя говорил. И вчера, во время боя, перед лицом опасности, я еще раз все обдумал и все понял.— Он открыл полевую сумку и вынул письмо.— Вот письмо жене, в котором я откровенно сообщаю о том, что люблю вас и что порываю с ней отношения. Со старым все кончено, Таня.— Он взял ее руку и крепко сжал в своей.— Нас перебрасывают,— продолжал он, и его голос стал торжественным,— на берлинское направление... Мы стоим перед последним сражением этой войны. И все это как бы совпадает... с нашим личным счастьем...— Таня молчала, и он продолжал скороговоркой: — А насчет той медсестры... Я ценю ваши добрые чувства к людям, Танечка. Я погорячился. Приказ об этой женщине отменен. Она уже опять с этим комбатом. Давно, уже несколько дней.— Таня взглянула на него удивленно, но опять ничего не сказала.

Красиков положил свое письмо в карман ее халата и промямлил смущенно:

— Я еще вот что хотел вам сказать, Танюша... Там, в этом письме, не все написано, так сказать, фактически верно... Я пишу, что познакомился с вами в сорок первом году... И дальше, что вы меня выходили, когда я был ранен, тогда же, в сорок первом... Это я, так сказать, чтобы вышло как-то удобнее, лучше...

Ее щеки горели. Его уже начинало беспокоить ее молчание, как вдруг она, по-прежнему молча, вынула из кармана письмо, разорвала его и бросила на траву.

— Вот и все,— наконец заговорила Таня. Покачав головой, она произнесла уже без гнева, а с горестным изумлением и упреком: — Ой, какой вы нехороший! Какой вы жалкий!

И она пошла обратно в деревню.

Красиков стоял неподвижно, пока Таня не скрылась из виду. Потом он поднял с земли разорванные половинки письма, сунул их себе в карман и пошел к своей машине.

После отъезда Красикова в медсанбате стало шумно и оживленно. Женщины неведомо каким образом сразу узнали о случившемся. Левкоева вбежала к Тане в палатку, долго трясла ее руку, целовала ее и приговаривала:

— Молодец, Танюша! Я все знаю...

Таня грустно улыбнулась:

— Еще бы! В нашем медсанбате что-нибудь скроешь!..

Маша была очень довольна. Она вообще считала, что мужчин надо «сре́зать», «не давать им воли».

— Если им дашь волю,— говорила она Тане, гуляя с ней по деревне и держа ее за руку, как девочку,— они на голову сядут. При коммунизме — и то еще будет немало возни с этими мужчинами!

Глаша, занятая эвакуацией раненых, все-таки выбрала свободную минуту и прибежала к Тане. Тут она впервые узнала, что без своего ведома имела отношение к Таниному разрыву с Красиковым. Она удивилась, охнула и сказала, прослезившись:

— Очень прекрасно!.. Так ему и надо!

Женщины медсанбата — милое, шумливое, доброе и говорливое племя — были настроены как-то по-особенному радостно, словно они вместе с Таней совершили некий важный подвиг.

Они радовались не только тому, что Таня посрамила Красикова. Здесь торжествовало более высокое чувство — радость людей от ощущения чистоты и силы человеческого характера, не идущего на сделки со своей совестью. Покончив с работой, женщины и девушки расселись на крылечке и запели русские песни. Они пели про смерть Ермака и про гармониста в прифронтовом лесу, про широкую Волгу и седой Днипро.

Так они сидели, прижавшись друг к другу, до поздней ночи, и нежные женские голоса звенели в теплом ночном воздухе, вызывая в сердцах у идущих по ночным дорогам солдат сладкую грусть — тоску по родине.

## XXI

Разговоры о переброске дивизий к югу оказались справедливыми.

Верховное Главнокомандование утвердило эту переброску еще несколько дней назад, затем все документы, относящиеся к марш-маневру, отрабатывались в штабе фронта. На карты наносились маршруты и участки сосредоточения. Потом телеграф и телефон стали передавать длинные колонки цифр, шифровки, приказания, запросы.

Офицеры связи из штаба фронта на самолетах и машинах разъехались в штабы армий, оттуда другие мчались на машинах и верхом в штабы корпусов; из корпуса в свою очередь верхом и пешком спешили в штабы дивизий.

По дороге от Ставки до стрелковой роты приказ все уменьшается да уменьшается в объеме. До роты он доходит в форме телефонного звонка комбата:

— Поднять людей в ружье.

Пока что приказ о передислокации дошел только до штаба дивизии, и капитан Чохов безмятежно сидел на груде сетей возле рыбачьего сарая у Одера. Взошло солнце, но в воздухе еще ощущался ночной холодок, и ветки деревьев с нераспустившимися почками зябко подрагивали. Речная гладь отсвечивала красными полосами. Пахло гарью затухающего невдалеке пожара.

Рядом кто-то шевельнулся, приподнялся. Это был Сливенко.

— С добрым утром! — сказал он.

Чохов в ответ кивнул.

— В дивизионной газете про нас написано,— сказал Сливенко и протянул Чохову маленькую газету.

Чохов взял ее и пробежал глазами статейку под заголовком «Бойцы офицера Чохова всегда впереди». Краска удовольствия прилила к лицу капитана.

Он сказал:

— Спасибо солдатам. И вам, парторгу, спасибо за помощь.

— Служу Советскому Союзу,— ответил Сливенко, как полагалось по уставу.

Солдаты поодиночке просыпались, сладко щурились на солнце, позевывали.

— Жинка снилась,— сказал кто-то.

— То-то ты как ошпаренный вскочил.

— За самоваром сидели, в саду,— продолжал солдат рассказывать свой сон.— У нас сад хороший. Да... Сидим под черешней и чай пьем, горячий, с пампушками. Моя жинка эти пампушки ужас как хорошо делает. А кругом весна... А жинка...

— Сама небось как пампушка,— засмеялся кто-то.

— Да, вроде,— охотно согласился, широко улыбаясь, солдат.

— Подъем! — послышался издали грохочущий голос старшины.— Сколько можно припухать?.. Семиглав, за завтраком! Всем умыться и чистить оружие! Живо! Кому я вчера велел хлястик пришить? Иголка и нитки у меня! Живо!

Его голос по-хозяйски гремел над рекой.

С ближнего чердака весело отозвались разведчики-наблюдатели:

— Чего разоряешься, старшина? С таким голосом тебе в Большом театре петь!

Старшина скинул с себя гимнастерку и нижнюю рубаху и пошел к реке. Спустившись к самой воде, он разулся, вошел в воду и стал умываться. Он вымыл студеной водой голову, шею и тело по пояс.

— Замерзнешь, старшина! — крикнули саперы из соседнего сарая.

Старшина не удостоил их ответом. Он обулся, надел на мокрое тело нижнюю рубаху и гимнастерку, накрепко затянулся поясом, собрал сзади на гимнастерке шикарные складки, повернулся лицом к солдатам и снова крикнул:

— Живо!

Из сарая вышел связист и сказал, обращаясь к Чохову:

— Товарищ капитан, вас «Фиалка» вызывает.

Чохов не спеша зашел в сарай, взял телефонную трубку и услышал голос Весельчакова.

— Чохов! — сказал Весельчаков.— Поднять роту в ружье! А сами ко мне.

Положив трубку, Чохов несколько мгновений стоял в задумчивости, потом спросил вслух у себя самого:

— А куда пойдем?

Постояв еще мгновение, словно ожидая ответа, он пошел наконец отдать необходимые распоряжения.

Пока Годунов сворачивал несложное ротное хозяйство, Чохов отправился к штабу батальона. Всюду, в домах и по дворам, царила предпоходная суета. Связисты сматывали провода, шоферы заводили машины.

У Весельчакова уже собирались командиры рот и приданных «средств усиления». Никто не ожидал, что придется так скоро выступить в дорогу. Весельчаков вполголоса сообщил то, что слышал от майора Мигаева:

— Говорят, на берлинское направление.

— Без нас, значит, не обошлись,— удовлетворенно улыбнулся один из артиллеристов.

Командир первой роты спросил, где кормить солдат. Весельчаков показал на карте:

— Вот в этой роще позавтракаем. Батальонная кухня к тому времени подоспеет.— Комбат просмотрел строевые записки и покачал головой.— Людей мало.

— Дадут,— сказал кто-то из командиров.

Все разошлись по своим подразделениям. Чохов, задержавшись, спросил у комбата:

— Какой дорогой пойдем?

Весельчаков махнул рукой: какая, мол, разница,— но Чохов настойчиво повторил:

— Какой дорогой?

Весельчаков дал ему посмотреть маршрут. Это был почти тот же путь, по которому они шли сюда, с небольшим отклонением на запад. Затем сосредоточение в каком-то лесу, а что будет дальше, известно большому начальству.

Чохов незаметно повеселел. Он всегда веселел незаметно для окружающих.

«Хорошо, что все эти иностранцы узнают, что слово советского офицера — закон: обещал вернуться — вернулся»,— думал Чохов не без желания скрыть даже от самого себя интерес к предстоящей встрече с Маргаретой.

На обратной дороге в роту он думал о Маргарете, и ему почему-то казалось, что она по-прежнему все так же сидит на подоконнике, мокроволосая и счастливая, и ждет.

Марш-маневр начался. Из Альтдамма в южном направлении вытянулись колонны. Гудели машины, ржали кони, кованые сапоги стучали по асфальту, развевались плащ-палатки.

Чохов медленно ехал верхом на своем коне впереди роты. Позади негромкими голосами переговаривались солдаты, сызнова вспоминая подробности боев за Альтдамм, нападение на вражеский катер, словечки покойного Пичугина.

По обочинам дороги валялись изувеченные велосипеды, скособоченные немецкие пушки, разбитые машины.

Время от времени раздавались заунывные голоса шедших сзади:

— Принять впра-а-во!..

Солдаты жались к правой стороне дороги, и мимо них проносились грузовики, орудия, «катюши».

Чохов издали завидел на перекрестке дорог несколько легковых машин, стоявших под деревом. Возле них прохаживались командир дивизии и начальник политотдела. Возле самой дороги стояла Вика, глядя на проходящие части и улыбаясь приветливой и счастливой улыбкой.

Чохов оглянулся на своих людей и вполголоса скомандовал:

— Разобраться. Генерал нас встречает.— И он отрапортовал на ходу, приложив руку к пилотке: — Вторая стрелковая рота следует по маршруту. Докладывает командир роты капитан Чохов.

Высокая папаха генерала, приветливое лицо полковника Плотникова и стройная фигурка Вики проплыли мимо.

— Вольно,— сказал Чохов.

Через некоторое время к нему подъехал на своей караковой лошадке майор Мигаев. С минуту он ехал молча рядом с Чоховым, потом сказал:

— Так, значит. Ты представлен к ордену Отечественной Войны Первой степени за альтдаммские бои. Два ордена в месяц. Не так плохо, а?

— Да,— сказал Чохов.

— И твои солдаты представлены тоже, некоторые посмертно. Смотри держись хорошо, мы на тебя здорово надеемся.

Он смотрел на Чохова, ожидая ответа. Наконец Чохов произнес:

— Спасибо. Постараюсь.

Мигаев отъехал страшно довольный и думал, хитро ухмыляясь себе под нос: «Ах ты паршивый мальчишка! Заговорил, выдавил из себя два слова все-таки...» И, оглянувшись на Чохова, подумал: «Бедняга».

На третий день, рано утром, часть проходила по дороге в шести километрах западнее местопребывания Маргареты Реен. Чохов все время тревожно поглядывал на карту и наконец решился. Конечно, это было явным нарушением дисциплины. «В последний раз»,— думал Чохов, беспокойно оглядываясь на своих солдат и издали следя за караковой лошадкой Героя Советского Союза. На привале он вызвал к себе старшину и сказал:

— Отлучусь на два часа. Если спросят...

Годунов успокоительно улыбнулся:

— Порядок! Остановились, дескать, коня поить...

Старшина был парень дошлый.

Чохов пришпорил коня и поскакал по проселку. Вскоре он выехал на параллельную дорогу, по которой проходила другая дивизия. Полковник с перевязанной рукой, в зеленой пограничной фуражке, стоял возле машины, пропуская, как и генерал Середа, свои части. Проследовал понтонный батальон, потом самоходная артиллерия. Когда движение на минуту прекратилось, Чохов проскочил через дорогу и опять поскакал по проселку.

В лесу было прохладно и пустынно. И только на одной из просек Чохов увидел двух медленно бредущих мужчин: одного большого, плешивого, другого худого, с женским платком на голове и в черной шляпе поверх платка. То были, видимо, поляки, во всяком случае у них на лацканах пальто болтались бело-красные лоскутки, и тот, что в платке, завидев Чохова, поклонился ему и сказал:

— Дзенкуемы за вызволенне...[1]

Двое медленно поплелись к югу, а Чохов поскакал дальше. Выехав на опушку леса, он увидел перед собой ту самую деревню. Он пришпорил коня. Солнце поднялось довольно высоко, и длинные бледные тени деревьев ложились на молодую траву.

Помещичий двор дымился. Дом был сожжен почти дотла. Во дворе по-прежнему стоял «мерседес-бенц» с деревянным дышлом. Чоховской кареты не было.

Чохов подошел к деревянному бараку, где жили иностранцы. Барак был пуст. Деревянные топчаны с соломенными матрацами из мешковины стояли у стен. В каморке, где раньше жили

[1] Благодарим за освобождение *(польск.)*.

Маргарета и ее подруга-француженка, на стене висела запыленная литография.

— Ушли,— сказал Чохов.

Он вышел из барака и остановился во дворе.

«Зря спалили,— подумал он, поглядев на дымящиеся развалины некогда красивого помещичьего дома.— Тут можно было бы клуб устроить или избу-читальню...»

Он отвязал коня, сел в седло и медленно поехал обратно, догонять свою роту. На большой дороге с севера на юг прошли подводы с галдящими иностранцами, но это были другие, не те. Потом стало совсем тихо, и только откуда-то издали доносилось пыхтение автомашин.

— Все идут домой,— сказал Чохов, обращаясь к своему коню, который в ответ повел ушами,— поедем и мы скоро. Да, скоро мы поедем домой, к себе. Дело сделали, освободили всех, кого нужно было. Навели порядочек...

Конь прислушивался одним ухом к словам седока. Чохов давно уже не был в одиночестве, пожалуй, все годы войны. Теперь он был совсем один, и он думал вслух. Конь слушал и поводил ушами.

— Да,— сказал Чохов,— вот что мы сделали. Обо всех позаботились... Подожди, побьем сволочей — и тоже домой.

Солнце начинало припекать. Было тихо. Чохов увидел невдалеке деревню с озерцом и, вспомнив слова Годунова, решил действительно напоить коня. Он спешился и повел коня на поводу к воде.

У озера сидели солдаты. Они ели консервы большими ложками из банок — строго по очереди, зачерпывая не слишком много, но и не очень мало,— и внимательно слушали рыжеусого солдата, сидевшего посредине на немецком снарядном ящике.

В рассказчике Чохов сразу же узнал рыжеусого сибиряка, своего попутчика по карете.

— ...А ездил он, однако, Илья Муромец,— рассказывал сибиряк, ухмыляясь себе в усы,— как наш автомобиль: ехал три часа — проехал триста верст! И вот, когда увидел того разбойника и тую кровать, возьмет и как шмякнет разбойника об кровать... Перевернулась, сказывают, кровать, и провалился разбойничек в глубокий погреб. Тогда наш Илья с крюков-замков дверь в погреб сорвал и выпустил на свет божий сорок могучих богатырей. И говорит им, однако, Илья: «Расходись, ребята, по своим родным местам и молите бога за Илью Муромца. Кабы

не я, Илья, крышка вам всем!» Вот какие дела. Это мне еще бабушка рассказывала...

Тут раздалась команда:

— Становись!

Солдаты засуетились, все-таки выбрали ложками последние остатки из банок, быстро разобрали винтовки и побежали строиться. В этот момент рыжеусый узнал Чохова и обрадованно крикнул:

— Здравия желаем, товарищ капитан! Признаете?

— Узнал,— сказал Чохов.

— Однако на Берлин?

— На Берлин,— сказал Чохов.

Солдаты тронулись в путь. С севера, с Балтийского моря, дул попутный солдатам ветер, и плащ-палатки на них трещали, как паруса. А на деревенских окнах подрагивали белые флаги.

*Часть третья*

## НА БЕРЛИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

### I

Наступила весна, но люди были слишком заняты своим делом, чтобы замечать ее, как обычно. Конечно, солдаты радовались теплу, но им казалось, что тепло исходит совсем не от солнца, а деревья зеленеют не от апрельских соков, бурлящих в обновленной почве.

Если солдаты и думали о весне и говорили о ней, то только в связи с домом, с родиной. «Там уже пашут»,— говорили вчерашние колхозники. «Скворешни там уже ждут гостей»,— говорили вчерашние мальчики.

Здесь, на чужой стороне, весны не было, была близкая победа, и казалось вполне естественным, что она приходит в сопровождении солнечного света и радостного гомона птиц.

Так ощущали солдаты эту весну на Одере, весну сорок пятого года.

Начали цвести сады. Соловьи заливались в рощах. Днем на Одере царила почти деревенская тишина. Над болотами низко летали вальдшнепы. Горланили петухи в приодерских деревнях, лениво хлопая крыльями. Зато ночью всюду кипела лихорадочная работа, скрытная, кропотливая, таинственная. Темнота чужеземной ночи вздыхала, тихонько поругивалась на чистом русском языке, ухала по-бурлацки: то работали саперы, сооружая

детали огромных переправ; то устраивались на недолгое житие подошедшие части, маскировались ветками вновь прибывшие артиллерийские стволы небывалых калибров, сгружались ящики с патронами.

Пение соловьев прерывалось артиллерийскими налетами немцев. Начинало стрелять одно орудие, затем откликалось другое, третье. Потом какая-то батарея, бог весть чем встревоженная, принималась гвоздить шальными залпами. Вскоре стреляла чуть ли не вся вражеская артиллерия. Напоминало это ночной лай собак в какой-нибудь глухой деревне: встревоженный лай одной собаки вызывает ответ другой — и вот уже вся деревня брешет заливисто и тревожно. Потом выясняется, что кругом все спокойно и лаять-то пока нечего, и собаки затихают поодиночке. Снова воцаряется весенняя тишина, и оказывается, что соловьи вовсе не замолкали, они по-прежнему щелкают и щелкают.

С рассвета на болотистых берегах большой реки снова все замирало. Солнце, вставшее в далеких русских равнинах, озаряло реку багровым сиянием. Просыпались воробьи. Но в этой фальшивой тишине чувствовалось тревожное ожидание, еле сдерживаемое волнение двух гигантских лагерей по обе стороны багровых вод.

Наступало время наблюдателей. Они глядели во все глаза и во все оптические приборы на противоположный берег. С башен и чердаков, с верхушек деревьев, из блиндажных щелей и густых кустарников, со всех наблюдательных пунктов — передовых, основных и запасных — глядели разведчики и артиллеристы, офицеры всех рангов и родов оружия. С прифронтовых аэродромов вылетали разведывательные самолеты и подолгу шныряли над шоссейными и железными дорогами, выслеживая, фотографируя.

Капитан Мещерский и его разведчики оборудовали наблюдательный пункт в сосновом лесу. Они сплотили досками три росшие близко друг к другу сосны и почти у самых вершин положили помост. На помосте был устроен столик, туда же поставили перенесенное из какого-то дома покойное стариковское кресло. Среди веток, замаскированная хвоей, стояла стереотруба, а на столике лежали прикрепленная медными кнопками схема наблюдения и тетрадь для записей. Тут же находился полевой телефон. Наблюдательный пункт сообщался с землей посредством сооруженной из теса крутой лестницы.

Помост покачивался под порывами ветра. Аист, поселившийся на днях на соседней, разбитой снарядом сосне, с любопытством поглядывал черными бусинками глаз поверх оранжевого клюва на диковинных получеловеков-полуаистов, сидевших в непонятном гнезде. Вскоре у аиста появилась и подруга, они вместе улетали и прилетали вместе и, курлыкая, заинтересованно смотрели на Мещерского и его товарищей, иногда переговариваясь между собой по-своему, по-аистиному. Когда аисты улетали на запад, разведчики кричали им вслед:

— Смотрите не разболтайте немцам про наше гнездо!

Однажды утром разведчики услышали в кустах шаги, и вслед за этим раздался веселый голос:

— Где вы там, друзья-товарищи?

Разведчики глянули вниз и ахнули: гвардии майор! Все, кроме Воронина, который остался у стереотрубы, посыпались вниз, как белки.

С Лубенцовым прибыл и майор Антонюк. Лубенцов еще хромал и ходил, опираясь на палку.

Поздоровавшись с разведчиками, он с трудом взобрался наверх, глянул в стереотрубу, пробежал запись наблюдений и недовольно сказал:

— Далековато от немцев!.. Тут и не увидишь ничего толком! Неужели нельзя было устроиться поближе к реке?

Антонюк, стоя внизу, у подножья деревьев, прислушивался к разговору, доносившемуся сверху.

Воронин ответил нерешительно:

— Можно, конечно, товарищ гвардии майор... Вот взгляните.

Он навел окуляр на холмик у самой реки.

Антонюк даже выругался про себя. Ведь и он не так давно спрашивал у разведчиков, нет ли более подходящего места для НП, но тот же Воронин ответил ему тогда:

— Где же лучше?.. Тут место высокое, а там все болото да болото...

«Надо было самому прийти и посмотреть!» — злился на себя Антонюк.

Сверху донесся голос гвардии майора:

— Ну и хорошо! Туда мы и переведем НП, а этот останется про запас, на случай, если немцы нас обнаружат там.

Лубенцов сошел вниз и сказал наконец о самом главном:

— На днях будем делать поиск. Пленный нужен до зарезу.

Уселись на траву. Мещерский сообщил:

— У них там боевое охранение в торфяном сарае, на болоте. Самый удобный объект. Я все время наблюдаю за ним. Немцы туда приплывают на лодке в семь часов вечера и уходят обратно в свою траншею в шесть утра. Их обычно пятеро. Вчера, правда, их было восемь человек. Оттуда они ракеты пускают. Сегодня двое купались перед уходом. Вооружены пулеметом и винтовками.

Выслушав Мещерского, Лубенцов сказал:

— Ладно, посмотрим.— Оглянувшись на аистов, он понизил голос: — Наступление — дело ближайших дней.

Разведчики насторожились.

Конечно, все знали, что наступление вскоре начнется, но тайна, которой была окружена подготовка, вводила в заблуждение не только противника, но и наших солдат и офицеров. Даже командиры корпусов и дивизий ничего определенного не знали. И хотя генералы могли о чем-то догадываться, но день наступления был известен, очевидно, одному лишь Верховному Главнокомандованию.

Лубенцов с такой уверенностью сказал разведчикам о близком наступлении потому, что он слышал это от генерала Сизокрылова.

Выписавшись из медсанбата, Лубенцов побывал в штабе армии. Здесь он сразу же зажил напряженной и деятельной жизнью, составляющей приятный контраст с тихим прозябанием в медсанбате. Ему показали карты с данными всех видов разведки. Немцы построили за Одером мощную полевую оборону: густо разветвленную сеть траншей, эскарпов, противотанковых рвов, минных полей. Все это было уснащено бронеколпаками и переплетено проволокой. Было зафиксировано усиленное, почти беспрерывное движение вражеской пехоты, автомашин, гусеничных тягачей по дорогам от Берлина к линии фронта. А строители Тодта [1], рабочие батальоны и десятки тысяч людей из местного населения копошились на всем протяжении от линии фронта до Берлина.

Полковник Малышев подробно объяснил Лубенцову обстановку. «Языка» давно уже не брали, так как нас отделяет от противника река, собственно говоря, даже не одна река, а две: Одер, начиная от разветвления его с Альте-Одер, протекает

[1] Организация Тодта — военно-инженерная организация в немецко-фашистской армии.

двумя рукавами, являющимися фактически двумя параллельными реками, между которыми лежит болотистая пойма, перерезаемая глубокими ручьями. Тем не менее необходимо уточнить немецкую группировку, и для этого нужен «язык».

— Как только приедете к себе,— сказал Малышев озабоченно,— примите меры к захвату пленного. Во что бы то ни стало!

Вечером, когда Лубенцов уже собрался уезжать, в разведотдел внезапно сообщили по телефону, что приехавший только что генерал Сизокрылов хочет расспросить Лубенцова о его пребывании в осажденном Шнайдемюле.

Генерал выслушал рассказ гвардии майора с глубоким вниманием. По правде сказать, он любовался открытым и умным лицом разведчика. Он думал: «Как жаль было бы, если б он погиб! Интересно, жив ли его отец?» Генерал хотел даже спросить об этом Лубенцова, но передумал, не спросил. Он только сказал:

— То, что вы рассказали, очень поучительно для меня. Я слушал нечто вроде исповеди коммуниста младшего поколения. Должен вам сказать, что ваша стойкость при исполнении долга в тех исключительных условиях лишний раз подтверждает, что на историческую арену вышло новое поколение, достойное стоящих перед нами задач. Оно проверено этой войной.

Лубенцов не нашелся что ответить. Да и что тут было отвечать? Хорошо бы подойти к Сизокрылову и сказать ему все, чем полна душа: какое это счастье — быть советским солдатом, борцом за справедливое дело.

Если Лубенцов всего этого не сказал, то не потому, что у него не хватало слов. Просто он воспитывался в семье тружеников, где не в почете были пространные сердечные излияния, где все похожее на чувствительность считалось нескромным, даже недостойным. Здесь любили горячо, но молча; симпатия здесь выражалась чаще в форме ласковой шутки, чем в виде признаний.

Незаметно для себя Лубенцов глубоко вздохнул. И, пожалуй, это был наилучший ответ. Генерал улыбнулся, поднялся с места и спросил:

— Едете к себе?

— Да, товарищ генерал,— ответил Лубенцов.— Сложное предстоит дело — пленного будем тащить через Одер.

— Может быть, в последний раз,— сказал Сизокрылов.—

На днях начнется великое наступление, последнее в этой войне. Попрошу вас быть более осмотрительным, не увлекаться и не рисковать жизнью без толку.

Когда Лубенцов вышел от генерала, ему в лицо пахнуло такой неподдельной, теплой, безбрежной весной, что дыхание захватило.

Машина уже дожидалась его.

Лубенцов всю дорогу молчал, только время от времени торопил слишком осторожного шофера:

— Давай, давай, приятель!

Приехав в свою дивизию, Лубенцов, даже не повидавшись с комдивом, уехавшим в один из полков, сразу же отправился с Антонюком на наблюдательный пункт.

## II

Снова началась для Лубенцова жизнь в обороне, и снова возникла привычная, сверлящая мозг забота разведчика — забота о пленном, о «языке». Лубенцову было еще трудно ходить и ездить верхом, поэтому он предпочитал не уходить с НП вовсе. Вместе с Мещерским и Ворониным он сидел у стереотрубы и пристально следил за тем, что творится на реке и на речной пойме.

По Одеру плыли самые различные предметы домашнего обихода, видимо, из Франкфурта или Кюстрина, где недавно шли бои. Лубенцов стал следить за этими предметами, и оказалось, что течение несет их по кривой к западному берегу.

Он задумался, сдвинул брови и, посмотрев сперва на Мещерского, потом на Воронина, спросил:

— Попробуем?

Они не поняли.

— Как стемнеет, велите срубить дерево, а на рассвете пустите его, пускай поплавает... А мы посмотрим.

Не понимая хода его мыслей, Мещерский и Воронин недоуменно переглянулись. Лубенцов улыбнулся:

— Эх вы!..

Вечером разведчики, жившие в землянке недалеко от нового НП, срубили дерево, как им было приказано. На рассвете к ним пришел гвардии майор. Он нагнулся над входом в землянку и крикнул:

— Подъем!

Разведчики потащили дерево к реке, а Лубенцов медленно пошел обратно на НП.

Становилось все светлей. Пришел Воронин и доложил, что дерево поплыло.

— Следи за ним,— сказал Лубенцов, и сам тоже приложил к глазам бинокль.

Через двадцать две минуты дерево прибило течением к песчаной косе западного берега. Потыкавшись об эту косу, оно потом снова ушло на середину реки и спокойно поплыло дальше, к морю.

Таков, значит, будет путь *туда*. Теперь оставалось определить обратный путь, а это было самое сложное. Конечно, идеальный поиск — поиск бесшумный. Однако глупо было в данном случае рассчитывать на это, тем более что в случае неудачи последствия могли оказаться роковыми: будучи обнаруженными, разведчики должны были плыть под неприятельским огнем по водной глади, да еще с пленным. После некоторого раздумья Лубенцов решил от «бесшумного» поиска отказаться наперед и остановился на таком плане: разведчики плывут под прикрытием дерева, держась за ветки и ствол, но ни под каким видом не ускоряя движения дерева, чтобы не обратить на себя внимание немцев. Через двадцать две минуты они оказываются на западном берегу. Оттуда они ползут вдоль низкого, но довольно густого кустарника, перелезают через дамбу и пробираются к торфяному сараю, стоящему на болоте. Тут немедленно вступают в действие артиллерия, минометы и все виды стрелкового оружия. Огонь обрушивается на немецкий передний край, и в это время разведчики расправляются с немцами в торфяном сарае, захватывают одного из них и быстро отходят к берегу. Тут разведчики дают зеленую ракету, после чего артиллерия еще больше усиливает огонь с задачей подавить противника на двенадцать минут. В течение этих двенадцати минут разведчики с пленным форсируют реку вплавь.

Наконец план был разработан, доложен начальнику штаба и командиру дивизии, утвержден и согласован до тонкости с артиллеристами и минометчиками. Теперь оставалось отобрать людей для поиска. И тут гвардии майор заколебался. Сидя с разведчиками в лесу и ужиная с ними, он молча прислушивался к их внешне беспечным разговорам. Он знал, что они ждут его слова.

Да, не так просто было решить вопрос о составе группы. Лубенцов исподлобья смотрел на молодые, смуглые и румяные лица, такие разные и дорогие ему. Дело предстояло опасное. А в какой-нибудь сотне километров от Берлина, перед самым концом войны, особенно трудно было сказать кому-нибудь из них:

— Ты пойдешь!

И все-таки надо было это сделать, и Лубенцов сказал:

— Воронин, Митрохин, Савельев, Гущин, Опанасенко.

Названные и бровью не шевельнули, только замолчали — впрочем, не больше чем на полсекунды — и продолжали свой прежний разговор.

Вскоре Лубенцова вызвал к себе командир дивизии.

— Все готово? — спросил он.

— Да, товарищ генерал.

— Кто идет, вернее — кто плывет старшим?

— Воронин.

Генерал призадумался.

— Нет,— сказал он.— Тут нужен офицер. Операция очень сложная. Мещерского пошли.

Лубенцов выразительно посмотрел на генерала.

— Мне бы не хотелось его посылать,— сказал он медленно.

— Жалко?

— Жалко.

— А солдат не жалко?

Лубенцов возразил:

— И солдат жалко. Но Мещерский — поэт... Он стихи пишет.

— Поэт, поэт! — засмеялся генерал.— Если бы он был поэт, его бы в газетах печатали.

Лубенцов сухо сказал:

— Всему свой срок.

— Поэт, говоришь? — задумчиво переспросил генерал, потом, прищурив глаза, усмехнулся: — Ну и хорошо. Пусть пойдет в поиск, а то ему не о чем будет писать. Офицер нужен! — закончил он твердо.

— Есть! — хмуро сказал Лубенцов.

Он вызвал к себе Мещерского и выделенных для поиска разведчиков и на трофейной машине отправился вместе с ними к озеру Мантельзее.

Это озеро, расположенное в дивизионном тылу, имело в длину свыше двух километров. Целый вечер и половину ночи развед-

чики тренировались в плавании, а Лубенцов, сидя на берегу, засекал их скорость. Плавали они в полном снаряжении с автоматами и с «пленным», которого, к своей великой досаде, изображал новый ординарец Лубенцова, молоденький ефрейтор Каблуков.

Когда разведчики вылезли наконец из воды и, усталые, уселись на берегу, Воронин, глядя на озеро, задумчиво сказал:

— Хоть бы немец попался хороший, знающий, а не какой-нибудь дурачок!..

На следующий день, перед поиском, разведчики постирали в Одере свои гимнастерки, пришили чистые воротнички. Они тихо возились в землянке у НП, разговаривая о самых незначительных вещах. Лубенцов разглядывал в тысячный раз свою карту. Иногда он косился на левый обрез ее, где расположился Берлин.

Соловьи щелкали, щелкали без конца, и в вышине мигали весенние звезды. Напряженная тишина становилась все необъятнее, и гул артиллерийских налетов не нарушал ее, а еще больше подчеркивал.

В эти темные фронтовые ночи происходящее вокруг казалось обыденным и давно известным. Только изредка в голове проносилась мысль о том, что находишься ты не просто у какой-нибудь из тысяч пройденных рек, а именно у Одера.

Разведчики разговаривали потихоньку о том о сем, рассказывали друг другу разные истории, лишь иногда кто-нибудь, словно невзначай, произносил фразу вроде:

— Видал давеча пожары? Берлин бомбят...

— Интересно, Гитлер здесь или уже удрал?

И все про себя улыбались от мысли, что два таких страшно отдаленных друг от друга слова, как «Берлин» и «здесь», теперь уже взаимозаменяемы.

Приготовленную заранее большую старую ольху тихо снесли в воду. Чтобы сделать дерево погуще, на него навязали ветви, срезанные с других, молодых деревьев. Разведчики в зеленых халатах совершенно терялись среди листвы.

Послышались приглушенные голоса:

— Готово?

— Готово.

— Счастливо, Саша!

— До свиданья, товарищ гвардии майор!

— Давай, отчаливай!

Одинокое дерево темной, узорчатой массой медленно поплыло по течению среди разных других предметов: досок, бревен, тачек, стульев, разбитых лодок.

### III

И Лубенцов, и все наблюдатели этой ночью заметили, что немцы ведут себя очень тихо, почти не стреляют и даже ракеты жгут только изредка. Лубенцов по понятной причине радовался этому, но, конечно, не мог знать, в чем дело.

А дело было в том, что немецкие передовые части ждали к себе в гости некое высокопоставленное лицо, имени которого никто еще не знал. Началась мойка и чистка блиндажей, мундиров, бритье и стрижка солдат.

Приезд гостей из Берлина был полной неожиданностью даже для командующего группой армий генерал-полковника Хенрици. Генерал, только что назначенный на этот пост, находился в подавленном настроении. На Висле, когда армия была сильна и укомплектована кадровыми частями, ею командовал эсэсовец Гиммлер — знаменитый палач, но ничтожный полководец. Теперь же, когда армия разгромлена и дивизии пополняются необученными юнцами и фольксштурмовскими старцами, командовать группой назначили его, кадрового генерала.

С чувством глубокого презрения генерал просматривал заметки Гиммлера, забытые рейхсфюрером СС среди штабных бумаг. Какие-то астрологические бредни, выписки о военном искусстве... IX века, дурацкие сравнения собственной персоны с Генрихом Птицеловом, чьей воплощенной ипостасью Гиммлер, по слухам, считал себя,— все это потрясло трезвого генерала.

В таком настроении находился новый командующий, когда вбежавший адъютант доложил ему о прибытии рейхсминистров фон Риббентропа и Розенберга.

Министры были крайне поражены тем, что генерала не известили об их приезде. Очевидно, ставка забыла сообщить.

— Обычное явление при царящей там угрожающей неразберихе! — буркнул фон Риббентроп.

Оказывается, они прибыли на фронт в качестве пропагандистов: для поднятия боевого духа в войсках.

Генерал решил, что министры, занятые своими основными обязанностями, очень спешат, и спросил, желают ли они

выехать к частям немедленно. Но, видимо, они не спешили. Тогда генерал вдруг сообразил, что господам рейхсминистрам просто *нечего делать* в Берлине. Просто нечего делать! Генерал, разумеется, не мог знать о лихорадочной закулисной деятельности Риббентропа. А Розенберг? Этот еще числился министром восточных территорий, что казалось особенно глупым и смешным в нынешней ситуации, когда советские войска стоят на Одере.

Командующий информировал министров о своих тщетных попытках оттеснить русских с захваченного ими предмостного укрепления на западном берегу. При этом министры сидели тихие и очень грустные.

Все-таки было заметно, что они здесь отдыхают, как мальчишки, убежавшие от розги классного наставника. Действительно, уже просто невозможно было находиться поблизости от фюрера, в бомбоубежище рейхсканцелярии. Приказы отдавались и тут же отменялись. Беспрерывные истерики, бесконечные обвинения всех и каждого и эта длинноногая бабенка Браун, сующая свой нос во все дела. Придворная мелодрама эпохи упадка. Удручающая обстановка. А в самом Берлине все было забито беженцами с востока. Люди спали в тоннелях метро. По ночам происходили дикие грабежи и убийства. Среди развалин гнездились шайки дезертиров. Видные государственные чиновники без разрешения покидали столицу и бежали неизвестно куда.

Здесь, на командном пункте, все казалось налаженным и четким. Офицеры приходили и уходили, приказы отдавались на точном военном языке, начищенные сапоги уверенно ступали по паркетному полу. Карты были расписаны разноцветными карандашами и утыканы флажками.

Царила видимость полного порядка.

Правда, Розенбергу, с его склонностью к мистике, иногда мерещилось, что вокруг происходит размеренный танец одетых в военную форму теней. Он время от времени болезненно вздрагивал, отгоняя от себя страшные образы.

Что касается Риббентропа, то он, будучи весьма далек от мистицизма, очень ободрился и перед выездом на линию фронта сказал:

— Ваши мероприятия, господин генерал, убеждают меня в том, что войска берлинского сектора получили наконец настоящего вождя, способного выполнить весьма сложные задачи здесь, на Одере, реке германской судьбы... Я, может быть, недоста-

точно знаю русских, но мой коллега Розенберг, знающий их хорошо, может подтвердить, что от *них* нам пощады не будет. Что касается военных успехов англо-американцев,— Риббентроп сделал многозначительную паузу,— то на это надо смотреть как можно спокойнее. Они во всяком случае не будут поддерживать стремление масс к так называемой «социальной справедливости»... Наоборот... Да, да, именно наоборот!..

Генералы поняли слова Риббентропа достаточно ясно. На Одер прибывали части с западного и итальянского фронтов. Из двух зол выбиралось меньшее.

Подали машины, и министры разъехались в разные стороны, сопровождаемые многочисленной свитой из эсэсовцев и штабных. Розенберг отправился в Бад-Заров, в штаб 9-й армии, а Риббентроп — севернее, за Альте-Одер,— там, за двойной водной преградой, будет поспокойнее, решил он.

Командующий сопровождал фон Риббентропа. Они сидели молча на огромных кожаных подушках машины. Возле шофера уселся подполковник генерального штаба. На откидных сиденьях застыли два эсэсовца из личной охраны министра. Впереди министерского автомобиля двигался броневик.

Дороги были запружены грузовиками, танками и пехотой, идущей к Одеру. Сутолока и суета («Неизбежная суета»,— успокаивая себя, думал министр) царили вокруг. Колонна каких-то автомашин, заблудившись, пыталась развернуться и ехать обратно. Штабные офицеры вылезли из машин, чтобы установить порядок. Наконец министерская колонна повернула на боковой путь и вскоре подошла к каналу Гогенцоллерн. Тут пришлось постоять с полчаса: переправу бомбили русские бомбардировщики. На берегу канала горели дома. Поехали в объезд — переправа оказалась поврежденной. Стемнело. Возле Одерберга повстречалась воинская часть, двигающаяся на запад. Солдаты шли вразброд, некоторые были без оружия.

Командующий остановил машину. Подполковник генштаба выскочил, подбежал к идущему впереди солдат фельдфебелю и спросил:

— Кто такие?

Фельдфебель ответил, глядя себе под ноги:

— Шестисотый парашютный батальон. Русские нас разбили в районе Альткюстринхена, и вчера поступил приказ идти пополняться в город Врицен.

— Почему же вы бредете, как стадо баранов? — злобно понизил голос подполковник, косясь на машину министра.

Фельдфебель молчал. Глаза его выражали тупое равнодушие. Вышли из машины и министр с командующим. Министр повторил вопрос. Фельдфебель ответил то же самое. Однако генеральское сердце командующего не могло вытерпеть фельдфебельского безразличия ко всему, и он, выругавшись, несмотря на присутствие дипломата, сказал:

— Не видишь разве, кто с тобой разговаривает?

Фельдфебель медленно поднял глаза на министра и молча уставился на широкое бледное барское лицо с мешками под голубовато-серыми глазами. От глубокого равнодушия этого взгляда министра всего передернуло. Фельдфебель смотрел на него, как на какой-то неодушевленный предмет. Лицо фельдфебеля, заросшее рыжими волосами, его грязная шея с волдырями и мертвый взгляд произвели на министра тягостное впечатление. Риббентроп круто повернулся и сел в машину.

Он долго не мог успокоиться. Ему бог весть почему показалось, что он посмотрел в лицо не какому-то безвестному фельдфебелю, а всей немецкой армии. Страшное то было лицо, и не скрывались ли за его упрямым безразличием враждебность и презрение? Настроение гостя заметно испортилось. Дальше ехали в молчании.

Недалеко от деревни, где размещался штаб дивизионной группы, Риббентроп обратил внимание на странную картину: три дюжих эсэсовца, светя карманными фонариками, с проклятиями волокли из лесу высокую женщину в длинном платье.

Генерал покосился на министра. Ему не хотелось останавливать машину для выяснения этого происшествия. Но министр велел остановиться. Он решил размяться перед митингом. Сопровождаемый генералами и охраной, он приблизился к эсэсовцам. Те остановились. Фонарик осветил генеральские мундиры и широкую перевязь со свастикой на левом рукаве министра.

— Что совершила эта женщина? — спросил Риббентроп.

Один из эсэсовцев, вытянувшись, сказал:

— Это не женщина, господин... э...

— Рейхсминистр,— вполголоса подсказал кто-то из охраны.

Эсэсовец вытянулся еще больше и разъяснил:

— Это дезертир, господин рейхсминистр... Он переоделся в женское платье и убежал с главной боевой линии.

Риббентроп удивился, покраснел, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и, круто повернувшись, направился к машине. Быстрая езда успокоила его. Он даже решил, что увиденное им только что может послужить центральной темой выступления. Он заговорит об изменниках и приведет в качестве примера этот случай переодевания немецкого солдата — какой позор! — в женское платье... Это вызовет смех и прозвучит очень неплохо.

Солдат собрали в замке Штольпе, в огромном зале, освещенном свечами. При входе рейхсминистра все подняли руки и прокричали довольно дружно: «Хайль Гитлер!» Министр взошел на кафедру и без предисловий заговорил. Говорил он ровным голосом, вперив взгляд в колеблющуюся полутьму над человеческими головами.

— Германия требует от вас, солдаты, непоколебимой стойкости,— говорил министр.— В этот час, когда решается судьба империи, фюрер рассчитывает на вас...

Он напомнил о временах Фридриха Великого, когда Пруссия была в не менее тяжелом положении, одна против всего мира,— и все-таки она выстояла! Напомнил он и об истории недавнего похода на Россию. Ведь немцы стояли на подступах к русской столице, однако русские благодаря их стойкости — да, именно стойкости — не допустили врага в свою столицу, и вот теперь...

Рейхсминистр сделал широкий жест в направлении Одера, жест, прекрасно понятый всеми. В нем были и горечь по поводу нынешнего положения, и «великодушное» признание достижений врага.

— Такое же чудо может произойти и произойдет теперь с нами,— сказал он, помолчав.— Если не будет в ваших рядах изменников и негодяев, для которых их ничтожная жизнь дороже Германии...

Тут он смешался. Наступил момент рассказать об этом комичном и позорном случае с переодетым в женское платье солдатом. Но в последний момент министр запнулся. Ему показалось необдуманным и даже опасным сообщать солдатам о таком способе дезертирства. Возьмут переоденутся в женские платья и разбредутся по лесам и озерам, обнажив берлинский фронт. И ему вдруг показалось, что сотни глаз смотрят на него с выражением такой же, как у того фельдфебеля, глубочайшей апатии, за которой неуловимо притаились вражда и презрение.

Конец выступления был скомкан. Размеренная речь вдруг перешла на жаркий полушепот, чего с Риббентропом не случалось никогда:

— Стойте железной стеной!.. Немецкая верность — наш щит!.. Это долг наследников Фридриха Барбароссы!

«Что я сказал? Почему Барбароссы? — оторопело подумал министр.— Какая досадная оговорка! Я хотел сказать о Фридрихе Втором...»

Однако никто не обратил внимания на оговорку министра. Дивизионный командир торжественно подошел, пожал ему руку и громко сказал:

— От имени дивизии благодарю вас, господин рейхсминистр! Прошу передать фюреру наше твердое обещание стоять до конца.

Это прозвучало очень хорошо. Раздались возгласы «хайль!».

Риббентроп покинул замок в приподнятом настроении. Неизвестно, воодушевил ли министр солдат, но солдаты, бесспорно, воодушевили министра. Он любезно согласился отужинать у дивизионного командира, однако с условием, что руководить приготовлением ужина будет его собственный, министерский повар. Да, тут чувствовался большой барин, не какой-нибудь выскочка, вроде Лея, побывавшего на фронте недели две назад. Генералы смотрели на Риббентропа с уважением.

До ужина министр отправился осматривать оборонительные сооружения. На него произвели большое впечатление ходы сообщения, обшитые досками, многоамбразурные укрепления, бронеколпаки, блиндированные убежища и вкопанные в землю танки.

Командир дивизии предложил министру познакомить его с обер-лейтенантом Гуго Винкелем, прославленным офицером, награжденным дубовыми листьями к железному кресту. Риббентроп, не слишком этим заинтересованный, все-таки согласился.

Они вошли в блиндаж обер-лейтенанта. Прославленный офицер сидел за столом и что-то быстро писал. На столе горела коптилка. Не оглядываясь, обер-лейтенант грубо крикнул вошедшим:

— Закройте дверь!

Риббентроп, улыбнувшись этому окрику, подошел к столу, и первое, что ему бросилось в глаза на испещренном

неровными буквами белом листке, было слово «Vermächtnis»[1].

Риббентроп резко спросил:

— Что вы вздумали писать, несчастный человек?

Обер-лейтенант вскочил и, увидев министра и его свиту, втянул голову в плечи, словно его ударили.

— Слишком рано вздумали вы писать завещание,— сказал министр, сразу взяв себя в руки и бледно усмехаясь.— Это плохой пример подчиненным. Уверенность в победе — вот чему вы должны обучать своих солдат!

Министр вышел из блиндажа и медленно пошел по траншее. Потом он остановился и начал смотреть на восток. За рекой был слышен смутный гул, словно вся равнина, поросшая лесами, покрытая озерами, тихо шевелилась, прерывисто дыша, будто готовясь к прыжку. Лучи дальних прожекторов бегали по ночному небу.

— Обер-лейтенант не так уж глуп,— пробормотал Риббентроп, нервно поеживаясь.

Он вспомнил 1939 год и свое посещение Москвы. Из окон лимузина глядел он тогда на русских, мирными толпами гуляющих по своей столице. Теперь он смотрит на них из траншеи на Одере.

Ненависть к нему в России, должно быть, очень велика. Как реагировали бы русские солдаты, узнав, что он, фон Риббентроп, находится так близко от них, здесь, на Одере?

Он вздрогнул: слева раздались мощные взрывы. Они становились все оглушительней, все громче и ближе. Генералы заволновались и начали связываться по телефону с частями. Сначала оттуда сообщили, что русская артиллерия просто обстреливает немецкие позиции. А через полчаса выяснилось, что русские только что украли одного солдата из боевого охранения и, видимо, прикрывали отход своих разведчиков артиллерией и минометами.

— Как так украли? — недоуменно спросил министр.— Что это значит?

Генералы молчали. Хенрици сказал успокаивающе:

— Это бывает на войне, господин рейхсминистр. Ничего не поделаешь.

---

[1] Завещание *(нем.)*.

Риббентроп быстро пошел по траншее в тыл. Все эти укрепления, мощные перекрытия блиндажей, пулеметные точки и проволочные ограды уже не казались ему больше надежной защитой. Он почти бежал.

«Договориться с американцами во что бы то ни стало! — лихорадочно думал он.— Любой ценой!.. Иначе будет поздно».

«Почему эти янки продвигаются так медленно?» — негодовал Риббентроп, тоскливо вглядываясь в кромешную темноту ночи. Впереди сиротливо бежал светлый кружок карманного фонарика. Сзади раздавались торопливые шаги генералов, старающихся не отстать от министра.

По траншеям бегали солдаты. Заработала немецкая артиллерия, с запоздалым бешенством обрушиваясь на молчаливые леса восточного берега.

Но капитан Мещерский и его разведчики уже волокли «языка» по своей траншее, мокрые и счастливые. На обратном пути их отнесло течением на добрый километр, но в остальном все обошлось как нельзя лучше. В немецком боевом охранении этой ночью было не пятеро, а только двое. Пришлось здорово пошуметь, но и на немецком переднем крае почти не оказалось солдат. Позже выяснилось, что большинство слушало речь рейхсминистра в замке Штольпе.

## IV

Пленный фельдфебель Фриц Армут оказался толковым и осведомленным фрицем. Поняв, что он уже отвоевался окончательно, и с наивной откровенностью радуясь этому, он охотно сообщил все, что знает. А знал он много, так как раньше служил шофером при штабе полка.

Правда, опомнился он не скоро. Когда его, оглушенного, с заткнутым ртом, волокли через реку, он порядком хлебнул воды. Разведчики не сразу обратили на это внимание, и, когда вытащили кляп изо рта фельдфебеля, жизнь едва-едва теплилась в нем. Пожалуй, никто — ни жена, ни мать,— никто так не дрожал за жизнь этого рослого немца, так заботливо не ухаживал за ним, как Лубенцов и Мещерский. Ему делали искусственное дыхание, обтирали водой и вздыхали:

— Эх, фриц, фриц!

То и дело в землянку просовывались озабоченные лица пехотинцев, артиллеристов, связистов и саперов:

— Ну, как самочувствие фрица?

Наконец он пришел в себя, и его повели в штаб дивизии.

Шли по обширному лесу. Впрочем, это был уже не лес, а гигантская плотницкая и кузнечная мастерская. Здесь при неверном лунном свете кипела работа. Саперные батальоны готовили детали для переправ. Тысячи людей с пилами и топорами копошились у поваленных стволов и уже почти совсем законченных мостовых прогонов.

В самодельных кузницах, у горнов, перекрытых брезентом, кузнецы изготовляли тысячи скоб, гвоздей и крюков. Инженеры — полковники и майоры — прохаживались по ровным просекам, как заправские прорабы и десятники.

Завидев пленного, идущего под охраной одетых в маскировочные халаты вымокших разведчиков, мостовики, плотники и кузнецы на мгновение отрывались от работы. Они не раз уже за войну видели пленных, но такого, только что вытащенного разведчиками из траншеи, свеженького («еще тепленького», как выразился один сапер), большинство из них видели впервые.

Разведчики сияли под одобрительными взглядами строителей переправ. В штабе дивизии их тоже встретили любопытные. Все поздравляли вымокших с головы до ног и улыбающихся солдат, и пленный от всей души присоединялся к похвалам, говоря с видом знатока:

— O, ja, das war fabelhaft gemacht! Aber direkt tadellos! [1]

Оганесян, стоя на пороге домика, мрачновато оглядел веселого пленного и, будучи человеком опытным в этих делах, сказал:

— Ну, этот расскажет все!.. Успевай записывать!

Действительно, Фриц Армут поведал о многом. Выяснилось, что за Одером стоит дивизионная группа «Шведт», названная так по имени города, в районе которого она дислоцировалась. Группа состояла из наскоро сколоченных охранных, эсэсовских запасных, резервных, полицейских и рабочих батальонов. Южнее сидят в обороне три батальона: «Потсдам», «Бранденбург» и «Шпандау».

Фельдфебель на днях побывал в городе Врицен. Город опоясали мощной полевой обороной. Там находится штаб 606-й дивизии особого назначения, недавно прибывшей из

[1] Да, это было чудесно сработано! Безупречно! *(нем.)*.

Франции. Видел он там и штаб какой-то танковой дивизии СС. Через город беспрерывно двигались к линии фронта машины с пехотой. Ему известно, что юго-восточнее Врицена занимает оборону 309-я пехотная дивизия «Берлин».

О положении в Берлине Фриц Армут сообщил несколько интересных подробностей. Ему рассказывали, что в правительственных зданиях на Вильгельмштрассе, в частности в помещении гестапо, жгут личные дела и вся улица засыпана пеплом сожженных бумаг. Брат командира 2-го батальона, майор генштаба Беккер, внезапно умер, о чем комбата официально уведомили; однако не прошло и недели, как вдруг комбат получает от «покойника» записочку: в ней майор сообщил, что смерть его «условна» и что он едет в «Sp.». Об этой записочке комбат в день своего рождения разболтал другим офицерам, и вскоре тайна стала известна и шоферам. По-видимому, то была не единственная смерть такого рода — «берлинская смерть».

«Sp.», несомненно, означало «Spanien» («Испания»).

Все это, включая сведения об инженерных сооружениях на Одере и об оборонительных работах, Лубенцов немедленно сообщил по телефону в штаб корпуса и полковнику Малышеву в штаб армии, а потом вместе с Мещерским, взяв с собой протокол допроса, отправился к генералу Середе.

У генерала он застал много народу, в том числе полковника Красикова.

Докладывая комдиву о показаниях пленного, гвардии майор то и дело взглядывал на Красикова, с чувством невольной неприязни изучая большое, красивое, немного помятое, сильно напудренное после бритья лицо полковника.

«Отвратительные глаза! — думал Лубенцов, но потом чувство справедливости заговорило в нем: — Ну, чего я бешусь? Чем он виноват?»

Кончив доклад, гвардии майор замолчал, ожидая дальнейших распоряжений.

— Поработали вы хорошо,— сказал Тарас Петрович.— Немец попался ценный. Поиск был организован образцово. Научились воевать, молодцы!

Комдив был в восторге от своих разведчиков.

Он взял бы и обнял этих двух молодых людей, одетых в зеленые маскировочные халаты, но не хотелось выдавать свои чувства при посторонних, и он снова обратился к офицерам, прибывшим проверять дивизию.

Среди офицеров, приехавших из штаба корпуса и армии, были политработники, инженеры, инспектирующие оборонительные сооружения, артиллеристы и интенданты. Это была большая комиссия из тех, какие прибывают в моменты жесткой обороны для наведения порядка в частях. Партийно-политическая работа, боевая подготовка — все, вплоть до состояния конского состава, комиссии надлежало тщательно изучить, проверить и выводы доложить Военному Совету.

Мещерский удивленно шепнул на ухо гвардии майору:

— Как же так? А вы сказали, что скоро наступление!..

— Спокойствие, Саша! — шепнул в ответ Лубенцов.— Раз приехала комиссия по проверке обороны, ждите наступления... Это почти правило. Взгляните на комдива.

Да, комдив, видимо, тоже знал это «правило». Он кивал головой, соглашался кое с чем, вежливо спорил, что-то бормотал про себя, но глаза у него между тем смеялись.

Когда офицеры — члены комиссии — разъехались по полкам, комдив сказал разведчикам:

— Спасибо, друзья! Обрадовали старика! Представляю всех к боевым орденам, а для тебя, Лубенцов, хочу об Александре Невском похлопотать!

Разведчики уже собрались уходить, когда дверь открылась и в комнату вошел вспотевший и запыленный младший лейтенант. То был офицер связи. Его приезд всегда означал какие-нибудь важные перемены.

Он протянул генералу большой, запечатанный сургучом пакет. Генерал быстро вскрыл конверт, пробежал глазами написанное, и его лицо стало сразу торжественным и серьезным.

— Товарищи офицеры,— сказал он,— получен приказ о переходе нашей дивизии на плацдарм.— Повернувшись к начальнику штаба, сидевшему за столом, он проговорил: — За работу! А членам комиссии сообщи: пусть едут домой. Проверять будут в Берлине.

Лубенцов с Мещерским побежали к себе.

Фриц Армут еще не был отправлен в корпус и доедал свой завтрак. При входе Лубенцова он вскочил, встал во фронт и — о, ужас! — по привычке поднял руку и крикнул:

— Хайль!..

Слово «Гитлер» он успел проглотить, тут же осознав, что натворил. Он побледнел, покраснел, ударил себя по руке: «Diese

dumme Hand!»[1] — и по губам: «O, dieser dumme Mund!»[2] Видимо, он испугался, что его немедленно расстреляют. Разведчики, понимая комизм его положения, громко расхохотались.

Лубенцов тоже засмеялся и сказал:

— Отправьте его поскорей. Дела и без него много.

Фрица Армута отправили в штаб корпуса. Он, счастливый от того, что его за шиворот вытащили из войны, долго махал разведчикам рукой из кузова грузовой машины.

Когда разведчики узнали от гвардии майора, что дивизию перебрасывают на другое место, они даже немного расстроились. Конечно, с плацдарма будет нанесен основной удар по Берлину. И все же было как-то досадно вдруг взять да уйти именно сейчас, после такого умного и ловкого поиска.

— Эх,— вздохнул Воронин,— работали на дядю!

Этот самый «дядя» приехал на следующий день.

Он оказался молодым, очень быстрым и разбитным капитаном, представителем разведки той дивизии, которая должна была сменить здесь дивизию генерала Середы.

Гвардии майор выложил ему все показания пленного фельдфебеля. Капитан, разумеется, был очень рад, что участок так хорошо разведан.

— Ваша дивизия далеко? — спросил Лубенцов.

— Завтра прибудет, как и все войска нашего фронта.

— Фронта? — Лубенцов насторожился.

— Второго Белорусского фронта,— сказал капитан.— Мы закончили ликвидацию восточно-прусской группировки противника, и теперь весь фронт идет сюда.

Это была важная новость, и гвардии майор оценил ее значение.

На Одер выходили дивизии Второго Белорусского фронта (войска маршала Рокоссовского). Они имели задачу наступать севернее Первого Белорусского фронта (войск маршала Жукова), своим левым флангом прикрывая правый фланг армий, берущих Берлин.

Конечно, Лубенцов не мог знать о том, что южнее Первого Белорусского фронта перейдет в наступление и Первый Украинский фронт (войска маршала Конева), с тем чтобы позднее частью своих сил ударить по Берлину с юга.

---

[1] Эта глупая рука! *(нем.)*.

[2] О, этот глупый рот! *(нем.)*.

Так сжимался кулак из трех фронтов, который должен был обрушиться на Берлин и завершить войну.

К вечеру гвардии майор получил приказание отправиться на плацдарм для получения данных о противнике на новом участке.

Ординарец, ефрейтор Каблуков, быстро оседлал лошадей. Молоденький расторопный парнишка, он выполнял свои обязанности старательно и толково, но не добился пока ни одной похвалы от гвардии майора: Лубенцов слишком хорошо помнил Чибирева.

## V

Они ехали шагом, так как у Лубенцова еще болела нога. Вороной конь гвардии майора Орлик все порывался перейти на рысь, но, сдерживаемый седоком, вынужден был идти шагом, видимо немало удивляясь странной прихоти хозяина.

Они вскоре въехали в огромный лес, называвшийся «Форст Альт-Литцегерике», по имени маленького городка на его западной опушке. Обычный немецкий лес с высаженными в военном порядке и даже пронумерованными елями и соснами в эту апрельскую безлунную ночь казался диким и непроходимым. В ветвях деревьев что-то несуразное бормотал сердитый ветер, провожая, как соглядатай, всадников. В темноте порой вырисовывались очертания машин, бронетранспортеров, пушек и танков, укрытых хвоей и притаившихся в напряженном ожидании на лесных просеках.

Здесь тоже, видимо, готовились к переходу на плацдарм.

По мере приближения к Одеру все громче и раскатистее раздавалась артиллерийская канонада. Сначала глухая и отдаленная, она вскоре превратилась в беспрерывный вой, заглушавший шум ветра и выбивший из головы все мысли, кроме мысли о смертельной опасности. Однако эта мысль, как ни была она тошнотворна, не могла ни на минуту остановить никого в этом лесу. Вой становился все яростней, потом он прекратился, чтобы через пять минут разразиться вновь с еще большей силой.

К этому вою вскоре прибавился гул моторов — прерывистый и тяжкий шум немецких бомбардировщиков. Тут же по ночному небу поплыли блистающими ручейками трассирующие пули, вспыхнули стрелы прожекторов и зачастили

вспышки зенитных снарядов — то тут, то там, то тут, то там. Раздалось несколько оглушительных взрывов, и снова ввысь понлыли ручейки разноцветных трассирующих пуль — с земли на небо, казалось, очень медленно, словно любуясь собственной красотой.

Лес кончился внезапно. По сторонам дороги возникли дома, и дорога превратилась в деревенскую улицу. Только теперь можно было вполне осознать, как хорошо в лесу; хотелось, может быть, остановиться на опушке еще хоть на минуту, на две, насладиться последним призраком безопасности. Но надо было идти вперед, в этот гул и огонь, разгоревшийся за рекой, в громовой рассвет, встававший над Одером.

Чем ближе к реке, тем окружающий мир становился грознее. И при свете пламени на западном берегу и при робком сиянии встающего рассвета Лубенцов увидел то место, о котором уже ходили среди солдат таинственные, может быть, бессмертные легенды.

Это был знаменитый мост через Одер, к плацдарму. Его называли «мост смерти» и «мост победы», «Берлинский мост» и «адов мост», «смерть сапера» и «Гитлер капут».

Его строили в прибрежных лесах саперы, русские мастеровые, жившие в землянках и подвалах домов вдоль берега реки. Немцы прекрасно понимали, что означает этот мост, выросший в одну прекрасную ночь над серыми волнами Одера. И они держали его под круглосуточным обстрелом дальнобойной корпусной и дивизионной артиллерии, беспрерывно бросали на него всю свою бомбардировочную авиацию: тяжелую, среднюю и легкую.

Вражеские снаряды сыпались вокруг, вырывая сваи, обрушивая в воду прогоны, и всякий раз саперы восстанавливали мост, бесстрашно ползали на его огромной спине, гибли, но не прекращали работы. Это был поистине бессмертный мост, но строили его смертные люди.

Берег реки был сплошь покрыт воронками и щелями. Здесь стояли зенитные орудия, вокруг которых копошились бойцы зенитной дивизии. В щелях гнездились дизель-молоты для забивки свай, огромные змеи тросов, лебедки и тракторы. В полузасыпанных землей щелях завтракали солдаты.

Смешанный запах гари, конских трупов, свежеобструганных досок, дыма и солярового масла одурманивал и повергал в трепет.

Слева и справа от главного моста находилось еще два легких, понтонных. Их разводили на день, укрывая понтоны в береговых зарослях, а на ночь сводили снова. Скрипели канаты. Какая-то часть расположилась в сараях, ожидая переправы. Молодые солдаты тревожно прислушивались к наступившей неверной тишине.

А у самого настила стояли два офицера, предупреждающие каждого, всходившего на деревянный помост:

— Скорее, не задерживаться! Как можно скорее!

Дощатый настил был метров в шесть ширины, без перил, с колесоотбоями по бокам. Солдаты, обслуживающие переправу, с непогашенными фонариками в руках, хотя уже совсем рассвело, тоже торопили проходящих и проезжающих:

— Скорей, ребята, сейчас начнется концерт!

Эта забота о людях со стороны людей, которые обязаны были все время находиться здесь, на этом страшном посту, тронула Лубенцова.

В утреннем тумане на досках настила вырисовывались то очертания убитой лошади, то остов разбитой машины — следы последней вражеской бомбардировки. Орлик, довольно равнодушно взиравший на мертвые человеческие тела, в ужасе шарахался при виде лошадиного трупа.

На этом мосту, перед лицом смерти, при полной невозможности закопаться в землю, которая всюду является последним прибежищем солдата, мир казался совсем другим, до крайности отвратительным. Здесь теряли чувство юмора даже самые выдержанные и видавшие виды люди.

На самой середине реки негромкое шарканье ног, скрипенье колес и шелест автомобильных шин были нарушены нарастающим гулом. Справа от моста, в воде, разорвалось несколько снарядов. Черные волны поднялись выше моста и окатили брызгами и пеной всю массу людей. Настил затрепетал. Истошный свист прорезал дрожащий воздух. Орлик затанцевал на месте, порываясь к пропасти. Лубенцов с трудом сдержал его, потом оглянулся на Каблукова. Тот сидел в седле — маленький, напряженный, бледный — и неотрывно глядел на гвардии майора. Лубенцов, как мог, улыбнулся ему. Улыбка, правда, получилась не ахти какая.

— Держись,— сказал Лубенцов.

— Есть! — выкрикнул Каблуков срывающимся голосом.

Люди продолжали двигаться, ускоряя по возможности шаг.

Вдруг какая-то машина метнулась влево и с налету ударилась о другую. Снаряд, угодив в реку совсем близко, окатил людей на мосту мощным фонтаном воды. Люди шарахнулись в сторону и назад: путь вперед закрыли две разбитые машины. Послышался вопль раненого. В это время раздался раздраженный, властный голос:

— Спокойно!

Посреди моста стояли два генерала. Лубенцов узнал в одном из них Сизокрылова. Второй — тщедушный, бледный, небритый, очень непредставительный генерал-майор с покрасневшими от бессонницы глазами — был строителем и начальником переправы.

— Сбросить машины в реку! — приказал член Военного Совета.

Солдаты кинулись исполнять приказание. Майор, сидевший в кабине поврежденной машины, подошел к генералу и, приложив руку к фуражке, умоляюще сказал:

— Товарищ генерал, у меня в машине мины для гвардейских минометов.

Сизокрылов ничего не ответил. Он следил за солдатами, в страшной спешке работавшими возле машин. Майор все еще стоял с рукой у фуражки. Внезапно Сизокрылов резко обернулся к нему и спросил:

— Почему вы не помогаете?

Майор торопливо опустил руку и начал с остервенением толкать свою машину к краю моста. Обе машины одновременно ухнули в воду, и люди, повозки, грузовики быстро двинулись дальше.

Сизокрылов сказал:

— Поскорее, но без паники!

Свист снарядов, одного, другого и третьего, прервал его слова, но Сизокрылов продолжал говорить. И хотя за свистом и разрывами его никто не слышал — все, однако, смотрели на генерала, а он говорил. Когда же снаряды наконец разорвались в реке неподалеку, солдаты услышали все тот же ровный голос, продолжавший:

— ...выдерживать интервалы и не распускать нюни. Поняли?

— Поняли! — дружно гаркнули солдаты, чрезвычайно довольные тем, что и эти снаряды пролетели мимо.

Сизокрылов сказал, обращаясь к начальнику переправы:

— А вас, товарищ генерал, попрошу без либерализма: все, что мешает, любой груз,— прочь и в воду!

— Ясно, товарищ член Военного Совета,— сказал саперный генерал и гораздо тише добавил: — Прошу вас самым настоятельным образом проследовать в мою землянку. Тут небезопасно. Ночью убило полковника, начальника политотдела бригады. Да-с. Очень прошу.

— Вы полагаете, снаряды опасны только для политработников?

Они медленно пошли к берегу, но тут Сизокрылов заметил проезжавшего Лубенцова и узнал его. Поздоровавшись с ним, генерал сказал:

— Мне докладывали о вашем пленном. Полезный немец. Он внес важные коррективы в наше представление о вражеской группировке. Привет Середе и его дочери. Надеюсь, она во втором эшелоне?

— Да, товарищ генерал,— ответил Лубенцов и сразу обрел то спокойствие, которым славился всегда, но запасы которого, видимо, у него поубавились за полтора месяца лежания в медсанбате.

Над переправой распространялось облако дыма. Оно все более густело, мощными клубами обволакивая знаменитый мост: то пустили дымовую завесу, заслышав гул немецких бомбардировщиков. Раздались лающие выстрелы зениток и вскоре — клекот советских истребителей. Где-то высоко над облаками завязался воздушный бой.

Но Лубенцов был уже на твердой земле, на земле плацдарма.

## VI

Местность, открывавшаяся перед Лубенцовым, напомнила ему передовую где-нибудь под Оршей. Это была изрешеченная пулями, перерытая снарядами, голая земля, на которой сохранились в целости только многочисленные канавы — по-немецки «грабены», спасающие низину от затопления водами Одера. Росшие здесь во множестве фруктовые деревья были изломаны в щепы, и цветы яблонь белым пухом летали по краям воронок. На берегах «грабенов»» торчали разбитые водяные мельницы.

В подвале одной из мельниц Лубенцов нашел офицера разведки того полка, который должен был быть сменен дивизией

генерала Середы. Офицер рассказал Лубенцову о противостоящем противнике. То была та самая 606-я дивизия особого назначения, недавно пригнанная с Западного фронта, о которой вскользь упомянул Фриц Армут.

Небритое и бледное лицо офицера, да и вообще вся атмосфера в штабе полка многое сказали Лубенцову о том, что́ пришлось испытать людям здесь, на плацдарме. В течение почти двух месяцев немцы непрерывно атаковали их танками и пехотой, обстреливали и бомбили, но не сумели ни на метр отодвинуть вспять. Штаб полка остался без начальника штаба, его первого помощника, начальника связи и начальника артиллерии: они были либо убиты, либо ранены. Офицер разведки замещал первых двух продолжительное время, пока наконец сюда не прислали новых офицеров. Командир полка был ранен, но остался в строю, командуя полком по телефону, со своей койки.

Остаток дня гвардии майор наблюдал за немцами из передней траншеи, сравнивая то, что он видел, с тем, что было изображено на карте, полученной от офицера разведки.

Немецкий передний край находился на расстоянии от семидесяти до двухсот метров от нашего. Столько траншей, ходов сообщения и дзотов, столько колючей проволоки и перекопанной земли Лубенцов еще никогда не видел, хотя за войну немало насмотрелся на вражеские укрепленные районы. Немецкая оборона была до отказа насыщена пулеметными точками. На этой низменной серой равнине не осталось ни одного метра непростреливаемой земли.

Когда стемнело, гвардии майор покинул траншею, нашел в овражке за мельницей Каблукова с лошадьми и, переждав очередной артиллерийский обстрел, переправился обратно на восточный берег.

Здесь в лесу, в заброшенной смолокурне, уже устроился командир дивизии с несколькими штабными офицерами. Тарас Петрович был суров и озабочен. Он приехал сюда с час назад, после совещания у командарма.

Дивизия находилась на марше, а головная походная застава вскоре должна была прибыть. Офицеры то и дело выскакивали на лесную дорогу посмотреть, не показались ли передовые подразделения.

Генерал продолжительное время смотрел на привезенную Лубенцовым карту.

— Что же,— сказал он,— оборона серьезная, ничего не скажешь. Есть над чем поработать.— Он посмотрел на Лубенцова, прищурился и проговорил: — А ты слишком много ездишь и бегаешь! Гляди ногу свою пожалей. Оставайся со мной, а Антонюк пусть побегает.

Антонюк вскоре приехал на штабной машине. Лубенцов поручил ему составить план разведки, а сам решил поспать. Но когда спустя два часа Антонюк принес ему план, гвардии майор удивился.

— Что вы написали? — спросил он у своего помощника.— Вы предполагаете год стоять в обороне, что ли? На черта вам нужен «язык», когда обстановка и так ясна? Людей только гробить? Надо составить план разведки на прорыв и преследование противника. И заметьте, на разведку в условиях города, большого города, огромного, гигантского, Берлина, понимаете?

— Приказа о наступлении нет,— хмуро ответил Антонюк.

— Приказ о наступлении будет,— возразил Лубенцов.— И будет внезапно. И мы окажемся в глупом положении.— Помолчав, он добавил: — Я сам составлю план разведки.

Тем временем прибывали полки. Они размещались в темноте, в заранее отведенных им районах огромного леса, по-дружески потеснив другие части, пришедшие сюда раньше.

Шум понемногу улегся. Дивизия засыпала беспокойным сном. Только в смолокурне, где поместились комдив, штаб и политотдел, люди всю ночь сидели над картами, графиками, распоряжениями. Потом и здесь стало тихо.

На рассвете Лубенцов, закончив составлять план разведки, заглянул в соседнюю комнатушку, где устроился комдив. Генерал сидел у стола, держал возле уха телефонную трубку и спал. Лубенцов, улыбнувшись, решил ослушаться приказа и ушел к разведчикам, которые расположились невдалеке, под соснами. Разведчики тоже спали.

Мещерский сидел в сторонке и писал.

— Стихи сочиняете, Саша? — спросил Лубенцов.

Мещерский смущенно ответил:

— Нет. Заявку на гранаты.

— Тоже правильно! — засмеялся гвардии майор.

Подошел Воронин и доложил капитану:

— Митрохину нужно сменить один диск. У Семенова и

Опанасенко нет ножей. У Гущина масхалат порвался. Починить надо или выдать другой.

Лубенцов всех велел будить, вызвал Антонюка и в его присутствии поставил задачу «на период берлинской операции».

Из смолокурни вышли штабные офицеры. Они направились на плацдарм для приема участка. Потом в лесу снова стало тихо, и издали могло показаться, что он населен только птицами и белками.

У лесного озера сидели солдаты. Они умывались, негромко переговаривались между собой. Позавтракали сухим пайком: костры приказано было не зажигать и кухни не топить, чтоб не демаскировать войска. Политработники проводили беседы, развесив на деревьях карты Европы.

День длился бесконечно долго. Наконец стало темнеть. Солдаты построились. В лесу послышались негромкие слова команд. Батальоны не спеша двинулись по темным просекам к реке. Гром артиллерии приближался. У опушки постояли часа полтора. Прислушивались к тому, что творится на реке. Там было очень шумно.

В двадцать четыре ноль ноль дивизии, сосредоточенные в лесу, начали переправляться по трем мостам одновременно. Во время этой безмолвной переправы впервые заговорила часть нашей спрятанной в лесу артиллерии: ей был отдан приказ подавить артиллерию немцев. На рассвете наступила очередь дивизии генерала Середы. Вражеские бомбардировщики свирепствовали вовсю. Зенитки ревели. Потом появились советские истребители, и над темными мостами, полными шепотов и шарканья ног, возникли воздушные бои, жуткие в своей полной отрешенности от земли.

Но отрешенность эта была кажущаяся.

Лубенцов, сидевший с наушниками у рации в машине комдива, наткнулся на волну наших летчиков и услышал их разговоры:

— Костя, у тебя «мессер» на хвосте!..

— Левее, левее, Ваня!.. Гони его, «юнкерса»!

Невидимые воздушные «Кости» и «Вани» охраняли пеших. Два немецких самолета низринулись двумя кусками беснующегося огня, и воды Одера слева от переправ поглотили их. Огонь горящих самолетов осветил на мгновение белые лица идущих по левому понтонному мосту солдат и темные колышущиеся гривы лошадей.

Вскоре переправились и комдив с Лубенцовым. Лубенцов проводил генерала на НП, к той самой водяной мельнице, где побывал вчера. Сюда приехал и полковник Плотников. Он обошел все полки и должен был опять вернуться на восточный берег: там, в политотделе, происходило совещание парторгов рот.

— Приезжай и ты туда,— сказал он Лубенцову.— Расскажешь парторгам о противнике. Полезно рассеять убеждение солдат в его слабости. Пусть они знают о дивизиях, брошенных Гитлером с Западного фронта сюда, и об обороне немцев. А оборона здоровая,— покачал Плотников головой.

Комдив недовольно сказал:

— Загоняете вы мне моего разведчика! Он и так, смотри, еле ходит!.. Ладно, поезжай на этот раз, а потом от меня ни на шаг.

Середа с Лубенцовым вышли проводить Плотникова к машине. Туманное утро стояло над плацдармом. Тарахтели пулеметы. Благоухание яблонь смешивалось с гарью недалеких пожаров.

По соседству с НП, в землянке, расположился штаб одного полка. Рядом разместился штаб другого и тут же штаб третьего, принадлежавшего соседней дивизии. В двадцати метрах от них находились штабы двух батальонов вместе. По этой тесноте штабов можно было безошибочно определить огромную плотность боевых порядков пехоты.

Темные силуэты солдат двигались во всех направлениях.

Лубенцов зашел в штаб к майору Мигаеву. Тот обрадовался приходу начальника разведки дивизии и засыпал его вопросами:

— Когда наступление? Полосу нам уже дали? Пойдем в лоб на Берлин или севернее?

Рассказав Мигаеву то, что было известно,— а почти ничего не было известно,— Лубенцов спросил:

— Капитан Чохов у вас в полку, кажется? — В ответ на вопросительный взгляд Мигаева он объяснил: — Ведь это он меня спас из шнайдемюльской мышеловки... Хороший парень!

Мигаев, помолчав, сказал:

— Хотели мы ему дать повышение, комбатом назначить, а страшно как-то. Парень уж больно шальной! В карете ездил, как махновец!.. Так, значит... Правда, за последнее время он здорово изменился, карету свою где-то под Альтдаммом бросил...

— Ну и далась вам эта карета,— грустно засмеялся Лубенцов.— Я в этой карете сам однажды ездил...

Мигаев вспомнил:

— А, пожалуй, Чохов-то теперь здесь, у меня где-то... Пополнение принимает.

## VII

Чохов точно был здесь. За пригорком, возле одного из многочисленных «грабенов», он вместе со старшиной Годуновым выстраивал своих новых солдат, чтобы вести их к себе в роту, на передний край.

— Вас спрашивает майор из штаба дивизии,— сказали ему.— Он у начальника штаба.

— Что там еще? — спросил Чохов.

Зайдя в подвал штаба, он увидел Лубенцова с Мигаевым, поднял руку к пилотке и отрапортовал:

— Капитан Чохов прибыл по вашему приказанию.

— Никакого приказания не было,— сказал Лубенцов.— Просто я хотел вас повидать. Если вы ничего не имеете против, я совмещу приятное с полезным: понаблюдаю вместе с вами с вашего наблюдательного пункта.

Чохов смутился, опустил руку и сказал:

— Пожалуйста.

И они пошли рядом во главе команды новых солдат. Старшина Годунов замыкал шествие на ротной повозке с продуктами, Каблуков шел рядом с повозкой. Они двигались по болотистой низине, перекопанной снарядами, утыканной разрушенными домиками, скотными дворами, водяными мельницами.

Лубенцов, как всегда наблюдательный, обратил внимание на то, что Чохов выглядит старше, похудел и глаза у него подобрели.

Чохов искоса наблюдал, как разведчик прихрамывает. Капитан только вчера вспоминал о нем, получив для роты напечатанные листовки — руководство по обращению с немецким фаустпатроном. Он знал, что листовка — дело рук гвардии майора.

«Интересно, встречается ли он с той врачихой?» — подумал Чохов; ему почему-то хотелось, чтобы гвардии майор с ней встречался.

Сзади перешептывались новые солдаты. Поскрипывали колеса годуновской повозки.

— Карету, я слышал, вы где-то бросили? — спросил Лубенцов.

— Под Альтдаммом.

— Верно, несолидное средство передвижения...

— Вот именно.

— Мне про вас Мигаев говорил...— начал было Лубенцов, но Чохов, нахмурившись, сразу же переменил тему:

— Я слышал, вы пленного взяли?

— Да.— И гвардии майор рассказал о Фрице Армуте и о том, как немец оплошал, встретив Лубенцова гитлеровским приветствием.

Чохов удивленно покачал головой и сказал:

— Мало их били!

— Не сегодня-завтра добьем,— засмеялся Лубенцов. Чохову нужно было зайти к командиру батальона, который разместился со своим штабом в развалинах скотного двора. Лубенцов остался дожидаться его у дороги.

Весельчаков спросил у командира роты, сколько дали людей.

— Шестьдесят пять,— ответил Чохов.

Весельчаков записал эту цифру в полевую книжку. Он беспрерывно курил. Глаша отучила его курить, а теперь, когда Глаши не было, он снова курил не переставая.

Письма от Глаши он получал часто, но уж слишком веселые это были письма, по его мнению. Глаша писала, что ей хорошо, что она всем довольна и что ею все довольны, особенно же хорошо к ней относится ведущий хирург.

Глаша писала так потому, что хотела успокоить Весельчакова насчет своей судьбы, но получалось обратное: Весельчаков решил, что Глаша и не думает возвращаться в батальон. Конечно, в медсанбате оно спокойнее и мужчины поинтереснее его — врачи. Умные, чистенькие, а Глаша любит чистоту. Особенно подозрительными показались ему ее частые упоминания о «ведущем хирурге».

Теперь он стал меньше думать о Глаше: его захватил общий подъем накануне последнего сражения войны.

В батальон прибывало пополнение. Из штаба полка прибегали офицеры и посыльные. Все были лихорадочно возбуждены.

Чохов простился с Весельчаковым и вместе с Лубенцовым двинулся дальше, к передовой.

В землянке, где находился командный пункт роты, сидели вокруг радиоприемника четыре лейтенанта и слушали музыку. Это были новые офицеры — заместитель Чохова и три командира взводов. При виде незнакомого майора они встали.

Лубенцов прислушался к музыке и спросил:

— Какая станция передает?

— Берлин,— ответил один из лейтенантов.

Лубенцов оживился:

— Очень интересно! Мы уже обратили внимание на то, что Берлин начал без конца передавать музыку Бетховена, Баха и Шуберта, стихи Гете и Шиллера... Фашистские песни и марши почти совсем исчезли из передач. Мы, разведчики, считаем, что это неспроста. Гитлер вспомнил о германской культуре. В наследники напрашивается. Видно, думает, что неудобно нам будет вешать такого липового наследника!

Лейтенанты удивились: они совершенно не подозревали, что за этой тихой фортепьянной музыкой кроется такой важный политический смысл. Им было интересно слушать начальника разведки,— в своем ротном захолустье они редко видели «столичных», то бишь дивизионных офицеров. Но нужно было принимать пополнение и распределять новых солдат по взводам, и офицеры ушли из землянки.

Лубенцов с Чоховым по ходу сообщения направились к первой траншее. Невдалеке били вражеские минометы, изредка ухали пушки,— одним словом, царила привычная утренняя «тишина» переднего края. Далеко на западе пылал горизонт. Это горел Берлин.

— Бинокля у вас нет? — спросил Лубенцов.

Тут же к нему потянулась чья-то рука с биноклем. Лубенцов оглянулся. Возле него стоял Каблуков. Бинокль был его, лубенцовский.

— Учтите, вот там, прямо перед вами, минное поле,— сказал Лубенцов, помолчав.— А эта деревня — немецкий опорный пункт. Сильно укреплен.

— До Берлина шестьдесят верст,— сказал Чохов; почему-то он употребил эту старую русскую меру вместо «километров». Потом вдруг, как бы безо всякой связи с предыдущим, спросил: — А сказал вам пленный, где Гитлер?

— Якобы в Берлине,— ответил Лубенцов, продолжая наблюдать.— И Геббельс там, этот наверняка там, только неизвестно еще, где Гиммлер, Геринг и Риббентроп.

После минуты молчания Чохов совсем тихо спросил:
— У вас нет плана Берлина? Лишнего? Для меня?
— Есть несколько штук. Вчера я разослал командирам полков по две штуки... Могу и вам уделить — по знакомству, так сказать...
Чохов сухо сказал:
— Спасибо. Если можете, передайте план моему парторгу, старшему сержанту Сливенко, он в политотделе дивизии на совещании парторгов.
— Прекрасно! Я сегодня как раз буду делать у них доклад о противнике, я разыщу Сливенко и передам.
Через минуту Чохов спросил:
— А там, на плане, как написано? По-немецки или по-русски?
— По-русски.
— И объекты указаны?
— Какие?
Чохов после некоторой паузы ответил скороговоркой:
— Рейхстаг и правительственные здания.
Лубенцов опустил бинокль и, улыбнувшись одними глазами, сказал:
— Все написано. Если хотите, я выделю эти здания красным карандашом. А пока что нанесите на свою карту минное поле и фланкирующие пулеметы...
Они замолчали, но, замолчав, вдруг с предельной ясностью ощутили, где и накануне каких событий находятся. И сразу отхлынули от сердца все личные дела, забылись и гложущая тоска по любимой женщине, и обида по поводу подлинных и мнимых унижений, и несбывшиеся желания. Торжественный смысл происходящего потряс их, и они посмотрели друг на друга просветленными глазами. Стоило жить, чтобы дожить до этого времени! Стоило испытывать горести и лишения для того, чтобы в эти мгновения стоять здесь, в этой траншее, на ближних подступах Берлина, и ощущать себя частью огромных, еще не развернувшихся сил, частью того, что называется Родиной, Россией, Союзом Советских Социалистических Республик!
Обоим захотелось скорее что-то делать. О чем-то нужно было еще позаботиться, насчет чего-то дополнительно распорядиться. Лубенцов думал: надо еще поговорить с разведчиками, проинструктировать Оганесяна насчет допроса местных жи-

телей, проверить, располагают ли командиры подразделений имеющимися данными о противнике, может быть, придется осаждать Берлин, и шнайдемюльский опыт пригодится — надо обобщить этот опыт. Чохов думал о том, что нужно побеседовать с новыми солдатами, объяснить им обстановку, получить ружейное масло, проверить пулеметы, связаться получше с артиллеристами.

По траншее размещались солдаты нового пополнения. Они, приподнявшись над бруствером, глядели на немецкие позиции и тихонько переговаривались, все еще не в силах свыкнуться с мыслью, что находятся так близко от Берлина.

— Да, это здорово!..— произнес один из новичков, высокий широкоплечий солдат.

Другой сказал задумчиво:

— Ну и занесла же нас война в такую глушь, под самый Берлин! От дома тысячи четыре километров, никак не меньше!

— А ты откуда? — спросил кто-то.

— Я волжский,— ответил солдат.

Лубенцов улыбнулся, прислушался: засмеется кто-нибудь? Никто не засмеялся. Он простился и пошел к НП.

## VIII

Совещание парторгов началось утром, часа через три после ночного перехода и сосредоточения в лесу. В охотничьем домике какого-то немецкого буржуя, невдалеке от смолокурни, где расположился штаб дивизии, собрались люди из всех рот и батарей. Майор Гарин принимал их и регистрировал.

Парторги пришли командами, в касках, с автоматами, винтовками и даже с ложками, как и полагается солдатам.

Парторги были просто солдатами и сержантами. Но внимательный наблюдатель мог заметить в их уверенных движениях, в их ясном и спокойном взгляде нечто такое, что отличало их от обыкновенных солдат. Прежде всего это был цвет стрелков и артиллеристов. Тут нельзя было ошибиться: эти люди привыкли не повелевать, а понимать и объяснять. Будучи такими же, как все остальные солдаты, и так же не пользуясь никакими привилегиями, они чувствовали, однако, что на них лежала дополнительная ответственность: они были представителями партии большевиков — пусть маленькими деятелями, но

все-таки деятелями. И им мало было просто хорошо сражаться и, если нужно, умирать,— они должны были заражать высоким боевым духом своих товарищей. Они были самыми кончиками нервов, проникающих весь организм армии. Слабые и негодные, если такие и попадались, не могли долго оставаться на этом, на первый взгляд столь невысоком посту. В роте пригодность человека для работы парторга определяется почти немедленно: под огнем, среди непрерывных смертельных опасностей, где человеку подчас еле-еле хватает сил, чтобы отвечать за самого себя,— всех подбадривать и за всех отвечать могут только избранные. Вот эти избранные и собрались теперь в немецком охотничьем домике.

Полковник Плотников начал занятия с доклада о международном положении, потом прочитал лекцию Гарин — о партийной работе и задачах ротных парторганизаций. Вечером был объявлен перерыв. Парторги разошлись по своим частям, начавшим переправляться через Одер. Утром они вернулись в охотничий домик.

Начался второй день занятий.

Парторги выступали перед своими товарищами, делились опытом работы. Плотников записывал в свою полевую книжку самое интересное из того, о чем они рассказывали.

Потом начальник разведки дивизии гвардии майор Лубенцов ознакомил парторгов с положением во вражеском лагере, особо отметив вредность существующего среди солдат мнения о легкости предстоящих боев. Верно, гитлеровская ставка в панике, Гиммлер отстранен от командования армейской группой, но все это не значит, что фашисты сложили оружие.

Гвардии майор рассказал о лихорадочных оборонительных работах немцев, о том, что на Одер брошены крупные силы, в частности 606-я дивизия особого назначения и мотодивизия СС «Фюрер».

Парторги старательно записывали все в свои блокноты и тетрадки.

Вдруг Плотников насторожился: послышался отрывистый вой автомобильной сирены, и возле охотничьего домика остановились машина и бронетранспортер.

Плотников встал. Дверь распахнулась, и на пороге показался генерал Сизокрылов. Он обвел глазами собрание. Автоматы, винтовки и карабины стояли, прислоненные к стульям и диванам, возле каждого парторга — участника семинара.

Генерал поздоровался.

— Здравия желаем, товарищ генерал! — в ответ отчеканили солдаты.

Все сели, и генерал начал говорить.

Член Военного Совета встретил внимательный взгляд Сливенко и в глазах старшего сержанта увидел такое глубокое понимание и такую чуткую настороженность, что уже не отводил от него взгляда, словно обращаясь к нему одному.

— Наша близкая победа, — сказал Сизокрылов, — есть ярчайшее утверждение мощи советского строя. Она доказательство того, что справедливое, прогрессивное дело непобедимо. Много было врагов, которые хотели сорвать строительство новой жизни в нашей стране. Не было такого оружия, такой подлости, которую они постеснялись бы применить против нашего государства. Они сооружали вокруг нас «санитарные кордоны», они подкарауливали наших людей на каждом шагу. Наконец в той стране, где мы находимся теперь, они разгромили организации рабочего класса, и двадцать второго июня сорок первого года черные полчища хлынули на нашу мирную землю.

Не думайте, что фашизм является только лишь детищем германского империализма. Фашизм — это новейшее порождение капитализма вообще, возникшее из его страха перед коммунистическими устремлениями масс. Фашизм — это ударный кулак загнивающего капитализма, его последняя попытка удержаться на поверхности.

Наша победа — доказательство того, что агрессивным силам угнетения и бесправия противостоит могучая, непобедимая реальная сила. Не только справедливая идея, но и реальная сила!

Эту силу создала наша партия, взрастившая и воспитавшая нас. Слава этой партии!

Идея коммунизма вошла в плоть и кровь нашего народа. Она обрела свой дом — землю, рудники, заводы, лаборатории. На шестой части земного шара возвышается великий советский дом. И мы с вами хозяева этого дома. Хорошо ли мы хозяйничаем? Хорошо, ибо в противном случае мы не очутились бы здесь. Крепок ли этот дом? Силен ли? Да, крепок, силен, иначе мы не сумели бы пройти в таких боях свой путь до фашистской столицы.

Коммунизм стал могучей силой, и теперь есть все основания думать, что он восторжествует на земле.

...Не будем скрывать: мы горды тем, что предсказания гениальных умов о великом будущем России оправдались, что в нынешнее время все самое передовое говорит на русском языке, языке Ленина и Толстого...

...Строительство коммунизма после победы будет продолжаться с удесятеренной силой. Преимущества нашего строя еще не раз удивят весь мир. Порукой в этом мы с вами, воспитанники партии, солдаты Советской Родины...

Жестом руки член Военного Совета приостановил начавшуюся было овацию и закончил так:

— Разрешите мне поделиться с вами военной тайной. Наступление на Берлин начнется завтра.

Эти слова вызвали бурю. Раздались громкие возгласы восторга. Бешено хлопали жесткие солдатские ладони. Люди, идущие завтра, быть может, на смерть, приветствовали боевой приказ как выражение величайшей мудрости и высочайшего смысла, перед лицом которых смерть единиц — ничто.

Полковник Плотников произнес дрогнувшим голосом:

— Ввиду предстоящего наступления объявляю совещание закрытым.

Сизокрылов несколько мгновений смотрел в окно на солдат, уже строившихся в ряды.

— Начинается последнее сражение,— сказал он.— Завтра вы услышите артподготовку, равной которой еще не знала история войн.— Он пожал руку Плотникову.— Желаю успеха. Обращение Военного Совета к войскам вы получите сегодня. Ну, что еще? — Он повторил: — Желаю успеха!

Он пошел к своей машине. Солдаты из его охраны торопливо вскочили на бронетранспортер. Машины вскоре скрылись в лесу.

## IX

Лубенцов чуть не позабыл о своем обещании, данном Чохову. Когда член Военного Совета уехал, гвардии майор вспомнил о лежащем в полевой сумке плане Берлина.

Он пошел искать старшего сержанта Сливенко, которого хорошо помнил в лицо еще со шнайдемюльских времен.

Сливенко в это время дожидался заседания дивизионной парткомиссии. Солдат его роты — Годунова, Семиглава и Гогоберидзе — сегодня должны были принять в партию.

Они уже прибыли и сидели в тени под густой елкой. Рядом расположились солдаты из других рот, явившиеся для этой же цели.

Все трое были взволнованы. Когда приехал генерал Сизокрылов, они очень встревожились: ох, неужели и член Военного Совета будет присутствовать при приеме в партию? Волновались они потому, что не привыкли публично выступать, а тут придется — Сливенко предупреждал их об этом — рассказать свою биографию, а может быть, отвечать на политические вопросы.

Как ни странно, но больше всех волновался Семиглав, хотя в роте он считался лучшим оратором и в политических вопросах разбирался изрядно. Но и Гогоберидзе был неспокоен, тем более что даже бравый, хитрый и ничего не боявшийся старшина — и тот подозрительно покашливал, вставал, снова садился, вдруг вздумал угощать их консервами, а сам не ел, хотя в еде был силен.

Наконец появился Сливенко и предупредил, что заседание вот-вот начнется.

Здесь, возле елок, и нашел парторга гвардии майор. Он передал ему для Чохова план города Берлина масштаба 1 : 10 000.

В другое время Лубенцов не отказался бы от удовольствия побеседовать с этим толковым и умным сержантом, который ему очень нравился. Но сейчас было не до разговоров, и гвардии майор поспешил к ожидавшему его Плотникову, с тем чтобы поскорее переправиться на плацдарм.

Сливенко же со своей тройкой пошел к охотничьему домику, где уже собрались члены партийной комиссии.

Хорошо еще, что страхи по поводу присутствия члена Военного Совета оказались напрасными: генерал Сизокрылов уехал. Вокруг стола сидели незнакомые офицеры, пять человек: один майор и четыре капитана. У председательствующего майора глаза были ласковые, в морщинках, хотя и довольно острые и немного даже насмешливые.

Сливенко волновался почти так же, как и его люди. Он их долго и не спеша готовил к вступлению в партию. В минуты затишья читал он им устав партии, устраивал придирчивые проверки и следил за ними дружески, но неотступно. Была у него, как он говорил, «думка» сделать всю роту коммунистической. Правда, прибытие пополнения нарушило его планы, но тут он склонялся перед военной необходимостью.

Во всяком случае, заседание парткомиссии было и для него серьезным испытанием. Он радовался, что три его товарища будут приняты сегодня, накануне наступления, в партию большевиков. Ведь работа парторга в условиях переднего края связана с особыми трудностями. Это не то что в шахте, где Сливенко работал парторгом смены. Там народ был постоянный, а здесь...

Он вспомнил о двух Ивановых — солдате и сержанте,— которых готовил в партию еще перед наступлением на Варшаву. Это были отличные люди, но оба погибли при прорыве.

Сливенко насторожился, услышав слова майора:

— Следующий — ефрейтор Семиглав.

Семиглав вошел.

Биография его была так умилительно коротка, что вызвала сочувственные улыбки присутствующих.

— Я родился в двадцать четвертом году,— сказал он,— в семье слесаря, в городе Туле. В тридцать девятом году я окончил семилетку, оттуда пошел на завод, где работал слесарем. В сорок четвертом был призван в Красную Армию. В комсомоле с тридцать девятого года.

Он изо всех сил пытался добавить еще что-нибудь, но ничего не мог больше вспомнить. О его наградах — двух медалях — говорилось в анкете, зачитанной раньше, да и медали эти висели на груди. То были не ордена, по внешнему виду которых нельзя определить, за что они даны,— на медалях было красным по белому написано, за что: «За отвагу».

Семиглаву задали несколько вопросов, на которые он ответил, к удовольствию Сливенко, правильно и хорошо.

Потом Семиглав задумался. Он не знал, стоит ли рассказывать или не стоит о его единственном военном прегрешении. Он в прошлом году потерял противогаз. Солдаты рыли себе землянки, и он положил противогаз на пенек. Противогаз исчез. Правда, этой же ночью их бросили в бой, о противогазе все забыли, и ему удалось достать другой — нехорошо, конечно, но он снял другой противогаз с убитого.

Проступок не бог весть какой, и Семиглава никогда не мучила совесть по этому поводу, но здесь, в большой комнате, наполненной партийцами, под внимательным взглядом председателя, прошлогодняя история с противогазом показалась Семиглаву не такой уж маловажной и очень некрасивой. Более того: ему показалось, что эти люди, и особенно майор-предсе-

датель, догадываются — нет, даже в точности знают о его проступке и потому-то поглядывают на него так пытливо.

Он густо покраснел и рассказал об этом случае.

— Ну что ж, товарищ Семиглав,— проговорил председатель,— можете пока идти.

Семиглав вышел и сдавленным голосом сказал Гогоберидзе:

— Заходи, тебя вызывают.

А сам уселся на траву, страшно расстроенный, в полной уверенности, что его в партию не приняли.

Гогоберидзе вошел в комнату. Сливенко ободряюще кивнул ему.

Председатель, глядя на Гогоберидзе, на его широкую грудь, увешанную орденами и медалями, подумал о том, как странно, что люди, не робеющие перед лицом смерти, герои, наверняка даже герои, так смущаются перед ним, секретарем парткомиссии, низеньким, худеньким, невоенным человеком.

Это их смущение было особенно приятно майору: то проявлялось в людях чувство ответственности перед собственной совестью, перед экзаменом на высшее звание — передового человека своего времени. И хорошо, думал майор, что они чувствуют, что можно сдать экзамен на героя, на прекрасного солдата, на искусного командира, но это еще далеко не значит, что ты сдал экзамен на человека передового, на народного вожака. И наконец, отрадно, что люди понимают, что состоять в партии — это и значит быть лучшим среди своих товарищей; быть принятым в ее ряды означает, что твои качества становятся общепризнанными.

Эти мысли проносились в голове майора, когда он смотрел в горячие глаза Гогоберидзе и слушал тихие, робкие ответы этого человека, явно неробкого и в обычное время, несомненно, боевого и задорного. И секретарь парткомиссии, через руки которого проходили самые разнообразные дела членов партии, подумал о том, как важно, чтобы не было в партии людей, позорящих звание коммуниста,— важно для этого храброго грузина и для миллионов таких, как он.

Наконец вызвали и старшину Годунова. Старшина, как человек, привыкший командовать, вел себя бойчее. Он рассказал о своей жизни, а жизнь эта была жизнью колхоза «Путь Ленина», Алтайского края. Годунов работал бригадиром-полеводом, и бригада его считалась передовой в колхозе и одной из лучших в районе.

Все это было хорошо, однако Годунов, хитрец, за время своей службы в качестве старшины запятнал слегка свою совесть: случалось, грешным делом, он обманывал интендантское начальство насчет наличия людей в роте, чтобы получить побольше. Он, конечно, понимал, что члены парткомиссии об этом знать не могут,— он не был так простодушен, как Семиглав, хотя пытливые глаза секретаря парткомиссии и его немало смущали. Он даже считал, что нужно бы, по совести, рассказать здесь о своих прегрешениях, да не хотелось себя позорить.

Поэтому он решил, что не расскажет, но дает слово, и уж будьте спокойны, слово Годунова — верное слово, думал он, обращаясь мысленно к членам парткомиссии: никогда такого с ним больше не повторится.

Перед парткомиссией в эту ночь накануне наступления прошло еще много людей — совершенно различных и по биографии, и по характеру, и по внешности. Был среди них и человек, повинный в очень крупном проступке, таком, что если бы об этом проступке узнали, он никогда не был бы принят в партию. Но человек этот думал: «Да кто узнает? Кого мне бояться?»

Однако, увидев спокойных людей, сидящих здесь, и услышав напряженную тишину, царящую в комнате, и негромкий спокойный голос председателя, человек этот вдруг отчетливо понял: «Узнают! Не теперь, так через год, через два, все равно узнают». И он, обливаясь пóтом, отвечал на вопросы, а сердце тоскливо рвалось вон отсюда, куда-нибудь в темноту, подальше от этого яркого света.

Сливенко вышел наконец к своим людям и устало сказал:

— Ну, хлопцы, поздравляю.

— Что, и меня приняли? — спросил Семиглав, сразу воспрянувший духом.

— Всех троих.

— А когда получим партбилеты?

— Эге, да ты устав забыл! — рассмеялся Сливенко.— До партбилета еще далеко. Получишь кандидатскую карточку. Ночью приедут к нам из политотдела и вручат. Пошли домой! — Подумав, он добавил, переходя на шепот: — Поскольку вы теперь коммунисты, могу вам сообщить военную тайну: завтра наступление!

И новые коммунисты пошли к себе «домой», на передовую, счастливые, но не по-обычному степенные.

У переправы свирепствовала немецкая артиллерия. Пришлось пережидать в щели у самого берега, пока прекратится обстрел. Один снаряд угодил в мост, и саперы, освещенные дрожащим огнем пожара, боролись с пламенем. На мосту царила суматоха, которая, однако, оказалась вполне осмысленной; огонь был скоро потушен, благо воды хватало. Авральные команды ползком спешили к месту аварии с топорами и досками. Под мостом, как муравьи, копошились люди на плотах и лодках, укрепляя сваи.

С переправы вынесли на носилках, прикрытых плащ-палатками, семь человек убитых. Сливенко и остальные сняли пилотки, вздохнули и пошли к мосту.

Одновременно с ними к деревянному настилу быстрыми шагами подошел толстый генерал-полковник в сопровождении двух офицеров. Солдаты, почтительно откозыряв, остановились и пропустили его вперед.

— Где начальник переправы? — громко спросил генерал-полковник.

Саперные офицеры, стоявшие здесь, засуетились, кто-то побежал по щели влево, и вскоре из темноты вынырнул низенький, щуплый, небритый генерал-майор. Он поднял тоненькую ручку к фуражке и представился:

— Начальник переправы генерал-майор инженерных войск Чайкин.

Генерал-полковник поздоровался с ним и сказал:

— Мне надо поговорить с вами.

— К вашим услугам,— совсем не по-военному ответил начальник переправы.

Но генерал-полковник молчал, и начальник переправы, поняв его молчание, успокоительно махнул рукой — это все свои, саперы, при них что угодно.

Тогда генерал-полковник сказал:

— Маршал приказал в течение ближайших дней перебросить на тот берег артиллерию.

— Мне об этом уже передавали по телефону. Сколько стволов?

— Шестнадцать тысяч.

Генерал Чайкин, после минутной паузы, медленно переспросил:

— Если я не ослышался, вы сказали...

— Шестнадцать тысяч,— повторил генерал-полковник.

Генерал-майор, умиленный гигантской цифрой, чуть заикаясь, сказал:

— Хорошо-с. Хорошо-с. Пойдемте в мою землянку. Потрудитесь указать мне вес орудий — и я вам укажу пункты переправ...

Они ушли и вскоре пропали во мраке ночи.

— Слышали? — спросил Сливенко.

У него сильно колотилось сердце.

## X

Генерал Середа, только что получивший приказ о наступлении, находился вместе с офицерами штаба и артиллеристами на передовой, в первой траншее, откуда проводил рекогносцировку. Он не спеша прошел фронт своей дивизии с севера на юг, изучая немецкие позиции и договариваясь с приданными частями о совместных задачах и сигналах взаимодействия.

Фронт дивизии был очень узок; части лепились друг к другу. Весь плацдарм, насыщенный до отказа войсками, был похож на сжавшуюся пружину, готовую распрямиться и наотмашь ударить по этим притаившимся, темным и выжидающим вражеским позициям.

На обратном пути генерал в ходе сообщения встретил майора Гарина. Майор нес в руках несколько свертков бумаги.

— Что это у тебя? — спросил генерал.

— Обращение Военного Совета.

Генерал взял из рук Гарина один листок и, облокотившись о стенку хода сообщения, медленно прочитал его. Потом он спрятал листок в карман и быстро зашагал дальше.

Все встречавшиеся на дороге солдаты и офицеры держали в руках такие же листки. Неподалеку кто-то читал обращение вслух, читал с трудом, почти по складам: начинало темнеть.

На наблюдательном пункте генерала уже ждали Плотников и Лубенцов. Тут же находились Мещерский, Никольский, артиллеристы и связисты. При свете самодельной лампы кто-то читал обращение.

Генерал подошел к Плотникову, обнял его, поцеловал и сказал:

— Итак, Павел Иванович, друг мой дорогой, мы ее кончаем, эту войну.

Он так же обнял и поцеловал Лубенцова, потом спросил:

— Наводящий от авиации не приезжал?

Наводящий прибыл минут через десять. Его сопровождали два человека с радиостанцией. Поздоровавшись со всеми, летчик сразу связался по радио со своим штабом. Улыбаясь, с этакой ленцой, он спросил:

— Ну, как там у тебя? Жизнь идет помаленьку?

Далекий собеседник ответил, что жизнь помаленьку идет.

— Слава богу,— восславил господа по эфиру летчик.— Я уже на месте. Связался. Будь все время на приеме.

Позднее пришел майор — секретарь парткомиссии — с протоколом сегодняшнего заседания. Партийные документы политотдел уже оформил, и полковник Плотников отправился на передовую для вручения их. Телефон непрерывно зуммерил. Части, тыловые подразделения, артснабжение, медсанбат докладывали командиру дивизии о готовности.

Потом все на некоторое время успокоилось. Комдив сосредоточенно глядел на карту, лежавшую перед ним на столе, а подняв глаза, увидел сидевшего в углу Лубенцова.

Генерал внезапно прищурился и поманил к себе разведчика пальцем. Когда Лубенцов подошел, генерал спросил:

— А у нее ты хоть побывал?

Встретив недоуменный взгляд гвардии майора, генерал сказал добродушно:

— Ну, ну, не притворяйся! Думаешь, я не знаю? А еще притворяется тихоней!.. Я и вправду думал, что ты только одно и имеешь на уме — свою разведку...

Лубенцов, ничего не понимая, тем не менее слегка покраснел, и генерал, заметив его смущение, пожалел о своей грубоватой откровенности.

— Ну, ладно, ладно,— сказал он.— Ежели я задел тебя, прости, больше не буду!... Но понравилась она мне. Уж я в людях разбираюсь... Я сватом твоим хотел быть. Дело, впрочем, твое... Больше не буду.

— Про кого вы говорите? — спросил разведчик, даже немного рассердившись.

Тогда генерал понял, что Лубенцов удивлен всерьез, и удивился сам:

— Неужели вы до сих пор не встретились?

Он рассказал о посещении Тани, не называя ее по имени, потому что не знал, как ее зовут. Потом он замолчал, с минуту подумал, вдруг встал и воскликнул:

— Голубь ты мой, да она же, значит, бедняжка, до сих пор уверена, что тебя нет в живых! — Он стукнул себя по лбу и произнес укоризненно: — Ах, как нехорошо!

Позвонил телефон. Генерал взял трубку.

— С вами будет говорить сто первый,— сказал ему далекий женский голосок.

Генерал торопливо посмотрел на новую таблицу позывных — ее сменили перед наступлением — и сразу стал серьезным: сто первый был командующий фронтом.

Комдив доложил маршалу о том, что все готово, потом снова стал вызывать свои полки и артиллерийские части.

Разговаривая по телефону, генерал изредка посматривал на молчаливого, присмиревшего Лубенцова, задумчиво стоявшего возле оконца, где торчала стереотруба.

Генерал усмехнулся и, положив трубку, сказал:

— Ты бы посмотрел на ее лицо, когда я ей сказал про тебя! Она побелела так, что я думал — сейчас упадет. При первой же возможности ты должен к ней съездить. И извинись за меня, за то, что я ляпнул тогда и этим проявил неверие в силы своего разведчика...

Лубенцов вышел из подвала. Было темно, тепло и ветрено. Поблизости щелкал какой-то оставшийся на плацдарме храбрец соловей.

В темноте возле входа в подвал кто-то пошевелился.

— Кто здесь? — спросил Лубенцов.

— Это я.

— Ах, ты? — узнал Лубенцов Каблукова.— Где кони?

— В яме поставил.

— Ты бы спать пошел. Что ты тут делаешь?

— При вас,— ответил Каблуков.

Этот тихий ответ смутил гвардии майора. Пристально взглянув на ординарца, Лубенцов спросил:

— Ты откуда родом?
— Из Ульяновска.
— Завтра наступление, знаешь?
— Знаю.
— Рад?
— Да.
— Родители есть?
— Мать есть.
— А отец?
— Убитый.
— А невеста есть?
Каблуков помолчал, потом ответил:
— Вроде есть.
«Этому соловью следовало бы улететь отсюда подобру-поздорову»,— думал Лубенцов, прислушиваясь к щелканью.
— Где разведчики?
— Там, подальше.
— Пойдем.
Они пошли по ходу сообщения и вскоре услышали голоса разведчиков. Разведчики сидели в ходе сообщения, покуривали и тихо беседовали.
— А дома-то никому невдомек,— произнес голос Митрохина,— где я сейчас нахожусь... Что они знают? Номер полевой почты, и все.
— А про то, что завтра наступление на Берлин,— произнес голос Гущина,— про это они и подавно не знают. Спят все, второй сон им снится.
Лубенцов подошел ближе и спросил у Мещерского:
— Разведпартии на местах?
— На местах,— сказал Мещерский, вставая.
Лубенцов сказал:
— Советую вам сходить к канаве и помыть ноги. Завтра ходьбы много будет.
Солдаты сняли сапоги и пошли к соседнему «грабену». Рядом с «грабеном» стояли покрытые ветками пушки. Их длинные тонкие стволы с просветами дульных тормозов ясно вырисовывались на фоне неба.
Лубенцов услышал голос Митрохина, добродушно сказавшего:
— Ох, и пушек понатыкано! Больше, чем людей! Под-

пяться страшно: вдруг возьмет, дура, выстрелит — и по башке...

Над головой, где-то очень высоко, прогудели немецкие самолеты.

— Листовки сбросили! — услышал Лубенцов возглас Мещерского.

Вскоре Мещерский вынырнул из темноты с листовкой в руке.

— Вы здесь, товарищ гвардии майор? — спросил он.

Он подал Лубенцову листовку. Лубенцов опустился на дно траншеи, чиркнул спичкой и громко расхохотался.

Смеялся не он один. Листовки эти вызвали хохот всего переднего края. В них говорилось: «Переходите на нашу сторону!» Сообщался пропуск для перехода фронта. «Мы гарантируем перебежчикам жизнь, хорошее питание и медицинскую помощь».

Не иначе, то были листовки 1941 года, заготовленные впрок в миллионах экземпляров. Теперь этот лежалый товар разбрасывался на Одере, в шестидесяти километрах от германской столицы, в ночь на 16 апреля 1945 года!

Хохот наших солдат достиг даже слуха немцев, и те на всякий случай постреляли из пулеметов.

Кроме этой смехотворной листовки, Мещерский спустя полчаса подобрал еще и другую, на немецком языке. Видимо, их разбрасывали для немцев, но неверно рассчитали расстояние — и они упали тоже над нашими позициями. То было воззвание Геббельса к солдатам 9-й армии.

«Солдаты 9-й армии,— писал Геббельс,— посетив вашего командующего, я привезу в Берлин уверенность, что защита отчизны от степных извергов востока взята в свои руки лучшими солдатами Германии...»

Лубенцов вернулся на НП, к водяной мельнице. Здесь уже сидел возвратившийся из полков Плотников. Комдив все так же сосредоточенно склонялся над картой, что-то бормоча про себя и временами поглядывая на часы.

Прочитав воззвание Геббельса, полковник Плотников улыбнулся, тоже посмотрел на часы и, став серьезным, сказал, обращаясь к генералу, Лубенцову, Мещерскому, Никольскому и ко всем остальным, находившимся здесь:

— Ну, «степные изверги востока», через тридцать минут начинаем.

## XI

Артиллерийская подготовка грянула в пять часов утра. Она потрясла до основания весь плацдарм. Когда уши немного попривыкли к гулу, можно было различить среди многообразия пушечных голосов басовитые, ухающие голоса тяжелых орудий резерва Главного Командования. По небу стремительно забегали зарницы «катюш».

Два десятка тысяч пушек, гаубиц, минометов рокотали не спеша, деловито, упорно. Окрестности оделись в багрово-серую пелену.

Солдаты встали в траншеях во весь рост и молча прислушивались к чудовищному гулу. Тут были ветераны, слышавшие сталинградскую и курскую канонады, но то, что они видели и слышали теперь, нельзя было ни с чем сравнить.

Перед концом артподготовки к солдатам левофлангового полка, который, по приказу комдива, наносил главный удар, пришел полковник Плотников. Он велел вынести вперед полковое знамя. Знаменосец, сержант с десятком медалей на груди, вылез на бруствер. И так как он знал, что сзади за ним наблюдают свои солдаты, а впереди, быть может, в него целится какой-нибудь не добитый снарядами враг, он стоял, вытянувшись в струнку, преувеличенно неподвижный, как изваяние.

Следом за ним на бруствер взошел полковник Плотников. В его облике, напротив, не было ничего торжественного. Он нервно похаживал взад и вперед, время от времени прикладывая ладонь к глазам и силясь что-нибудь разобрать в багрово-сером дыму, стелющемся впереди.

Хотя он явился сюда для того, чтобы поднять людей в атаку, но, уже проходя по траншее и увидав на фоне густого дыма теплый пурпур красного знамени, он понял, что произносить речи нет надобности. Люди, стоявшие позади, прошедшие с боями тысячи километров, поднятые четыре года назад в бой за свою Родину, претерпевшие раны, холод, жару, протопавшие своими сапогами через льды и болота,— они не нуждались теперь в словах поощрения.

Когда разрывы снарядов отдалились и Плотников, знавший график артподготовки, понял, что орудия перенесли

огонь в глубину, он повернулся к солдатам и спросил буднично и просто:

— Пошли, что ли?

И солдаты пошли. Вскоре они пропали из виду в клубах дыма. Только время от времени где-то там, во мгле, показывалось и снова исчезало знамя.

Плотников вскоре вернулся на НП. Здесь все было напряжено до крайности, но никто не говорил громко, ждали событий. Наконец генерал велел соединить его с Четвериковым и сказал в трубку спокойным голосом:

— Доложи обстановку.

— Первая траншея занята,— прохрипел голос Четверикова.— Веду бой за вторую.

Генерал связался с правофланговым полком. Полковник Семенов доложил:

— Ворвался в первую траншею. Гисхоф-Мерин-Грабен оказывает огневое сопротивление.

— Выполняй задачу! — сказал комдив.— Выполняй задачу, слышишь?

Минут через пятнадцать генерал снова соединился с Семеновым и вдруг, не выдержав спокойного тона, громко крикнул:

— Что ты мне там про сивого мерина? Занять деревню!

Но, выслушав Семенова, генерал повернул голову к летчику, сидевшему на корточках возле своей рации, и сказал:

— Семенов! Сейчас прилетят птички. Обозначь свой передний край.

Летчик посмотрел на карту, бормоча:

— Это в каком квадрате? Ага!.. Понятно!.. Сивый мерин!..

Он что-то сказал в трубку и тут же вышел из подвала посмотреть. Через несколько минут в небе появились штурмовики. С довольной улыбкой наводящий помахал им рукой и вернулся к командиру дивизии.

Невдалеке раздались взрывы бомб. Семенов соединился с комдивом и сказал:

— Сейчас пойдем.

— «Бутон»!.. «Бутон»!.. «Бутон»!..— кричал телефонист.

— «Янтарь»!.. «Янтарь»!.. «Янтарь»!..— кричал другой.

— «Муха»!.. «Муха»!.. «Муха»!..— надрывался радист.
— Я «Глаз»!.. Я «Глаз»!.. Я «Глаз»!..— бубнил другой.
Один из телефонистов встрепенулся:
— Товарищ генерал, этого мерина взяли.
— Кто передает?
— Не знаю.
Генерал опять соединился с Семеновым.
— Полдеревни взяли,— сообщил Семенов.— Но там один пулемет фланкирует, на участке правого соседа.
Генерал соединился с правым соседом. Справа вела наступление дивизия полковника Воробьева.
Когда генерала соединили с соседним комдивом, он произнес ласковым голосом:
— Середа говорит. Чего же ты так плохо двигаешься? С твоего участка пулеметы ведут фланговый огонь по моему правому... Нехорошо получается, соседушка!.. Не по-соседски как-то!
Далекий голос Воробьева, едва только полковник узнал, кто с ним говорит, тоже сразу стал медовым:
— А правый-то твой отстает!.. У меня мой левый фланг открыт из-за твоего правого!... Несу потери. Ты бы подстегнул своего Семенова!
Генерал, злой-презлой, положил трубку и крикнул:
— Пусть Четвериков повернет правый батальон фронтом на север и поможет Семенову! — Он взял трубку и опять соединился с Семеновым.— Семенов,— сказал он,— может быть, ты устал? Не хочешь командовать? Что ж, могу тебя сменить.
— Товарищ генерал...— начал Семенов.
— Другого пришлю! — прервал его генерал.— У меня люди есть боевые на примете. Семенов, выполняй задачу! Через пятнадцать минут доложишь мне о взятии деревни! Перед соседом стыдно!
Через четверть часа Семенов доложил о взятии этой проклятой деревни. В свое оправдание он рассказал комдиву о том, что деревня была вся уснащена бронеколпаками и вкопанными в землю танками.
Пришли посыльные от действующих разведпартий.
Первая немецкая позиция была захвачена. Местами наши части прошли до железной дороги и оседлали ее. Однако железная дорога являлась началом второй оборонительной по-

зиции. Высокая насыпь, оборудованная пулеметными точками, представляла собой серьезное препятствие.

Генерал вылез из подвала и пошел по направлению к Одеру. Здесь стояли замаскированные ветками танки.

На берегу реки сидел на траве и курил подполковник-танкист с черным замшевым шлемом в руке. Завидев генерала, он бросил папироску, затоптал ее сапогом и встал.

Генерал шел довольно медленно. Он окинул взглядом танки и остановился в отдалении. Подполковник подошел к нему. В глазах танкиста зажглись озорные огоньки.

— Наш черед? — спросил он.

— Похоже,— сказал генерал.

Подполковник надел шлем.

— Действуй решительно,— проговорил генерал.— На восточной окраине Гисхоф-Мерин-Грабен тебя ожидает взвод саперов. Он будет вас сопровождать.

Подполковник, застегивая шлем, сказал:

— Пехота чтобы не отставала.

Генерал пошел обратно.

Мимо прошла группа пленных. Оглушенные, подавленные, они глядели в землю, не веря, что остались в живых после того, что было.

Навстречу им шли машины с артиллерией, переходящей на новые огневые позиции, поближе к противнику.

Из дыма медленно появлялись раненые. Они двигались цепью, словно еще наступая. Завидев генерала, те из них, у кого правая рука была в порядке, отдавали честь.

Один сказал:

— Счастливо оставаться, товарищ генерал.

Другой, улыбнувшись, произнес:

— Как в Берлин придете, товарищ генерал, вспомните про нас... Может, помните меня: я Майборода, автоматчик. Я с вами раз в атаку ходил.

Генерал не помнил, но сказал:

— Помню.

Раненые медленно пошли дальше и вскоре скрылись из виду.

Когда генерал вернулся на НП, Лубенцов доложил ему, что противник ведет сильный артиллерийский огонь с железнодорожной платформы Борегард и из деревни Айхвердер.

Железная дорога оседлана южнее Борегард, а на других участках противник держит ее крепко.

— Где танки? — спросил комдив.

Офицер связи от танковой части сказал:

— На исходном положении.

Генерал повернулся к летчику:

— Подготовишь им почву, а?

— Почему не подготовить? — сказал летчик.

Оба склонились над картой, после чего летчик сел возле своей рации и стал вызывать:

— «Муха»! «Муха»! «Муха»!

Генерал позвонил комкору, попросив разрешения сменить место своего НП.

Комкор разрешил. Штат наблюдательного пункта пошел пешком. Машины и верховые кони следовали сзади.

На этот раз Лубенцов остановил свой выбор на ветряке, который был порядком разрушен, но тем не менее стоял еще. Все, что после артподготовки кое-как держалось, вызывало искреннее изумление.

— Живучий ветряк! — сказал Воронин.

Разведчики установили стереотрубу у верхнего окошка ветряка, над тем местом, где некогда скрещивались крылья. Теперь крыльев не было, они превратились в мелкую щепу, валявшуюся на земле.

Дым уже немного рассеялся, и в трубу видна была железнодорожная насыпь. Ветряк подрагивал от близких орудийных выстрелов,— гул артиллерии, чуть приумолкший, теперь снова разрастался. Подполковник Сизых, пристроив свой большой живот среди верхних балок ветряка, передавал в телефонную трубку команды «стволам».

Комдив глядел в стереотрубу. Наводящий со своей рацией и людьми улегся внизу, на траве, возле огромной воронки от снаряда, время от времени громогласно обращаясь к комдиву:

— Птички не нужны?

— Танки пошли,— тихо сказал генерал и обратился к Никольскому: — Соедини меня с Четвериковым.

Вызвав Мигаева, Никольский передал генералу трубку.

— Мигаев,— сказал комдив,— сейчас коробки пройдут через твой боевой порядок. Неотступно следуй за ними. Понял? Неотступно.

Он отошел от стереотрубы и подполз к танкисту — представителю танкового полка. Посмотрев на часы, он сказал:

— Теперь без двадцати минут одиннадцать. Сколько на твоих?

Часы танкиста показывали то же время.

— Атака будет в одиннадцать. Мы обработаем противника штурмовиками — и вы пойдете. Сообщи.— Он крикнул вниз, летчику: — Вызывай! Сверь часы! К одиннадцати чтобы отбомбились, ни на минуту позже, а то своих угостишь! Давай Четверикова,— обратился он снова к Никольскому и отдал командиру полка распоряжение о том, чтобы передний край обозначил себя известным сигналом — для авиации.

По другому телефону сообщили, что немцы контратакуют Семенова.

— Никого не контратакуют, только Семенова контратакуют! — обозлился генерал.

Семенова контратаковал противник силой до батальона пехоты с десятью танками.

— Выполняй задачу! — раздельно сказал комдив.

— Воздух! — сообщил кто-то снизу, и одновременно в небе появились два десятка вражеских бомбардировщиков.

Невдалеке раздались разрывы бомб.

— Очухались немного, гады,— сказал комдив.

Зенитки били вокруг. Стоящие поблизости в овраге крупнокалиберные зенитные пулеметы залились оглушительным лаем.

— Как бы «юнкерсы» нам танковую атаку не сорвали,— сказал комдив, глядя в небо.

Появилась еще одна группа немецких бомбардировщиков, но тут же из белых кучевых облаков выпорхнули советские истребители. Небо огласилось пулеметными очередями и взволнованным, то затихающим, то усиливающимся завыванием моторов.

— «Фазан»! «Фазан»! «Фазан»! — кричал телефонист.

— «Янтарь»! «Янтарь»! «Янтарь»! — кричал второй.

Санитары пронесли мимо ветряка на носилках раненых.

— Бросить в бой третий полк? — вполголоса спросил Плотников.

— Рано,— сказал комдив.— Возьмем вторую позицию, тогда, может быть...

Вторую и третью позиции взяли комбинированным ударом авиации, пехоты и танков в полдень. Солнце жарко припекало. С людей градом катился пот. Беспрерывный бой в течение семи часов необычайно всех измотал, но отдыха не предвиделось: впереди по низким холмам и вдоль узких канав уже обозначилась вторая оборонительная линия — мощная, трехтраншейная, с отсечными позициями и минными полями.

В двенадцать часов позвонили из полка Семенова. Комдив внимательно слушал, хотел что-то ответить, но в это время позвонил командир корпуса, приказавший во что бы то ни стало овладеть второй оборонительной линией.

— Есть,— сказал комдив. Помолчав, он добавил: — Мне только что сообщили: Семенов смертельно ранен.— Он послушал с минуту, что ему говорит комкор, потом положил трубку, поднялся с места, надел фуражку и обратился к Плотникову: — Пойдем, Павел Иванович, простимся с товарищем. Весь день я на него кричал, на мертвого почти!

Слеза медленно выкатилась из глаз комдива, он сердито смахнул ее и громко сказал:

— Ну, вперед!.. Связисты, тащите связь. И чтоб она работала безотказно, как весь день!.. Научились воевать все-таки!..

## XII

Гул артиллерийской подготовки, потрясший окрестные пространства, разбудил Таню, спавшую в маленьком домишке за несколько километров от фронта.

— Глаша, миленькая! — начала она будить медсестру, спавшую на кровати рядом.— Началось! Вставайте!

Глаша вскочила, прислушалась, вдруг обхватила Таню мощными руками, прижала к себе, расцеловала, выпустила на минуту, снова обняла, и так они сидели, обнявшись, полуодетые, с испуганными и радостными глазами, прислушиваясь к непередаваемому, почти неземному гулу. В такой позе застала их вбежавшая в комнату Мария Ивановна Левкоева.

— Одеваться, одеваться! — пропела она на мотив «Тореадора».— Бой начался! Даешь Бе-ерлин!!

Она распахнула окно.

По деревне бегали люди. Мелькали белые халаты сестер.

Где-то раздавался голос Рутковского: «Приготовиться! Занять свои места!» У окна благоухали, блестя росинками, розовые кусты. Горизонт на западе покрылся багровым дымом.

Орудия гудели, не умолкая, и воздух дрожал так же, как и оконные стекла, дробной и дребезжащей дрожью. В небе волна за волной, девятка за девяткой, покрывая своим клекотом гул артиллерии, пролетали на запад советские бомбардировщики и штурмовики, а вокруг них резвились, как вольные пташки, истребители.

Торопливо одевшись, женщины пошли на окраину деревни, где уже собрались и другие врачи, сестры и санитарки.

Здесь под липами Таня увидела две повозки и карету. Лошади, выпряженные и стреноженные, ходили вокруг, поедая молодую травку. Возле повозок живописно расположился целый табор. На земле лежали разостланные пледы и одеяла, но никто не спал. Люди с лоскутками национальных цветов на груди стояли, приглядываясь к западному горизонту, обмениваясь замечаниями и удивленно-восторженными междометиями:

— О-ля-ля!..

— У-у!..

Особенно радовались дети. Их здесь было четверо, три девочки и мальчик. В стоптанных башмачках, с округленными от восторга глазами, они путались в ногах у взрослых и что-то лепетали по-своему.

Выяснилось, что тут собрались представители почти всех стран Западной Европы. Гудящая канонада открывала им путь домой.

Глаша первым делом побежала за гостинцами для детей. Таня с удивлением смотрела на карету, до странности походившую на чоховскую, ту самую, в которой она некогда встретилась с Лубенцовым. Впрочем, карет в германских поместьях было много, и вполне возможно, что геральдический олень — тоже вовсе не редкость.

Возле кареты стояла красивая белокурая девушка. Широко раскрыв синие глаза, она неотрывно смотрела на запад. Наконец девушка громко вздохнула, оглянулась и встретила пристальный взгляд Тани. Тогда и она в свою очередь осмотрела Таню внимательно и критически, так, как только женщины

умеют оглядывать друг друга,— оценивающе, чуть-чуть нагловато и не без удовольствия отмечая недостатки.

Недостатков она в Тане, видимо, не обнаружила и, признав красоту другой женщины, улыбнулась. Таня улыбнулась ей в ответ. Они тут же воспылали симпатией друг к другу, и девушка, показывая пальчиком на запад, протяжно и восхищенно произнесла:

— О-о!..

Таня утвердительно кивнула головой и спросила:

— Откуда вы?

«Откуда» — это слово, очевидно, было известно девушке.

— Nederlanden [1],— ответила она.

— Скоро,— сказала Таня и махнула рукой на запад.

Девушка радостно закивала и повторила:

— Ско-о, ско-о!..

Глаша между тем вернулась с конфетами и сахаром и стала оделять ими детишек. Голландка взглянула на Глашу и, вдруг вспыхнув, подошла к ней и начала что-то говорить по-своему. Глаша внимательно слушала, потом беспомощно развела руками и сказала:

— Ну, чего тебе? Ну, скажи по-человечески... Чего тебе надо, голубушка?

— Капитэн Ва́силь,— пролепетала голландка.

Нет, большая добрая русская солдатка не понимала ее вопросов. Маргарета не могла ошибиться: именно эту женщину она видела однажды во дворе поместья Боркау среди солдат капитана Ва́силя.

Маргарета ни за что не хотела отойти от Глаши. «Раз эта женщина здесь, то и капитан недалеко»,— думала она. Расстаться с Глашей, казалось ей, значило окончательно потерять след капитана. Как жаль, что чех Марек вчера ушел от них с группой своих соотечественников на юг, к себе домой,— он бы объяснил этой женщине, в чем дело!

Глаша, заглядывая в лицо девушки, гладила ее по пышным и мягким волосам и сострадательно повторяла:

— Чего тебе, голубушка?

Прибежавший санитар передал приказ Рутковского собираться в путь. Таня, бросив последний взгляд на карету и дру-

---

[1] Нидерланды *(голл.)*.

желюбно кивнув красавице голландке, пошла в деревню. Глаша раздала детям конфеты и поспешила вдогонку за Таней. Маргарета следовала за ней несколько шагов, потом остановилась, вздохнула, покачала головой. Она глядела на удаляющихся русских женщин, покуда они не скрылись из виду.

Какие они счастливые, эти русские женщины! В красивых мундирах, с пистолетами, настоящие люди, не то что она, Маргарета, и ее подруги — беспомощные и жалкие беженки. Она смотрела на стройную фигуру прелестной русской с некоторой завистью. При этом она себе в утешение подумала, что русская форма и ей, Маргарете, пошла бы прекрасно.

Канонада тем временем прекратилась. Только изредка раздавались отдельные выстрелы, и по небу почти беспрерывно пролетали на запад все новые эскадрильи краснозвездных самолетов.

Табор начал собираться в путь, с тем чтобы медленно, не спеша двинуться следом за русской армией. Но Маргарета не могла уйти так просто, она все еще надеялась, что капитан где-то здесь, поблизости.

Поместье Боркау бывшие батраки покинули через две недели после ухода чоховской роты. Утром пришли бельгийцы из соседнего имения. Они рекомендовали идти на юг, так как на севере происходили ожесточенные бои и прошел слух о прорыве немецких войск. Конечно, слуху этому не следовало бы верить. К северу двигалось так много русских солдат, так много русских танков и пушек! Однако осмотрительные люди решили уйти подальше. К тому же однажды ночью загорелась усадьба. Кто ее поджег, неизвестно: возможно, хорваты, прошедшие вечером из освобожденных деревень возле Штаргарда. Итальянцы и словаки, пришедшие сразу же после пожара, тоже посоветовали идти на юг, хотя об успехе немецкого наступления уже не было речи.

Когда батраки, забрав из хозяйства помещицы (сама она исчезла неизвестно куда) лошадей и повозки, тронулись в путь, их вскоре начали обгонять русские части, двигающиеся с севера после победы над немцами в низовьях Одера. Маргарета не спала целые сутки, стоя у дороги и высматривая среди тысяч людей капитана Ва́силя. Иногда ее сменяла чуть подтрунивавшая над ее влюбленностью Марго Мелье.

Среди русских было немало похожих на капитана, так же прямо и уверенно сидящих в седлах молодых людей с решительными глазами. Но *ее* капитана нигде не было.

Теперь, прибыв в эту деревню, Маргарета со своими спутниками собиралась идти дальше к югу. Но вот началось русское наступление, и, посоветовавшись друг с другом, они решили идти вслед за русским фронтом домой, на запад.

И вдруг Маргарета, уже потеряв всякую надежду напасть на след капитана, встретила Глашу.

Несколько обескураженная тем, что Глаша ее не поняла, Маргарета все же решила пойти в деревню и посмотреть на расквартированных там русских солдат собственными глазами. В деревне Маргарета стала заглядывать во все дворы, вызвав наконец грозный окрик патрульного. Она ему мило улыбнулась и с важностью показала на свою грудь, на которой красовались цвета голландского флага. Его взгляд смягчился, но он все-таки — правда, уже без злобы — велел ей проходить. Она повертелась возле грузовых машин и, выйдя на восточную окраину, долгим взором провожала каждого проходящего солдата. Нет, капитана и его людей тут не было.

На обратном пути, проходя мимо патрульного, она дружелюбно подмигнула ему и присоединилась к своим соотечественникам.

— Не нашла? — спросила Марго.

— Нет,— печально покачала головой Маргарета.

Марго серьезно сказала:

— И хорошо! Все равно ему некогда с тобой возиться. Война продолжается, мадемуазель... У русских еще много дела на земле.

Маргарета уныло молчала. Дело делом, а любовь любовью.

— Я его никогда не забуду! — сказала она пылко.

В это время из деревни выехала колонна грузовых машин и автобусов. Они были нагружены доверху палатками и ящиками. На одной из машин сидела красивая русская, а возле нее — другая, толстая, та, которую она видела в поместье Боркау. Маргарета помахала им рукой. Они ей ласково ответили тем же.

Машины быстро промелькнули мимо и исчезли за поворотом дороги.

## XIII

Стояла отличная весенняя погода, и пели птицы. Машины медсанбата неслись по шоссе, обгоняя повозки дивизионных тылов. Женщины с гордостью и благоговением смотрели на то, что творилось перед их глазами.

Из лесов и рощ, буйно опрокидывая маскировку, вынеслись на дорогу танки с открытыми люками, в которых во весь рост стояли чумазые танкисты. Тяжелая артиллерия, снятая с огневых позиций и уже прицепленная к тягачам, выезжала на гладкий асфальт.

Вся гигантская военная махина, раньше притаившаяся, окопавшаяся, запрятанная по лесам и ямам, ожила, заторопилась, загудела. Словно Бирнамский лес на Донзинанский замок, двинулось все это на Берлин. Раздавались ржанье лошадей, грохот гусениц, веселые прибаутки и благодушная ругань.

Только теперь, когда обнажились леса, можно было воочию убедиться, сколь грандиозна укрытая от посторонних глаз сила, сосредоточенная на Одере и готовая рвануться вослед победоносно наступающим передовым частям.

— А Илюша-то мой как там поживает? — решилась поделиться своими опасениями до сих пор молчавшая Глаша.— Небось жарко там теперь, на передовой!

У переправы скопилось огромное количество машин. Офицеры, регулирующие движение, с красными флажками в руках, пропускали танковые части, которым надлежало в определенное время войти в прорыв и расширить его. Все остальное замерло по обочинам дороги. Наконец танки прошли, и тогда двинулись машины.

Медсанбат тоже вскоре медленно тронулся по доскам моста. Люди даже не подозревали, по какой переправе едут они теперь. Они равнодушно смотрели на мост, на колесоотбои по бокам его и на саперов, обслуживающих переправу. Этот мост казался всем просто неуклюжим дощатым сооружением.

К вечеру медсанбат остановился и развернулся за Одером, в деревне, где еще сегодня утром находились дивизионные немецкие тылы. Сразу же из санчастей полков прибыли раненые, и началась обычная, напряженная работа по первичной обработке ран — труд, одинаковый в Белоруссии и под Берлином.

Люди, которых оперировали здесь, сразу же отправлялись дальше, в эвакогоспитали. Врачу медсанбата невозможно следить за ходом восстановления пораженных тканей, и это обстоятельство сужает его опыт. Таня мечтала попасть после войны в большую хирургическую клинику.

Но именно из-за кратковременности пребывания здесь раненых было вдвойне приятно неожиданно получить письмецо от уже забытого пациента — разве их упомнишь всех! — о том, что он выздоровел или выздоравливает и благодарит ту первую руку, которая, как ему кажется или как, может быть, было и на самом деле, спасла его.

На западном берегу Одера, через день после начала берлинской операции, Таня получила письмо от «ямщика».

Каллистрат Евграфович писал:

«Многоуважаемая Татьяна Владимировна!

Вы там, наверно, двигаетесь все дальше на запад, а я в санитарном поезде двигаюсь на восток. Люди в поезде хорошие и обслуживание ничего. А теперь мы стоим на станции Воронеж, и я решил написать вам данное письмо. Вначале очень горько было уезжать с фронта в дни завершающих боев, но вот мы посмотрели на родные места, где побывал немец, и мы поняли, что тут тоже фронт, так сказать. Здесь, на родине, работы очень много, даже и для одноруких работа найдется. Мне тут одна сестрица рассказывала, что у них в деревне один однорукий кузнец, но высокой квалификации. Правда, у него нет левой руки, а у меня правой. И, может быть, сестрица неправду говорит, чтобы мне поспокойнее было. А может, она правду говорит, потому что молотом бить — это простое дело, не то что плотничать — тут руки нужны две и голова, к тому же, это не кузнечное дело, конечно. Но я думаю, что и я пригожусь со своей левой рукой. А в здешних местах все разрушено и разбито. И люди живут еще частично в землянках, как барсуки, и пекут хлеб в печах на улице. Хотя, конечно, народ оборотистый, и изб много поставлено. Так и хочется взять топор и срубить избу. И проклинаем мы, все раненые, фашистов за то, что они принесли своим вероломным нападением столько горя русскому человеку и забот нашей Советской власти. Здешние врачи говорят, что операцию вы мне сделали очень хорошо, будет вроде два пальца, за что вам спасибо. Извините за мое письмо, может, вам совсем неинтересно от меня получить

письмо. Это не я лично пишу, а мой товарищ, тоже сапер, Алешин, сержант, он вам кланяется, мне писать левой рукой трудно. Вспомнил я нашу веселую карету и потом вашу заботу и дружбу в медсанбате, где вы, как советский человек, заботились об раненых воинах нашей Красной Армии и Флота. Поскорее возьмите Берлин и приезжайте, тут люди нужны, не все поля еще засеянные и дети слабые на вид, так что и доктора нужны. Между прочим, прошу передать привет гвардии майору Лубенцову и желаю вам счастья.

Уважающий вас младший сержант

*Каллистрат Рукавишников».*

Письмо это растрогало Таню, а последние строки его с приветом Лубенцову причинили ей острую боль. Она никак не могла забыть разведчика. Поведение, слова, жесты, улыбка человека, которого она считала погибшим, представлялись ей воплощением самого прекрасного, отважного, чистого, что есть в советских людях.

## XIV

После объезда дивизий перед наступлением член Военного Совета вернулся к себе: на пять тридцать он назначил разговор с группой офицеров.

В штаб он приехал в три часа. Рассматривая бумаги, накопившиеся за день, генерал Сизокрылов поминутно косился на свои большие вороненые часы, лежавшие возле письменного прибора.

Наконец маленькая стрелка приблизилась к пяти, а большая подошла к двенадцати.

Сизокрылов встал и прошелся по комнате. В эту секунду там, на фронте, на плацдарме, началось артиллерийское наступление.

Здесь, в штабе, расположенном вдали от фронта, было тихо. Где-то постукивали пишущие машинки. Из открытых окон нижнего этажа доносились голоса штабных работников, телефонные разговоры.

По торцовой мостовой, четко печатая шаг, прошел караул.

Остановившись возле будки часового, разводящий отдал команду к смене часовых. Новый часовой встал возле старого, повернулся кругом и застыл с винтовкой в руке. Старый взял

винтовку на плечо и, широкими шагами отойдя от своего поста, стал в хвост караула. Караул двинулся дальше, к следующему посту. Гул кованых солдатских шагов вскоре пропал в отдалении.

Пять часов утра. Небо чистое, но еще не голубое, а серое, и по улице стелется туман.

Сизокрылов, стоя у окна, вслушивался... Ему казалось, что он улавливает отдаленный гул, подобный далекому рокоту прибоя. Но, может быть, то был ветер.

Офицеры, вызванные членом Военного Совета, дожидались в приемной и дремали, сидя в мягких больших креслах. Потом кто-то сказал, что на фронте уже «началось», и они вскочили с мест и подошли к распахнутым настежь окнам. За окнами был только туманный рассвет. По улице прошествовал караул, менявший часовых.

Офицеры снова сели, но больше уже не дремали, а тихо, но возбужденно стали переговариваться между собой. Их откомандировали сюда неделю назад, по специальному вызову из действующих частей, и заставили все это время сидеть в резерве, заполняя разные анкеты.

Полковник — адъютант Сизокрылова — открыл дверь и пригласил:

— Прошу в кабинет!

Генерал обернулся на звук шагов, отошел от окна, кивнул головой офицерам и предложил всем сесть.

Началась беседа, и чем дольше она продолжалась, тем больше удивлялись офицеры.

Вопросы, задаваемые членом Военного Совета, были несколько необычны. Он интересовался образованием и партийной работой каждого и задавал различные вопросы, касавшиеся истории Германии, словно на экзамене каком-нибудь. У одного подполковника он спросил о князе Бисмарке и о проблеме объединения Германии, на что подполковник несколько смущенно ответил, что к Бисмарку как к представителю крупного юнкерства он, подполковник, относится отрицательно, а что касается объединения, то оно, как ему кажется, было делом прогрессивным.

К ответам собеседников генерал прислушивался внимательно, выражение лица каждого изучал пристально. Офицеры, хотя это были видные командиры и политработники, один из них даже генерал, робели. При всем уважении к члену Воен-

ного Совета они негодовали, почему их в эти исторические дни отозвали из частей и соединений. Что могло быть сейчас важнее военных действий?

В шесть часов вошел адъютант, доложивший генералу:

— Переводчики прибыли.

Генерал велел и их ввести к себе в кабинет.

В комнату вошли одетые во все новенькое, в пехотных фуражках с малиновыми околышами мирного времени человек двадцать младших лейтенантов. Среди них были и девушки.

Оказалось, это военные переводчики, только что закончившие учебу и прилетевшие на самолетах из Москвы. При виде генерала и офицеров они, присмирев, вытянулись в струнку. Русые локоны девушек, выбивавшиеся из-под беретов, весело трепыхались на свежем ветру, залетавшем в распахнутые окна. Приход молодежи оживил строгий кабинет члена Военного Совета.

Генерал сказал:

— Товарищи, отобранные мной люди, список которых вам позднее огласят, назначаются комендантами и заместителями комендантов различных немецких городов и районов. Штаты комендатур утверждены, вы их получите. Переводчики, которых вы видите перед собой, будут распределены по комендатурам. Отдел кадров подбирает вам сотрудников. Перед вами встанут новые задачи, отличные от прежних, от задач военного времени. Вам надлежит установить повсюду порядок и спокойствие. Организовать снабжение продовольствием немецких трудящихся, наладить подвоз продуктов. Наряду с выявлением и арестом активных фашистов всячески поощряйте самодеятельность немецкого населения, помогайте работе демократических партий и содействуйте восстановлению профсоюзов. В соответствии с нашими советскими традициями в первую очередь обратите внимание на питание детей. Вы уже наполовину офицеры мирного времени. Войну заканчивают другие. Вы начинаете строить мир.

Он спросил, нет ли вопросов к нему. Один немолодой майор попросил освободить его от новых обязанностей и вернуть обратно в часть.

— Причина? — спросил генерал.

Лоб майора покрылся мелкими каплями пота.

— Мне кажется,— сказал он,— что я недостаточно созрел для гуманизма по отношению к немцам.— Он замолчал, ожи-

дая, что́ скажет в ответ член Военного Совета, но Сизокрылов молчал, и майору пришлось продолжить свои объяснения: — Они убили моего сына...— Член Военного Совета продолжал молчать.— Единственного сына. Я ленинградец. Пережил там все... Блокаду... Трупы на Невском проспекте...

Майор замолчал. Стало так тихо, что ясно послышалось, как вздохнула одна из девушек.

Член Военного Совета произнес глухим голосом:

— Обывательский разговор!

Тишина стала еще более напряженной; все присутствующие, по правде сказать, не ожидали такого оборота дела и вовсе не склонны были так уж обвинять майора за его отказ.

— Нельзя, и мы никому не позволим,— продолжал член Военного Совета,— забывать о злодеяниях фашизма. Мы не снимаем и ответственности с немецкого народа. Но мы не можем отожествлять немецкий народ с фашизмом. Вы это знаете, и нетерпимо, что вы, как член партии, не считаете для себя обязательными установки партии, а как военнослужащий — приказы Верховного Главнокомандующего. Хорошо обдумайте этот вопрос и завтра доложите мне через моего адъютанта о вашем окончательном решении.

Зазвонил телефон. Генерал взял трубку, с минуту послушал, его лицо просветлело, и он даже рассмеялся коротким смехом.

— Первая линия вражеской обороны прорвана,— сказал он, положив трубку, и отпустил офицеров.

Оставшись в одиночестве, генерал бросил рассеянный взгляд на край стола, где лежал конверт, не замеченный им раньше. Видимо, адъютант, когда заходил, тихонько положил этот конверт на стол.

В приемной уже ожидали другие люди, вызванные членом Военного Совета или пришедшие к нему сами по различным делам. Тут были и кадровики, и интенданты, и политработники. Генерал принимал их поодиночке. Время от времени он соединялся по телефону с командующим, находящимся на наблюдательном пункте. Командующий сообщал, что наступление развивается успешно, но немцы обороняются отчаянно. Они сосредоточили большое количество артиллерии и порядочно танков. Авиация противника непрерывно действует по нашим боевым порядкам и ближним тылам.

Взгляд генерала во время разговоров то и дело останавливался на конверте, лежавшем на краю стола, и тогда генерал ловил себя на такой мысли: «Хорошо, если бы этого письма не было...»

Но письмо было, и оно властно требовало внимания и ответа.

Генерал превозмог себя и вскрыл конверт.

Жена писала:

«Милый мой! Последние недели я почему-то очень волнуюсь за Андрюшу. Он и раньше писал нерегулярно, а теперь совсем замолчал. Ты тоже молчишь и по телефону меня не вызываешь. Я знаю, ты будешь меня ругать, что я вечно жалуюсь, прости меня. Я, конечно, знаю, что вы наступаете и вам недосуг теперь писать письма. Но я очень беспокоюсь, особенно в последние дни. Вчера я позвонила в НКО и повидалась с Александром Семеновичем — он любезно прислал за мной машину. Конечно, это глупость, мнительность, но мне показалось, что он как-то странно со мной разговаривал. Он не смотрел на меня совсем и отвечал на мои вопросы не то что невпопад, но и не очень кстати. Я попросила разрешения вызвать тебя по телефону из его кабинета, но он ответил, что ты двигаешься и телефонной связи теперь поэтому нет. Потом он вызывал людей — генералов одних человек десять,— и мне показалось, не ругай меня за мою старушечью мнительность, что он это нарочно делает, чтобы со мной не разговаривать. И вообще все твои друзья, которые, надо им отдать справедливость, часто навещали меня и звонили, в последнее время редко появляются.

Умоляю тебя, напиши, как здоровье Андрюши. Я совсем измучилась.

*Аня»*

Следовало написать хоть какой-нибудь ответ, но ни одна мысль не шла в голову. И — в который раз! — Сизокрылов сказал себе: «Нет, тут надо все как следует обдумать, тут нельзя так просто написать — и все...»

Он придвинул к себе папку с наградными листами. Рассеянно проглядывая их, он читал о подвигах пехотинцев, танкистов, артиллеристов и летчиков. В скупых и зачастую невы-

разительных фразах наградных листов генерал улавливал непрерывный пульс боевой жизни. Имена и фамилии вызывали в нем смутное представление о когда-то виденных незнакомых людях, о разных лицах, мелькавших на фронтовых дорогах, в темных землянках и лиственных шалашах.

Попадались изредка и знакомые фамилии.

Красиков. Представлен к ордену Кутузова Второй степени за альтдаммскую операцию: «Возглавил атаку батальона...» Неподходящее занятие для видного штабного офицера, и полководческий орден давать за это уж совсем ни к чему. Медаль «За отвагу» можно было бы дать — и то командиру роты или батальона. Тем более что все произошло в ночь на 20 марта, когда дело уже было в основном решено и противник оставил в Альтдамме один только заслон.

Сизокрылов, не подписав, отложил наградной лист в сторону.

Генерал терпеть не мог этот никчемный и давно устарелый стиль иных старших начальников, которые, вместо того чтобы спокойно и обдуманно руководить операцией в целом, лезут без надобности на передний край. Это своего рода распущенность, которая прикрывается выставленной напоказ личной отвагой. Однако источник ее — вовсе не в боевом темпераменте, а в неумении руководить, в некотором даже увиливании от исполнения наиболее трудных и ответственных обязанностей.

Поведение Красикова в последнее время вообще не нравилось Сизокрылову. Генерал испытывал смутное беспокойство, вначале основанное на ряде отрывочных впечатлений. По мере получения новой информации генерал все больше убеждался в том, что Красиков начал относиться к работе спустя рукава, занятый какими-то другими — несомненно, сугубо личными — делами.

Привыкнув к обдуманным решениям, Сизокрылов пока ничего не предпринимал, а только приглядывался. Старое партийное правило гласило, что провинившийся должен быть выслушан, а сейчас заняться этим делом член Военного Совета не мог. И кроме того, по совести говоря, ему теперь, в момент величайшего торжества, накануне победы, не хотелось заниматься мелкими делами.

«Отложим этот вопрос ненадолго,— решил генерал.— До окончания войны».

Было очень тихо, и генералу казалось, что тихо оттого, что весь мир, затаив дыхание, прислушивается к грому сражения, происходящего там, за Одером.

Генерал Сизокрылов хорошо знал план берлинской операции. Ему рассказывали, как план этот был окончательно принят на совещании командующих в Кремле. Во исполнение этого плана в течение последнего времени передвигались под покровом ночи крупные войсковые соединения, подвозилась артиллерия, перелетали на новые базы авиационные полки. Из затемненных цехов, погромыхивая, выползали новые танки и самоходные пушки, с конвейеров сходили на обширные заводские дворы, к уже ожидающим их железнодорожным платформам, новые грузовики. Женщины на швейных фабриках сшивали серое сукно солдатских шинелей. Запасные части готовили на далеких тыловых полигонах маршевые роты на пополнение дивизий берлинского направления.

Сотни тысяч людей, сами не подозревая того,— потому что конкретное назначение их труда было скрыто за двумя строгими словами: «военная тайна»,— работали для реализации плана последнего сражения войны.

Поздно вечером Сизокрылов выехал на наблюдательный пункт, к командующему, и провел там несколько дней. В течение этих дней события нарастали с неимоверной быстротой.

Перед советскими дивизиями берлинского направления с боями отступала немецкая 9-я армия под командованием генерала пехоты Буссе. Она состояла из 5-го горнострелкового корпуса СС под командованием обер-группенфюрера СС Клайнхерстеркампа, 11-го танкового корпуса СС под командованием обергруппенфюрера СС Еккельна, 56-го танкового корпуса генерала Вейдлинга и 101-го армейского корпуса, которые имели в общей сложности в первой линии шестнадцать дивизий и бесчисленное множество различных запасных, охранных, полицейских, рабочих, саперных и фольксштурмовских батальонов. В помощь дивизиям первого эшелона, несущим большие потери и отходящим под напором советских войск, германское командование ввело последовательно в бой 23-ю мотодивизию СС, 11-ю мотодивизию СС, танковую дивизию «Мюнхеберг», мотодивизию «Курмарк», 156-ю пехотную, 18-ю и 25-ю мотодивизии и танкоистребительную бригаду «Гитлерюгенд». Первая учебная авиадивизия генерала авиации Виммера была превращена в пехоту и брошена в бой. В общей сложности

войска немцев, прикрывавшие Берлин, насчитывали до полумиллиона человек.

Советские дивизии беспрерывно штурмовали укрепленные позиции противника.

Сколько их было, этих позиций! Конца им не было! Немцы перекопали всю местность, до отказа усеяли ее минными полями, переплели колючей проволокой. Завалы из цветущих яблонь преграждали дороги.

Прорвав три мощные позиции первой оборонительной полосы, наши части добрались до второй, простирающейся от города Врицен к югу и юго-востоку через Кунерсдорф к Зееловским высотам. Эта полоса, превосходившая по силе и насыщенности огнем одерский рубеж, опиралась на реку Фридландерштром, Кваппендорфский канал и, наконец, на мощно укрепленные Зееловские высоты.

Здесь наше продвижение замедлилось, и об этом было доложено в Ставку.

Тогда Верховное Главнокомандование осуществило вторую часть плана. Первому Украинскому фронту, наступающему южнее, был отдан приказ частью сил совершить прыжок к южным воротам германской столицы. Одновременно был приведен в движение Второй Белорусский фронт. Форсировав Одер, этот фронт опрокинул 3-ю немецкую армию и начал развивать наступление, обеспечивая Первый Белорусский фронт с севера.

Гигантская, стремительная, гибкая операция трех фронтов развертывалась все шире и шире, захватывая территорию трех германских провинций: Мекленбурга, Бранденбурга и Саксонии, по которым пенился, грохотал, рвался вперед бурный поток советских армий.

## XV

На третий день наступления дивизия генерала Середы вышла к городу Врицен, превращенному противником в крепость. Крепость Врицен была краеугольным камнем второй немецкой оборонительной линии на этом участке.

Форсировав вброд под огнем противника речку Вольцине, солдаты встретили сильное огневое сопротивление с западного берега Ноер-канала и фланкирующий огонь слева, с насыпи железной дороги. Здесь генерал бросил в бой свой третий полк,

который после короткой артподготовки перебрался через Ноер-канал, захватил человек двести пленных и три десятка орудий, но атака тут же захлебнулась. С западного берега Альтер-канала и с сильно укрепленного пункта Блисдорф бешено били артиллерия и пулеметы. С южной окраины видневшегося неподалеку города Врицен начали стрелять по солдатам картечью спрятанные в домах пушки.

Генерал обругал по телефону командира полка за задержку наступления и сам вместе с Лубенцовым пошел в полк. Переправившись на плотике через Ноер-канал, они выбрались на берег. Берег был весь изрыт воронками. Немецкие пулеметы стреляли вовсю.

— Ложись,— сказал комдив.

Лубенцов во второй раз за совместную службу видел, как комдив лег на землю под огнем. Он лег, полежал с минуту, потом повернул голову к Лубенцову и проговорил:

— Зря я кипятился. Огонь действительно того...— Он помолчал.— А может, просто умирать страшно перед самым Берлином...

После этих слов он заставил себя подняться, и они добрались до наблюдательного пункта командира полка. Здесь генерал приказал Лубенцову вместе с разведчиками-артиллеристами точно выяснить расположение немецких огневых точек и артиллерийских позиций. Когда же разведчики собрали необходимые данные, генерал связался по радио со своим НП и, сообщив квадраты, вызвал авиацию.

Появились штурмовики, заклевавшие Блисдорф с воздуха. После бомбежки немцы на некоторое время замолчали, но когда наши солдаты начали продвигаться вперед, вражеские пулеметы, хотя и в меньшем количестве, чем раньше, снова открыли огонь.

Генерал решил дождаться темноты, чтобы организовать ночную атаку. И тут противник внезапно прекратил стрельбу.

Тарас Петрович, удивленный, посмотрел в бинокль: с юга в Блисдорф валом валила советская пехота. Это прорвалась вперед соседняя дивизия.

— Вот спасибо! — пробормотал комдив, вытирая пот с мокрого лба.

Солдаты пошли, с ходу переправились через Альтер-канал и завязали бой на южной окраине Врицена.

Подступы к городу были сильно укреплены и густо заминированы.

Подтянули орудия и начали методически обстреливать неприятельские укрепления.

Лубенцов с разведчиками находился в окопах среди пехоты. Вечером к нему привели перебежчика, только что появившегося на участке одного из полков. Как он прошел через минные поля, было совершенно непонятно, но, так или иначе, он внезапно появился перед нашим бруствером с поднятыми руками и сказал по-русски:

— Сдаваюсь.

Это был немолодой с суровым лицом немец в чине унтерофицера. Он спокойно и даже с оттенком торжественности объяснил, что он, Вилли Клаус,— минер и что он руководил минированием южной окраины города.

Подумав, он добавил, что для того и перебежал к русским, чтобы провести их по безопасным местам.

— Довольно жертв! — сказал он.

Лубенцов пристально следил за выражением этого решительного и сурового лица. Он спросил немца, кем тот был до мобилизации и к какой партии принадлежал до прихода к власти Гитлера. Оказалось, что Клаус — рабочий, токарь, родился и жил в Берлине. Он был беспартийным, но сочувствовал коммунистам.

Лубенцов вызвал Оганесяна, который долго разговаривал с немцем.

— Трудно сказать, конечно, но, кажется, человек честный,— доложил наконец Оганесян гвардии майору.

Оставив Клауса на попечении Оганесяна и разведчиков, Лубенцов отправился к командиру дивизии и подробно рассказал ему и Плотникову о своем разговоре с немцем. Клаус производит впечатление честного человека, и его желание — избегнуть бесцельного кровопролития — естественное человеческое желание при этих обстоятельствах.

— А может, не стоит рисковать? — задумчиво произнес генерал.

Плотников усмехнулся.

— Нашелся немецкий Сусанин, ты думаешь?

— Иоганн Сусанин,— засмеялся Лубенцов.— Нет, мне кажется, что тут совсем другое. Разрешите, товарищ генерал, я попробую.

Генерал сказал:

— Ладно, попробуй. С ним пойдут разведчики и одна стрелковая рота. Возьми с собой двух-трех саперов. Договорись с Сизых об артиллерийской поддержке. И все-таки будь начеку, следи за своим Иоганном...

Подробно договорившись с артиллеристом и захватив с собой двух саперов, Лубенцов вернулся на передний край. Здесь было тихо и темно. Только из землянки, уже оборудованной солдатами возле траншеи, еле пробивался желтый свет. В этой землянке находились Клаус, Оганесян, разведчики и пришедший сюда любопытства ради командир полка.

Лубенцов передал ему приказание комдива, чтобы он выделил для предстоящего дела стрелковую роту.

— И если не жалко,— добавил Лубенцов,— придайте станковый пулемет.

Командир полка, необычайно заинтересованный затеей разведчика, сказал, что выделит ему самую лучшую роту. Он ушел, и тут же явился командир батальона, присланный им. Это был широкоплечий здоровяк комбат с двумя орденами Красного Знамени на широченной, богатырской груди.

— Умнеют немцы понемножку,— сказал он, кивнув в сторону Клауса; комбат сообщил гвардии майору, что роту, выделенную для ночного дела, он поднял в ружье и она сейчас прибудет.— Я бы и сам с вами пошел,— сказал комбат,— да вот командир полка не разрешает.

Лубенцов согласовал с пришедшими вскоре артиллеристами сигнал открытия огня: красная и зеленая ракеты.

К двум часам ночи все было готово.

— Клаус,— сказал Лубенцов, вставая,— вы знаете, что́ вас ожидает в том случае, если вы нас обманете?

Клаус встал, выслушал Оганесяна, который слово в слово перевел вопрос гвардии майора, и сказал:

— Яволь [1].

Он был сосредоточен, но спокоен.

Лубенцов засунул за пазуху маскхалата две гранаты, вынул из кобуры пистолет, и они покинули землянку.

Небо было полно звезд. В траншее сидели на корточках разведчики и солдаты стрелковой роты.

Командир роты, старший лейтенант, доложил Лубенцову, что рота готова следовать.

[1] Конечно *(нем.)*.

Лубенцов приказал:

— Вещмешки, котелки и все прочее оставьте здесь. Теперь вы не пехотинцы, а разведчики.

Солдаты послушно бросили свое имущество на дно траншеи.

Лубенцов объяснил им порядок движения. Впереди идет немец,— солдаты взглянули на немца,— за ним Лубенцов и следом, гуськом, идут разведчики, а потом стрелки. Шествие замыкает старшина Воронин, являющийся заместителем Лубенцова. Его приказы выполняются так же беспрекословно, как и приказы гвардии майора. Как только в небе появляется осветительная ракета, все ложатся и лежат, не шевелясь, до соответствующей команды.

Клаус вопросительно посмотрел на Лубенцова. Гвардии майор кивнул.

Пошли. Сначала шли по дороге, потом свернули влево, в кустарник.

— Не отставать! — передал Лубенцов шедшему за ним Митрохину.

Митрохин передал дальше по цепочке:

— Не отставать!

Слышалось тихое поскрипывание колес пулемета.

Клаус повернулся к Лубенцову и показал рукой на землю. Лубенцов понял: вокруг чернели еле заметные кочки — мины.

Клаус пошел медленнее. Потом он мгновение постоял и зашагал уже решительно, держа курс на резко выделявшуюся на фоне неба заводскую трубу. Трещали пулеметы, и трассирующие пули светящимися язычками проносились в воздухе.

Клаус резко повернул направо и сказал:

— Leise!

— Тише! — передал Лубенцов Митрохину, и тот передал дальше:

— Тише...

Пошли по картофельному полю. Клаус изредка останавливался, приседал и снизу, чтобы лучше видеть, смотрел на очертания домиков предместья Франкфуртского форштадта. Потом в небо взмыли ракеты, и все легли на землю. Лубенцов приподнял голову и посмотрел на лежащих людей. Над ними мерцал зеленоватый свет. Они были похожи на бугорки серой земли, но Лубенцов все-таки удивился, как это немцы ничего не замечают. Но противник, по-видимому, слишком был уверен

в неприступности своих минных полей, в том, что если кто-нибудь ночью полезет сюда, взрывы мин немедленно выдадут смельчака.

Когда свет погас, двинулись дальше. Затем Клаус остановился, присел на корточки и стал что-то искать на земле.

— Ложись! — прошептал Лубенцов.

— Ложись! — прошептал Митрохин.

Картофельное поле кончилось, начинались огороды, поросшие высокой мягкой травой. Клаус пополз по краю поля, разыскивая что-то. Лубенцов неотступно следовал за ним.

Клаус что-то искал и не находил. Он очень осторожно ощупывал траву. Наконец он тихо произнес:

— Hier [1].

Он нащупал узкую тропку, почти совсем прикрытую травой.

Лубенцов сказал:

— Пошли.

Митрохин передал:

— Пошли.

— Ползком,— сказал Лубенцов.

Митрохин передал:

— Ползком.

Опять взмыли в небо ракеты. На этот раз немцы, видимо, что-то заметили. Заработал пулемет. Зажглась еще одна ракета. Что-то взорвалось. Раздался стон. Лубенцов вынул из-за пазухи ракетницу и выстрелил в небо. Красная ракета высоко взвилась над ним. Он выстрелил второй, зеленой. Почти моментально заработала наша артиллерия, и Лубенцов громко крикнул:

— Вперед!

Голос его прозвучал хрипло. Он еще раз крикнул то же самое слово и пустился бежать по тропке вперед, увлекая за собой Клауса. Впереди огненными вспышками взрывались снаряды. Загорелся один дом, потом другой. Сзади тяжело дышали солдаты. Слышен был голос Воронина, негромко твердившего:

— Вперед, ребята, вперед!

Разведчики, в отличие от стрелков привыкшие к ночным действиям, были сравнительно спокойны. Пехотинцы же суетились и подбадривали себя криками.

---

[1] Здесь *(нем.)*.

При ярком свете ракет они миновали огороды, и здесь Клаус громко и облегченно сказал:

— Ende! [1]

Минные поля кончились. Рота развернулась в цепь и пошла вперед, нестройно стреляя на ходу из автоматов и винтовок.

Ворвались в первые дома. Было светло, но на этот раз не от немецких ракет — ракетчики, по-видимому, были убиты или бежали,— а от зарева пожаров, зажженных нашей артиллерией. Разведчики и Клаус, которого уже не охраняли — он вроде как бы стал своим солдатом,— побежали обратно.

Рота за ротой бегом переправлялись через минные поля по дорожке, показанной Клаусом.

На рассвете началась общая атака. С севера в город вступила соседняя дивизия. То тут, то там завязывались короткие схватки с засевшими в домах немецкими солдатами. Лубенцов с разведчиками пробирался огородами и садиками все дальше к северу. Шум боя постепенно отдалялся, потом стало совсем тихо. Где-то слышались гудки автомашин и хриплые человеческие голоса.

Разведчики перелезли через ограду и очутились в садике, полном цветущих фруктовых деревьев. Они сели передохнуть в маленькой беседке, и тут Лубенцов обратил внимание на земляную насыпь, похожую на омшаник родных приамурских деревень. Что-то в насыпи зашевелилось, и открылась маленькая деревянная дверца. Разведчики выхватили и приготовили гранаты. Показалась вихрастая голова, и на поверхность земли вылез веснушчатый мальчуган с кошкой на руках. Он посмотрел во все стороны, даже будто принюхался курносым носом, действительно ли прекратилась стрельба, потом крикнул пронзительно:

— Alles ruhig!.. [2]

Мальчик был так похож на русского парнишку, вылезшего из омшаника!

Он не заметил разведчиков. Из убежища следом за ним вышли старик и молодая женщина. Они направились вместе с мальчиком к дому и тут, заметив русских, испуганно отпрянули.

---

[1] Конец! *(нем.)*

[2] Все спокойно!.. *(нем.)*

— Alles ruhig, — повторил Лубенцов.

Да, всюду стало тихо. Немцы прекратили сопротивление. Горожане робко выглядывали из окон; наконец они высыпали на улицу. Робко озирались. Медленно подходили к расклеенным политработниками на стенах домов советским листовкам.

«Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».

Даже теперь, после всех потрясений, немцы повторяли первую половину этой фразы вполголоса, со страхом озираясь, — не стоит ли поблизости какой-нибудь «блоклейтер»:

— Die Hitler kommen und gehen...[1]

На улицах дымились русские полевые кухни. Распаренные повара делили большими черпаками кашу. Дети, быстрее взрослых освоившиеся с новым положением, первые подошли к этим кухням, и повара уделили и им своей жирной каши. Вскоре у кухонь выстроились детские очереди с тарелками и котелками.

Пугливо озираясь, прошел пастор, три дня назад читавший в кирхе проповедь на текст: «...и победил Давид Голиафа пращой и камнем, и ударил его, и убил его». Под пращой и камнем пастор подразумевал новое тайное оружие, о котором фашистская пропаганда в последние дни особенно охотно трубила.

Теперь пастор, побывав в русской комендатуре, получил разрешение на воскресное богослужение. Когда он пошел в комендатуру, пасторша провожала его причитаниями и воплями. Он и сам чувствовал себя мучеником, идущим на смерть ради христианской идеи. Однако принять мученический венец ему не пришлось. Комендант, очень вежливый русский майор, угостил пастора чаем.

Да, надо было найти для воскресной проповеди другой, совсем другой текст. Пожалуй, лучше всего такой: «...мой народ — как потерянное стадо. Пастухи обманули его и завели в горы».

А русские солдаты, передохнув, снова двинулись к западу. И, выйдя из города на дорогу, они увидели необычайное зрелище. Среди группы немецких пленных стоял начальник раз-

---

[1] Гитлеры приходят и уходят... *(нем.)*

ведки дивизии гвардии майор Лубенцов. Он крепко пожал руку одному из немцев, человеку в обтрепанном зеленом мундире, такому же грязному и небритому, как и все остальные. К их удивлению, подъехавший в машине начальник политотдела, спрыгнув, подошел к тому же немцу и тоже крепко и дружески пожал ему руку. А немец тихо говорил что-то, растроганно улыбался и совсем был похож на хорошего человека, если бы, конечно, не его ненавистный зеленый мундир.

## XVI

Как только войска прорывают мощно укрепленные районы противника и выходят в менее подготовленную к обороне местность, вся обстановка жизни в мгновение ока преображается. Беспрерывное тяжкое напряжение, когда нервы натянуты до предела, когда каждая дрянная речушка и тенистая роща таят в себе смерть, сменяется боевым азартом преследования уже разгромленных или изолированных вражеских частей.

Штайнбекер Хайде, обширный смешанный лес, был последним укрепленным рубежом, где немцы на этом участке оказали организованное сопротивление. Здесь рота капитана Чохова захватила пленных, оказавшихся полицейскими берлинской полиции. Нельзя сказать, чтобы полицейские особенно упорно сопротивлялись. Видимо, они больше привыкли иметь дело с безоружными. Когда самоходный полк прорвался через их боевые порядки, они стали большими группами сдаваться в плен.

Населенных пунктов становилось все больше, они располагались все ближе и ближе один к другому, и наконец превратились в сплошной населенный пункт, хотя и под разными названиями. В то время как штабы доносили о взятии Бернау, Буха, Цеперника, Линденберга, Бланкенбурга, солдаты брали эти пункты как один сплошной населенный пункт и думали, что это уже Берлин.

Близость большого города становилась все заметнее. Всюду тянулись бесконечными рядами столбы высоковольтных электрических линий. Виадуки и мосты, платформы пригородных станций, огромные площади под складами, водонапорные башни, «берлинские» пивнушки, рекламы столичных фирм

и газет — все указывало на приближение города-гиганта. И всюду — на домах, на придорожных щитах, на оградах складов и пакгаузов, на мостах и вагонах и даже просто на асфальте дороги — пестрели свежие надписи: три слова, огромные и маленькие, черные и белые, зеленые и красные, намалеванные готическим и латинским шрифтом:

«Berlin bleibt deutsch!» [1]

Эти слова, означающие, что русские не войдут в Берлин, звучали как заклинание. В них ощущались страх и бессильная злоба. Тут было над чем посмеяться, если бы солдаты имели время обращать внимание на надписи.

Противник загородил улицы деревьями, чугунными решетками, опрокинутыми автобусами и противотанковыми надолбами. Минометы, установленные в садах и огородах, ухали по перекресткам. Фаустпатронники, засевшие в подвалах, били по танкам и самоходным орудиям.

Роте капитана Чохова были приданы минометы, противотанковые орудия и три танка. Такова была насыщенность техникой в эти дни решающего наступления, что простая стрелковая рота имела столько поддерживающих средств!

— Придать бы нам бомбардировочную авиацию,— восторгался ефрейтор Семиглав,— и мы вроде целая армия!

Чохов был легко ранен в руку осколком гранаты, но сохранил свой невозмутимый вид. Грязный бинт клочьями висел на его руке. Он тащил на плече ручной пулемет, из которого сам стрелял: пулеметчика убило, а ослаблять огневую мощь роты Чохову не хотелось.

Оказавшись в узких горловинах городских улиц, танки и самоходки несли урон от засевших в подвалах немецких фаустпатронников. Посоветовавшись с танкистами, Чохов решил применять такую тактику: танки стреляют вверх, по чердакам и верхним этажам, где находились пулеметчики и автоматчики противника. Солдатам же роты вменяется в обязанность обезвреживать фаустпатронников — немецких истребителей танков — в подвальных и нижних этажах.

Эта тактика себя вполне оправдала.

Улица за улицей переходила в руки наших частей. На перекрестках солдаты и саперы, прикрытые огнем орудий и танков, растаскивали завалы и баррикады; потом танки, ведя ура-

[1] «Берлин остается немецким!» *(нем.)* (Последний лозунг Гитлера.)

гапный огонь по верхним этажам, шли дальше, а пехотинцы, двигаясь у самых домов, забрасывали гранатами подвалы и вели кинжальный пулеметный огонь по перекресткам.

Никто уже не спал. Дни и ночи перемешались. Ночью было светло, как днем, от горящих домов и осветительных ракет. Днем было темно от дыма.

Когда какой-нибудь мощный многоэтажный дом оказывал сильное сопротивление, Чохов бежал к идущим сзади артиллерийским частям. Тогда выходили вперед артиллеристы и, прикрываясь огнем пехоты и танков, подкатывали свои огромные орудия к дому, и орудия били по стенам прямой наводкой, как гигантские пистолеты, направленные в сердце каменных громад.

Солдаты Чохова очень подружились с экипажами танков. В краткие минуты затишья они вместе ели, рассказывали друг другу о своей жизни и делились впечатлениями о Германии. Надо сказать, что эта боевая дружба сыграла немалую роль в успехе наступления.

Раньше танки и самоходки были для пехотинцев просто важным родом войск, могучими помощниками в бою. Теперь же, когда солдаты знали обитателей этих стальных машин, они уже испытывали по отношению к ним особое теплое чувство. Расправляясь с вражескими фаустпатронниками, Сливенко и его товарищи знали, что они, кроме всего прочего, сохраняют жизнь Дмитрию Петровичу, или Мите, молчаливому парню из Свердловска, и его башенному стрелку, москвичу Павлуше, шутнику и балагуру. Это было настоящее взаимодействие!

Несмотря на боевую горячку, капитан Чохов почти беспрерывно думал свою думу. Наконец он решил поделиться со Сливенко. Как-то раз, отозвав старшего сержанта в сторонку, Чохов показал ему план Берлина с обведенными красным карандашом зданиями рейхстага и правительственных учреждений на Вильгельмштрассе.

— Вот куда нам нужно попасть,— сказал он.— Хорошо бы самого Гитлера захватить... Ну, это, конечно, неизвестно... Но хоть ворваться туда первыми.

Сливенко посмеивался.

— Хорошо-то хорошо,— сказал он наконец,— да кто знает, по какой дороге мы пойдем. Город большой...

Чохов согласился с ним, но стал доказывать, что идут они прямо, можно сказать, в том направлении и что невредно при-

готовить красный флаг, знамя победы, чтобы водрузить его на рейхстаге.

События следующих дней подтвердили сомнения Сливенко. Полк, заняв целый ряд городских окраин, вдруг снова очутился в обильно усеянной озерами сельской местности.

Берлин оставался где-то в стороне, и только артиллерия, стоявшая всюду и везде — в оврагах, вдоль дорог, на опушках рощ,— только она одна, казалось, воевала с Берлином.

Орудия стреляли как раз по тем объектам, о которых мечтала душа Чохова: по целям 105 и 153.

Цель 105 обозначала германский рейхстаг, цель 153 — имперскую канцелярию.

Артиллеристы находились в состоянии лихорадочного возбуждения и гордо посматривали на проходящую мимо пехоту, у которой руки коротки, чтобы достать то, что могут достать они, артиллеристы.

Рослый солдат, казавшийся малюткой возле своей огромной пушки, вертя многочисленные рычаги, кричал перед каждым выстрелом:

— А этот доворот прямо Геббельсу в рот!

Другой, безусый, совсем еще мальчишка, забавлялся, старательно надписывая на снарядах мелом разные затейливые надписи, вроде: «Гитлеру Аде от доброго дяди».

Слова артиллерийских команд звучали теперь по-особому торжественно:

— По рейхстагу, дивизионом, шесть снарядов, огонь!

— По фашистскому логову, угломер сорок семь двадцать, прицел двадцать пять, четыре беглых, огонь!

Чохов смотрел, как артиллеристы возятся у своих орудий, как они подтаскивают и вкатывают в замки большие блестящие снаряды, и чуть ли не завидовал этим самым снарядам, которые через несколько мгновений разнесут в куски какую-нибудь стену последней твердыни фашизма.

Вскоре перестали попадаться на пути и артиллерийские позиции. Дорога шла строго на запад, по прилегающим к Берлину дачным местам. Таков был приказ. Чохов недоумевал.

К вечеру 22 апреля рота, опрокинув вражеский заслон, вырвалась к какой-то реке.

Весельчаков приказал готовиться к переправе. Солдаты разулись, сняли гимнастерки, связали сапоги и одежду в узелки.

К реке подошли несколько артиллеристов.

— Поддержите? — спросил Семиглав.

— Поддержим, ребята, не бойтесь,— ответил кто-то из артиллеристов.

— А мы и не боимся,— гордо произнес Семиглав, хотя он немножко и боялся этой темной холодной реки, по которой придется плыть.

Чохов должен был переправиться вплавь вместе со своей ротой, но он был одет и обут, как обычно. Его маленькие хромовые сапожки поскрипывали. Он не считал возможным для офицера раздеваться, только вынул из гимнастерки свой комсомольский билет и удостоверение личности и, сняв фуражку, заложил их туда. Потом он опустил ремешок фуражки и закрепил под подбородком, для того чтобы она не слетела.

Солдаты сели на берегу, опустив ноги в воду.

— Не курить! — предупредил старшина.

У самого берега вскоре появилась группа людей. Узнав среди них командира дивизии, Чохов встал.

С комдивом были Лубенцов, Мигаев и другие офицеры. Они некоторое время молча смотрели на противоположную сторону. Там было темно и тихо, противник ничем не обнаруживал своего присутствия.

Чохов слышал издали, как комдив дает указания артиллерии о порядке огневого прикрытия переправы. Потом генерал подошел ближе к пехотинцам и, присмотревшись в темноте к неясным очертаниям солдатских фигур, спросил:

— Пехота готова?

— Так точно, товарищ генерал! — отчеканил Чохов.

Улучив подходящий момент, капитан подошел к Лубенцову.

— Куда мы идем? — вполголоса спросил Чохов.— Берлин-то уже почти сзади остался.

Гвардии майор улыбнулся:

— Ничего не поделаешь.

Оказалось, что дивизия после форсирования реки Хавель повернет на юг и пойдет по западным пригородам Берлина на Потсдам. Соседние дивизии имели схожую задачу: блокировать Берлин с запада.

Таким образом, на долю этих соединений выпала обязанность осуществить третью часть плана берлинской операции: окружить столицу Германии, в то время как сталинградские

гвардейцы генерала Чуйкова и ударные части генералов Кузнецова и Берзарина брали Берлин в лоб.

Чохов не мог не подивиться грандиозности операции по окружению и взятию германской столицы. Смирившись, он должен был признать всю ничтожность своих маленьких честолюбивых планов перед величием общей задачи.

В двадцать три часа начали стрелять орудия, и солдаты по этому сигналу медленно полезли в воду. Вода была холодная, темная и как будто густая; казалось, что можно резать ее ножом на черные полоски.

Дно ушло из-под ног, и люди поплыли, держась одной рукой за доски, плотики, бочки и другие подручные средства, а другой загребая воду. На западном берегу что-то запылало, осветив на мгновение плывущие головы и высоко поднятые в обнаженных руках винтовки.

Как и следовало ожидать, заговорили пулеметы с западного берега.

— Скорее! — торопил людей Сливенко.

Пули с визгом врезались в воду, которая еле слышно пошипывала от их прикосновения.

Рядом кто-то охнул. Сливенко схватил человека за руку и потащил его за собой, но тот захлебывался, что-то бормотал и ухватился за плечо Сливенко. Сливенко ушел с ним под воду. Инстинктивно он при этом закрыл глаза, но под водой открыл их. Он увидел, что на поверхности реки стало совсем светло, может быть от пожара.

Сливенко рванулся вперед, вынырнул и опять пошел под воду, но ощутил под ногами дно и тут же почувствовал, что его схватила чья-то сильная рука.

— Живы? — услышал он над собой голос капитана, но ответить не смог, так как ловил широко открытым ртом живительный, сладостный ночной воздух.

Пулеметная очередь рванула по воде, кромсая ее в клочья. Солдаты побежали.

Сливенко тащил за собой раненого. Река становилась все мельче. Пулеметы с нашего берега заливались все громче.

Мокрый песочек. Травка. Сливенко упал на берег и крикнул слабым голосом:

— Ура!..

Тут же он застрочил из автомата, и рядом с ним начали стрелять другие. Где-то рядом стрелял из ручного пулемета

капитан. В воздух взмыли подряд две ракеты, стало светло, и Сливенко мог бы уже оглянуться и посмотреть, кто лежит рядом с ним раненый или даже как будто мертвый. Но он не решался смотреть и все стрелял, время от времени слабо крича привычное слово «ура», неизвестно зачем.

Люди лежа быстро обувались и натягивали на мокрое тело мокрые гимнастерки. Потом капитан скомандовал «вперед». Сливенко старался уловить в общей трескотне стрельбу второго ручного пулемета, из которого должен был стрелять Семиглав, но он не слышал его. Сливенко полз все дальше, в темноту, откуда стрелял вражеский пулемет. Потом пулемет замолчал, и сзади послышались крики переправлявшихся новых подразделений. К Сливенко подполз Гогоберидзе. Они полежали молча рядом. Потом возле них очутился непривычно молчаливый старшина. Они полежали втроем, и ни о чем не разговаривали, и не смотрели назад, на берег, где лежал Семиглав, холодный и неподвижный.

## XVII

После форсирования Хавеля Лубенцов решил двигаться дальше с разведчиками в конном строю. Такой вид разведки в этих условиях был удобнее всего: конникам не требуется дорога, как машине, передвигаются они в достаточной степени быстро, а главное — бесшумно.

Лубенцов велел Каблукову седлать и утром выехал с Мещерским во главе своих конников.

Западнее Берлина никто не ожидал появления русских. Деревни и пригороды жили тихой, хотя и тревожной жизнью. Солнце сияло щедро и ярко, ложась желтыми пятнами на дома и огороды и освещая беспощадным светом расклеенное где попало последнее заклинание Гитлера: «Berlin bleibt deutsch!»

Разведчики ехали медленно, чутко прислушиваясь ко всему, что творилось вокруг них. С востока, то есть из Берлина — да, как ни странно, Берлин находился на востоке,— доносились далекие разрывы снарядов.

Углубились в лес. Цоканья лошадиных копыт почти не было слышно. Невдалеке среди деревьев промелькнул старичок с вязанкой хвороста на плечах. Он мельком взглянул на всадни-

ков, но тут же отвел глаза, не признав их, по-видимому, за русских.

Вскоре деревья начали редеть, и глазам Лубенцова предстало обширное, заросшее травой поле, на котором выстроились в ряд черные самолеты с белыми крестами. Их было тридцать восемь штук. Все марки «Ю-87» — памятные каждому русскому солдату пикирующие бомбардировщики. Возле машин копошились люди, вид у них был довольно спокойный. По-видимому, они считали, что русские далеко, а Хавель — верная защита.

Разведчики отступили в лес, и Лубенцов послал Каблукова в дивизию с сообщением о наличии самолетов на аэродроме Нидер-Нойендорф. Сам гвардии майор с остальными разведчиками поехал к западу, к селению Шёнвальде, которое следовало, по приказанию комдива, разведать. Возле деревни спешились, оставили коней в лесу под присмотром двух солдат и пошли дальше пешком.

Здесь, как и всюду западнее Берлина, было тихо и пустынно. Казалось, что в деревне все вымерло. Время от времени слышались только блеяние овцы да ленивый собачий лай. На северной окраине, справа от дороги, стояла кирха, окруженная садом. Разведчики проникли в сад и подошли к той стороне ограды, которая выходила на улицу. Они легли за кирпичным основанием ограды и стали наблюдать сквозь железные прутья.

Из ворот соседнего дома выглянули два мальчика. Они дошли до угла, постояли там, прислушиваясь, видимо, к артиллерийской канонаде в Берлине. Потом они ушли.

Войск в деревне не было.

Разведчики тем же путем вернулись к своим коням и поехали лесом дальше, на юго-запад. Сладко пахла нагретая солнцем смола. Чем ближе к большой дороге, которая должна была вот-вот показаться, тем медленнее ехал Лубенцов. Наконец он остановил коня и прислушался. С дороги доносился неровный топот ног. Лубенцов спрыгнул с Орлика. Не оглядываясь — он знал, что остальные последуют за ним в надлежащем порядке, оставив возле коней охрану,— Лубенцов пошел к дороге и залег возле нее в кустах.

Дорога открылась перед ним — широкая, пустынная. Но вот из-за поворота появились на велосипедах три немецких солдата с автоматами. Потом показалась большая группа муж-

чин в странных одеждах, полосатых, как матрацный холст. Эту нестройную толпу конвоировали солдаты, вооруженные автоматами.

И арестанты и охранники шли медленно, с понуро опущенными головами.

Лубенцов и Мещерский переглянулись, и в глазах Мещерского Лубенцов прочитал немую просьбу, даже требование: действовать!

— Это не уголовники,— горячо зашептал Мещерский.— Не может быть, чтобы уводили на запад уголовников. Охрана — уголовники, вот кто!

Лубенцов кивнул головой и тихо сказал:

— А вот мы сейчас узнаем!..

Остальное произошло очень быстро. Старшина Воронин пошел вперед параллельно дороге, с независимым видом и даже как-то лениво вылез из кустов, подошел к ехавшим впереди колонны велосипедистам и, стоя во весь рост, как ни в чем не бывало полоснул из автомата. Одновременно сзади грянуло еще несколько автоматных очередей. Арестованные заметались, потом сбились в кучу и с удивлением смотрели на то, что творится вокруг них. Люди в зеленых маскировочных халатах, с красными звездочками на пилотках бесшумно и легко мелькали среди деревьев, отрывисто обменивались короткими словами на незнакомом языке. Наконец они вышли все на дорогу — высокие как на подбор, стройные, загорелые, ярко-зеленые, как окружающий лес. Они и казались порождением этого леса.

Люди в арестантских халатах не успели опомниться, как уже очутились в лесной чаще среди русских разведчиков. А тут стояли кони и позвякивали уздечки. И было вольно, солнечно и тепло, захотелось скинуть с себя поскорее арестантские халаты и, пожалуй, надеть вот эти зеленые, маскировочные, в которых разведчики выглядели как вестники весны.

Лубенцов выделил двух разведчиков проводить освобожденных в штаб дивизии. Разоруженных конвоиров отправили вместе с ними под охраной бывших заключенных. Конвоиры восприняли эту разительную перемену в их жизни с тупой покорностью.

А Лубенцов с разведчиками отправились дальше на юг. Ехали по-прежнему молча, словно ничего не произошло, и только у Мещерского на лице застыла задумчивая, счастливая улыбка.

Северная окраина населенного пункта Фалькенхаген встретила маленький отряд винтовочными выстрелами и минометным огнем.

— Наконец-то попали в нормальные условия,— заметил Лубенцов вполголоса и спрыгнул с коня.

Коней отвели в лес, а разведчики, взобравшись на чердак какого-то дома, с полчаса понаблюдали за противником, засевшим в Фалькенхагене. Отметив огневые точки на карте, Лубенцов велел отходить в лес. Поскакали крупной рысью назад. Вскоре встретили передовые отряды дивизии и предупредили их о вражеском сопротивлении в Фалькенхагене.

На опушке леса, возле деревни Шёнвальде, Лубенцов увидел машину комдива, вокруг которой суетились штабные офицеры. Сам генерал разговаривал по радио с полками, полулежа на траве.

— А, прибыл! — встретил Тарас Петрович своего разведчика.— Завидую тебе! Приятно носиться верхом в тылу у немцев западней Берлина! Докладывай!

Выслушав Лубенцова, комдив сказал:

— Только что получен приказ маршала Жукова к вечеру оседлать магистраль «Ост-Вест». Вот эту, видишь?..— показал он на карте.— Кстати, поздравляю: ты освободил видных антифашистов. Они хотели с тобой повидаться,— зайди в политотдел, Павел Иванович там с ними беседует.

Лубенцов пошел в деревню. Здесь во дворе, возле дома, занятого политотделом, собрались освобожденные разведчиками люди. Солдаты и официантки из штабной столовой сдвигали столы и накрывали их чистыми скатертями.

Плотников, Оганесян и офицеры политотдела сидели рядом с освобожденными и разговаривали с ними. Потом всех пригласили к столу. Дивизионный повар постарался, чтобы иностранцы надолго запомнили русское гостеприимство.

Когда появился Лубенцов, освобожденные встали и бросились к нему с изъявлениями благодарности. Потом все снова расселись. Между Плотниковым и Лубенцовым усадили старого человека, обрюзгшего, с седыми усиками и седой жесткой шевелюрой. По его помятым щекам катились слезы.

Это был Эдмонд Энно, французский сенатор, человек широко известный во всем мире, много раз занимавший пост министра Французской республики. Впрочем, в лагерях и тюрь-

мах, где он находился с 1940 года, он почти забыл о своем некогда высоком положении. Он очень опустился.

Однако теперь, видя то уважение, которым его окружили русские офицеры, и выпив сверх меры вина, он очень скоро пришел в себя и обрел самоуверенную ухватку опытного парламентария. Он стал разговаривать громко и быстро, так что Оганесян, знавший французский язык не очень хорошо, еле поспевал переводить.

— Вы вышли на мировую арену,— говорил Энно, подняв руку.— Что ж, это закономерно, вполне закономерно. Белый медведь раздавил черного. (Энно намекал на герб Берлина: черный медведь на серебряном поле с двумя орлами — черным, прусским, и красным, бранденбургским.) Да, да, белый медведь задушил черного, и этого следовало ожидать. Лично я в глубине души всегда верил в вашу силу, хотя не всегда выражал свою уверенность публично... Вы и Франция — оплот безопасности Европы, вы и Франция! — Он смахнул слезу и воскликнул:— Любимая Франция!

Полковник Плотников смотрел на Энно с состраданием и в то же время с чувством какой-то неопределенной досады: почему старик, только что освобожденный, громко ораторствует и многозначительно, даже покровительственно хлопает Лубенцова по плечу, так, словно он сделал гвардии майору превеликое одолжение, дав возможность освободить себя! И к чему это краснобайство, эти банальные «символические» сравнения? Но потом Плотников подумал, что нехорошо в такой момент подмечать в людях недостатки. Что с того, если этот старый человек немножко важничает после нескольких лет невыносимой жизни! «Бог с ним»,— думал Плотников, ласково улыбаясь французскому сенатору.

Лицо полковника светлело, когда он поворачивался к своему соседу слева — немолодому, изможденному, чуть сгорбленному человеку с седыми волосами. Этот говорил мало, только отвечал на вопросы, и то односложно. Он понимал и даже неплохо говорил по-русски,— в лагерях многие заключенные, те, кто предвидел ход событий, учились у советских военнопленных русскому языку.

Лицо этого человека иногда подергивалось какой-то нервной судорогой, и он, зная за собой эту слабость, тут же улыбался беспомощно, словно извиняясь за приобретенную в тюрьме привычку.

Этот человек был Франц Эвальд, член ЦК Коммунистической партии Германии, один из виднейших подпольных работников и пропагандистов партии. Свое настоящее имя он сказал Плотникову, узнав, что полковник является начальником политотдела. Даже товарищи Эвальда по лагерю и тюрьме не знали его имени и были немало удивлены, услышав, кто он такой. В лагерях он числился Герхардом Шульце.

Агенты гестапо захватили его в 1937 году, но и они так и не узнали его настоящего имени,— он числился рядовым коммунистическим «функционером», захваченным в Веддинге на одной подозрительной квартире, вот и все. Правда, вначале гестаповцы подозревали, что он не тот, за кого выдает себя. Один из наиболее ретивых следователей долго возился с ним, применяя все возможные методы воздействия, но ему ничего не удалось добиться. Так Эвальд и остался Герхардом Шульце.

В лагере он создал разветвленную подпольную организацию. Ему удалось наладить связь с внешним миром, он узнавал обо всем, что творилось на свете, и выпускал рукописные листовки о событиях на советско-германском фронте. Никто из участников организации — а их было много,— за исключением пяти человек: двух немцев, русского пленного офицера, одного французского и одного чешского коммунистов, не подозревал, что этот «старичок Шульце», работающий писарем при охране лагеря, и есть руководитель организации.

Последнее время, ожидая со дня на день приближения Красной Армии, Эвальд готовил восстание заключенных и сумел собрать большое количество пистолетов и гранат и даже несколько автоматов, которые были принесены в лагерь в разобранном виде, по частям. Но неожиданно поступил приказ перевести большую группу заключенных, главным образом коммунистов, в цитадель Шпандау. В этой цитадели, старинной и мрачной, Эвальд провел две недели. Сегодня рано утром их повели оттуда к северо-западу — повели пешком, так как бензина в тюрьме не оказалось.

Теперь он сидел бледный, тихий, с крупными каплями пота на широком, изрезанном морщинами лбу, усталый и счастливый.

Он спросил Плотникова, как идет наступление советских войск севернее Берлина. Этот вопрос особенно интересовал его потому, что в лагере Равенсбрюк находились жена и дочь

убитого фашистами вождя германской компартии Эрнста Тельмана.

Лубенцов, глядя на всех этих изможденных, исхудалых людей — немецких антифашистов, был счастлив от одного того, что они существовали. Существовали, боролись, их не сломила охранка Гиммлера, не опьянил националистический угар, не обескуражили победы фашистской армии.

Плотников поднял наполненный вином стакан и произнес тост:

— За Германию! Выпьем, товарищи, за ту Германию, которую представляете вы.

Франц Эвальд порывисто встал с места и сказал:

— За наших освободителей! За Советский Союз, за вас, товарищи!

## XVIII

На магистрали «Ост-Вест» — важнейшей артерии, связывающей Берлин с Западом, шел ожесточенный бой. Противник, укрепившись в кирпичных казармах, среди каменных львов и чугунных орлов военного городка Лагер-Дебериц, яростно сопротивлялся.

Покинув политотдел, Лубенцов с Оганесяном поспешили к комдиву, который руководил боем с невысокого холма северней Деберица. В стереотрубу хорошо видна была эта магистраль — широкое асфальтированное шоссе, по обе стороны которого почти вплотную один к другому тянулись небольшие, густо населенные города.

В полночь полки ворвались в Лагер-Дебериц.

Оттуда позвонил Мещерский.

— Противник бежит,— сообщил он.— Есть пленный.

Этого пленного Митрохин «сгреб» в кювете. Вскоре его доставили к гвардии майору. Привел «языка» сам Митрохин, лицо которого было сильно расцарапано: «язык» отчаянно отбивался и при этом плакал.

Митрохин смущенно покашливал, ему было немножко стыдно. Дело в том, что пленный оказался всего-навсего шестнадцатилетним мальчишкой. Глядя на него, солдаты громко хохотали.

Засмеялся и Лубенцов. Действительно, «язык» имел комичный вид. Солдатский мундир висел на нем, как на чучеле,

почти достигая колен. Непомерной величины сапоги и огромная пилотка, все время падавшая на глаза, довершали картину.

«Малыш», как его прозвали разведчики, показал, что на днях берлинскую организацию «гитлерюгенд» собрали на спортивном стадионе в Берлинском лесу. Здесь выступил «рейхсюгендфюрер» Аксман, охрипший однорукий человек. Он сказал, что перед ними поставлена задача держать оборону на западных окраинах Берлина в связи с тем, что русские прорвались туда.

Ребят вооружили там же, на стадионе, облачили в солдатскую одежду и частично переправили в Шпандау и Пихельсдорф через Хавель. А сегодня утром два батальона на машинах были брошены сюда, под Лагер-Дебериц.

В то время как Лубенцов разговаривал с «малышом», к ним внезапно подошел старшина Воронин и, вперив в лицо «малыша» свои острые глазки, протянул руку и разгладил многочисленные складки на левой стороне груди «малыша». Лубенцов с удивлением увидел среди этих складок новенький железный крест.

«Малыш» вспыхнул и с опаской поглядел на гвардии майора.

Митрохин приосанился,— пленный оказался не таким уж замухрышкой, и стыдиться его не приходилось.

Лубенцов улыбнулся.

— За что получил? — спросил он.

«Малыш» сказал, что железный крест получен им три дня назад за то, что он из фаустпатрона подбил советский танк на восточной окраине Берлина.

— Ах ты, сукин ты сын! — покачал головой Лубенцов и спросил растерявшегося «малыша», кто вручил ему железный крест. Услышав ответ, Лубенцов еще больше удивился: «малыш», заикаясь и дрожа, сказал, что крест ему вручил фюрер.

— Какой фюрер? — спросил Лубенцов.

— Гитлер,— еле слышно произнес «малыш».

И он рассказал о том, как после того боя, где ему удалось фаустпатроном подбить русский танк, его внезапно вызвали в штаб батальона, посадили на машину и повезли через забитые обломками зданий берлинские улицы в центр города. Сам он живет в Вильмерсдорфе, а в центре Берлина уже давно не был. Там все разрушено, и ночью страшно там ходить. Не успел он опомниться, как очутился вместе с какими-то людьми перед

входом в рейхсканцелярию. Он спустился вниз в сопровождении эсэсовцев, и по длинным коридорам, переполненным эсэсовцами, его привели в какую-то комнату. В той комнате стоял генерал, потом дверь открылась, и вошел сам Гитлер. Гитлер пробормотал что-то невнятное,— по крайней мере «малыш» ничего не понял из того, что произнес фюрер,— потом он нацепил «малышу» на мундир этот железный крест. «Малыш» не помнил никаких особых подробностей; он заметил только одно, что руки фюрера, когда он нацеплял крест, дрожали. Потом эсэсовцы вывели «малыша» в коридор и на обратном пути все торопили его.

— Скорее, скорее! Не задерживайся!

Он вышел из подвала на Фоссштрассе, но машины, которая привезла его, там не было, и вообще никого не было, потому что русские бомбили город, и «малышу» пришлось пойти пешком обратно в свой батальон через весь Берлин.

Гвардии майор с усмешкой глядел на этого маленького испуганного человечка, который три дня назад видел своими глазами Гитлера.

Значит, прошли те времена, когда начальник разведки дивизии при допросе пленных выпытывал данные о местопребывании какого-нибудь немецкого штаба батальона или полка. Теперь дело идет о генеральном штабе германской армии, о главной квартире Гитлера, о Гитлере самом.

## XIX

Местопребыванием Гитлера интересовался не один гвардии майор Лубенцов, а весь мир. Пожалуй, даже где-нибудь в горных деревушках Эфиопии и то люди задавали себе этот вопрос: куда удрал и где находится Гитлер?

Советским солдатам в дни берлинского сражения трудно было представить себе, что в каких-нибудь двух-трех километрах находится Адольф Гитлер собственной персоной, тот самый человек, именем которого все матери мира пугали детей, весь облик которого — нависший над лбом знаменитый начес, острый носик, подглазные мешки, сутулая спина — вызывал острую ненависть и безмерное омерзение всего мира.

А Гитлер действительно находился в Берлине, в бомбоубежище под зданием новой рейхсканцелярии.

Это огромное, массивное здание, построенное в стиле «третьей империи», громоздком и уродливо монументальном, занимает целый квартал — от Вильгельмплац, вдоль всей Фоссштрассе, до Герман-Герингштрассе.

В то самое время, когда советские армии брали Берлин, в бомбоубежище Гитлера разыгрывалась уродливая и смехотворная трагедия, если можно назвать трагедией агонию разбойничьей шайки, о которой не скажешь даже: «Она потерпела поражение»,— а скажешь: «Она засыпалась».

А в том, что она «засыпалась», уже были уверены почти все. Кто только мог, убежал из столицы. Еще в середине апреля исчез Риббентроп. Гиммлер, под предлогом необходимости поправить дела на западе, отправился туда, поближе к гробу своего мистического «предшественника» Генриха Птицелова. Правда, он хоть попытался через своего врача Гебгардта побудить Гитлера покинуть Берлин. Геринг просто убежал и вовсе не давал о себе знать.

Эрих Кох, благополучно выбравшись из Восточной Пруссии, прибыл в Берлин, явился к фюреру, но, разнюхав, что дела обстоят из рук вон плохо, пропал неизвестно куда. О нем, правда, и не вспоминали,— в конце концов это была мелкая сошка. Никто не вспоминал и об отбывшем на запад Роберте Лее, и о министре восточных территорий Альфреде Розенберге, не пожелавшем дождаться встречи с подопечными его ведомству жителями Востока. Генералы верховного командования Кейтель и Иодль, а также гросс-адмирал Дениц уехали из Берлина по приказу Гитлера, чтобы собрать силы для спасения столицы.

С Гитлером остались только двое из вожаков его государства: Геббельс и Борман. Они еще надеялись на возможность остановить русских под Берлином, а Геббельсом овладело фаталистическое равнодушие, пришедшее на смену животному страху. Он приготовил ампулы с ядом для себя и своей семьи и целыми часами просиживал в подвале, поминутно вздрагивая, как кролик.

Что касается самого Гитлера, то он метался, как затравленный.

В итоге двенадцати лет почти сплошных удач, головокружительных и вначале ему самому непонятных успехов им овладела мания величия. Он вполне уверовал в собственную гениальность и непогрешимость.

Одолеваемый мистической верой в свое всемогущество, он почти до последнего мгновения надеялся на то, что случится нечто такое, что должно сразу изменить положение вещей в его пользу.

Эта маниакальность в какой-то степени гипнотически действовала и на окружающих его отборных эсэсовцев и нацистов, приученных в течение двух десятков лет беспрекословно повиноваться ему. При всей безвыходности положения — впрочем, *всей* безвыходности они не знали — они иногда и сами заражались его бессмысленной надеждой на что-то сверхъестественное.

Эта взаимная мистификация, пошлая, как мелодрама, придавала жизни в подвалах рейхсканцелярии привкус постоянной истерии, принявшей особенно уродливые формы у этих толстых, отъевшихся эсэсовских боровов.

Иногда по вечерам, когда было тихо, Гитлеру казалось, что жизнь, история, время идут где-то там, наверху, над восьмиметровой бетонной кладкой убежища, и нужно пересидеть здесь тихо-тихо — и тогда все будет хорошо. Жизнь, время пройдут и сгинут, а он, Гитлер, снова выйдет наружу, где все осталось по-прежнему: русские у себя в России, американцы и англичане прогнаны на острова. Надо только пересидеть, обмануть время.

— Нет, — отвечал он коротко и отрывисто, когда ему предлагали покинуть убежище и уехать из Берлина для продолжения борьбы.

Ему было страшно выйти на свет божий, потому что в самой глубине души он все-таки сознавал, что все сломалось и сам он сломался. А здесь, в подвале, было темно и покойно, можно пересидеть, переждать, обмануть время.

Разрывы снарядов и бомб, еле слышные под землей, заставляли его вернуться к действительности, и надежды принимали более конкретную, уже не мистическую, а скорее клиническую форму: следует пересидеть, а в это время там, наверху, американцы столкнутся с русскими, и они перебьют друг друга, как воины Этцеля и бургундские князья. И тогда он, Гитлер, опять выйдет наружу, чтобы предписывать миру свою волю.

В коридорах бомбоубежища иногда бегали большие крысы, неизвестно каким образом пробравшиеся в помещение, несмотря на то что пол был весь устлан кафельными плитками.

Гитлер любил крыс, он подружился с ними еще во время

своего пребывания в тюрьме после мюнхенского путча и гордился этим, сравнивая себя с гаммельнским крысоловом.

Желание быть крысой охватило Гитлера однажды ночью, в минуту паники, когда русские, как ему доложили, форсировали Тельтов-канал. Но потом он со страхом подумал, что, обладая такой огромной силой воли, он и впрямь может стать крысой, и он начал шептать:

— Только на время, на неделю или две, не больше.

Последние дни он часто вспоминал своих врагов, чьи пророчества о его конечной гибели оказались, таким образом, обоснованными. Он еще раз переживал унизительные минуты первого свидания с Гинденбургом, когда престарелый фельдмаршал отказался передать ему, Гитлеру, исполнительную власть. Вспомнил он и Людендорфа, относившегося еще в Мюнхене к своему временному союзнику с плохо скрытым презрением генерала к ефрейтору. Будь эти старики живы, они бы теперь говорили: «Да, мы были правы в своих опасениях».

Он сжимал зубы, преисполненный обиды на весь мир и ненависти к своим врагам и друзьям, умершим, убитым и живым. Его мучила даже мысль о том, что сказали бы Бисмарк и Наполеон, будь они живы.

Мысль о торжестве русских приводила Гитлера в исступление. Он вскакивал с места и начинал быстро шагать по своему суженному до размеров крысиной норы государству. Он опять начинал бушевать, плакать, угрожать, обвинять всех и вся в поражении своей армии.

Он не желал понимать, как это его солдаты не могут остановить натиска Красной Армии! Почему сдаются города, объявленные им, Гитлером, крепостями? Почему пали Познань, Шнайдемюль, Кюстрин, Вена?

Он проклинал всех своих генералов, солдат и даже свою черную гвардию — толстомордых и преданных эсэсовцев. Он ненавидел в эти минуты немецкий народ лютой ненавистью.

Вечером молча входили генералы с кожаными папками, в которых лежали карты. Он враждебно косился на карты. Понемногу он возненавидел их, эти бумажные, гадко шуршащие полотнища с красными стрелами русских прорывов. «Не будь этих злосчастных карт,— думал он, уткнувшись в них,— и все было бы не так плохо, отвратительно и позорно». А красные стрелы все приближались к имперской столице, разрезая,

подобно ножам, дивизии и корпуса «моей армии» — говорил он раньше, теперь он говорил: «вашей армии».

Генералы молчали. А большевистские армии неуклонно приближались, и это были не просто армии, а большевистские, то есть носители той идеологии, которую Гитлер ненавидел всеми силами своей души, против которой боролся всю жизнь.

При малейшем намеке на какой-нибудь успех в нем опять просыпалась энергия; он сбрасывал с себя оцепенение, стягивал кожу между глазами в грозные складки, отрывисто ворочал головой вправо и влево, будто позируя своему давно сбежавшему фотографу Генриху Гофману, отдавал приказания, тут же отменял их, давал новые.

Решения его были до крайности немотивированны. Самое чудовищное в них, пожалуй, заключалось в том, что он потерял всякое реальное представление об истинном положении вещей. Он все еще играл в глубокомысленную стратегию, хотя был уже только кровожадным сутулым карликом, играющим в солдатики. Правда, солдатики эти проливали настоящую горячую кровь.

Например, он не разрешил вывезти из Прибалтики прижатые к морю корпуса 16-й и 18-й армий по той причине, что из-за этого Швеция-де может объявить войну Германии.

— Почему? — шептались между собой штабные офицеры.— Зачем Швеции вступать в войну?

— А если вступит, так что? — втихомолку удивлялись другие.— Что это может изменить?..

— Фюреру виднее,— успокаивали себя третьи, успокаивали по привычке, а сами тоже потихоньку удивлялись, разводили в темноте слабо освещенных коридоров руками и хватались за сердце.

Никто из этих отвыкших от дневного света людей не знал подлинного положения и считал, что наиболее полную информацию имеет фюрер. Да и говорить что-либо вслух не смели — вокруг Гитлера безотлучно находились верные ему люди и мордастые эсэсовцы из лейбштандарта «Адольф Гитлер».

Когда советские армии приблизились вплотную к Берлину, военные предложили отозвать войска правого фланга 9-й армии, дерущейся на Одере, для укрепления гарнизона столицы. Гит-

лер запретил; он сказал, что в ближайшие дни предпримет контрнаступление, которое отбросит русских за Одер.

— Контрнаступление?! — хватаясь за голову, шептались штабные офицеры в темных закоулках убежища.

Ему казалось, что все происходит по той причине, что он, Адольф Гитлер, не может сосредоточиться, не в состоянии сконцентрировать всю свою волю на одной мысли: нужно, нужно, нужно одержать победу. Если сосредоточиться и внушить ее, эту мысль, себе целиком, без остатка, вполне, все в мире станет на свое место.

И он уходил к себе в спальню, сжимался, конвульсивно уцепившись за ручки кресла, и глядел в стену.

Однако что-то вертелось в мозгу и вокруг, как досадная муха, что-то ускользало, расплывалось, отвлекало в сторону. Мешала чужая, могучая, независимая воля, разбивающая вдребезги все планы и расчеты. Она двигала вперед русские танковые клинья, брала штурмом немецкие города, отбрасывала, как мусор, отборные полки германской армии, с презрительным равнодушием не замечая сутулого человека с маленькими усиками приказчика, сидящего под восьмиметровой бетонной плитой в охваченном смятением городе Берлине.

## XX

Начальник личной охраны Гитлера бригадефюрер СС Монке ранним утром 22 апреля был вызван ко входу в убежище одним из охранников.

У подъезда стояли два оборванных и тощих человека. Один из них, с рукой, перевязанной грязным бинтом, увидев бригадефюрера, обрадованно закричал:

— Господин Монке!.. Наконец-то!

Монке, огромный, длиннорукий, уставился на незнакомца и довольно долго рассматривал его. Потом в водянистых глазках бригадефюрера промелькнуло выражение удивления, и он нерешительно сказал:

— Бюрке, вы?..

Бюрке печально покачал плешивой головой и ответил:

— Частично я. Весь мой жир остался за Одером.

Ах да! Они пришли оттуда... Монке что-то слышал о последнем специальном задании Бюрке на востоке.

Монке спросил:

— А это кто с вами?

— Один из моих,— сказал Бюрке.— Винкель. Не беспокойтесь, господин Монке, верный человек.

«Верного человека», как, впрочем, и самого Бюрке, эсэсовцы обыскали: таков был порядок, и обижаться не приходилось.

Потом оба пошли вслед за Монке, спустились по слабо освещенному коридору, выложенному желтым кафелем, как станция метро. Вдоль стен коридора чернели массивные железные двери, некоторые с надписями: «Канцелярия фюрера», «Перевязочная», «Командный пункт».

Повсюду стояли эсэсовцы с автоматами.

Монке остановился возле одной из дверей и, поднажав плечом, открыл ее. В небольшой комнате с низким потолком стояли два стола, в глубине были устроены четыре койки в два яруса, как в тюремной камере. На двух верхних спали люди.

Первое, что здесь заметили пришельцы из-за Одера, были бутылки с вином и горка бутербродов на одном из столов. Монке молча показал им на стулья и так же молча кивнул на стол с закусками. С жадностью проглотив несколько бутербродов и выпив вина, Бюрке рассказал бригадефюреру о своих приключениях. После провала агентуры на востоке они с Винкелем пошли на север в надежде на немецкий прорыв. Как известно, прорыв не удался, и они потом пошли обратно на юг, выдавая себя за поляков. Они долго отсиживались в лесу, голодали, бедствовали. Потом, это было с неделю назад, точной даты он не помнит, так как потерял в своих скитаниях счет времени,— они переплыли Одер. Когда они уже плыли по реке, русские их заметили, и они едва не погибли, но все же кое-как перебрались на другой берег и вскоре очутились в городе Шведт. Отсюда они пошли пешком, ехали на попутных машинах, чуть не попали в руки противника — польских войск, наступавших на этом участке. Выдавать себя тут за поляков уже было невозможно, и они просто скрывались в лесу, медленно продвигаясь на юго-запад.

Закончив свой рассказ, Бюрке спросил у молчавшего бригадефюрера:

— Как дела?

Монке покосился на Винкеля и начал что-то быстро шептать Бюрке на ухо. Позвонил телефон, и Монке ушел: его вызвали. Бюрке посидел минуту молча, потом сказал:

— Дела неважные.— И добавил уже совсем тихо, оглянувшись на спящих людей:— Зря мы сюда приперлись... А впрочем... Пей, Винкель.

Вскоре Монке вернулся в сопровождении других офицеров СС. Они поздоровались с Бюрке — почти со всеми он был знаком,— и Бюрке повторил свой рассказ.

Винкель глядел на эсэсовцев с трепетом. Все они выглядели как борцы-тяжеловесы. Притом он знал, что они приближенные самого фюрера, и это обстоятельство окружало их в глазах Винкеля таинственным и страшным ореолом.

Винкелю очень хотелось спать, и все дальнейшее он видел словно в тумане. Его с Бюрке куда-то повели, дали им военные мундиры. Они переоделись, потом опять их куда-то повели по темным коридорам. Наконец он очутился в большой комнате, почти сплошь уставленной койками в два яруса.

Как только Винкель улегся, сонливость исчезла. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть и без конца вспоминал события последних дней. Ему все казалось, что он плывет по темным водам Одера и вокруг посвистывают пули, врезаясь в воду. Потом он снова вспоминал, с каким радостным чувством приближался к Берлину и как был поражен, вступив в город. В Берлине Винкель не был с 1942 года, и за эти годы город претерпел ужасные перемены. Он почти весь был разрушен, забит обломками, у жителей были блуждающие глаза, и никто не ходил: все бегали, прячась в тени домов. Русские в это время уже начали обстреливать город из дальнобойной артиллерии. Бюрке и Винкелю несколько раз пришлось спускаться в бомбоубежища и в станции метро. Они молча слушали разговоры берлинцев, такие вольные, чуть ли не большевистские, что у Бюрке сжимались кулаки и глаза наливались кровью. Однако он сдерживал себя и только с ненавистью глядел из-под густых бровей на жителей столицы, бормоча:

— Всех вас перевешать...

Впрочем, теперь сам твердокаменный Бюрке без особого воодушевления говорил о национал-социалистских идеях. Он даже позволял себе непочтительные отзывы о руководителях, а однажды (правда, это было еще за Одером) выразил сомнение в военных талантах самого фюрера.

Он уже больше не обещал Винкелю железный крест.

В одном из бомбоубежищ на северо-восточной окраине Берлина, где-то в районе Вайсензее, укрывшиеся здесь жите-

ли столицы недвусмысленно говорили о неизбежности капитуляции.

— Кончать надо,— сказал высокий человек в кожаной куртке, с виду электромонтер или шофер.— Сопротивляться бессмысленно.

Женщины горячо поддержали его. В этом убежище оказались три русские девушки из тех, что были вывезены из России. Они сидели с суровыми лицами отдельно от других и молча смотрели на немцев. И вот к этим девушкам относились с такой предупредительностью, что Бюрке опять сжал кулаки. Им предлагали еду, и какая-то женщина даже отдала свое одеяло: девушки были плохо одеты, а в убежище текло со стен. Бюрке что-то ворчал себе под нос.

Вскоре в подвал вошли несколько эсэсовцев и с ними десяток щуплых подростков из «гитлерюгенд», одетых в солдатские мундиры, которые были слишком велики для этих тощих детских тел. Все в подвале сразу же замолчали. Но когда утих артобстрел и эсэсовцы с малышами пошли к выходу, в тишине подвала раздался низкий женский голос, явственно произнесший:

— Детоубийцы!

Винкель мог бы поклясться, что эсэсовцы слышали этот возглас. Но они притворились, что не слышат, и только ускорили шаг.

Бюрке и Винкель медленно шли все дальше к центру и, миновав длинную Грайфсвальдерштрассе, через совершенно разрушенный Александерплац вышли к Шпрее, прошли по Курфюрстенскому мосту, потом по Шлейзенскому мосту миновали канал Купферграбен. Здесь они долго блуждали по разрушенным переулкам, которые невозможно было узнать, наконец, пересидев еще раза два в убежищах по случаю налетов советской авиации, вышли на Вильгельмплац.

Гостиница «Кайзерхоф», та самая, где фюрер жил до своего прихода к власти, о чем прожужжали уши детям во всех немецких школах, зияла темными окнами, за которыми виднелись кучи щебня и ребра кроватей.

В сквере стояли зенитные пушки, укрывшись в густой зелени возле статуй полководцев Фридриха Второго.

Обогнув сквер, путники увидели новую рейхсканцелярию.

Лежа на жесткой койке в подземных казармах лейбштандарта «Адольф Гитлер», Винкель думал о том, что, оказавшись

таким странным образом среди самых приближенных к Гитлеру людей, он мог бы, вероятно, рассчитывать на крупную карьеру, но, в отличие от здешних эсэсовцев, деморализованных подземным сидением и надеющихся неизвестно на что, Винкель слишком много видел за последние недели, чтобы питать хоть искру надежды на возможность спасения гитлеровского государства.

Вскоре Винкель уснул и проспал около двадцати часов кряду. Его разбудило сильное сотрясение. Он вскочил с койки и прислушался. Русские снаряды падали где-то поблизости.

В соседней комнате эсэсовцы пили водку. Видимо, произошло что-то серьезное, эсэсовцы взволнованно галдели. Все объяснил прибежавший Бюрке, который тоже был очень взволнован. На южных подступах Берлина неожиданно появились неизвестно откуда взявшиеся крупные соединения советских танков. В связи с этим генеральный штаб сухопутных войск спешно покинул свои подземные квартиры возле городка Цоссен и прибыл сюда, в бомбоубежище.

Бои шли также на восточных и северных окраинах, уже в городской черте.

Бюрке теперь помогал бригадефюреру Монке в формировании добровольческого корпуса «Адольф Гитлер», задача которого состояла в обороне рейхсканцелярии на случай, если русские прорвутся через другие оборонительные участки.

Бюрке был одет в новую форму и внешне выглядел почти таким же бравым воякой, как тогда, в городе Зольдин. Он получил вчера от самого Гитлера звание «оберштурмбанфюрера», о чем сообщил Винкелю с довольным видом. Но Винкель уже хорошо знал эсэсовца и не мог не заметить в его маленьких глазках выражения загнанности.

Бюрке сказал, что Винкелю будет дана «почетная возможность» (сам Бюрке усмехнулся при этом) командовать ротой добровольческого корпуса.

Пока что Винкель сидел без дела. Потом его внезапно вызвали к начальнику генерального штаба сухопутных войск генералу пехоты Кребсу.

«Генеральный штаб» помещался в двух клетушках за такими же тяжелыми металлическими дверьми, как и все клетушки бомбоубежища.

Здесь в кресле сидел невысокий толстый генерал с небритым и помятым лицом. Это и был Кребс. Рядом у телефона что-то писали три офицера.

Кребс, узнав, что в бомбоубежище находится разведчик, прибывший с востока, решил расспросить его. Он спросил, собираются ли русские наступать южнее Штеттина.

Винкель ответил, что, по всей видимости, собираются. Там, на Одере, стоит много войск, и по дорогам к Одеру подходят все новые. Слышал он там и гудение танков. Их, должно быть, очень много. Кребс слушал его рассеянно и как будто без всякого интереса.

Вошедший эсэсовец сказал:

— Господин генерал, вас вызывает фюрер.

Генерал застегнул мундир и вышел.

Офицеры за соседним столом беспрерывно разговаривали по телефону. Из их разговоров Винкель понял, что дела ухудшились. На магистрали «Ост-Вест» появились русские конные разведчики. Механизированный отряд русских разведчиков проник в Кладов.

— Нас отрезают,— сказал один из офицеров.

Другой офицер по другому телефону запрашивал об обстановке в Берлине.

Все сведения о продвижении русских войск в Берлине генеральный штаб германской армии получал теперь довольно своеобразным способом. Офицер листал берлинский телефонный справочник, набирал номер какого-нибудь телефона и говорил:

— Фрау Мюллер? Извините... Вы живете в Штеглице? Не будете ли вы любезны сообщить: русские уже были у вас?

Следовал ответ:

— Нет, не были, но говорят, что они близко, у Тельтов-канала. Соседка, фрау Кранцх, пришла с Седанштрассе, там живет ее свекровь... Русские там были. А кто спрашивает?

Офицер клал трубку — ему стыдно было сообщить фрау Мюллер, что спрашивает генеральный штаб,— заносил данные свекрови фрау Кранцх на карту и отыскивал новый подходящий номер в каком-нибудь другом интересующем штаб районе столицы.

Из телефона в районе Пренцлауэрберг ответил мужской голос:

— Алло!

Офицер задал свой вопрос и вдруг испуганно бросил трубку, словно обжегся.

— Русский,— сказал он шепотом.

— Чего же вы так испугались? — усмехнулся второй офицер.— По телефону не стреляют.

Вскоре генерал вернулся. Он был не один: с ним вместе пришел другой генерал, тоже толстый, но высокий. Оба были бледны.

— Ну, что поделаешь? — развел руками Кребс.— Скажи ему хоть ты, Бургдорф...

Бургдорф молчал.

— Мы оказались в огромном котле,— продолжал Кребс.— Все пути отрезаны.

Вечером прибыли сведения о переходе в наступление советских войск южнее Штеттина. Русским удалось форсировать Одер на широком фронте, их танковые части продвинулись на несколько десятков километров.

Этим же вечером Винкель впервые услышал имя «Венк». В подземных помещениях Тиргартена, куда Винкеля привел Бюрке, он услышал тревожный и потом бесконечно повторяющийся вопрос:

— Есть что-нибудь от Венка?

## XXI

Венк, генерал бронетанковых войск, командовавший 12-й резервной армией в районе Магдебурга, получил приказ Гитлера открыть американцам фронт и двигаться на выручку столице. Вся рейхсканцелярия думала о Венке и говорила только о нем. Никогда ни один генерал не был здесь так популярен, как этот, дотоле мало кому известный Венк.

Преисполнился надеждой и сам Гитлер. Походка его стала увереннее, в глазах появился блеск. Местоимение «я» опять стало ведущей частью речи в его разговоре: «Я не могу покинуть мою столицу», «Я решил остаться здесь», «Я отстою Европу».

Он опять распекал генералов, посылал радиограммы в Рехлин, Фленсбург и Берхтесгаден, Кейтелю и Иодлю, Деницу и Гиммлеру.

Однажды утром напомнил о себе Геринг. Рейхсмаршал прислал радиограмму, в которой предлагал Гитлеру передать ему, Герингу, высшую власть, ввиду того что сам Гитлер уже не в состоянии осуществлять ее.

Прочитав эту радиограмму, Гитлер расплакался, упал на кровать в жестокой истерике и, наконец, немного успокоившись, передал по радио приказ арестовать Геринга и в случае смерти его, Гитлера, удавить рейхсмаршала немедленно.

Довершил удар Гиммлер, который, как сообщили в тот же день, начал самовольно вести переговоры с англо-американцами о капитуляции.

Гитлер впал в состояние прострации и не покончил самоубийством только потому, что надеялся на Венка: как только придет Венк и русские будут отброшены за Одер, он, Гитлер, прикажет казнить изменников — казнить медленной, страшной казнью.

Ужас от того, что кто-то его переживет, растравлял рану этой низменной души. Он много бы дал за то, чтобы все погибло вместе с ним, и мысль о том, что кто-то останется жить на земле после его смерти, была ему невыносима.

Но на следующий день после всех этих потрясений прибыла наконец радиограмма от Венка. 12-я армия подошла к озеру Швиловзее и заняла населенный пункт Ферх на берегу этого озера, южнее Потсдама.

Получив это сообщение, Гитлер, несмотря на осторожные предупреждения Кребса и Бургдорфа о слабости 12-й армии, преисполнился полной и безраздельной уверенности в будущем.

Он удалился в свою спальню, чтобы в тишине обдумать, чем наградить Венка. Пожалуй, следует переименовать Фоссштрассе, где помещалась рейхсканцелярия в Венкштрассе. А что такое «Фосс»? Он смутно помнил это слово, но никак не мог сообразить, что или кого оно обозначало. Он заглянул в энциклопедию, стоявшую в книжном шкафу, но тома на «V» не было.

Эсэсовцы забегали по коридорам с вопросом:

— Кто такой Фосс?

Кое-кто помнил это имя со школьных времен, но смутно. Решили запросить Геббельса. Он, обеспокоенный, пришел к фюреру. Геббельс был бледен, отощал еще больше. Его нечесаные волосы торчали хохолком. Длинные губы были крепко сжаты: приближение русских закрыло наглухо этот фонтан.

— Фосс? — переспросил он, удивленный.— А, Фосс!.. Переводчик Гомера... Да, да, Иоганн-Генрих Фосс...

Геббельс ушел, а Гитлер опять продолжал думать о том, чем отличить Венка.

«Это очень важный вопрос,— твердил он себе,— очень важный. Нужно его решить немедленно».

Нет, пусть переводчик Гомера останется. Культуру не следует унижать — это неуместно теперь.

Да! Тут рядом Герман-Герингштрассе! Она раньше называлась Кениггрецер — в честь победы Пруссии над Австрией при Кениггреце. Вот ее и нужно переименовать. Пусть даже памяти не останется об этой жирной свинье, об этом тряпичном рейхсмаршале.

Звание рейхсмаршала Гитлер решил присвоить Венку. Потом он надумал учредить новое звание — «спаситель империи» — и тут же усомнился: не слишком ли много для Венка и не умалит ли это роль тех... да, да, тех, кто остался в Берлине в такой невероятно трудный момент?!

Пожалуй, лучше: «герой империи».

Мощный налет советской артиллерии по соседству с рейхсканцелярией потряс бомбоубежище до основания. Все задрожало. С потолков посыпалась известка. Вентиляторы вместо воздуха стали накачивать в подземные помещения щебень и едкую пыль. Связь с городом порвалась. Русские достигли Вильгельмштрассе.

«Спаситель империи» будет, пожалуй, правильнее, и ничего страшного, если Венк получит это звание. В конце концов он не политик, а военный.

Орденский знак такой: золотой крест с дубовыми и лавровыми листьями, на золотой цепи. От изображения свастики можно даже отказаться: это успокоит великие западные державы. Амнистия оставшимся в живых евреям и создание благоустроенного гетто для них. Американо-европейское экономическое общество по эксплуатации ресурсов восточных территорий — нечто вроде старой Ост-Индской компании, наполовину частновладельческой, наполовину правительственной, с большими полномочиями и крупным капиталом. Полицейские функции возьмет на себя Германия, в крайнем случае совместно с Англией. Америка получает контрольный пакет акций.

Он стал набрасывать на бумаге — недаром же он считал себя художником! — новые орденские знаки.

Артналет вскоре прекратился. Русские гвардейцы были остановлены в километре от рейхсканцелярии.

Потом пришли штабные с докладом. Гитлер выслушал их и отдал наконец распоряжение 9-й армии оставить свои позиции

и срочно идти на соединение с армией Венка. При этом он решил, что «спаситель империи» — все-таки слишком много, и окончательно остановился на «герое империи».

Вскоре прилетел на самолете назначенный на место Геринга новый главнокомандующий авиации — генерал-полковник Риттер фон Грайм. Гитлер произвел его в фельдмаршалы, приказал улететь обратно и организовать поддержку Венка с воздуха.

Главнокомандующий германской авиации улетел на самолете «Физелер-Шторх», поднявшись по Шарлоттенбургскому шоссе. Аэродромов в Берлине уже не было: Темпельгоф заняли русские гвардейцы, Нидер-Нойендорф, Дальгов и Гатов тоже были в руках русских.

— Ничего, скоро придет Венк,— говорили повсюду воспрянувшие духом эсэсовцы.

— Он уже возле Потсдама! — ликовали они.— Возле Потсдама!..

## XXII

Город Потсдам находится в восточной части полуострова, образуемого довольно причудливой системой реки Хавель и различных озер, число которых доходит до дюжины. Извилистая Хавель огибает его с юга и уходит в северо-западном направлении. С севера этот своеобразный полуостров перерезан каналом, идущим от озера Шлениц до Фарландского озера, которое в свою очередь соединяется проливом с озерами Крампниц, Лениц и Юнгфернзее. Таким образом, Потсдам отделен от окружающей местности сплошной водной преградой.

Город Потсдам издавна является символом прусской армии и старопрусской бюрократии. Его некогда сделал своей резиденцией прусский король Фридрих-Вильгельм I, царствовавший в первой половине XVIII века. Сын его, Фридрих II, прозванный Великим, построил в Потсдаме дворцы в подражание версальским.

Оба короля погребены в гарнизонной церкви, славящейся мелодичным колокольным звоном.

Двадцать первого марта 1933 года в этой самой гарнизонной церкви перед гробом прусских королей Гитлер открыл после своего прихода к власти новый национал-социалистский рейхстаг. Он подчеркнул, таким образом, преемственность «третьей

империи» по отношению к старопрусскому военно-бюрократическому государству.

Все эти сведения сообщил Тарасу Петровичу полковник Плотников и тем самым пролил некоторый бальзам на душу генерала, которому хотелось участвовать во взятии Берлина, а не какого-то жалкого Потсдама.

Получив приказ о взятии Потсдама, генерал Середа вместе с Лубенцовым и другими офицерами выехал на рекогносцировку в селение Ной-Фарланд, расположенное меж двух озер, в живописной местности. Отсюда всего выгоднее было переправиться на полуостров, так как пролив, соединяющий Фарландерзее и Леницзее, был сравнительно узок.

Но это обстоятельство было известно и немцам. Лубенцов, понаблюдав за деревней Недлиц, расположенной на противоположном берегу пролива, и за ипподромом западней Недлица, обнаружил довольно внушительные укрепления и заметил оживленное движение немецких солдат и артиллерии.

Он доложил комдиву об этом и добавил, что немцы, несомненно, окажут серьезное сопротивление при переправе.

Генерал, подумав мгновение, прищурил глаза и сказал:

— А мы их околпачим.

Он приказал начальнику штаба отдать распоряжение об оставлении на этом рубеже одного только батальона с задачей демонстрировать подготовку к переправе.

— Пусть делают как можно больше шуму,— сказал генерал.— Пусть деревья рубят, пуляют в воздух, пусть суетятся у берега и, главное, орут...

Генерал сам проинструктировал на этот счет командира батальона.

Комбат оказался тем самым здоровяком, который «сроду не болел». К двум орденам Красного Знамени на его широченной груди прибавился еще один, третий.

— Нашумим, товарищ генерал, не беспокойтесь! — гаркнул комбат.

Генерал улыбнулся: этот нашумит!

С наступлением темноты полки ускоренным маршем пошли по Потсдамскому лесу и в полночь сосредоточились на берегу озера Юнгфернзее, как раз напротив северной окраины Потсдама. Прибыл выделенный в помощь дивизии специальный батальон автомашин-амфибий. На эти машины погрузился батальон майора Весельчакова. Генерал, стоя на берегу, следил

за солдатами и прислушивался к всплескам воды. На северо-западе царил страшный шум и гремела стрельба: то орудовал здоровяк комбат со своими людьми.

Здесь все было тихо, только плескалась вода и глухо подвывали моторы машин. Гул моторов все отдалялся. Ничего не было видно на озере. Наконец до слуха генерала донеслась редкая стрельба. Видимо, Весельчаков уже вступил в бой, а генерал ничего не мог пока сделать, чтобы ему помочь. Другие батальоны начали грузиться в плавучие понтоны и плашкоуты. Вода заколебалась от толчков спускаемых в воду плотов. Спешно грузили на плашкоуты противотанковые пушки.

Генерал прислушался. На темной глади озера раздался рев моторов,— то возвращались амфибии. Стрельба на противоположном берегу становилась все ожесточеннее.

Темноту наконец прорезали красные ракеты, возвестившие о том, что первому батальону удалось закрепиться. Спустя полчаса к небу поднялся целый фейерверк зеленых ракет. Еще два батальона вступили на противоположный берег.

Генерала больше всего заботила артиллерия. Белых ракет все еще не было. Наконец и они взмыли к небу, и тогда генерал сказал:

— Поехали и мы.

Он спустился к самому берегу, к понтону, ожидавшему его.

Поплыли. Вокруг взмывали зелеными и красными звездочками ракеты. Загремела артиллерия.

— Наконец-то! — прошептал генерал.

Огненные вспышки появлялись то здесь, то там. Заработала и артиллерия противника. Понтон генерала врезался в берег одновременно с двумя другими. Солдаты, еще не добравшись до суши, спрыгивали в воду и бежали по колено в воде к берегу.

Когда рассвело, плацдарм, завоеванный у северных окраин города, уже простирался на три километра в глубину. Комдив приказал наступать на город. Сам он пошел к замку, на одной из башен которого Лубенцов устроил наблюдательный пункт.

Становилось все светлее. Из окошка башни гвардии майор следил за ходом боя. Дивизия пробивалась вперед по густо усеянной фольварками, виллами, оранжереями и садами местности. Левый фланг продвигался вдоль берега озера Хейлигерзее и вскоре, одолев парковые постройки и захватив Мраморный дворец, ворвался в город на Мольткештрассе. Правофланговый полк стремительным ударом сбросил гитлеровцев с выгодной

позиции на горе Пфингстберг и захватил гарнизонный лазарет и уланские казармы севернее города. Таким образом, немецкие части, защищавшие Потсдам, были разъединены вбитым между ними клином. Здоровяк комбат, воспользовавшись тем, что части противника, стоявшие против него на берегу пролива, были оттянуты на юг, переправил свой батальон на подручных средствах и ударил с севера.

Вражеская оборона была полностью дезорганизована, и в час дня полк Четверикова уже вел бои в центре города. Захватив Вильгельмплац и форсировав канал, войска вырвались к другой площади, как раз той самой, где помещалась гарнизонная церковь.

Солдаты, впрочем, обратили мало внимания на эту церковь, как и на другие многочисленные церкви и дворцы города. Война еще продолжалась, неприятельские фаустники, засевшие в домах, еще огрызались.

Стрельба прекратилась только к вечеру, и комдив продиктовал донесение о взятии Потсдама. Полковник Плотников решил проехаться по городу: ему было любопытно посмотреть на исторические места прусской резиденции. Он захватил с собой Мещерского. Побывав во всех полках, Плотников отдал распоряжение о том, чтобы была организована охрана всех исторических памятников, в частности дворца Сан-Суси и Нового дворца.

Возле разрушенного городского замка, стоявшего на берегу Хавеля, находилась площадь Парадов, та самая, по которой мимо Фридриха когда-то проходили гусиным шагом прусские солдаты с косичками. По Брайтештрассе выехали к гарнизонной церкви. Знаменитый колокол ее валялся в щебне на развороченной мостовой, сбитый разрывом бомбы. Внутри церкви было тихо и темно. Вслед за Плотниковым и Мещерским сюда вскоре зашел старик немец в высокой шляпе. Он предложил русским офицерам ознакомить их с достопримечательностями церкви и, если они пожелают, всего города.

Плотников согласился было на эту экскурсию, как вдруг где-то неподалеку загремели выстрелы и загрохотали минометы. На улицах города поднялась тревога. Из домов выбегали строиться солдаты.

Полковник тревожно переглянулся с Мещерским. Город Потсдам сразу же перестал существовать для них как средоточие различных исторических достопримечательностей — он

сразу же превратился в *населенный пункт,* на окраине которого части дивизии ведут бой.

Сели в машину и помчались в штаб дивизии. Здесь еще толком ничего не было известно. Комдива они не застали: он минут десять назад спешно выехал вместе с Лубенцовым и подполковником Сизых к югу, откуда доносилась сильнейшая пулеметная стрельба. Несомненно, там происходил настоящий бой.

Плотников с Мещерским немедленно отправились вслед за комдивом. Машина обгоняла спешащую в том же направлении пехоту и дивизионную артиллерию.

Комдив обосновался на станции Вильдпарк. Он сидел у телефона в помещении какого-то изящного павильона, который, однако, за короткое время приобрел тот давно знакомый облик и даже запах наблюдательного пункта, который всюду одинаков.

— Ну, уважаемые туристы,— усмехнулся Тарас Петрович при виде встревоженного Плотникова,— осмотрели все дворцы прусских королей? Безобразники-фашисты не дают возможности культурно провести время...

Из района деревни Гельтов, расположенной южнее Потсдама, полчаса назад появились группы вооруженных немецких солдат, завязавшие бой с полевыми караулами полка Четверикова.

Никто — ни генерал Середа, ни Лубенцов, ни Чохов — еще пока не знали, что в этот момент их путь скрестился с путем Гитлера: из Гельтова пытались прорваться передовые отряды 12-й армии генерала бронетанковых войск Венка, спешащие на выручку фюреру. Под напором наших батальонов они теперь медленно, с боями, отходили обратно к Гельтову.

Мещерский, узнав, что гвардии майор с разведчиками ушел вперед, тотчас же пустился вслед за ним.

В большом лесу — вернее, парке — южнее Потсдама все кишело солдатами. Стрельба то затихала, то снова усиливалась.

На опушке леса Мещерский остановился. Вдали пестрели крыши Гельтова. По зеленой равнине к деревне медленно двигались цепи советских солдат. С ожесточением стреляли пулеметы. То тут, то там взлетали вверх клубы дыма и пыли, похожие на вырастающие на мгновение из земли черные деревья.

Затем слышался звук взрыва. Это немцы, отброшенные к Гельтову, обстреливали оттуда равнину из минометов.

На холме, у опушки, Мещерский увидел Четверикова, Мигаева и других офицеров полка. Четвериков, широко расставив кривые ноги, глядел вперед в бинокль.

— Первый и третий батальоны ворвались на окраину,— сообщил снизу из окопчика телефонист.

Мигаев сказал Мещерскому, что гвардии майор только что был тут и ушел вперед.

Мещерский очень сердился на себя за то, что увлекся осмотром сооружений Потсдама и в нужную минуту не оказался на месте.

— Как нехорошо! — укоризненно бормотал он.

Действительно, он нашел разведчиков лишь тогда, когда бой был уже закончен. Немецкие солдаты на лодках и вплавь удирали обратно через Хавель и озеро Швиловзее.

Гвардии майор стоял на берегу Хавеля и глядел в бинокль на противоположный берег, где находился городок со странным, многозначительным названием: Капут. Рядом с Лубенцовым молча курили капитан Чохов и майор Весельчаков. Вокруг расположились на отдых пехотинцы и разведчики.

— Что-то слишком быстро они удрали,— задумчиво сказал Лубенцов, опуская бинокль.— Минометы бросили...

Вскоре бегство немцев объяснилось. С противоположного берега донеслось прерывистое гудение многих моторов. Несколько минут спустя на прямых улицах Капута появились танки с красными флагами на башнях. Один танк вырвался к самому берегу и остановился как раз против того места, где по другую сторону узкого пролива стояли Лубенцов, Чохов, Весельчаков и Мещерский.

Танкисты, видимо, заметили их. Люк танка открылся, оттуда показалась голова в шлеме. Танкист начал внимательно вглядываться в противоположный берег.

Лубенцов сложил ладони трубкой у рта и громко крикнул:

— Здорово, ребята-а-а!..

— Здорово-о-о!.. — донеслось с другого берега.

— Откуда, ребята-а-а?..

— Первый Украинский, ребята-а!.. А вы-ы-ы?..

— Первый Белорусский-и-ий! — крикнул Лубенцов.

Танкист помахал рукой в знак приветствия, потом сообщил:

— Даю салют!

И танк, содрогнувшись, выстрелил в воздух. Оглушительное эхо пронеслось над лесами, озерами, реками.

— Берлин в мешке,— сказал Лубенцов.— Надо доложить комдиву.

Двенадцатая армия генерала Венка, бросая оружие, бежала на юго-запад. В последующие два дня она растаяла, как дым.

## XXIII

Утром 1 мая Лубенцов решил наконец поехать к Тане.

Улицы Потсдама были в этот день особенно оживлены. Всюду висели красные знамена и происходили митинги.

У советской комендатуры стоял огромный хвост немцев и немок, которые пришли сюда, согласно приказу советского командования, сдавать оружие. Немцы стояли чинно, держа в руках охотничьи ружья немножко в отдалении от себя, чтобы никто не заподозрил их в нежелании разоружиться.

Солнце светило особенно ярко сегодня.

Дивизия полковника Воробьева находилась в Шпандау, и Лубенцов в сопровождении своего ординарца отправился туда.

Переехав через канал, Лубенцов окунулся в гул и грохот больших дорог.

Опять шагали во всех направлениях люди всех национальностей. Опять двигались на велосипедах, в повозках и пешком пестрые, кочующие таборы освобожденных людей. Развеселым строем шли бывшие военнопленные союзных армий: французские, бельгийские, голландские и норвежские солдаты в обтрепанных за время плена мундирах.

На огромных помещичьих фурах, размером с добрый автобус, среди светловолосых англичан белели чалмы колониальных солдат, пестрели гофрированные юбочки шотландских гвардейцев. Среди бледных лиц освобожденных из тюрем американских летчиков мелькали черные лица негров. Американцы в этот момент ликования и всесветного равенства не гнушались близким соседством потомков дяди Тома. Наоборот, на виду у проходящей мимо советской силы американцы и англичане демонстративно обнимали своих негритянских и индийских соратников, и цветнокожие улыбались, скаля белоснежные зубы и думая, вероятно, что так уже будет всегда.

На перекрестке дорог в большой деревне стоял Оганесян, которого политотдел мобилизовал для разъяснения союзникам приказов советского командования насчет пути их следования.

Рука Оганесяна ныла от тысяч пожатий. Все звездочки на его погонах, не говоря уже о звездочке на пилотке, перешли во владение освобожденных военнопленных — американцев и англичан, настойчиво требовавших что-нибудь «на память». Он еле спас свой орден Красной Звезды от одного американца, особенного любителя сувениров.

— Вы видите? — спросил Оганесян, горячо пожимая руку гвардии майора.— Тут нужен Суриков или Репин! Меньше никак нельзя!.. А вы куда?

Лубенцов пробормотал что-то неопределенное и поспешил проститься.

Чем ближе подъезжал Лубенцов к Шпандау, тем тревожнее становилось у него на душе. Перед самым городом он так струсил, что чуть было не повернул обратно. Он остановил коня и посмотрел на Каблукова.

— Собственно, надо было бы передать Антонюку...— пробормотал Лубенцов, но что такое следовало передать Антонюку, он не сказал по той простой причине, что передавать было нечего.

Наконец он отпустил поводья, и Орлик поскакал дальше. Миновали военную дорогу «Ост-Вест» и въехали на западную окраину Шпандау, где в одном из домов у железной дороги находился штаб дивизии.

Здесь была хорошо слышна артиллерийская канонада, доносящаяся из Берлина. Горизонт над Берлином пылал. То и дело показывались в небе советские самолеты, летевшие бомбить последние очаги сопротивления в столице Германии.

В штабе дивизии Лубенцов пробыл два часа. Он подробно ознакомился с обстановкой на этом участке, нанес все данные на карту для доклада своему комдиву и все медлил, никак не решался спросить, где расположен медсанбат.

Гвардии майора выручил командир дивизии полковник Воробьев. Увидев разведчика, он сказал:

— А-а, посол от Тараса Петровича! Ну, что у вас нового?

Лубенцов рассказал о неприятельских дивизиях южнее Потсдама, шедших в Берлин выручать Гитлера.

Воробьев удивился:

— Значит, он все-таки в Берлине? Видно, совсем уже некуда податься сукиному сыну!

— Что это у вас? — спросил Лубенцов, заметив перевязанную руку комдива.

— Ранило под Альтдаммом. Уже заживает. Я только что приехал с последней перевязки из Фалькенхагена.

Лубенцов попрощался и поскакал в Фалькенхаген. По дороге он несколько раз замечал на войсковых указателях красный крестик с надписью: «Хозяйство Рутковского». Значит, он ехал правильно. В Фалькенхаген он прибыл, когда уже стало темнеть.

Возле домов, где расположился медсанбат, Лубенцов остановил коня, соскочил, постоял минуту и сказал Каблукову:

— Подожди меня здесь.

Он направился к дому, помедлил у входа. Наконец он решительно поднялся на крыльцо и вошел. В первой комнате никого не было. Он постучался в какую-то дверь. Женский голос за дверью спросил:

— Кто там?

Лубенцов ответил:

— Вы не скажете мне, где Кольцова?

Тот же голос негромко спросил у кого-то:

— Не знаете, где Татьяна Владимировна?

Лоб Лубенцова покрылся испариной.

— В операционной, наверно,— послышался ответ.

— Нет,— сказал первый голос,— все раненые уже обработаны... Она у себя.

Дверь приотворилась, и к Лубенцову вышла высокогрудая брюнетка с очень черными, чуть раскосыми глазами. Из окон падал предвечерний свет. Лубенцов еще мог разглядеть ее лицо. Она же видела его плохо: он стоял спиной к окнам. Пристально глядя на него, она спросила:

— А зачем вам нужна Кольцова? Кажется, вы не ранены...

Ее голос звучал не слишком любезно.

Лубенцов сказал:

— Да, я не ранен. Мне нужно повидать ее по другому поводу.

— Что? — отрывисто спросила женщина.— Аппендицит? Грыжа?

В эту минуту тихонько раскрылась дверь с улицы, кто-то вошел, и Лубенцов совершенно отчетливо почувствовал, что это вошла Таня.

Женщина с раскосыми глазами сказала:

— Тебя тут спрашивают.

Тогда Лубенцов обернулся. Лица Тани он не увидел, но увидел ее силуэт на фоне открытой двери.

Он глухо произнес:

— Это я, Таня. Здравствуйте.

— Кто? — спросила Таня и слабо вскрикнула.

Потом вдруг стало светло,— женщина из соседней комнаты принесла лампу. Свет лампы осветил лицо Тани, белое, как бумага.

Потом оба вышли на улицу. На восточном горизонте полыхало пламя, где-то ухали орудия, но Лубенцов и Таня не слышали и не видели ничего. Потом в небе появился узкий желтый ноготок молодой луны, и луну они заметили и остановились.

— Это вы? — спросила Таня и, вглядываясь в его лицо, несколько раз повторила этот вопрос, потом сказала: — Какое счастье, что вы живы! Вам, наверное, нужно уже уезжать, у вас так много дела... Мне страшно вас отпускать, чтобы вы опять не... Какая я глупая, я говорю — опять... Я никак не могу привыкнуть к тому, что вы живы. Вы были ранены, да?

Все это она произнесла быстро и бессвязно.

— Идемте куда-нибудь в темное место,— сказала она бесстрашно, она не желала теперь считаться с условностями,— я вас поцелую.

Они зашли за ближайший дом, она обняла его и поцеловала.

— Как мне вас называть? — сказала она, когда они вышли из-за дома.— Я ведь вас никогда никак не называла. Тогда, под Москвой,— «товарищ лейтенант», а при нашей последней встрече в Германии — «товарищ майор». Буду вас называть Сергеем,— ведь вы меня зовете Таней... Ничего не говорите. Я боюсь, вы скажете что-нибудь неподходящее. Это счастье, что мы встретились,— и все. Вообразим на минуту, что войны уже нет и мы просто гуляем по бульвару в Москве. Ох, как хочется уже увидеть нормальных детей, пускающих по лужам кораблики, играющих песочком!.. Знаете, когда я узнала, что вы погибли, я подумала, что доля вины лежит и на мне тоже.

Вам сказали что-то плохое обо мне... Да, да, я знаю. И мне казалось, что вы от обиды пошли в огонь. Конечно, это было глупо, но я так думала.

Мимо них медленно проезжали повозки, не спеша шли солдаты. И так как все были счастливы в преддверии мира, люди смотрели на влюбленных затуманенными и мечтательными глазами, от души желая им радостной мирной жизни.

— Меня ординарец с лошадьми ждет,— вспомнил наконец Лубенцов, и они пошли обратно в Фалькенхаген.

Каблуков с конями находился на том же месте.

— Сейчас будем чай пить,— сказала Таня.— Лошадей мы устроим у меня во дворе, там какие-то сараи стоят.

Каблуков вопросительно глянул на гвардии майора, но тот смотрел не на него, а на эту женщину. Она пошла вперед, и Каблуков повел лошадей следом. Возле одного дома она остановилась, сама открыла ворота, сказала:

— Вот здесь. Здесь я живу.

Вместе с Лубенцовым она вошла в дом. Навстречу им вышла хозяйка, старушка немка с тонким лицом, в очках, показавшаяся Лубенцову очень милой, гостеприимной старушкой.

Таня вышла вместе с ней в другую комнату. Потом она вернулась, накрыла стол, принесла черного армейского хлеба и мясные консервы. Хозяйка заварила чай. Сдержанное волнение Тани как-то передалось и ей, и старушка суетилась вокруг стола, что-то быстро-быстро бормоча себе под нос. Когда она ушла, Таня вышла во двор и позвала Каблукова. Все уселись за стол, но ел один Каблуков, а перед Таней и Лубенцовым стояли стаканы с чаем, но они не пили и не ели, а только глядели друг на друга.

Кто-то постучал в дверь. Просунулась женская головка. Медсестра якобы явилась к Тане по делу, но и Таня и Лубенцов поняли, что она пришла сюда из любопытства, и сама она поняла, что они это поняли. Сестричка что-то говорила краснея, но Таня вряд ли уразумела, в чем заключалась просьба.

Медсестра ушла, а через некоторое время в комнату заглянула другая женская головка. И у этой девушки нашелся какой-то повод, чтобы сюда прийти.

Каблуков встал, поблагодарил за угощение и сказал, что ему надо идти накормить и напоить коней. Таня тоже вскочила и сказала, что она пойдет попросит хозяйку, чтобы та раздобыла

сена. Но Каблуков сказал, что он сам попросит. Таня предложила ему показать, где находится вода, но Каблуков сказал, что он сам узнает, и вышел. Таня села и начала что-то говорить о том, что сено у хозяйки есть. Таня сама видела сено во дворе.

А Лубенцову все было ясно — все, что происходило с ней и с ним самим, и он в каждом слове и в каждом жесте своем, Танином и всех людей все понимал до самой глубины и, как ясновидящий, безошибочно читал чужие мысли.

Потом постучался и вошел еще кто-то, но Лубенцов не досадовал на это, он даже не посмотрел на вошедшего, он глядел на Таню и удивлялся необыкновенному свету, который излучали ее огромные серые глаза.

А это вошла Глаша. Она сразу же узнала гвардии майора, который часто бывал у Весельчакова в батальоне. Она сказала с виноватой миной:

— Ах, Татьяна Владимировна, простите меня, дуру несусветную! Совсем не думала я, что гвардии майор вам знакомый. Я же знала, что гвардии майор живой остался... Я почти всем сестрам рассказывала про тот случай, как гвардии майор пробыл три дня посреди немцев в городе и потом помог нашему батальону продвинуться...— Помолчав и помявшись с минуту, она тихо спросила: — Не знаете, товарищ гвардии майор, мой Весельчаков что? Живой? Совсем писать перестал, не знаю, что и думать... Забыл он про меня.

— Живой! — сказал Лубенцов.— Вчера его видел. Жив и здоров.

— Здоров,— грустно сказала Глаша.— Наверно, курит запоем...

— Курит? Не заметил... Ей-богу, не заметил. Если бы я знал, я бы постарался заметить.

«Какие глупости я говорю! — думал Лубенцов, замирая от счастья.— Совсем себя не помню...»

— Зачем ему курить? — сказала Таня.— И не забыл он вас. Как он мог забыть! Это было бы очень странно... Нет, нет!

Она подумала, как и Лубенцов, что говорит глупые слова, потом сообразила, что надо пригласить Глашу к столу.

— Садитесь, Глашенька,— сказала она.

Но Глаша отказалась.

— Мне надо идти,— ответила она тихо.— Работы много.

Работы никакой не было, конечно, но Таня ничего не возразила, ей не хотелось видеть никого, кроме Лубенцова.

Глаша ушла, но через минуту пришла та самая узкоглазая брюнетка, которая так неприветливо встретила гвардии майора.

Она и теперь окинула его неприязненным взглядом и спросила несколько вызывающе:

— Надеюсь, не помешала?

— Что ты, что ты!.. — засуетилась Таня.— Садись, Маша, и знакомься. Гвардии майор Лубенцов, мой старый знакомый. Мария Ивановна Левкоева, командир госпитального взвода и мой друг.

Маша спросила:

— Ты не поедешь в монастырь?

— Нет, поезжай сама,— ответила Таня.

— Я так и думала, что сегодня ты не поедешь в монастырь,— сказала Маша, подчеркивая каждое слово.

Таня, словно не заметив Машиного прокурорского тона, объяснила Лубенцову:

— Тут рядом женский монастырь, и при монастыре детский приют для сирот. Полковник Воробьев, когда здесь начались бои, вывез детишек на машинах... Потом они вернулись, и комдив приказал нашим снабженцам отпустить для приюта рису, муки... Даже несколько дойных коров им дали. Монахини очень удивились, не ожидали, что большевики питают слабость к детям... Мы, врачи, шефствуем над приютом, там много больных детишек,— дистрофия... Вот мы и ездим туда уже пятый вечер, глюкозу возим.

Поглядев на сдвинутые брови Марии Ивановны, Лубенцов вдруг рассмеялся и, оправдываясь, сказал:

— Простите, Мария Ивановна, я вспомнил, как вы интересовались моими болезнями.

— Ну и что же! — произнесла Мария Ивановна сурово.— Да, я спросила и имела право, как врач, спросить, чем вы больны. И — да, я произнесла слово «грыжа»... Такая болезнь существует, и врач может о ней спросить.

Таня звонко расхохоталась, и тут неожиданно рассмеялась сама Маша. Она быстро поцеловала Таню и выбежала из комнаты.

Они опять остались наедине. Таня сказала дрогнувшим голосом:

— Вам, наверно, надо скоро уезжать?

Лубенцов мог бы остаться до завтра, но он не решился признаться в этом. Это было бы слишком много.

Он сказал:

— Да. Прошу вас, если вы сможете освободиться завтра, приезжайте ко мне в Потсдам. Генерал вас приглашал. Вы посмотрите город, дворцы и парки. Это очень интересно.

Она сказала, глядя на него доверчиво:

— Хорошо. Я сделаю все, что вы захотите.

— Сразу же утром и приезжайте.

— Хорошо, приеду.

— А на чем вы приедете?

— Приеду.

Они вышли на улицу, оставив на столе непочатые стаканы чаю.

В небе мерцали звезды, бледные от полыхающего над Берлином зарева.

На крылечке курил Каблуков. Заслышав шаги, он встрепенулся и сделал движение, чтобы уйти.

— Седлай,— сказал гвардии майор.

Каблуков пошел седлать, а Лубенцов и Таня постояли под звездами, прижавшись друг к другу. Потом послышался цокот лошадиных копыт, звяканье уздечек. Подошел Каблуков с конями.

По дороге Лубенцов и ординарец молчали. Гвардии майор думал о том, каким странным тоном произнесла она те слова: «Я сделаю все, что вы захотите». Эти слова, думал он, связали их навсегда, и все на свете казалось ему теперь легким и простым.

Кони скакали быстро. Уже перевалило за полночь. Наступило 2 мая.

## XXIV

На следующий день, 2 мая, Таня не смогла приехать, так как произошли неожиданные и важные события.

В ночь на 2 мая из Берлина на запад через районы Вильгельмштадт и Пихельсдорф прорвалась большая группировка гитлеровских войск общей численностью до тридцати тысяч человек с самоходными орудиями и бронетранспортерами.

Не успел Лубенцов прибыть в Потсдам, как из Гатова и Кладова сообщили первые сведения о появлении на дорогах больших масс вооруженных немцев.

Вся дивизия поднялась по тревоге. В предрассветной густой темноте, только изредка прорезаемой лучами карманных фонариков, солдаты грузились на автомашины и отправлялись на север, чтобы перекрыть дороги, ведущие из Берлина на запад.

Телефоны в штабе беспрерывно звонили. Сообщались все новые подробности о прорывающихся немцах, которые шли густыми колоннами, избегая по возможности населенных пунктов.

Лубенцов поднял разведчиков, спавших в доме напротив. Они быстро вскочили, разобрали автоматы и гранаты. Их уже дожидался грузовик. Вскочили в кузов. Машина быстро двинулась к северу.

Рассветало. Мимо пролетело одно селение, затем другое. По временному мосту, возле которого занимали оборону саперы, машина с разведчиками выехала к Фарланду. Севернее этого селения, на холме, Лубенцов велел остановиться.

Разведчики спрыгнули с машины и пошли вслед за гвардии майором к видневшейся неподалеку большой дороге.

Им не пришлось долго ждать. Из-за поворота показалась колонна немцев, насчитывавшая не меньше тысячи человек. Впереди двигалось штурмовое орудие типа «фердинанд». Шествие замыкалось вторым таким же орудием. Черные кресты на самоходках напомнили Лубенцову прошедшие годы войны.

Он внимательно следил за колонной, потом, полуобернувшись к Мещерскому, сказал:

— Дайте залп.

Разведчики дали залп. Немцы засуетились, рассыпались в придорожных кустах и в складках местности и ползком, на четвереньках, а некоторые бегом двинулись дальше. Самоходки остановились и выстрелили три раза по видневшейся неподалеку железнодорожной станции.

Через несколько минут к Лубенцову подоспела батарея. Артиллеристы развернули пушки и дали залп по деревне, где скрылись немцы.

Прибежавший солдат сообщил гвардии майору, что несколько восточнее появилась другая колонна, состоящая тоже примерно из тысячи человек.

Солдат показал пальцем на лесок, в который только что втянулись немцы. Лубенцов выслал туда Воронина и еще двух разведчиков, а к деревне, где скрылась первая колонна, послал Митрохина с тремя разведчиками.

Воронин вскоре вернулся и сообщил, что действительно в лесу расположились сотни три немецких солдат. Артиллеристы развернули одну пушку стволом к этому лесу и дали два выстрела. Через минуту оттуда посыпались немцы. Они бежали в разные стороны, размахивая руками.

Лубенцов дождался возвращения Митрохина, который доложил, что немцы возобновили движение, но уже не сплошной колонной, а отдельными группами. Лубенцов велел садиться в машину и поехал обратно к командиру дивизии.

Генерала вызвал по рации командарм из района деревни Вахов, южнее Науэна, где тоже шли бои с прорывающимися колоннами.

Переговорив с командармом, комдив сказал:

— Придется подраться еще раз к концу войны... Опять людей терять, кровь проливать. Командарм говорит, что тут прорываются самые отчаянные, которым страшно в наши руки попасть... Знают, что худо им будет! К американцам прут. А берлинский гарнизон капитулирует, там уже все закончено.

Лубенцов пожал плечами:

— Я наблюдал за ними, не такие уж они отчаянные. По-моему, надо выслать к ним парламентеров с белыми флагами и предложить сдаваться... Жалко опять людей гробить.

Генерал позвонил в политотдел. Плотников согласился с предложением гвардии майора.

— Это правильно,— сказал он.— Надо попробовать.

«Движение милосердия», желание избегнуть ненужного кровопролития возникло в частях совершенно стихийно. Потом оно получило санкцию Военного Совета. Почти из всех дивизий к немцам выезжали советские парламентеры — офицеры, знавшие хоть немного по-немецки,— и предлагали сдаваться.

Гвардии майор выехал на броневичке с белым флагом.

Оганесяна и Мещерского он отправил, тоже с белыми флагами, к поселку Гросс-Гликикке, а сам двинулся на северо-запад.

В первой же деревне он наткнулся на наших всполошенных интендантов, только что выдержавших первый в их жизни бой — и не простой, а рукопашный — с немцами. Среди интендантов были раненые.

— Я отпускал муку для дивизионного ПАХа [1],— рассказал гвардии майору один из них, толстяк в разорванном кителе, с

[1] Полевая армейская хлебопекарня.

винтовкой в руках, выглядевший весьма воинственно и жаждавший крови,— и вдруг вижу: немцы идут! Мы залегли и начали отстреливаться. Отстояли муку... К ним не с белым флагом ездить, а с «катюшами»!

Лубенцов поехал дальше, миновал автостраду и канал Парец-Науэн. Всюду царило необычайное возбуждение. Солдаты тыловых частей, завидев майора с белым флагом, наперебой сообщали ему:

— Вот тут прошла одна колонна!

— В том лесу немцы!

— За насыпью человек двести ползут!

Лубенцов остановил броневичок возле леса, где, по словам солдат, находилась большая группа немцев.

Взяв в руки белый флаг, гвардии майор быстрыми шагами направился к роще. Углубившись в рощу, он начал громко и раздельно произносить:

— Deutsche Soldaten! Das Kommando der Roten Armee... [1]

Не успел Лубенцов закончить, как из лесу метнулась какая-то тень и к нему вышел с поднятыми руками немец. Это был очкастый, длинный и небритый человек с обер-ефрейторскими погонами.

Он шел, робко вглядываясь в лицо Лубенцова.

Лубенцов тут же отпустил его обратно в лес, объяснив, что немцу вменяется в обязанность привести сюда своих товарищей.

Не прошло и десяти минут, как очкастый немец привел с собой два десятка других. Этих Лубенцов тоже отпустил.

— Gehen Sie,— напутствовал он их,— und zurück mit andere... [2]

Расчет его полностью оправдался. Они разбрелись по лесу, и он издали слышал, как они аукают, зовут остальных и что-то настойчиво и быстро-быстро говорят.

Наконец показалась большая группа, человек около ста. Оружие они побросали в лесу. Они так же внимательно и опасливо, как тот, первый, очкастый, вглядывались в русского офицера.

Лубенцов повел пленных за собой в видневшийся неподалеку обнесенный оградой большой фольварк с кирпичным заводом. За оградой росли развесистые, старые каштаны.

---

[1] Немецкие солдаты! Командование Красной Армии... *(нем.)*

[2] Идите и возвращайтесь с другими... *(нем.)*

Броневичок медленно поехал вслед за пленными и остановился на лужайке, неподалеку от ограды.

На фольварке было шумно. Гражданские жители, главным образом женщины и дети, высыпали из домов, но смотрели на пленных издали, не решаясь подойти.

Лубенцов назначил старшим очкастого, который суетился больше всех и не отходил от гвардии майора ни на шаг.

Гвардии майор подошел в сопровождении этого очкастого к женщинам и сказал им, что хорошо бы накормить соотечественников.

Женщины вначале не поняли, что́ им говорит этот миролюбивый русский с белым флагом, а потом, когда Лубенцов повторил свои слова, затараторили, закричали и побежали в дома и на скотные дворы. Через короткое время они появились с караваями хлеба и с эмалированными ведрами, в которых плескалось молоко.

Это вызвало среди пленных веселое оживление. Они уселись на траву вокруг ведер и принялись разливать молоко по котелкам, которые они сохранили, поняв наконец, что теперь котелки нужнее, чем автоматы.

Они не позабыли и поблагодарить русского офицера, так как очкастый тут же сообщил им, кто «организовал» для них молоко. Вокруг стояли женщины и дети, глядя на пленных с состраданием, а на русского, одиноко прохаживающегося возле них,— с признательностью и уважением, а те женщины, что помоложе,— не без кокетства.

Если добавить к этому, что над большими каштанами, и над зелеными лужайками, и над возбужденными лицами немцев и немок висело очень синее весеннее небо и солнце светило ярко и весело, можно себе представить, какая радующая и многозначительная картина открывалась перед глазами Сергея Лубенцова.

Очкастый между тем, перекусив немного, опять вызвался пойти привести пленных. Лубенцов велел ему отобрать нескольких помощников из тех «ветеранов», которые первыми пришли на зов белого флага.

Гвардии майор предложил детишкам, стоявшим вокруг с открытыми ртами, тоже бежать в лес и вести сюда, к миру и молоку, прячущихся там немцев. Дети, понятное дело, были бесконечно счастливы, получив такое задание. Они где-то добыли длинные шесты, привязали к ним белые платочки и, высоко подняв их над головами, побежали в лес.

Через несколько минут из лесу вышла новая многочисленная группа немецких солдат, предводительствуемая раненным в плечо подполковником.

Подполковник подошел к Лубенцову, отдал честь, отстегнул кобуру и вручил ему свой пистолет. Гвардии майор взял в руки пистолет и сказал полувопросительно:

— Also, Frieden? [1]

— Gott sei Dank! [2] — ответил подполковник.

Лубенцов назначил его комендантом всего лагеря, который насчитывал теперь триста с лишним человек. Время от времени со всех концов появлялись одиночки. Прибрел какой-то капитан, потом — обер-лейтенант с железным крестом на груди. Пленные рассаживались на траве, блаженно щурясь при свете утреннего солнца.

Все-таки Лубенцова начинало беспокоить его одиночество среди почти пяти сотен немецких солдат. Кругом не видно было ни одного советского бойца, только возле броневичка стоял водитель в синем комбинезоне, младший сержант. Он тоже был несколько обеспокоен и, подойдя к Лубенцову, сказал:

— Уж больно их много собирается... Охрану хорошо бы.

Лубенцов, подумав, предложил:

— Садись в машину и поезжай в ту деревню с разбитой киркой. Там я видел нашу пушечную батарею. Пусть пришлют хотя бы десяток солдат.

Броневичок укатил. Лубенцов остался один. А немцы все шли и шли. Очкастый со своими добровольцами все время курсировал к лесу и обратно, всегда возвращаясь «с прибылью».

Лубенцов поговорил с подполковником. Немец рассказал, что Гитлер — так по крайней мере было объявлено — покончил самоубийством в рейхсканцелярии позавчера, 30 апреля. Берлин капитулировал после того, как выяснилась полная невозможность оказывать дальнейшее сопротивление русским войскам. Что касается самого подполковника, служившего командиром зенитного полка, расположенного в лесу Груневальд, то он решил участвовать в прорыве потому, что сам он родом из Тюрингии и хотел попасть домой. С той же целью прорывались на запад и многие другие солдаты и офицеры. Правда, подполковник не мог не согласиться с замечанием Лубенцова насчет того,

---

[1] Итак, мир? *(нем.)*

[2] Слава богу! *(нем.)*

что немало немцев хотели уйти на запад в надежде скрыться от наказания за прошлые преступления. Да, подполковник встречал на дороге видных эсэсовцев, а также гражданских лиц из аппарата различных нацистских организаций. На вопрос Лубенцова, считают ли эти люди, что американцы не будут их преследовать, подполковник несколько смешался и, исподлобья взглянув на Лубенцова, ответил, что, пожалуй, так многие считают.

Становилось все теплее. Белые тучки медленно ползли по ярко-синему небу.

В это время из лесу послышалась автоматная очередь и показался очкастый. Он шел быстро, почти бежал. Подбежав к Лубенцову, он начал что-то быстро говорить, и из всей его речи Лубенцов разобрал только три слова:

— Kaum lebendig' raus!..[1]

Наконец Лубенцов понял, что там, невдалеке от опушки, находится только что прибывшая большая группа людей, вооруженных автоматами и не пожелавших идти в плен. Когда же очкастый стал их агитировать, один из них дал очередь из автомата.

Дождавшись возвращения броневичка, на котором восседало несколько советских солдат с винтовками, Лубенцов оставил их охранять пленных, а сам взял белый флаг и пошел к лесу. Позади, на некотором расстоянии за ним, шли мальчишки с шестами, на которых весело хлопали белые носовые платки.

Громко обращаясь к молчаливым деревьям, за которыми, как он знал, скрывались люди, Лубенцов предложил немцам сдаваться.

Лес враждебно молчал. Лубенцов повысил голос и повторил то же самое, добавив, что советское командование не желает пролития крови и поэтому предлагает немецким солдатам сдаться в плен.

Опять воцарилась тишина. Только ветер шелестел листьями деревьев. Кругом на траве валялись каски, винтовки и пистолеты.

Наконец слева откуда-то поднялись два немца и пошли к Лубенцову. Отдав ему честь на ходу, они прошли мимо, по направлению к фольварку. Лубенцов сделал три шага вперед. Впереди виднелась лощина, а за ней в отдалении приютился

[1] Еле живой выбрался... *(нем.)*

небольшой лесной домик. Люди, конечно, находятся именно в лощине,— чуткий слух разведчика не мог его обмануть.

Однако никто оттуда не выходил, и Лубенцов решил было возвращаться на фольварк, когда перед ним во весь рост из лощины поднялся какой-то немец; почти одновременно грянул выстрел, немец упал как подкошенный, и следом за этим раскатисто хлестнула короткая автоматная очередь.

Гвардии майор удивленно отпрянул, заметил в последний момент, как осыпались зеленые листья с нижних веток деревьев, и, схватившись за сердце, упал на траву.

## XXV

Конрад Винкель в последние дни Берлина жил в убежищах Тиргартена вместе с Бюрке. Как и все находившиеся здесь люди, он считал, что приход Венка может спасти столицу. Он не знал, как не знали этого и остальные, что армия Венка слаба и что легенда о пришествии Венка — не более как последняя химера Гитлера.

Но уже 29 апреля стало ясно, что Венк не придет. Втихомолку передавали друг другу, что 12-я армия застряла южнее Потсдама и ведет там тяжелые оборонительные бои. Что же касается частей 9-й армии, шедших на соединение с Венком, то они уже окружены в районе Вендиш-Бухгольц.

Вечером 29 апреля Бюрке отправился в рейхсканцелярию и вернулся оттуда мрачный и подавленный.

Кругом все грохотало. Русские вышли к Шпрее севернее рейхстага, форсировали Ландвер-канал, а с запада, взяв Александерплац, ворвались на Шлоссплац и ведут бои за императорский замок.

Их никак нельзя было остановить! Они проникали через подземные сооружения городского хозяйства, неожиданно появлялись из станций метро, просачивались через развалины, волокли свои пушки чуть ли не на крыши домов.

— Что думает фюрер? — шепнул Винкель.

Бюрке в ответ буркнул:

— Он уже не думает.

Бюрке вынул из кармана мундира две стеклянные ампулы и глядел на них глазами, такими же стеклянными, как эти маленькие пузырьки.

— Вот это нам роздали,— сказал Бюрке.— Последнее прибежище черного корпуса...— Он спрятал ампулы в карман и проревел: — Конец! Пожили — и хватит! Попалась бы мне теперь в руки та чертова гадалка, я бы ее в куски изрубил, сволочь!

Он вполголоса рассказал Винкелю, что сегодня приходил в рейхсканцелярию комендант гарнизона генерал Вейдлинг, заявивший Гитлеру, что сопротивляться дольше невозможно, и предложил ему уходить из города.

— И что? — спросил Винкель.

— Отказался. Он, конечно, свою игру уже сыграл. Ему уже некуда деться. Для истории приличнее загнуться в столице, а не где-нибудь на перекрестке дорог...

Бюрке был в отчаянии и, скрывая это от всех остальных, не прятался от Винкеля, которому доверял.

В убежищах воцарилась тишина покойницкой. Люди глушили водку и ждали смерти.

На следующий день, в третьем часу, в Тиргартен приполз оберштурмфюрер из личной охраны Гитлера с приказом добыть и привезти в рейхсканцелярию двести литров бензина. Начали сливать в канистры бензин из стоявших здесь повсюду автомобилей и бронетранспортеров. Наскребли сто шестьдесят литров. Бюрке, пошептавшись с оберштурмфюрером, вернулся к Винкелю и сказал:

— Будут сжигать труп фюрера... Он отравился или отравится сейчас. Я пойду.

Бюрке на этот раз долго не возвращался. Другие люди, приползшие с Фоссштрассе, рассказали, что Гитлер отравился и что вечером генерал Кребс отправится к русским для ведения переговоров.

Смерть фюрера никого не тронула. Все остались равнодушны и, сидя на корточках и тихо покачиваясь, дремали, жевали что-то и ждали конца.

Над Берлином стлался черный дым. Там, где находился рейхстаг, не умолкала ожесточенная перестрелка. Оттуда приносили сюда, к Шарлоттенбургскому шоссе, все новых и новых раненых. Русские штурмовали рейхстаг, и вскоре над его стеклянным куполом уже алело красное советское знамя. Оно виднелось и здесь, в Тиргартене. Сюда доносилось мощное русское «ура». Завязались бои и в зоологическом саду, оттуда тоже приходили раненые. Они рассказали, что русские захватили там в

плен пять тысяч человек. Немцы всюду складывают оружие и сдаются. Ряды защитников Тиргартена тоже понемногу редели. Под покровом ночи многие исчезли.

Винкель сидел в убежище и дремал. Ему было все равно, что с ним случится дальше. Поздно ночью пришел Бюрке и с ним еще несколько эсэсовских офицеров.

— Конец,— сказал Бюрке.

На следующий день объявили, что из Берлинского леса будет предпринята попытка прорыва. Генерал Вейдлинг договаривался с русскими о капитуляции. Геббельс отравился. Борман куда-то исчез. После полудня Винкель и Бюрке вместе с другими эсэсовцами и офицерами отправились на запад. Пробираясь среди развалин, дрожа от страха при мысли, что каждую минуту из-за перекрестка могут показаться русские, они прошли Шарлоттенбург. Перебрались через разрушенное полотно железной дороги и, наконец, очутились в городском парке Берлина, среди запущенных спортивных площадок и пустых, заколоченных киосков.

Возле имперского стадиона собрались большие толпы людей, но было тихо. Сидели группами и разговаривали вполголоса.

Бюрке, обычно весьма деятельный, теперь присмирел и помалкивал, только прислушиваясь своими большими волосатыми ушами к разговорам.

Из разговоров было ясно, что всех собравшихся здесь людей в зеленых шинелях можно подразделить на три группы.

Первая, состоявшая из мальчишек «гитлерюгенда» и солдат-фронтовиков, шла на запад потому, что таков был приказ: им сказали, что германская армия еще существует, продолжает обороняться в районе Наузна и долг солдат — пробиться к ней на помощь.

Люди, принадлежавшие ко второй группе, еще более многочисленной, чем первая, знали, что положение безнадежно и Германия потерпела поражение. Но эти люди были родом из мест, расположенных за Эльбой. Были тут баварцы, уроженцы Рейнской области, жители Вестфалии, Шлезвига, Гессена и других германских земель на западе. Им хотелось только одного: попасть домой, в родные места.

Наконец, третья группа состояла из эсэсовцев, активных нацистов, разных маленьких и средних фюреров и лейтеров: большие удрали уже давно. В свое время эти люди, вслед за Гит-

лером, проклинали американскую плутократию, но теперь они предпочитали попасть в плен к американцам, а не к русским, надеясь, что янки отнесутся к ним гораздо снисходительнее. Капиталисты и плутократы устраивали их куда больше, чем коммунисты.

Эта последняя группа руководила прорывом, обманывала одних и подбадривала других.

Бюрке, принадлежавший, конечно, к третьей группе, старался ничем не выделяться. Он и американцев боялся, хотя и не так, как русских. На его совести было слишком много преступлений, чтобы он мог спокойно идти даже туда, на запад. Французы, например, должны были хорошо его помнить по тем временам, когда он работал кем-то вроде палача при Штюльпнагеле в Париже. Он там руководил расстрелами заложников. Много французской крови пролили эти волосатые большие руки, лежавшие теперь так растерянно на мокрой, росистой траве.

Бюрке пробирала дрожь — не от холода, конечно. Было тепло и безветренно. Он бы много дал теперь за то, чтобы поменяться биографией с этим пришибленным Винкелем, который сидел рядом и даже мог дремать, черт его побери!

Потом до слуха Бюрке донесся голос человека, разглагольствовавшего под соседним деревом, где собралась кучка людей, среди них два знакомых Бюрке эсэсовца. К удивлению Бюрке, говоривший высокий мужчина с белесыми усиками, подстриженными «а ля Гитлер», был одет в штатское: шляпа, легкое светлое пальто, тонкие золотые очки. Он выглядел очень мирно среди людей в солдатских мундирах. Разговаривал он довольно громко и даже самоуверенно.

Он сказал:

— Американцы — деловой народ. Никогда не поверю, что они захотят нас уничтожить, они должны понимать, что мы являемся единственной защитой западного мира от большевиков. Мне известно, что американские руководители так же мало любят коммунистов, как я да вы.

Бюрке тяжело поднялся с места и подошел к своим знакомым эсэсовцам.

Человек в штатском спросил:

— Спичек ни у кого нет? У меня бензин в зажигалке кончился. — Он усмехнулся: — Отсутствие стратегического сырья — одно из несчастий нашего бедного отечества.

Кто-то предупредительно поднес ему зажигалку, а Бюрке вынул из кармана пачку сигарет,— карманы его были полны сигарет, взятых в бомбоубежище рейхсканцелярии, у Монке.

— О, у вас сигареты! — воскликнул человек в штатском.— Вы богач! Я курю скверный табак уже третий день... Благодарю вас, господин, э-э-э...

Кто-то подсказал:

— Оберштурмбанфюрер Бюрке.

— Оберштурмбанфюрер? — переспросил человек в штатском.— Ну, скажем, господин подполковник. Это слово теперь лучше звучит.

— Не возражаю,— угрюмо сказал Бюрке.

— Линдеманн,— представился человек в штатском.

— Линдеманн! — повторил Бюрке.— Вижу, что знакомый, а никак не мог вспомнить.

Отто Линдеманн был крупным промышленником, членом наблюдательных советов нескольких концернов и банков.

— Я вас встречал,— продолжал Бюрке,— однажды в Берхтесгадене и несколько раз в Берлине. Я работал тогда у фюрера. Потом, когда я был в Париже...

Эти воспоминания не вызвали особого восторга у Линдеманна, и он прервал эсэсовца, сказав с некоторой грустью:

— Да, господин подполковник, были времена и прошли. Покойный фюрер был великий человек, но...— Он сделал длинную паузу и переменил тему разговора.— Не помню, в какой связи мне пришлось о вас слышать последнее время...— Кто-то в темноте шепнул Линдеманну на ухо несколько слов, и он произнес: — А-а-а! Помню!.. Вспоминаю!.. Обстоятельства, связанные с финансированием специальных задач рейхсфюрера СС...

Понемногу стемнело. В темноте невдалеке защелкали соловьи, и Линдеманн, вздохнув, процитировал первую строчку стишка:

Если бы стать мне птичкой...

Наконец подали сигнал к движению. Все встали с мест. Бюрке и Винкель пошли рядом с Линдеманном.

Бюрке и Линдеманн воспылали симпатией друг к другу. Бюрке было по душе спокойствие промышленника, и он решил, что уверенность Линдеманна имеет какие-нибудь реальные основания. Линдеманн был влиятельный человек, сильно нажившийся на экспроприации еврейских предприятий и на военных

поставках, член наблюдательных советов бременского общества с ограниченной ответственностью «Фокке-Вульф» и акционерного общества «Опель» в Рюссельгейме. Он, вероятно, имел большие связи в Западной Германии и при случае мог оказаться полезным Бюрке.

Что касается Линдеманна, то он был немало наслышан о храбрости, находчивости и решительности этого большого, краснолицего, угрюмого эсэсовца. При нынешних тяжелых обстоятельствах могучий кулак Бюрке и его автомат могли очень и очень пригодиться.

Линдеманн попал в «берлинский котел» случайно. Вместе с секретарем он приехал из Баварии 15 апреля. На следующий день началось русское наступление, и Линдеманн, несмотря на множество дел, собрался уже уехать, но перед отъездом побывал в рейхсканцелярии. Здесь же он узнал, что фюрер в Берлине. Это успокоило Линдеманна: он решил, что раз фюрер в Берлине, значит, у него есть достаточно сил, чтобы сдержать русский натиск. Многие высокопоставленные лица заверяли Линдеманна, что Берлин не будет сдан русским ни под каким видом. Генерал Бургдорф, военный адъютант Гитлера, шепнул Линдеманну, что если столица и будет сдана кому-нибудь, то американцам, и только американцам.

Успокоившись, Линдеманн дал телеграмму жене, что задержится еще на несколько дней, потом вылетит домой на самолете. Он заказал самолет. Дальнейшее известно. Русские подошли к Берлину через пять дней после начала наступления. Все аэродромы оказались в их руках. Американцы, на приход которых надеялся Линдеманн, и не только он один, были далеко.

Линдеманн достал машину и выехал из Берлина на запад, но возле Лагер-Дебериц машину обстреляли русские, только что появившиеся на магистрали «Ост-Вест», и пришлось вернуться.

Теперь все надежды Линдеманна зиждились на том, что он попадет к американцам. Он подолгу жил в Америке и до и после прихода Гитлера к власти. Его американские друзья, в том числе сын Генри Форда Эдзель Форд и руководители «Дженерал моторс», были достаточно влиятельны, думал Линдеманн, чтобы защитить его от преследований. В конце концов он, Линдеманн, не участвовал же лично в эсэсовских зверствах. Он был промышленником, и если предприятия, одним из руководителей которых он состоял, работали на войну, то это вполне понятно каждому деловому человеку. Предприятиям нужна прибыль.

Правда, Линдеманн участвовал в финансировании Гитлера до прихода его к власти и затем тоже неоднократно оказывал Гитлеру и Гиммлеру ряд услуг. Но в конце концов это вполне естественно: правление Гитлера и его курс на войну сулили промышленности большие выгоды, и всякому деловому человеку это должно быть ясно. Что касается демагогов в Америке и других странах, то Линдеманн надеялся, что их вскоре угомонят.

Правда, Линдеманна немного тревожило то обстоятельство, что, по слухам, его имя находится в списке тысячи восьмисот военных преступников из числа деятелей промышленности и банков. Но в конце концов он, Линдеманн, ведь не барон Курт фон Шредер, не Крупп фон Болен, не тайный советник Шмиц из «И. Г. Фарбен», не Арнольд Рехберг, не Курт Шмитт — прямые и открытые пособники Гитлера,— он не политик, его занимало одно: прибыли.

Отто Линдеманн мечтал увидеть наконец звезды и полосы американского флага.

Толпы людей медленно двигались по лесу. Спереди доносилось гудение штурмовых орудий, участвующих в прорыве.

Перебравшись в Пихельсдорф, передовые отряды вступили в бой с русскими, и так как русские, несмотря на неожиданность нападения, держались крепко, огромной толпе пришлось разделиться на сравнительно небольшие группы, и каждая на свой страх и риск стала пробиваться на запад.

## XXVI

То здесь, то там вспыхивали короткие схватки, колонны прорывавшихся из Берлина немцев редели, делились, обтекали населенные пункты, разбегались по лесам и болотам и упорно продолжали двигаться вперед.

Та колонна, в которой находились Линдеманн, Бюрке и Винкель, встретила сильное сопротивление у Зеебурга. Русские подбили два самоходных орудия. Пришлось разделиться на мелкие группы и низинами, лощинами, болотами просачиваться на заветный запад.

Бюрке оказался руководителем отряда из трехсот человек.

Западнее Зеебурга вступили в бой с русским заслоном, обратившим было немцев в бегство. Но тут же выяснилось, что

русских всего человек двадцать. Бюрке остановил бегство своих людей, и они накинулись на два десятка залегших у обочины дороги русских солдат. Русские отступили. Бюрке бросился вперед и схватил своими огромными ручищами раненного в голову молодого русского паренька. Бой уже утих, а Бюрке все еще душил молоденького русского и бил его по лицу, уже мертвого, своими огромными красными кулаками.

Линдеманн отвернулся — он не выносил вида крови,— но был все же весьма доволен отвагой и яростью своего телохранителя.

Миновав дорогу, опять пошли по рощам и ложбинам. Чем дальше к западу уходили они, тем Бюрке становился отчаяннее. Он шел впереди остальных, огромный, злобный, готовый на все.

К утру они вышли на железную дорогу. Все смертельно устали, но страх и желание пробиться вперед поддерживали этих людей.

Переплыли канал. Вымокшие и голодные, вышли к дороге севернее деревни Бухов-Карпцов. Здесь их встретил огонь советской батареи, расположенной невдалеке, на холме. Со всех сторон раздавались винтовочные выстрелы. С трудом выбрались из этой ловушки и набрели на деревеньку, где было очень тихо. Какие-то русские девушки в военной форме стирали белье. Завидев гитлеровцев, девушки убежали в дома, и оттуда раздалось несколько выстрелов. Потом из дома появились два русских солдата, которые медленно пошли к немцам и что-то кричали. Видимо, предлагали сдаться. Бюрке ответил автоматной очередью. Один русский упал, второй — скрылся.

У Бюрке в ранце была фляжка с вином, но сам он не пил, а больше угощал Линдеманна. Это вино поддерживало угасающие силы господина директора.

Но часов в десять утра Линдеманн уже еле двигался. Бюрке объявил привал в лесу. Повсюду слышались взволнованные голоса. Немцы, приютившиеся здесь раньше, перекликались, ругались, совещались. Потом появились дети с белыми флажками на шестах, сообщившие, что русский офицер прислал их сюда и что он говорит, этот русский офицер, что надо сдаваться и никому не будет плохо, а всем будет хорошо. Всех накормят, а раненых перевяжут. И пленных уже кормят молоком. Бюрке гаркнул на детей, чтобы они отправлялись к черту, иначе он их всех перестреляет. Дети испуганно разбежались.

Потом появился немецкий солдат, который тоже стал уговаривать сдаваться в плен. Берлин капитулировал, Мюнхен сдался американцам без боя, сопротивление кончено.

Бюрке дал автоматную очередь. Стало тихо.

Линдеманн немножко отдохнул, и Бюрке решил двигаться дальше. Он сказал:

— Пошли, ничего, дойдем.. Держитесь, Линдеманн. С Бюрке вы не пропадете. Мне парижская гадалка, мадам Ригу, предсказывала, что я умру генералом... Если вы бывали в Париже, вы должны знать эту старую чертовку... Нам бы только добраться до лесов западнее Бранденбурга...

Линдеманн сказал, бодрясь:

— Вы настоящий мужчина, Бюрке. Пошли.

В это мгновение Бюрке заметил между деревьями человека с белым флагом. Это был русский офицер, светловолосый и синеглазый. Синие глаза особенно выделялись на его лице потому, что лицо потемнело от загара. Он стоял на опушке, всматриваясь в темноту леса. В левой руке он держал белый флаг, и солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, трепетал на полотнище желтыми пятнышками.

Он произнес несколько слов и замолчал. Позади показались немецкие дети с белыми флажками, надетыми на длинные шесты. Они шли на цыпочках, любопытные, настороженные.

Справа от Бюрке поднялись два немца и пошли навстречу русскому. Их шаги тихо шуршали по траве. Звякнула каска, задетая чьей-то ногой.

Кровь медленно приливала к лицу Бюрке и медленно отливала от лица Линдеманна. И вдруг, совершенно неожиданно, поднялся во весь рост кто-то, лежавший рядом. Бюрке оглянулся. С поднятыми вверх руками к русскому офицеру шел Винкель. Автомат его остался на траве.

Бюрке взвизгнул и приподнялся на левой руке. Узкая спина Винкеля торчала перед ним. Бюрке поднял автомат и выстрелил в эту спину.

Не взглянув на упавшего лицом вперед Винкеля, Бюрке скрипнул зубами и дал короткую очередь по русскому, по его белому флагу, по детям, стоявшим в отдалении. Листья, сорванные пулями, медленно падали на землю.

Бюрке схватил Линдеманна за руку, и они побежали в глубь леса.

Пробираясь овражками, они вскоре увидели Хавель. Через густо заросшие высоким тростником болота выбрались к сырой низине возле Бранденбурга и здесь, тяжело дыша, сели передохнуть.

Линдеманн сразу заснул, а Бюрке не мог спать. В камыше шевелился ветер, и Бюрке чудилось, что там ползком все ближе к нему подбираются русские, загорелые и синеглазые, как тот офицер. Кругом все спали, бормоча, вздыхая, ругаясь во сне.

Длинные руки Бюрке висели, как плети, между колен.

Через час он разбудил Линдеманна и остальных и сказал, что пора двигаться дальше.

Линдеманн простонал:

— Что вы! Я не в силах подняться с земли!

— Хотите к русским попасть? — спросил Бюрке.— Что ж, оставайтесь. Я пойду один.

— Пойдем,— проворчал Линдеманн.

Они пошли. Кругом было тихо. В небе блестел ноготок молодой луны. Линдеманн бормотал:

— Только бы до американцев добраться!..

— А что американцы! — хмуро сказал Бюрке.— Тоже враги.

Эти слова разозлили Линдеманна, и он быстро заговорил:

— Вы ни черта не знаете! Забили вам мозги ваш фюрер и его клика! Вам бубнили о плутократах, о капиталистах! А знаете, кто привел фюрера к власти, кто давал ему деньги на избирательную кампанию?! Мы! Мы! Люди тяжелой индустрии!

— Тише,— сказал Бюрке.

Линдеманн продолжал, понизив голос:

— Если уж говорить начистоту, то немалую долю в успехах фюрера имели американские денежки!.. Ага, вы удивляетесь? Не похоже на то, что говорил доктор Геббельс! Заводы Опеля, если хотите знать, принадлежат «Дженерал моторс»! Радиокомпания Лоренц — филиал американской телефонной компании, если вам угодно знать правду! Американцы имеют акции «Фокке-Вульфа»! Да, да, самолеты рейхсмаршала Геринга, бомбившие американцев, строились на американские денежки! Учтите это, враг плутократов! Деньги не имеют гражданства, и золото не знает границ!

— Тише,— сказал Бюрке.

— А наша бедная отчизна,— продолжал Линдеманн шепотом,— ей еще предстоит будущее... Конечно, под эгидой более гибкой политической силы!.. Фюрер был великий человек, но он многого не понимал!.. Недостаток гибкости погубил его. Правильная внутренняя политика и бездарная внешняя!..

На третий день скитаний Бюрке и Линдеманн увидели перед собой Эльбу. Из всей группы к этому времени осталось одиннадцать человек: три эсэсовца, один чиновник министерства внутренних дел, один «лейтер» из «гитлеровской молодежи» и четыре солдата родом из Тюрингии и Ганновера.

Бюрке достал лодку, и они переправились.

Невдалеке виднелась большая деревня. Оттуда доносились человеческие голоса и гудение множества автомашин.

У окраинных домов деревни стояло несколько «доджей» с американскими флажками на радиаторах.

Бюрке кашлянул, побагровел, поднял руки и пошел. За ним то же самое проделали остальные, только Линдеманн, как человек гражданский, шел с опущенными руками.

Американские солдаты встретили их очень неприветливо и повели по деревне. Один из них даже дал Бюрке подзатыльник. Американцы, и в особенности бывший среди них негр, смотрели на немцев с ненавистью. В штабе какой-то части, куда их привели, их кратко допросил сурового вида американский капитан. В его голосе слышалась явная враждебность.

Когда он ушел, Бюрке злобно покосился на приунывшего Линдеманна, но ничего не сказал.

Поздно вечером их вывели из штаба и под охраной повели в другой дом.

Американский офицер, как потом оказалось,—полковник, обратился к Линдеманну на хорошем немецком языке: его удивило, что он видит перед собой гражданского человека. Линдеманн сразу же заговорил по-английски. Полковник пригласил его сесть. Они оживленно разговаривали, и, слушая Линдеманна, американец все повторял задумчиво:

— Йес... Йес... [1]

Время от времени полковник бросал на Бюрке и остальных немцев проницательный взгляд маленьких колючих глаз. Немцы, обтрепанные, небритые, угрюмые, стояли рядком у стены.

«Разведчик»,— думал Бюрке, следя исподлобья за американ-

---

[1] Да... Да... *(англ.)*

цем. Американец — длинный, худощавый, с черными усиками и тощими волосатыми руками — курил сигарету. Взгляд его на мгновение остановился на Бюрке, и он, усмехнувшись, спросил по-немецки:

— Ну что, господа? Вырвались из русских рук? Что ж, вам повезло!..

Он вышел из комнаты. Воцарилось тревожное молчание. Полковник вернулся вместе с другим офицером, у которого на груди красовалась колодка с многочисленными орденскими ленточками. Этот был невысок ростом, плотен и весел, он потирал все время маленькие ручки, хватал со стола то одну, то другую бумажку и, пробежав глазами написанное, бросал бумажку обратно на стол. Он прошелся мимо стоявших у стены немцев, что-то шутливо говоря Линдеманну. Линдеманн сдержанно смеялся.

Бюрке не мог ничего понять из того, что говорится вокруг, и тоскливо смотрел то на одного, то на другого, ожидая решения своей участи и все больше волнуясь. Вдруг низенький американец подошел к нему и спросил:

— Эс-эс?

— Н-нет,— сказал Бюрке.

— Знаем, знаем! — лукаво и весело засмеялся американец и опять отошел к столу.

Дальнейшее произошло быстро и неожиданно. Линдеманн встал, учтиво поклонился, и немцы покинули штаб. Впереди них оказался американский сержант, который, сказав что-то Линдеманну, исчез. Немцы вошли в домик на окраине деревни. Там валялось штатское платье, и Линдеманн быстро сказал:

— Переодевайтесь.

Промышленник шепнул Бюрке, что ему, Линдеманну, разрешено отправиться к себе домой, в виллу под Мюнхеном, и там дожидаться распоряжений американских властей.

— Знаете что? Отправляйтесь со мной,— предложил Линдеманн и тихо добавил: — Они отнеслись к вам исключительно благожелательно, по-джентльменски, сверх всяких ожиданий. Это люди умные, деловые, не крикуны... С ними приятно дело иметь, не правда ли?

Бюрке одевался с лихорадочной быстротой. Наконец пошли. Бюрке шел, поминутно оглядываясь,— в глубине души он еще подозревал, что это злая шутка и его сейчас остановят. Но его никто не остановил. Все устраивалось прекрасно!

## XXVII

В дивизии еще ничего не знали о Лубенцове, когда в Потсдам прилетел на самолете член Военного Совета генерал Сизокрылов.

Берлин уже капитулировал. Немцы повсеместно прекратили сопротивление, и комендант города генерал Вейдлинг вместе со своим штабом сдался в плен генералу Чуйкову.

Сизокрылов, побывавший в Берлине, приехал сюда, чтобы ознакомиться с положением наших частей западнее города. По дорогам шли многотысячные колонны захваченных и сдавшихся в плен немцев из той группировки, которая предприняла попытку прорваться на запад.

Генерал Середа доложил члену Военного Совета обо всем случившемся. Только что прибыл приказ о дальнейшем движении дивизии на запад, к Эльбе. Комдив был радостно возбужден, как, впрочем, и все офицеры и солдаты дивизии.

Солдаты строились. Шоферы заводили машины.

Уже перед отлетом Сизокрылов спросил:

— Как поживает ваша дочь?

— Хорошо,— ответил Тарас Петрович.— Она теперь в Сан-Суси, осматривает дворец.

Сизокрылов вдруг сказал:

— Вы бы не отпустили со мной дочь? Ей интересно будет посмотреть на Берлин.— Помолчав, он добавил: — Сегодня прилетает из Москвы жена, и мне бы хотелось познакомить ее с вашей дочкой.

Комдив сразу же послал машину за Викой.

Сизокрылов в ожидании девочки прохаживался по зеленому полю аэродрома.

Анна Константиновна знала уже о смерти сына. В ночь на 1 мая Сизокрылов решился. Он вызвал Москву по телефону. Девушка, работавшая на центральном узле в Москве, соединила его с квартирой. Сизокрылов наперед обдумал все, что он скажет, и хотел начать с поздравления по поводу Первого мая, но, услышав голос жены, сказал:

— Это я, Аня. Возьми себя в руки, Аня. Надо все узнать, все узнать!

Она сразу поняла. И первые ее слова, которые он услышал после вскрика, были:

— Дорогой мой, не убивайся!.. Мы вынесем все!

Больше она не смогла произнести ни слова, и он сидел, держа телефонную трубку возле уха, и ожидал. Его рука дрожала, и когда зазвонил другой телефон, он снял вторую трубку и, прижимая обе трубки к ушам, с трудом нашел в себе силы, чтобы ответить командующему:

— Позвоните, пожалуйста, через десять минут. Теперь я не могу.

Он положил одну трубку, а другую продолжал держать возле уха, наконец сказал:

— Аня! Дорогая!

Тогда в трубке послышалось рыдание, и он молчал и думал о том, как хорошо слышно рыдание за столько тысяч километров.

— Прилетай ко мне,—сказал он.— Возьми отпуск. Хоть на несколько дней. О самолете я распоряжусь.

Он положил трубку и позвонил командующему.

— Что нового? — спросил он, глядя на свою руку, которая все еще дрожала.

Командующий сказал, что только что к Чуйкову прибыли для переговоров начальник генерального штаба генерал пехоты Кребс и два офицера — полковник Дуффинг и подполковник Зейферт. Они принесли письмо, в котором написано (командующий прочитал по телефону текст, подписанный Геббельсом):

«Имеем довести до сведения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза следующее: первому из не немцев сообщаем Вам, вождю советских народов, что сегодня, 30 апреля, в 15.50, фюрер немецкого народа Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством».

— Как вы думаете? — спросил командующий.— Правда или врут?

Сизокрылов сказал:

— Скорей всего правда. Бежал от ответственности на тот свет — в последние ворота, которые были еще для него открыты. Доложено уже в Ставку?

— Доложено. Оттуда получена директива: единственно возможные переговоры — безоговорочная капитуляция.

Первого мая покончил самоубийством Геббельс. На следующий день гарнизон Берлина капитулировал. Сизокрылов вылетел в Берлин, оттуда — в Шпандау и, наконец,— в Потсдам. Здесь он вдруг подумал, что хорошо было бы взять с собой эту

милую Вику, дочь командира дивизии. Ему казалось, что присутствие девочки, сироты, не имеющей матери, хоть немножко успокоит материнское сердце Анны Константиновны.

Вика вскоре приехала. Узнав, зачем ее вызывали, она прямо-таки возликовала, но, подбежав к члену Военного Совета, сочла необходимым как-нибудь скрыть свой восторг и, еле сдерживая сияющую улыбку, чинно произнесла:

— Спасибо! Я так мечтала побывать в Берлине!

Самолет стоял невдалеке, распластав огромные белые крылья на зеленой площади аэродрома.

Вика быстро поднялась по лесенке вверх и уселась на мягкое сиденье. Сизокрылов вошел следом за ней. Моторы загудели, и самолет, пробежавшись по траве, оторвался от земли. Под ним проносились зеленые квадраты полей, леса, блестевшие на солнце дороги, крошечные домишки. Тень самолета в ярком солнечном свете бежала по земле.

Вскоре эта тень зазмеилась по крышам городских домов.

На аэродроме Темпельгоф члена Военного Совета уже ожидали его машина и бронетранспортер.

Генералу доложили, что его дожидается только что прибывший из Нойкельна Франц Эвальд.

Сизокрылов быстро вошел в дом, где находился немецкий коммунист. Они крепко пожали друг другу руки. Оба немолодых, поседевших в испытаниях жизни человека смотрели друг на друга и улыбались друг другу даже с какой-то влюбленностью.

— Э, да вы еще ничего! — шутливо сказал Сизокрылов.— Крепко держитесь еще!.. И Гитлер с вами не справился!..

— Не справился,— засмеялся Эвальд.— Кости целые!..

— Кости что! Вот сердце как?

Эвальд махнул рукой.

— Влюбиться нельзя, а работать можно...

Оба рассмеялись. Сизокрылов тем не менее прекрасно заметил бледность и истощенный вид немецкого коммуниста. Эвальд сразу же начал рассказывать о том, что нашел в Нойкельне несколько старых друзей, беседовал там с молодежью.

— Конечно, они еще не опомнились,— сказал он,— еще многое им неясно, но если поработать с ними...

Генерал предложил Эвальду совершить поездку в центр Берлина. Эвальд с радостью согласился. Он хотел попасть в Сименсштадт и Веддинг, «Красный Веддинг», как этот заводской

район Берлина назывался когда-то. Каждая улочка там была знакома Эвальду. Он надеялся найти и там кого-нибудь из знакомых, возобновить партийные связи. Следовало связаться с рабочими, поговорить с ними, объяснить им положение.

Они вышли к ожидавшей в машине Вике, сели и поехали.

Берлин выглядел как огромный вооруженный лагерь. Советские войска и войсковые тылы, артиллерия и танки расположились повсюду прямо на улицах и площадях. Среди многоэтажных развалин сновали люди, медленно проезжали повозки. Выпряженные лошади ржали в каменных скелетах домов, погружая морды в охапки сена.

Обветренные, потемневшие от загара веселые лица приветливо и счастливо улыбались. Регулировщики, стоя на перекрестках, управляли движением. Саперы и специальные команды убирали обломки, разминировали подступы к домам, оттаскивали в сторону разбитые немецкие машины и бронетранспортеры, уничтожали баррикады.

Эвальд не был в Берлине восемь лет. Правда, однажды, когда его вывозили из тюрьмы Моабит на запад, он видел город из окошка тюремной машины. Это было в 1939 году. Берлин был тогда весь увешан огромными флагами со свастикой: накануне Гитлер захватил Прагу.

Теперь всюду развевались красные знамена вперемежку с белыми флагами, знаками капитуляции. По правде сказать, Эвальд смотрел вначале на разбитую столицу с некоторым злорадством: вот к чему привело хозяйничанье этого самовлюбленного, бешеного кретина и его подручных! Но злорадство тут же сменилось глубокой жалостью к исхудалым женщинам, снующим по улицам, к бледным, худеньким, хотя и крайне заинтересованным происходящими событиями, детям, к унылым пленным, плетущимся вереницами по Блюхерштрассе на юг, ко всему истерзанному народу.

У Эвальда лихорадочно горели глаза. Лицо его было очень бледно.

По Блюхерштрассе они доехали до Ландвер-канала. Мост через канал был сильно поврежден, посредине взорван, но саперы уже приспособили его для проезда автомашин.

На площади Бель-Альянс Сизокрылов встретился с другими генералами. Потом подъехал еще один генерал. Он спрыгнул с машины и подошел к члену Военного Совета.

— А-а, Карелин! — сказал Сизокрылов.— Как дела?

— Все в порядке, товарищ генерал! — громогласно отрапортовал Карелин, сияя.— Готовы следовать дальше!..— Он вдруг смешался, улыбка сползла с его лица, и он недоверчиво спросил: — Какие будут приказания?

Сизокрылов усмехнулся и сказал:

— Не беспокойся, Карелин. Горючее забирать не буду.

Поехали по Фридрихштрассе. Широкая улица была совершенно разрушена, и через огромные остовы зданий просматривались какие-то другие, тоже разрушенные дома на какой-то другой улице.

Несмотря на все, что Вике уже довелось видеть на войне, ее изумляло и пугало это обилие развалин. Она с жалостью смотрела на жителей, бродивших среди руин, и не понимала, где же они, собственно говоря, тут живут. Потом она обратила внимание на сидящего рядом с нею Эвальда, который от слабости задремал. Так по крайней мере показалось Вике. Немец сидел с закрытыми глазами и что-то бормотал.

Эвальд, однако, не спал. Он просто забыл о том, что с ним находятся люди. Привыкнув к пребыванию в одиночных камерах, он говорил вслух, сам не замечая того. Он проклинал гитлеровцев с их преступным и безумным ведением дел, с их кровожадной и подлой политикой. Он жаловался на свою старость и больное сердце, на то, что голова седая и нет уже тех сил, того юношеского задора, который теперь так нужен для того, чтобы поставить на ноги новую Германию.

Потом он встряхнулся, открыл глаза и встретил взгляд Сизокрылова. Генерал понимающе кивнул и сказал:

— Ничего, дружище!.. А отдохнуть вам надо. Обязательно надо.

Они выехали на Унтерденлинден. Здесь все было настолько забито обломками и раздавленной немецкой техникой, что пришлось оставить машины и пойти дальше пешком.

Справа посреди улицы возвышался какой-то большой памятник, весь заложенный мешками с песком.

— Фридрих,—сказал Эвальд.

Мимо памятника тянулись бесчисленные вереницы пленных, уходящих на восток в направлении к Шпрее.

Вика держала за руку Сизокрылова, и генерал, чувствуя в своей руке маленькую руку девочки, шел медленно, приноравливая шаги к коротеньким шагам Вики. Снующие вокруг

солдаты останавливались при виде высокого генерала с девочкой, удивленно оглядывали седого немца в штатском, идущего рядом с генералом, и автоматчиков генеральской охраны, шагающих позади с суровым и стройным лейтенантом во главе.

Эвальд почти не узнавал некогда роскошные здания, теперь превратившиеся в страшные скелеты. Вот это когда-то было университетом, а это библиотекой. Театры, рестораны и посольства представляли собой одну и ту же серую груду камня. Над ними висели обрывками разорванные и перепутанные провода. Вот остатки советского посольства. Штат его выехал отсюда в Москву в конце июня 1941 года, предоставив слово Красной Армии.

Показывая пальцем вдаль, Эвальд сказал:

— Бранденбургские ворота.

Вика ускорила шаг. Вскоре они вышли на Парижскую площадь, и пресловутые ворота предстали перед ними во всей своей красе.

Это было большое сооружение, шириной свыше шестидесяти метров и высотой метров двадцать пять. Дорические колонны делили ворота на пять проездов. Сверху вздымали медные ноги четыре скачущих коня. В отверстие, пробитое осколком в голове одного из коней, было вставлено красное знамя, которое полыхало куском огня на фоне серого дыма, все еще стелющегося над городом.

Возле арки генерал остановился. Вика вопросительно подняла на него глаза, но генерал, оказывается, вовсе не глядел на знаменитые ворота. Он смотрел на советские танки, проходящие под ними.

Один за другим, сияя красными флажками, проходили советские танки под Бранденбургскими воротами и исчезали в туманной перспективе Шарлоттенбургского шоссе. Танки шли не спеша, как будто даже задумчиво перебирая огромными гусеницами по плитам мостовой.

Генерал наконец оторвал свой взгляд от танков и медленно пошел дальше.

Миновав Бранденбургские ворота, повернули вправо, к огромному зданию рейхстага, над стеклянным куполом которого тоже развевалось красное знамя, знамя Победы.

На массивных ступенях немецкого парламента обедали солдаты. Из котелков валил пар.

Все засуетились. Из рейхстага вышел полковник и еще несколько офицеров. Они направились к члену Военного Совета, и полковник, став во фронт, замысловато отрапортовал:

— Товарищ генерал-лейтенант, полк, после захвата рейхстага и водружения знамени Победы на нем, находится на отдыхе.

— Показывайте своих героев,— сказал Сизокрылов.— Где они, ваши орлы?

Поднялась беготня, послышались где-то там, на ступенях и внутри, среди стен полуразрушенной громады, короткие, отрывистые приказания, и вскоре к члену Военного Совета вышло несколько десятков человек — солдат и офицеров. Они сошли с широких ступеней и, как бы сызнова оценивая свой подвиг, но теперь уже с точки зрения Военного Совета, косились на мощные колонны и огромной толщины стены рейхстага.

Тут были сержант Егоров и младший сержант Кантария, два разведчика, водрузивших над рейхстагом это самое знамя, которое теперь развевалось на головокружительной высоте семидесяти с лишним метров. Подошли капитан Неустроев, старший сержант Сьянов, старшие лейтенанты Самсонов и Гусев, сержант Иванов, солдаты Сабуров и Савенков и многие другие. Не было только тех, что пали при штурме и были похоронены теперь в тенистых аллеях Тиргартена.

Герои штурма шли навстречу генералу спокойные, улыбающиеся, усталые как черти. Пока Сизокрылов беседовал с ними, Эвальд рассказывал любознательной Вике об этом мрачном массивном здании. Оно было сооружено пятьдесят лет тому назад в стиле итальянского Возрождения, но, конечно, с прибавлением прусской тяжеловесности и торжественной напыщенности.

Эвальд повел Вику к западному подъезду, где вздымался мощный шестиколонный портик, увенчанный сидящей в седле огромной женщиной — Германией, как объяснил Эвальд. Над массивными, теперь широко распахнутыми дверьми возвышался похожий лицом на Бисмарка святой Георгий, убивающий дракона.

Большой памятник Бисмарку стоял невдалеке. Старый юнкер в кирасирском мундире с палашом в руке мрачно смотрел на Вику с красного гранитного постамента.

За Бисмарком из густой зелени подымалась высокая ко-

лонна, так называемая Колонна Победы, украшенная всевозможными барельефами и горельефами, повествующими все о том же: о военном величии Пруссии, о ее победах. От колонны на юг шла установленная по краям статуями аллея, которая называлась аллеей Победы. Здесь было тридцать два памятника, по шестнадцати с каждой стороны. Позади каждой статуи прусского владыки помещалась полукруглая мраморная скамья с двумя бюстами его соратников или собутыльников. Многие статуи были изрядно повреждены пулями и осколками.

Эвальд терпеливо называл Вике каждого прусского маркграфа, курфюрста, короля: Альбрехт Медведь, Отто I, Отто II... Позади них на скамейках приютились бесчисленные герцоги, князья, графы и бургграфы, кардиналы и епископы, рыцари и бароны, магистры и пробсты, фельдмаршалы и гофмейстеры, канцлеры и советники.

Вика находилась в сердце старой Пруссии — чванной, воинственной и жадной до чужого добра.

Следом за Викой и Эвальдом медленно шли солдаты, прислушиваясь к объяснениям и многозначительно переглядываясь. Один из них подошел ближе и сказал:

— Геббельса видел. Обгоревший совсем. И мертвый боялся в руки к нам попасть, спалить себя приказал.

Осмотрев аллею Победы, Вика и Эвальд вернулись к члену Военного Совета, который все еще оживленно беседовал с солдатами и офицерами.

— А вы, товарищ генерал,— пригласил Сизокрылова один из солдат,— зайдите в гости к нам в рейхстаг.

Поднялись по ступеням южного входа. Все здесь носило следы недавнего сражения. Под высокими сводами стлался дым только что погашенных пожаров. Кое-где еще горело. Всюду валялась разбитая мебель. Стены и потолки были в зияющих пробоинах.

Солдаты, показывая генералу то один, то другой закоулок и водя его по огромным комнатам, рассказывали об ожесточенных схватках с засевшими здесь гитлеровцами. Потом через кулуары прошли в большое помещение и оттуда по темным полуразрушенным вестибюлям в зал заседаний.

Это было обширное и высокое помещение, покрытое сверху стеклянным куполом. Полкупола было разбито, и солнечный свет ярким снопом падал на дубовые стены, пробитые осколками, на простреленные орнаменты и гербы.

С этой трибуны ревел когда-то Адольф Гитлер.

Но Франц Эвальд вспоминал и многое другое, связанное с этим залом. Эти стены слушали речи Августа Бебеля, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Вильгельма Пика, Эрнста Тельмана.

Лицо Эвальда скривилось в непроизвольной судороге. Он поднял глаза на генерала и тихо сказал:

— Мне пора идти.

Они вышли из рейхстага. Генерал посмотрел на часы.

— Желаю успеха,— сказал генерал, прощаясь с Эвальдом.

Эвальд ушел, а Вика, провожая его взглядом, задумчиво произнесла:

— Если бы все немцы были такие хорошие, моя мама была бы жива.

Сизокрылов нежно взял ее за руку, и они медленно пошли на Унтерденлинден, где их ожидали машины.

## XXVIII

Какой это был яркий, необыкновенный день!

Для Тани он начался с того, что ее на рассвете разбудили выстрелы. Потом прибежала порядком напуганная санитарка, сказавшая, что немцы напали на медсанбат.

В Фалькенхагене действительно появилась большая группа вооруженных немцев — из тех, что ночью прорвались из Берлина. Медсанбату пришлось выдержать бой с ними. Врачи, сестры и санитары вместе с ветеринарами из расположенного неподалеку ветлазарета и с прачками из дивизионного баннопрачечного отряда заняли самую настоящую оборону и хотя больше кричали, чем стреляли, но немцы тем не менее отступили и исчезли.

В первые минуты страха Таня сразу же подумала о Лубенцове: где он теперь, не наскочил ли ночью на немцев и как хорошо, если бы он был теперь здесь — уж он разогнал бы всех фашистов в два счета!

Когда все успокоилось — это уже было в полдень,— Таня собралась ехать в Потсдам. Она заранее облюбовала одну из многочисленных трофейных легковых машин, брошенных немцами и во множестве стоявших на улицах города. Рутковский разрешил ей и Глаше отлучиться на день.

Правда, многие не советовали ей ехать теперь, так как на дорогах еще было тревожно, но ей казалось уже немыслимым иметь возможность повидать Лубенцова и не повидать его.

Однако в час дня прибыл приказ приготовиться к движению. Дивизия снималась с места: ей предстоял путь дальше, на запад.

Волей-неволей приходилось отказаться от поездки.

Но когда Таня складывала свои вещи, к ней прибежала маленькая повариха из Жмеринки и, с трудом превозмогая волнение, сказала:

— Таня Владимировна, вас кто-то спрашивает! Верховой!

Таня вспыхнула от радости, думая, что это приехал Лубенцов.

Она быстро вышла на улицу и издали увидела верхового, но это оказался не Лубенцов, а его молоденький ординарец. Конь был весь в мыле. Таня посмотрела в лицо Каблукову, побледнела и спросила:

— Что с гвардии майором?

Каблуков сказал:

— Не знаю. В него стреляли фашисты.

— Где он? — спросила Таня.

— Не знаю. Наверно, уже в штаб перевезли. Он очень плохой. Без сознания. Говорят, что не... не...

Подошли Рутковский и Маша.

— Я поеду,— сказала Таня.

Рутковский пошел к шоферам. Налили бензин в машину. Мария Ивановна побежала искать Глашу. Та пришла, уже готовая ехать с Таней вместе.

— Карту мне дайте,— сказала Таня.

Рутковский подал ей карту.

Каблуков с минуту постоял, потом хлестнул коня и ускакал.

Таня села за руль, но то ли аккумулятор был слаб, то ли Таня волновалась,— машина никак не заводилась. Тогда машину сзади подтолкнули медсанбатские женщины, и она завелась наконец.

Выехав из Фалькенхагена, Таня поехала прямо на юг, к магистрали. Дороги были полны солдат. Все двигалось к западу. Солнце ярко светило. Всем было жарко и весело. До Тани доносились смех и шутки. Машина двигалась медленно. Рядом

с ней шли солдаты, они заглядывали в окна и, увидев двух женщин, приветливо кивали им головой и шутили что-то насчет мужьев, да женихов, да деток, которые скоро будут.

— ...а я ему гранатой как влеплю! — сказал чей-то басовитый голос рядом с машиной и продолжал рассказывать, но уже не было слышно, что он говорит, и на смену ему послышался другой, тонкий, почти детский:

— ...разве это можно — гранатами рыбу глушить?

И этот голос пропал где-то сзади, и чей-то другой, певучий и озорной, начал рассказ о немецком полковнике, который привел с собой в плен весь свой полк.

«Я конченый человек,— думала Таня, сжимая руль до того, что у нее побелели руки,— моя жизнь кончена. Жизнь моя кончена. Вся жизнь. Больше ничего не будет».

Глаша молча сидела рядом, и по ее лицу катились слезы, но она старалась незаметно их смахивать и отворачивалась в сторону. Но и там, за стеклом, шли люди, и некуда было деться с этими слезами.

Миновав магистраль, они выехали на дорогу, которая была сравнительно пустынна, и Таня поехала здесь очень быстро. На перекрестке она остановила машину и взглянула на карту. Поехала направо. Снова они очутились среди грохота идущих войск. Показалась большая деревня. По улице шли солдаты, и Глаша вдруг вскрикнула:

— Наши! Наша дивизия!

Она узнала майора Гарина. Он стоял у крыльца какого-то дома. В руках у него были листовки, которые он раздавал солдатам.

Таня остановила машину. Глаша вышла и, подбежав к Гарину, сказала:

— Здравствуйте, товарищ майор! Это я, Коротченкова!

Он сразу узнал ее, немного смутился, так как чувствовал себя виноватым перед этой большой и доброй женщиной.

— Ну, как работаете? — спросил он.— Где вы?

Глаше очень хотелось узнать что-нибудь о Весельчакове, но она прежде всего спросила о Лубенцове.

Гарин покачал головой.

— Он к ним с белым флагом вышел, парламентером. Говорят, что убит. Я в штабе дивизии еще не был. Все занят в частях. Да... Это уже даже не война, а просто чистейший фашизм!

Жаль, что стрелявших не сумели захватить. Удрали куда-то! Ничего, мы и до них доберемся!

Он машинально протянул Глаше листовку и ушел.

Глаша побежала за ним и спросила:

— А штаб дивизии где?

— Снялся с места. Идем на Эльбу. Комдив, вероятно, в Этцине... километров двадцать к северо-западу.

Глаша вернулась к машине и сказала куда ехать. Насчет остального она ни слова не проронила. Поехали. Глаша заглянула в листовку. Это был приказ Сталина с благодарностью войскам, взявшим германскую столицу.

— И нам благодарность,—сказала Глаша.

Таня сказала:

— Прочтите вслух.

Глаша прочитала приказ вслух. Она читала медленно, раздельно произнося фамилии генералов и полковников, чьи войска участвовали во взятии Берлина. И, все больше понижая голос, закончила совсем тихо:

— «...Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»

Остановились у переправы через какой-то канал, где скопилось много машин. Таня неподвижно сидела у руля, ожидая, пока можно будет тронуться дальше. Она смотрела на огромные рубчатые колеса стоявшего впереди большого грузовика. Грузовик глухо подвывал. Колеса еле двигались туда и обратно. Наконец они решительно тронулись. Таня поехала следом, потом колеса грузовика опять остановились, и Таня остановилась. Она смотрела на эти колеса до тех пор, пока не возненавидела их от всей души. Они упорно стояли на месте, мотор глухо подвывал.

Наконец поехали. Перебрались через мост на западный берег канала. Километра через два Таня увидела на холмике влево от дороги группу людей возле свежей могилы.

Вероятно, это была самая западная русская военная могила. На ней стоял деревянный обелиск с красной звездочкой. Солдаты вокруг молчали, сняв пилотки. Ветки старых деревьев колыхались над ней. Таня остановила машину и выключила мотор. Он сразу, как будто навсегда, замолк. Таня вышла из машины. Она шла быстро и только у самого холмика замедлила шаги. Люди, стоявшие у могилы, услышали ее шаги и медленно повернули головы к ней.

Она поднялась на холм, постояла с минуту, потом подошла к самому обелиску.

На деревянной дощечке под звездочкой было написано:

*Рядовой СЕРГЕЙ ИВАНОВ*
*Рождения 1925 года*
*Зверски убит фашистами*
*2 мая 1945 года.*
*Слава герою!*

Таня довольно долго читала эту маленькую надпись. Наконец она очнулась. Ее звала Глаша.

Возле машины стояли трое. Они были одеты в зеленые маскхалаты и пристально смотрели на женщину, медленно сходящую с могильного холма.

Один из них был юноша с большими серьезными глазами, второй — здоровенный, узкоглазый, с неподвижным лицом кирпичного цвета, третий — маленький, непоседливый, с тонким улыбчивым личиком. Все трое смотрели на Таню как будто оценивающе, немножко удивленно и, пожалуй, одобрительно.

— Жив! — издали крикнула не своим голосом Глаша и повторила уже тише, заливаясь слезами: — Жив!

Юноша представился:

— Капитан Мещерский.— Потом он сказал:— Гвардии майор здесь поблизости, вон в той деревне.

Возле дома, где находился раненый Лубенцов, Таню встретил доктор Мышкин. Он не понял, почему она находится здесь, и подумал, что ее вызвали на консилиум. Поэтому он особенно подробно рассказал Тане о состоянии разведчика. Лубенцов был ранен пулей в грудь ниже сердца и другой, которая только оцарапала ему правое бедро.

— Положение серьезное,— сказал Мышкин,— но опасности для жизни нет. Да и организм у него могучий, выдержит. Это такой человек: он все выдержит!

Мышкин удивился, что Таня, подойдя к Лубенцову, лежавшему с закрытыми глазами, вовсе не стала осматривать раны, а села на пол возле кровати и прижалась щекой к неподвижной руке разведчика.

Потом она подняла глаза и заметила знакомое лицо, но никак не могла вспомнить, где встречала этого молодого капитана. Наконец она вспомнила: то был «хозяин» той самой кареты, в которой Таня встретилась с Лубенцовым.

Глаша, вошедшая вслед за Таней, тоже заметила Чохова и, поманив его пальцем, вышла с ним на улицу, чтобы узнать наконец, где ее Весельчаков. Весельчаков был поблизости, в соседней деревне, и Глаша побежала туда.

Но вот Лубенцов открыл глаза и увидел Таню.

Мимо окна проходили солдаты, и от их теней в комнате то светлело, то темнело, и Лубенцову казалось, что он в поезде и мимо окон проходят тени деревьев. «Это я еду домой уже,— подумал Лубенцов,— и вместе с Таней. Ах, как хорошо!..» Он ей улыбнулся, а в комнате, как в поезде, то светлело, то темнело. Это шли солдаты мимо окон, и счастье таким и запомнится на всю жизнь: лицо любимой женщины, мысль: «Я еду домой»,— и идущие на запад, все дальше на запад победоносные советские солдаты.

## XXIX

Дивизии безостановочно двигались к Эльбе, и залитые солнечным светом дороги были запружены войсками до отказа. Пехота, грузовики, длинноствольные пушки и тупоносые гаубицы, громыхая, гудя, шли нескончаемым потоком на запад.

То и дело раздавались монотонные возгласы: «Принять вправо!» — регулировщики на перекрестках взмахивали флажками. Плащ-палатки на солдатах развевались при порывах свежего ветра и трещали, как паруса.

Люди шли вольным, широким шагом, словно кампания только что начиналась. Сибиряки, волжане, уральцы, москвичи, украинцы, узкоглазые жители Азии, смуглые сыны Кавказа шли по дорогам Германии, а впереди колонн развевались полковые знамена, уже освобожденные из серых походных чехлов.

Вот прошла стрелковая рота, во главе которой на большом коне едет молодой сероглазый капитан. Впереди роты свободным шагом идет черноусый старший сержант с умными добрыми глазами. Строй замыкает огромный старшина с таким загорелым лицом, что его русые волосы кажутся белыми. Его голос мощно гремит, покрывая шум большой дороги:

— Подтянуться! Не растягиваться!

По обочине, раскручивая катушки, идут связисты. Впереди них — худощавый молодой лейтенант. Время от времени он останавливается, присаживается на траву и кричит в телефонную трубку:

— Это я, Никольский! Как слышимость? Двигаюсь дальше!..

Промчался понтонный батальон. Впереди батальона на машине едет маленький, пожилой, непредставительный генерал инженерных войск. К огромным понтонам приторочены еще мокрые от прошлой переправы лодочки. Саперы смотрят гордо, словно спрашивают:

— Куда еще нужно переправляться? Где еще построить мост? Пожалуйте! Хоть через океан, если Родина прикажет!

Идет артиллерия. Артиллеристы облепили гигантские пушки. Другие выглядывают из-под брезента, покрывающего машины, шутят и провожают пехоту дружескими возгласами:

— Пыли, пехота!

— Привет, царица полей!

Не мелькнул ли опять из-под брезента тот навсегда запомнившийся красный и добрый нос?

Много дорог от германской столицы на запад, и все они запружены людьми и машинами.

Вот по одной проплывают грузовики, груженные палатками и медикаментами. Высоко, как курочки на насесте, сидят на них милые смеющиеся женщины с растрепанными ветром волосами. Там и Таня, и Глаша, и Мария Ивановна, и маленькая повариха из Жмеринки, и десятки других.

При виде женщин солдаты охорашиваются, расправляют плечи и, конечно, вспоминают о своих Танях и Глашах, оставшихся там, далеко, на родной стороне.

На одной из дорог свою дивизию встречают стоящие бок о бок под деревом генерал Середа и полковник Плотников. Прошли полки, проехали конные разведчики в маскировочных халатах: капитан Мещерский, старшина Воронин, который скоро возьмет в руки мирный сапожный молоток, сержант Митрохин, готовый вернуться в литейный цех.

Вдруг генерал настораживается.

— Что? Опять баловство! Опять позорят дивизию?

Из-за поворота дороги показалась карета. Это была самая настоящая баронская, крытая пурпурным лаком карета. Правда, она, эта феодальная колымага, попавшая в бешеный круговорот войны, порядком-таки потускнела, запылилась, немного накренилась набок, ее пурпур и золото изрядно пообтерлись, на запятках для лакеев примостилась детская коляска, а герб, на котором изображены оленья голова, зубчатая стена замка и рыцарский шлем с забралом, забрызган грязью.

Тарас Петрович тут же успокаивается: в карете не солдаты, а иностранцы. На кучерском сиденье восседает красивая светлокудрая девушка. Ее волосы отсвечивают на солнце червонным золотом. Она улыбается русским солдатам, своим освободителям. При виде русских начальников она явно робеет, сворачивает с дороги, и карета вскоре исчезает на проселке.

— Домой едут,— говорит Плотников, махая им рукой.— Доброго пути, товарищи!

Слева от дороги в восточном направлении нескончаемой чередой плетутся пленные. Из домов и подвалов потихоньку выходят немцы и немки. Выбегают дети. Плотников смотрит на них и вполголоса говорит:

— Поняли они хоть что-нибудь, немцы?

— Как не понять? — усмехается Тарас Петрович, показывая рукой на идущую по дороге советскую силу.— Тут кто хочешь поймет!..

Плотников говорит:

— Это верно, но это еще не все. То, что произошло, им надо осознать глубже и шире!.. Что ж, пожелаем им ума и понимания!

Показались и быстро пролетели мимо мотоциклисты. За ними слышен глухой шум моторов. Танки с красными звездами на бортах, под красными флажками, развевающимися на башнях, медленно идут на запад. Они не очень спешат, и их огромные гусеницы передвигаются по асфальту дороги даже как-то задумчиво.

Одновременно в небе появилась авиация, и все вскидывают глаза кверху, чтобы полюбоваться четким строем бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков.

Но вот на дороге появилась легковая машина. За ней неотступно следует бронетранспортер с грозно подъятым ввысь крупнокалиберным пулеметом. Дорога замирает. Солдаты и офицеры подтягиваются. Машину сразу узнают: то едет член Военного Совета. Этот шутить не любит. Ему чтобы все было в порядке!

Генерал Сизокрылов сосредоточенно смотрел в ветровое стекло. Иногда его взгляд рассеянно скользил по лицам идущих или отдыхающих под придорожными деревьями солдат, потом снова устремлялся вперед, на бесконечную белую, залитую весенним солнцем ленту дороги.

Обогнав пехоту, потом танковые и механизированные войска, генерал вскоре въехал в длинную, вытянувшуюся вдоль дороги немецкую деревню, на главной площади которой стоял какой-то гранитный топорный памятник. Проехав мимо него, машина генерала поднялась на холм. Впереди расстилалась гладь большой реки. Слева громоздились каменные обломки разрушенного моста. Справа по реке плыл одинокий парус. На другом берегу пыхтел катерок.

Здесь, на этом берегу, под деревьями, на траве стояли, лежали, сидели советские солдаты. Неподалеку дымилась полевая кухня. В ближней роще пели птицы.

Но что изумило генерала — так это окружающая его тишина.

Да, кругом царила великая тишина. Солдаты удивленно прислушивались к ней. Ни тарахтенья пулеметов, ни свиста пуль, ни уханья мин. Поблизости, в прибрежном болоте, страстно заливались лягушки. Большая рыжая кошка медленно ходила вдоль карниза крайнего дома деревни, подняв хвост трубой. Птицы пели. Вот это бьет зяблик. Это трещит коростель. Там стонет кулик. А это какой-то незнакомый звук: местная какая-то птица, германская, неразбери-поймешь.

Между тем катерок на другом берегу отчалил, вслед за ним по реке поплыли лодки. Генерал ждал. Катер все приближался. Люди на палубе размахивали руками. Гремела духовая музыка. Наконец катер исчез за крутым берегом, и вот на берег стали взбегать американские солдаты.

Сразу же раздались их радостные крики:

— Лонг лив Виктори! [1]

— Лонг лив Раша! [2]

К члену Военного Совета направилась группа офицеров, среди них один генерал. Они приблизились. Два офицера, стоявших возле американского генерала, выступили вперед. Один из них — высокий, худощавый, с черными усиками и тощими волосатыми руками — и другой — маленький, очень веселый, с большой орденской колодкой.

Этот маленький превосходно говорил по-русски. Он сказал:

— Генерал от имени командования американской армии передает вам свои поздравления по случаю победоносного завершения войны.

[1] Да здравствует победа! *(англ.)*.

[2] Да здравствует Россия! *(англ.)*.

Выслушав ответ Сизокрылова, выразившего надежду, что теперь союзники в дружном согласии будут содействовать строительству демократической, миролюбивой Германии и всеобщему миру, американец восторженно закивал и перевел ответ американскому генералу, который был, как он сказал, вполне согласен с советским генералом.

Американец с волосатыми руками весьма дружелюбно покачивал головой.

Рядом русские солдаты разговаривали с американскими. Конечно, разговаривали они больше жестами, чем словами, но все-таки разговаривали.

— Порядок? — спросил один из русских солдат.

— Пориаток,— повторил американский солдат, широко улыбаясь, и потом добавил по-своему: — О'кей!

— О'кей,— повторил русский солдат, улыбнувшись так же широко.

Потом американцы уехали, а Сизокрылов пошел вдоль берега.

Вдруг возле ног генерала что-то зашевелилось, и из узкого, свежеотрытого окопа вылез рыжеусый солдат.

Наткнувшись на генерала, он кашлянул, обдернул гимнастерку и встал в положение «смирно». Но, заметив в глазах члена Военного Совета теплый и добрый огонек, солдат сделал широкий жест и сказал:

— Значит, товарищ генерал, война-то, однако, того... кончилась? Тишина, тишина-то какая! Ушам больно!..

Генерал сказал:

— Да, кончилась война.

Солдат постоял, постоял, потом на глазах у него показались две слезы. Они покатились по щекам и застряли в рыжих усах.

— И чего я, старый дурак, плачу? — сказал он, как бы недоумевая.

Генерал смотрел на реку, стиснув зубы, и ничего не в силах был ответить.

— Погибших жалко,— ответил сам себе солдат.— И от радости.— Он оглянулся на окопчик, из которого только что вылез, и сказал: — А я, однако, по привычке и окопчик себе отрыл, как говорится, индивидуальную ячейку,— так, на всякий случай. Вот скоро я приеду к себе в Сибирь — я сам лично колхозник из Красноярского края — и пойду с моей Василисой

Карповной гулять... И что вы думаете? Ежели мы с ней на открытое место выйдем, в поле или там на лужок, где местность простреливается, я и там еще в первый период, кажись, буду окопчик для себя отрывать...

Мысли генерала унеслись далеко, к родной стране, откуда пришли сюда все эти солдаты, и его суровое сердце дрогнуло от любви. Земля там дает достаточно хлеба, вина и хлопка, недра — вдоволь металла и угля. А главное — ее населяют самоотверженные и честные люди. Генералу казалось, что он слышит теперь ее спокойное, ровное дыхание. В сознании своей могучей силы, миролюбивая и грозная, входит она в мир — надежда угнетенных, гроза для угнетателей.

*1947—1949*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Эммануил Генрихович*
*Казакевич*

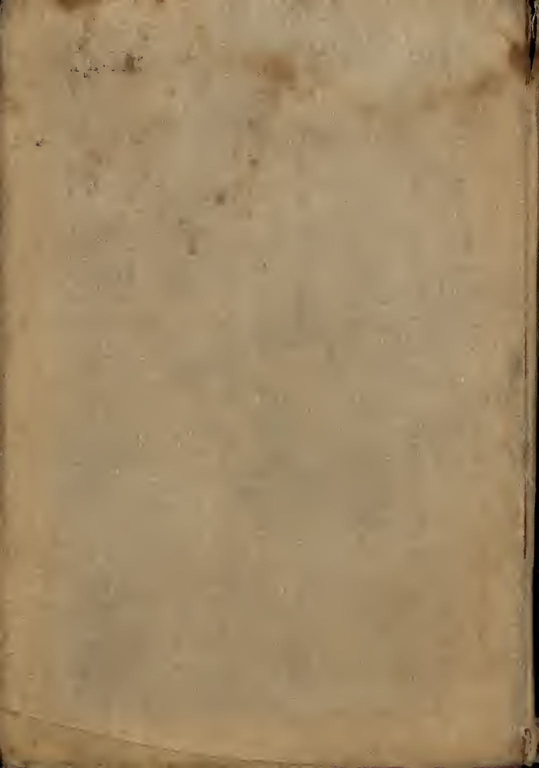
Сочинения в 2-х томах, том 1

Редактор *З. Батурина*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Техкический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Е. Патина*

Сдако в иабор 10/XI 1962 г.
Подписако к печати 25/III 1963 г.
Бумага $60\times84^{1}/_{16}$— 47,0 печ. л. 42,77
усл. печ. л. 41,266. уч.-изд. л. + 1 вкл.=
=41,32 л. Тираж 100 000 экз.
Закаа № 3951. Цена 1 р. 40 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманкая, 19.

Типография «Красиый пролетарий»
Госполитиадата
Москва, Красиопролетарская, 16.




Эм.
Казаке-
вич
ТОМ 1